

---

Ш. Ковче  
ЖАН  
СБОГАР

П. Бурже  
УЧЕНИК

Ален-  
Дурнье  
БОЛЬШОЙ  
МОЛЬН

---

Ш. Ковче  
ЖАН СБОГАР

П. Бурже  
УЧЕНИК

Ален-Дурнье  
БОЛЬШОЙ МОЛЬН



Ш. Нодве  
ЖАН СБОГАР



П. Бурже  
УЧЕНИК



Ален-Эурнье  
БОЛЬШОЙ  
МОЛЬН



Москва  
Издательство „Правда“  
1990

84.4 Фр

Н 76

*Переводы с французского*

Составление и вступительная статья Л. Г. Андреева

Комментарии Е. Г. Петраш

Иллюстрации М. Ф. Петрова

Н  $\frac{4703000000-2066}{080(02)-90}$  2066—90

ISBN 5—253—00018—6

© Издательство «Правда», 1990.  
Составление. Вступительная статья.  
Комментарии. Иллюстрации.



## ДВА ЛИКА СВОБОДЫ

Перед читателем три знаменитых романа, созданных тремя французскими писателями в течение века — с начала прошлого до начала нынешнего. Что позволяет соединить в одном томе, под одной обложкой произведения, которые принадлежат перу столь непохожих на первый взгляд авторов? Во-первых, героями всех трех произведений являются молодые люди. Давно было замечено особенное внимание писателей нового времени к образу молодого человека. А. М. Горький писал: «Молодой человек этот — самая значительная фигура литературы XIX века»<sup>1</sup>. Горький, как известно, и предпринял в начале 30-х годов издание серии романов под общим названием «История молодого человека XIX века». В первый том серии были включены произведения французских романтиков — Шатобрлана и Констан. Мог бы претендовать на такое место и роман Нодье «Жан Сбогар».

Замечено также, что молодой человек стал особенно привлекать писателей в эпоху перемен, революционных сдвигов на рубеже XVIII и XIX веков, ставших важнейшим этапом освобождения от пут феодализма, от сословного неравенства, от обскурантизма осененных великими принципами Французской революции: «Свобода, равенство и братство».

«Свобода — превосходная пища, пригодная только для здоровой и крепкой молодости», — писал Шарль Нодье, объясняя тем самым вторжение молодых людей в литературу. Молодость — это начало, это дерзание, это мир в движении, в становлении. Во Франции прежде всего и возникло такое «молодежное» ощущение действительности, такая ее интерпретация. На передний план ис-

---

<sup>1</sup> Горький М. Собр. соч. в 30 томах. М., 1953. Т. 26. С. 158.



куства выдвинулась личность исключительная, сосредоточившая в себе поистине необъятные возможности, ставшая перед необходимостью решения кардинальных вопросов человеческого существования. Освободившись от жесткой социальной регламентации, романтический герой самостоятельно, в своем драматическом личном опыте определяет нормы социального поведения, отношение свободы и морали, свободы и необходимости.

Все три романа соединенные в настоящем томе, — это романы о свободе, в поиски которой отправляются молодые герои по дорогам непрямым и негладким.

Хрестоматийным образцом первоначальной, классической стадии французского романтизма остается роман Шарля Нодье «Жан Сбогар», начатый автором в 1812 и опубликованный в 1818 году. Кажется, что все предпосылки романтизма работали на это произведение. В истоках романтизма могучий освободительный порыв Французской революции — и революция была первым значительным переживанием Нодье, происходившего из семьи видного адвоката, приверженца просветительства. Нодье писал, что жироидисты были «великими» в его детских впечатлениях, что им он обязан «первым своим восхищением».

В истоках романтизма вместе с тем — разочарование, разлад мечты и действительности, личности и общества. Конкретно-исторических поводов для этого у Нодье было достаточно, начиная с разочарования в революции и кончая разочарованием в ее результатах, в закрепляющейся у власти «денежной аристократии», в обескураживающей «позитивности реальной жизни».

Пессимизм приобретал у Нодье абсолютный характер и благодаря литературным влияниям — в этом еще одна предпосылка французского романтизма. Как истинный руссоист Нодье любил природу и собирал гербарии; как подлинный просветитель он был библиофилом, коллекционировал книги, вживался в немецкую культуру, в немецкий романтизм. «Разбойники» Шиллера, гетевский «Вертер» питали искусство Нодье не менее, нежели французская послевоенная действительность.

Осмысление образа Жана Сбогара следует начинать с осмысления «Записной книжки Лотарно». Записная книжка — жанр исповеди, а исповедальность — обязательный признак романтической литературы, всегда обнажающей души героев, раскрепощающей их в прямом и откровенном разговоре. Центральное место в «Ученике» Бурже также занимает тетрадка, содержащая «Исповедь молодого человека нашего времени», и в конце «Большого Мольна» Фурнье возникает тетрадь с тайнами героя. Записные книжки дают возможность отодвинуть завесу таинственности, в той или иной мере присущей всякому романтическому произведению, а все три романа и построены на загадках.

«Записная книжка Лотарно» содержит тайну особого смысла и значения — тайну мысли героя, его общественной позиции, причем индивидуальное стирается в афоризмах «Записной книжки»,

вскрывая свойственную романтизму близость героя автору в целях прямого выражения идеи. «Книжка» помогает понять глубину и силу социальной идеи Нодье, понять, сколь серьезна и значительна эта его сказка, хотя современному читателю «Жан Сбогар» может показаться и старомодным и наивным,— это пушкинской Татьяне Лариной кумиром был «таинственный Сбогар».

«Записная книжка Лотарио» — своего рода декларация прав романтического героя, уточняющего знаменитую «Декларацию прав» Великой французской революции применительно к послереволюционной реальности. Декларация Шарля Нодье соотносит и свободу, и равенство, и братство с прозой жизни. Здесь источник разочарований — права оказались «адвокатскими словами», способом надувательства народа, создания нового рабства, социального неравенства в буржуазном обществе. Закон — а ведь на законе просветительство строило все здание нового общества — приравнивается поэтому к «злодеянию». Во имя свободы рвется «общественный договор», ибо общество «ложно», противоестественно, служит порабощению. Декларация романтического героя замахивается даже на последний оплот старого мира, на «ремесло бога», открывая тем самым дорогу к абсолютной свободе личности.

«Жан Сбогар» делает ставку на свободу в обществе, обрекаящем человека на «рабство и смерть». О свободе в романе говорит буквально все, начиная с природы. Наглядным воплощением освобождения, раскованности предстает место действия романа — райский уголок на берегу Адриатического моря. Нодье избрал район Триеста не только потому, что там бывал и мог передать свои непосредственные впечатления — что само по себе было немаловажным для романтического романа с его неперменным автобиографизмом и лиризмом, — важным было и то, что ко времени написания «Жана Сбогара» именно в тех краях сохранялся чуть ли ни единственный в Европе очаг освободительной борьбы.

Природа у романтика Нодье — не просто фон, не просто место действия, она аккомпанирует герою, настраивает его на определенное состояние и реализует его в своих чертах. Жаждавший свободы герой искал «свободную страну» и нашел ее за непроходимыми скалами, отделившими «дикий» край от цивилизации, от несвободного общества. Такая экзотическая, необыкновенная природа сама по себе бросает вызов «светским условностям» общества.

В прекрасном этом крае душа «царит над временем и пространством». Романтическая природа помогает абсолютизировать романтического героя, слить его со стихиями, придать ему масштаб вселенский — только таким масштабом можно измерять бури, которые бушуют в сердцах героев романа. Революция для романтика Нодье — не только политическое, конкретно-историческое событие. Его герои мечтают о «полной свободе», а свобода «полная» есть прежде всего «свободное волеизъявление того чувствительного, сильного, разумного создания, которое бог создал по образу и подобию своему». Человек богу уподобляется — и на его

роль, его «ремесло» претендует, не желая знать границ своему «волеизъявлению». Поэтому он бунтует, бунтует против всего и вся, против самой жизни, поскольку она основана на «взаимном обязательстве», превращена в «общественный долг», в «правило», установленное без участия данной личности. Личность бунтующая желает установить свои «правила».

Так намечается весь спектр романтического свободолюбия в романе Шарля Нодье, от крайней точки в лице разбойника Сбогара до Антонии, несчастной его жертвы. Антония — «слабая душа». Зазвучав в сердце Антонии, возбудив в нем бури, мотив ужасного разбойника выявляет в начале романа несвободу героини. ее зависимость от окружающего мира, обостренную крайней чувствительностью, страхом перед жизнью. Однако даже для слабой Антонии в романе намечена возможность обретения свободы.

Героине трудно жить в мире реальном — вся ее натура настроена на лад особого, «таинственного» мира. Она «не верила» в сказки, но «любила их». В сущности роман Нодье — сказка о прекрасном принце, которую прочитывает героиня, все более в нее погружаясь. По мере такого погружения она обретает свободу, она идет навстречу роковой любви отважно и не колеблясь. освобождаясь от природной пугливости и отдаляясь от своей сестры, остающейся в пределах принятых обществом условностей, в пределах «правил».

Сердце Антонии «полно бурь», а значит, это сердце свободного человека. В «тесных пределах жизни» ему невозможно разместиться — и Антония умирает. Умирает от невозможности соединить в своем сердце прекрасного Лотарио и ужасного Сбогара. Она вынуждена жить в томительном ожидании чего-то страшного, в зачарованном царстве, принадлежащем безликому и всемогущему Кашею Бессмертному. То дает о себе знать безжалостный разбойник, то появляется пленительный юноша, дикие вопли чередуются со сладостными звуками любовных песен. Таким образом можно довести до крайности и человека уравновешенного, не говоря уже о душе болезненной. О том, что Лотарио и есть Сбогар, читатель, конечно, догадается раньше, чем это придет в голову замороченной приключениями Антонии, но и она в ангелоподобном Лотарио вдруг различит черты Сатаны.

Поражающие контрасты, эффектные гиперболы, гротеск — все это признаки романтического искусства. В райский уголок то и дело вторгается «злодейство». Сестра Антонии, г-жа Альберти, в совершенном согласии с принципами романтической эстетики рассуждает о беспредельности и противоречивости гармонии, о воссоединении в природе добра и зла — они и воссоединяются в противоречивом облике героя Нодье.

Прекрасное и ужасное — две стороны свободы, два способа проявления бунтарства. Лотарио — «визитная карточка» Жана Сбогара; Сбогар же — это свобода, а значит, добро, значит, красота. Немыслимое, беспредельное количество добродетелей и дос-

тойств, украшающих Лотарио, — еще один лик свободы в романе Нодье. Столь совершенным может быть только человек, осознавший, что он создан «по образу и подобию бога». Он являет себя в сознании народном как персона легендарная, божественная, не знающая даже пределов времени («ему двадцать пять лет», но он «был в отсутствии не менее пятидесяти лет»). Впервые перед Антонией Лотарио появляется как гипнотизирующая «сила», и в дальнейших их отношениях «нет ничего земного». Лотарио — «ангел-хранитель» несчастной девушки, «высшее существо», ниспосланное ей богом любви — и погубившее ее.

Индивидуализм Лотарио милосерден, добродетелен, но диалектика индивидуализма такова, что добродетельность Лотарио словно бы засасывается той бездной, имя которой Сбогар. По мнению героя, любая страсть может быть доведена до крайности, до «опустошительности». Из той же самой исповеди Лотарио видно, что «опустошительность» наступала вместе с порывом к свободе — вместе с немедленно возникшей потребностью в «полной свободе». У юного героя зародились сомнения в боге; безуспешные поиски веры, смысла жизни убедили его лишь в истинности небытия. Ощущение же предела человеческого существования превратило бунт Лотарио в абсолютный протест и против «пределов жизни», и против «общественного договора».

Утратив веру в «закон», в справедливость основ общественного порядка, романтический бунтарь рвет «общественный договор». Руссоист, в счастливом уединении, в отдалении от общества возделывавший землю, становится разбойником. В обществе одряхлевшем, в умирающей цивилизации последней ставкой является «сильный человек», призванный дерзать, преступить предел дозволенного. Этот порыв к свободе уподобляет человека богу — не только Лотарио, но и Сбогар абсолютизируется, мифологизируется. Сама таинственность, окружающая Сбогара, позволяет превратить его в героя легендарного. Он предстает в контексте мифологических ассоциаций, которые насыщают роман, оживают в романе, подключая к древним мифологизированным представлениям и героя романа, и всю рассказанную историю. На такой лад настраивают и эпиграфы к каждой главе, придающие любви Антонии и Сбогара смысл очередного звена в бесконечной цепи человеческих трагедий.

Как Лотарио не может забыть о том, что он Жан Сбогар, так и Сбогар не теряет из виду свою ангелоподобную ипостась. Разбойники — мстители, сила очищающая, карающая длань господня. Иначе обновление не осуществится — так полагает Лотарио-Сбогар. Поэтому он замахивается на «ремесло бога» и видит в эшафотах, на которых умирают бунтари, алтари грядущего мира.

Почему же, несмотря на такую перспективу, герой романа далек от самодовольства, почему он страдает, являя собой разновидность очередного романтического «несчастливого»? Сбогар несчастен, как и все романтические герои, от сознания несовершенства

мира, от разлада с действительностью, от неосуществимости счастья. Но у Сбогара есть и личный повод к тому, чтобы быть несчастным. В его образе, его судьбе Шарль Нодье поставил вопрос кардинальный, вопрос вопросов: как соотносится свобода и мораль, свобода и необходимость? Есть ли границы свободы?

Следуя логике «Записной книжки Лотарио», такой границы нет и быть не должно. Свободный человек не только имеет право, он даже обязан преступить закон, на котором основано общество несправедливое, общество обреченное. Свободный человек роковым образом подталкивается в сторону «полной свободы», а она означает разрыв «взаимных обязательств», попросту «общественного долга» — иными словами, вседозволенность. Дорогой к свободе оказывается «большая дорога» грабежей и убийств. Как бы ни тешил себя Сбогар мыслью о том, что в конечном счете эшафот превратится в алтарь, он стал на путь преступлений — поэтому так напугал Антонию его лик, лик злодейства. Отбросив мораль мертвую, несостоятельную, Сбогар отбрасывает те узы, которые скрепляют человеческое сообщество, отбрасывает нравственные императивы.

Шайка Сбогара — вовсе не «благородные разбойники», она состоит из людей «кровожадных», убивших г-жу Альберти и погубивших Антонию. Поступь Сбогара на пути к свободе кровава. Он осознает это — он «несчастный».

Надо обратить внимание на то, как Лотарио воспринимает признание Антонию в любви к нему. Это не обычная реакция влюбленного, не просто радость по поводу обретенной любви — это вопль человека из бездны, который понимает, что в бездне забрезжил свет, что ему протянута рука из мира, с которым он разорвал все связи. Объяснения Лотарию и Антонию столь драматичны, столь эмоционально перенасыщены потому, что сталкиваются два трагически разделенных и все же связанных друг с другом мира.

Эти два мира — два лика свободы; Нодье пророчески определил дилемму, в которой человечество разбирается по сей день. Сам он решения не предложил. Он высоко ценил добродетель, в литературных героях, в Вертере видел образцы нравственного поведения, примеры добра. Финал романа как будто содержит осуждение Сбогара и избранного им пути к свободе. Трагические объяснения с Антонией, столь же иступленные, как и апелляции Сбогара к богу («ремесло» которого он, однако, намерен «разоблачить»), — все свидетельствует о том, сколь несчастен герой, разорвавший «общественный договор». Да и может ли он быть иным? Ведь Сбогар — жертва, он не виновен в том, что у власти негодяи, а бог не внемлет страждущему. Он не может выбраться из бездны не потому, что ему по сердцу грабежи, а потому, что в «нормальном» обществе закон стал «злодеянием». Чтобы личность могла избавиться от этого закона, свобода должна быть «полной», — так прекрасный Лотарио перерождается в ужасного Сбо-

гара, так «чистилище» неверия порождает «рай» свободы — за которым приоткрывается «ад» аморализма и вседозволенности. Всю эту диалектику индивидуализма Нодье собрал в одной книге, в одном образе — и каждая из двух его ипостасей обрела самостоятельную жизнь, сформировавшись в «адскую» и «райскую» ветви романтизма.

Романтическое отрицание буржуазного общества в начале XIX века было слишком тотальным, ему не доставало того дотошного анализа всей социальной системы, которую осуществили позднее реалисты в преддверии нового этапа разочарований, наступившего в конце столетия, когда широко распространилось убеждение в упадке буржуазной цивилизации, в «смерти богов», т. е. в компрометации идеалов, в духовно-нравственном бесплодии буржуазного уклада жизни.

Подобные настроения подтверждались явлением, получившим название «кризиса» или «банкротства» науки. Вся эпоха нового времени была отмечена развивающимся процессом неверия, утраты религиозной и церковной нравственной авторитета — и одновременно обретения авторитета наукой, которая в XVIII и XIX веках играет роль социального ориентира, символа победоносной человеческой мысли, способной рассеять мрак невежества и утвердить знание, а значит, свободу и справедливость. Достижения и в самом деле были впечатляющими. «Позитивные», естественные науки в середине XIX века нанесли ощутимый удар теологии.

Однако ожидаемое царство справедливости не возникло. Все яснее становилось, что наукой веру не заменить, что «позитивное» знание не заключает в себе нравственного идеала. Сто лет тому назад европейское сознание словно бы «отрепетировало» ту драматическую ситуацию, которая все более ощутима в наше время, в эпоху научно-технической революции, атомной бомбы и Чернобыля. Великие научные и технологические открытия превратились в составную часть глобальных угроз человечеству — «смерть богов», гибель идеалов на совести и современной технократии.

Роман Поля Бурже «Ученик» — документ этой «репетиции». Появился он в 1889 году, в эпоху «конца века», декаданса. Новый виток неверия — и за ним следует новая ступень «адского» романтизма. Вслед за Жаном Сбогаром — Робер Грелу. Грелу, конечно, не «романтик с большой дороги», он ученый, предпочитающий лесной чаще библиотеку, но и он преступник, ибо виновен в гибели прекрасной, любящей его женщины. Философ Грелу даже хуже бандита Сбогара, поскольку сознательно и целеустремленно подвигает Шарлотту к гибели, тогда как Антонию губит «ад» «полной свободы», воплощенной в Сбогаре.

Романтические истоки образа ясно определены автором. Он даже устанавливает точные исторические границы формирования тех качеств, которые наследует герой: «С восемьдесят девятого года все изменилось. Тогда и появилось нечто необузданное, пе-

чальное...» — появилось все то, что приводило в восторг юного Грелу. Все это — романтизм, и молодой человек упивается романтической литературой: Ламартином, Гюго, Сент-Бёвом, Мюссе, особенно «гениальным Мюссе». Увлечения героя тем паче весомы, что они автобиографичны, это увлечения самого Поля Бурже, страстного поклонника Мюссе. Не следует забывать, однако, что речь идет о последнем десятилетии прошлого века, и рядом с романтиками в библиотеке Грелу появляются реалисты, что тоже вполне автобиографично, ибо Бурже не расставался с изображением Бальзака, его привлекали романы Стендаля, и своего героя он называл «подражанием Жюльену Сорелю».

Можно сказать, что весь набор «молодых людей» во французской литературе XIX века формировал молодого Грелу. История литературы предстает в «Ученике» не просто литературной историей, но реальной действительностью эпохи, и трудно сказать — то ли Грелу соотносит себя как литературного героя с героями других книг, то ли рассматривает себя как «человека» в ряду других «людей». Так или иначе, Грелу ставит себя в совершенно определенный ряд и типологию своей собственной сути устанавливает вполне научно. Даже если в этом ряду присутствуют герои, созданные писателями-реалистами, то это как правило молодые честолюбцы, утверждающие свое «я» без особенных угрызений совести, которая перестала украшать и деловое общество, куда они стремятся.

Видно, что литература для Поля Бурже, как и для Шарля Нодье, не менее реальный источник, чем сама реальная жизнь. — в этом, несомненно, заслуга французской литературы, сумевшей создать «вторую» реальность искусства столь убедительной и достоверной. Но в этом же, с другой стороны, и несколько литературный характер самого романтического искусства. Библиотека стала жизнью — экспериментируя с чувствами Шарлотты, Грелу пускает в ход именно литературу, в мире которой осознает себя героиня романа.

Грелу — романтический герой и внешне, и внутренне. У него обязательное для такого героя красивое бледное лицо (у Лотарио «бледное чело») — внешность личности исключительной, необыкновенной. Исключительны прежде всего способности Грелу, быстро превращающие молодого человека в ученика знаменитого философа Адриена Сикста. Кроме того, Грелу обладает другими обязательными для романтического героя признаками — «необузданными желаниями», бурными страстями, неумеренной рефлексией, ощущением собственной провиденциальности. А главное — культом собственного «я».

Культ собственного «я» — это константа, постоянная величина романтизма, это синоним свободы. В романе Бурже этот культ имеет особый смысл. Грелу — «романтик-позитивист». «Я» пестует ученый, который оправдывает культ и обосновывает его не просто

как свойство данной индивидуальности, но как наукой установленный общий «закон жизни».

Философ Сикст и его ученик Грелу — воплощение этой науки, т. е. позитивизма второй половины XIX века. Сикст — собирательный образ ученого того времени, в первую очередь Ипполита Тэна. Грелу — фигура вымышленная, хотя в его истории использованы материалы нашумевших в те времена уголовных процессов. В пересказываемых героями романа основных положениях позитивистской философии без труда узнаются идеи Дарвина, Спенсера, Тэна, К. Л. Бернара. Никакой «новой» философии Бурже не придумывал, да и нужды в ней особой не было — писателю необходимо было показать, до чего доводит наука, воцарившаяся в обществе в значении нового божества.

Авторитет наука приобрела прежде всего благодаря «точным научным данным», которыми оперирует естественнонаучное знание, благодаря экспериментальным способам достижения истины. Все рассуждения «новых философов» построены на прямой аналогии природного и духовного. Самым привлекательным и для Сикста, и для его ученика в «новой философии» является то, что эта философия гарантирует превращение в точные, экспериментальные науки всего комплекса гуманитарных знаний, включая социологию, этику и эстетику. «Возможен ли опыт в области моральных феноменов?» — спрашивает Сикст. И отвечает: «Возможен». Соответственно он намерен «отказаться от нашего представления о человеческой душе и заменить его точными научными данными». С удовлетворением воспроизводятся в романе слова Спинозы, который был авторитетом как для Тэна, так и для Сикста: современный психолог должен изучать чувства так, как изучают «химические соединения».

Для того, чтобы убедиться, насколько все это повторяло тенденции, витавшие в воздухе Франции конца прошлого века, достаточно вспомнить аналогию, сформулированную Ипполитом Тэном в его манифесте, который был опубликован в 60-е годы в введении к «Истории английской литературы». Тэн писал: «Порок и добродетель суть такие же продукты, как купорос или сахар». Такое уподобление можно прочитать в двух значениях: как признание обусловленности человеческого поведения причинами, которые могут быть научно исследованы, и как перенесение законов материи на законы духовной жизни, без учета своеобразия «пороков и добродетелей». В этих двух значениях афоризм Тэна и читался, на их основе Робер Грелу и формулировал принципы своего поведения, своей морали. Они не сложны: поскольку биологи, физиологи, медики допускают «вивисекцию животных», нет никаких оснований отказываться от «вивисекции человеческой души» — естественно, во имя великих научных целей, на основании неоспоримых научных данных и методов.

Как же, однако, быть с нравственностью? Для «новых философов» такой проблемы не существует, во всяком случае, она не



вызывает у них интереса. Сикст снисходительно сообщает следователю: «Обществу трудно обойтись без теории добра и зла, но для нас, психологов, она означает не более, чем совокупность известных условностей...»

В этом ответе правосудию — узловой вопрос отношений между «новой философией» и нравственностью, между нравственностью и «романтизмом-позитивизмом» романтического героя, который культивирует собственное «я». Данный ответ не означает вовсе, что в своем поведении «я» не руководствуется никакой «теорией», — это значит лишь то, что законы не для них писаны, что «мыслящие» не обязаны считаться с законом, предназначенным для всех прочих, «немыслящих». Слова «есть мораль господ и мораль рабов» сказаны не Сикстом, это знаменитый афоризм Фридриха Ницше, прозвучавший тогда же, в 80-е годы прошлого века. Бурже с идеями Ницше в те годы не был знаком и такое совпадение еще раз подтверждает типичность для той эпохи философии Сикста и Грелу.

Фридрих Ницше формулировал афоризм о «морали господ», исходя из убеждения, что не существует детерминизма. «Боги умерли», — констатировал Ницше факт упадка веры, утраты идеалов. Коль скоро это так, под сомнение поставлена иерархия нравственных ценностей, нет объективных показателей ни для добра, ни для зла, в самой сущности вещей нет смысла, необходимости, регулирующего закона. Наступил, по Ницше, «внеморальный период», когда «сильные», «свободные умы», одержимые волей к власти, попирая скомпрометировавшую себя «мораль стадных животных», установят свои порядки — «новые порядки».

По этим рассуждениям видно, что и Ницше — поздний романтик. Его рассуждения воспринимаются как одна из высших точек в развитии «адского» романтизма, идей «полной свободы», и нет ничего удивительного в том, что высказывания Ницше поразительно совпадают с разглагольствованиями героев Бурже, «позитивистов» и отчаянных детерминистов. Близость ницшеанства и «романтизма-позитивизма» — результат сближения, совпадения крайностей.

Убийство Шарлотты, возлюбленной Грелу, — реализация права «романтика-позитивиста» на «полную свободу». В этом праве не сомневается ни учитель, ни ученик. Грелу губит Шарлотту, используя черты ее характера, которые не столько индивидуальны, сколько общи для всех романтических героинь, — чувствительность, экзальтированность, слабость, готовность к любви. При этом Грелу выступает в роли, не совсем обычной для соответствующего литературного типа: он *играет* роль романтического героя.

Главным своим свойством он считает склонность к раздвоению. Но раздвоение, как мы знаем, было важнейшим признаком и Лотарио-Сбогара. Есть, однако, существенная разница: Лотарио — прекрасное, «райское» в Сбогаре, в свободе, в бунтарстве. «Райское» же «романтиком-позитивистом», «адским» романтиком Грелу начисто утрачено. Сбогар вынужден был скрывать свой истинный облик от общества, но в том была его трагедия, трагедия разрыва

с «общественным долгом». Грелу скрывает свое лицо как мелкий пакостник, очень рано втянувшийся в комедию двуличия. Раздвоение Грелу — свойство лицемера, который готов примерить любую маску в своих целях.

Сначала он прикрывается маской примерного, «нормального» человека. Далее, когда романтические «ненормальности» входят в моду, Грелу затевает свою игру в костюме стопроцентного романтика, скроенном по сложившейся традиции литературы, которой он начитался сам и которой он пичкает бедную свою жертву. Форма отделилась от содержания, стала литературным штампом. Грелу вовсе не «несчастный» классический романтик времен Шарля Нодье. Он самоуверен и самодоволен, как все позитивное знание, он лишь прикидывается несчастным, чтобы тронуть сердце доброй и доверчивой девушки. Он ловко играет и меланхолию, и разочарованность, играет даже неизменную романтическую таинственность — с успехом подделывается под Лотарио, который ничего не играл, хотя и был плодом раздвоения единой сущности.

Антония и Шарлотта погибают, столкнувшись с «полной свободой» романтической личности. Но героиня «Жана Сбогара» погибла, так как убедилась в достоверности романтической «бездны», а Шарлотта — потому, что обнаруживает недостоверность романтической игры, обнаруживает в герое своего романа мещанина под маской исключительности и незаурядности. Здесь отчетливо видно, до какой степени измельчал «адский» романтик.

Свою игру, однако, Грелу не выиграл, несмотря на мастерство перевоплощения. Его «научный» эксперимент явно не удался. Даже самого себя Грелу не смог превратить в механизм, в «химическое соединение». Против своих намерений он влюбился всерьез, заболел «любовным недугом». «Эксперимент» Грелу превратился в банальную любовную историю, и в этой банальности — самое убедительное опровержение крайностей позитивизма, «новой философии». Высокая наука, «отвлеченные размышления» Грелу-старшего низведены до волокитства, до «ученого» метода соблазнения женщины — таково последнее слово, сказанное Грелу-младшим.

Поль Бурже сам прошел через характерное для молодого человека конца XIX века увлечение позитивизмом, заменив Библию Дарвиным, а затем пережил разочарование в науке и вновь поменял Дарвина на Библию. Такой поворот Бурже был многими осужден, в том числе А. П. Чеховым, который писал об «умном, интересном» романе Бурже, но критиковал писателя за «претенциозный поход против материалистического направления».

В примечательной своей книге «Опыт современной психологии» (1899) Бурже дает впечатляющий анализ «больной эпохи», представляя картину упадка и комментируя многие явления литературного декаданса. Сочтя, что «земные», так сказать, возможности противодействия пессимизму и аморализму исчерпаны, Бурже возвращается к отринутым ценностям, в христианстве видит условие нравственного оздоровления.

Возможно, все это отразилось в образе брата Шарлотты, графа Андре, ненавидящего Грелу и как безродного «учителишку», который оскорбил отпрыска знатного рода. В опасной игре, затеянной Грелу, есть привкус социального реванша. Грелу равнодушен к политике, но в нем живет ненависть плебея, потомка «мужиков» к аристократам. Мотив революции XVIII века внезапно звучит в «Ученике», чтобы быть опошленными действиями Робера Грелу, который праведный гнев своих угнетенных предков разменял на низкопробное донжуанство.

Однако какой бы ни была социальная подоплека столкновения графа и философа, главное не в ней, а в аморализме, в безнравственности поступков героя. Презренные «новыми философами» понятия морали оказались самыми важными в конечной оценке всей истории. Андре действует как человек, сохранивший понятия чести и справедливости — какое бы «поправение» Бурже за этим ни скрывалось, — и в романе возникает закономерное, неизбежное противопоставление нравственного поведения поведению безнравственному.

Как бы ни «поправел» Поль Бурже к моменту создания романа, он не исказил общую картину «большой эпохи» и роль «романтизма-позитивизма» в упадке нравов. Грелу — не одинокая фигура подобного рода среди героев конца минувшего века. В романе «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда тоже имеется учитель — лорд Генри, увлекающийся «экспериментальным» анализом страстей, есть и ученик — молодой Дориан Грей, еще один «адский» романтик, ставящий красоту выше морали и не без основания считающий себя виновным в смерти любившей его актрисы.

Кульť собственного «я» дает о себе знать и в герое знаменитого романа Достоевского «Преступление и наказание». Для мировой литературы Раскольников надолго стал символом «преступающих» молодых людей, взывающих «полной свободы». Если бога нет, то все дозволено, предполагает еще один персонаж Достоевского, Иван Карамазов. По сути своей такое допущение ничем не отличается от убеждений Адриена Сикста и его ученика. Влияние Раскольникова на Грелу исключить невозможно — роман Достоевского стал известен во Франции именно в 80-е годы, — но дело не в прямом влиянии, а в родственной близости типов, созданных столь разными писателями в эпоху «смерти богов».

Обоснованность беспокойства, выраженного Бурже в романе «Ученик», подтверждается не только этими литературными персонажами и значением такого типа героя для последующего развития литературы. Беспокойство Бурже, как уже говорилось выше, стало в наши дни необыкновенно актуальным, хотя долгие годы писатель казался совсем уж устаревшим. С необыкновенной настойчивостью встала сегодня проблема науки и нравственности, знания и веры, оживляя старую книгу Бурже и возбуждая интерес к роману об ученом, который свой научный эксперимент поставил выше нравственности.

В конце концов вслед за самим Бурже Адриен Сикст признает, что без «сверхъестественного», т. е. без идеального, не обойтись, коль скоро наука бессильна перед трагедией личности, утратившей нравственные ориентиры. «Преступившего» героя Достоевского тоже воскрешает любовь. Из мрачных «сумерек богов» намечается выход с помощью «райского» романтизма, с помощью прекрасного Лотарио, который когда-то пытался освободиться от злой своей тени — от Жана Сбогара.

Свидетельство тому — опубликованный в 1913 году роман Алена-Фурнье «Большой Мольн». История, рассказанная в нем очередным молодым человеком, Франсуа Сэрелем, происходит в конце прошлого века, но роман был написан в начале века нынешнего, что немаловажно.

Вопрос о соотношении свободы и морали, в драматической форме поставленный XIX веком, отнюдь не утратил жизненного значения. «Адский» романтизм не превратился в прошлое. В одно время с романом Алена-Фурнье большой шум вызвали произведения Андре Жида, герои которого («Имморалист», 1902; «Подземелье Ватикана», 1914) также добывают себе свободу, преступая принципы морали. В романе Альбера Камю «Посторонний» (1942) герой его Мерсо совершает бесцельное убийство только потому, что обладает абсолютной, «полной» свободой в мире, где нет больше богов, нет смысла и закона. Мерсо принадлежит к числу экзистенциалистских героев, а экзистенциализм — это поздний вариант «адского» романтизма.

В то же время настоятельнее стали порывы к идеальному, возвышенному, нравственному в самых различных пониманиях идеального и возвышенного — от более или менее религиозных (драматург-католик Поль Клодель) до атеистических (Ромен Роллан, который, наблюдая «приближение ужасного морального и социального кризиса», попытался своим творчеством «собрать великие души, страдавшие во имя добра», «воскресить племя героев»).

В разбросанных увлечениях Алена-Фурнье определялась его несколько расплывчатая, но достаточно очевидная ориентация на литературу гуманную в широком смысле слова, сохраняющую нравственный опыт человечества и свободную от «сатанизма» «адской» традиции. Очень задел его роман Достоевского «Идиот», приближивший писателя, по его признанию, к христианству. Среди пристрастий Алена-Фурнье — книги Диккенса, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» Гарди, бельгийские символисты и романтики.

Мир, в наибольшей степени свободный от «сатанизма», — это мир детства. Хотя «Большой Мольн» написан в форме воспоминаний, детство в романе Алена-Фурнье не кажется воспоминанием, оно остается как нечто непреходящее — не как ступень жизни, а как сама жизнь. Роман прикован к этой жизни, к переживанию

счастья детства, счастья воспоминаний как содержания и смысла не только прошлого, но и настоящего времени, за которым следует неизвестность времени будущего. Будущее — неизбежно состояние взрослое, но в романе не торопятся идти по пути взрослых. Даже уходя в будущее, Большой Мольн уходит навстречу новым приключениям, а приключения — это мир детства, мир сказки.

«Большой Мольн» — тоже сказка, но сказка совершенно необыкновенная в силу своей реалистической достоверности, в незначительной степени проистекающей из автобиографичности книги. Место действия, персонажи, события в значительной мере воспроизводят то, что на самом деле наблюдал и переживал Ален-Фурнье. Достоверность исходит и от личности рассказчика, Франсуа Сареля, который воспринимается в единственной роли — роли участника событий, призванного все пересказать с максимальной точностью. Не случайно он почти лишен собственной истории и как бы «прикладывается» к истории Мольна, выступает доверенным лицом и хранителем памяти героя романа.

Роман Алена-Фурнье мог бы читаться как роман бытовой, роман из жизни подростков вполне обыкновенных, если бы не склонность к играм, любовь к приключениям — что тоже, впрочем, достаточно обыкновенно для юности. Так это и воспринимается обывательским, лишенным фантазии сознанием — «свадьба как свадьба». Но свадьба Мольна на самом деле не как прочие свадьбы, она поднимается над обывательским уровнем до уровня романтической мечты.

При обязательном для романтизма отталкивании от обыденного конфликта двух миров — поэтического и прозаического, идеального и реального — в романе Алена-Фурнье нет.

Даже самое таинственное из всех приключений, загадочное ночное празднество в Затерянном Поместье, лишь поначалу кажется совершенно невероятным. Вскоре все объясняется: загадочное Поместье обнаруживается по соседству, а таинственная принцесса оказывается Ивонной де Гале, навещающей лавчонку соседнего населенного пункта для закупки продовольственных товаров. «Чудесное в повседневном» заставляет повседневное быть чудесным. Коль скоро герои романа — дети, так и не ставшие взрослыми, все происходит подобно тому, как мыслит себе мир ребенок. Никаких примет эпохи не имеется, несмотря на указание 189... года. И хотя чего только не совершалось во Франции и за ее пределами в это время, в романе происходит история из тех, которые всегда были и всегда будут.

Детское мировосприятие ограничивает и достоверность места действия границами детских впечатлений. За пределами родного Сент-Агата все становится крайне неопределенным. Даже Париж в тетрадке Большого Мольна выглядит безликим местом свиданий героя, пустынными улицами, набережной, рядами домов — всем тем, что может повстречаться где угодно и когда угодно.

«Чудесная повседневность» описана не только досконально, но

и с открытой симпатией. Совершенно необычно для традиционного романтизма то чувство, которое, например, испытывает Франсуа Сэрель, представляя себе «мокрые и грязные» улицы родного городка, площадь в тумане, приказчика из мясной лавки и т. п. Для романтизма такого рода картины должны олицетворять скучную повседневность, ее томительный плен, из которого необходимо выбраться в мир иной, мир мечты и ярких красок. В блеклых, неприязнательных красках Ален-Фурнье нашел очарование, в примелькавшихся пейзажах его герой обнаруживает истоки «чудесного», источник интенсивной внутренней жизни.

Надо думать, что эстетика «чудесного повседневного» формировалась под влиянием колоссальных достижений искусства за те сто лет, которые разделяют «Жана Сбогара» и «Большого Мольна». Искусство научилось обходиться без романтических эффектов, без «райских уголков», научилось видеть значительное, поэтическое в рядовом, прозаическом, даже в «мокрых и грязных» улицах, даже в обыкновенных парнях — что в этом длинном, наголо остриженном, носатом Огюстене от ангелоподобного Лотарио или же от кошмарного Сбогара? Уроки Диккенса и Достоевского не прошли даром как для Алена-Фурнье, так и для романтизма XX века.

Но главное все же в самой сути этого необыкновенного романтизма Алена-Фурнье, в его детском, сказочном характере. Романтическая тяга к иному, необычному очень уж похожа на непосредливость, которая так украшает молодость, напоминает о юношеском максимализме. Мольн вдруг чувствует желание «к чему-то прийти» в самом начале своих приключений и с таким же желанием в конце романа уходит в неизвестное.

С Мольном в роман входит тревога, ожидание каких-то неприятностей (которые вскоре и последуют), с ним связаны тайны. Главные из них проясняются лишь в конце романа, так что на протяжении всей истории герой остается загадочной фигурой. Правда, ни грабежей, ни убийств на совести Большого Мольна нет. Самая кошмарная тайна связана с достаточно заурядной историей любви. Злосчастный случай — а случай любит распоряжаться в творениях романтиков — связал Мольна с возлюбленной брата его любимой, стянул всю эту компанию в такой узелок, который развязать не просто. Романтики любили такие узелки, такое обострение ситуации, позволявшее им нагнетать страсти, рисовать бури в сердцах, говорить о неисповедимости человеческих судеб.

Центральный эпизод приключений Мольна — любовь к Ивонне де Гале. Она тоже романтически усложнена и драматизирована, на ней лежит печать роковых несчастий, фатальной обреченности. Смерть героини (сравните Антонию, Шарлотту) кажется обязательной, романтическая схема накладывается на живую человеческую судьбу.

Ален-Фурнье изо всех сил пытается остановить время — не для того, естественно, чтобы увековечить романтические штампы, а для того, чтобы выделить в романтизме его «рациональное зер-

но», сохранить как вечный и живой «детский» этап человеческой истории. Сделать это не просто, отсюда элегичность романа, в котором словно догорает на наших глазах нечто бесценное: исчезает старинное поместье, старый экипаж, дряхлая лошадь, возившая принцессу из сказки Большого Мольна. Главная же причина нарастающей грусти — сознание того, что дети неотвратимо втягиваются во взрослые игры. За светлыми, как будто совершенно прозрачными фигурами юных героев романа просматриваются мрачноватые тени «людей».

Судьба взрослых романтических героев — всегда фатально злостная. Мольн погружается в «душевную тоску», идет каким-то особым путем, на котором беды неминуемы. «Тайна» героя, раскрывая в его тетрадке, содержит целую цепь ошибок, неверных шагов, все более запутывающих отношения между персонажами романа. Даже любимую девушку Мольн толкнул навстречу гибели.

Такова цена свободы — цена, которую платит и этот герой. В конце концов именно свобода становится главным и единственным приобретением Мольна. Как свободный человек уходит он в финале романа в ночь, навстречу новым приключениям. Свобода Мольна как «взрослого» романтического героя задевает людей, его любящих, задевает — порой больно — и Ивонну, и Франца, и даже преданного Франсуа Сэреля, у которого он отнял «единственную радость».

И все-таки в отличие от «адских» романтиков «Большой Мольн» рассказывает об обретении. С внезапным появлением Огюстена Мольна в ничем не примечательном населенном пункте возникает очаг насыщенной жизни, которая обогатила всех героев романа, даже несчастную Ивонну, познавшую счастье любви. Франсуа Сэрель хранит память об этом счастье как об истинном сокровище и, судя по всему, жизнь свою посвящает этой памяти, этому бесценному богатству порывов, мечтаний, грез, надежд и потерь.

Не мертвым, ушедшим безвозвратно предстает оно — все это живо, живет в наивности, простоте рассказа, в его сказочности и даже известной идилличности. Ален-Фурнье не ставит преград на дорогах свободы — его роман теснит «адский» романтизм, противопоставляя ему человечность. Ребенок верит, что сказка — здесь, рядом, что до нее рукой подать. Таков и романтизм «Большого Мольна», напоминающего об очевидных, «подручных» ценностях, для отыскания которых не понадобится путешествия на «остров сокровищ», о том, что в фундаменте цивилизации заложены эти простые истины любви, добра, которые не должны уходить в прошлое вместе с детством, но должны стать будущим чрезмерно повзрослевшего человечества.

Л. Андреев

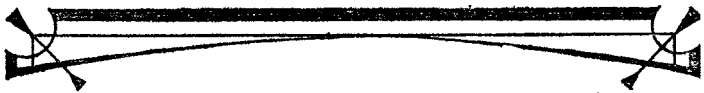




*Перевод Н. Фарфеля*







Увы! Что есть наша жизнь,  
где нет конца горестям и бед-  
ствиям и где повсюду подсте-  
регают тебя козни и враги?  
Ибо не успеешь ты осушить  
чашу скорби, как она наполнит-  
ся вновь; и не успеешь побе-  
дить ты одного врага, как явят-  
ся другие, чтобы биться на его  
месте.

*«Подражание Христу».*

## I

Неподалеку от Триестского порта, если идти песча-  
ным морским берегом в сторону зеленеющей бухты Пи-  
рано, вы увидите небольшую, давно уже заброшенную  
обитель, находившуюся когда-то под покровительством  
св. Андрея и до сих пор сохранившую это имя. Берего-  
вая полоса в этом месте постепенно сходит на нет и  
словно совсем исчезает, дойдя до подножия горы, омы-  
ваемого Адриатическим морем; но по мере того как бе-  
рег суживается, он становится все прекраснее; почти не-  
проходимые заросли фиговых деревьев и дикого вино-  
града, листва которых благодаря освежающим испаре-  
ниям залива остается всегда зеленой и юной, окружают  
со всех сторон этот приют созерцания и молитв. В час,  
когда угасают сумерки и дрожащее отражение звезд на-  
чинает колебаться на поверхности моря, подернутой  
легкой рябью, безмолвие и покой этого уединенного ме-  
ста полны очарования, которое невозможно выразить  
словами. Непрестанный, едва различимый шум волн, за-  
мирающих на песке, как бы сливается в один бесконеч-  
ный вздох; изредка далеко на горизонте факел в невидимом  
челне рыбака прокладывает по воде полосу света,  
которая то съеживается, то вытягивается на морской  
волне, пока не исчезнет за песчаной отмелью; и снова  
все погружается во тьму. В прекрасном этом крае чув-  
ства, оставаясь праздными, не мешают душе сосредото-  
читься; она полновластно царит здесь над пространст-

вом и временем, словно их не ограничивают уже тесные пределы жизни; и человек, чье сердце, полное бурь, открывалось на зов мятежных и неистовых страстей, здесь, в монастыре св. Андрея, начинал понимать блаженство глубокого, ничем не нарушаемого и незыблемого покоя.

В 1807 году близ этих мест возвышался замок — простой, но изящной архитектуры; за время последних войн он был стерт с лица земли. Местные жители называли его Casa<sup>1</sup> Монтелеоне, переделав на итальянский лад имя французского эмигранта, который незадолго до того скончался, оставив огромное состояние, нажитое торговлей. Дочери его продолжали жить в замке. Его зять и компаньон г-н Альберти, бывший простым negociантом, умер в свое время в Салониках от чумы, а несколько месяцев после этого г-н де Монлион потерял жену — мать второй своей дочери. Г-жа Альберти была дочерью его от первого брака. От природы склонный к меланхолии, г-н де Монлион окончательно предался ей после этого последнего удара. Медленно угасал он, снедаемый глубокой тоской, которую не могли рассеять даже ласки дочерей. То, что еще оставалось ему от бывшего счастья, лишь горько напоминало о его утрате. Только на пороге смерти на уста его вернулась улыбка. Когда он почувствовал, что сердце его уже леденеет, омраченное заботами чело на мгновение прояснилось; он схватил руки дочерей, поднес их к губам, произнес имена Люсилы и Антонии — и испустил дух.

Г-же Альберти было в ту пору тридцать два года. Она была женщина чувствительная, но чувствительность ее была спокойной, немного сдержанной, не знающей порывов и восторгов. В своей жизни она испытала немало страданий, и ни одно из них не прошло для нее бесследно; но, храня в душе грустные воспоминания, она не поддерживала их намеренно. Она не делала из скорби основного своего занятия и не отвергала чувств, которые способны еще в какой-то степени связать узами тех, кто утратил самые дорогие узы. Она не ставила себе в заслугу свое мужественное смирение: оно было бес-

---

<sup>1</sup> Дом (ит.).

сознательным. Ее воображение, живое и легко возбуждаемое самыми различными причинами, помогало ей находить развлечения и даже искать их. Оставаясь долгое время единственной дочерью, предметом забот всей семьи, она получила блестящее воспитание; но, привыкнув безропотно отдаваться на волю событий и потому редко обращаясь к помощи собственного разума, она судила о явлениях, опираясь больше на воображение, чем на рассудок. Не было женщины менее пылкой и в то же время более романической, чем она, но это объяснялось недостаточным знанием света. К тому же прошлое было столь сурово к ней, что она не могла уже надеяться быть когда-нибудь по-настоящему счастливой; однако по своей натуре она не могла быть и слишком несчастной. Лишившись отца, она стала смотреть на Антонию как на дочь. Собственных детей у нее не было, а Антонии к тому времени только что минуло семнадцать лет. Г-жа Альберти приняла решение заботиться о ее счастье: такую была первая ее мысль, смягчившая горечь всех остальных. Ей неведомо было отвращение к жизни, пока она чувствовала, что может быть еще полезной и любимой.

Мать Антонии умерла от чахотки; сама Антония, по видимому, не страдала этим недугом, нередко передающимся по наследству; но жизнь, которую она почерпнула из материнской груди, где обитала уже смерть, была несовершенной и хрупкой. Между тем роста она была высокого и развитием не отличалась от сверстниц; но была в движениях ее высокого, тонкого стана какая-то беспомощность, которая выдавала ее слабость; наклон ее милой, полной очарования головки, небрежно подстриженные белокурые волосы, сияющее белизной лицо, чуть тронутое нежным румянцем, немного затуманенный взгляд, которому врожденная близорукость придавала тревожное и робкое выражение, становившееся неопределенным и печальным, когда она смотрела на отдаленные предметы,— все в ней говорило о привычном состоянии какой-то болезненности. Она не испытывала никаких страданий, просто она жила как бы неполной жизнью, словно через силу. В детстве ей пришлось испытать немало потрясений, но эта грустная школа жизни не притупила ее чувствительности, не сделала ее недоступной для других, менее глубоких волнений; напротив, она

воспринимала каждое из них с одинаковой силой. Сердце ее, казалось, было пока во власти единственного чувства, и что бы ни случилось — все пробуждало в нем лишь одно и то же горестное воспоминание об утрате отца и матери. Достаточно было поэтому малейшего повода, чтобы пробудить в ней роковую способность страдать чужому горю. Все, что наводило ее на этого рода чувства, исторгало у нее слезы или вызывало внезапный приступ какой-то странной дрожи, которая охватывала ее так часто, что врачи видели в этом признак недуга. Антония, заметившая, что дрожь эта прекращается, как только исчезает вызвавшая ее причина, не разделяла их опасений. Однако из этого и некоторых других обстоятельств она рано сделала заключение, что в ней есть нечто непохожее на других, и мало-помалу пришла к выводу, что в какой-то мере обездолена природой. Это еще больше усилило ее робость, в особенности склонность к уединению, что немало беспокоило г-жу Альберти, которая, как всякий, кто любит, легко поддавалась тревоге.

Гуляя вдвоем по берегу залива, сестры доходили обычно до первых дворцов, с которых, собственно, и начинается Триест. Отсюда взгляду открывается море и далекое побережье, которое близорукая Антония могла только представлять себе по рассказам г-жи Альберти. Не проходило дня, чтобы она не беседовала с младшей сестрой о славных легендах, которыми так богат этот поэтический край, о посетивших его аргонавтах, о Япиге, чье имя носят его жители, о Диомеде и Антоноре, давших им законы.

— Различаешь ли ты там, на горизонте,— говорила она,— за той далекой синей чертой, выделяющейся на более светлой лазури неба, башню, на вершине которой играет отблеск солнечных лучей? То башня могущественной Аквилеи, одной из древних властительниц мира; ныне от нее остались одни развалины. Неподалеку отсюда протекает река Тимава, воспетая некогда Вергилием,— отец часто показывал мне ее в детстве. Вон та горная цепь, которая словно венчает Триест, поднимаясь почти отвесно над его стенами и, начинаясь от селения Опскин, тянется вправо на необозримое пространство, служит и в наши дни прибежищем множеству народов, прославившихся в истории или интересных для нас сво-

ими обычаями. Вон там живут славные тирольцы, которые всегда так нравились тебе своими простыми нравами, мужеством и честностью; вот здесь — приветливые крестьяне Фриуля, чьи сельские пляски и веселые песни известны по всей Европе. А поближе к нам, немного выше мачт стоящих в порту судов, там, над самой крышей лазарета, ты заметила, наверно, горный отрог, нависший над всеми другими; он кажется самым темным из них, и его величественный, суровый вид невольно внушает благоговейный ужас, — это мыс Дуино. На его вершине стоит замок, зубцы которого видны отсюда; он построен, как полагают, в древние времена нашествия варваров; народ и посейчас зовет его замком Аттилы. Во время гражданских войн в Италии там искал приюта Данте, изгнанный из Флоренции. Говорят, что пребывание в этом зловещем месте вдохновило его на замысел его поэмы и что именно там пришло ему на ум описать ад. С тех пор замок попеременно занимали то главари разных партий, то разбойники. Боюсь, что в наш жалкий век он достался в удел какому-нибудь благодушному помещику, который выжил демонов из этих грозных башен, чтобы поселить там голубей.

Таково чаще всего было содержание бесед г-жи Альберти с сестрой, которой она хотела постепенно внушить жажду новых впечатлений, надеясь отвлечь ее таким образом от обычных ее мыслей; но характеру Антонии не хватало упорства, и она не могла долго следовать влечению любознательности. Она была слишком слаба и слишком мало доверяла самой себе, чтобы осмелиться проявить не свойственную ей волю, а так как подавленное состояние казалось ей естественным, она и не помышляла выйти из него. Чтобы вызвать в ней это желание, нужно было нечто совсем иное, нежели простое любопытство. Все в мире ограничивалось для нее местом, где была могила ее родителей, и она не предполагала, что можно стремиться куда-либо дальше.

— Но Бретань, — говорила ей г-жа Альберти, — ведь Бретань — твоя родина.

— Они не там умерли, — отвечала Антония, обнимая ее, — и память о них живет не там.

## II

Это — страшные люди, которым жажда крови не дает уснуть в долгие зимние ночи; они способны зарезать новобрачную ради того, чтобы отнять у нее жемчужное ожерелье.

*Гондола.*

Истрия, которую попеременно то захватывали, то покидали армии различных государств, вкушала как раз те краткие мгновения бурной свободы, которые выпадают на долю слабого народа между двумя завоеваниями. Законы еще не вошли вновь в силу, и бездействующее правосудие оставляло безнаказанными даже прямые преступления, которым беспорядки могли только благоприятствовать. В эпоху больших политических смут знамя злодейства словно сулит известную безопасность; и тот даже, кто мнит себя добродетельным, склонен из осторожности считаться с ним, ибо оно может стать знаменем государственным и мировым. Благодаря многочисленности нерегулярных войск, набранных во имя национальной независимости почти без ведома монархов, граждане свиклись с этими вооруженными бандами, которые то и дело спускались с гор и рассыпались по всему побережью залива. Почти каждая из них воодушевлена была самыми благородными устремлениями и движима искренней самоотверженностью; но вслед за этими мужественными людьми шло то отребье, для которого политические беспорядки служат лишь предлогом; это был союз людей, опасных для любого правительства и одинаково отвергаемых всеми. Будучи решительными врагами общества, люди эти открыто стремились к разрушению всех существующих установлений. На словах они сулили свободу и счастье, но путь их сопровождался пожарами, грабежами и убийствами. Дым пожарищ в десяти сожженных деревнях возвещал о наводящем ужас приближении «братьев общего блага». Так называла себя кровавая шайка Жана Сбогара еще до того, как она поставила себя вне всех обычаев и преступила все законы.

Разбойники уже появились в Санта-Кроче, в Опскине, в Матэрии; уверяли, что они заняли даже замок Дуино и что именно отсюда, с этого высокого мыса, они

под покровом ночи, словно голодные волки, набрасываются на прибрежные деревни, неся с собой ужас и опустошение. Объятое страхом население вскоре устремилось в Триест. Пребывание в Casa Монтелеоне становилось небезопасным. Распространился слух, будто кто-то видел, как сам Жан Сбогар бродил во мраке под стенами замка. Молва наделила его гигантским ростом и внушающей ужас внешностью. Рассказывали, будто один его вид не раз обращал в бегство целые батальоны. Он не был простым крестьянином, уроженцем Истрии или Кرواتии, как большинство сопровождавших его искателей приключений. Среди черни он слыл внуком знаменитого разбойника Социвиска, а люди из общества уверяли, будто он потомок Скандербега, этого Пирра современных иллирийцев. Простой народ, склонный к чудесному, вплеп в историю его жизни самые удивительные и разнообразные приключения; но все сходилось на том, что Сбогар бесстрашен и беспощаден. За короткое время имя его приобрело силу древнего предания, и на образном языке этого народа, для которого величие и могущество всегда неотъемлемо связаны с представлением о преклонных летах, его называли старым Сбогаром, хотя никто не знал, сколько ему лет, и ни один из товарищей его, попавших в руки правосудия, не мог дать о нем каких-либо сведений.

Г-жу Альберти, обладавшую легко возбудимым воображением, а потому весьма восприимчивую ко всему необычайному, Жан Сбогар занимал с того самого мгновения, как это имя впервые коснулось ее слуха; она очень скоро поняла необходимость покинуть Casa Монтелеоне и переехать в Триест; однако, опасаясь впечатлительности Антонии, она скрыла от нее причину предстоящего отъезда. Антонии тоже приходилось слышать разговоры о «братьях общего блага» и их атамане; она плакала, когда ей рассказывали об их преступлениях, но рассказы эти оставляли лишь слабый след в ее памяти, ибо она плохо понимала, что такое злые люди. Казалось, она избегает самой мысли о них, чтобы не быть вынужденной их ненавидеть. Чувство ненависти было ей не по силам.

В местоположении Триеста есть нечто печальное, и оно наводило бы уныние, если бы воображение не отвлекалось великолепием прекраснейших зданий и богатой, ра-



дующей глаз растительностью. Когда-то здесь был лишь голый утес, омываемый морем; но усилия человека заставили природу наделить этот утес самыми драгоценными своими дарами. Стиснутый между безбрежным морем и неприступными горами, он напоминал темницу; искусство человека, одержав победу над бесплодной почвой, превратило его в чудесный край. Этот город — с его зданиями, что амфитеатром поднимаются от самого порта почти до половины склона, откуда, сменяя друг друга, ступенями тянутся вверх фруктовые сады, полные невыразимой прелести, прекрасные каштановые леса, целые заросли фиговых и гранатовых деревьев, мирта и жасмина, наполняющих воздух благоуханием, и венчающими Триест суровыми вершинами Иллирийских Альп — невольно напоминает путешественникам, плывущим через залив, искусный рисунок коринфской капители: корзина цветов, свежих как весна, покоится под утесом.

В этом очаровательном, но отрезанном от мира, безлюдном месте сделано все, чтобы умножить приятные впечатления. Природа подарила Триесту небольшой зеленый дубовый лесок, ставший со временем отраднейшим уголком; на местном наречии его называют Фарнедо, то есть рощица. Никогда еще божества полей, которые превыше всех других стран любили благодатное побережье Адриатического моря, не расточали так много пленительных красот на столь небольшом пространстве. Ко всем остальным прелестям рощицы присоединяется еще и прелесть уединения, ибо житель Триеста, постоянно занятый торговыми сделками с далекими странами, предпочитает вид просторов, безграничных как надежда, и нет для него большего удовольствия, чем, стоя на краю мыса и устремив на горизонт подзорную трубу, искать глазами далекий парус; из Фарнедо же море не видно, и г-жа Альберти часто приводила сюда сестру: только здесь находила она какой-то другой мир, непохожий на тот, в котором до сих пор жила ее питомица, и способный, думала она, пробудить в юном ее воображении жажду нового. Для души впечатлительной Фарнедо кажется лежащим за тысячу лье от городов; а г-жа Альберти старалась развить у Антонии то ощущение бесконечности, которое смягчает преходящие впечатления и делает их менее стойкими и менее опасными. У нее было

уже достаточно жизненного опыта, чтобы понимать, что счастье можно найти только в рассеянии.

К тому же г-же Альберти доставляли живейшее удовольствие празднества, которые устраивались в Фарнедо. Она была воспитана как мужчина, из которого хотят сделать образованного человека, и знала поэтов; не раз мечтала она увидеть аркадские и сицилийские пляски, столь пленительные в стихах. Она вспоминала их, когда видела, как истрийский пастух в своей легкой, развевающейся одежде, разукрашенной бантами и лентами, и широкополой шляпе с букетами цветов на лету приподнимает девушку и вновь опускает ее на траву, а та убегает, закрыв лицо шарфом, чтобы остаться неузнанной, и теряется в другой группе, среди схожих между собой подруг. Порой среди танцующих вдруг раздается голос какого-нибудь искателя счастья, пришедшего сюда с Апеннин и поющего строфы из Ариосто или Тассо, о смерти Изабеллы и Софронии,— и у этого народа, который полностью отдается каждому своему чувству и гордится каждым своим заблуждением, вымысел поэта властно исторгает слезы.

Однажды, когда Антония вместе с сестрой проходила по лесу во время одного из таких празднеств, ее привлек звук какого-то незнакомого ей инструмента; подойдя поближе, она увидела старика, который равномерно водил грубым смычком по какой-то странной гитаре с единственной струной из конского волоса, извлекая из нее хриплые и монотонные звуки, удивительно гармонизовавшие с его низким, мерным голосом. Это были стихи на славянском языке; он пел о бедствиях несчастных далматов, изгнанных нуждой из родной земли. Он импровизировал жалобы о разлуке с отчизной, воспевал красоты милых селений благодатной Макарски, пел о древнем Трагире, о тенистых лесах Курцолы, о Керсо и Оссеро, где некогда Медея разбросала части растерзанного тела Аспирта; о прекрасном Эпидавре, заросшем олеандрами, и о Салонах, которые Диоклетиан предпочел всемирному владычеству. Люди, слушавшие его, сперва взволнованные, а потом растроганные и потрясенные голосом певца, рыдая теснились вокруг него, ибо в нежной и непостоянной душе истрийца всякое сочувствие становится чувством, а всякое чувство — страстью. Одни испускали пронзительные вопли, дру-

гие прижимали к себе жен и детей своих; иные же целовали и грызли зубами песок, словно и их хотели оторвать от родной земли. Изумленная Антония медленно подошла поближе и тут заметила, что старик слеп, как Гомер. Она хотела положить ему в руку просверленную серебряную монетку, зная, что нищие морлаки высоко ценят такие подарки и украшают ими волосы своих дочерей. Старый певец схватил ее руку и улыбнулся, поняв, что перед ним молодая женщина. И тогда, внезапно изменив лад и слова своей песни, он запел о сладости любви и прелести юности. Он уже не сопровождал свое пение игрой на гузле, но отчеканивал стихи свои с еще большим жаром, напрягая голос, словно человек, чей разум помутился от вина или неистовой страсти; притоптывая ногой, он стремительно привлек к себе перепуганную Антонию.

— Цвети, цвети в душистых рощах Пирано, — воскликнул он, — среди виноградников Триеста, благоухающих розами! Даже самый прекрасный из кустарников наших, жасмин, гибнет и отдает во власть ветра свои не распустившиеся еще цветочки, если вихрь занесет его семена в отравленные равнины Неретвы. Так и ты увяло бы, юное растение, если бы росло в тех лесах, где властвует Жан Сбогар!

### III

Холмы внемлют звукам этого страшного голоса; черные скалы и роши содрогаются, услышав его. Народ, вещими снами предупрежденный об опасности, мчится прочь сквозь заросли вереска и зажигает огни в знак тревоги.

*Оссиан.*

Антония медленно возвращалась в город, опираясь на руку сестры; она была молчалива и задумчива. Имя разбойника впервые породило в ее сердце какое-то чувство страха за себя и смутную тревогу за будущее. Когда прежде ей случалось размышлять о судьбе несчастных, которые попадали в руки разбойников, ей никогда

не приходило в голову, что подобная участь может выпасть ей самой, и потому слова старого морлацкого певца, казалось, вдохновенного свыше, потрясли ее, заставив ясно понять, что среди прочих бедствий, которые грозят нам в жизни, возможно и такое ужасное несчастье. Однако эта мысль была настолько лишена всяких оснований, а опасность казалась столь маловероятной, что Антония, у которой обычно не было тайн от г-жи Альберти, даже не решилась поведать ей причину своего смятения. Она прильнула к сестре и прижалась к ней, охваченная дрожью, усилившейся под влиянием надвигающейся темноты, тишины, безлюдья и более всего — от пугающего ее шороха, по временам доносившегося из глубины леса. Тщетно пыталась г-жа Альберти отвлечь сестру от чувств, которые, по-видимому, завладели ею; не зная источника этих чувств, она случайно избрала предмет беседы, который мог лишь дать им еще больше пищи.

— Что за мрачная слава у Жана Сбогара, — сказала она, — как прискорбно, когда люди привлекают к себе внимание такой ценою!

— А между тем кто знает, — отвечала Антония, — не это ли безрассудное желание привлечь внимание послужило причиной стольких безумств и преступлений! Впрочем, — добавила она, быть может, с тайным намерением успокоить себя самое, — в том, что о нем рассказывают, несомненно много преувеличенного. Я склонна думать, что мы немного клеветаем на тех, кого называют злодеями, — мое представление о доброте господиней не совсем согласуется с возможностью столь чудовишной развращенности.

— Ты заблуждаешься по доброте своего сердца, — ответила г-жа Альберти. — Да, ты права, абсолютное зло противно нашему представлению о беспредельной благодати создателя и совершенстве его творения; но он, без сомнения, считал зло необходимым для их гармонии, поскольку вложил это зло во все, что вышло из его рук, наряду с добрым и прекрасным. Почему же ему было не забросить и в общество эти алчные, страшные души, которым доступны лишь убийственные помыслы, подобно тому как он поселил в пустыне злобных тигров и пантер, которые пьют кровь других животных и вечно жаждут ее? Будучи источником всякого

блага, он все же пожелал допустить зло в мире нравственном; но ведь в мире физическом он тоже придал уродливую форму некоторым видам, несмотря на то, что является создателем всего прекрасного и сделал другие творения свои столь привлекательными, когда пожелал того? Разве ты не заметила, что ему угодно бывает отмечать зловредные и опасные существа печатью самого отталкивающего безобразия? Помнишь того белого как снег ястреба особой породы, которого привез с Мальты один из поверенных отца? На первый взгляд в нем нет ничего отвратительного; ничто не может быть чище и изящнее его оперения; увидев его сзади, сидящим на одной из могильных плит, разбросанных по кладбищу, где обычно он отдыхает, так и хочется подойти поближе, чтобы хорошенько рассмотреть его; когда же он обернется, подпрыгивая на тоненьких своих ножках, и уставится на тебя глазами, горящими кровавым огнем, окаймленными широкой, мертвенно бледной пленкой, придающей ему вид призрака,— ты содрогнешься от ужаса и омерзения. Я убеждена, что это применимо и ко всем злодеям и что под самой приятной внешностью в них с первого взгляда обнаруживается та явственная печать отверженности, которой отметил их господь, создав для преступления.

— Судя по всему,— сказала Антония, сияясь улыбнуться,— твое воображение наделяет атамана «братьев общего блага» не слишком-то обольстительными чертами; странное, как видно, у тебя представление о красоте Жана Сбогара.

Г-жа Альберти, которая чрезвычайно легко представляла себе все, что поражало ее мысль, и уже немедленно нарисовала себе образ самого свирепого из разбойников, собралась было ответить сестре, когда позади них, за поворотом дороги, послышались чьи-то торопливые шаги. Было уже совсем темно, и все гулявшие успели возвратиться в свои домики, разбросанные здесь и там по амфитеатру гор. Сестры, дрожа, остановились, томимые предчувствием, которое навели мрачные образы, пронесшиеся только что перед их взором. Они прислушивались, затаив дыхание, не двигаясь с места. Но испуг их сменился приятным волнением, когда они услышали чей-то голос, нежный и мелодичный,— один из тех голосов, которые обладают счастливым даром смяг-

чать тревогу и переносить душу в край более спокойный, к жизни более совершенной.

Это был юноша. Об этом можно было судить по мягкости и свежести его голоса. Он был закутан в короткий, по венецианской моде, плащ, на голове у него была шляпа с загнутыми вверх полями и развевающимся пером, и он шагал высоко над тропинкой, или, вернее, перелетал со скалы на скалу, подобный ночному призраку, повторяя припев слепого старика:

— ...если бы росло ты, юное растение, в тех лесах, где властвует Жан Сбогар, жестокий Жан Сбогар.

Дойдя до более высокого утеса, выделявшегося своей белизной на темных очертаниях горы, он остановился, и песня его внезапно оборвалась; после минуты тишины на том месте, где он стоял, раздался дикий вопль, такой скорбный, такой грозный и в то же время жалобный, что, казалось, его издает не человеческий голос. И в тот же миг этот яростный стон, подобный стону гиены, потерявшей детенышей, повторился в двадцати различных уголках леса; затем неизвестный исчез, снова запев свою песню.

Антония не могла успокоиться, пока они не вошли в город, и на протяжении всего пути давала себе обещания никогда не уходить так поздно из Фарнедо. Однако, размышляя позднее об этом происшествии, она осуждала себя за свой страх и находила всякие разумные объяснения всему, что так взволновало ее тогда; но ее слабость и робость вскоре снова взяли верх над доводами рассудка. Не находя выхода для своей чувствительности, она все больше и больше предавалась вымышленным ужасам. Она терялась в каком-то ощущении неопределенности, в ней росло чувство страха перед всем миром, страха, который с каждым днем становился сильнее вследствие ее одиночества, недоверчивости, полной оторванности от людей; иногда это расстройство мыслей, вызванное страхом, доходило до какого-то безумия, которого она стыдилась и пугалась. Г-жа Альберти замечала это с чрезвычайной скорбью. Но, верная своей системе, она все еще рассчитывала найти способ отвлечь мысли сестры, пока счастливая и законная привязанность не отвлечет ее сердца. Это была последняя, к тому же самая приятная и, по ее мнению, самая верная надежда. И действительно, никогда не надо отчаи-

ваться за тех, кто не знал еще чувства любви: они живут пока неполной жизнью, и часто случается, что чувство это, восплотив их жизнь, решает и всю их дальнейшую участь.

#### IV

И вот появляются странные, всеми ненавидимые, беснующиеся существа; и невозможно понять, кто это — люди или бесы, и что породило подобное наваждение — бодрствование во сне или сон наяву.

*Де Ланкр.*

Прогулки в Фарнедо не прекратились; но только теперь г-жа Альберти старалась уходить туда пораньше и возвращаться в Триест еще до заката солнца. Лето было знойное, и тенистая листва дубов едва давала достаточно прохлады, чтобы умерить солнечный жар, когда африканский ветер дул над заливом. Огромные тускло-желтые и все же ослепительные облака громоздятся в какой-нибудь одной стороне неба, катятся и низвергаются, подобно огненным лавинам, с гигантских вершин, стелятся по небу, расплаываются и замирают. Глухой гул сопровождает их и стихает, когда они останавливаются. Вся природа цепенеет тогда от страха, подобно животному, которому грозит гибель и которое прикидывается мертвым, чтобы избежать смерти. Ни один лист не дрогнет, ни одно насекомое не прожужжит в неподвижной траве. Если обратить взор туда, где должно быть солнце, то увидишь, как в косом столбе бесчисленных светящихся пылинок пляшут частицы той мельчайшей пыли, которую сирокко принес из пустыни и о происхождении которой можно догадаться по кирпично-красному оттенку. А больше не видно никакого движения — только коршун кружит высоко в небе, издали намечая свою жертву, обессилевшую под тяжестью этой гнетущей атмосферы. Не слышно ни одного голоса — только пронзительный, жалобный рев хищных зверей, которые охвачены свирепым инстинктом и, думая, что настал конец света, требуют останки обреченных им жертв. Сам человек, несясь на свою

нравственную силу, отступает перед этой мощью, с которой никогда не пытался вступить в единоборство. Благородное чело его клонится к земле, ноги слабеют и подкашиваются; утратив мужество и бодрость, он опускается на землю в непреодолимом томлении и ждет, чтобы благотворный воздух вновь вдохнул в него жизнь, вернул мысли ее ясность, крови — жар и принес всей природе обновление.

Г-жа Альберти с Антонией часто отдыхали под сенью деревьев в живописном уголке, откуда видна часть Триеста до самой греческой молельни и где земля покрыта короткой и свежей травой, которая так и манит вкусить отдых. Хрупкий организм Антонии плохо сопротивлялся действию сирокко, и однажды она уснула здесь, в то время как сестра ее собирала цветы неподалеку, плетя для нее венок из мелкой голубой вероники, по примеру истрийских девушек, делающих это весьма искусно. Так как ей недоставало цветов, чтобы доплести его, она вышла за ограду; когда же она спохватилась, что отошла слишком далеко от сестры, то уже не могла найти это место, и каждый шаг уводил ее все дальше от него. Сначала эти поиски забавляли г-жу Альберти, и она не видела в них ничего страшного. Затем она стала немного беспокоиться, и тревога, ускоряя ее шаги, лишала их уверенности. Наконец беспокойство это сменилось еще более тягостным чувством, которое отступило, однако, перед доводами рассудка. Самым верным средством найти сестру было громко окликнуть ее; но это потревожило бы ее отдых и могло оказаться опасным для этой нервной, впечатлительной натуры, всегда болезненно воспринимавшей всякую неожиданность. Напротив, куда проще было предположить, что Антония, проснувшись, сама окликнет сестру, еще не успев испугаться ее отсутствия. Успокоенная этой мыслью, г-жа Альберти села и продолжала плести венок.

Меж тем Антония действительно проснулась. Сон ее был внезапно прерван легким шорохом, пронесшимся неподалеку в листве; приоткрыв веки и отведя немного руку, которая защищала ее глаза от света, она сквозь кудри, падавшие ей на лицо, увидела двух мужчин, внимательно глядевших на нее; ее слабому зрению они показались какими-то особенно страшными. Один из



них — широкий султан, ниспадавший со шляпы, закрывал его лицо — опирался на другого, который сидел подле него на земле, поджав под себя ноги, как сидят обычно отдыхающие рагузцы. Антония, охваченная страхом, вновь закрыла глаза и затаила дыхание, чтобы ее вздымающаяся грудь не выдавала волнения, которое она испытывала.

— Вот она, — сказал один из незнакомцев, — вот девушка из Casa Монтелеоне, которая решила мою судьбу.

— Хозяин, — отвечал ему второй, — вы то же самое говорили о дочери горского князя, у которого мы перебили столько людей, и о любимой рабыне того турецкого пса, который заставил нас заплатить за крепость Читима такой дорогой ценой. Клянусь святым Николаем, если бы нам вздумалось столько же сделать ради того, чтобы покорить Валахию, вы бы теперь были господарем и нам не приходилось бы...

— Замолчи, Жижка, — ответил тот, кто заговорил первым. — Твои дурацкие возгласы разбудят ее, и я лишусь счастья созерцать ее — счастья, которым никогда уже, быть может, не смогу более наслаждаться. Остерегайся же потревожить даже воздух, окружающий ее, не то я покараю не только тебя, но и твоего старика отца, который горько раскается, что зачал тебя. Смеешься, Жижка... Согласись, однако, что моя Антония прекрасна...

— Недурна, — сказал Жижка, — но все же не настолько, чтобы так расслабить мужское сердце и задерживать целый отряд храбрецов в рощице для гулянья, где ничем не разживешься. Хозяин, — продолжал он, поднимаясь, — куда прикажете отнести эту девчонку?

Антония вздрогнула, и рука ее невольно опустилась на грудь.

— Несчастный! — приглушенным шепотом воскликнул хозяин Жижки. — Кто просит тебя о твоих гнусных услугах? Знай, что девушка эта — супруга моя перед богом, и я поклялся, что никогда рука смертного, даже моя собственная рука, Жижка, не сорвет ни единого цветка с ее венца девственности! Нет, никогда не будет у меня с ней общего ложа в этом мире... Что я говорю? Ах! Если бы я узнал, что наступит день, когда губы мои осквернят эти невинные уста, приоткрывавшиеся

только в ответ на чистый отцовский поцелуй, я бы выжег их каленым железом. Наша юность была взлелеяна на буйных и неистовых помыслах; но эта девушка священна для моей любви, и ни один волос не упадет с головы ее. Пойми, моя душа устремлена к ней, парит над нею, следует за ней по краткой этой жизни сквозь все козни людей и судьбы,— и в то же время она не замечает меня. Это моя победа над вечностью; и раз моя жизнь загублена, раз я лишен права разделить ее с таким благородным и нежным созданием, как она, я завладею ею навечно. Клянусь тем сном, который она сейчас вкушает,— последний сон ее соединит нас, и она будет спать подле меня до самого обновления мира.

Воанение Антонии все возрастало, однако постепенно к нему стало примешиваться и любопытство. Ей захотелось взглянуть на говорящих, но слабые глаза плохо служили ей; она слегка приподняла голову — незнакомцы уже удалялись. Она встала и устремила глаза на то место, где только что звучали их голоса; она увидела одного из них; согнувшись, он пробирался сквозь кусты. Он показался ей отвратительным.

Едва неизвестные скрылись, как г-жа Альберти, привлеченная шумом, вышла к дубу, под которым уснула Антония. Она выслушала рассказ сестры, но не поверила ему, приняв его за видение или сонную грезу, ибо слишком часто уже убеждалась в слабости рассудка Антонии. Однако сама эта мысль ее чрезвычайно расстроила. Антония между тем превратно поняла причину ее волнения. Жалость, которую обычно внушает помутившийся разум, она сочла за сочувствие, вызванное грозящей опасностью. Она была вся во власти охвативших ее представлений, и ее обычное беспокойство превратилось теперь как бы в навязчивую идею.

— Так что ж, несчастная! — воскликнула наконец г-жа Альберти. — Кем же, по-твоему, ты любима? Уж не приспешником ли каким-нибудь Жана Сбогара? Прости меня, господи!

— Жана Сбогара, — повторила Антония, отпрянув, словно она наступила на ядовитую змею. — Может быть.

После этого прогулки в Фарнедо стали уже невозможны. Антония почти перестала выходить из дому. Только иногда, когда ее душевный покой не был нарушаем страхом, предмет которого сестра ее считала иг-

рой воображения, она отправлялась одна в порт подышать свежим вечерним ветерком. Иногда, остановившись под стенами дворца св. Павла, она старалась разглядеть оттуда тот самый замок Дуино, о котором так часто говорили ей отец и сестра. Вступив на мол, откуда он был виден лучше всего, Антония как-то бессознательно доходила до того места, где дорога заканчивалась небольшой насыпью; здесь стояла узенькая скамейка, обращенная к морю, на которой мог поместиться только один человек. Ей нравилось это безлюдное место между населенным городом и пустынным морем. Здесь ей не было страшно. Она любила смотреть, как после туманного дня вода в заливе начинает заметно прибывать, как внезапно разрывается то здесь, то там ее иссиня-серая поверхность и пенистые валы, громоздясь друг на друга, устремляются к берегу, как волна вздымается, вскипает и рушится под другой, набегающей вслед за ней, и, поглощая ее, уносит к еще более далеким волнам; как морские чайки то взмывают вверх, исчезая из глаз, то падают, вращаясь подобно веретену, выскользнувшему из рук пастушки, и носятся над самой водой, касаясь ее крылами, или словно бегут по ее поверхности.

Однажды, задержавшись дольше обычного, Антония, зачарованная лунной ночью, которая никогда еще, казалось, не была столь безмятежно ясной, любовалась сиянием мирного светила, струившимся с горных вершин серебристой пеленой, едва тронутой голубоватым отливом. Этот неподвижный свет луны словно сочетал воедино и землю, и море, и небо. Среди безмолвия побережья, нарушаемого лишь каждый час сигналами береговой стражи, слышалось только шуршание волн, тихо плескавшихся у ног Антонии, да постукивала привязанная к краю мола шляпка, которую море равномерно ударяло о берег. Мысли Антонии, растворившись в туманной беспредельности, подобные стихии, раскинувшейся перед ее глазами, увели ее далеко от окружающего мира, когда внезапное ощущение испуга вновь повергло ее в прежнее состояние тревоги. Это ощущение было вызвано воспоминанием, возникшим стремительно, как молния, по какой-то несбъяснимой связи мыслей с воспоминанием о том, что случилось с ней во время последней прогулки в Фарнедо, о загадочном появлении

человека, присвоившего себе право на ее жизнь. И такова сила воображения, что Антония тотчас же ясно представила себе эту сцену, и через мгновение все чувства ее, введенные в заблуждение, находились уже во власти иллюзии. Ей казалось, что она вновь все это видит и слышит. Яркий свет, внезапно блеснувший со стороны Дуино и сопровождавшийся глухим взрывом, нарушил это наваждение, но полностью иллюзия не рассеялась. Сердце Антонии сильно билось. Холодный пот струился с ее лба, беспокойный взгляд искал по сторонам кого-то, кого она страшилась увидеть; слух ее внимал безмолвию, которое раздражало своей беспредельностью. Ей хотелось, чтобы какой-нибудь реальный повод для боязни рассеял этот беспричинный страх. Она напрягла все свое внимание, и ей показалось, что рядом с ней кто-то вполголоса разговаривает. Она поднялась и снова села; колени ее дрожали. Голоса зазвучали несколько громче и в то же время приблизились. Антонии показалось, что она узнает голос рагузца, который спрашивал тогда в лесу: «Куда прикажете отнести эту девочку?» И в то же мгновение ей почудилось, что он опять произнес те же слова. Антония с трудом убедила себя, что все это не сон; она наклонилась, чтобы лучше слышать. Но, как видно, эти слова не были произнесены до конца или же их повторили вновь. Только теперь она отчетливо услышала их.

— Лучше смерть! — ответил другой голос, более громкий и прозвучавший еще ближе к ней. Она заключила из этого, что от говорящего ее отделяет лишь узкий выступ стены, стоявшей под углом к молу; еще немного, и она могла бы почувствовать его дыхание. Она поспешно отпрянула на другой конец скамейки и в это время увидела двух мужчин — они прыгнули в маленькую шлюпку и отплыли, сильно налегая на весла. Луна скрылась за жемчужно-серыми облаками, постепенно разлетавшимися на густые хлопья. Луч ее упал на чели и осветил белый султан, свешивавшийся со шляпы одного из путников и развевавшийся по ветру. Больше Антония не разглядела почти ничего. Торопясь вернуться в город, она в две-три минуты пробежала мол и как тень проскользнула мимо часового, стоявшего опершись на ружье.

— Храни вас господь, синьора, — сказал он ей. — Поздний час для девушки.

— Я думала, что на молу, кроме меня, никого нет,— ответила она.

— Конечно, никого,— сказал солдат.— Вот уже целый час, как сюда не подходила ни одна живая душа, разве уж только сам дьявол или Жан Сбогар.

— Сохрани нас небо от Жана Сбогара! — воскликнула Антония.

— Да услышит вас господь,— ответил солдат, перекрестившись.

В то же мгновение пушка вторично ударила со стороны Дуино.

Рассказ Антонии был встречен столь же недоверчиво, как и в первый раз. Было слишком очевидно, что сострадательное и скорбное внимание, с которым его выслушала сестра, не имело ничего общего с сочувствием, которое проявляют, когда верят. Пораженная этим, Антония стала настаивать на своем с благородным спокойствием, которое удивило, но тем не менее не убедило г-жу Альберти. Оставшись одна, Антония закрыла глаза руками и с глубокой горечью стала размышлять о своем положении.

Еще в детстве сложилось у нее мнение о том, что она не такая, как все, что она обездолена природой — теперь оно подтверждалось отношением к ней близких и окончательно укрепилось, доведя до крайности недоверчивость и пугливость, составлявшие сущность ее характера. Ее слабость была своего рода нравственной болезнью, которую нетрудно излечить уходом и чуткостью, на что г-жа Альберти вполне была способна; однако она видела в недуге сестры нечто иное, и ее недоверие, как она ни боролась с ним, только возрастало от ее усилий. Антония была единственной ее мыслью, надеждой, любовью и целью ее жизни. Видеть, как все взлелеянные надежды рушатся из-за неизлечимого помрачения ее рассудка, значило для г-жи Альберти почти то же, что потерять эту любимую дочь. И как только появлялось основание опасаться последнего несчастья, она делала все, чтобы убедить себя, что оно невозможно. В роковом заблуждении, подсказываемом ей любовью, она отгоняла прочь преследовавшие ее мысли, потому что они убили бы ее; столкнуться с ними лицом к лицу, холодно сбдумать их, отдать себе в них полный отчет было слишком опасно,— и она не смела на это

решиться. Ей удалось отвлечься от этих подозрений, но не избавиться от них. Впрочем, воображение ее, живое и упорное во всех своих представлениях, сохранявшее по какому-то бессознательному и непреодолимому выбору именно те, верить которым было особенно тяжело, почти никогда не изменяло своим первым впечатлениям. Итак, сестры смотрели друг на друга с умилением, которое происходило у одной от избытка работы, у другой — от избытка заботливости и делало их обеих одинаково несчастными.

## V

О боже правый! Верша суровое свое правосудие, не смешивай виновного с невинным. Порази, порази эту давно уже осужденную голову: она отдастся на суд твой; но пощади эту женщину и это дитя, оставшихся одинокими на трудных и опасных путях земных! Уже ли не найдется среди светлых духов, первых творений рук твоих, милосердного ангела, благосклонного к невинным и слабым, который захотел бы неотступно следовать за ними в облике пилигрима, дабы защитить их от бурь мирских и отвести от сердец их острый кинжал разбойников?

*Молитва путника.*

В это время весьма важные дела, оставшиеся после смерти отца ее неразрешенными, потребовали присутствия г-жи Альберти в Венеции. Она сочла это обстоятельство как нельзя более удачным для Антонии, вновь убедив себя, что при том состоянии, в котором находится сестра, полная перемена обстановки и образа жизни поможет ей избавиться наконец от тех пагубных впечатлений, которые помutilи ее рассудок и, казалось, были внушены ей местностью и воспоминаниями. Большое состояние, которым они располагали, открывало им возможность испытать в этом богатом и великолепном городе все удовольствия, доставляемые ро-

скошью и искусствами, собранными здесь со всех концов света, а этот новый вид впечатлений, питаемых скорее воображением, нежели чувствительностью, представлял для легковозбудимой души несравненно меньшую опасность, нежели волнения, порожденные созерцанием естественных красот вселенной, внушительная величавость которых подавляет мысль. Итак, поездка в Венецию была решена; никакая другая новость не доставила бы Антонии большей радости. Триест казался ей теперь чем-то вроде волшебного дворца, где, живя под непрестанным наблюдением невидимых соглядатаев, она всецело зависит от милости некоего неведомого тирана, полновластного господина ее свободы и жизни, и где он уж несколько раз был готов оторвать ее от близких, чтобы перенести в какой-то новый мир, о котором она не могла подумать без содрогания, и завтра, быть может, осуществит свое роковое намерение, если только providение не скроет ее от его глаз. Надежда избавиться от этого постоянно преследующего ее страха быстро оказала свое действие и в несколько дней вернула Антонию всю свежесть и грацию юности, поблекшие от непрестанной тревоги. На устах ее вновь заиграла улыбка, чело стало спокойнее; больше пылкой откровенности и ласковой непринужденности появилось в ее беседах с сестрой; г-жа Альберти, обрадованная тем, что уже одно ожидание отъезда дает результаты, явно подтверждающие ее предположения, делала все возможное, чтобы ускорить его. Однако отъезд пришлось отложить до того дня, когда собрались все путешественники, следовавшие в этом направлении, с тем чтобы служить друг другу конвоем, ибо проезжие дороги не были достаточно безопасны. Карета г-жи Альберти оказалась девятой на месте сбора — на песчаном плоскогорье Опскина, откуда взору открываются залив и неровные очертания окаймляющих его дюн. Антонию и ее сестру сопровождали священник, приказчик, старый доверенный слуга и две горничные. Внутри кареты оставалось еще одно свободное место. Тронулись в путь уже на исходе дня, ибо все утро дул бóра, заставляя опасаться одного из тех ураганов, с которыми нельзя безнаказанно шутить в высоких горах Истрии, откуда они сметают увесистые глыбы, сбрасывая их на дно пропастей. Караван был, впрочем, достаточно многочисленным, чтобы не

бояться разбойников, даже если в дороге его застигнет полнейшая темнота; заночевать рассчитывали только в Монтефальконе, расположенном в нескольких лье от Триеста, на поэтических берегах Тимава. Погода к вечеру вдруг разгулялась, воздух стал свежим и чистым, небо безоблачным. Экипажи медленно двигались друг за другом по крутым и неровным склонам Триестских гор, сквозь обширные чащи, усеянные скалами, высокие и острые гребни которых поднимаются то здесь, то там из низкорослых сухих мхов. Единственная зелень, которую можно там заметить,— это глянцеви́тые листья па-дуба да кое-где кусты терновника, раскинувшие по песку свои покрытые шипами стебли. У подножия горной цепи виднеется несколько домиков самого жалкого вида, крыши которых с нагроможденными на них камнями свидетельствуют о разрушениях, причиняемых здесь ветром, несмотря на множество часто бесполезных препятствий, поставленных повсюду, где он обычно свирепствует.

Это была деревушка Сестиана, населенная лодочниками и рыбаками.

Пека отдыхали лошади, которым пришлось долго спускаться по крутой и скользкой дороге, то и дело сдерживая экипажи, наезжавшие на них всей своей тяжестью, к карете г-жи Альберти подошел старик, хозяин постоянного двора Сестианы, и попросил ее, христианского милосердия ради, подвезти до Монтефальконе изнемогавшего от усталости бедного путника, который уже не в состоянии продолжать свой путь пешком. Это, сказал он, молодой монах из армянского монастыря, что расположен на венецианских лагунах; он возвращается из миссии; его открытое и приветливое лицо неволью вызывает симпатию. Г-жа Альберти и ее сестра никогда не могли бы отказать в подобной просьбе, даже если бы у них было на то основание. Дверца открылась, и армянин, поддерживаемый добрым стариком, просившим за него, поставил ногу на ступеньку кареты и, пробормотав несколько слов благодарности, с трудом добрался до предназначенного ему места. Его рука, белая и нежная, словно у девушки, невзначай оперлась о руку г-жи Альберти, но он тут же поспешно отдернул ее; и, увидев, что карета почти полностью занята женщинами, он опустил на лицо громадные поля своей круг-



лой войлочной шляпы, раньше чем кто-либо успел разглядеть его. Вскоре после этого караван вновь пустился в путь. К этому времени уже совсем стемнело.

Путь между Сестианой и Дуино весь покрыт легким песком, мелким и сыпучим, разлетающимся из-под колес, в котором карета, то вздымаясь вверх, то вновь в него погружаясь, качается, словно на волнах. В неверном и обманчивом сиянии вечерних светил яркий блеск серебристого песка и туманная ширь горизонта, очерченного не столь четко, как днем, и расплывающегося во всей неопределенности этого сумрака, подобно безграничному морю, еще усиливает эту иллюзию. Кажется, будто лошади идут вброд по пространству, затопленному горными потоками. Антония, сидевшая в углу кареты, подняла стекло со своей стороны и вдыхала холодный, но бодрящий ночной воздух, наслаждаясь этим своеобразным обманом чувств. Лошади, с трудом продвигаясь по ускользавшему из-под их копыт глубокому песку, шли чрезвычайно медленно, и она ясно видела все, что происходило снаружи. Несколько раз Антонии, которой достаточно было малейшего повода для беспокойства, мерещилось, будто какие-то странного вида тени мелькают в неясной дали, простирающейся перед ней; испуганная, она всякий раз, затаив дыхание, прислушивалась — не сопровождается ли это движение шумом, как должно было быть, если только это не было обманом зрения. Вдруг кучер, который, возможно, испытывал подобное же чувство или боялся поддаться дремоте, затянул далматскую песню — своеобразный романс, не лишенный очарования для привычного слуха, но поражающий своим необычным и диким характером того, кто слышит его впервые; модуляции его столь причудливы, что одни лишь местные жители владеют их секретом, однако напев чрезвычайно прост, ибо состоит из одного лишь мотива, повторяющегося до бесконечности, по обычаю первобытных народов, да из двух-трех звуков, чередующихся все время в том же порядке; однако сама природа этих звуков, издаваемых словно не человеческим голосом, кажется непостижимой: с помощью приема, сходного с тем, которым пользуются французские жонглеры, называемые чревоушателями, но совершенно естественного для иллирийского певца, эти звуки поминутно меняют тембр, силу и источник.

Это последовательное и стремительное подражание то самому глухому шуму, то самому пронзительному крику, в особенности же всем тем звукам, которые слышатся по ночам жителю пустынной местности в вое ветра, в свисте бури, в реве охваченных ужасом животных, в этом созвучии жалобных воплей, несущихся из безлюдных лесов перед ураганом, когда все в природе обретаёт голос и стоном стонет даже ветка, надломленная ветром, но не оторванная еще от родимого дерева, которая со скрипом раскачивается, повиснув на обрывке коры. Порою громкий, полнозвучный голос раздаётся совсем рядом; порою кажется, будто он гремит где-то под сводами, а иногда — будто воздух вознес его за облака и развеял в небесах, где он звучит столь чарующе, что ни одна мелодия, созданная человеком, не сравнится с этими звуками. Однако эта небесная музыка не обладает той безмятежностью, той умиротворяющей непорочностью, которую мы приписываем музыке ангелов, даже тогда, когда она больше всего приближается к ней: напротив, она сурова для человеческого сердца, ибо размышления, пробужденные ею, полны бурных воспоминаний, страстных чувств, тревог и сожалений; но она притягивает, увлекает, покоряет внимание, удерживая его в своей власти. Она напоминает то страшное и сладостное пение морских волшебниц, при звуках которого путешественников охватывало оцепенение, которое увлекало корабль на подводные камни, к неминуемой гибели. И чужестранец, наделенный пылким воображением, которому хоть раз довелось услышать где-нибудь на берегах Далматии вечернюю песню морлацкой девушки, дарящей ветру звуки, которым не способно обучить никакое искусство, не сумеет подражать никакой инструмент и не в силах передать никакие слова, поймет чудо с сиренами в «Одиссее» и, улыбнувшись, простит Улиссу его заблуждение.

Антония, которая, как это обычно свойственно всем слабым душам, испытывающим потребность в покровительстве, а главное, в любви (что, возможно, для них одно и то же), а потому охотно устремляющимся за пределы, поставленные природой, больше чем кто-либо способна была наслаждаться теми таинственными явлениями, что придают жизни двойственный характер и открывают уму некий новый мир. Она не верила в существо-

вание сказочных существ, занимающих такое значительное место в суевериях ее отчизны и удочерившей ее страны — ни в угрюмых великанов, царствующих на вершинах гор, где порой их можно увидеть восседающими среди туч с огромной сосной в руках, ни в сильфов, еще более воздушных, чем воздух, живущих в чашечках цветка и которых зефир, пролетая, уносит с собой; ни в ночных духов, что охраняют клады, спрятанные под скалой, перевернутой верхушкой вниз, или бродят вокруг, чтобы отвести воров, зажигая на пути их неверный огонек, который взвивается, падает, гаснет, чтобы снова разгореться, исчезает и вспыхивает вновь; но она любила эти сказки, и морлацкое пение, которому она не раз с удовольствием внимала, всегда воскрешало их в ее памяти. Она с живым, неотступным интересом прислушивалась к песне, как вдруг внимание ее было отвлечено необычным движением кареты, которая, покачнувшись, внезапно остановилась. Лошади попятись, и морлацкая песня замерла на устах кучера.

— Пока монах садился в нашу карету, передние экипажи ушли далеко вперед, — сказал он, — а дорога, если я не ошибаюсь, перерезана разбойниками.

— Что он говорит? — вскричала г-жа Альберти, бросаясь к дверце кареты.

— Что мы в руках разбойников, — ответила Антония, вновь откинувшись в угол и дрожа от страха.

— Разбойников! — с ужасом повторили г-жа Альберти и все те, кто был в карете.

— Да, разбойников! Мы погибли! Пропали! — продолжал кучер. — Это они, это шайка Жана Сбогара, а вон и этот проклятый замок Дуино, которому суждено стать нашей общей могилой.

— Клянусь святым Николаем Рагузским, — неожиданно произнес армянский монах проникновенным и страшным голосом, — не раньше, чем земля разверзнется под нашими ногами!

С этими словами он бросился в толпу разбойников. И в тот же миг раздался тот самый дикий вопль, что так напугал Антонию в Фарнедо. В ответ ему послышались тысячи ужасных голосов, повторяющих этот крик. Дверца захлопнулась за монахом; стекла были спущены, лошади стояли неподвижно, в карете царил мертвая тишина; лишь глухой шум доносился теперь сна-

ружи. Шум этот все больше отдалялся, и вдруг послышался свист бича, лошади тронулись и помчались вскачь с такой резвостью, словно это предупреждение подействовало на них как заклинание. Они остановились только тогда, когда догнали остальных путешественников.

— А как же армянин! — восклицала Антония, наполовину высунувшись из окошка. — Ведь этот благородный, храбрый юноша пожертвовал собой ради нас... Боже мой! Боже мой! Неужели мы бросили его убийцам! Это было бы страшным делом!

— Страхным! — горячо повторила г-жа Альберти.

— Успокойтесь, сударыни, — ответил кучер, который слез теперь с козел и обрел прежнее спокойствие. — Этому монаху нечего бояться убийц, они не имеют над ним власти; и, да будет вам известно, это он велел мне погнать лошадей и вернул мне для этого силы и голос: недаром они так помчались, вы заметили? А что до него, то я разглядел его совсем близко, клянусь вам: ведь разбойники стояли вплотную вокруг меня, а он бросился между ними и мною и был так грозен, что некоторые из них попадали со страха, а остальные пустились наутек, даже не оглянувшись. Не прошло и минуты, как он остался один и стоял подле меня, подняв руку, словно повелевая. «Пошел!» — крикнул он мне таким властным голосом, что кровь застыла бы у меня в жилах, если бы он был в гневе; но это был голос заступника, тот голос, которым он всегда говорит с моряками...

— С моряками? — повторила г-жа Альберти. — Так ты, стало быть, знаешь этого армянина?

— Знаю ли я его? — ответил кучер. — Да разве он сам не назвал себя, когда крикнул: «Клянусь святым Николаем Рагувским!» Какой же другой святой испытывает путников и вознаграждает их? И какой другой святой мог бы одним словом, жестом, взглядом разогнать целую шайку разбойников, у которых в руках меч, а в сердце ярость и которые только и жаждут опасности, золота и крови? Скажите на милость!

Кучер умолк, глядя на небо, которое словно прорезала внезапная вспышка. Пушка грохотала в Дуино.

## VI

Одни зовут его Великим Моголом, другие — пророком Ильей. Это — человек необыкновенный, вездесущий, никому не ведомый и которому никто не желает зла.

Льюис.

Это объяснение не всех удовлетворило. Г-же Альберти приходили в голову многие другие, и каждое из них, в свою очередь, казалось ей приемлемым. Антония не искала никаких объяснений этому происшествию, но находила в нем все, что могло питать ее мрачные и мечтательные размышления. В таком расположении духа продолжала она это путешествие среди заколдованных равнин, по которым и дальше пролегал их путь. На следующий день она увидела веселую Горицу, богатую цветами и плодами, которая уже издали радует взоры путника, только что покинувшего бесплодные пески истрийского побережья. Воспоминания об античности как бы сами собой рождаются на этой возвышенности, излюбленной природой, и так легко сохраняются здесь, что кажется, будто живешь еще в поэтическом царстве мифов. Здесь, под сенью беседок, посвященных грациям, гуляют красавицы, охотники собираются в роще Дианы и в поисках дичи спускаются в поля, тянущиеся вдоль Изонцо, самой очаровательной из рек Италии и Греции, несущей по теснине, меж гор серебристого песка, свои небесно-голубые воды, такие же чистые, как отражаемые ими небеса, у которых им не приходится заимствовать блеск; когда небо затянуто тучами, житель Горицы вновь обретает его лазурь в прозрачном зеркале Изонцо. На следующий день Антония увидела прелестные каналы Brenty, окаймленные богатыми дворцами, и скромную деревушку Местр — связующее звено между частью Европы и городом, равно которому нет во всей Европе, — великолепной Венецией, само существование которой является чудом. Было раннее утро, когда лодка, которая должна была доставить в Венецию г-жу Альберти, Антонию и тех, кто сопровождал их, вышла из Brenty в морские воды. Тихо скользила лодка по неподвижной воде мимо вех, указывающих путь гребцам. На одном из островков, кото-

рыми усеяна эта часть лагуны, г-жа Альберти заметила белый домик очень простой постройки. Ей сказали, что это монастырь армянских католиков, и Антония вздрогнула, сама не понимая своего волнения. Наконец на горизонте темным силуэтом стала вырисовываться Венеция с ее куполами, зданиями и лесом корабельных мачт; затем она посветлела, развернулась и словно раскрылась навстречу лодке, которая долго еще пробиралась среди судов разных размеров, пока не вошла в особый канал, на котором стоял дворец Монтелеоне, незадолго до этого приобретенный г-жой Альберти. Одно печальное обстоятельство несколько задержало их прибытие на место: канал был запружен гондолами, которые сопровождали погребальное шествие. Хоронили, очевидно, молодую девушку, ибо гондола, на которой стоял гроб, была задрапирована белым и усыпана букетами белых роз. На каждом конце ее горело по два факела, и свет их, затмеваемый восходящим солнцем, казался синеватым дымком. На гондоле был только один гребец. Священник, стоя на носу гондолы, лицом к гробу, с серебряным крестом в руках, тихо читал заупокойную молитву. Напротив него горько плакал какой-то юноша в черном, преклонивший колени у изголовья гроба; в звуках его сдавленных рыданий было что-то душераздирающее; это был, очевидно, брат покойной. Его горе было столь сильным и глубоким, что оказалось бы смертельным, будь оно вызвано другим чувством. Влюбленный не стал бы плакать.

Эта встреча, показавшаяся недобрым предзнаменованием, немного взволновала чувствительную Антонию, но первое же новое впечатление заставило ее позабыть эти суеверные мысли. Она была около сестры, у нее не было никаких оснований тревожиться за будущее, напротив, все окружающее сулило ей спокойную жизнь, ненарушимую безмятежность, словом, такое счастье — если только оно возможно для нежных душ, сострадающих всем горестям человечества, — какое мало кому суждено испытать. Антония остановилась мыслью на своем будущем: впервые оно внушило ей чувство полной безопасности; она сочла себя счастливой; ей представилось, что можно быть счастливой вечно, и, по правде говоря, никогда еще она не была так счастлива.

Простой народ во всех странах одержим любовью

к необычайному и склонен страстно увлекаться людьми и событиями; но нигде не доведена до такой степени, как в Венеции, способность создавать себе кумиры, эти предметы временного поклонения, которое, миновав, нередко становится роковым для тех, кто его возбудил. В ту пору только и было разговоров, что о некоем молодом иностранце, который неизвестно каким образом — ибо его нельзя было даже заподозрить в таком намерении — завоевал это блистательное и недолговечное расположение. Ум, отвага и доброта Лотарио составляли предмет всех бесед; имя его было у каждого на устах. Во время короткого переезда от Местра до Венеции оно раз двадцать упоминалось в разговорах лодочников.

Обойдя свое новое жилище вместе с Антонией, которую ей приходилось поддерживать, так как она по слабости здоровья привыкла опираться на руку сестры, даже когда не бывала больна, г-жа Альберти отвела ее в одну из парадных комнат, где они уселись друг подле друга. Старик дворецкий пришел приветствовать их и стоял, ожидая распоряжений.

— Мы довольны вами, — сказала ему г-жа Альберти, — все здесь вполне отвечает тому, чего я и ожидала от ваших забот, почтенный Маттео, и, судя по такому началу, я могу полагать, что никому в Венеции не будут служить лучше, чем нам.

— Даже самому синьору Лотарио, — сказал старик, склоняя плешивую голову и вертя в руках свою черную шелковую горру.

На этот раз Антония расхохоталась:

— Да что же это, боже мой, за синьор Лотарио? С самого приезда я только и слышу это имя.

— И в самом деле, — сказала г-жа Альберти, подхватывая ее мысль с обычной поспешностью. — Кто он такой, этот синьор Лотарио? Расскажите нам, дорогой Маттео, что думать об этом человеке, чья слава, не успев еще распространиться по ту сторону залива, уже вошла в поговорку в Венеции?

— Сударыни, — ответил Маттео, — я и сам знаю о нем немного больше, чем вы, хоть и отдал дань обычаю, упомянув это имя, которое имеет в наших краях такую силу, что даже разбойники его почитают. Это может показаться вам преувеличением, но это сущая

правда; синьор Лотарио внушает всем такое уважение, что бывали случаи, когда достаточно было назвать его имя, чтобы кинжал выпал из рук убийцы; что слух, один только слух о его прибытии усмирал мятеж, рассеивал неистовствующую толпу и возвращал Венеции спокойствие. А между тем этот молодой человек совсем не страшен, уверяю вас, ибо все в один голос говорят, что в обществе он кроток и застенчив, как ребенок. Я видел его один лишь раз, и то издалека, но, взглянув ему в лицо, испытал такое потрясение, что поверил всему, что о нем рассказывают. С тех пор мне ни разу не удавалось увидеть его вновь. Он покинул город.

— Его уже нет в Венеции! — воскликнула Антония.

— Вот уж почти целый год, как он отсутствует, против своего обыкновения, — продолжал Маттео, — так как очень редко бывает, чтобы он не возвращался сюда через каждые два-три месяца.

— Значит, в Венеции он живет не постоянно? — спросила г-жа Альберти.

— Конечно, нет, — отвечал Маттео. — Но уже с очень давних пор он наезжает сюда из месяца в месяц и проводит в Венеции несколько дней, то побольше, то поменьше, никогда не задерживаясь, однако, дольше недели или двух. На этот раз его длительное отсутствие могло бы вызвать опасение, что он навсегда покинул Венецию, если б в прошлом не бывало подобных примеров; люди вспоминают, что он уже исчезал как-то на несколько лет.

— На несколько лет? — сказала Антония. — Быть не может, Маттео; вы только что говорили, если только я правильно поняла вас, что он очень молод.

— Очень молод, правда ваша, — ответил Маттео, — во всяком случае, судя по его внешности; я и не говорю, что это не так, а только повторяю народные бредни, которые не заслуживают вашего внимания, уважаемые синьоры, и я постыдился бы...

— Продолжайте, продолжайте, Маттео, — с горячностью сказала г-жа Альберти. — Все это очень нас интересует, не так ли, Антония? Садитесь, Маттео, и расскажите нам все, решительно все, что касается Лотарио.

Г-жа Альберти была действительно живо заинтересована, и ее ум, быстро все схватывающий, уже успел опередить рассказ Маттео самыми романическими



и удивительными предположениями, подтверждение которых ей не терпелось услышать. Антония обладала не менее живой восприимчивостью, чем сестра, — она была еще более легко возбудима и еще больше жаждала впечатлений, но в то же время боялась их, ибо по слабости своей всегда готова была им поддаться. И в то время как Маттео продолжал возбуждать любопытство г-жи Альберти рассказом обо всех этих туманных и причудливых обстоятельствах, она прижималась к сестре, вся дрожа от тревоги и страха, которые пыталась скрыть под улыбкой.

— Все, что я знаю о синьоре Лотарио, — степенно начал Маттео, когда он наконец сел, повинуясь приказанию г-жи Альберти, — известно мне, как я уже говорил вам, уважаемые синьоры, только из народной молвы. Это молодой человек, прекрасный собой, который время от времени появляется в Венеции и живет здесь словно король; однако, как видно, он приезжает в этот большой город лишь затем, чтобы иметь возможность благодетельствовать беднякам, ибо в обществе он показывается редко и почти никто не слышал, чтобы он когда-либо вел знакомство или дружбу — будь то с мужчиной или женщиной. Иногда только он посещает какую-нибудь бедную семью, чтобы оказать ей помощь. Страстно любя искусства, которым он и сам не чужд, синьор Лотарио ищет порой общества и совета людей, имеющих отношение к искусству. Но, если не считать этих знакомств, отобранных им с величайшей тщательностью, он живет в Венеции почти отшельником. Он и десяти раз не побывал в чем-нибудь доме, он ни с кем не состоит в переписке; никто ни разу не вошел к нему в доверие настолько, чтобы узнать его фамилию или место его рождения или хотя бы догадаться о тайне его жизни. У него, правда, много слуг, но все это чужие ему люди, ибо он меняет их каждый раз, как отправляется в путешествие, а по возвращении в Венецию нанимает новых. Его связи вне дома проливают на его жизнь не больше света. Ни разу почтальон не принес ему ни одного письма, банкиры не выдали ему ни единого цехина. Государственные перевороты ни в малейшей степени не влияют на его положение; в смутные времена он остается вне города не дольше обычного; и, в то время как путешественников подвергают из пре-

досторожности различным формальностям, его бумаги, где стоит простое имя «Лотарио», всегда оказываются подписанными правящей властью; и подобное обстоятельство могло бы навлечь на него подозрение, если б не было известно, что бесчисленное множество добрых дел, которые связаны с его именем, всегда служат ему поручительством перед представителями власти всех времен и всех партий.

К тому же было бы нелегким делом чинить ему какие-либо препятствия в Венеции, где огромное множество людей чувствует к нему благодарность и любовь, где он является, так сказать, предметом поклонения. Изгнание Лотарио, даже если б он когда-нибудь подал к этому повод, быть может, стало бы сигналом к революции; однако сам он, по-видимому, этого не думает, так как, оказывая поддержку классу бедняков, не заискивает перед ними. Строгий и, как говорят, несколько надменный ум воздвигает между ними преграду, которую один лишь он был бы волен устранить, если бы захотел, но не мог бы сделать этого, не вызвав переворота в венецианских провинциях. Эта преграда, поставленная им между собой и народом, никого не возмущает, ибо всякий чувствует, что эти границы намечены самой природой и что к тому же еще большее расстояние отделяет его от людей, казалось бы близких ему по положению. Действительно, с последними он держится особенно отчужденно; если же синьору Лотарио и случается иной раз изменить свойственному ему высокомерию, то он никогда не сделает этого ради вельможи, а только ради какого-нибудь жалкого калеки, нуждающегося в его поддержке, ради заблудившегося ребенка или ради припадочного, который своим видом отталкивает прохожих. Это не мешает ему посещать публичные собрания и бывать в высшем свете, где человек может вращаться и даже блистать, не вступая ни с кем в особо близкие отношения. Там он без труда привлекает всеобщее внимание, ибо говорят, что в Венеции нет артиста или виртуоза, который мог бы сравниться с ним; однако он не только не пользуется своими талантами, но ходят слухи, будто он даже избегает случая обнаруживать их и проявляет их очень неохотно, стремительно покидая Венецию как раз в тот момент, когда они могли бы доставить ему приятные знакомства или высокое положение.

ние,— ему словно хочется избежать блеска рассеянной светской жизни, боясь потерять и себя и тайну, которой ему угодно окружать себя. Честолюбие над ним не властно; даже любовь никогда не могла его удержать, хотя нет на земле женщин более обольстительных, чем в Венеции. Один только раз он, казалось, стал уделять внимание некоей знатной девушке, и та, со своей стороны, вспылала к нему страстью; но необъяснимый несчастный случай положил конец отношениям, которые многие предполагали между ними. Это случилось во время отсутствия Лотарио, хотя в этот раз он пробыв в Венеции несколько дольше, чем обычно. Однако даже это чувство, если только оно вообще существовало, не смогло удержать его. Через два или три дня после его отъезда девушка исчезла, и только много времени спустя ее тело нашли на той песчаной отмели, где был потом основан армянский монастырь.

— Как это странно,— задумчиво произнесла Антония.

— Нет, синьорина,— ответил Маттео, продолжая развивать свою мысль, которая, возможно, шла в несколько ином направлении, чем мысль Антонии.— Воды, гонимые морем вспять, несут в ту сторону большую часть обломков, которые плавают в наших каналах. У той девицы была пылкая головка, да и к тому же некоторые, не помню уж точно, какие, подробности указывали на то, что смерть ее была преднамеренной; поэтому ее гибель приписали тогда отчаянию, а не просто несчастному случаю,— кажется даже, это предположение подтвердилось впоследствии собственноручным ее письмом, где она писала о своем намерении.

— Но послушайте, Маттео,— сказала г-жа Альберти,— вы ведь сначала сказали, что Лотарио молод.

— Ему лет двадцать пять-двадцать шесть, не более того,— ответил Маттео.— Но он белокур и очень хрупок на вид, хотя и превосходит силой и ловкостью людей самого крепкого сложения и, может быть...

— Нет, этого не может быть,— горячо продолжала она,— не может быть, чтобы он отсутствовал в течение многих лет после того, как о нем впервые услышали в Венеции: вот этого-то вы нам и не объяснили. К тому же подумайте, ведь история с девушкой, которую нашли мертвой на острове армянских монахов, должна

была, по вашим словам, случиться раньше, чем там поселились армяне, а значит...

— Ничего другого я об этом не знаю, — возразил Маттео, несколько смешавшись. — И я рассказал вам, синьоры, лишь то, что сам слышал от венецианцев уже почтенного возраста, которые утверждают, будто видели синьора Лотарио совершенно таким, каков он и сейчас; но они полагают, что он был в отсутствии не менее пятидесяти лет; вы и сами видите, до чего это нелепо. Впрочем, судя по образу жизни синьора Лотарио, легко предположить, что он сам весьма заинтересован в том, чтобы скрывать свое настоящее лицо, что ему выгодно поощрять и даже распространять слухи, которые могут содействовать неопределенности предположений на его счет. И надо сознаться, какими бы странными или смехотворными ни были иные толки о нем, их все же повторяли в течение некоторого времени, и притом лица, известные своей рассудительностью. Вы можете судить по самому правдоподобному из этих толков: будто таинственный иностранец владеет тайной философского камня... Но, и то сказать, чем же иначе объяснить роскошный образ жизни и поистине королевскую расточительность этого неизвестного? Никто никогда не слышал, чтобы у него было какое-либо торговое или промышленное дело, какая-либо собственность или какие бы то ни было деловые связи. Года три тому назад, когда он впервые отправился путешествовать после того длительного отсутствия, о котором говорят старики, кое-какие завистники, обозленные его баснословной популярностью, а, может быть, особенно тем, что сам он не придает ей особого значения и что обычное выражение внимания, которого можно от него добиться, весьма напоминает презрение, надумали распустить на его счет самые оскорбительные слухи; я едва смею повторить их и не поручился бы за свою безопасность, если б сделал это где-либо в другом месте. Ведь дошло до того, что стали поговаривать, будто он — агент шайки фальшивомонетчиков, скрывающихся в пещерах Тироля или в одном из лесов Кroatии. Но это заблуждение быстро рассеялось — ведь синьор Лотарио расточает золото с такой щедростью, что совсем нетрудно проверить пробу его и марку. Все полностью удостоверились, что лучшего золота нет во всем венецианском государстве; с тех

пор если и сочиняли какие-нибудь басни на его счет, то они, уже, во всяком случае, не были столь оскорбительными и гнусными. А вот кто он такой на самом деле, я и не знаю,— сказал Маттео, вставая со стула,— но могу лишь повторить, что от него зависит стать в Венеции всем, чем он пожелает, если только он сюда вернется.

— Он вернется! — сказала г-жа Альберти, подхватывая эту мысль со своей романтической восприимчивостью, которую она слишком часто принимала за пронизательность; это был ее единственный недостаток.

## VII

Еще раз увидишь ты меня  
в этом облике, но день тот бу-  
дет последним.

*Шекспир.*

Разговор этот не произвел на Антонию особо глубокого впечатления. Имя Лотарио нередко упоминалось в том кругу, в который ввела ее сестра, и, слыша его, девушка всякий раз смутно вспоминала о всем том странном и таинственном, что поведал им Маттео; однако это было лишь какое-то мимолетное ощущение, и она постыдилась бы поддаться ему. Пытаясь разобраться в рассказе Маттео, она сперва огорчилась, что не в состоянии составить себе определенного суждения о Лотарио; но не в ее характере было долго теряться в бесполезных догадках относительно событий, столь мало ее затрагивающих. Слабое ее здоровье и свойственный ей постоянный упадок сил заставляли ее во многом ограничивать свои чувства; и чем сильнее были те страсти, которые она видела вокруг, тем менее способна была она воспринять те из них, которые не касались ее непосредственно. Но вот однажды по Венеции пронесся слух, что приехал Лотарио, и слух этот, вскоре подтвержденный неистовой радостью воеторженной толпы, быстро дошел до Антонии. Как раз в тот день она вместе с г-жой Альберти была приглашена в одно общество, состоявшее главным образом из знатных иностранцев, привлеченных в Венецию карнавалом и время от вре-

мени сходящихся вместе, чтобы помузицировать. Едва сестры вошли, как лакей доложил о синьоре Лотарио. Внезапный трепет удивления и радости охватил собравшихся, в особенности же г-жу Альберти, которую все необыкновенное занимало чрезвычайно. Она приняла это за некое счастливое предзнаменование и, так как все мысли ее были заняты Антонией, крепко сжала ее руку, сама не отдавая себе отчета в том, что означает это движение. На Антонию новость эта подействовала иначе: сердце ее стеснил какой-то смутный страх, ибо она тотчас же связала с именем Лотарио некоторые тревожные и страшные обстоятельства, поразившие ее в рассказе старого дворецкого. Она даже помедлила немного, прежде чем поднять на него глаза. Но теперь она увидела его совершенно отчетливо, потому что он стоял неподалеку и в этот самый миг, очевидно, смотрел на нее. Он сразу же отвел свой взгляд, не останавливая его, впрочем, ни на ком другом. Опершись о край античной мраморной вазы, наполненной цветами, он принимал участие в каком-то незначительном разговоре, казался, лишь для того, чтобы избавить себя от необходимости проявлять внимание к остальным присутствующим. При виде его Антонию охватило волнение, подобного которому она еще никогда не испытывала и которое не походило ни на одно из знакомых ей доколе чувств. То был уже не страх; не было это также и первым смятением любви, каким она представляла себе это чувство. Это было что-то смутное, неопределенное, неясное, подобное воспоминанию, сонной грезе или лихорадочному бреду. Грудь ее бурно вздымалась, тело утратило гибкость, необъяснимая слабость сковала все ее словно зачарованное существо. Тщетно пыталась она прогнать это наваждение: оно лишь сильнее овладевало ею. Она слыхала когда-то рассказы о непреодолимом оцепенении, которое охватывает заблудившегося в лесах Америки путника под леденящим взглядом удава; о головокружении, которое внезапно нападает на пастуха, когда, преследуя своих коз, он оказывается на самой вершине одного из гигантских альпийских хребтов и, обольщенный вдруг собственным воображением, где, словно в магическом зеркале, вращаются лежащие вокруг него пропасти, сам бросается в эту страшную бездну, не способный противиться силе, которая одновремен-

но и отталкивает и манит его. Подобное и столь же трудно объяснимое чувство, что-то вроде непостижимой нежности, смешанной с отвращением, испытывала теперь и она, и это изумляло, отталкивало, влекло и терзало ее сердце; она начала дрожать. Эта обычная для нее в минуты волнения дрожь не испугала г-жу Альберти, однако она предложила Антонии покинуть зал, на что та охотно согласилась. Она хотела было встать, но силы покинули ее, и она лишь улыбнулась г-же Альберти, которая приняла эту улыбку за просьбу остаться. Лотарио продолжал стоять на том же месте.

Он был одет по французской моде, с изящной простотой. В нем не замечалось ни малейшего желания отличаться от других, если не считать небольших изумрудных серег, которые, спускаясь из-под завитков его густых светлых волос, нависавших над лицом, придавали ему вид странный и дикий. Украшение это уже давно вышло из моды в венецианских провинциях, как и почти во всей цивилизованной Европе. Лотарио не отличался правильной красотой, но лицо его обладало очарованием необыкновенным. Большой рот, узкие, бледные губы, открывавшие зубы ослепительной белизны, презрительное, а порой суровое выражение лица в первую минуту отталкивали, но глаза, одновременно нежные и властные, повелительные и добрые, невольно внушали любовь и уважение, в особенности когда из них словно начинал струиться какой-то ласковый свет, красивший все его черты. Странен был лоб его, высокий и чистый: его прорезала глубокая, извилистая морщина, начертанная не годами, но неотступными мучительными думами. Обычно его лицо казалось серьезным и сумрачным; но никто не способен был так легко изгладить это первое неприятное впечатление — для этого ему достаточно было только приоткрыть веки и дать выход небесному огню, жившему в его глазах. Человек наблюдательный заметил бы в этом взгляде что-то непостижимое, нечто такое, что заставляло отнести его к высшим, нежели человек, существам. Для людей же обыкновенных взгляд этот казался, смотря по обстоятельствам, то ласковым, то высокомерным: чувствовалось, что он может быть страшным.

Антония недурно играла на фортепьяно, но застенчивость почти всегда мешала ей проявлять свое дарова-

ние перед многочисленными слушателями. Есть особый вид скромности — ее скромность была именно этого рода, когда человек скрывает свои таланты, чтобы не нанести обиды людям посредственным, которые встоду составляют большинство, а быть может, и чтобы не вызвать со стороны меньшинства упрека в кажущемся самомнении. Она соглашалась играть публично, только уступая просьбам, которые приписывала просто любезности и полагала удовлетворить без труда, не вкладывая в это незначительное проявление взаимной вежливости всего своего дарования; она заметила даже, что те обязательные похвалы, которыми встречали ее игру, были ничуть не меньше, когда она передавала какой-нибудь пассаж, следуя единственно правилам фортепьянной техники, чем тогда, когда ею овладевало внезапное и счастливое вдохновение, приносившее ей внутреннюю удовлетворенность. Итак, уступая просьбам, она довольно спокойно села за фортепьяно, и пальцы ее, как всегда равнодушно, пробежали по клавишам, как вдруг взор ее, привлеченный отблеском зеркала, висевшего напротив, был поражен страшным видением. Лотарио стоял теперь за ее стулом, а так как фортепьяно, за которым она сидела, находилось на возвышении, казалось, одна только голова его возвышается над красной кашемировой шалью, брошенной ею на спинку стула. Разметавшиеся в беспорядке волосы, мрачная неподвижность печальных и суровых глаз таинственного юноши, тягостное раздумье, в которое, казалось, он был погружен, судорожное подергивание странной изогнутой линии, несомненно начертанной горем на бледном челе, — все это придавало его облику нечто страшное. Антония, пораженная, смущенная, испуганная, смотрела попеременно то на зеркало, то на пюпитр и вскоре перестала видеть и ноты, совершенно сливавшиеся в ее глазах, и окружавших ее слушателей. Бессознательно подменяя чувства, которые она должна была выразить в музыке, теми, что с такой внезапной силой овладели ею, она неожиданно стала импровизировать, и в музыке ее зазвучал столь неподдельный ужас, что все присутствующие содрогнулись, хотя и сочли его плодом причудливой фантазии. Кончив, она бросилась в объятия г-жи Альберти, которая отвела ее на место среди аплодисментов, смешанных с шепотом удивления



и тревоги. Лотарио следил за ней взглядом, пока она не села; затем он подошел к арфе, и смущение собравшихся тотчас же сменилось выражением любопытства и предвкушаемого удовольствия. Сама Антония, успокоенная и отвлеченная новым впечатлением, выражала нетерпеливое желание услышать Лотарио, и так как он, видимо, опасался, что она еще недостаточно пришла в себя, чтобы принять участие в остальных развлечениях вечера, она сочла нужным показать ему взглядом, что ей уже лучше. Проявление участия со стороны Лотарио ее очень тронуло; однако тот, еще более взволнованный ее вниманием, казалось, совершенно переродился, в то время как Антония смотрела на него. Чело его прояснилось, глаза загорелись странным светом; улыбка, в которой сквозили следы умиления и предчувствие радости, придавала какую-то особую красоту его сурово сжатым губам. Проведя левой рукой по своим волнистым волосам, словно стараясь припомнить какой-то далекий мотив, а другой коснувшись струн арфы так легко, что они только едва дрогнули, он стал наигрывать прелюдию, без малейшего усилия извлекая из них мимолетные, но волшебные звуки, подобные некоей музыке духов; казалось, будто они тут же рассеиваются в воздухе.

— Горе тебе,— тихо запел он,— горе тебе, если ты растешь в тех лесах, где властвует Жан Сбогар!

— Это,— продолжал он,— знаменитая песня об анемоне, хорошо известная в Заре, новейшее произведение морлацкой поэзии.

Антония, глубоко взволнованная выбором этой песни и звуком голоса Лотарио, подвинулась ближе к г-же Альберти, которая, в свою очередь, была обеспокоена. Ей тоже припомнились этот мелодичный голос и место, где она слыхала его; но ведь это могло быть и случайным совпадением — далмацкое пение слишком просто, монотонно и однообразно, чтобы нельзя было спутать два схожих между собою голоса. Наконец, после минуты раздумья, Лотарио спел песню целиком, продолжая аккомпанировать себе этими особыми, еле слыжными аккордами, которые руки его извлекали из арфы и торжественная мелодия которых так величественно сочеталась с его пением. Дойдя до припева старого морлака, он исполнил его с выражением такого скорбного состра-

дания, что тронул все сердца, в особенности же сердце Антонии, для которой этот припев был связан с тревожными и страшными воспоминаниями. Лотарио давно уже закончил свою песню, а последние слова ее и грозные имя Жана Сбогара все еще звучали в ее ушах.

## VIII

Предавайтесь грезам, невинные создания! Покойтесь в сладком сне, пока чувства ваши скованы дремотой; скоро, увы, предстоит вам бодрствовать в тоске и томиться без сна.

*Мильтон.*

В числе предположений, возникавших одно за другим в уме г-жи Альберти после этого вечера, было одно, достаточно правдоподобное для того, чтобы поразить заурядное воображение, и в то же время не лишённое романтического оттенка, которым всегда отличались все ее домыслы. Остальные ее догадки имели так мало оснований, что она не замедлила остановиться именно на этой, которая нравилась ей тем более, что льстила самому приятному и основному ее чувству — любви к Антонии. Ее беспрестанно занимала мысль о том, как устроить судьбу любимой сестры; она уже давно решила сделать все возможное, чтобы обеспечить ее счастье и подчинить все этой единственной цели. Огромное наследство, которое Антонии предстояло получить после смерти г-жи Альберти, неизбежно должно было возбудить алчность целой толпы искателей ее руки, а г-жа Альберти вовсе не хотела, чтобы судьба ее сестры зависела от какого-нибудь низкого человека, для которого любовь будет только ловким ходом, а брак — выгодной сделкой. Она приняла решение не выдавать замуж Антонию, прежде чем не убедится, что в сердце ее зародилось чувство, ибо была почти уверена, что сердце это, руководимое рассудком и опытом ее второй матери, не сможет сделать неверного выбора. Немало молодых людей с крупным состоянием или знатным именем уже домогались ее руки. Ни одному из них не удалось привлечь внимание Антонии, и г-жа Альбер-

ти, внимательно следившая за малейшими движениями этой чистой и бесхитростной души, ни разу не находила в ней тайн. Лотарио же, по-видимому, с первого взгляда произвел на нее глубокое впечатление,— ничем иным нельзя было объяснить странную сцену у фортепьяно. Да и сам он казался тогда взволнованным, смущенным не менее, чем она, и, как видно, был охвачен сильным чувством; и г-же Альберти пришло на ум, что если бы такой человек, снискавший всеобщее признание своим блестящим умом, многообразными талантами, приветливым и великодушным характером, благородством манер и безупречной нравственностью, мог стать мужем Антонии,— это было бы воплощением самой заветной ее мечты. Но кто же он такой, этот Лотарио, и как завязать столь серьезные отношения с незнакомцем, который, по уверению всех, так упорно старается окружить свою жизнь внушающей подозрение таинственностью? Вопрос этот, впрочем, недолго тревожил г-жу Альберти. Очень скоро она нашла объяснение и этой загадке, и ей удалось настолько убедительно связать это объяснение с первым своим предположением, что даже Антония, которая не на все смотрела глазами сестры, ничего не возразила в ответ. Правда, соображения сестры начинали занимать ее сердце, и ей хотелось, чтобы они подтвердились, но не потому, чтобы она испытывала к Лотарио ту нежную симпатию, которая говорит о потребности любви, то необъяснимое влечение, когда перестаешь быть самим собой, а живешь жизнью другого: нет, чувство, которое она испытывала, было пока иным,— то было скорее влечение покорной души, безвольность слабого создания, ищущего защиты, добровольное подчинение существа робкого и чувствительного человеку, внушающему доверие и уважение. Именно таким показался ей Лотарио; первый же взгляд молодого человека остановился на ней так властно, что ей показалось, будто с этого мгновения он получил какие-то права на нее.

Но я не сказал еще, каково было предположение г-жи Альберти. Она полагала, и с достаточными на то основаниями, что если отбросить из рассказов о Лотарио нелепые и бессмысленные народные толки, то окажется, по всей вероятности, что его происхождение и состояние вполне соответствуют его воспитанности

и щедрости; что если и есть у него какие-то причины скрывать свое имя и положение, то причины эти переходящего свойства; что под этим маскарадом не кроется ничего опасного для любви Антонии, брак с которой не унизил бы и самого блестящего жениха; что таинственность, которой пожелал окружить себя Лотарио, вызвана, вероятно, его стремлением привлечь внимание Антонии, приблизиться к ней и завоевать ее сердце иными средствами, чем те, которыми обычно определяется большинство браков; что самые невероятные и самые необъяснимые факты, касающиеся Лотарио, являются, по-видимому, просто выдумкой, ловко внушенной слугам Антонии подставными лицами, с целью усилить состояние неизвестности, в котором ему угодно было ее держать; и последняя эта догадка тоже не лишена была оснований, ибо невозможно было отрицать участия Лотарио в последних событиях жизни Антонии. По здравом размышлении, он был тем молодым человеком, который во время возвращения из Фарнедо прошел мимо нее, напевая морлацкий припев, и, конечно, он не случайно оказался в Триесте. Видения, несколько раз пугавшие Антонию и внушившие такое беспокойство г-же Альберти, пока она рассматривала их как обманчивое порождение больного рассудка, могли иметь ту же причину. А если Антония и преувеличила или изменила некоторые подробности, то ведь это свойственно слабым душам, которых все страшит, и душам нежным, которым всегда кажется, что они никому не интересны. И, наконец, происшествие в Дуино так и оставалось непонятным. Разве разбойники, жаждущие грабежа и убийств, отступили бы при одном взгляде на молодого армянского монаха, если бы этот человек не был страшен им своей отвагой, а возможно, и своей славой, и не внушил бы им непреодолимого ужаса, кинувшись на них из кареты, в которой г-жа Альберти согласилась дать ему место? Он, без сомнения, уложил на месте нескольких из окружавших его разбойников до того, как обратил в бегство остальных, а затем, не зная, куда идти в темноте по совершенно незнакомой ему дороге, не смог уже догнать своих полутчиков. Кем еще мог быть этот монах, вооруженный вопреки уставу своего ордена и жертвующий собой столь храбро и самоабвенно ради каких-то незнакомых людей, как не переедетым влюб-

ленным, который хотел спасти Антонию или умереть за нее? Не приходилось сомневаться, что благочестивое видение кучера было лишь заблуждением невежественного простолоудина; какие же еще доводы можно было привести взамен доводов г-жи Альберти? Правда, кое-что оставалось еще неясным и непонятным; но могло ли быть все понятно в жизни человека, стремящегося создать вокруг себя возможно больше сомнений и таинственности и обладающего необходимой ловкостью для того, чтобы готовить, подбирать и наиболее удачно применять средства, которыми он пользуется для этой цели. Лотарио, как видно, любит, обожает Антонию, и к тому же все его поступки настолько явно свидетельствуют о здоровом смысле и ясном уме, что невозможно приписать кажущуюся странность некоторых его выходов расстроенному рассудку. На то у него есть свои причины; зачем же пытаться узнать их раньше времени? Г-же Альберти казалось самым важным поближе познакомиться с Лотарио, путем более частого общения удостовериться в совершенствах, которыми наделило его общее мнение, и убедиться собственными глазами в тех чувствах, о которых она пока только догадывалась. Лотарио не избегал многолюдных сборищ, куда каждый вносит частицу своего таланта. Но он держался в стороне от более замкнутых кругов, посещение которых обязывает к доверию или дружбе, и очень редко, как верно заметил Маттео, появлялся в каком-нибудь доме более одного раза. Однако он с большой готовностью воспользовался предоставленной ему возможностью бывать у г-жи Альберти и ее сестры; и это необычное обстоятельство, которое все тотчас же заметили, избавило Антонию от многих докучливых домогательств. В посещениях Лотарио видели серьезные намерения, это исключало даже таких соперников, которые, казалось бы, обладали известными достоинствами, ибо на стороне Лотарио были преимущества, очевидные не только для толпы, но даже для женщин, прѣвыше всего ставящих блеск и успех,— строгий склад души, властный нрав и скрытая от всех жизнь.

Как мы видели, чувство, вызванное у Антонии появлением Лотарио, совсем не напоминало тех чувств, что предвещают рождение любви в сердце заурядном. Обстоятельство само по себе весьма незначительное,

впечатление от которого, однако же, еще не изгладилось полностью, — странное видение, возникшее в зеркале, где отражался Лотарио, — внесло в это чувство какое-то необъяснимое смятение и страх. Но хотя это влечение и не было безмятежным, оно все больше овладевало ею. словно печать рока лежала на ее привязанности к Лотарио, и это изумляло Антонию и подчас приводило ее в ужас; но поскольку г-жа Альберти одобряла ее чувства, она не пыталась противиться им и находила даже известное удовольствие в том, чтобы поддерживать их в себе. Порою Антония удивлялась тому, что любовь непохожа на представление, которое она составила о ней по нежным и пылким описаниям романистов и поэтов. Она ощущала ее пока только как тяжелую и грозную цепь, связавшую ее неразрывными узами, и всякая попытка сбросить с себя это бремя казалась ей тщетной. И только когда Лотарио, отвлеченный ею от своего мрачного раздумья, на некоторое время снижился с пленительной естественностью к простой дружеской беседе; когда эта хмурая гордость, это мучительное душевное напряжение, придававшие его лицу выражение столь величественного и в то же время скромного достоинства, уступали место ласковой неприужденности; когда улыбка расцветала на этих устах, давно уже отвыкших улыбаться, и возвращала суровым чертам искреннюю и чистую безмятежность, Антония, охваченная незнакомым ей дотоле блаженством, начинала немного понимать счастье любить существо себе подобное и быть им безраздельно любимой; это чувство порождал все тот же Лотарио, но Лотарио, словно освободившийся от чего-то непостижимо странного и ужасного, что отпугивало ее любовь к нему. Мгновения эти, правда, выпадали редко и были недолгими; но Антония наслаждалась ими с таким упоением, что и не желала бы иного счастья; в такие минуты она настолько не способна была скрывать свои чувства, что Лотарио не мог долго заблуждаться на этот счет. Но открытие это явно не принесло ему радости; чело его омрачилось, грудь стеснил тяжелый вздох, он закрыл глаза рукой и вышел. С тех пор он улыбался все реже, а если ему случалось улыбнуться, он тут же поспешно обращал к Антонии взгляд, полный печали и тревоги.

Его любовь к ней не была уже тайной. Чувствовалось, что все его помыслы, каждое его слово, каждый его поступок связаны с Антонией, что она — единственный смысл, единственная цель его жизни. У г-жи Альберти это уже не вызывало никаких сомнений, да и сама Антония иной раз признавалась себе в этом с чувством гордости, которое ей трудно было подавить в себе; однако любовь Лотарио была отмечена какой-то особой печатью, так же как и вся жизнь этого непостижимого человека, — она совсем непохожа была на то, что обычно обозначают этим словом в свете. Это было чувство глубокое, сосредоточенное в себе, скупое на проявления и восторги, ничего не требующее, чувство, готовое спрятаться тотчас же, как только возникало опасение, что его разгадали. Порой взгляд Лотарио, полный огня, выдавал его, — но этот мимолетный пламень страсти очень скоро сменялся каким-то неизъяснимым выражением целомудренной нежности. и тогда Лотарио не был уже похож на влюбленного. Казалось, это отец, у которого осталась одна-единственная дочь, и он сосредоточивает на ней теперь всю ту любовь, что некогда делили между собой остальные его дети. В такие минуты в его страсти чувствовалось нечто большее, нечто более могучее, нежели любовь, — то была несокрушимая воля покровителя, исполненного такого благоволения и такого страстного стремления защитить ее, словно он был неким духом света, ангелом-хранителем, стоящим на страже добродетели и сопровождающим ее от колыбели до самой могилы. Таким ангелом-хранителем и казался он порой молодой девушке, и этим объяснялось то особое влияние, которое он оказывал на нее, и их отношения, в которых словно не было ничего земного. Иногда, среди множества попыток объяснить загадочную жизнь Лотарио, нежное, склонное к суеверию выражение Антонии обращалось и к этой гипотезе. Но она сама смеялась над ней — и наедине с собой и в разговорах с г-жой Альберти — как над пустой фантазией. Однако, беседуя о Лотарио, сестры называли его ангелом-хранителем Антонии.





## IX

Увы! Самое сладостное будущее, которое одно только может дать отраду моему сердцу,— это небытие. О, не обмань меня, единственная оставшаяся мне надежда! Кажется мне, что я посмею ныне молить судью моего о небытии; кажется мне, что ныне ему угодно будет снизойти к моей мольбе! Тогда— о, радостная мысль!— тогда меня не станет! Я вновь погружусь в нерушимый покой небытия, вычеркнутый из числа живых, забытый всеми людьми, ангелами и самим богом! Боже всемогущий, вот я стою перед тобой: благоволи возвратить меня в хаос, откуда ты извлек меня.

*Клопшток.*

Однажды на склоне дня Антония вошла помолиться в собор св. Марка. Последние лучи заката, проникавшие сквозь цветные витражи, тускло поблескивали под величественными сводами купола и совсем угасали в темных уголках отдаленных приделов. Меркнувшие отсветы едва виднелись еще на выступающих частях мозаики на своде и стенах. Отсюда, сгущаясь, тени ползли вниз, вдоль мощных колонн храма, становились все плотнее и словно заливали наконец глубоким и неподвижным мраком неровную поверхность плит, изборожденных, как море, что простирается кругом и нередко подступает к этому святому месту, чтобы вновь отвоевать свои владения, не по праву захваченные человеком. В нескольких шагах от себя Антония увидела стоявшего на коленях человека, поза которого свидетельствовала о тяжелой озабоченности души. В этот миг один из причетников поставил перед висевшим здесь чудотворным образом лампаду, и пламя ее, поколебленное его шагами, озарило молящегося слабым и неверным светом, которого было, однако, достаточно, чтобы Антония узнала Лотарио. Он поспешно поднялся и хотел было скрыться, но Антония опередила его желание и встретила его на паперти. Она взяла его под руку и некоторое время шла молча с ним рядом, затем в порыве нежности она сказала:

— Что с вами, Лотарио? Что терзает вас? Неужели вы стыдитесь того, что вы христианин? Разве вера эта не достойна сильной души и в ней нельзя признаться друзьям? Что касается меня, то уверяю вас, что самой большой моей печалью было сомнение в том, веруете ли вы, и я чувствую избавление от смертной муки с той минуты, как убедилась, что мы признаем одного и того же бога и ожидаем одной и той же будущей жизни.

— Увы! Что сказали вы, дорогая Антония? — ответил Лотарио. — Зачем жестокая моя судьба привела к этому объяснению? Но я не уклонюсь от него. Слишком ужасно было бы злоупотреблять доверием такой души, как ваша. Человек, который, возможно в силу какого-то душевного изъяна, не исповедует вероучения своих отцов и, что еще печальней, не постигает великого разума, правящего миром, и бессмертной жизни души, — такой человек более достоин сострадания, нежели отращения; но если бы он скрывал свое неверие под притворной набожностью, если бы он поклонялся тому, чему поклоняются все, лишь ради того, чтобы всех ввести в заблуждение; если бы в ту самую минуту, когда он вместе с верующими повергается ниц, его тщеславный разум отрекался бы от верности этой общей религии, — такой человек был бы чудовищем лицемерия, самым коварным и гнусным из всех созданий. Взгляните же в мое сердце во всей его немощи и ничтожности. С детства, разрываясь между желанием и невозможностью верить, обуреваемый жаждой иной жизни и нетерпеливым стремлением возвыситься до нее, но постоянно преследуемый мыслью о небытии, которая, словно фурия, никогда не покидает меня, я долго — постоянно — всюду искал этого бога, к которому взывает мое отчаяние, — в церквах, храмах, мечетях, в школах философов и богословов, во всей природе, которая являет мне его и в то же время отказывает в нем! Когда ночной мрак позволяет мне проникнуть под эти своды, я смиренно опускаюсь на ступени алтаря, не боясь, что кто-нибудь увидит меня, и молю бога открыться мне. Мой голос умоляет его, сердце мое его призывает, но нет мне ответа. Еще чаще я обращаюсь к нему среди лесов, на прибрежном песке или же лежа в челне, отданном на волю волн, — там, где я увиден, что ни один свидетель не бу-

дет введен в заблуждение моими чувствами,— там взываю я к небесному свету и молю исцелить меня от страданий. Сколько раз, о небо, и с какой страстью упал я ниц перед этим необъятным миром, вопрошая его о творце! Сколько раз плакал я от ярости, когда, снова заглянув в глубину своего сердца, обнаруживал там одно лишь сомнение, неверие и смерть! Антония, вы дрожите, вам страшно слушать меня! О, простите меня, пожалейте и успокойтесь. Слепление несчастного, отвергнутого небом, бессильно перед верой чистой души. Верьте, Антония! Ваш бог существует, душа ваша бессмертна, ваша религия — истинна. Но этот бог милует и карает согласно созданному им совершенному порядку, с той разумной предусмотрительностью, которая царит во всех его творениях. Он наделил предвидением бессмертия чистые души, для которых и сотворено бессмертие. Душам, которые он обрек небытию, он явил лишь небытие.

— Небытие! — вскричала Антония.— Лотарио, возможно ли? Ах, нет, мой друг, душа ваша не обречена на небытие! Вы уверуете, хотя бы на мгновение, одно лишь мгновение; и наступит миг, когда разум Лотарио, точно так же как и сердце его, познает бессмертие! Может ли быть, о всемогущий боже, чтобы душа Лотарио оказалась смертной? К чему же было бы тогда все творение рук господних, если душе Лотарио суждено умереть? О, я знаю,— продолжала она немного спокойнее,— я знаю, что буду жить, что я не умру, что там, в безмятежной будущей жизни, я встречу всех, кто был так дорог мне в этом мире,— отца, мать, добрую мою сестру... И я знаю, что никакие горести жизни, никакие испытания, которым провидение может подвергнуть слабое создание за время его короткого пути от рождения к смерти, никогда не приведут меня к полному отчаянию, ибо впереди у меня — вечность, чтобы любить и быть любимой.

— Чтобы любить, Антония! — сказал Лотарио.— Но кто же достоин вашей любви?

Он договорил эти слова, входя в гостиную г-жи Альберти, и та многозначительно улыбнулась ему. Лотарио также улыбнулся, но не той обаятельной улыбкой, которая порой появлялась на его устах в минуту счаст-

ливого самозабвения, — то была улыбка горькая, скорбная, казавшаяся чужой на его лице.

Постепенно Антония начала постигать причины глубокой скорби Лотарио. Она представила себе, с каким нетерпением этот несчастный, лишенный самой сладостной милости провидения — счастья познания бога и любви к нему, — этот человек, ходящий по земле странником, не ведающим конца пути, и вынужденный продолжать свои бесцельные скитания, ждет мгновения, чтобы навеки прекратить их. К тому же он, видимо, был одинок на этом свете, ибо никогда ничего не говорил о своих родителях. Если б он знал когда-нибудь свою мать, то, наверно, упомянул бы о ней. Человека, не знавшего в этом мире никакой привязанности, не могла не страшить та безмерная пустота, в которую была погружена его душа, и Антония, никогда ранее не подозревавшая, что живое существо может дойти до такого предела отчаяния и одиночества, не без ужаса думала о нем. Особенно больно сжималось ее сердце, когда она размышляла над утверждением Лотарио, будто некоторым людям, отвергнутым богом, предначертано небытие и жизнь их на земле отравлена сознанием, что они не возродятся к новой жизни. Впервые думала она об этой страшной пустоте, о глубокой, ни с чем не соизмеримой скорби вечной разлуки; она ставила себя на место несчастного, для которого жизнь — не что иное, как непрерывный ряд частичных смертей, ведущих к полной смерти, а самые нежные привязанности — только мимолетное заблуждение двух тленных сердец; она воображала отчаяние супруга, который, сжимая в объятиях любимую, вдруг вспомнит, что через несколько лет, а может быть, и дней, между ними станут столетия и что каждое мгновение этого уносящего прочь настоящего дается лишь в счет бесконечного будущего; среди этих скорбных размышлений она испытывала то же, что испытывает бедный и слабый ребенок, заблудившийся в лесу, который, без конца плутая, не может найти обратной дороги и в поисках собственных следов внезапно оказывается на отвесном краю бездны.

Погруженная в эти размышления, словно в мучительный сон, она поднялась со стула, на котором сидела, и под молчаливыми взглядами г-жи Альберти и Лотарио удалилась в свою комнату. Едва она вошла

туда, сердце ее, ничем уже более не сдерживаемое, отдалось гнетущей тоске и с каким-то странным упоением наслаждалось на свободе своим страданием. До сих пор страсти почти не были властны над ней, и даже любовь ее к Лотарио, все возраставшая, на радость г-же Альберти, не находила себе выхода в тех бурях, что сопутствуют пылким чувствам, повышают жизненные силы и заставляют все свойства души достигать высшего предела. Она поняла, что любит Лотарио, и это чувство, сладостное и покорное, не мешало ей чувствовать себя счастливой. Но мысль о небытии или вечном проклятии — о том, что Лотарио проклят, что его ждет небытие, — поднимала в ее сердце бурю мыслей и наполняла ее смятением и ужасом. «Ужели! — говорила она. — Ужели за пределами этой быстротечной жизни его ничего не ждет! Небытие! И он это думает! И говорит это! И он грозит мне, что мы никогда не свидимся с ним там, где все встретится, чтобы никогда уж не расставаться! Небытие! Что же это такое, небытие? И что такое вечность, если там не будет Лотарио?»

Пытаясь понять до конца эту мысль, она, сама того не замечая, приблизилась к распятию, и рука ее дотронулась до перекладины креста. Она подняла глаза и упала на колени.

— Боже! Боже! — вскричала она. — Ты, властный над пространством и вечностью, ты, всемогущий и любвеобильный, — неужто ты ничего не сделал для Лотарио?

При этих словах Антония почувствовала, что теряет сознание, но ее привело в себя прикосновение подержавшей ее руки г-жи Альберти, которая, оставив Лотарио, последовала за ней, испугавшись, не заболела ли она,

— Успокойся, бедная Антония, — сказала г-жа Альберти. — Среди твоих предков были покорители Востока, твое состояние исчисляется миллионами. Ты станешь супругой Лотарио, будь он даже королевским сыном.

— Не все ли равно, — ответила Антония, словно обезумев, — не все ли равно, если он не воскреснет?

Г-жа Альберти, до которой не дошел истинный смысл этих слов, с прискорбием покачала головой, как человек, против воли нашедший подтверждение печальной истины, которую давно и тщетно отвергал.

— Несчастное дитя! — сказала она, сжимая ее в объятиях и обливая слезами.— Как ты огорчаешь сестру! Ах! Если тебе небом суждена такая злая судьба, пусть лучше я умру раньше, чем мне будет дано это увидеть!

## Х

Еще не насладившись, мы уже разочарованы; желания еще остаются, но иллюзий больше нет. Фантазия богата, плодovitа и чудесна; жизнь бедна, бесплодна и лишена очарования. С полным сердцем живем мы в пустом мире и, еще ни от чего не вкусив, ни к чему уже не чувствуем вкуса.

*Шатобриан.*

Близкое общение с Лотарио стало теперь потребностью для Антонии; исполненная нежного усердия, она надеялась вернуть его к вере и, сама не признаваясь себе в том, уже горячо любила его. Г-жа Альберти не меньше ее дорожила этим общением, ибо все больше и больше тревожилась за судьбу беспомощной девушки, вступавшей в жизнь с хрупким организмом, слабым здоровьем и склонностью крайне болезненно воспринимать всякое сильное впечатление. Она не видела иной возможности обеспечить сестре хоть небольшую долю счастья, как поддерживая в ее сердце чувство, которое должно было — думала она — стать для нее защитой против жизненных невзгод; ей казалось важным, чтобы ее собственная, почти материнская привязанность была как можно раньше восполнена нежной и еще более заботливой любовью, которую, по-видимому, питал к Антонии Лотарио, хотя по какой-то необъяснимой странности он избегал делиться этим чувством с кем бы то ни было. Можно было подумать, что когда-то, живя в ином, более возвышенном мире, он создал себе некий идеал, о котором наружность и характер Антонии лишь напоминали ему, и что взгляд его, устремленный на Антонию, так нежен и внимателен только потому, что ее черты смутно пробуждают в нем память о ком-то, кого он встречал не здесь. Это обстоятельство сообщало их от-

ношениям какую-то мучительную таинственность, которая тяготила всех, но рассеять которую могло только время. Антония, впрочем, чувствовала себя вполне счастливой, ей было достаточно уже одной дружбы с таким человеком, как Лотарио; и хотя робкой, недоверчивой душе ее и был доступен иной род счастья, она не смела желать его. Жизнь казалась ей прекраснее при мысли, что она занимает в судьбе и помыслах этого необыкновенного человека место, которого, быть может, никто с ней не разделяет. Что касается Лотарио, то печаль его возрастала с каждым днем, и возрастала именно от того, что, казалось бы, должно было ее рассеять. Нередко, пожимая руку г-же Альберти или остановив свой взор на нежной улыбке Антонии, он, подавляя вздох, заговаривал о своем отъезде, и слезы выступали у него на глазах.

Это меланхолическое состояние духа, свойственное им обоим, заставляло их держаться в стороне от общественных мест и шумных увеселений, которым венецианцы предаются большую часть года. Обычно они проводили время на лагунах, гуляя по островам, которыми те усеяны, или же на материке, в прелестных селениях, что расположены на красивых берегах Brenty. Однако из всех этих излюбленных ими мест самым привлекательным казался им узкий, вытянутый в длину остров, называемый венецианцами Лидо, или «берег», потому что остров этот и в самом деле замыкает лагуны со стороны открытого моря и является как бы их границей. Природа словно сообщила этой местности какие-то особые черты торжественности и печали, пробуждающие в нас одни лишь нежные чувства и располагающие лишь к мыслям серьезным и мечтательным. С той стороны, откуда открывается вид на Венецию, Лидо все покрыто фруктовыми деревьями, красивыми садами, простыми, но живописно расположенными домиками. По воскресным дням сюда собирается простой народ отдохнуть после трудовой недели и предается сельским играм и пляскам. Отсюда Венеция предстает во всем своем великолепии; широкий канал, на всем обширном своем протяжении покрытый гондолами, кажется огромной рекой, омывающей подножие Дворца дождей и ступени собора св. Марка. Сердце сжимается от горестных мыслей, когда за этими величественными куполами замечаешь почернев-

шие от времени стены здания государственной инквизиции и пытаешься мысленно подсчитать несметное количество жертв беспокойной и ревнивой тирании, поглощенных этими казематами.

Если подняться на самую высокую точку Лидо, взор ваш привлечет дубовая рощица, которая занимает всю эту гористую местность и, подобно зеленому занавесу, нависла над всем пейзажем, или же раскинувшиеся то здесь, то там свежие, тенистые купы деревьев. С первого взгляда можно подумать, что эта местность, благоприятная для любовных утех, не хранит никаких тайн, кроме тайн любви; однако она посвящена тайне смерти. Множество разбросанных повсюду могильных плит, испещренных странными и непонятными для большинства прохожих буквами, казалось бы, свидетельствует о том, что здесь нашел последнее пристанище народ, исчезнувший с лица земли и не оставивший после себя иных памятников. Эта величественная мысль, в которой чувство быстротечности жизни слито воедино с чувством древности мира, превосходит своей глубиной и суровостью мысль, рождающуюся в нас при виде камня на могиле человека, которого мы знали живым; но мысль эта — заблуждение. Не успеешь сделать и нескольких шагов, как заблуждение это рассеется при виде могильной плиты, более светлой, нежели другие, отделанной в более современном вкусе и нередко покрытой еще не успевшими увянуть цветами, принесенными сюда осиротевшей супружеской или сыновней любовью. Эти неизвестные письма заимствованы у народа, которому бог сулил вечную жизнь и который живет среди людей, отринутый ими, не имея права смешиваться с ними даже во прахе. Это — еврейское кладбище. Когда ты затем спускаешься со склона в противоположную Венеции сторону, ты видишь, как деревья сразу же становятся реже, а пыльная и увядшая трава попадает лишь кое-где; наконец растительность вовсе исчезает, и нога тонет в легком, выбучем, серебристом песке, который покрывает всю эту часть Лидо и тянется до самого открытого моря. Здесь открывается совсем иной вид: тщетно твой взор, блуждая по необозримому пространству, будет искать здесь роскошные здания, разукрашенные флагами суда, проворные гондолы, только что радовавшие его своей яркой и приятной пестротой. На всем этом обшир-



ном пространстве нет ни рифа, ни песчаной отмели, на которых мог бы отдохнуть глаз. Это уже не ровная темная гладь тихих каналов, на которые рябь обычно набегает лишь под легким весом гондольеров и которые украшают своими невозмутимыми водами улицы, где каждый дом — дворец, достойный королей. Это бурные волны свободного моря — моря, не подвластного человеческим законам, равнодушно омывающего и богатые города и бесплодные, пустынные песчаные побережья.

Мысли такого рода были слишком серьезны для робкой души Антонии, но понемногу она привыкла к самым мрачным картинам и образам, ибо знала, что они по душе Лотарио и что он вкушает прелесть беседы во всей ее сладости и полноте только среди самого сурового безлюдья. Ненавидя светские условности, которые сдерживали и подавляли пылкую его чувствительность, он становился вполне самим собой только вне общества, когда мог наедине с природой и дружбой дать волю стремительному потоку своих мыслей, часто причудливых, но всегда полных силы и искренности, а иногда величавых и диких, подобно вдохновившим его пустынным местам. В такие минуты Лотарио казался неким высшим существом больше, чем когда-либо. Тогда, освободившись от условностей, принижающих человека, он, казалось, вступал во владение особым миром и отдыхал от тягостных законов общества в краях, куда они еще не проникали.

Стоя подле дерева, никогда не знавшего заботы человека, на земле, куда никогда еще не ступала нога путника, он был прекрасен, и в красоте этой было нечто напоминавшее Адама после грехопадения. Несколько раз являлся он таким Антонии, когда они гуляли на верхнем склоне Лидо, где находится еврейское кладбище. В то время как глаза его попеременно устремлялись то на Венецию, то на море, его подвижное, одухотворенное, выразительное лицо отражало все то, что он чувствовал, не менее точно и ясно, чем это могли бы выразить слова. В его взгляде можно было прочесть, что эти могилы, расположенные между клочущим миром и вечно однообразным морем, наводили его на мучительное сопоставление с пределом человеческой жизни, который, быть может, также лежит между волнением без цели и неподвижностью без конца. Его взор с тоской останавливался на крайних границах горизонта со стороны залива, слов-

но силясь оттеснить его еще дальше и найти за ним какое-нибудь доказательство, опровергающее небытие.

Однажды Антония, проникнув в эти его мысли так, словно он сообщил их ей, бросилась к нему с могильного холмика, на котором сидела, и, сжав его руку со всей силой, на которую только была способна, вскричала, указывая пальцем на неясную черту, где последняя волна сливалась с первым облаком:

— Бог... бог! Он там!

Лотарио, не столько удивленный, сколько тронутый, что его понимают, прижал ее к своей груди.

— Если бы даже бога не было во всей природе,— ответил он ей,— его все же можно было бы найти в сердце Антонии.

Г-жа Альберти, бывшая свидетельницей всех их бесед, меньше всего интересовалась разговорами об этих великих предметах, ибо сама она верила без всякого усилия, наивной верой, и никогда не предполагала, что можно сомневаться в тех понятиях, на которых только и зиждется счастье и надежда человека. Некоторые обстоятельства дали ей повод думать, что религиозные убеждения Лотарио и Антонии кое в чем расходятся; но она была далека от мысли, что это касается основ его веры, и поэтому такое незначительное разногласие между сердцами, которые она мечтала соединить, очень мало беспокоило ее. Каким бы совершенством ни был Лотарио, он может и заблуждаться; но она была уверена, что человек, столь совершенный, как Лотарио, не может всегда оставаться в заблуждении.

## XI

Я скрежещу зубами, когда вижу, какие совершаются несправедливости и как злосчастных бедняков преследуют во имя правосудия и законов.

*Гёте.*

Однажды их прогулка затянулась дольше обычного. Сумрак уже простирался над морем, и Венецию можно было различить только по разбросанным там и сям огонькам ее зданий; вдруг, среди того полного безмол-

вия всей природы, когда слуху становится доступным малейший звук, Антония услышала какой-то необычайный вопль, который, однако, был ей уже знаком и заставил ее задрожать. Она вспомнила, что уже слышала его в Фарнедо, в тот день, когда встретила старого морлацкого певца, а затем в окрестностях замка Дуино, когда армянский монах кинулся в толпу разбойников и разогнал их. Невольно она прижалась к сестре, ища глазами Лотарио, стоявшего на корме гондолы. Немного времени спустя вопль повторился, но на этот раз гораздо ближе; в то же мгновение гондолу сильно качнуло, как будто она столкнулась с другой. Лотарио в гондоле уже не было. Антония вскрикнула и, стремительно поднявшись, позвала его. Гондола стояла неподвижно. Громкий шум, слышавшийся неподалеку, привлек ее внимание, испуг сменился любопытством. Среди неясного гула голосов она отчетливо различила голос Лотарио, властно приказывавший что-то людям, столпившимся на открытой лодке. Через минуту она уже поняла, что люди эти — переодетые сбирьы, сопровождавшие в Венецию какого-то пленника и возмущавшиеся тем, что у них отняли добычу. В самом деле, Лотарио, приведенный в негодование насилем, которое совершалось над несчастным, и видя в грубом обращении с ним лишь отвратительное злоупотребление силой, бросился в их лодку и освободил незнакомца, столкнув его в море, откуда он мог вплавь добраться до берега. Сбирьы разразились было попреками и угрозами, ибо пленный был лицом значительным; были даже некоторые основания полагать, что это лазутчик Жана Сбогара, и они ожидали крупной награды за его поимку; но, узнав Лотарио, они почтиительно умолкли, ибо его таинственное влияние держало в узде чрезмерное рвение властей в эти смутные времена. Сказав несколько презрительных слов, Лотарио швырнул им горсть цехннов и спокойно вернулся в свою гондолу, положив конец беспокойству Антонии. Но в тот самый миг, когда они входили в канал, странный вопль, привлечший за несколько минут до того внимание Лотарио, раздался вновь, уже на Джудекке. Антонии стало ясно, что человек, которого Лотарио вырвал из рук сбирьов, выбрался в этом месте на берег и дает знать своему освободителю, что благодеяние его не пропало даром. Лотарио это, по-видимому, доставило живейшую

радость, и чувство его передалось сердцу Антонию; несмотря на неясный страх, еще волновавший ее, она была восхищена душевным благородством Лотарио, всегда готового, как она видела, возмутиться против несправедливости и пожертвовать собой ради обездоленных. Она понимала, что его безудержная пылкость может иногда завести его слишком далеко, но не допускала и мысли, чтобы можно было порицать заблуждения, столь благородные в самой своей основе.

Г-жа Альберти редко принимала гостей, потому что заметила, что эти развлечения, заключающиеся чаще всего в обмене одинаково тягостными для обеих сторон любезностями, не по душе Антонию, вкусами которой она руководствовалась во всем. Однако именно в этот день она против обыкновения ждала к себе довольно многочисленное общество, и гости съехались почти одновременно с ее возвращением. Слух о только что случившемся странном происшествии уже разнесся среди гулявших на площади св. Марка, и народная молва, как всегда благосклонная к Лотарио, представляла его поступок в самом выгодном свете. Венецианский народ, который на первый взгляд кажется одним из самых податливых и легко поработимых, этот народ, такой покорный, такой смиренный, такой ласковый со своими властителями, в то же время, быть может, ревностнее других охраняет свою свободу; и в дни общественных смут, когда шаткая власть переходила по воле случая из одних рук в другие, народ с восторгом цеплялся за все, что могло, как ему казалось, оградить его независимость или же отстоять ее, если закон бездействовал. Малейшее посягательство на безопасность личности тревожило, возмущало, вызывало в нем подозрительность, и в самых законных действиях правительства он был склонен видеть не охрану своего спокойствия, а скорее попытку к его уничтожению. Имя Жана Сбогара было известно в Венеции как имя человека грозного и опасного; но он никогда не вызывал у местных жителей тревоги, ибо шайка его была слишком малочисленна, чтобы пытаться напасть на большой город, и опустошения, которые приписывала ей молва, производились лишь в некоторых селениях материка, столь же далеких жителям лагун, как если б между ними простирались безграничные моря. Лазутчик Жана Сбогара не был, следовательно, врагом для Вене-

ции, и поступок Лотарио рассматривали как один из тех смелых и благородных жестов, которые были свойственны его характеру и давно завоевали ему любовь низших классов и всеобщее уважение.

Разговор в кружке г-жи Альберти, естественно, коснулся этого предмета, несмотря на явное смущение Лотарио, скромность которого не терпела ни малейших похвал; и так как разговор этот, — принимая во внимание учтивость венецианцев, — казалось, никогда не исчерпает себя, Антония, обеспокоенная недовольством, отражавшимся на лице того, о ком шла речь, поспешила обратить общее внимание на менее благоприятную для него сторону происшествия и тем избавить Лотарио от назойливых восторгов.

— А что, — сказала она, улыбаясь, — если синьор Лотарио находится в заблуждении относительно предмета своего благородного великодушия? Если его дурное мнение о сбирах на этот раз оказалось несправедливым? Если он не только имел несчастье помешать действию закона и оказать ему сопротивление, что всегда достойно порицания, но и избавил от заслуженной кары одного из тех преступников, которых не станут защищать ни в одной среде, и вернул охваченному страхом обществу одно из чудовищ, каждый день жизни которых отмечен злодейством; что, если он освободил одного из соратников Жана Сбогара или — я дрожу от одной этой мысли — самого Жана Сбогара?

— Жана Сбогара! — прервал ее Лотарио с тревогой и удивлением в голосе. — Но кто же может подумать, — продолжал он, — что Жан Сбогар или кто-нибудь из его людей осмелится явиться прямо в Венецию без какой-либо особой цели, без особой корысти; ведь не могут же эти разбойники открыто заниматься грабежами и убийствами в большом городе. Нет, это выдумка сбиров, притом очень грубая.

— И нелепая! — воскликнула г-жа Альберти. — Можно еще понять, когда какой-нибудь высокородный изгнанник, вождь благородной партии, проникает в город, где ему вынесли приговор, где его осудили на казнь, где его ждет эшафот. Даже если он предпримет эту попытку не ради своего дела, — сколько других возвышенных чувств могут побудить его к этому! Но какое

же чувство, какая страсть могут толкнуть на столь дерзкое предприятие жалкого главаря воровской шайки, сердце которого способно трепетать только надеждой на грабеж? Уж конечно, не любовью! Независимо от того, удастся или не удастся его попытка, он может быть уверен, что внушает одно лишь презрение; какая женщина обратит на него взор, кроме тех, ради которых стыдно вообще что-либо совершить? Найдется ли кто-нибудь, способный понять возлюбленную Жана Сбогара?

— Да, это было бы странно,— произнес Лотарио.

— Впрочем,— продолжала г-жа Альберти,— кто знает, существует ли вообще этот человек? Не служит ли его имя символом шайки, не менее презренной, чем остальные, но достаточно ловкой, чтобы искупать свою низость блеском громкого имени?

— Насчет этого, сударыня,— сказал человек почтенного возраста, внимательно слушавший г-жу Альберти и несколько раз порывавшийся возразить ей,— насчет этого ваши сомнения необоснованны. Жан Сбогар в самом деле существует; и он немного знаком мне.

Кружок гостей тотчас же сомкнулся теснее вокруг говорившего; Лотарио остался в стороне и продолжал, как обычно, уделять разговору ровно столько внимания, сколько того требует учтивость, когда предмет беседы в равной мере безразличен для всех.

— Я родом из Далмации,— продолжал иностранец,— и родился в Спалатро.

— В Спалатро? — повторил Лотарио и подошел ближе.— Мне хорошо знакомы эти места.

— Вот как раз в окрестностях этого города и увидел свет Жан Сбогар,— продолжал старик,— если, конечно, верить дошедшим до меня свидетельствам, ибо имя, которое он носит, не принадлежит ему. Он принял его, когда покинул свою семью, одну из самых знатных и славных семей нашего края, ведущей свой род по прямой линии от одного из албанских князей. Не могу сказать, что именно толкнуло его на этот шаг, но еще почти ребенком он перешел на службу к туркам, а потом присоединился к восставшим сербам, где быстро приобрел громкую военную славу. Но обстоятельства обернулись неблагоприятно для тех, к кому он примкнул, и, чтобы

не подвергнуться изгнанию, ему пришлось бежать. Говорят, он вернулся в Далмацию и там узнал, что его лишили наследства. Привыкнув к жизни, полной опасностей, и терзаемый, как видно, мрачными неукротимыми страстями, он ухватился за первую же возможность, чтобы стать вечным мятежником. Окажись он в тех счастливых обстоятельствах, при которых деятельный ум и талант могут помочь достичь всего, он, возможно, заслужил бы достойную его славу. Но вместо опасностей, ведущих к славе, он выбрал себе иные, те, что ведут лишь к позору и эшафоту. Это человек, достойный всяческого сожаления.

— Вы видели его? Вы видели Жана Сбогара? — спросила Антония.

— Я часто обнимал его, когда он был ребенком, — ответил старик. — У него была тогда нежная, любящая душа и благородное, прекрасное лицо.

— Он был красив? — воскликнула г-жа Альберти.

— Почему бы нет? — тихо сказал Лотарио. — Ведь прекрасное лицо отражение прекрасной души; а сколько прекрасных душ были изуродованы, озлоблены, а иногда и развращены несчастьями! Сколько детей, бывших гордостью своих матерей, стали потом позором или ужасом человечества. Сатана до своего падения был прекраснейшим из ангелов. Но, — продолжал он громче, — встречались ли вы с ним, когда он стал старше?

— Я знал его до десяти или двенадцати лет, — сказал старый далмат, — уже и к этому времени он стал задумываться и искал уединения. Я не раз думал с тех пор, что узнал бы его, доведись мне встретить его снова...

— Не дай же вам бог, — ответил Лотарио, — узнать его на скамье убийц! Эта минута была бы одинаково страшной и для вас и для него... для него, ибо она пробудила бы в нем воспоминания о юности, надежд которой он не оправдал, а это, быть может, для него сейчас злейшая из мук.

— Право, Лотарио, — сказала Антония, — вы слишком щедро наделяете других подобными чувствами. Вы не подумали, что в Жана Сбогаре они неизбежно должны были извратиться под влиянием той жизни, которую

он ведет; такие чувства уже недоступны теперь его низкой и испорченной душе; если даже правду говорят, что они когда-то были свойственны ей.

Лотарио ласково улыбнулся Антонии; затем, обернувшись к остальным и обращаясь главным образом к старому далмату, сказал, качая головой:

— Как тяжело преступнику жить на свете, если он ненавистен душам, подобным этой, и у него нет даже предлога, чтобы оправдаться или смягчить жестокость их приговора! Они видят в нем только чудовище, по безжалостной прихоти судьбы поставленное вне природы и лишенное всякого человеческого подобия. Он брошен в ряды живых существ лишь для того, чтобы вызвать у них ужас — и погибнуть. У этого несчастного не было родных. Он не знал друзей. Сердце его никогда не билось от глубокой скорби при виде несчастного, подобного ему. Сон безучастно смежал его веки, когда рядом с ним томилась без сна нищета, проливая горькие слезы. Боже великий! Как омрачило бы подобное предположение мои уже и без того достаточно печальные представления о порядках и законах человеческого общества! О, я предпочитаю верить в заблуждение обманутого рассудка, в горечь оскорбленного сердца, в возмущение благородной, но непримиримой гордости, восставшей против всего, что приводило ее в ярость, и пролагающей себе кровавый путь среди людей, чтобы таким образом дать знать о себе и оставить по себе какое-то воспоминание.

— Я думала об этом, — взволнованно сказала Антония, подойдя к Лотарио и положив руку ему на плечо.

— Мысли Антонии, — продолжал он, — всегда подсказаны ей небом. Что же до меня, то я хорошо понял и не раз ощущал, какой горечью может наполниться сильная душа при виде общественного зла; я понимаю, какой опустошительной может быть страсть — даже страсть к добру — для пылкого, неосторожного сердца. Есть люди, которые беспокойны из расчета, неистовы ради выгоды; их лицемерная восторженность никогда не обманет мой ум и не вызовет у меня сострадания. Но когда я вижу, что в основе отважного, сумасбродного или жестокого поступка лежит прямодушие, я готов



прийти на помощь человеку, совершившему его, хотя бы он и был уже осужден правосудием.

Антония с некоторым испугом отдернула свою руку. Однако Лотарио снова удержал ее.

— Человек прошел через два совершенно различных состояния, но во втором из них сохранил некоторые воспоминания о первом; и каждый раз, когда какое-нибудь сильное политическое потрясение заставляет общество клониться к естественному состоянию человека, он страстно устремляется к нему, ибо таково уж свойство человеческой природы — с непреодолимой силой влечет она к возможно более полному наслаждению свободой. Это стремление может привести к ужасным последствиям; оно почти всегда неразумно в своих расчетах; но оно свойственно человеку и по существу своему — благородно и трогательно. Но совсем не то в обветшавшем обществе, в котором живем мы, где власть, которую ненадолго разделяют между собой одинаково непрочные силы, опирающиеся уже только на свое старшинство или еще только на свою дерзость, рискует в любую минуту попасть из рук отважных в руки дворянства и достаться в удел последним негодяям.

Ужель в то время, как народ дошел до этого последнего предела, как, отторгнутый непреодолимой силой от древних обычаев и древних законов, неуверенный в завтрашнем дне, он трусливо пытается забыть свои предсмертные муки в объятиях лицемерных фигляров, льстящих ему, чтобы получить в наследство его последние лохмотья; ужель в этом обществе, стоящем на краю гибели и опирающемся почти единственно на корысть негодяев да на несколько недолговечных правил морали, которые вот-вот перестанут существовать, — ужели сильный человек, видящий в себе и в своем влиянии на других единственную гарантию прав всего человечества, не может... Ужели ему запрещено отдать все свои силы на борьбу с разрушением, с надвигающейся смертью? Я знаю, такой человек никогда не поднимет знамя во имя обыкновенного общества. Обыкновенное общество отвергло бы его, ибо он говорит на языке, который такому обществу непонятен, которому ему запрещено внимать; чтобы служить этому обществу, он должен отделиться от него, и война, которую он объявляет, —

это первый залог той будущей независимости, которую получит от него общество в тот день, когда рука, подерживающая государство, будет полностью отстранена. Тогда эти разбойники, ныне презируемые, предмет отвращения и ужаса народов, станут их судьями, а эшафоты, на которых они умирали, станут алтарями. Это отнюдь не парадокс,— продолжал Лотарио,— это вывод, сделанный на основании истории народов и опирающийся на примеры мноих столетий. Как в этом духе обновления, проявляющемся в момент умирания цивилизации и уничтожающем ее, чтобы обновить, не увидеть естественного следствия из всего существующего порядка вещей? Ибо обновление народов совершается только таким путем — так по крайней мере говорит нам опыт. Вы верите в провидение — и смеете осуждать пути его! Когда вулкан очищает землю, заливая ваши поля дымящейся лавой, вы говорите — то воля божья; но вы не допускаете мысли, что бог возложил некую особую миссию на этих кровавых и страшных людей, что подтачивают и ломают опоры, на которых зиждется общество, чтобы затем построить его заново. Вспомните, кто были основатели каждого нового общества, и вы увидите, что все это — разбойники, подобные тем, кого вы осуждаете!

Кто были, спрашиваю я, все эти Тезеи, Пирифои, эти Ромулы, которыми отмечен переход от века варваров к веку героев, возглавленному ими?

Кто был Геркулес, чье имя до сих пор почитается всеми слабыми людьми — ибо не было более грозного врага у сильных — и чей гнев обрушивался лишь на царей и богов? Жрецы освятили память о его подвигах и причислили его к сонму богов, хоть он и был незаконнорожденным, вором, убийцей и отцеубийцей. Во время своего путешествия в Афины я видел гору, на которой Марса судили за убийство.

Пока Лотарио говорил все это, Антония смотрела на него с каким-то неизъяснимым чувством. Г-жа Альберти слушала его речи с меньшим вниманием, но они доставили ей удовольствие своим своеобразием и новизной мыслей; власть мыслей Лотарио над ней была так велика, что она подчас забывала, насколько враждебны

они чувствам, привитым ей воспитанием или внушенным собственным ее рассудком.

Нрав Лотарио, всем известный, впрочем, своею несколько суровой независимостью и склонностью высказывать мнения, не заслужившие ни одобрения властей, ни еще более постыдного восторга толпы, придавал всему, что он говорил, необычайно острый интерес; положение его в свете было таково, что самые странные и смелые его мысли казались лишь причудой и фантазией. Это впечатление было настолько обычным, что ему редко пытались возражать. Всем нравилась его горячность, искренность его поведения. Никто не принимал его речей всерьез. Разговор давно был закончен, и Лотарио, погруженный в свои мысли, не принимал уже участия в той безразличной беседе, в том равнодушном обмене незначительными словами, которые его сменили. Опустив голову на руку, он не сводил мрачного взгляда с Антонии, которая, сама того не замечая, пересела поближе к нему, пораженная, казалось, горестной мыслью.

— Лотарио,— сказала она вполголоса, протягивая ему руку,— ваша любовь к слабым и обездоленным порой побуждает вас говорить речи, которых вы и сами не одобрили бы после некоторого размышления. Берегитесь увлечения, которое при известных обстоятельствах может стать роковым для вашего счастья и для счастья тех, кто любит вас.

— Тех, кто любит меня! — вскричал Лотарио.— О, если б я был любим! Если б я мог быть любим! Если б взор женщины, достойной моего сердца, упал на него до того, как оно увяло от невзгод! Как странно представить себе это!

Антония еще ближе придвинулась к Лотарио, то ли чтобы заслонить его от других, то ли чтобы лучше его слышать. Рука ее покоилась в его руке.

— Да,— продолжал Лотарио,— если бы женщина, предназначенная мне судьбой, внесла в мою несчастную жизнь чувство, похожее на любовь; если б существо, напоминающее Антонию, напоминающее ее хотя бы издали, подобно тому как тень напоминает действительность, защитило меня своим состраданием; если б я мог

вдыхать, не оскверняя, воздух, колеблемый складками ее платья или волнами ее волос, — если б губы мои посмели сказать тебе: «Антония, я люблю тебя!»

Общество расходилось. Антония вся трепетала и уже не понимала, где она находится. Она оставалась в той же позе, когда г-жа Альберти вернулась в комнату, но Лотарио не умолк при ее появлении. Он повторил с мрачным выражением последнюю свою фразу и вдруг, привлекая г-жу Альберти к сестре, горестно воскликнул:

— Что вы делаете, что делаете вы с Лотарио? Знаете ли вы его — вернее, знаете ли вы этого незнакомца, этого случайного человека, не имеющего имени? А вы, сестра этого ребенка, знаете ли вы, что я люблю ее и что моя любовь смертоносна?

Антония горько улыбалась.

Разум ее не воспринимал такой связи мыслей; но они томили ее тяжким предчувствием.

Г-жа Альберти не удивилась. Речи Лотарио казались ей лишь выражением пылкой любви, какой и должна была, по ее представлению, быть любовь Лотарио. Она пожала ему руку, ласково глядя на него, чтобы дать ему понять, что счастье его зависит только от него самого и что она — единственный человек, имеющий какое-то влияние на решение сестры, — не станет препятствовать его желаниям. Антония, воодушевленная признанием Лотарио, позволила себе дать волю своим чувствам. Она выразила их взглядом, первым взглядом, в котором сияла любовь.

— Горе мне! — глухо произнес Лотарио и исчез.

Плеск весел по воде канала нарушил мертвую тишину, наступившую после его ухода. Антония бросилась к окну. Луч луны ярко освещал перо, развевающееся на шляпе Лотарио, одетого в тот день по-венециански. Это небо, этот порыв ветра, этот поздний час внезапно напомнили Антонии появление неизвестного разбойника, отчаливавшего на ее глазах от мола св. Карла. Но сердце ее лишь на одно мгновение поддалось страшно-му воспоминанию. Какова бы ни была тайная причина смятения Лотарио, он сказал, что любит ее; эта любовь должна была защитить ее от всех опасностей.

## ХП

О чудесный край! Если бы было где-нибудь место, где могли бы хоть немного утихнуть страдания измученного сердца, затянуться глубокие раны, нанесенные стрелами горести, и вспомниться первые в жизни мечты,— это место, без сомнения, здесь! Эти пейзажи, глупые очарования, эти дремучие леса, этот чистый, целебный воздух могут успокоить любую печаль... но только не отчаяние.

*Шарлотта Смит.*

Г-жа Альберти провела ночь и часть следующего дня, стараясь понять смысл таинственных речей Лотарио. Но ни одно из найденных ею объяснений не могло повлиять на ее намерения. Низкое происхождение, расстроенное чрезмерной расточительностью состояние, может быть, политические бедствия или личные невзгоды, навсегда оторвавшие его от родины,— таковы были те различные догадки, на которых останавливалось ее воображение, но ни одна из этих причин не казалась ей серьезным препятствием счастью Антонии, и если бы даже ее предположения были верны, колебания Лотарио объяснялись чувствами столь тонкими и достойными уважения, что г-жа Альберти готова была пойти на все, чтобы побороть его сопротивление.

После недолгой беседы с Антонией она разрешила ей удостоить Лотарио своей руки и самой сообщить ему об этом, ибо была убеждена, что его благородные сомнения не смогут устоять перед любовью. Ее сестра, более неуверенная по природе, тревожно и нетерпеливо ждала конца дня — мрачные предчувствия, томившие ее с самого детства, говорили Антонии, что ей не суждено вкушать обещанных радостей. Ей казалось, что Лотарио не вернется, что она видела его вчера в последний раз.

И, однако, он вернулся.

На его печальном, усталом лице лежала печать долгих и тягостных раздумий. Оно было мертвенно-бледно. Взор его утратил свою обычную мягкость; в нем отражалось мятежное и бурное смятение больного воображения. Он сел подле Антонии и пристально стал смотреть

на нее. Г-жа Альберти занималась чем-то в некотором отдалении от них, намеренно избегая участия в их беседе. Для робкой, слабой Антонии положение это было очень затруднительным. Она пыталась улыбнуться, но на глаза ее то и дело набегали слезы. Сердце ее билось со страшной силой. Иногда она отворачивалась от Лотарио, а потом, снова взглянув на него, удивлялась тому, что он все так же, как и прежде, погружен в свое неподвижное, зловещее созерцание. Она попробовала заговорить, но с трудом пролепетала лишь несколько нечленораздельных звуков; однако Лотарио не переспросил ее. В его пристальном взгляде, устремленном на нее, было нечто колдовское — казалось, то взгляд привидения. Наконец ей удалось отчасти справиться с этим наваждением.

— Стало быть, вы несчастны, Лотарио? — произнесла она.

Вопрос этот, имевший неуловимую связь с их последним разговором, был выражением мучительного чувства, которое она испытывала, собираясь сказать ему то, что обещала сестре. Лотарио молчал.

— А между тем, — продолжала она, — было бы слишком жестоко по отношению к тем, кто любит вас...

— Кто любит меня! — вскричал Лотарио, схватившись за голову. — Опять говорите вы о тех, кто любит меня! Как видно, злой гений внушает вам эти магические слова — они разрывают мне сердце.

— Я не случайно повторила их, — ответила Антония, — ибо знаю, что нет непоправимого несчастья для человека, который любим; и если, Лотарио, судьба дала вам испытать много разочарований, если счастье много раз обманывало ваши надежды, это не значит, мой друг, что вам уже никогда не найти для себя бесценной награды, которая способна возместить чувствительному сердцу все его горести: вы любимы, Лотарио, и вы это знаете.

Лотарио вновь устремил свой взгляд на Антонию, но выражение его лица теперь совершенно переменялось. Это было несвойственное ему обычно выражение тревожной радости, изумления и вместе с тем какого-то ужаса.

— Лотарио, — продолжала она, — я не знаю вашей семьи, вашего положения и состояния, и мне до этого

мало дела; но мне велено сказать вам, что, каковы бы они ни были, рука Антонии, сердцем которой вы хотите завладеть, во всех этих отношениях ни для кого не будет обидным даром; а Антония, свободная в своем выборе, избрала бы только вас.

— Меня! — вскричал Лотарио в каком-то исступлении.

Г-жа Альберти подошла к ним.

— Меня! И это вы, вы, Антония, так жестоко смеетесь надо мной?

— Лотарио, — сказала Антония с холодным достоинством, — вы презираете Антонию или же вы не поняли ее.

— Презирать Антонию? Что значат эти речи? О чем со мной говорили! О браке, если я не ошибаюсь, и вы...

Антония, плача, припала к сестре.

— Дитя мое, — сказала г-жа Альберти, — надо уважать его тайны. Он не отверг бы тебя, если б не препятствие, непреодолимое для него, быть может... другие узы...

Лотарио перебил ее:

— Ах! Не думайте так! Рожденный для того, чтобы полюбить Антонию, и только ее одну, я не подарил своей свободы никому другому. И если бы рука ее могла быть наградой за любовь или отвагу, — клянусь, эта рука принадлежала бы только мне. Но по какому праву и на каких условиях... На каких условиях, о великий боже! И какой человек посмеет их поставить! Небесное возмездие, как ты сурово! Послушайте, разве вам никогда не говорили — разве не говорили вам еще совсем недавно о человеке по имени Лотарио — да, так, кажется, его зовут! И супруга Лотарио — известно ли вам, в каком дворце, в каких владениях представит он ее своим подданным?

Антония села. Смертельный холод леденил все ее существо. Страшные проблески истины мелькали в сознании, но оно противилось им. Она силилась разгадать эту непроницаемую тайну, — но ей было ясно одно: тайна эта непостижима и ужасна. Лотарио то отходил от Антонии, то вновь приближался к ней. Черты лица его то искажались, словно в бреду, то прояснялись, будто под действием какой-то неодолимой силы. Некоторое

время он оставался задумчивым и унылым. Потом чело его вдруг просветлело, глаза оживились, внезапная мысль, примирявшая его с надеждой, блеснула на лице его. Он упал на колени перед Антонией, восторженно сжимая ее руки и руки г-жи Альберти и орошая их слезами.

— Что, если бы я стал всем на свете для нее и для вас? — воскликнул он.

— Всем на свете! — повторила Антония.

— Она и вы, — добавила г-жа Альберти. — Вся моя жизнь заключена в этой мысли.

— Ужели правда? — вскричал Лотарио, словно подавленный этим неожиданным счастьем. — Ужели правда? И я смог бы начать с вами новую жизнь, вырвать имя свое и свою судьбу из среды людей? Я мог бы это? Но могу ли я... Посмею ли я подвергнуть все, что люблю... Так велит мне роковая судьба! Далеко отсюда, далеко от города, в краю, где для вас потеряет всякую цену блеск громкого имени и крупного состояния, но где я посвятил бы всю оставшуюся мне жизнь... Ах! Дайте мне отдохнуть хоть на миг от обуревающих меня чувств!..

Лотарио помолчал; через несколько минут он поднялся и уже спокойнее продолжал свою речь:

— Еще совсем молодым я уже горько сознавал пороки общества, они возмущали мою душу и нередко толкали ее на крайности, в которых вчера упрекала меня Антония и которые я искупил затем слишком дорогой ценой. Повинуясь скорее инстинкту, нежели разуму, я бежал прочь от городов и людей, живущих в них, ибо ненавидел их, не зная еще, до какой степени придется мне возненавидеть их впоследствии. Мои беспокойные странствия приводили меня то в горы Карниолы, то в леса Кرواتии, то к диким, почти безлюдным песчаным берегам нищей Далмации. Недолго оставался я в местах, куда распространилась власть общества; отступая все дальше по мере его успехов, возмущавших мое независимое сердце, я жаждал только одного — выйти полностью из его пределов. Есть в этих краях уголок, что служит как бы рубежом между цивилизацией современной и цивилизацией древней, оставившей по себе глубокий след — развращенность и рабство; этот уголок — Черногория, расположенная как бы на грани-



де двух миров; не знаю, какое смутное предание внушило мне, что страна эта не относится ни к одному из них. Это — европейский оазис, отделенный от всего неприступными скалами и особыми нравами, которые еще не испорчены сношениями с другими народами. Язык черногорцев был мне знаком. Мне случалось беседовать с теми из них, кого приводили подчас в наши города их потребности, никогда не возраставшие и всегда неизменные... У меня создалось отрадное представление о жизни этих дикарей, которые столько веков обходятся тем, что у них есть, и на протяжении стольких веков сумели сохранить свою независимость, заботливо остерегаясь общения с цивилизованными людьми. И в самом деле, положение их таково, что никакая корысть, никакое честолюбие не могут привлечь в их пустынный край ту шайку алчных разбойников, что захватывают земли, дабы извлекать из них выгоду. Лишь человек любознательный или ученый порой пытался проникнуть в эту глушь, но они нашли там смерть, которую сами же несли туда: ибо появление цивилизованного человека всегда смертельно для свободного народа, вкушающего естественные чувства во всей их чистоте. Поэтому мне трудно было проникнуть к ним; и все же мне удалось это, ибо я носил такую же, как они, одежду и знал их язык. Впрочем, я искал там не людей, а свободную страну, где никогда не звучал голос человеческой власти, основанной на иных правах, нежели права отеческие. Я заранее ограничил свои потребности; как-то, в минуту, полную горечи, мне, пылкому юноше с горячей головой, показалось, что ни одна привязанность никогда не сможет заполнить мое сердце, что бог создал меня единственным в своем роде, — и я вообразил, что не нуждаюсь ни в ком. Мне нужна была лишь хижина на время суровых зимних холодов, плодовое дерево да ручей. Долго блуждал я среди отрогов Клементинских гор, стараясь держаться следов диких животных, еще издали обходя дым человеческих жилищ, ибо, движимый тем же чувством, что и черногорцы, я видел в человеке только врага.

Не буду описывать вам те яркие впечатления, которые оставила во мне эта величественная, никем не покоренная природа, чьих даров вполне достаточно для ее населения, к счастью столь немногочисленного, что ему

не приходится просить ее милостей. Не буду рассказывать, с какой радостью похищал я у земли какой-нибудь питательный корень, не боясь при этом нанести урон жадному землевладельцу или обмануть надежды изголодавшейся крестьянской семьи, не опасаясь услышать те роковые слова, которые всегда напоминают мне, подобно одному из ваших писателей, о насильном захвате земель: «Это — мое поле!»

Наконец однажды — но как выразить эту неизъяснимую смену чувств, происходившую во мне тогда? — однажды, то было на закате дня... Стояло прекраснейшее время года. Солнце спускалось за огромную долину, затерянную среди рощ смоковниц, гранатовых деревьев и олеандров; то здесь, то там виднелись на ней маленькие домики, окруженные прекрасными, радующими взор посевами. Правда, такая картина свидетельствовала уже о существовании общества, но общества на самой ранней его ступени. Никогда и нигде еще жилище земледельца не радовало так моего взора. Никогда еще воображение мое не рисовало мне подобного благоденствия сельской жизни. Я постиг тогда всю прелесть общения между собой людей земледельческого племени — человек любит там человека, он нужен ему, чтобы быть счастливым, но не необходим. И я пожалел, что мне не пришлось жить в те времена, когда цивилизация не вышла еще за эти пределы, или что я не принадлежу к этому народу, наслаждающемуся радостями подобной жизни. Однако я тут же содрогнулся: я подумал, я вспомнил, что у такого общества должны быть страшные законы, и чужеземца, осквернившего своим появлением эту землю, может ожидать только смерть. Но в эту минуту, когда у всякого другого кровь застыла бы в жилах от ужаса, я почувствовал, как моя кровь кипит от негодования на самого себя. «О, горе тому нечестивцу, — вскричал я, — который принес бы сюда пороки и лживые науки Европы, будь у меня здесь мать, сестра или возлюбленная! Он дорого заплатил бы за то, что оскверняет своим ядовитым дыханием воздух, которым я дышу».

Один черноморец услышал меня и понял мои слова, ибо я говорил на его языке.

«Таковы и наши законы, — сказал он, взяв меня за руку, — и даже тем, кто, подобно тебе, спускается в на-

ши долины с высот Черногории, чьи наружные склоны почти непреодолимы для чужеземцев, не всегда разрешается жить среди пастухов-мередитов. Впрочем, нас значительно отдаляет друг от друга несходство обычаев: ведь вы — охотники и воины, и вам трудно было бы привыкнуть к милым нам порядкам и спокойной жизни наших пастухов; но, чтобы не стеснять естественной свободы человека и не злоупотреблять властью над нашими детьми, мы позволяем иногда обмен между теми, кого склонность призывает защищать наши горы, и теми из вас, кого более простые вкусы заставляют стремиться к мирному сельскому труду; и этот свободный обмен людьми и чувствами помогает нам поддерживать отношения с соседями, несмотря на все различие наших нравов. Таким образом, вот уже много веков как воины-черногорцы опоясывают наши горы цепью богатырей, защищая эти поля, которые, в свою очередь, кормят их, когда природа отказывает им в пропитании, что, впрочем, случается редко. Вы, должно быть, сын одного из наших братьев, и кто бы вы ни были — все это обширное пространство, — тут он указал мне на очаровательный уединенный уголок долины, уже сулящий богатый урожай, — все это принадлежит вам, если вы выберете себе супругу среди наших дочерей; а если она родит вам детей и ваш надел станет вам тесен, мы увеличим его сообразно вашим потребностям, но при одном условии: вы должны будете вернуть природе всю ту землю, без которой сможете обойтись, когда семья ваша уйдет в горы; ибо в то время как у других народов о богатстве семей и деревень говорят засеянные поля, у нас о нем судят по размерам остающейся под паром земли, которую никто не заставляет пахать раньше времени, потому что у нас нет избытка населения. Отныне вы пастух-мередит; вы свободны, и между нами не существует никаких принудительных уз, кроме обязанности оказывать помощь и гостеприимство в тех редких случаях, когда в этом окажется необходимость. Если вы сейчас ни в чем не нуждаетесь, идите и вступайте во владение своим наделом; в противном случае обратитесь к нам — и вы не будете знать недостатка ни в одном из тех даров, которыми наделяет природа простого человека».

Сказав это, он уже сообразил покинуть меня, но одна невыносимая мысль отравляла мне счастье и лишала меня возможности насладиться им. Открыть, кто я,— значило поставить на карту свою жизнь; но нечто более властное, нежели забота о собственном существовании, запрещало мне воспользоваться добротой и гостеприимством этих горцев и принять благодеяние, предназначавшееся не мне.

«Брат мой,— сказал я ему,— вас ввела в заблуждение моя внешность. Я родился за пределами Клементинских гор; сюда я пришел в поисках свободы. Все говорит мне, что я мог бы найти здесь то единственное благо, которого я жаждал на земле,— возможность свободно наслаждаться воздухом, небом и собственным сердцем. Но рай, который вы предлагаете мне, предназначен другому, более счастливому человеку, нежели я. Я же в этих рощах — только чужеземец, которого вы имеете право покарать за то, что он вторгся к вам».

Морлак смотрел на меня.

«Юноша,— сказал он мне после недолгого молчания,— в твои годы еще не умеют обманывать; но можешь ли ты быть уверен, что не обманываешь самого себя? О, если бы мог ты действительно разочароваться в том мире, который ты покидаешь, и разочароваться навек! Впрочем, ободрись. Я был молод, как ты, и, как ты, был чужеземцем в Черногории, когда явился сюда искать убежища и был, как и ты, доброжелательно встречен пастухами, которые не отвергли меня, как я того опасался. Ступай,— сказал он властно,— и владей землями, которые я указал тебе; они не принадлежат никому в отдельности, и первый встречный может взять их себе; мы не дошли еще до необходимости ограничивать наше население. Сотня семейств живет здесь на пространстве, которого достало бы на целый народ. Дети детей твоих смогут расти здесь, не обременяя соседей и не страдая от нищеты. Прощай,— сказал он мне.— Трудись, молись богу и наслаждайся покоем своего сердца».

Я остался один, счастливый сознанием своей свободы; я был хозяином плодородной земли, которая почти не требовала труда, да и тот благодаря своей легкости и успешности всегда был приятен. Мои владения, которых не касалась еще рука человека, орошал полновод-

ный ручей; вздуваясь время от времени от грозовых ливней, он водопадом низвергался с вершины моих скал и омывал далекие сады, где обилие плодов превышало мои потребности, но зато привлекало бесчисленные стаи перелетных птиц. С наслаждением охранял я этих случайных гостей моих от неожиданных превратностей погоды; я бывал счастлив, когда спасал от губительного холода пчелу, застигнутую ледяным ветром, и относил ее, согрев своим дыханием, в расщелину одинокой скалы, служившую ей обычно убежищем. Так прожил я два года, ни с кем не общаясь. Мне было тогда восемнадцать лет, и я сам удивлялся тому, как развились мои силы от привычки к сельской жизни.

Я был счастлив — повторяю, счастлив, потому что был свободен, потому что был уверен в своей свободе, а я не знаю ничего, что способно так наполнить сердце человека блаженным волнением, как эта уверенность, которой ему редко приходится наслаждаться. Как все восхищало меня! В какой восторг приводило меня созерцание природы! Однако я часто томился какой-то непостижимой потребностью быть любимым; меня приводила в отчаяние уверенность, что никогда моя избранница не последует за мной в этот пустынный край, чтобы соединить свою судьбу с моей. Я понял тогда, что самое нежное чувство в страстном сердце может стать яростью. Я ненавидел мир, обладающий этим неведомым сокровищем, всей той ненавистью, которой я ненавидел бы счастливого соперника. С презрением, с ревнивым гневом думал я о девушках, которые, пленившись модными нарядами и лестью каких-нибудь изнеженных поклонников, когда-то бросали на меня надменные взгляды, потому что я был никому не известен и слишком молод. С каким-то бешенством я представлял себе, как сладостно было бы мне доказать им когда-нибудь, сколь ложны их тщеславные предрассудки, проливая на их глазах кровь или приводя их в ужас заревом пожара... Простите, Антония, этот бред безумной юности, предоставленной во власть страстей.

Я нарочно отыскивал в горах медведей, чтобы нападать на них с рогатиной — единственным моим оружием, и сожалел при этом, что меня не видят эти женщины — они чудились мне повсюду, — что они не вынуждены, дрожа от страха, искать у меня спасения и защиты.

Я не бывал в обществе других пастухов, которые также почти не общались друг с другом; но я пользовался среди них известностью за свою отвагу и силу, которые мне несколько раз случайно удавалось проявить перед ними.

Загадочность моего появления, мое полное одиночество, не нарушаемое ни при каких обстоятельствах, особенно же рассказы о моей силе и храбрости, завоевали мне то всеобщее благоволение, которое дикари, как и цивилизованные люди, обычно питают ко всему необычному.

Однажды в Клементинские горы вторглись иностранные войска. Несколько отважных отрядов нашли там свою смерть. Их поддерживала армия, не решавшаяся последовать за ними, но угрожавшая некоторое время нашему пустынному краю. Роща нижней долины, где я жил, была почти неприступной. Впрочем, чем могла она привлечь алчность соседних народов? Но многие из наших братьев, жившие на внешних склонах, погибли; мы поднялись им на смену. Во время боя случай сделал меня пленником неприятеля, несмотря на мое решение умереть: я делал для этого все, что мог, ибо жизнь постыла мне, но вместе с кровью я потерял сознание, и враги взяли меня с собой. Слишком долго и бесполезно было бы рассказывать об этом.

Какой стала моя жизнь впоследствии — это уже другая тайна, которую мне, быть может, и придется еще открыть вам. Но сколько раз воспоминание об этом неприкосновенном и восхитительном убежище, которым я владел в новом обществе, вне пределов земных властей и их законов, заставляло трепетать мое сердце. Сколько раз готов я был все покинуть, чтобы обрести его вновь, и если б меня с некоторого времени не удерживала здесь сила непобедимого чувства...

— С какого времени? — спросила Антония.

— С тех пор, как я увидел вас, — холодно ответил Лотарио. — О, если бы мое сердце было менее дерзновенно в своих чувствах и привязалось бы к женщине, такой же одинокой в этом мире, как и я, женщине, способной понять и позавидовать блаженной жизни в моей роще! Это была мечта моей юности.

— Мне кажется, Лотарио, — возразила г-жа Альберти, — что вы сами создаете какие-то химеры, чтобы по-

том сражаться с ними. Я не вдумывалась, я даже не пыталась поглубже вникнуть в эту странную тайну, заставившую вас так рано отказаться от всех преимуществ, на которые все ваши достоинства давали вам право рассчитывать в свете; но моя жизнь нераздельно связана с жизнью моей сестры, а мне уже известно, что она готова подчиниться всем диким прихотям вашей философии до той поры, пока вам не угодно будет вернуться к образу жизни, более достойному ее и вас. Она одна лишь имеет право опровергнуть мои слова.

— Поедем в Клементинские горы! — воскликнула Антония, бросаясь в объятия сестры.

— Клементинские горы! — вскричал Лотарио. — И Антония поехала бы туда? Она последовала бы за мной? О, ужели же отказ от такого счастья — еще недостаточная кара для меня?

Дверь открылась, и вошли обычные гости.

Ледяной холод овладел вдруг сердцем Антонии. Лотарио тихо приблизился к ней и, прикрывая свой порыв маской светской учтивости, тихо повторил:

— В Клементинские горы! И Антония поехала бы туда?

Антония взглядом искала сестру.

— Да! — произнесла она и прибавила, указывая на г-жу Альберти: — Поехала бы всюду — с ней и с Лотарио.

— Дайте мне помечтать, — тихо продолжал он, — помечтать о счастье, которое мне суждено или которое я утратил. Я слишком взволнован, чтобы ясно разглядеть сейчас свое будущее... Завтра... завтра или никогда!

Лотарио вышел в величайшем смятении; на сердце у Антонии было не менее тревожно. К ее тревоге постепенно примешивалось чувство страшной растерянности. Два часа спустя в комнату вошел Маттео и подал Антонии письмо, которое та передала г-же Альберти. Они были одни. Записка гласила следующее:

Никогда, Антония, никогда! Не вините меня, забудьте меня, немного поплакав обо мне. Я отказываюсь от всего — от единственного счастья, которое было когда-либо доступно моему бедному сердцу. Теперь я стану искать смерти, слишком долго щадившей меня. О моя Антония! Если мир, в который ты веришь, мо-





жет когда-нибудь открыться на крик раскаяния; если среди детей божьих нет ни одного, осужденного заранее, — я увижу тебя вновь. Увидеть тебя вновь! Увы! Никогда, Антония, никогда!

Лотарио.

Г-жа Альберти прочитала эти строки дрожащим голосом, не решаясь поднять глаза на сестру. Взглянув на Антонию, она испугалась ее бледности и неподвижности. Страшный удар нанесен был этому слабому сердцу, и г-жа Альберти поняла, что удар этот непоправим.

В тот же день в Венеции уже все знали об отъезде Лотарио, и, как всегда, эта новость породила множество разнообразнейших толков, одни причудливей других. Когда Антония, придя в себя, стала наконец раздумывать об этом отъезде, она так ничем и не смогла объяснить его; она чувствовала лишь, что здесь заключена страшная тайна, — и у нее замирало сердце и мутился рассудок, едва она пыталась разгадать ее. Один только раз ей на мгновение показалось, что она близка к разгадке. С того дня как Лотарио сказал Антонии последнее слово прощания — «завтра или никогда», ее старались не впускать в комнату, вызывавшую в ней тяжелые воспоминания и мучительные сожаления. Как-то ей удалось проникнуть туда без свидетелей, и здесь, глядя в задумчивости на то место, где Лотарио расстался с ней, Антония заметила на полу у стула, на котором она тогда сидела, маленькую записную книжку в сафьяновом переплете со сломанной стальной застежкой. Она тотчас подняла ее, и, подумав, что в ней, быть может, и заключено объяснение, которого она так ищет, и что Лотарио не без намерения оставил ее на этом месте, поспешила открыть эту книжечку и быстро пробежала ее взглядом. В ней было не более двенадцати разрозненных листочков, исписанных то карандашом, то пером, в зависимости от обстоятельств, при которых мысли эти приходили на ум Лотарио.

Две или три строчки были начертаны кровью.

Связи между ними почти не было; но все они были внушены тем роковым духом парадоксальности, той дикой, исступленной мизантропией, что всегда преобладала в его речах.

Антония, слишком взволнованная чувствами, наполнявшими ее сердце, не вдумывалась в смысл этих строк и видела в них только то, что и в самом деле было там наиболее примечательным, — странные образы, мечтательные размышления, черты какой-то мрачной силы; но она не находила здесь ничего, что рассеяло бы или подтвердило ее сомнения. Она закрыла книжечку Лотарио и спрятала ее у себя на груди, не сказав ничего г-же Альберти.

### XIII

Не будем выяснять, почему стонет невинность, в то время как преступление облачается в почетные одежды. Лишь в день отмщения, в день вечного возмездия будет раскрыта нам тайна судьи и жертвы.

*Гервей.*

#### ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ЛОТАРИО

Гора Тавр вознеслась главой своей над всеми холмами; один из них молвил ей: «Я всего лишь холм, но во мне скрыт вулкан».

Что такое общество? Горсточка патрициев, дельцов и авгуров, а по ту сторону — весь род человеческий в пеленках и на помочах.

Законодатели восемнадцатого века подобны архитекторам Ликерия, которые устремляли ввысь стены здания, не думая о его фундаменте.

Одряхлевшими народами надо править.

Развращенные народы надо подавлять.

Свобода — превосходная пища, пригодная только для здоровой и крепкой молодости.

Когда политика становится искусством произносить слова — все погребло. Есть на свете нечто еще более презренное, нежели раб тирана: это простофиля, обманутый софизмом.

Непостижимо, что люди могут устраивать резню из-за своих прав, в то время как эти мнимые права человека — лишь мистические слова, толкуемые адвокатами. Почему человеку никогда не говорят о первом из прав человека — о его праве на участок земли, определяемый соотношением людей и территории?

Что это за закон, на первой странице которого начертаны эмблемы равенства и само это слово? Может быть, это закон о земле? Нет, это договор о продаже, по которому народ отдается во власть богачей интриганами и крамольниками, жаждущими сделаться богачами.

Человек льстит народу. Он обещает служить ему. Вот он достиг власти. Все думают, что он потребует раздела богатств. Не тут-то было. Он приобретает богатства и вступает в союз с тиранами для раздела народа.

Священным словом евреев является «золото». Существует способ так шепнуть на ухо судьям земным, что противник ваш упадет поверженным насмерть.

Ликургу явилась странная мысль, что воровство — единственное установление, способное поддержать общественное равновесие.

Полно тебе, юноша, собирать жатву в садах Тантала! Открой глаза на страдания человечества. Смотри: пропасть Курция все еще зияет, и многим придется броситься в нее ради спасения мира.

Милостыня — это добровольное частичное возмещение убытков; нищий согласен пойти на мировую; начнем же тяжбу.

Выведите человека из лесной чащи и покажите ему общество; он не замедлит стать таким же развращенным и достойным презрения, как и вы, но все же ему никогда не понять, как может бесстрашный ареопаг хладнокровно отправлять на виселицу нищего за то, что он похитил крохи с пиршественного стола миллионера.

Трудно ответить на вопрос, что более отвратительно в жизни общества — злодеяние или закон, и что более жестоко — преступник или судья, преступление или кара. Мнения резко разделяются.

Убить человека в порыве страсти — это понятно. Но хладнокровно, обдуманно заставить другого убить его на площади под видом исполнения почетного дела — вот этого понять нельзя.

Страшно подумать, что равенство — предмет всех наших желаний и цель всех наших революций — действительно возможно лишь в двух состояниях: в рабстве и смерти.

Можно умереть от стыда при виде того, как народы бьются вокруг какой-нибудь идеи, словно муравьи за соломинку. Соломинка — это все-таки нечто, идея же — ничто.

Когда бедняк крадет у богача — это в конце концов, если обратиться к изначальным причинам, всего лишь некое возмещение, иначе говоря — справедливый переход монеты или куска хлеба из рук вора в руки обворованного.

Высшая степень свободы, которой может достичь народ, понявший, что стал властелином, — это право выбрать себе рабство по вкусу.

Есть одно препятствие к освобождению городов — это сами города.

Покажите мне любой город, улей или муравейник, и я покажу вам рабство; только лев и орел царственны, ибо они одиноки.

Злоба — социальный недуг. Естественный человек не более зловреден, чем любое другое животное. Человек цивилизованный внушает ужас или жалость. Сосчитайте этажи какого-нибудь дома и вспомните притчу о вавилонском столпотворении.

Если бы общественный договор оказался в моих руках, я бы ничего не стал изменять в нем; я разорвал бы его.

Общество — это плод от древа познания добра и зла. С той минуты, как человек прикрылся лиственной повязкой, он облекся рабством и смертью.

Два совершенно противоречивых инстинкта уживаются в простом человеке — инстинкт сохранения самого себя и всего, что от него происходит; инстинкт разрушения всего, что ему внушили и приказали. Следовательно, общество ложно.

Все творения господина были задуманы с определенным назначением и целью. Если бы общество тоже входило в замысел его творений, жаворонок никогда не выводил бы птенцов среди спелой нивы, готовой к жатве.

Вряд ли найдется человек, чье сердце не содрогнулось бы от негодования и боли при виде гордого льва, брошенного в железную клетку и смиренно лижущего кровавую руку мясника, который приносит ему пищу. Что же должен думать человек, глядя на человека?

Чтобы политическое неравенство стало менее оскорбительным, почти все народы, которые не основывают его на преимуществах морального порядка, связывают его происхождение с благородными воспоминаниями или священными преданиями. Не нашлось еще законодательства достаточно циничного, чтобы признаться в том, что его установления суть установления денежной аристократии. Когда мы дойдем до этого, жизнь станет прекрасной, ибо все кончится.

Очень унижительно для рода человеческого, что в обществе рабы никогда не составляют меньшинства. Что же еще нужно, чтобы сменить плохое место на хорошее, если у вас есть сила и численность?

Нет ничего легче, как убедить человека, что он зависит от человека в силу какого-то таинственного пра-

ва, основанного на неведомом законе. Но как заставить его понять правду — что его зависимость есть попросту результат древнего земельного неравенства, которое не изменилось ни по форме, ни по протяженности и в любой день может стать предметом передела?

Пчелиный улей не принадлежит шершню, но полевые цветы принадлежат всем насекомым. Единственная нерушимая собственность индивида — это то, что он производит.

Правда ли, что большинство европейских монархов заботится о том, чтобы составить роспись повемельной собственности? Ну что ж!

Учреждать в наши дни монархию — затея, достойная жалости. Я бы не удивился, увидев келью отшельника в пепле кратера, но королю я не советовал бы воздвигать себе трон в глубине вулкана.

В последний раз натянуть лук Нимврода — не такое уж диво, Наполеон. Десяток других делали это до вас. Ну разве только для того, чтобы сломать его.

Наши венецианские фейерверки заканчиваются огненным снопом, которым можно затмить полуденное солнце. Ночь после этого кажется еще темнее, и эта ночь принадлежит ворах. Завтрашний день «великой нации» — это ночь с фейерверком.

«Если бы вам и удалось выполнить ваши намерения, — говорят нам, — завтра пришлось бы все начать с начала».

Велика беда — начать завтра все с начала! Нам так хорошо сегодня!

Когда перестаешь первенствовать в сердце другого, ты уже мертв. Остается только выполнить это на деле.

Уничтожая человека, общество глубоко уверено, что творит правосудие. Величайшее и высшее правосудие свершил бы человек, уничтожив общество.

Есть два преступления, к которым я беспощаден: когда причиняют зло тому, кто не может защищаться, и воруют у того, кто нуждается.

Все кары и проклятия на голову негодяя, укравшего собаку у слепого!

Дикарь с южного моря, меняющий женщину на топор, совершает неплохую сделку. Где та страна, где за топор нельзя было бы получить женщину?

У каждого человека в глубине сердца есть три заблуждения или три тайны, которые побуждают его жить: бог, любовь и свобода. Общество перестало бы существовать еще две тысячи лет тому назад, если бы несколько галлейских нищих не надумали сделать из этого религию.

Много ли вы знаете дельцов, которые поручатся хотя бы одним цехином своего пожизненного дохода за прочность этого последнего устоя политической жизни?

Я хотел бы, чтоб мне указали в истории хоть одну монархию, которая не была основана воров.

Когда нации вступают в свой последний период, их объединяет один клич: *все принадлежит всем!* И в тот день, когда знамя, на котором начертан этот девиз, будет смочено слезами ребенка, я сорву его с древка и сделаю себе из него саван.

Историю древних народов нетрудно рассказать, историю народов будущего нетрудно предвидеть: отцы, старейшины, мудрецы, священники, солдаты, короли... — Ну, а затем... может быть, народ?

Есть только три способа связать свое имя с дельфийским храмом: надо его построить, освятить или поджечь.

Дайте мне силу, которая осмелится принять имя закона, и я покажу вам кражу, которая будет носить имя собственности.

Свобода — не такое уж редкое сокровище: она всегда в руках сильных и в кошельке богатых.

В твоих руках мои деньги, в моих — твоя жизнь. И то и другое не принадлежит ни тебе, ни мне. Отдай мне мое — и я отпущу тебя!

Тысячу состояний за одну лишь мысль! Тысячу мыслей за одно чувство! Тысячу чувств за один поступок! Тысячу благороднейших поступков за один волос — и весь мир, и грядущее, и саму вечность в придачу!

Он основатель новой секты — бедняга! Обновитель старой морали — бедняга! Законодатель — бедняга! Он завоеватель — какое ничтожество!

Если существует в мире хорошо устроенное общество — то в нем все делят между собой все, награждая при этом самого сильного. Когда же к этому примешиваются коварство и измена, возникает законодательство.

Осталось, по-моему, только одно ремесло, которое пора разоблачить, — это ремесло бога.

Меня спрашивали иногда, люблю ли я детей. Еще бы! Ведь они еще не стали людьми.

Однажды все голоса земли возвестили, что умер великий Пан. Это было освобождением рабов. Когда вы услышите эти голоса вторично, это будет означать раскрепощение бедняков, и тогда снова начнется узурпация мира.

Из всех способов правления есть один, наименее возмущающий мое сердце, наименее позорящий человечество, — это деспотизм Востока, где притеснение народа объясняется хотя бы суеверием. Мне приятен тиран, который ведет свой род от пророков и состоит в родстве с небесными светилами. В Тибете он невидим, бессмертен, священен. Это хорошо, иначе и быть не мо-



жет. Тирания и рабство суть два различных состояния, которые предполагают два различных типа людей. Самые презренные из людей — это рабы, которые признают тиранов, созданных по их подобию.

Следует возблагодарить свою счастливую звезду, если можешь уйти от людей, не будучи вынужденным причинить им зло и объявить себя их врагом.

Какая разница между преступлением и подвигом, между казнью — и апофеозом почестей? Только в месте, времени и презренном суждении бессмысленной толпы, которая не ведаёт истинных названий тех или иных вещей и наугад применяет те, которым научил её обычай.

Стихийные бедствия — естественное явление природы, законы же — нет.

Наделять богов слабостями — это плохо соотносится с идеей божества, как я её понимаю, но утешительно для человека. Мне нравится, что Аполлон изгнан, что Церера страдает от голода у матери Стеллиона, что Венеру ранит Диомед, что змеи окружают в колыбели Геркулеса и что он погибает в муках от яда туники Несса, завещанной им своим наследникам.

Если б сердце мое могло уверовать... если б я должен был выдумать бога, я хотел бы, чтоб он родился в хлеву, на соломе; чтобы его спасли от убийц руки бедного ремесленника, прославившего его отцом; чтобы детство его протекло в нищете и изгнании; чтобы он был всеми гоним, презираем вельможами, не признан царями, преследуем священниками, отвергнут друзьями, предан одним из своих учеников, покинут самым честным из судей своих, осужден на мучения вместо последнего из негодяев, исхлестан бичами, увенчан терниями, оскорблен палачами, чтобы он умер между двумя разбойниками и один из них последовал за ним на небо.

Боже всемогущий, сжалясь надо мной!



в самом деле, не было ничего невероятного, — что странное поведение Лотарио лишь еще одно проявление его причудливого характера или затруднительного положения, что он не замедлит вернуться и упасть к ногам Антонии, чтобы предъявить ей свои права на счастье, превосходящее все те надежды, которые она дала ему.

Возможно, думалось ей, те самые причины, что породили необходимость странной тайны, которой он окружал свои поступки, помешали ему тогда связать себя узами: ведь они заставили бы его полностью определить свою жизнь, тем самым отдав ее во власть любопытства и рассеяв смутные слухи, неопределенность которых была ему, вероятно, необходима.

Сколько значительных людей, при тогдашнем состоянии Европы, подобно Лотарио, вынуждены были скрываться под чужим именем в разных странах и, подобно ему, бежать самых глубоких чувств, самого сладостного долга, налагаемого природой, чтобы сохранить свою безопасность, а главное — не подвергать опасности тех, кто был им дорог.

Как видно, таково было и положение Лотарио, но ведь должно же было оно наконец когда-нибудь измениться. Было бы нелепо искать другого объяснения его поступкам. Можно было даже предположить, что он, имея веские причины опасаться слишком долгого пребывания в столице, где его слишком хорошо знают, не преминет направиться в сторону Триеста, когда узнает, что Антония вернулась туда.

Во всех этих предположениях было много правдоподобного, и Антония их не оспаривала; однако она ничего не отвечала и смотрела на сестру недоверчиво, когда об этом заходила речь; потом бросалась к ней в объятия.

Дела, в свое время призвавшие сестер в Венецию, были закончены, и, покинув ее, они отправились в Триест на судне, которое шло туда через лагуны. Они предпочли этот способ путешествия всем остальным потому, что боялись пуститься в путь по дорогам, на которых бесчинствовала шайка Жана Сбогара, а главное, хотели избежать того опасного места, где едва не стали ее пленницами.

Каналы лагун представляют мало интереса для путешественника. Они начертаны природой среди пустынь

ных и безрадостных участков земли, которые море поочередно то захватывает, то покидает и где находят себе приют лишь кочующие стаи береговых птиц; ничто не меняет и не оживляет унылого однообразия этой местности. Куда ни взглянешь — всюду тянутся бесплодные песчаные отмели да заросли камыша, откуда порой с протяжным криком вылетает цапля, вспугнутая лодочниками и путешественниками.

Антония погрузилась в глубокую задумчивость, и ничто не привлекало ее внимания. Стемнело, все вокруг обрело какое-то спокойствие и мягкость. Сияющие звезды усыпали небо; ночь была безлунной. Уже ничего нельзя было различить вокруг судна, в темноте едва заметно было только, как по очереди наклонялись и выпрямлялись гребцы. Слышались мерные удары их весел и шум воды, разрезаемой носом судна. Вдруг человек, сидевший на руле, прервал молчание и запел довольно приятным голосом строфы Тассо, где в гармоничных стихах воспеваются радости уединения двух влюбленных, охваченных взаимной страстью. Звуки его голоса, ничем не отраженные, свободно уносились в безграничное пространство небосвода и привольно разливались по гладкой поверхности моря, приобщая душу к той бесконечности, в которую они неслись. Антония внимала им со сладостным чувством, которому и сама удивлялась, ибо еще минуту тому назад ей казалось, что она уже не способна когда-либо испытывать его. Она не знала, чему приписать ту спокойную уверенность, которая внезапно вселилась в ее сердце, укротив его волнения. То не была яркая и беспокойная мечта первых надежд, то было мирное предвкушение безоблачного будущего. Так, думалось ей, дают знать о себе покровительствующие нам существа, которые неусыпно следят за последними минутами жизни невинного создания и открывают ему доступ в обитель вечного покоя.

Г-жа Альберти испытывала то же чувство. Ее рука нашла руку Антонии, они прильнули друг к другу, и сердца их забились одинаково ровно и спокойно. И, охваченные дремотной слабостью, которой еще способствовала полная неподвижность воздуха и почти незаметное покачивание судна, они, обнявшись, крепко уснули.

Сон их был недолгим; выстрел, вдруг раздавшийся где-то совсем близко, разбудил Антонию. Г-жа Альберти по-прежнему была рядом с ней; но она молчала. Сначала Антония решила, что выстрел почудился ей во сне; однако неподвижно замершее судно, притихшие весла и несколько слов на чужом языке, которые слышались ей среди неясного и тревожного гула голосов лодочников, вывели ее из этого заблуждения. Она попыталась разбудить сестру, но тщетно. Она хотела подняться и вдруг почувствовала прикосновение чьей-то холодной и сильной руки.

— Еще одна женщина, — произнес незнакомый голос. — Жан будет недоволен!

При этих словах волосы на голове Антонии поднялись от ужаса, холодный пот покрыл ее тело, и она потеряла сознание. Пришла она в себя лишь от стука колес везущей ее кареты, под тяжестью которой дрожали и глухо стонали скрипучие доски подъемного моста. Она была одна.

Когда прошел первый момент изумления, при котором внезапно обрушившееся несчастье кажется еще сном, она сразу поняла, что произошло. Не было сомнения: судно было задержано разбойниками, устроившими засаду на берегу моря, а разбойники эти, безусловно, принадлежали к шайке Жана Сбогара. Выйдя из экипажа и поддерживаемая какими-то двумя мужчинами, странная одежда и свирепые лица которых наполняли ее ужасом всякий раз, как на них падал свет, пробивавшийся то здесь, то там откуда-то из-под сводов, она шла теперь по обширным галереям, гигантским лестницам, старинным залам замка, все более утверждаясь в страшной мысли, что она — пленница в замке Дуино.

Когда ужасный конвой довел Антонию до комнаты, предназначавшейся, видимо, ей, и на минуту ее оставил, она бросилась к открытому окну, но увидела перед собой только море. Отдаленный свет, шедший, как она понимала, с маяка Аквилеи, одиноко сиял среди ночных светил. Теперь у нее не оставалось больше сомнений относительно своей участи, и она в тоске упала в кресло.

— Я в Дуино! — вскричала она. — Жан Сбогар! Но что сделали они с моей сестрой?

Одни лишь гулкие своды откликнулись на ее вопрос.

Последнее сказанное ею слово замерло в вышине, словно угасающий, слабый голос. Антония в ужасе вскочила и повторила: «...с моей сестрой!» — тоном человека, который пытается пробудиться от кошмара.

Обманчивое эхо вновь повторило ее слова, еще более зловеще; оно звучало как последний стон умирающего. Несчастливая Антония, едва держась на ногах, прислонилась к одному из огромных пилястров входной двери; свет фонаря ярко освещал ее. Она схватила руками холодную колонну, прижалась к ней лицом, наполовину скрытым разметавшимися волосами, и почувствовала, что сейчас упадет под гнетом ужаса. Ей показалось, что какие-то люди, толпящиеся в коридоре, смотрят на нее; но слабое зрение позволяло ей видеть в скрывавшей их тени только перья, колыхавшиеся на их шляпах; она даже подумала, не чудится ли ей все это, как вдруг страшный крик поразил ее слух.

Один из этих людей громко назвал ее по имени и бросился прочь.

Под утро Антония, не выдержав мучительных впечатлений, вновь потеряла сознание. Только много часов спустя ее удалось привести в чувство. Очнувшись, она с удивлением заметила, что окружена самым заботливым вниманием. Она лежала теперь в другой комнате, более удобной и лучше убранной. В замке, как видно, не было женщин, но ей прислуживали какие-то милые дети.

К концу дня один из разбойников попросил разрешения войти к ней, чтобы передать приказ атамана. Это был еще совсем молодой человек, печальное, но ласковое и скромное лицо которого во всякой другой обстановке могло внушить лишь доверие и приязнь. Он сообщил Антонии, что судно, на котором она ехала, подверглось нападению лишь вследствие роковой ошибки; что у нее не будет отнято ничего из того, что принадлежит ей; что сама она совершенно свободна в Дуинно и ни на мгновение не была лишена свободы; что все приготовлено к ее отъезду и от нее одной зависит назначить или отложить его, в зависимости от состояния своего здоровья; а пока она может повелевать всеми обитателями замка.

— Но где же моя сестра? — воскликнула Антония.

— Вашу сестру, сударыня, — сказал юноша, опуская

глаза,— вам вернуть не смогут. Это единственное, в чем мы не можем вам повиноваться; условие это поставлено некоей силой, которая нам не подвластна.

— Но кто же мог поставить такое условие? — быстро возразила Антония.— Кто может помешать мне быть с сестрой, которую задержали, похитили, привезли сюда вместе со мной? О, мне не нужны никакие преимущества, никакие возмещения, которые вы предлагаете, если я не разделю их с нею.

— Сударыня,— с поклоном сказал юноша,— я не получал никаких других указаний.

И он ушел, не дожидаясь новых возражений.

Губы Антонии все еще растерянно повторяли имя г-жи Альберти, но никто ее не слышал.

Легче понять, нежели описать, смятение, в котором она находилась. Она уже начинала надеяться, что это происшествие не повлечет за собой тех страшных последствий, которых она сперва опасалась; но она не могла понять, по каким причинам ее разлучили с сестрой, и эта новая загадка представлялась ей бездной, в которой тонул ее рассудок. Однако все свидетельствовало о том, что ее не обманывают лживыми обещаниями. Солнце зашло уже несколько часов тому назад, но двери ее оставались незапертыми. Люди, приставленные к ней для услуг, оставили ее одну, указав только, в каком из отведенных ей помещений они будут находиться, ожидая ее приказаний. Ни одного часового не было видно в широких коридорах, которые были освещены, словно для того, чтобы она могла пройти по ним, когда ей только вздумается уйти отсюда.

Успокоенная всем этим, Антония, не колеблясь, вышла в галерею, в которую отворялась дверь ее комнаты, и, пройдя несколько поворотов, достигла главной лестницы замка. Она беспрепятственно спустилась по ней, так же легко пробежала через вестибюль и двор и добралась до подъемного моста, никого не встретив по пути. При ее приближении мост опустился, словно некая магическая сила поняла желание Антонии и поспешила выполнить его. Едва мост остался позади, как она заметила запряженную дорожную карету, возле которой стояли слуги. Ей даже показалось, что вещи, находящиеся в карете,— те самые, которые она взяла с собой на судно, а готовность, с которой кучер встре-

тил ее, дала ей основание предположить, что здесь ожидали ее прихода. Все же она спросила, куда направляется карета.

— По-видимому, в Триест,— ответил один из слуг,— во всяком случае, туда, куда пожелает ехать синьора Антония де Монтелеоне.

— Это я,— сказала Антония.

— Мы в этом не сомневались,— ответил кучер,— другой женщины в замке нет; мы ждем ваших приказаний.

— В замке есть еще одна женщина! — вскричала Антония.— В этом замке — моя сестра! Разве вас не предупредили, что я еду вместе с сестрой?

— Речь шла только о вас, синьора,— сказал он, грустно покачав головой,— сестра ваша никогда не сможет выйти из замка, если этого не захочет хозяин. Но, быть может, сударыня, вы не знаете хозяина Дуино? Вы еще так недавно стали пленницей...

— Простите,— ответила Антония,— я знаю, где нахожусь. И все же мне непонятно, почему здесь нет моей сестры.

Подъемный мост был все еще спущен. Замок охраняли один лишь часовые на башне. Антония взглянула на замок и подумала о том, что ее сестру держат здесь в заточении.

— Я остаюсь,— сказала она громко,— я не уеду без нее, ее участь будет и моей.

Произнеся эти слова, она быстро пробежала расстояние, отделявшее ее от главной лестницы, и обернулась, чтобы посмотреть, не идет ли кто-нибудь вслед за нею. Подъемный мост поднимался. При виде этого решимость ее поколебалась: ей показалось, что теперь всему конец, что она только что воздвигла между собой и миром преграду, которой ей уже не перейти. Она предпочла бы сейчас быть в дремучем лесу, оказаться во власти самых свирепых зверей, в самую суровую зимнюю ночь, но только быть свободной и распоряжаться своими действиями; стены замка словно давили на нее, на самый воздух, которым она дышала, и ее стесненное сердце, казалось, готово было разорваться в груди. Она подошла к балюстраде и оперлась на нее, переводя дыхание. Вдруг глаза ее заметили какой-то люк на полу; оттуда пробивался слабый свет, дрожащий у самых ее ног. Не-



сколько мгновений она невольно прислушивалась: она уловила какие-то странные звуки, которые неслись из подземелья замка и напомнили ей торжественные церковные песнопения. Сначала она решила, что это, должно быть, рокочут волны, разбиваясь о подножие горы, но звуки эти доходили до нее лишь через определенные промежутки, а иногда и вовсе умолкали, и Антония, осторожно ступая, с тревожным любопытством все ближе и ближе подходила к люку. Наконец звуки эти стали доходить до ее слуха более явственно, и ей вдруг показалось, что она может уловить отдельные слова, что она слышит имя своей сестры. Уверенная, что это лишь обман расстроенного воображения, она опустилась на колени над краем люка и, затаив дыхание, чтобы не пропустить ни малейшего звука, вновь услышала имя сестры.

— Там моя сестра,— произнесла она громко, не в силах сдержать чувство, поглотившее теперь все ее мысли и наполнившее все ее существо непостижимым смутением, полным радости и в то же время ужаса.

Она стремительно поднялась и бросилась к полутемной лестнице, которая вела в подземелье замка. После бесчисленных поворотов, освещенных то там, то здесь тусклыми светильниками, скрытыми в углублениях стен, она замедлила свой бег, потому что привлечшие ее звуки раздавались так близко, что она уже могла ясно различить слова; но имя г-жи Альберти больше не повторялось. То, что она слышала наверху, было действительно пением, напоминающим церковное; запевал один голос, а хор подхватывал мелодию. Вскоре Антония дошла до самого места церемонии; леденя от страха, проскользнула она, как призрак, между высокими колоннами, поддерживавшими свод, и спряталась в тени, отбрасываемой исполинскими цоколями.

Все эти колонны, увешанные связками копий, кривыми саблями и огнестрельным оружием, стояли здесь словно лес, и сквозь них только смутно можно было разглядеть то, что происходит в середине подземного зала.

Антония, движимая любовью к сестре, все более проникалась решимостью, ранее не свойственной ее характеру. Каждый раз, когда эхо разносило по подземелью протяжный гул голосов, покрывавший шум ее шагов, она старалась быстро перебежать от одной колонны к другой и, не смея взглянуть в середину зала,



ожидала молчания, которое наступало время от времени, сменяя пение, и, несомненно, было бы нарушено ее появлением; это молчание убеждало ее, что она осталась незамеченной.

Однако вследствие своей близорукости она различала все предметы как бы сквозь туман, и неопределенность очертаний, преувеличенная к тому же ее воображением, делала для нее эту ночную сцену еще более пугающей. На другой стороне входа шел длинный ряд аркад, вершины которых терялись во мраке свода; они были отделены друг от друга группами тонких колонн, потемневших и обветшавших от времени, к которым на некоторой высоте прикреплены были траурные полотнища. На фоне этого погребального убранства разбойники, рассеянные по подземелью, выглядели особенно таинственно и страшно; одни, неподвижные и задумчивые, сидели в нишах между колоннами, словно зловещие статуи, расставленные здесь неким мрачным скульптором; другие, стоя вокруг железных светильников, старались расшевелить кинжалами пламя факелов и жаровен. Иные же терялись во мраке отдаленных галерей и казались привидениями — их угрюмые лица и всклокоченные бороды то ярко выступали, то исчезали в выбихих сумерках. Среди них был один, странное поведение которого привлекало внимание Антонии тем сильнее, что он показался ей несчастным и добрым; лицо его было покрыто маской из траурного крепа, скрывавшей его черты. Преклонив колени на первых ступенях возвышения, которого Антонии еще не удалось разглядеть, он опирался на рукоять своей сабли и горько плакал. Рыдания его были единственным звуком, заглушавшим подчас сильный и торжественный голос священника, совершавшего богослужение. Антония, вне себя от волнения, в порыве непреодолимого любопытства сделала шаг вперед, чтобы увидеть алтарь. Это было погребальное ложе; на этом ложе лежала женщина; голова ее покоилась на подушке черного бархата; лицо ее едва было тронуте следами недавней смерти.

— Сестра! — вскричала Антония и упала без чувств.

Это была действительно ее сестра; выстрел, прозвучавший на судне, убил ее. Шайка Жана Сбогара воздвигла ей теперь последние почести.

## XV

Ты не можешь  
Сказать, что я виновен. Не кивай мне  
Кровавыми кудрями...

*Шекспир.*

Души загубленных мной...  
Слышите ли вы взрыв пороховой башни над головами рожениц? Видите ли, как пламя охватывает колыбели младенцев? Это свадебный факел, это свадебная музыка!

*Шиллер.*

Антония долгое время оставалась словно погруженной в сон; казалось, она не испытывает никаких волнений, и покой этот был так глубок и должен был, несомненно, уступить место такому смертельному отчаянию, что все боялись минуты ее пробуждения. Однако, когда Антония наконец пришла в себя, она не обнаружила никаких признаков отчаяния. Ее, пожалуй, лишь мучила какая-то неприятная мысль, какое-то назойливое воспоминание, которое она старалась отогнать прочь. Она с недоумением оглядывалась по сторонам, то и дело проводя рукой по лбу, словно пытаясь отдалить от себя отчет в тревожащих ее сомнениях.

— Я знаю,— сказала она наконец,— я знаю, где она. Сегодня вечером я найду ее.

Фитцер, самый молодой из разбойников, подошел к ней и спросил, как она себя чувствует. Она улыбнулась ему, как знакомому,— ведь это он говорил с ней накануне от имени Жана Сбогара.

— Я давно жду вас,— сказала она.— Мне хотелось бы знать, какой казни подвергаете вы любопытных, которые непрошеными проникают на ваши празднества. Я знаю одну девушку... но эту тайну я доверю вам, только если вы поклянетесь жизнью тех, кого любите больше всего на свете... обещайте мне никому об этом не рассказывать...

Юноша смотрел на нее со слезами на глазах— он понял, что разум ее помутился.

— Постой,— сказала она ему с выражением величайшего удивления,— да ведь это слезы! Я думала, что

теперь уже не плачут. Не скрывай же от меня своих слез... А я вот уж не могу плакать при тебе. Но стой... я вспомнила... Я видела одного человека... Это было где-то, где меня не ждали... Человек этот тоже плакал. Это был ты, я думаю,— ведь лицо его было закрыто черным крепом, который мешал разглядеть его.

— Его лицо не знакомо мне так же, как и вам,— ответил Фитцер.— Среди нас мало таких, которые видели его без этой маски или не с поднятым забралом шлема. Одни лишь наши старые воины видели его в сражениях с открытым лицом; но он очень редко бывает в Дуино и с тех пор, как мы скитаемся по Венецианским провинциям, никогда не открывает лица. Это наш атаман.

— Где же он? — равнодушно спросила Антония.— Разве ему неизвестно, что я здесь?

— Он знает об этом, но не смеет предстать перед вами, опасаясь, что его присутствие встревожит вас и что вы сочтете его виновным в ошибке, благодаря которой вы стали его пленницей.

— Пленницей, говоришь ты! Антония свободнее, чем воздух! Еще этой ночью я была далеко отсюда, в чудесных рощах, и дышала там таким чистым воздухом! Никогда еще не видала я столько цветов! И сестра моя была со мной; но она захотела остаться там. Я часто бывала в тех краях, когда была моложе; но никогда не была я там с моей матерью. С тех пор моя жизнь так изменилась...

Антония опустила голову на руку и закрыла глаза. Лицо ее пылало темным румянцем; губы пересохли от жара. Она одновременно и смеялась и рыдала.

Судьба Антонии свершилась. На земле у нее не оставалось никого, кроме этого страшного, влюбленного в нее человека, который так таинственно предстал перед нею в Фарнедо и был самим Жаном Сбогаром. Любовь Жана Сбогара охраняла ее и была так заботлива и целомудренна, что это, наверно, удивило бы ее, если бы расстроенный рассудок позволил ей подумать о своем положении. Из хижин Сестианы привели молодых женщин, которые прислуживали ей и ухаживали за ней, из соседних городов были приглашены или привезены насильно знаменитые врачи, чтобы излечить ее недуг; священник, давнишний узник разбойников, тот самый,

что служил погребальный молебен по г-же Альберти в подземелье, превращенном в часовню для этой церковной службы, неотступно находился возле ее ложа, чтобы приносить ей утешения неба, когда у нее появлялись проблески сознания.

Все эти свирепые люди, в душе которых рождались до сих пор одни лишь кровожадные замыслы, выражали ей свою покорность самыми трогательными и нежными способами, словно очищенные ее невинностью и тронутые ее горем. Антония постепенно привыкала видеть их и рассказывать им о тех причудливых грезах, что сменяли друг друга в ее больном воображении. Один только Жан Сбогар, несмотря на то, что лицо его всегда было закрыто черным крепом или забралом шлема, не осмеливался появляться возле нее иначе, как во время ее сна или в те минуты, когда она бывала в бреду и никого не узнавала; только тогда мог он упиваться мучительным созерцанием любимой, не опасаясь внушить ей страх и отвращение. Но все же однажды, не в силах более скрывать терзавшие его чувства, он упал к ее ногам и глухо вскричал сквозь рыдания:

— Антония, дорогая Антония!

Она повернулась в его сторону и ласково поглядела на него. Он хотел тотчас же удалиться, но она сделала ему знак, чтобы он оставался, и он остановился, склонив голову на грудь, всем своим видом выражая повиновение и внимание.

— Антония! — произнесла она после минуты молчания. — Это, кажется, в самом деле мое имя; так называли меня в доме, где я родилась; мне тогда обещали, что я буду счастлива. Слушай, — сказала она, взяв разбойника за руку, — я хочу рассказать тебе одну тайну. В дни моей ранней юности, когда я думала, что жить так легко и отрадно, когда кровь еще не пылала в моих жилах, когда щеки мои не горели от слез, когда я не видела духов, что носятся по лесам, разверзают землю, топнув ногой, и открывают в ней бездны глубже моря, выбрасывая оттуда потоки огня; когда души убийц, не знающие покоя в могиле, еще не кружились вокруг меня с жестоким смехом, когда, пробудившись, мне не приходилось отрывать от себя ядовитую змею, вцепившуюся мне в волосы, змею, голова которой в синеватой ядовитой пене покоится у меня на шее... В те далекие дни

я знала одного ангела, странствовавшего на земле; лицо его тронуло бы сердце отцеубийцы. Но я только мельком видела его, потому что господь отнял его у меня, позавидовав моему счастью... Я называла его Лотарио, моим Лотарио... Помню, у нас был дворец — далеко-далеко, в горах. Никогда не найти мне туда дороги...

Хотя разбойник не открывал своего лица, Антония заметила, что при последних словах слезы его полились еще сильнее. Она улыбнулась ему с нежным состраданием; потом она снова взяла его руку, которую было выпустила и которая не смела задержать ее руки, и сказала:

— Я знаю, что огорчаю тебя, и прошу у тебя прощения за это. Знаю, что ты любишь меня, что я — твоя невеста, невеста Жана Сбогара. Видишь, я тебя узнала и сегодня говорю с тобой вполне разумно. Наша свадьба давно уже решена, но я не хочу ничего скрывать от тебя. К тому же ведь возможно, что этого Лотарио никогда и не было на свете! Последнее время я видела столько людей, существующих лишь в моем воображении; они ускользают от меня, едва я приду в себя! Ты ведь так и не знаешь, например, была ли у меня сестра? Нет, — сказала она после недолгого раздумья, — если бы у меня была сестра, она заменяла бы мне мать и мы не могли бы обойтись без нее, празднуя нашу свадьбу. Скажи, мы пышно отпразднуем этот день, не правда ли? Это необходимо, ведь твоя невеста — богатая наследница. У меня есть золотые пряжки и брильянтовые кольца, чтобы украсить свой наряд; но на голове моей будет только простой венок из цветов шиповника.

Она снова умолкла. Безумие ее все усиливалось. Страшно было видеть ее улыбку.

— Это будет великолепный праздник, — продолжала она. — Весь ад будет на нем присутствовать. Свадебный факел Жана Сбогара затмит свет полуденного солнца. Видны ли тебе отсюда наши гости? Ты ведь их всех знаешь. Никого из них я не приглашала. Вот среди них те, у кого тело наполовину обуглилось от огня; а вот там — останки стариков и детей, — они проснулись и выбегают из зажженных тобой домов, чтобы принять участие в твоём празднике... Вот и другие: они поднимаются в своих саванах и пробираются к пиршественному столу, пряча свои кровавые раны. О боже

мой! Какие чудовища убили эту молодую женщину? Бедная Люсиль! Каким именем они приветствуют меня?.. Ты слышишь, что они кричат? — «*Да здравствует, да здравствует...*» Никогда не посмею я повторить этого! «*Да здравствует*», — говорят они и все хором бормочут пароль всех проклятых, этот радостный крик, который издал бы сатана, победив своего создателя, это тайное слово, что произносит гнусная мать, собираясь зарезать своего ребенка, чтобы не слышать его стон, — «*да здравствует невеста Жана Сбогарал..*»

И Антония потеряла сознание. Новый приступ беспамятства был длительным и страшным; долго опасались за ее жизнь. Восемь дней подряд разбойничий атаман неподвижно стоял у ее постели, внимательно следя за каждым ее движением, весь поглощенный заботами о ней. Он почти не смыкал глаз; он плакал.

И когда Антонии стало лучше, он оставался подле нее, уверенный теперь, что она уже смотрит на него без страха.

Это неусыпное внимание поразило ее.

Прошлое слишком смутно сохранилось в ее памяти, чтобы имя этого человека и связанные с ним воспоминания могли постоянно внушать ей чувство отвращения. Впрочем, бывали дни, когда душа ее возмущалась при мысли, что она находится во власти этого человека, и тогда одно его приближение заставляло девушку холодеть от ужаса; но чаще, повинувшись, как ребенок, одному своему инстинкту — ибо рассудок ее бездействовал, она видела в атамане разбойников Дуино лишь некое чувствительное, сострадательное существо, которое старается смягчить ее муки и предупредить малейшие ее желания. В такие дни она обращалась к нему с ласковыми и приветливыми речами, но, казалось, они только усугубляли сведавшую его тайную скорбь.

Однажды он сидел подле нее, как всегда — с закрытым лицом, охраняя ее сон. Внезапно она пробудилась и быстро приподнялась на постели, шепча имя Лотарно.

— Я видела его, — сказала она с глубоким вздохом, — он сидел на том месте, где сейчас сидишь ты. Я часто вижу его здесь во сне, и тогда я чувствую себя такой счастливой. Но почему мне кажется, что я вижу его иногда и наяву, что это вовсе не сон? Он появляется обычно вот там, за этим пологом... В те дни



страданий и надежд, когда мне чудилось, что я скоро найду избавление навеки, по телу моему текли огненные ручьи, мои губы пылали, ногти помертвели и посинели... Кругом меня толпились призраки. Были тут ярко-зеленые аспиды, подобные тем, что прячутся в дуплах ив; и другие, еще более страшные, гады с человеческими лицами; огромные бесформенные великаны; только что отрубленные головы, глаза которых, полные жизни, пронизывали меня ужасным взором; и ты, ты тоже был среди них, как колдун, повелевающий всеми этими чарами смерти. Я кричала от страха и звала Лотарио. И вдруг — не смейся же над моими бреднями! — я увидела, как эта маска упала, а на твоём месте стоял Лотарио; весь в слезах, протягивал он ко мне дрожащие руки и, стоная, повторял мое имя. Правда, он был совсем не таким, каким я знала его прежде, — тогда он был печален, задумчив, суров, но прекрасен божественной красотой; теперь же, страшно исхудавший, мертвенно-бледный, растерянный, он вращал налитыми кровью глазами; у него была отвратительная, всклокоченная борода; безнадежная усмешка, подобная усмешке дьявола, блуждала по бледным его губам... О, ты даже представить себе не можешь, каким стал Лотарио!

Разбойник словно не слышал того, что говорила ему Антония. Он хранил глубокое молчание. Внезапно он поднялся и быстрыми шагами стал ходить по комнате; затем снова подошел к Антонии и долго-долго смотрел на нее. Зубы его громко стучали. Казалось, он так был во власти своих страшных размышлений, что не замечал того ужаса, который все больше и больше овладевал его несчастной пленницей.

Наконец она приподнялась на постели и, стоя на коленях, с мольбой сложив руки, воскликнула:

— Сжался, сжался, о, прости меня! Не бойся Лотарио; ему вовсе и не нужна Антония. Я предлагала ему себя, но он меня отверг. Сжался еще на этот раз, и я никогда больше не стану говорить о нем!

Силы покинули ее, и она упала без чувств.

Жан Сбогар бросился к изножию постели, схватил краешек одеяла, свешивающегося до самого пола, испуганно припал к нему губами и выбежал из комнаты...

## XVI

Сила война, так что ж ты такое? Сегодня битва клубится вокруг тебя в облаках пыли. Мертвые тела устилают путь твой, подобно сухим листьям, по которым прошел ночной призрак. Завтра же наступит конец мимолетным, как сон, подвигам: исчезнет то, что навредило ужас на тысячи людей. И мошка с серыми, как дым, крыльями прожужжит в кустах свою торжествующую песнь, смеясь над славой, что стала лишь звуком пустым.

Оссиан

Уже два месяца жила Антония среди разбойников Дуино, но состояние ее оставалось прежним и не внушало надежд на выздоровление. Она только немного окрепла и полюбила сидеть по вечерам у своего окна, выходящего на море.

Однажды — это случилось впервые — ни одной из прислуживавших ей обычно женщин не оказалось возле нее; сначала она едва это заметила. Но гул пушки, грохотавшей неподалеку от замка Дуино, все же привлек ее внимание, потому что этот то и дело повторяющийся звук всякий раз заставлял ее вздрагивать. Тогда ей захотелось увидеть своих служанок; спустившись по главной лестнице, она пробежала залы, коридоры и обнаружила, что замок пуст. Грохот пушки раздавался все ближе, и каждый ее выстрел сопровождался глухим рокотом, подобным рокоту бури. Антония поднялась к себе, открыла окно и, взглянув на море, заметила множество небольших судов или челнов, напоминающих рыбацьи лодки, которые, казалось, обступали подножие крепости.

Все это произвело на нее сперва некоторое впечатление, но она скоро позабыла об этом. Смерклось; воздух был тих, вода спокойна, небо усеяно мириадами сияющих звезд, совсем как в ту ночь, когда судно Антонии по выходе из лагун было захвачено у берегов Истрии. Некоторое время она любовалась звездами.

Между тем грозный шум, на который она уже обратила внимание прежде, все разрастался позади нее. Ми-

нутами ей слышались в нем звон шпаг, проклятья, стоны — потом на время воцарялась мертвая тишина. Если бы Антония владела рассудком, она не чувствовала бы страха, ибо была так несчастна, что не могла опасаться изменения своей участи к худшему, но ее большое воображение связывало надвигающиеся события с какими-то новыми страданиями, а доносившиеся до нее стоны рождали в ней ужас перед ожидающими ее муками.

Галереи замка не были освещены; уже совсем стемнело. Однако Антония пробралась туда и заскользила вдоль темных стен, касаясь их рукой. Дойдя до лестницы, она остановилась и прислушалась. Двор был полон вооруженных людей, которые невнятно переговаривались между собой.

Бой кончился.

Раздавался только стук ружейных прикладов о каменные плиты.

Вдруг она услышала ужасающий шум, среди которого повторялось имя Сбогара. Какой-то человек взбежал по лестнице и как молния пронесся мимо Антонии. За ним гнались. На нижних ступеньках лестницы уже показались огни факелов. Слышался лязг штыков. По каменным ступеням гулко раздавались шаги приближающихся солдат. Антония бросилась в свою комнату; едва она вбежала туда, как ей послышался чей-то глухой голос, произносящий ее имя.

— Кто здесь зовет меня? — спросила она, вся дрожа.

— Это я, — ответил Жан Сбогар. — Не пугайся... И — прощай навеки!

Он стоял у окна; преследователи уже врвались в противоположный конец галереи.

Разбойник устремился к Антонии и схватил ее в объятия.

— Это я, я, — прошептал он. — Прощай навеки!

Какое-то смутное чувство, непонятное ей самой, чувство, в котором были и ужас и нежность, охватило Антонию.

Сбогар, трепеща от страсти, прижал ее к своему сердцу.

— Антония, дорогая Антония! — вскричал он. — Прощай навеки! О! В последний раз, одну только эту минуту за все века... Антония, дорогая Антония!

Черный платок, скрывавший его лицо, упал, но Антония уже ничего не видела. Лица их соприкасались, она чувствовала его горячее дыхание, и в то же мгновение губы разбойника прильнули к ее губам и запечатлели на них поцелуй, от которого все существо Антонии пронзило неведомое ей дотоле упоение, жгучее сладострастие, в котором были и ад и рай.

— Кошунство или святотатство!— вскричал Сбогар.— Ты моя возлюбленная, моя супруга, и да погибнет теперь весь мир!

С этими словами он опустил ее на высокую ступеньку под окном и бросился в море.

В ту же минуту в комнату ворвались солдаты с факелами. Они были удивлены, не найдя здесь разбойника, и спросили Антонию, не видела ли она его.

— Тише,— молвила она, приложив палец к губам,— он первым взшел на брачное ложе. И вот,— продолжала она, указывая на черный платок, брошенный Сбогаром к ее ногам,— вот свадебный его подарок.

## XVII

И повелел мне ангел взглянуть на него, и я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть.

*Апокалипсис.*

Французские войска только что вступили в Венецианские провинции. Первой же заботой командования было очистить край от разорявших его разбойников, которые могли стать опасными пособниками вражеской армии. Именно этой причиной и было вызвано решение взять приступом замок Дуино. Почти все разбойники погибли с оружием в руках. Живыми удалось захватить лишь немногих — одних вывели из строя тяжелые раны, другие бросились в море, где их подобрала те самые лодки, что видела из своего окна Антония. Предполагали, что в их числе находится и Жан Сбогар, но так как его не знали в лицо сами разбойники, ничто не могло разрешить сомнений победителей на этот счет. Фитцер, Жижка и другие приближенные атамана погибли,

сражаясь рядом с ним, еще до того, как он вернулся в замок.

Пленников отправили в Мантую, где должен был состояться суд над ними. Этому довольно отдаленному городу было отдано предпочтение перед другими потому, что там пленники были недосыгаемы для каких-либо попыток освобождения со стороны их сообщников. А благоприятное в военном отношении расположение города обеспечивало ему безопасность в случае внезапного набега. Антонию отвезли туда в отдельной карете. Безумие ее было совершенно очевидным, и она была помещена в монастырскую больницу и вверена заботам врача, известного своим умением распознавать и лечить этот прискорбный недуг.

Усилия его увенчались печальным успехом. Антония выздоровела и в полной мере поняла постигшее ее несчастье.

В течение всего времени, проведенного ею в больнице, она продолжала оставаться предметом того благочестивого попечения, которое одна только религия способна внушить милосердию. По мере того как ее узнавали ближе и разум ее, постепенно освобождаясь от охватившего его мрака, вновь приобретал свое мягкое очарование, привлекавшее к ней все сердца, она стала внушать всем окружающим, в особенности монахиням, исполнявшим обязанности сестер милосердия, более нежное чувство, чем сострадание.

Ее полюбили.

Отныне никакая привязанность не звала ее обратно в мир, и тихая обитель стала для нее единственным пристанищем; поэтому ей нетрудно было свыкнуться с мыслью, что она останется здесь до конца своих дней. Так или иначе, через некоторое время она была бы вынуждена решиться на это.

Несколько сделанных ею попыток вернуть свое состояние остались безуспешными. Обуреваемые жадностью родственники, прибывшие вслед за французской армией, узнав о смерти г-жи Альберти, сочли, что Антонии тоже нет в живых, и завладели наследством. Это были люди влиятельные. Присвоенное наследство сделало их богатыми. Никто не стал бы слушать притязаний Антонии. В глазах людей она была сиротой без рода и племени. Но это не очень огорчало ее; она лишь пе-

чалилась при мысли о всех тех добрых делах, которые могла бы совершить в этой новой своей жизни, если бы принесла сюда свое состояние. Во всяком случае, оставшихся у нее драгоценностей оказалось достаточно, чтобы внести вступительный вклад и раздать милостыню бедным, что должно было возвестить им, что в монастырской больнице св. Марии одной благотельницей стало больше.

Настал наконец день ее посвящения в монахини, много раз откладывавшийся из-за ее чрезмерной слабости; и вдруг за ней от имени правосудия явилось двое полицейских.

Судебное следствие по делу разбойников было закончено. Сорок из них были осуждены на смертную казнь; но ничто не доказывало, что Жан Сбогар находился среди них; грозное имя все еще витало над Венецианскими провинциями, где оно само по себе могло еще сплотить вокруг себя новые шайки, не менее опасные, чем первая.

Тогда кто-то вспомнил о безумной девушке, обнаруженной в замке Дуино и бывшей, по словам всех свидетелей, единственным существом, которому когда-либо удавалось смягчить неумолимую жестокость Жана Сбогара; она, несомненно, должна будет узнать Сбогара среди его сообщников, если он находится в их числе; первое же ее движение должно безошибочно указать его; для этого ее и решили привести на большой тюремный двор в ту самую минуту, когда смертники будут проходить по нему в последний раз.

Антония была уже в одежде послушницы; волосы ее были скрыты повязкой девственниц, казавшейся все же не такой белой, как ее лицо; две сестры милосердия сопровождали ее. Она почти не в силах была держаться на ногах и опиралась на руку одной из них; рука ее лежала на плече другой, голова была опущена на грудь.

Вскоре послышался шум: это были возгласы долго сдерживаемого и наконец-то удовлетворенного нетерпения. Антония подняла глаза, и ей показалось, что она видит что-то очень странное; но зрение отказывалось ей служить. Судейский чиновник, заметивший это, велел, чтобы ее поставили ближе; теперь глаза ее различали предметы более отчетливо, но она не понимала того, что видит; пред ней проходили люди в безобразной,

внушавшей ей ужас одежде; они шли один за другим мимо шеренги солдат; они двигались мерным шагом, то и дело останавливаясь. По мере того как они проходили, Антония чувствовала все растущую в ней необъяснимую тревогу; наконец страшное видение потрясло ее — ей показалось, будто она вновь находится во власти того бреда, от которого ее так недавно спасли.

Это был он.

Это была в точности та самая картина, которая внушила ей такой глубокий ужас в Венеции, когда голова Лотарио внезапно появилась перед ней в зеркале, над ее красной шалью.

Невольно подалась она вперед; глаза ее силились убедиться или разувериться в том, что они видят... Это было то же лицо, что тогда; плащ, в который он был сейчас закутан, был того же самого цвета.

Это был он.

— Лотарио! — крикнула она раздирающим голосом, устремляясь к нему.

Лотарио обернулся и узнал ее.

— Лотарио! — повторяла она, пытаясь прорваться к нему через сабли и штыки, ибо понимала, что он идет на смерть.

— Нет, нет, — ответил он, — я Жан Сбогар!

— Лотарио! Лотарио!

— Я Жан Сбогар, — настойчиво повторил он.

— Жан Сбогар! — вскричала Антония. — О боже!.. — И сердце ее разорвалось.

Она лежала на земле без движения; дыхание ее остановилось.

Один из полицейских приподнял ее голову концом сабли, затем опустил, и она ударилась о камни мостовой.

— Девушка мертва, — сказал он.

— Мертва! — повторил Жан Сбогар, пристально глядя в нее. — Идем!





*Перевод А. Ладинского*







## I

### СОВРЕМЕННЫЙ ФИЛОСОФ

Когда жители Кенигсберга увидели, что философ Иммануил Кант неожиданно изменил обычный маршрут своей ежедневной прогулки, они поняли, что цивилизованный мир потрясло какое-то необычайное событие. И правда, в тот день знаменитый автор «Критики чистого разума» получил известие, что во Франции началась революция. Так по крайней мере рассказывает никому не опровергнутая легенда. Хотя Париж и не склонен к столь наивному удивлению, все же многие обитатели улицы Ги де ля Бросс были крайне поражены, когда в январе 1887 года, около часу пополудни на улице неожиданно появился философ, может быть и не столь знаменитый, как Кант, однако не менее пунктуальный во всех своих мельчайших поступках, не говоря уже о том, что аналитическая доктрина этого философа была еще более разрушительна, нежели учение Канта. Мы подразумеваем здесь того самого Адриена Сикста, которого англичане называют французским Спенсером. Следует добавить к этому, что улица Ги де ля Бросс, идущая от улицы Жюссье к улице Линнея, представляет собою настоящий провинциальный уголок, ограниченный со всех сторон Ботаническим садом, больницей Милосердия, винными складами и холмом св. Женевьевы. А это означает, что для любопытствующего тут открыто огромное поле для всякого рода наблюдений, что немислимо в центральных кварталах, в городской тол-

чее, где волна за волной движутся экипажи и толпы пешеходов. Тут обитают мелкие рантье, скромные преподаватели, служащие Ботанического сада, погруженные в науку студенты и начинающие литераторы, которые в своем одиночестве опасаются соблазнов Латинского квартала. Лавчонки здесь торгуют бойко, и покупатели у них всегда одни и те же, как в каком-нибудь захолустье. Служанки, отправляясь за провизией, говорят просто, что идут к булочнику, мяснику, бакалейщику, прачке или аптекарю, даже не называя их по имени. Для конкуренции здесь нет места. Квартал этот обслуживается гласьерским omnibusом, а единственным украшением его служит фонтан, прихотливо загроможденный фигурами зверей в честь соседнего Ботанического сада. Посетители редко входят в Ботанический сад через ворота, расположенные напротив больницы. Поэтому даже в погожие весенние дни, когда в этом излюбленном прибежище мамок и солдат под сенью зазеленевших деревьев бродят толпы народа, улица Линнея, не говоря уже о соседних улицах, неизменно хранит свой мирный облик. А если в этом глухом уголке Парижа наблюдается иногда некоторое оживление, то это означает, что больница открыта для посетителей, и тогда на тротуарах можно видеть печальное шествие унылых человеческих фигур. Эти паломники являются сюда с гостинцами для какого-нибудь родственника, страждущего за серой стеной старой больницы, и всем обитателям нижних этажей, привратникам и лавочникам, подобные сцены хорошо известны. Впрочем, они не удостаивают этих случайных прохожих и взглядом, так как все их внимание сосредоточено на привычных силуэтах, мелькающих мимо их окон ежедневно в один и тот же час. Для привратников и лавочников, как для охотника на лоне природы, существуют точные приметы, по которым они определяют не только время, но и то, какая завтра будет погода. Такими приметами служат для них прогулки местных обитателей. Этот квартал оглашается порой криками диких зверей из соседнего зверинца: то вдруг начнет кричать длиннохвостый попугай, то затрубит слон, то послышится клекот орла или кошкой замыкает тигр. И вот, завидев, что со старым портфелем под мышкой, уплетая купленную впопыхах грошовую рогульку, бежит рысцой учитель, дающий частные

уроки, эти тротуарные соглядатаи знают, что сейчас пробыет восемь. Когда на улице появляется рассыльный из кондитерской с лотком, покрытым салфеткой, для всех ясно, что уже одиннадцать часов и скоро отправится завтракать отставной батальонный командир, проживающий в полном одиночестве на шестом этаже. И так на протяжении всего дня. Всякая перемена в туалете модниц, которые показывают здесь свои более или менее кокетливые наряды, тоже отмечается, критикуется и истолковывается по меньшей мере двадцатью не очень-то снисходительными кумушками. Вообще, если воспользоваться образным выражением, которое в ходу в центральной Франции, поведение и даже малейший поступок обитателей этих четырех-пяти улиц тут у всех «на языке», а поступки г-на Адриена Сикста — в особенности; причины этого вполне может нам объяснить даже самая беглая его характеристика. К тому же подробности о жизни ученого дадут людям, интересующимся человеческой природой, возможность познакомиться с представителем довольно редкого социального типа, а именно: с профессиональным философом. Несколько образчиков людей подобного рода даны нам античными писателями, а если говорить о более близком времени, то в рассказах Колеруса о Спинозе и в рассказах Дарвина и Стюарта Милля о самих себе. Но Спиноза был голландцем XVII века, Дарвин и Милль выросли в среде богатой и деятельной английской буржуазии, в то время как г-н Сикст жил в самой гуще Парижа конца XIX века. В дни юности, когда и меня интересовали подобные вопросы, я знавал некоторых людей, так же как и Сикст целиком погруженных в атмосферу отвлеченного мышления. Но никто из встреченных на моем жизненном пути философов не помог мне лучше, чем г-н Сикст, понять существование какого-нибудь Декарта у его камелька в глуши Нидерландов или автора «Этики», у которого, как известно, не было среди его раздумий других развлечений, кроме удовольствия выкурить иногда трубку или наблюдать, как дерутся пауки.

Прошло ровно четырнадцать лет с той поры, как г-н Сикст вскоре после войны обосновался в одном из домов на улице Ги де ля Бросс, где теперь его знает каждый обыватель. В то уже довольно отдаленное вре-

мя это был тридцатичетырехлетний человек, до такой степени погруженный в мир идей, что все признаки молодости в его облике совершенно исчезли, и по его бритому лицу невозможно было определить ни возраста его, ни профессии. Такие холодные и лишенные растительности, одновременно сухие и выразительные физиономии бывают, хотя и по совершенно разным причинам, у врачей, священников, полицейских и актеров. Высокий и покаты́й лоб, волевой, выступающий вперед рот с тонкими губами, желчный цвет лица, воспаленные от постоянного чтения глаза, скрытые за темными очками, хилое, но ширококостное тело, неизменно облаченное в длинный сюртук,— зимой из мохнатой ткани, летом из тонкого сукна,— башмаки на шнурках, очень длинные, преждевременно поседевшие и тонкие волосы, выбивающиеся из-под шапоκляка, в мгновение ока складывающегося и превращающегося в лепешку,— вот как выглядел этот ученый, все действия которого, словно у какого-нибудь священнослужителя, были рассчитаны до мелочей. Адриен Сикст нанял за семьсот франков в год квартиру на пятом этаже. Она состояла из спальни, рабочего кабинета, столовой, не более обширной, чем пароходная каюта, кухни и комнаты для прислуги. Изю всех окон открывался широкий вид до самого горизонта. Философ имел возможность обозревать из своей квартиры всю территорию Ботанического сада, а вдали, слева, по ту сторону впадины, где протекает Сена,—холмы кладбища Пер-Лашез. Прямо перед окнами возвышались Орлеанский вокзал и купол Сальпетриер, а справа, на фоне деревьев Лабиринта, зеленых или голых в зависимости от времени года, выделялась темная листва кедра. Всюду среди этого обширного пространства, на сером или голубом небе, дымили фабричные трубы, и снизу доносился шум человеческого моря, порою прерываемый свистками локомотивов и пароходов. Выбирая это уединенное жилище, г-н Сикст несомненно руководствовался общим, хотя и не объясненным еще законом, которому подчиняются все созерцательные натуры. Ведь и монастыри построены обычно в таких местах, откуда можно охватить взором особенно широкие просторы. Быть может, эти необъятные и туманные дали как раз и помогают мысли сосредоточиться, в то время как слишком близко расположенные

незначительные предметы только рассеивают внимание. А может быть, отшельники находят какую-то особую прелесть в этом контрасте между их мечтательным бездействием и кипучей деятельностью других людей? Но как бы ни решалась эта проблема, связанная с другой, тоже недостаточно изученной, а именно с проблемой чувственного восприятия у людей, занимающихся умственным трудом, — нет никаких сомнений, что печальный пейзаж, открывавшийся из окон, в течение пятнадцати лет был тем собеседником, с которым молчаливый труженик общался чаще всего. Хозяйство ученого вела одна из тех экономок, о каких мечтают все старые холостяки, не подозревающие, что порядок в доме зависит от размеренности жизни самого хозяина. Водворившись на новом месте, философ обратился к привратнику с просьбой найти для него служанку, которая убирала бы его квартиру, и указать ресторан, где бы он мог брать обеды на дом. Последствия этой просьбы могли быть самыми плачевными: небрежно убранные комнаты и отравы вместо еды. Но обращение к привратнику привело к тому, что в квартире г-на Сикста появилась особа, которая удовлетворяла его самым несбыточным требованиям, если у людей, занятых, по выражению Рабле, «извлечением квинтэссенции», еще остается время на какие-либо требования.

Как это часто бывает в домах с маленькими квартирами, привратник подрабатывал ручным трудом. Он был сапожник, «шил обувь на заказ и занимался починкой», — как гласило объявление — листок бумаги, наклеенный на окне его каморки, выходившем на улицу. Среди постоянных заказчиков дядюшки Карбоне — так звали привратника — был священник, живший на улице Кювье. У этого престарелого, ушедшего на покой аббата служила некая Марнетта Трапенар, старая дева лет сорока, привыкшая за долгие годы службы у духовного лица вертеть всем домом, но вместе с тем сохранившая характер простой крестьянки и не разыгрывавшая из себя барыню. Работы она не боялась, но ни за какие блага не поступила бы в дом, где ей пришлось бы столкнуться с другой представительницей слабого пола. Старичок священник скоропостижно умер за неделю до того, как г-н Сикст обосновался на улице Ги де ля Бросс. При взносе квартирной платы новый жилец на-

звал себя простым рантье, однако дядюшка Карбоне сразу же догадался, к какому сорту людей принадлежит г-н Сикст, во-первых, по огромному количеству привезенных им книг, во-вторых, на основании рассказов горничной профессора Коллеж де Франс, занимавшего квартиру во втором этаже. По крайней мере так аттестовали профессора расклеенные на стенах афиши о его лекциях в столь знаменитом учреждении. В этих фаланстерах мещанского Парижа все немедленно превращается в событие. Горничная рассказала о новом жильце пятого этажа своей хозяйке. Профессорша поделилась новостью с мужем. За столом этот последний завел разговор о г-не Сиксте, и из его слов горничная поняла, что новый квартирант, как и ее хозяин, работает «по письменной части». Карбоне не был бы достоин открывать дверь в парижском доме, если бы тут же не испытал вместе с супругой неодолимой потребности познакомиться г-на Сикста с девицей Трапенар. Тем более, что г-жа Карбоне, пожилая и не очень здоровая женщина, еле справлялась с уборкой трех квартир и не могла взять на себя еще новые обязанности. А склонность к сплетням, которая наравне с фуксиями, геранью и бальзаминами цветет в привратничьих пышным цветом, побудила почтенных супругов заверить ученого в том, что местные рестораторы кормят как в обжорке, и что во всем околотке есть только одна-единственная экономка, за которую они могут поручиться головой, и что эта экономка, бывшая служанка аббата Вэссье,— истинная жемчужина, образец скромности, порядка, бережливости и кулинарного искусства. Короче говоря, философ согласился повидать образцовую экономку, и его соблазнила очевидная честность этой женщины, а также мысль, что такое решение вопроса во многом упрощает его существование, избавляя на будущее время от необходимости отдавать какие бы то ни было распоряжения. Таким образом девица Трапенар поступила к новому хозяину, чтобы уже остаться у него до конца своих дней, с жалованьем в сорок пять франков в месяц, которое вскоре поднялось до шестидесяти. Кроме того, ученый всегда дарил ей к Новому году пятьдесят франков. Он никогда не проверял ее счетов, без малейших пререканий оплачивал их по утрам каждое воскресенье. Трапенар сама имела дело со всеми по-

ставщиками, без какого бы то ни было вмешательства г-на Сикста в ее коммерческие комбинации, проводившиеся, впрочем, с безупречной честностью. Словом, она стала царить в доме на правах хозяйки, и ее положение вызывало зависть у мелкого люда, с утра до вечера спускавшегося и поднимающегося по общей лестнице, которую по понедельникам натирал полотер.

— Ну, мадемуазель Мариетта! Неплохой же номерок вы вытянули,— говорил Карбоне экономке философа, когда она задерживалась на минутку, чтобы поболтать со своим благодетелем. За последние годы привратник стал сильно сдавать; теперь ему пришлось оседлать свой квадратный нос очками, и все же он с трудом попадал молотком по гвоздю, который забивал, надев кожаный передник и зажимая между коленями железную колодку. Уже несколько лет он держал у себя в каморке петуха, которого звали Фердинанд, хотя ни одна душа на свете не знала, почему птице дали такое имя. Петух бродил среди обрезков кожи и вызывал изумление посетителей той жадностью, с какой он глотал башмачные пуговицы. Когда петух пугался чего-нибудь, он искал прибежища у хозяина, совал лапу в его жилетный карман, а голову прятал у него под мышкой.

— Что с тобой, Фердинанд? — говорил Карбоне.— Поздоровайся же с мадемуазель Мариеттой!

Петух принимался нежно поклевывать руку старой девы, а сапожник продолжал:

— Я всегда говорю: не отчаивайтесь, если год выдался плохой. Вслед за ним придут два хороших. Они гонятся друг за дружкой, как Фердинанд за курами. Эй ты, старый греховодник!

— Что верно, то верно. Хозяин — хороший человек, ничего не скажешь,— соглашалась Мариетта.— Только вот в отношении религии — настоящий басурман. Можете себе представить! За пятнадцать лет ни разу не был у обедни!

— К обедне и без него достаточно народу ходит,— возразил Карбоне,— а люди умные проводят втихомолку время повеселее...

Этот отрывок разговора дает представление о том, какое мнение составила Мариетта о своем хозяине. Но мнение ее останется для нас совершенно непонятным,



если мы не коснемся философских работ Адриена Сикста и истории его научных взглядов.

Адриен Сикст родился в 1839 году в Нанси, где у его отца была часовая мастерская, и с малых лет отличался выдающимися умственными способностями. У товарищей по школе он оставил о себе память как о тщедушном и молчаливом мальчике, наделенном, однако, такой душевной замкнутостью, что она мешала сверстникам сблизиться с ним. Сначала он учился отлично, затем перешел в разряд средних учеников, — до того времени, когда в классе философии, или, точнее, логики, он обнаружил такие исключительные дарования, что преподаватель, пораженный его талантами в области метафизики, стал убеждать юношу готовиться к поступлению в Нормальную школу. Но Адриен сделать этого не пожелал и даже заявил отцу, что если говорить о профессии, то он предпочитает какое-нибудь ремесло. «Я буду часовщиком, как и ты», — отвечал он на доводы отца, который мечтал, как и все французские ремесленники и торговцы, обучающие детей в коллежах, что со временем его сын сделается чиновником. Впрочем, родители — мать Адриена еще была жива — ни в чем не могли упрекнуть сына; он не курил, не шатался по кафе и никогда не появлялся на улице с девицей, словом, был их гордостью. Поэтому они скрепя сердце покорились его желанию и отказались от мысли, что сын «сделает карьеру»; но они ни за что не захотели отдать его в обучение в какую-нибудь мастерскую, и таким образом молодой человек остался при родителях, без определенных занятий, имея возможность учиться, как ему заблагорассудится. Так он провел десять лет, посвящая время изучению английской и немецкой философии, естественных наук, математики и особенно физиологии мозга. Наконец он дошел до того «чудовищного энцефалита» (как выразился о нем один известный писатель), до того перенасыщения позитивными знаниями, которое было методом воспитания у Карлейля и Милля, Тэна и Ренана и почти всех выдающихся представителей современной философии. Когда в 1868 году сыну скромного нансийского часовщика исполнилось двадцать девять лет, он опубликовал труд в пятьсот страниц под заглавием: «Психология веры». И хотя он разослал его не более чем пятнадцати ли-

цам, книга неожиданно имела скандальный успех. Этот труд, написанный в полнейшем духовном одиночестве, отличался двумя характерными особенностями: острым до жестокости критическим анализом и пылкостью отрицания, доведенного до фанатизма. Не отличаясь поэтичностью, свойственной Тэну, Сикст не мог бы написать такого предисловия, какое предпослано трактату «Об уме», или хотя бы как тэновский отрывок об универсальном феноменализме, но он не был и столь сухим умом, как г-н Рибо, книга которого «Английские психологи» положила начало целой серии замечательных исследований этого ученого. Однако Адриен Сикст соединял в себе красноречие первого и проникновенность второго, и его книге было суждено, хотя это и не входило в планы автора, непосредственно коснуться самой волнующей проблемы метафизики. Брошюра видного епископа, негодующие намеки некоего кардинала в речи, произнесенной в сенате, и гневная статья одного из самых блестящих критиков из лагеря спиритуалистической философии во влиятельном журнале способствовали тому, что к этой книге было привлечено внимание молодежи, над которой уже веял дух революции, предвестник грядущих потрясений. Автор ставил перед собою задачу доказать необходимость «гипотезы о божестве» действием психологических законов, в свою очередь обусловленных некоторыми мозговыми функциями чисто физического порядка. Этот тезис был выдвинут, доказан и раскрыт с такой атеистической резкостью, что она напоминала иступление Лукреция против верований его времени.

И вот труд нансийского отшельника, задуманный и заверченный как бы в келье, сразу же после выхода в свет оказался втянутым в шумную борьбу современных идей. Уже давно не приходилось сталкиваться с такой силой мысли в соединении со столь широкой эрудицией и с таким разнообразием доказательств в сочетании с самым смелым нигилизмом. Но, в то время как имя ученого уже гремело в Париже, его родители, которые воспитали его и жили с ним под одной кровлей, хотя и не могли понять сына, были совершенно подавлены таким успехом. Некоторые статьи в католических журналах привели г-жу Сикст в полное отчаянье. Старый часовщик боялся, что растеряет клиентов из среды городской

аристократии. На бедного философа обрушились все невзгоды провинциальной жизни, и он уже решил, что лучше всего оставить отчий кров, как вдруг началось немецкое нашествие и разразилась ужасающая национальная катастрофа, отвлекшая от него внимание и родителей и соотечественников. Впрочем, в 1871 году его отец и мать умерли, летом того же года Адриен Сикст потерял тетку, и в 1872 году, приведя в порядок денежные дела, он решил обосноваться в Париже. Благодаря наследству, полученному от отца и тетки, его состояние выравилось в восьми тысячах пожизненной ренты. Сикст решил, что он не женится, не станет бывать в обществе и не будет добиваться ни почестей, ни теплых местечек, ни славы. Весь смысл жизни заключался для него в одном слове: мыслить.

Чтобы лучше охарактеризовать этого редкостного человека, портрет которого может показаться неправдоподобным читателю, мало знакомому с биографиями великих философов, необходимо рассказать об образе жизни этого труженика науки. И зимой и летом философ садился за письменный стол в шесть часов утра, подкрепившись только чашкой черного кофе. В десять часов он завтракал. Трапеза была настолько несложной, что уже в половине одиннадцатого он входил в ворота Ботанического сада. Там он прогуливался до двенадцати и иной раз доходил до набережной, в сторону Собора Парижской богородицы. Одно из его любимых развлечений состояло в том, что он подолгу простаивал перед клетками с обезьянами или возле слона. Дети и няньки, наблюдавшие, как г-н Сикст беззвучно смеется над жестокостью и циническими выходками макак и уистити, и не подозревали о мизантропических мыслях, какие вызывало это зрелище в уме ученого, сравнивавшего про себя человеческую комедию с обезьяньей, а свойственную человеку глупость — с мудростью благородного животного, которое до нас было царем на земле. Около полудня г-н Сикст возвращался домой и снова занимался до четырех часов вечера. С четырех до шести, три раза в неделю, он принимал посетителей, студентов и профессоров, интересовавшихся теми же вопросами, что и он, или иностранцев, которых привлекала к нему его слава, ставшая к тому времени европейской. В остальные три дня недели он в эти часы сам делал необходимые визи-

ты. В шесть часов ученый обедал, снова уходил из дому и на этот раз прогуливался вдоль ограды уже запертого сада до Орлеанского вокзала. В восемь он возвращался, занимался корреспонденцией или читал. В десять часов во всех окнах его квартиры уже бывало темно. По понедельникам этот монашеский образ жизни прерывался отдыхом: философ заметил, что по воскресеньям окрестности Парижа полны гуляющих. В понедельник он выходил из дому ранним утром, садился в пригородный поезд и возвращался только вечером. И за пятнадцать лет не было случая, чтобы он нарушил эту строгую размеренность жизни. Ни разу он не принял приглашения где-нибудь отобедать, не побывал ни в одном театре. Он совсем не читал газет, а для печатания своих работ обращался к услугам издателя и никогда не благодарил за написанные о нем статьи. Он был до такой степени равнодушен к политике, что ни разу не участвовал в выборах. К этому еще необходимо добавить, чтобы установить главные черты его исключительной личности, что он порвал всякие сношения с родственниками и что этот разрыв, равно как и все, даже мельчайшие его поступки, был основан на особой теории. В предисловии к его второй книге, которая называется «Анатомия воли», имеется следующая характерная для него фраза: «Социальные привязанности у человека, который желает познать и выразить истину в области психологии, должны быть доведены до минимума». Из соображений подобного рода этот человек, наделенный столь мягким характером, что за пятнадцать лет он не сделал и трех замечаний своей экономке, сознательно воздерживался от всякой благотворительности. Тут он рассуждал, как Спиноза, который в четвертой книге своей «Этики» говорит: «У мудреца, живущего согласно доводам разума, жалость — дурное и бесполезное свойство». Этот мирской праведник, как его можно было бы назвать наравне с почтенным Эмилем Литтре, считал христианство болезнью человечества. В качестве обоснования такого отношения к христианству Сикст приводил два довода. Во-первых, по его мнению, гипотеза о небесном отце и вечном блаженстве развила в душах излишнее отвлечение к реальному миру и уменьшила в человеке способность подчиняться законам природы; во-вторых, он считал, что, основывая социальный порядок на любви,

то есть на чувствительности, эта религия открыла дорогу самым вредным крайностям индивидуалистических учений. Г-ну Сиксту, конечно, и в голову не приходило, что преданная экономка зашивает в его жилеты образки, и невнимание ученого к внешнему миру было настолько полным, что по пятницам и в другие положенные дни он соблюдал пост, не замечая тайных усилий старой девы хотя бы таким образом обеспечить своему хозяину вечное спасение. Говоря о нем, она повторяла, сама того не зная, знаменитое изречение:

— Милосердный бог не был бы милосердным, если бы осудил его.

Годы непрерывного труда в обители на улице Ги де ля Бросс родили, кроме «Анатомии воли», трехтомную «Теорию страстей», выход которой в свет вызвал бы еще больший скандал, чем даже «Психология веры», если бы полная свобода печати в последнее десятилетие не приучила читателя к смелости описаний, с какой не могла соперничать спокойная и, так сказать, техническая выразительность ученого. В этих двух книгах и сосредоточилась доктрина Адриена Сикста, и ее необходимо изложить здесь, хотя бы в самых общих чертах, чтобы стала понятной драма, для которой эта краткая биография служит как бы прологом.

Вместе со всеми представителями критической школы, основоположником которой является Кант, автор этих трех трактатов допускал, что разум не в состоянии познать причины и субстанцию и должен ограничиться координированием феноменов. Однако, как и английские психологи, он считал, что некоторая группа этих феноменов, которая обозначена этикеткой «душа», все же может быть объектом научного познания, при условии применения строго научного метода. Пока что, как видит читатель, в этих теориях нет ничего такого, что отличало бы их от теорий, развитых в основных трудах Гэна, Рибо и их последователей. Оригинальные особенности трудов Адриена Сикста не в этом. Первая из них заключается в полном отрицании того, что Герберт Спенсер называет Непознаваемым. Как известно, великий английский мыслитель допускает, что всякая реальность покоится на некоей, находящейся вонне сущности, постигнуть которую невозможно; следовательно, необходимо, если применить формулу Фихте, считать

эту сущность непостижимой. Однако, как об этом свидетельствуют первые страницы «Основных начал», для Спенсера это Непознаваемое тем не менее является реальностью. Оно существует, поскольку мы живем им. Отсюда один только шаг до утверждения, что сущность всякой реальности представляет собою мысль, поскольку наша мысль проистекает из нее; она представляет собою и чувство, поскольку наше чувство берет в ней свое начало. Исходя из Непознаваемого, немало проникновенных умов предвидят теперь примирение религии и науки. Однако Адриену Сиксту такие теории представлялись лишь крайним выражением метафизической иллюзии, которую он во что бы то ни стало стремился разрушить, и он применял при этом такую силу аргументации, какой мы не наблюдали со времен Канта. Другой заслугой его как психолога явились выдвинутые им новые и остроумные положения о животном происхождении чувственной жизни человека. Благодаря неограниченной эрудиции и глубокому знанию естественных наук Сикст мог провести ту же самую работу для выяснения генезиса форм мысли, какую Дарвин выполнил для разработки теории происхождения форм жизни. Применяя закон эволюции к тем явлениям, которые представляют собою выражение человеческих чувств, он пытался доказать, что наши самые тонкие ощущения, самые изощренные нравственные переживания, равно как и наши самые постыдные падения, не что иное, как конечное выражение или последняя метаморфоза простейших инстинктов, которые в свою очередь представляют собою видоизменение свойств первоначальной клетки. Таким образом, он приходит к выводу, что духовный мир точно воспроизводит мир физический и что первый является не чем иным, как мучительным или экстатическим отражением второго в нашем сознании. Такой метафизический вывод, предложенный Сикстом лишь в виде гипотезы, служит итогом его изумительных исследований. Среди них можно упомянуть хотя бы о двухстах страницах, посвященных любви и написанных с такой смелостью, которая под пером целомудренного ученого, может быть даже девственника, кажется чрезвычайно забавной. Но разве тот же Спиноза не разработал теорию ревности, которая грубостью своей может поспорить с идеями любого из совре-

менных писателей? И разве Шопенгауер в своих выпадах против женщин не соперничает в остроумии с Шамфором? Едва ли нужно добавлять к этому, что в книгах Сикста все, с начала до конца, отмечено крайним детерминизмом. Именно его перу мы обязаны некоторыми положениями, которые с необычайной убедительностью доказывают, что все одинаково необходимо в человеческой душе, даже наша иллюзия, будто мы обладаем свободой воли. Так, в одном месте он пишет: «Всякое действие является не чем иным, как актом сложения. Утверждать, что это действие вполне свободно, равносильно попытке доказать, что сумма больше совокупности слагаемых. В психологии это такой же абсурд, как и в арифметике». И далее: «Если бы нам было известно относительное положение всех элементов, составляющих нынешнюю вселенную, то мы могли бы уже сейчас с астрономической точностью рассчитать день, час и минуту, когда, например, англичане уйдут из Индии, когда Европа сожжет последний кусок каменного угля, когда такой-то преступник, пусть еще не родившийся, убьет отца или когда будет написана еще даже не задуманная поэма. Все будущее заключено в настоящем, как все свойства треугольника заключены в его определении...» Надо признать, что и магометанский фатализм не выражается с большей точностью.

Философские теории подобного рода позволяют предполагать в человеке ужасающую скудость воображения. Поэтому слова г-на Сикста, не раз сказанные им о самом себе: «Я беру жизнь с самой ее поэтической стороны», — казались тем, кто его слышал, абсурднейшим из парадоксов. И тем не менее эти слова вполне соответствовали действительности, принимая во внимание особую природу философского ума. Ведь существенное отличие прирожденного философа от прочих смертных заключается в том, что идеи, которые последним представляются в виде более или менее ясных формул, для философа облекаются в плоть и кровь как реальные живые существа. Чувства философа соотносятся с его мыслью, в то время как у всех нас существует более или менее полный разлад между сердцем и рассудком. Один христианский проповедник превосходно отметил природу такого разлада в следующем странном, но глубоком изречении: «Мы хорошо знаем,

что мы умрем, но *не верим* этому!» Философ же, если он философ, по самой своей сущности, по призванию, не в состоянии понять эту двойственность, это противоречие между чувством и мыслью. Так и для Сикста универсальная необходимость существующего, вечное превращение одних феноменов в другие, колоссальная работа природы, находящейся в беспрестанном процессе созидания и разрушения, без отправной точки и без цели, а лишь в силу простого развития первоначальной клетки, параллельная работа человеческой души, воспроизводящей в виде мыслей, эмоций и желаний движение физиологической жизни,— все это было для него не более, чем объектом созерцания. Как загипнотизированный, Сикст погружался в наблюдение этих процессов и ощущал их всем своим существом. Таким образом, этот болезненный человек, сидевший среди книг за письменным столом, засунув ноги в меховой мешок и запахнувшись в старый халат, в то время как рядом на кухне стряпала экономка, мысленно участвовал в бесконечном творчестве вселенной. Он жил жизнью всех созданий. Он перевоплощался во все формы природы, пребывал в сонном бездействии вместе с минералом, прозябал вместе с растением, оживал вместе с простейшими животными, становился более сложным явлением вместе с более развитыми организмами, наконец раскрывался во всей полноте ума, способного отразить безграничный мир,— в человеке. Упоение общими идеями, в котором есть нечто от опиума, делает таких созерцателей равнодушными к мелочам внешнего мира и, скажем прямо, почти совершенно неспособными к каким-либо житейским привязанностям. Ведь мы привязываемся только к тому, что ощущаем как вполне реальное; а для этих своеобразно устроенных голов реальностью является как раз абстракция, повседневная же реальная жизнь кажется некоей тенью, грубым и несовершенным отражением незримых законов. Возможно, что Сикст и любил свою мать. Но этим несомненно и ограничилась его душевная жизнь. Если он был добр и снисходителен к людям, то это происходило по той же самой причине, по какой он осторожно, без резких движений передвигал у себя в кабинете стул. Однако он никогда не испытывал потребности почувствовать около себя теплоту или нежность, семейный уют, по-



знать любовь, преданность или хотя бы дружбу. Те немногие ученые, с которыми он поддерживал знакомство, были связаны в его представлении только с профессиональными беседами, какие он вел с ними, — с одним о химии, с другим о высшей математике, с третьим о заболеваниях нервной системы. Встречаясь с этими людьми, он совершенно не интересовался, есть ли у них семья, занимаются ли они воспитанием детей, обуревают ли их желание сделать карьеру. И как это ни покажется странным после подобной характеристики, он был счастлив.

Принимая во внимание характер ученого и распорядок его жизни, легко себе представить, какое впечатление произвели в рабочем кабинете на улице Ги де ля Бросс два события, последовавшие одно за другим в течение дня; во-первых, получение повестки, адресованной г-ну Адриену Сиксту с вызовом в камеру г-на Валетта, судебного следователя, «на предмет дачи показаний о фактах и обстоятельствах, о которых он будет поставлен в известность», как значилось в повестке в соответствии с формой подобных документов; во-вторых, визитная карточка г-жи Грелу, убедительно просившей г-на Сикста принять ее завтра около четырех часов, «чтобы переговорить о преступлении, в котором ложно обвинен ее несчастный сын». Я уже сказал, что философ никогда не читал газет. Но если бы он в течение последних двух недель случайно открыл любую из них, он нашел бы в ней отклики на дело молодого Грелу, о котором теперь уже стали забывать, так как внимание было приковано к новым судебным процессам. Поскольку же г-н Сикст пребывал в полнейшем неведении, вызов к судебному следователю и визитная карточка ничего ему не говорили. Однако, сопоставляя получение повестки и записку, написанную матерью, ученый сделал вывод, что между этими двумя фактами возможна какая-то связь, и ему тут же пришло в голову, не идет ли речь о том молодом человеке по имени Робер Грелу, с которым он познакомился в прошлом году, впрочем при самых обычных обстоятельствах. Но обстоятельства эти так не вязались с представлением о каком бы то ни было уголовном деле, что ученый не мог построить никакой гипотезы и долго рассматривал то повестку, то визитную карточку, охваченный почти

мучительным беспокойством, какое вызывает у людей со сложившимися привычками малейшее событие неожиданного и загадочного характера.

Робер Грелу... Адриен Сикст впервые прочел это имя два года тому назад под письмом, полученным им вместе с рукописью. Рукопись была озаглавлена так: «Опыт исследования множественности «я», а в приложенном к ней письме заключалась почтительная просьба о том, чтобы знаменитый ученый дал себе труд просмотреть эту первую работу молодого автора. Грелу прибавил к своей подписи следующее пояснение: «Бывший ученик класса философии клермон-ферранского лицея». Работа, занимавшая страниц шестьдесят, свидетельствовала о таком преждевременно развитом и тонком понимании вещей, о столь полном знакомстве со всеми новейшими теориями современной психологии и о таких аналитических способностях, что ученый почел нужным ответить автору подробным посланием. Вскоре Сикст получил от молодого человека письмо, в котором тот благодарил ученого и сообщал, что должен вскоре отправиться в Париж на устные экзамены для поступления в Нормальную школу, и просил разрешения навестить профессора. И вот однажды, после полудня, Сикст увидел у себя юношу лет двадцати, с красивыми черными, необыкновенно живыми и выразительными глазами, освещавшими очень бледное лицо. Только это и осталось в памяти у ученого. Подобно всем людям, погруженным в абстрактное мышление, он получал от внешнего мира лишь весьма смутные впечатления, и у него оставались о них столь же смутные воспоминания. Зато память на идеи была у него поразительная, и он до малейших подробностей помнил весь свой разговор с Робером Грелу. Среди многих молодых людей, которых влекла к нему его известность, ни один не изумил его такой необычайно ранней эрудицией и силой логики. Конечно, в голове этого юноши тоже было еще немало неустоявшегося и еще сказывалось то кипение мысли, которое вызывается слишком быстрой ассимиляцией чересчур обширных научных сведений. Но какая была у него чудесная способность к дедукции, какое естественное красноречие и вместе с тем какая искренность чувствовалась в его энтузиазме! И вот ученый представил его себе мысленно таким, каким он по-

казался ему во время беседы, когда юноша, слегка жестикулируя, сказал: «Нет, вы и представить себе не можете, кем вы являетесь для нас и что мы переживаем, читая ваши книги... Вы человек, олицетворяющий для нас истину, человек, в которого можно верить... Да вот возьмем, например, хотя бы анализ чувства любви в вашей «Теории страстей»! Ведь это же целое откровение! В лицее ваша книга запрещена. Но у меня она есть, и в свободные дни два моих товарища приходили ко мне выписывать из нее целые главы...» А так как в душе каждого человека, выпустившего в свет книгу, даже такого бескорыстного, как Адриен Сикст, таится авторское тщеславие, то это преклонение со стороны кружка учащейся молодежи, простодушно высказанное одним из ее представителей, чрезвычайно польстило философу. Робер Грелу просил разрешения зайти еще раз и, признавшись во время вторичного посещения о провале на экзаменах в Нормальную школу, кое-что рассказал о своих дальнейших планах. Вопреки обыкновению и г-н Сикст позволил себе задать посетителю несколько вопросов частного характера. Таким образом ему стало известно, что молодой человек — единственный сын инженера, который умер, не успев составить состояния, и что его матери пришлось пойти на большие жертвы, чтобы предоставить сыну возможность учиться. «Но так не может продолжаться, — рассказывал Робер, — поэтому я намерен еще в нынешнем году получить степень лиценциата, а затем буду добиваться места преподавателя философии в каком-нибудь лицее и одновременно работать над большим трудом о видоизменениях человеческой личности. Зародышем этой работы является тот опыт, который я предложил вашему вниманию...» Когда молодой человек стал излагать программу своей жизни, глаза его загорелись.

Оба эти посещения Робера Грелу имели место в августе 1885 года. Теперь шел 1887 год, и за этот промежуток времени Сикст получил от юноши пять или шесть писем. В одном из них Робер Грелу сообщал, что поступил в качестве домашнего учителя в какую-то аристократическую семью, которая проводит летние месяцы в родовом замке на берегу Эда, одного из самых живописных озер в Овернских горах. Незначительная подробность поможет читателю понять, до какой степе-

ни взволновало ученого совпадение между получением повестки и визитной карточки г-жи Грелу: хотя на столе лежали гранки его статьи для «Философского обозрения» и их необходимо было поосмотреть как можно скорее, ученый почел нужным в тот же вечер разыскать письма молодого человека. Он обнаружил их в папке, где аккуратно хранил все, даже незначительные записки. Письма лежали вместе с бумагами такого же рода под рубрикой: «Современная документация по вопросу формирования ума», и составляли в общей сложности около тридцати листов. Ученый перечел их с особенным вниманием и не обнаружил в них ничего, кроме различных соображений научного характера, вопросов о книгах, которые надо прочитать, да некоторых научных планов. Какая же нить может связывать подобные вещи с уголовным процессом, о котором говорит мать? Молодой человек, которого философ видел всего два раза в жизни, произвел на него, по-видимому, очень сильное впечатление, потому что мысль о том, что за повесткой судебного следователя и за просьбой матери Робера Грелу о свидании скрывается одна и та же тайна, не давала ему покоя большую часть ночи. Впервые за много лет г-н Сикст сделал экономке выговор за какое-то пустяковое упущение, а когда он проходил в час дня мимо каморки привратника, его лицо, обычно совершенно спокойное, выражало такую озабоченность, что Карбоне, уже насторожившийся из-за повестки, которая по довольно варварскому обычаю была прислана в незапечатанном конверте и тут же, само собою разумеется, прочитана, высказал жене, а затем и всему okolотку следующее соображение:

— Я не имею обыкновения совать нос в чужие дела, но я отдал бы двадцать лет хорошей жизни, чтобы узнать, что нужно судейским крючкам от нашего бедного господина Сикста. Сейчас он сбежал по лестнице, как полоумный...

— Смотри-ка, господин Сикст вышел погулять не вовремя, — сказала матери девица, сидевшая за прилавком в булочной. — Говорят, он судится из-за наследства.

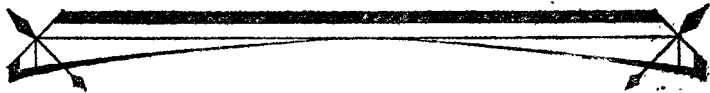
— Полюбуйся на старика Сикста! Мчится, как зебра! Мне рассказывали, что его тянут к ответу, — говорил аптекарский ученик приятелю. — Знаем мы этих

старичков. Снаружи как будто бы все в порядке, а чуть копни — не оберешься грязных историй. В конце концов все они порядочные каналы...

— Сегодня он уж совсем медведь медведем! Даже не здороваются! — Так говорила жена профессора Коллеж де Франс, занимавшего квартиру в том же доме, что и философ, когда Сикст встретился супругам на лестнице. — Впрочем, тем лучше. Говорят, будто его книги подвергнутся судебному преследованию. Ну и поделом!..

Так даже самые скромные люди, люди, воображающие, что они живут в полной безвестности, не могут и шагу ступить, не вызвав всевозможных пересудов, если им суждено жить в Париже, в так называемых тихих кварталах. Необходимо, однако, добавить, что если бы г-н Сикст узнал об этой болтовне, он обратил бы на нее внимания не больше, чем на какой-нибудь том официальной университетской философии. А философию эту он презирал больше всего на свете.





## II

### ДЕЛО ГРЕЛУ

Знаменитый философ во всем являл собою образец точности. Среди житейских правил, которым он в подражание Декарту следовал с самого начала своей ученой жизни, было и такое: «Порядок помогает мыслить». Поэтому он прибыл в здание судебной палаты ровно за пять минут до указанного в повестке времени. Ему пришлось ждать не менее получаса, прежде чем следователь принял его. В длинном коридоре с голыми белыми стенами, где стояло несколько столов и стульев для курьеров, люди разговаривали шепотом, как это обычно бывает в приемных официальных учреждений. Здесь находилось человек шесть-семь. Соседями философа оказались почтенный буржуа с женой, очевидно местные коммерсанты, вызванные по какому-то другому делу и, видимо, очень смущенные встречей с миром правосудия. Наружность севшего рядом с ними господина, с бритым лицом, в черных круглых очках, скрывавших глаза, в длинном сюртуке и с необычайной физиономией, до такой степени обеспокоила супругов, что они отсели подальше от него и стали перешептываться.

— Он из полиции, — сказал муж.

— Ты думаешь? — подхватила жена, с ужасом взглянув на загадочное и неподвижное лицо незнакомца. — Боже, какой у него отталкивающий вид!..

А профессиональный исследователь человеческого сердца и не подозревал, какое впечатление он произво-

дит на окружающих, — да он и вообще не заметил, что кто-то сидит рядом. Пока разыгрывалась эта комическая сценка, следователь болтал с приятелем в комнате, примыкающей к его служебному кабинету. Украшенная несколькими автографами и фотографиями знаменитых преступников, она служила г-ну Валетту туалетной, курительной и убежищем для разговоров с глазу на глаз в тех случаях, когда ему хотелось избавиться от присутствия секретаря. Следователь был красивый мужчина лет сорока; одет он был по последней моде, с перстнями на пальцах; словом, это был чиновник новой школы. На улице вы приняли бы этого господина с орденской ленточкой в петлице, в хорошо сшитом пальто и в блестящем цилиндре за биржевика, награжденного орденом по случаю какого-нибудь удачного выпуска акций. Он держал в руке лист бумаги, на котором ученый разборчивым и связным почерком написал свою фамилию, и показывал эту подпись приятелю, человеку без определенных занятий, живущему в свое удовольствие и обладающему одной из тех незначительных и вместе с тем нервных физиономий, какие можно увидеть только в Париже. Попробуйте определить, глядя на такого господина, его вкусы, привычки или характер! Сделать это невозможно, столько отразилось на этом лице самых разнообразных и даже противоречивых переживаний. Этот прожигатель жизни принадлежал к тому сорту парижан, которые считают своим долгом бывать на всех театральных премьерах, посещать мастерские художников, присутствовать на сенсационных процессах, словом, гордятся тем, что они идут в ногу с веком, что они «в курсе всего», как теперь принято говорить. Прочитав фамилию Адриена Сикста, приятель воскликнул:

— Bravo! Поздравляю, милый Валетт! Тебе повезло, что ты будешь говорить с такою знаменитостью. Ты знаешь, что он написал о любви в какой-то своей книге? Вот кто понимает толк в женщинах! Но за каким чертом ты вызвал его сюда?

— По делу Грелу, — ответил следователь. — Говорят, он часто принимал у себя этого юношу, и защита выставила его в качестве свидетеля. Мне поручено выяснить это обстоятельство.

— Жаль, что нельзя взглянуть на него, — вздохнул приятель.

— Тебе это доставило бы удовольствие? Так нет ничего проще. Сейчас я приглашу его. А ты уйдешь после того, как он появится в кабинете. Итак, до вечера, ровно в восемь у Фигона. Гледис, конечно, будет?

— Разумеется. Кстати, ты слышал последнюю остроту Гледис? Мы как-то при ней упрекали Перси, что она изменяет Гюставу. Так знаешь, что сказала Гледис: «Ну что же, ей поневоле приходится иметь двух любовников, раз она тратит вдвое больше того, что ей дает каждый...»

— Да, заметил Валетт,— думаю, что в философии любви эта девица заткнет за пояс всех Сикстов света и полусвета...

Друзья весело рассмеялись. Затем следователь велел пригласить философа. Любопытный приятель, прощаясь с Валеттом и в последний раз пожимая ему руку, повторил:

— Итак, до вечера. Ровно в восемь...

Но одновременно, вставив в глаз монобль, чтобы лучше видеть, он окинул взглядом знаменитого философа, которого знал по пикантным отрывкам из «Теории страстей», напечатанным в газетах. Однако появление в дверях человека своеобразной внешности, робкого и явно смущенного, настолько опровергало представление о нем как о жестоком, язвительном и разочарованном мизантропе, какое составили себе следователь и бульварный гуляка, что они с изумлением переглянулись. Им трудно было удержаться от улыбки. Но это продолжалось только мгновение. Приятель исчез. Следователь жестом пригласил посетителя сесть в одно из обитых зеленым плюшем кресел, составлявших обстановку комнаты, убранство которой, по принятому в официальных учреждениях обычаю, завершал триповый ковер, тоже зеленого цвета, и стол красного дерева. Физиономия следователя стала серьезной. Эти переходы от одного настроения к другому более искренни, чем можно думать, наблюдая их в поведении человека, вдруг на ваших глазах превращающегося из частного лица в чиновника. К счастью, стопроцентные комедия, ты, люди, которые относятся к своей работе с полнейшим презрением, довольно редкое явление в нашем об-



ществе. Нам не хватает скепсиса, чтобы поддерживать такое лицемерие. И остроумному Валетту, которого так ценили в полусвете, клубному завсегдаю, приятелю всех спортсменов, сопернику журналистов в острословии, человеку, только что весело комментировавшему остроу легкомысленной девицы, с которой ему предстояло ужинать вечером, отнюдь не требовалось большого усилия, чтобы в мгновение ока превратиться в сурового и пытливого следователя, с холодным мастерством осуществляющего задачу выяснения истины во имя правосудия. Его взгляд, вдруг ставший пронзительным, пытался проникнуть в душу только что вошедшего посетителя. Заправские следователи обладают особым даром с первых же минут беседы с человеком, которого нужно заставить говорить, если даже он к этому не расположен, пробуждать в себе все свои судейские способности, подобно тому как фехтовальщики сначала нащупывают манеру противника, чтобы потом вступить с ним в настоящую борьбу. А философ понял, что предчувствия его не обманули: на папке, которую следователь взял в руки, Сикст прочел написанные крупными буквами два слова, заставившие его невольно содрогнуться: «Дело Грелу». В комнате царила тишина, нарушаемая только шорохом бумаг и скрипом пера в руке секретаря, который уже приготовился записывать допрос с тем равнодушием, какое отличает людей, привыкших играть чисто механическую роль в жизненных драмах, развертывающихся перед судом. Для них один процесс так же мало отличается от другого, как покойники для факельщика или больные для санитаря.

— Избавляю вас, милостивый государь, от обычных вопросов,— произнес наконец следователь.— Есть имена и люди, которых нельзя не знать...

Философ даже не поклонился в ответ на этот комплимент.

«Не знает светских правил,— подумал следователь.— Вероятно, это один из тех литераторов, которые принципиально презирают нас». Вслух он сказал:

— Я начну прямо с факта, который вынудил меня пригласить вас... Вам, конечно, известно, в каком преступлении обвиняется Робер Грелу...

— Извините,— прервал его философ, меняя позу, которую он принял по привычке, чтобы удобнее было

слушать: он сидел, положив руку на подлокотник, а подбородок подперев рукой и упершись указательным пальцем в щеку, как в минуты своих одиноких размышлений,— я не имею об этом ни малейшего понятия.

— Однако все газеты писали об этом деле, и даже с такой точностью, к какой господа газетчики не очень-то нас приучили,— возразил следователь. Он почел нужным хотя бы такой косвенной насмешкой парировать пренебрежение представителя философии к судебским, которое он подозревал у посетителя. А про себя подумал: «Притворяется! Интересно, с какой же целью? Должно быть, хочет меня перехитрить».

— Извините,— повторил философ,— но дело в том, что я не читаю газет.

Следователь посмотрел на собеседника и молвил короткое «ах, так!», в котором было больше иронии, чем удивления. «Ну, хорошо,— подумал он,— ты испытываешь мое терпение? Так мы тебе покажем...»

Не без раздражения в голосе он продолжал:

— В таком случае я вкратце изложу вам дело. Но все-таки жаль, что вы не в курсе того, что безусловно должно бы вас заинтересовать если не с точки зрения юридической ответственности, то по крайней мере моральной...

При этих словах философ поднял голову с явным беспокойством, что доставило следователю немалое удовольствие. «Что, получил, приятель?» — сказал он про себя, а вслух произнес:

— Но ведь вам известно, кто такой Робер Грелу и какое положение он занимал в доме маркиза де Жюсса-Рандон? В деле имеется несколько писем, которые были посланы вами Роберу Грелу в замок Жюсса-Рандон. Они доказывают, что вы были... как бы это выразиться... своего рода духовным руководителем обвиняемого.

Философ снова сделал движение головой.

— Теперь я прошу вас сообщить, говорил ли вам молодой человек об этой семье и что именно. Едва ли я открою вам что-нибудь новое, если напомним, что семья эта состояла из отца, матери, сына, который, в чине капитана драгунского полка, служит сейчас в люневильском гарнизоне, второго сына, воспитателем которого и был Грелу, и девятнадцатилетней дочери по

имени Шарлотта. Она была обручена с бароном де Планом, офицером того же полка. Но по каким-то семейным соображениям, не имеющим отношения к делу, свадьбу отложили. Затем она была окончательно назначена на пятнадцатое декабря прошлого года. Но вот однажды утром, за неделю до приезда жениха и старшего сына, графа Андре, горничная мадемуазель Шарлотты, войдя к ней в обычный час, нашла ее в постели мертвой...— Чиновник сделал короткую паузу и, продолжая перелистывать папку с бумагами, скосил глаза на свидетеля. Изумление, отразившееся на лице философа, было настолько искренним, что следователь сам изумился. «Нет, он действительно ничего не знает,— подумал он,— но это странно, очень странно!» Следователь следил за взволнованной физиономией знаменитого ученого, не меняя на своем лице выражения занятого делами и ко всему на свете равнодушного человека. Однако ему доставало данных, чтобы понять этого загадочного человека, в котором уживались мощный ум в сфере отвлеченных идей и полная беспомощность наивного, робкого и почти нелепого чудака в области житейской. Так ничего и не поняв, следователь продолжал: — Хотя спешно вызванный врач был лишь простым деревенским лекарем, он сразу понял, что внешний вид трупа исключает предположение об естественной смерти. Посиневшее лицо, плотно сжатые зубы, необычайно расширенные зрачки, тело, изогнутое как бы дугой и державшееся на затылке и на пятках,— все это были явные признаки отравления стрихнином. В стакане, стоявшем на ночном столике, оставалось несколько капель лекарства от бессонницы, которое Шарлотта де Жюсса-Рандон обычно принимала вечером или даже ночью, так как уже около года страдала нервным расстройством. Произведя анализ этих капель, врач обнаружил в них следы чилибухи. Как вам известно, чилибуха — одна из форм, в какой этот ужасный яд имеет применение в медицине. И почти одновременно садовник нашел под окнами Шарлотты небольшой пузырек без этикетки, содержавший несколько капель какой-то коричневой жидкости. Его, очевидно, выбросили с намерением разбить, но склянка упала на рыхлую почву недавно вскопанной клумбы. Эти несколько капель тоже оказались чилибухой. Не могло быть никакого сомне-

ния, что мадемуазель де Жюсса умерла от отравления. Вскрытие трупа подтвердило это предположение. Возникает вопрос, имеем ли мы в данном случае дело с убийством или самоубийством?.. Гм... Самоубийство... Но какие мотивы для самоубийства могли быть у этой девушки накануне брака с очаровательным человеком, которого она сама же выбрала? Да еще самоубийства в такой форме, без единого слова объяснения, без письма к родителям?.. С другой стороны, каким образом она могла раздобыть яд? Именно расследование этих двух фактов и побудило правосудие выступить с обвинением, которым мы в настоящее время занимаемся. Деревенский аптекарь на допросе показал, что за полтора месяца до происшествия учитель, живший в замке, купил у него чилибуху как средство против желудочного заболевания. Однако в то самое утро, когда был обнаружен труп Шарлотты, учитель отправился в Клермон под тем предлогом, что ему необходимо навестить больную мать. Он заявил, что вызван телеграммой. Между тем точно установлено, что никакой телеграммы не было и что в ночь преступления один из слуг видел Робера Грелу выходящим из спальни Шарлотты. Наконец, в комнате молодого человека нашли пузырек с ядом, приобретенный у аптекаря. Пузырек оказался наполовину опорожнен, а затем долит обыкновенной водой, чтобы таким образом отвлечь подозрение. Показания других свидетелей дали возможность установить, что Робер Грелу очень настойчиво ухаживал за девушкой тайком от родителей. Было найдено письмо, которое он адресовал ей, правда, одиннадцать месяцев тому назад, но которое свидетельствует о ловких попытках обольстить ее. Слуги и даже воспитанник Робера Грелу показали также, что в последнюю неделю отношения между учителем и Шарлоттой стали крайне натянутыми, хотя до этого были дружескими. Она едва отвечала на его поклон. На основании всех этих данных была построена следующая гипотеза: Робер Грелу, влюбившись в девушку, безнадежно ухаживал за нею, а потом отравил ее, чтобы воспрепятствовать ее браку с другим. Эта гипотеза приобрела особую убедительность после того, как молодой человек на допросах стал прибегать ко лжи. Он отрицал, что когда-либо писал Шарлотте. Однако ему предъявили его письмо, а в ком-

нате жертвы в камине удалось найти среди пепла следы писем, сожженных в ночь смерти девушки. Там была обнаружена часть конверта с адресом, написанным рукой обвиняемого. Он также отрицал, что находился в ту ночь в спальне Шарлотты, но ему устроили очную ставку с лакеем, видевшим, как он выходил оттуда. Лакей особенно настаивал на своем показании, так как признался, что сам он в этот час входил в комнату одной из служанок, с которой находился в близких отношениях. Грелу не мог привести объяснений, для какой цели он приобрел чилибуху, злоупотребив доверием аптекаря, с которым он дружил. Было доказано, что раньше он на боли в животе никогда не жаловался. Не мог он объяснить и свою выдумку относительно телеграммы, поспешный отъезд и особенно то сильнейшее потрясение, которое он испытал при известии об отравлении Шарлотты. Впрочем, никакой другой побудительной причины для преступления, кроме мести отвергнутого влюбленного, у нас нет оснований предполагать, так как остались нетронутыми все драгоценности жертвы и все деньги, бывшие в ее кошельке, а на теле не обнаружено ни малейших следов насилия. Сцену преступления можно воспроизвести следующим образом: Грелу проник в комнату мадемуазель де Жюсса-Рандон, зная, что она обычно спит до двух часов, а затем просыпается и принимает снотворное. Он добавил к лекарству известную дозу чилибухи, вполне достаточную для того, чтобы мгновенно умертвить человека. Девушка успела только поставить стакан на ночной столик, но уже не была в силах позвать на помощь. Потом Грелу испугался, как бы волнение не выдало его, и поспешно покинул замок, прежде чем был обнаружен труп. Пустой пузырек, найденный на клумбе, он, вероятно, выбросил из окна класной комнаты, которая расположена как раз над комнатой Шарлотты. Другой пузырек он долил водой, думая тем самым замести следы преступления; по таким сложным и неуклюжим уловкам узнают преступников-новичков. Короче говоря, Грелу содержится в настоящее время в доме предварительного заключения в Риоме и должен предстать там перед судом присяжных в февральскую сессию или в первых числах марта по обвинению в отравлении мадемуазель де Жюсса-Рандон. Обвинение, тяготеющее над ним, усугубилось в результате его пове-

дения после ареста. Когда были разоблачены все его измышления, он решил молчать и категорически отказывается отвечать на вопросы, заявляя, что он ни в чем не повинен и что ему не в чем оправдываться. Он даже отказался выбрать защитника и находится теперь в таком мрачном состоянии духа, что это дает повод подозревать о муках раскаянья. Подсудимый много читает и пишет. Однако тут есть очень странная деталь, которая доказывает, на какое притворство способен этот двадцатилетний юноша! Он читает и пишет только на философские темы. Это делается, без сомнения, для того, чтобы доказать полную независимость ума и сгладить неприятное впечатление, которое производит на окружающих его мрачное настроение. Свой долгий рассказ я должен закончить заявлением, что характер занятий обвиняемого как раз и объясняет, почему его мать требует вашего вызова в качестве свидетеля. Она восстает против очевидности, что вполне понятно, и умирает от горя, но ей не удается сломить упорство сына и убедить его заговорить. Ваши книги да сочинения некоторых английских психологов — вот все, что заключенный просил доставить ему. Добавлю к этому, что на полках его библиотеки были обнаружены все ваши труды и в таком состоянии, которое доказывает самое внимательное их изучение. Между страницами вклеены листы писчей бумаги, на которых он писал свои комментарии, иногда даже более обширные, чем самый текст. Вот извольте посмотреть...

Не переставая рассказывать, Валетт протянул философу экземпляр его «Психологии веры», и ученый машинально раскрыл книгу. Он убедился, что действительно каждой печатной странице соответствует лист бумаги, исписанный почерком, несколько похожим на его собственный, но более путаным и нервным. По тому, как строки опускались к правому краю страницы, графолог угадал бы у писавшего склонность к неожиданным припадкам уныния. Ученый впервые обратил внимание на сходство своего почерка с почерком Грелу, и это обстоятельство произвело на него тягостное впечатление. Он закрыл книгу и, протянув ее следователю, сказал:

— Я с большим прискорбием выслушал то, что вы рассказали об этом несчастном молодом человеке. Но,

признаюсь, никак не могу понять, что за связь может существовать между этим преступлением и моими книгами или моей особой и какого рода свидетельские показания могут потребоваться от меня на суде?

— А между тем это очень просто,— возразил следователь.— Как бы ни были ужасны обвинения, которые тяготеют над Робером Грелу, они все-таки основаны лишь на предположениях. Против него существуют веские презумпции, но полной уверенности нет ни в чем. Вы сами отлично понимаете, сударь, что при таких обстоятельствах во время судебных прений больше всего внимания обратит на себя психологическая сторона дела,— если говорить языком науки, блестящим представителем которой вы являетесь. Каковы идеи обвиняемого, каков его характер? Вполне понятно, что если он с особым рвением предавался изучению абстрактных вопросов, то данных для его обвинения будет меньше...

Произнеся эту фразу, в которой ученый не заметил западни, Валетт напустил на себя еще большее равнодушие. Он не добавил, что один из аргументов обвинения, выдвинутого старым маркизом де Жюсса-Рандон, заключается именно в том, что Робер Грелу был развращен чтением. Поэтому следователь постарался заставить Сикста охарактеризовать те принципы, которыми был проникнут Робер Грелу.

— Спрашивайте,— ответил ученый.

— Разрешите начать по порядку,— сказал следователь.— При каких обстоятельствах и когда именно вы познакомились с Робером Грелу?

— Два года тому назад,— последовал ответ,— в связи с его работой, совершенно научного характера, а именно по вопросу о человеческой личности. Грелу представил мне тогда эту работу на рассмотрение.

— И часто вы с ним встречались?

— Всего два раза.

— Какое впечатление он произвел на вас?

— По-моему, это молодой человек, наделенный исключительными способностями в области психологических исследований,— ответил ученый, взвешивая каждое свое слово.

Следователь не мог не почувствовать в интонации его голоса желание говорить только правду.

— Это настолько одаренный человек, что меня почти ужаснуло его раннее развитие,— продолжал г-н Сикст.

— Рассказывал он вам что-нибудь о своей личной жизни?

— Очень мало. Сообщил только, что он живет вместе с матерью и что намерен стать преподавателем и одновременно работать над рядом задуманных им книг.

— Верно,— подтвердил следователь,— об этом говорится в одном из параграфов его программы жизненного поведения. Ее нашли среди уцелевших бумаг. Надо вам сказать, что за время между первым допросом и арестом Грелу уничтожил бóльшую часть своих рукописей. И, само собою разумеется, это тоже служит уликой для обвинения. А не могли бы вы дать нам некоторые разъяснения по поводу одной фразы в этой жизненной программе? Для людей, не посвященных в вопросы современной философии, это довольно темная формула... Вот эта фраза.

Взяв один из листков, следователь прочел: «Умножать, по мере возможности, психологические эксперименты». Что, по-вашему, хотел этим сказать Грелу?

Помолчав, Сикст ответил:

— Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Но следователь уже начал понимать, что хитрить с таким простодушным человеком бесполезно, и ему стало ясно, что пауза ученого объяснялась не чем иным, как только желанием подыскать наиболее точное выражение для своей мысли.

— Я могу лишь пояснить смысл, какой я сам бы приписал этой формуле,— продолжал философ,— и, вероятно, молодой человек достаточно начитан в области психологии, чтобы не думать по-другому... Общеизвестно, что в прочих опытных науках, например в физике или химии, проверка какого-нибудь закона требует положительного и вполне конкретного применения этого закона. Например, разложив воду на ее составные части, для проверки надо, при всех прочих одинаковых условиях, восстановить ее из этих же самых элементов. Это один из простейших опытов, но его вполне достаточно, чтобы охарактеризовать методы современной науки. Знать о чем-либо в опытном порядке означает возможность по своему желанию воспроизводить тот или иной феномен, воспроизводя условия его возникнове-



ния... Возможен ли такой опыт в области моральных феноменов? Лично я считаю, что возможен, и в конечном счете все то, что мы называем воспитанием, является не чем иным, как своего рода психологическим опытом. Предположим, что мы имеем дело с каким-нибудь феноменом. Безразлично с каким. Пусть это будет какая-нибудь добродетель — терпение, благоразумие, искренность или, скажем, какая-нибудь умственная способность, например способность к мертвым или живым языкам, к орфографии, к счету, — воспитание заключается именно в том, чтобы найти для этих феноменов такие условия, в которых они развивались бы с наибольшим успехом. Но сфера таких опытов довольно ограничена. И если бы мне, например, захотелось, заранее зная все точные условия возникновения той или иной страсти, по своему желанию возбудить это чувство в другом существе, то я наткнулся бы на непреодолимые препятствия со стороны уголовного кодекса и правил нравственности. Возможно, что придет время, когда подобные опыты станут вполне доступными. Я лично придерживаюсь того мнения, что в настоящее время мы, психологи, не располагаем другими возможностями, кроме возможности пользоваться опытами, которые нам предоставляет природа или случай. Ведь в нашем распоряжении только мир фактов — мемуары, произведения литературы и искусства, данные статистики, протоколы судебных процессов, материалы судебной медицины и так далее. Припоминаю, что Робер Грелу действительно как-то обсуждал со мной желательность опытов в нашей науке. Он выражал сожаление, что приговоренных к смертной казни нельзя помещать в такие условия, которые позволили бы производить над ними некоторые эксперименты психологического характера. Это было, впрочем, лишь гипотезой еще очень юного ума, который не дает себе отчета в том, что для полезной работы в области этих идей необходимо изучать каждый отдельный случай весьма длительное время.

После паузы философ добавил, высказывая уже свои личные воззрения:

— Лучше всего производить подобные опыты на детях. Но попробуйте заикнуться, что было бы очень полезно для науки систематически прививать им некоторые недостатки или пороки...

— Пороки? — переспросил следователь, ошеломленный спокойствием, с каким философ произнес эту чудовищную фразу.

— Я ведь говорю только как психолог, — ответил ученый, улыбнувшись на возглас следателя. — Вот потому-то у нашей науки и нет возможности развиваться в полной мере. Ваше восклицание служит красноречивым доказательством такого положения, если тут вообще требуются какие-либо доказательства. Обществу трудно обойтись без теории добра и зла, но для нас, психологов, она означает не более, чем совокупность известных условностей, иногда полезных, а порой совершенно вздорных.

— Однако вы все-таки допускаете, что существуют поступки хорошие и дурные, — заметил следователь. Но здесь в нем снова взял верх представитель правосудия, и он тотчас же решил использовать разговор общего характера в интересах следствия. Не без ехидства он заметил вкрадчивым голосом: — Ведь вы же не будете оспаривать, что отравление мадемуазель де Жюсса является преступлением?

— С общественной точки зрения в этом не может быть никакого сомнения, — поспешил согласиться Сикст, — но для философа не существует ни преступлений, ни добродетели. Наши волеизъявления — только факты известного порядка, управляемые вполне определенными законами, вот и все. — Тут у Сикста проявилось простодушное авторское тщеславие, ибо он добавил: — Доказательство этой теории, и притом, надеюсь, неоспоримое, вы найдете в моей «Анатомии воли».

— Касались ли вы этих вопросов в разговоре с Грелу? — поинтересовался следователь. — И полагаете ли вы, что он разделяет вашу точку зрения?

— Вполне возможно.

— Но известно ли вам, — вдруг открыл свои карты чиновник, — что вы сейчас почти в полной мере подтвердили обвинение маркиза де Жюсса, который считает, что именно доктрины современных материалистов и разрушили моральные устои молодого Грелу и тем самым толкнули его на преступление?

— Мне совершенно неизвестно, что такое материя, — ответил Сикст, — и я ни в какой степени не являюсь материалистом. Что же касается того, чтобы вме-

нять научной доктрине ответственность за ее абсурдное истолкование каким-нибудь человеком с неуравновешенной психикой, то это почти то же самое, что обвинять химика, который открыл динамит, в покушениях, совершенных при посредстве этого взрывчатого вещества. Подобного рода выводы я считаю абсолютно неприемлемыми.

Тон, каким были произнесены эти слова, свидетельствовал о непобедимой силе, которую дает человеку глубокая вера в определенные принципы. Зато почти детский страх перед хлопотами повседневной жизни обнаружился в интонации, с какой философ тут же спросил следователя:

— Значит, вы считаете, что мне придется ехать в Риом для дачи показаний?

— Не думаю,— ответил следователь, пораженный контрастом между твердостью мыслителя, сказавшейся в первой части разговора, и озабоченностью, с какой он произнес последнюю фразу.— Я убедился, что ваши отношения с обвиняемым были более случайными, чем даже это считает его мать,— если они действительно ограничились этими двумя встречами и перепиской, носившей исключительно научный характер. Но разрешите вернуться к интересующему меня вопросу. Скажите, пожалуйста: вам никогда не приходилось слышать от Грелу каких-нибудь подробностей о жизни в замке?

— Никогда. Вдобавок, почти сразу же после того, как Грелу поступил туда воспитателем, он перестал мне писать.

— А не было ли в его последних письмах каких-либо намеков на новые устремления, какого-нибудь беспокойства, жажды новых ощущений?

— Ничего подобного я не заметил,— ответил философ.

— Ну что ж,— вздохнул следователь после некоторого молчания, которым он воспользовался, чтобы еще раз присмотреться к своему странному собеседнику,— тогда не смею вас больше задерживать. Ваше время слишком дорого. Разрешите мне только сделать для секретаря резюме ваших ответов. Бедняга не привык к вопросам, связанным с такими высокими материями... Затем я попрошу вас подписать показания...

Пока чиновник диктовал письмоводителю то, что, по его мнению, могло заинтересовать следствие в ответах ученого, этот последний, потрясенный открытием относительно преступления Робера Грелу и разговором со следователем, молча слушал, не делая никаких замечаний, почти ничего не соображая,— до такой степени необычность события, в котором он оказался косвенно замешанным, парализовала его умственные способности. Даже не взглянув на лист бумаги, ученый подписал показания, которые г-н Валетт предварительно прочел ему вслух. Прежде чем покинуть кабинет следователя, он еще раз спросил:

— Итак, я могу быть совершенно уверенным, что мне не придется ехать туда?

— Думаю, что не придется,— успокоил его следователь, прощая до дверей. Однако, испытывая тайное удовольствие при виде детского страха, отразившегося на лице философа, он добавил: — А если и придется, то не больше чем на день или на два.

Когда Сикст вышел, Валетт сказал письмоводителю:

— Ему место в доме для умалишенных!

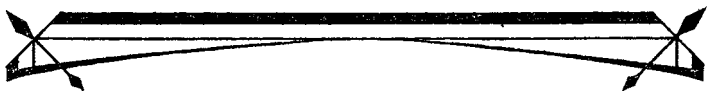
Секретарь в знак согласия кивнул головой.

— Именно такие идеи, какие проповедует этот духовный анархист, и губят молодежь. Он тем опаснее, что вид у него совершенно простодушный. Пожалуй, было бы лучше, если бы он был явным негодяем. Понимаете, ведь подобными парадоксами он поможет оттяпать голову своему ученику. Но это, кажется, ему совершенно безразлично. Больше всего на свете его, видите ли, волнует вопрос: придется ему ехать в Риом или нет? Вот маньяк!

И они, пожав плечами, расхохотались. Потом следователь, анализируя впечатление, оставшееся у него от этого загадочного существа, прибавил:

— Вот уж никак не думал, что прославленный Адриен Сикст такое ископаемое!.. Просто непостижимо!





### III

#### ГОРЕ ПРОСТОЙ ЖЕНЩИНЫ

Характеристика, какую следовательно наградила философа за его безучастность, была бы еще более резкой, если бы служитель правосудия мог последовать за ним и читать в его мыслях в течение того непродолжительного времени, что отделяло допрос ученого от свидания его с несчастной матерью Робера Грелу. Очутившись на широком дворе окружного суда, человек, которого г-н Валетт только что назвал маньяком, прежде всего бросил взгляд на часы, как это и надлежало сделать такому пунктуальному труженику науки. «Четверть третьего, — соображал Адриен Сикст. — Раньше трех я дома не буду. Госпожа Грелу должна прийти в четыре... Гм... Теперь уж нет никакой возможности сесть за работу... Досадно!..» И он тут же решил воспользоваться этим временем для обычной прогулки, тем более что вдоль реки отсюда было очень удобно пройти к Ботаническому саду, через остров Ситэ, старомодный облик и провинциальная тишина которого были ему по душе. Небо было голубое, — того голубого оттенка, какой оно принимает в прохладные дни, и слегка фиолетовое у края горизонта. Под мостами струились зеленые воды Сены, на реке царило веселое оживление, плыли груженные шаланды, над которыми вились дымки из труб деревянных домиков с окошками, украшенными незатейливыми цветами. На берегу по сухому булыжнику бодрой рысцой бежали лошади. Хотя философ и отметил

все эти подробности, пока он, словно сельский житель, напуганный экипажами, пробирался к тротуару набережной, впечатления его были еще более бессознательными, чем обычно. Он продолжал думать о потрясающем сообщении следователя. Однако голова философа представляет собою столь своеобразную машину, что события не производят в ней непосредственных и обычных впечатлений, как это бывает у простых смертных. Этот человек состоял из трех отдельных индивидуумов, как бы вложенных один в другой. Прежде всего в нем жил простодушный старый холостяк, находящийся в плену заботливой экономки и больше всего на свете дорожающий своим житейским спокойствием. Затем в нем гнезился философ-полемист, писатель и, если уж на то пошло,— писатель с болезненным самолюбием, свойственным всякому автору. Был в нем, наконец, и замечательный психолог, страстно увлекающийся проблемами внутренней жизни человека. И для того чтобы какая-нибудь мысль вполне подействовала на него, было необходимо, чтобы она прошла через все эти три сознания.

На пути от окружного суда к набережной Сены в нем рассуждал буржуа. «Да,— думал Сикст, повторяя выражение, которое вырвалось у него при взгляде на часы,— это действительно неприятно. День пропал зря. И ради чего? Извольте понять, какое отношение имеет ко мне эта уголовная история и что в конце концов могут дать мои показания для судебного расследования?..» Ему и в голову не приходило, что в руках ловкого прокурора его теории преступления и ответственности могли легко превратиться в ужасающее орудие против Грелу. «С какой стати они меня беспокоят? — рассуждал он про себя.— Эти господа и не представляют себе, что такое время ученого. Какой остолоп следователь, какие он мне задавал дурацкие вопросы! Но только бы не пришлось ехать в Риом и выступать там перед другими такими же дураками!» В его воображении снова возникли несносные картины, связанные с поездкой, картины ненавистной сутолоки, какою представляется для кабинетного ученого всякое нарушение обычного порядка жизни; его приводила в замешательство необходимость совершить любое действие, и малейшее физическое усилие превращалось в истинное бедствие.

Такие детские тревожения испытывают все великие люди. Философу в мгновенном припадке ребяческого страха уже представился широко раскрытый чемодан, уложенное в него белье и лежащие вместе с рубашками записки, необходимые для текущей работы; он уже представил самого себя едущим на извозчике, суматоху на вокзале, вагон и грубую фамильярность соседей, а потом прибытие в незнакомый город, бедственное положение в гостиничном номере без услуг со стороны мадемуазель Трапенар, которые стали ему необходимы, как малому ребенку, хотя он и не замечал их. Этот мыслитель, столь героически независимый в своих суждениях, что в другую эпоху не поколебался бы, как второй Бруно или Ваннини, взойти на мученический костер во имя своих убеждений, перед перспективой этих незначительных хлопот был охвачен чем-то вроде животного страха. Он уже видел, как его вводят в зал судебных заседаний и вынуждают отвечать на вопросы председателя в присутствии любопытной толпы, причем он лишен какой-либо идеи, которая помогла бы ему преодолеть природную робость, то есть лишен того, что для всякого отвлеченного мыслителя является единственным источником энергии. «Нет, теперь я не намерен принимать никаких молодых людей,— решил он, расстроенный этими картинами.— Довольно с меня! Отныне дверь моя для них закрыта! Впрочем, не будем предвосхищать событий... Ведь возможно, что мне и не придется все это вынести и, может быть, они оставят меня в покое».

«Оставят в покое?» Теперь в этом внутреннем монологе домосед-буржуа уступал место второму из трех персонажей, таившихся в философе, а именно автору трудов, вызвавших у читающей публики такие споры. «Оставят в покое! Да, может быть, и оставят в покое меня, человека, который занят своим делом, живет на улице Ги де ля Бросс и которого очень раздосадовала бы поездка в Овернь, ни с того ни с сего, зимой, да еще по такому нелепому поводу. Но оставят ли в покое мои книги и идеи? Какая все-таки странная вещь эта инстинктивная ненависть невежд к научным системам, которых они даже не в состоянии понять! Молодой человек убивает девицу, чтобы она не вышла замуж за другого. Этот юноша состоял в переписке с философом,

книги которого он изучал. Следовательно, виноват философ! И, в довершение всего, меня еще делают материалистом! Меня, доказавшего, что материи не существует!» Философ пожал плечами. Но вдруг новый образ возник в его представлении — Мариюсь Дюмулен, молодой ассистент из Коллеж де Франс, которого он ненавидел больше всего на свете. Одновременно он увидел перед собой — так, словно бы эти строки уже были напечатаны в каком-нибудь благонамеренном журнале, — некоторые выражения, близкие сердцу этого присяжного сторонника спиритуалистической философии: «Гибельные доктрины... Умственный яд, источаемый перьями писак, о которых хотелось бы думать, что они не ведают, что творят... Позорная проповедь рекламной и насквозь прогнившей психологии...» «Да, — с горечью подумал Адриен Сикст, — если этот тип не воспользуется тем, что судьба сделала одного из моих учеников убийцей, он не будет самим собой... Ну конечно, во всем виновата психология!» Тут следует заметить, что Мариюсь Дюмулен был тем самым критиком, который при выходе в свет «Анатомии воли» указал на весьма досадную ошибку, имевшуюся в этой книге. Дело в том, что Адриен Сикст основывал одно из своих самых остроумных положений на открытии некоего немецкого ученого, которое он принял за чистую монету, в то время как потом выяснилось, что это открытие по меньшей мере сомнительно. В своей статье Дюмулен подчеркнул этот промах великого аналитика с иронической и малопочтительной резкостью. Как бы то ни было, автор «Анатомии воли», обычно не считавший нужным отвечать на критические статьи, на этот раз решил ответить. Признавая, что он стал жертвой излишней доверчивости, он без большого труда доказал, что эта частная подробность не имеет особого значения для его концепции в целом. Все же он навеки затаил обиду на спиритуалиста, и тем более жгучую, что мог отнести ее за счет своего презрения к этому малопочтенному человеку, скомпрометировавшему искренность своих убеждений самым низкопробным стремлением к академическим почестям и теплым местечкам. «Я как бы слышу его, — сокрушался философ, — но то, что он может сказать о моих книгах, это еще полбеды. А вот психология! Психология! Ведь это наука, от которой зависит буду-



щее нашей страны...» Как видит читатель, философ, подобно многим другим создателям научных систем, дошел до того, что свою доктрину стал считать центром мира. Он рассуждал приблизительно так: если мы возьмем какой-нибудь исторический факт, то что является его основной причиной? Общее состояние умов. Это состояние умов в свою очередь есть плод господствующих в данное время идей. Например, французская революция целиком вытекает из ложной концепции о человеке, источник которой — в картезианской философии. Отсюда Сикст делал вывод, что для того, чтобы изменить ход исторических событий, необходимо прежде всего отказаться от нашего представления о человеческой душе и заменить его точными научными данными, а это должно привести к новым основам воспитания и новой политике. Самое любопытное заключается в том, что такие теории превратили этого атеиста в не менее пламенного сторонника монархии, чем какой-нибудь Бональд или Жозеф де Местр. Поэтому, возмущаясь против Дюмулена, он был совершенно искренне убежден, что это возмущение вызвано препятствием, лежащим на пути к общественному благу. Философ пережил немало неприятных минут, представляя себе, что его ненавистный противник может использовать газетные сообщения о смерти Шарлотты де Жюсса в качестве коварной вылазки против современной науки о мышлении. «Неужели снова отвечать ему?» — спрашивал себя Сикст, уже не сомневавшийся в грядущей атаке противника. «Да, — сказал он сам себе вслух, — я отвечу, и отвечу так, что ему не поздоровится».

Сикст уже дошел до Собора Парижской богоматери и тут остановился, чтобы полюбоваться этим замечательным памятником зодчества. Древний собор всегда олицетворял для него туманный характер немецкой души, которому он мысленно противопоставлял ясность эллинского духа, воплощенного в Парфеноне. Фотографию античного храма он некогда часами рассматривал в нансийской библиотеке. Такова была его манера воспринимать искусство. Внезапное воспоминание о Германии изменило ход его мыслей. Невольно он подумал о Гегеле, об учении о тождестве противоречий, потом о теории эволюции, родившейся из этого учения. Теория эволюции слилась в его рассуждениях с вопросами,

которые только что волновали его, и, снова зашагав вдоль набережной, он уже стал подыскивать аргументы против предполагаемого выступления Дюмулена в связи с делом Грелу. Впервые после разговора со следователем драма, разыгравшаяся в замке Жюсса-Рандон, представилась ему реальным событием, так как теперь он подошел к ней реальной стороной своей природы, вооружившись всеми своими способностями психолога. Он уже забыл о Дюмулене и о возможных неприятностях, связанных с поездкой в Риом, и был теперь всецело занят моральной проблемой, которую ставило перед ним это преступление. А между тем ему следовало бы задать себе такой вопрос: действительно ли Робер Грелу убил мадемуазель де Жюсса? Но философ даже не останавливался на этом; он находился во власти обычной ошибки мыслителей, которые, сами того не сознавая, лишь кое-как проверяют данные, служащие им для умозаключений. Факты для них — лишь материал для теоретических построений, и они охотно видоизменяют этот материал, чтобы было проще строить философские положения. Наш философ тоже с увлечением подхватил формулу, которой удобно было объяснить всю драму. «Молодой человек в порыве ревности убил предмет своей страсти... Вот еще одно блестящее доказательство моей теории, что инстинкт разрушения просыпается у самца одновременно с половым инстинктом...» Именно основываясь на этом положении, Адриен Сикст и написал в своей «Теории страстей» смелую главу об аберрациях полового чувства. «Чтобы объяснить этот факт, достаточно проследить атавистическое проявление у цивилизованного человека жестокого животного инстинкта... Хорошо было бы также изучить наследственность убийцы...» Сикст силился представить себе образ Робера Грелу, но ему удавалось восстановить в памяти только те черты, которые как бы подтверждали сложившуюся у него гипотезу. «Гм... Эти слишком блестящие глаза, слишком порывистые движения, решительность, с какою он обратился ко мне, и, наконец, его чересчур возбужденная речь... Безусловно, у этого юноши наблюдается что-то похожее на нервное расстройство. Отец его умер молодым? Вот было бы замечательно, если бы удалось установить, что в его роду есть алкоголики. Будь оно так, этот случай пред-

ставлял бы собою то, что Легран дю Соль называет скрытой формой эпилепсии. Тогда возможно было бы объяснить и молчание юноши, тогда его заперательство может быть и непредумышленным. В этом ведь и заключается, по мнению дю Соля, различие между эпилептиком и умалишенным. Последний помнит о совершенных им действиях, эпилептик их забывает... Неужели мы имеем дело со скрытой формой эпилепсии?..» Дойдя до этого места своих рассуждений, философ на мгновение даже испытал подлинное удовольствие. По привычке, свойственной людям этой породы, он построил теорию, которую принял за объяснение факта. Он рассматривал эту теорию со всех сторон, припоминал различные примеры, приведенные автором замечательного трактата по судебной медицине, и в конце концов так увлекся своими умозаключениями, что даже не заметил, как очутился у Ботанического сада со стороны набережной Сен-Бернар. Он свернул влево и пошел по аллее старых деревьев, искривленные стволы которых были опоясаны железными обручами и кое-где залиты цементом. В посвежевшем воздухе носился кислородный запах, исходивший от диких зверей, которые кружились недалеко отсюда в железных клетках. Этот запах отвлек ученого от его мыслей, и он стал смотреть на старого черного вепря с огромной головой, стоявшего на тонких ногах и высовывавшего из клетки подвижную и хищную морду со страшными клыками.

«И подумать только,— размышлял ученый,— что мы знаем о себе не больше, чем знает о себе это животное! А то, что мы называем своей личностью, представляет собою такое смутное, такое темное сознание того, что в нас происходит!» Потом, возвращаясь к Роберу Грелу, он подумал: «Этот молодой человек был занят вопросом о множественности человеческого «я». Кто знает, может быть, у него тоже было смутное ощущение, что в нем заключено два совершенно различных сознания,— как бы первичное и вторичное состояние, а в конце концов — два разных существа, одно ясное, разумное, добропорядочное, влюбленное в научную работу,— то, которое я знал; и другое — сумрачное, жестокое, импульсивное, то самое, которое и совершило преступление?.. Да, чрезвычайно интересный случай! Какое счастье, что мне пришлось столкнуться с ним...»

Философ уже забыл, что, выходя из окружного суда, он сожалел о своем знакомстве с римским преступником. «Мне на редкость повезло, что представляется возможность изучить характер его матери. Она поможет мне добыть точные данные и о наследственности обвиняемого... Этого-то как раз и не хватает нашей психологии: хороших монографий об умственной конституции великих людей и преступников, которых автор наблюдал бы собственными глазами. Со временем надо будет написать такую монографию».

Всякая искренняя страсть эгоистична, — это сказывается и на людях умственного труда. Поэтому философ, который за всю свою жизнь, как говорится, и мухи не обидел, шел теперь бодрым шагом, направляясь к воротам сада, что выходят на улицу Кювье. Отсюда он пошел по улице Жюссье, затем свернул на свою улицу, предвкушая встречу с матерью Грелу, женщиной, находящейся в полном отчаянье и желающей повидаться с ним только для того, чтобы молить его о спасении сына, быть может, и в самом деле неповинного в этом преступлении! Но мысль о том, что обвиняемый, возможно, невиновен, мысль о несчастной матери и о том, какую роль придется ему играть в предстоящем свидании, — все это меркло теперь перед надеждой, что он получит возможность сделать интересное наблюдение, обогатить свои научные материалы редким фактом. Прошло четыре часа, когда мыслитель, столько же подзревавший о своей жестокости, как какой-нибудь врач, приходящий в восторг от интересной и редкой операции, очутился у подъезда своего дома. В эту минуту там стояли дядюшка Карбоне и рассыльный, обычно стоявший на перекрестке. Повернувшись спиной к Адриену Сиксту, они с любопытством наблюдали, как на противоположном тротуаре какой-то пьянчужка шатается из стороны в сторону, и, смеясь, обменивались замечаниями, какие обычно вызывает у простых людей подобное зрелище. Около их ног вертелся Фердинанд, бурый петух с отливающими блеском перьями, и что-то клевал на мостовой.

— Ну, тут наверняка можно сказать, что малый хватил лишнего, — острил рассыльный.

— А я вам скажу, что он потому в таком состоянии, что недопил, — возразил Карбоне. — Выпей он чу-

точку побольше, так лежал бы он сейчас тихонько в погребке... И не пришлось бы ему выделывать это... как говорится: «Тихо я бреду, неловко я бегу» — да цепляться за стенки. Здорово! Теперь на даму налетел!

Собеседники, не заметившие появления ученого, загораживали ему вход в дом. По своей обычной, несколько жеманной деликатности философ некоторое время не решался их обеспокоить. Машинально и он стал следить за пьяным. Это был какой-то бродяга, в обноскиах с чужого плеча; на голове у него красовался цилиндр, побывавший под бесчисленными дождями, а на ногах болтались дырявые башмаки. Он действительно наткнулся на незнакомую даму в глубоком трауре, которая стояла на углу улицы Ги де ля Бросс и улицы Линнея. Она, видимо, поджидала кого-то, и поджидала с таким волнением, что даже сразу не обратила внимания на толчок. Но человек в лохмотьях, с навязчивостью пьяного, стал рассыпаться перед нею в извинениях. Она в конце концов заметила его и отшатнулась с отвращением. Это обозлило пьяницу; опираясь о стену, он бросил женщине несколько оскорбительных слов. Вокруг них уже собралась кучка детей, игравших тут же на улице. Рассыльный и Карбоне от души потешались. Потом привратник стал искать петуха: «Куда он пропал, греховодник?» — и, обернувшись, заметил г-на Сикста, за которым и оказался Фердинанд, — ученый тоже следил за сценой, происходившей на противоположном тротуаре.

— Ах, это вы, господин Сикст! — спохватился привратник. — Эта дама в черном уже два раза спрашивала про вас за какие-нибудь четверть часа... Она сказала, что вы ждете ее...

— Позовите ее, пожалуйста, — попросил Сикст и подумал: «Значит, это и есть мать». Первым движением ученого было поскорее подняться к себе. Но его удержало нечто вроде робости, и он остановился на пороге дома, а тем временем привратник в высоком картузе и кожаном переднике побежал в сопровождении петуха, который во всю прыть спешил за хозяином, к группе людей, столпившихся на углу. Даже не дослушав приглашения, дама направилась к дому философа, предоставив привратнику увещевать пьяного. Философ, машинально продолжая развивать мысли, занимавшие его

во время прогулки, не замедлил обратить внимание на поразительное сходство между таинственной посетительницей и молодым человеком, по поводу которого он только что подвергался допросу. У нее были такие же блестящие глаза, такое же необычайно бледное продолговатое лицо. Теперь у него уже не оставалось никакого сомнения, и немедленно же неумолимый психолог, которого интересовал только случай, достойный изучения, уступил место неловкому человеку, не приспособленному для практической жизни, не знавшему, куда девать свои длинные руки, и мучительно стеснявшемуся, когда надо было произнести первую фразу в разговоре. Но г-жа Грелу — это была действительно она — сама обратилась к нему:

— Я та, что писала вам вчера...

— Весьма польщен, сударыня, — пробормотал Сикст. — Очень сожалею, что вы не застали меня раньше... Но вы писали, что зайдете в четыре часа. Кроме того, я прямо от судебного следователя, которому давал показание о вашем несчастном сыне...

— Ах, если бы вы знали... — сказала она, касаясь рукава философа, чтобы остановить его, и показывая глазами на рассыльного, который стоял рядом и прислушивался.

— Прошу прощения, — смутился ученый, поняв неуместность своей рассеянности. — Разрешите мне подняться первому и показать вам дорогу.

Он поспешил войти в подъезд, чтобы скрыть краску смущения, залившую, как он чувствовал, его лицо, и стал подниматься по лестнице, которая в этот час, зимой, была уже в полумраке. Он старался подниматься медленно, считаясь с состоянием своей спутницы, которая цеплялась за перила с таким видом, точно у нее не хватало сил взойти на пятый этаж. Слабость несчастной женщины выдавало ее отрывистое дыхание, явственно слышное среди глубокой тишины respectableного дома. И хотя философ был малочувствителен к впечатлениям внешнего мира, все-таки его охватила смутная жалость, когда в кабинете, уже с закрытыми ставнями и мягко освещенном лампой, которую зажгла Мариетта, он посмотрел в лицо своей гостье. Морщины в уголках рта и по сторонам носа, сухие, лихорадочно запекшиеся губы, сдвинутые брови, потемневшие веки,

руки в черных перчатках, нервно теребившие какие-то бумаги, свернутые в трубку, вероятно, какие-нибудь оправдательные документы,— все эти подробности говорили о муках, причиняемых одной, неотступной мыслью. Едва сев, или, вернее, упав, в кресло, она произнесла прерывающимся голосом:

— Боже мой, боже мой! Значит, я опоздала... Ведь мне нужно было переговорить с вами еще до вашей встречи со следователем... Но ведь вы выступили в защиту моего мальчика, не правда ли?.. Вы сказали, что этого быть не может, что он не мог совершить того, в чем его обвиняют?.. Ведь вы-то сами не считаете его виновным? Вы, кого он называл своим учителем и так уважал...

— У меня не было повода выступить в его защиту, сударыня,— ответил философ.— Меня только спросили, в каких я был с ним отношениях, и так как я видел его лишь два раза и он говорил со мной только о своих ученых работах...

— Ах,— перебила его г-жа Грелу с глубокой тоской в голосе и повторила: — Значит, я опоздала. Но нет...— Молитвенно сложив задрожавшие руки, она настаивала: — Вы ведь будете на суде, господин Сикст, вы скажете им всем, что мой сын не может быть преступником, что этого не может быть. Люди не делаются убийцами за один день. Преступником делаются еще с детства... Все это — дурные люди, игроки, завсегдатаи кабаков... А он, сударь, еще ребенком всегда сидел за книгой, как и его отец... Я сама ему говорила: «Что же это такое, Робер! Пойди погуляй! Необходимо подышать свежим воздухом, рассеяться немного...» И если бы вы только знали, какую тихую и скромную жизнь мы вели с ним вдвоем, пока он не вошел в эту проклятую семью! Это он сделал ради меня, чтобы не быть мне в тягость, чтобы продолжать образование... Ведь он мог бы уже через три-четыре года стать преподавателем, устроиться в каком-нибудь лицее, может быть, в том же Клермон-Ферране... Я женила бы его. У меня была на примете хорошая партия... Я осталась бы при них, жила бы где-нибудь в уголке и нянчила бы их детей. Ах, господин Сикст! — И она взглядом искала ответа в глазах философа, ждала, что он подтвердит то, к чему она так страстно стремилась... — Ну, скажите,—

продолжала она, — возможное ли это дело, чтобы мальчик с такими благородными помыслами совершил то, в чем они его обвиняют? Это подло! Не правда ли, сударь, это подло?

— Успокойтесь, сударыня, успокойтесь!

Это были единственные слова, которые Сикст нашел, чтобы сказать матери, оплакивавшей перед ним гибель всех своих надежд. Но он все еще пребывал под свежим впечатлением разговора со следователем и считал, что бедная женщина, находясь во власти безрассудных иллюзий, заблуждается относительно истинного положения вещей, — и это повергало его в недоумение. Кроме того, говоря по правде, перспектива поездки в Риом пугала его в такой же степени, в какой трогало потрясающее материнское горе. Все эти разнообразные чувства выразились в какой-то неопределенности и жесткости его взгляда, что не ускользнуло от матери. Непомерные страдания обостряют интуицию. Несчастливая женщина вдруг поняла, что философ не верит в невиновность ее сына и с жестом изнеможения, как бы отшатнувшись в ужасе от ученого, она простонала:

— Как, и вы?.. Вы заодно с его врагами?.. Вы?.. Вы?..

— Нет, сударыня, — мягко ответил Сикст, — я не враг вашему сыну. Я хотел бы верить в то, во что верите вы. Но позвольте мне говорить с вами с полной откровенностью. Факты остаются фактами. А они являются ужасным обвинением против несчастного юноши... Яд, приобретенный тайком, пузырек, выброшенный из окна, другой пузырек, опорожненный наполовину и потом долитый водой, посещение девушки в ночь ее смерти, ложная телеграмма, внезапный отъезд, сожженные письма, наконец, заpiresательство...

— Но ведь во всем этом нет никаких доказательств вины, — перебила его г-жа Грелу. — Никаких! Внезапный отъезд? Но Робер уже целый месяц собирался бросить это место. У меня есть письма, в которых он общает об этом намеренье, да и, кроме того, все равно уже кончился срок его контракта. Он боялся, что его станут удерживать, а ему надоела жизнь воспитателя. Он вообще отличается робостью, поэтому он и выдумал эту злополучную телеграмму. Вот и все... Яд? Но он купил его вовсе не тайком. Он уже в течение несколь-



ких лет страдает желудком, так как часто принимался за занятия сразу же после еды... Что он выходил из комнаты убитой? Но кто его видел? Лакей? А если этого лакея подкупил настоящий убийца, чтобы все свалить на моего сына? Ведь я же не знаю, какие романы были у этой девицы и в чьих интересах было убить ее. Выброшенная склянка и другая, наполовину опорожненная и долитая водой, сожженные письма?.. Но разве вы не видите, что за этим скрывается определенное намерение очернить моего бедного сына? Каким образом? Почему? Все это раскроется в один прекрасный день, будьте уверены! Я знаю только одно: мой сын невиновен. И я клянусь в этом памятью его отца! Неужели вы думаете, что я защищала бы его так, как сейчас защищаю, если бы чувствовала, что он преступник? Я умоляла бы о пощаде, рыдала бы, молилась бы, а теперь я взываю к справедливости! Нет, эти люди не имеют права обвинять его, держать его ни за что ни про что в тюрьме, позорить наше имя. Ведь я же вам доказала, что нет ни одной улики!

— А если он невиновен, почему же он так упорно молчит? — сказал философ, подумав про себя, что бедная женщина решительно ничего ему не доказала, кроме своего отчаянного стремления оспаривать очевидность.

— Ах, если бы Робер был виновен, то, поверьте, он не молчал бы, — воскликнула г-жа Грелу, — он защищался бы, даже лгал бы. Нет, — прибавила она глухим голосом, — тут какая-то тайна! Ему известно что-то, я в этом уверена, но он не хочет этого сказать. Почему? Может быть, не хочет запятнать имя этой девушки. Ведь считают же все, что он любил ее. Ах, сударь! — сложила она руки. — Вот почему мне хотелось во что бы то ни стало увидеть вас, вот почему я на два дня оставила Риом. Ведь только вы можете повлиять на него, чтобы он заговорил, добиться, чтобы он защищался, чтобы он оправдался и сказал все, что нужно сказать. Вы должны обещать мне, что напишете ему и поедете туда! Вы должны это сделать: вы причинили мне такие страдания! — воскликнула она, и в голосе ее прозвучала суровая нотка.

— Я? — удивился Сикст.

— Да, вы, — ответила она горько, а выражение ее

лица говорило о давно затаенных обидах.— Если он потерял веру в бога, то чья в этом вина? Ваша, сударь, и ваших книг... Боже мой! До чего я вас тогда ненавидела! Я как сейчас вижу его лицо, когда он заявил мне, что не будет причащаться в день всех святых, потому что его одолевают сомнения. «Не помянешь отца?» — спросила я. Подумайте, в день поминовения родных! «Оставь меня,— сказал он.— Я больше не верую». Он сидел у себя за столом, в руках у него была книга, и он закрыл ее, разговаривая со мной. Но я успела машинально прочитать имя автора. Это было ваше имя, сударь! Я не спорила с ним в тот день. Ведь он уже стал ученым, а я простая женщина.. Но на следующий день, пока он был в коллеже, я привела в его комнату аббата Мартеля, его воспитателя, чтобы показать ему библиотеку сына. Ведь у меня было предчувствие, что его погубили книги. Ваша книга еще лежала на столе. Аббат Мартель взял ее в руки и сказал: «Эта книга — одна из вреднейших!» Извините меня, если я обижаю вас, но, останься мой сын верующим, я теперь обратилась бы к его духовнику. А вы отняли у него веру, сударь! Я уже больше не упрекаю вас в этом и не сержусь на вас... Но то, что я попросила бы у священника, я прошу теперь у вас... Если бы вы только слышали, как он отзывался о вас, когда вернулся из Парижа! Он мне говорил: «Ты не можешь себе представить, мама, что это за человек! Ты бы почитала его как святого». Ах, обещайте же мне, что вы убедите его сказать обо всем! Он должен говорить, должен! Ради меня, ради своего отца, ради всех, кто его любит. Ради вас, сударь! Не можете же вы допустить, чтобы среди ваших учеников был убийца! Ведь он ваш ученик, а вы его учитель. Он обязан защищаться ради вас, как и ради меня, своей матери...

— Обещаю вам, сударыня, сделать все, что в моих силах,— сказал философ как-то особенно серьезно.

Уже второй раз в течение дня вставала перед ним проблема ответственности учителя за ученика. Впервые он столкнулся с нею в кабинете следователя, но тогда философ с презрением отверг безрассудные намеки. Теперь слова пожилой женщины, трепещущей от скорби, какой он никогда не встречал в своей одинокой жизни, затронули в его душе иные струны, чем гор-

дость. Он еще больше разволновался, когда г-жа Грелу порывисто взяла его руку и произнесла с необыкновенной мягкостью, как бы опровергавшей резкость только что сказанных слов:

— Да, он мне говорил, что вы добрый, очень добрый... Я еще и потому пришла к вам,— прибавила она, вытирая слезы,— что должна выполнить поручение моего мальчика. И вы увидите, что это новое доказательство его невинности. В тюрьме в течение двух месяцев он написал большую работу по философии. Он говорит, что очень дорожит ею, что это его главный труд. Я обещала ему, что передам это вам.— Г-жа Грелу протянула ученому свернутую в трубку рукопись, которую она держала на коленях.— Я так это и получила. Ему там разрешают писать сколько угодно. Все его любят... Мне дают возможность говорить с ним в других местах, а не в отвратительном помещении для свиданий. Там всегда стоял тюремщик, мешал нам. А теперь я могу встречаться с ним в комнате для адвокатов... Но как можно его не любить, если узнаешь его поближе? Непременно прочтите эту рукопись! — наставляла она и прибавила взволнованным голосом: — Он никогда не лгал мне, и я верю, что все так и есть, как он сказал... Но, может быть, он решил вам сообщить в ней то, чего не хочет открыть никому другому?

— Я сейчас же просмотрю ее,— сказал Сикст, разворачивая сверток. Бросив взгляд на первую страницу рукописи, он прочитал следующие слова: «Современная психология». На второй странице значилось: «Записки о самом себе». Внизу были следующие строки: «Прошу моего дорогого учителя г-на Адриена Сикста считать себя связанным честным словом в том отношении, что дальнейшее прочтет только он один. Если он почему-либо не пожелает взять на себя такое обязательство, прошу эту рукопись уничтожить. Я вполне доверяю ему и не сомневаюсь, что эти записки не будут никому переданы даже ради спасения моей жизни». Молодой философ подписал это обращение только своими инициалами.

— Ну, что? — с волнением спросила г-жа Грелу, пока Сикст перелистывал рукопись.

— Ну, что... — повторил философ, закрывая тетрадь и показывая взволнованной г-же Грелу только первую

страницу.— Это работа по философии, как он вам и сказал. Вот, посмотрите...

С уст г-жи Грелу уже готов был сорваться вопрос, и что-то вроде недоверия мелькнуло в ее взгляде, пока она читала ученую формулу, недоступную для ее неискушенного ума. Она заметила, что г-н Сикст несколько смущен. Однако она не решилась спрашивать и поднялась со словами:

— Извините, что я отняла у вас столько времени. Но ведь вы — моя последняя надежда, и вы не обманете бедную мать. Вы обещали.

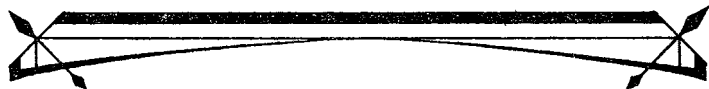
— Все, что будет возможно сделать для выяснения истины,— я сделаю! — торжественно произнес ученый.— Еще раз обещаю вам это.

Проводив несчастную женщину, Сикст на долгое время погрузился в размышления. Наконец он взял рукопись, переданную г-жой Грелу, и стал читать и перечитывать фразу, написанную молодым человеком на второй странице. Потом, отбросив тетрадь-искусительницу, зашагал из угла в угол. Дважды он брал листы в руки и подходил в камину, однако в огонь он их не бросил. В его душе происходила борьба между непреодолимым любопытством, которое возбуждала в нем исповедь ученика, и всякого рода опасениями. Он предчувствовал: прочтя эти страницы и взяв тем самым обязательство, с которым связано их прочтение, он может узнать что-нибудь такое, что поставит его в ужасное положение. Что, если в его руках окажется доказательство невиновности юноши, а он будет лишен права использовать его, или, чего ученый боялся еще больше, доказательство его вины? Не давая себе в этом ясного отчета, он в тайниках своей души трепетал при мысли, что может найти на страницах этих записок следы своего влияния и подтверждение сурового обвинения, уже дважды брошенного ему в лицо, что его книги тоже имеют отношение к этой мрачной истории.

С другой стороны, бессознательный эгоизм человека науки, приходящего в ужас перед любыми хлопотами, внушал ему желание не вмешиваться в эту драму, не имевшую в конечном счете прямого к нему отношения. «Нет,— решил он,— не стану читать эту работу; я только напишу юноше, как обещал его матери, вот и все». Пока он был занят такими размышлениями, на-

ступил час обеда. Как всегда, он обедал в одиночестве, за небольшим круглым столом, покрытым клеенкой, сидя в углу, у фаянсовой печки, так как был очень зябким и теплая комната составляла его единственную роскошь. Та же лампа, при свете которой он работал, освещала и скромные яства. Обед его в тот вечер, впрочем, как и обычно, состоял из супа и овощей и горсти изюма на десерт. Питьем служила простая вода. У него вошло в привычку брать во время обеда какую-нибудь книгу из тех, что стояли на полках, перенесенных в столовую, чтобы не загромождать кабинет; а иногда он, обедая, слушал мадемуазель Трапенар, которая делилась с ним мелочами своей хозяйственной жизни. Но в тот вечер он не взял книгу, и экономка напрасно пыталась выведать у него, имеют ли какую-нибудь связь между собою вызов к следователю и визит дамы в трауре. За окном поднялся ветер, тот особенный зимний ветер, что жалобно воев в ставнях и потом уносится куда-то в черное пространство. После обеда, вместо того чтобы отправиться на обычную прогулку, ученый уселся в кресло и, держа перед собой рукопись Робера Грелу, долго слушал это завывание. Потом наука одержала верх над всеми сомнениями, и, когда немного позднее Мариетта доложила хозяину, что постель ему приготовлена, и хотела унести лампу, он велел ей ложиться спать. Уже пробило два часа, а он все еще читал странный психологический трактат, который Робер Грелу назвал записками о самом себе и более подходящим названием для которого было бы: «Исповедь молодого человека нашего времени».





#### IV

### ИСПОВЕДЬ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Риомский дом предварительного заключения.—  
Январь 1887 года.

Эти заметки о самом себе, которые, несмотря на все уговоры матери, я отказался написать для адвоката, я пишу только для вас, дорогой учитель, хотя вы очень мало знаете меня как человека (да еще в такую пору моей жизни!). Но я все-таки пишу их для вас и по той же самой причине, которая побудила меня представить на ваше рассмотрение и первую мою работу. Между вами и мною, прославленным ученым и его учеником, обвиненным в гнуснейшем преступлении, установилась связь, которую посторонние не могут оценить в полной мере и о которой вы и сами не подозреваете, зато я ощущаю ее как самую тесную и нерасторжимую. Ведь наиболее значительную эпоху моей жизни я с такой страстью, с такой полнотой жил вашими идеями! Вот и теперь, в тоске духовной агонии, я опять обращаюсь к вам как к единственному человеку, от которого я могу ждать помощи, которого могу просить о ней. Но не поймите меня ложно, глубокочтимый наставник, и поверьте, что страшные муки, испытываемые мною, вызваны вовсе не тем, что я нахожусь под следствием. Я не был бы достоин называться философом, если бы уже давно не научился рассматривать свою мысль как единственную реальность, с которой следует считаться, а внешний мир как равнодушную и роковую смену видимости. С семнадцатилетнего возраста я взял за правило повторять в часы малых и больших невзгод изречение героического

Спинозы: «Сила, с которой человек упорствует, чтобы сохранить свое существование, ограничена, а сила внешних влияний бесконечно превосходит ее». Через полтора месяца меня приговорят к смерти за преступление, в котором я неповинен, но в котором не имею возможности оправдаться,— и, прочтя эти строки, вы поймете, почему я без содрогания взойду на эшафот. Я выдержу это испытание так же хладнокровно, как выслушал бы диагноз врача, который констатировал бы у меня сердечную болезнь в последней стадии. Когда меня приговорят к смерти, мне придется победить в себе только возмущение животного да выдержать удар, какой нанесет мне отчаянье матери. Но я нашел средство против таких испытаний в ваших книгах; противопоставляя образу близкой смерти сознание неотвратимой необходимости и смягчая эрелище материнского горя представлением о точных психологических законах утешения, я достигну сравнительного спокойствия. Для этого достаточно некоторых ваших изречений; хотя бы, например, изречения из пятой главы второй книги «Анатомия воли», заученного мною наизусть: «Всеобщее переплетение феноменов имеет своим результатом тот факт, что каждый из них несет на себе тяжесть всех остальных, и таким образом каждая частица вселенной может рассматриваться в каждый данный момент как краткая сводка всего того, что было, есть и будет. Именно в этом смысле позволено утверждать, что мир вечен как в частностях, так и в целом». Какая это замечательная мысль! И с какой убедительностью она утверждает и доказывает, что все в мире — вокруг и внутри нас — необходимо, поскольку мы тоже представляем собою частицу и мгновение в этом вечном бытии!.. Но, увы, почему эта мысль, такая ясная в свете моего разума, когда я трезво рассуждаю (как и полагается рассуждать философу) и с которой я соглашаюсь всем своим существом, почему же эта мысль не может все-таки уничтожить во мне страдание, то невыразимое и переполняющее мое сердце страдание, что возникает во мне, когда я вспоминаю о пережитой драме, о некоторых поступках, которые я совершил умышленно, и о других событиях, в которых принимал лишь косвенное участие? Чтобы резюмировать все это в немногих словах, я должен заявить вам, дорогой учитель: я не убивал маде-

муазель де Жюсса, но тем не менее я был непосредственным участником ее трагедии, и теперь меня мучат угрызения совести, хотя доктрина, которой я придерживаюсь, истина, которой я обладаю, и убеждения, составляющие самую сущность моего мировоззрения, говорят мне о том, что переживания такого рода — одна из самых вздорных иллюзий. И все-таки эти убеждения не в силах дать мне умиротворения, которое дается человеку, когда он уверен в чем-либо, как это было у меня раньше. Мое сердце сомневается в том, во что верит разум. Для человека, еще в годы юности изнуренного интеллектуальными страстями, нет более горьких мук. Но к чему стараться передать вам словами мое умственное состояние? Мне хочется наглядно раскрыть его перед вами, великим исследователем душевных осложнений, чтобы получить от вас помощь, которая может быть для меня спасительной. Достаточно одного вашего слова, и оно объяснило бы мне все, что представляется мне необъяснимым, уверило бы меня, что я не чудовище, поддержало бы меня в сумятице моих убеждений, доказало бы мне, что я не ошибался в течение многих лет, приняв новую веру с пылом искреннего существа. Словом, дорогой учитель, я чувствую себя несчастным, и у меня огромная потребность рассказать о своем несчастье. И к кому же мне обратиться, как не к вам? Ведь у меня нет ни малейшей надежды быть понятым кем-либо другим, кроме вас, великий психолог, учеником которого я себя считаю. Скоро уже два месяца, как я нахожусь в тюрьме, и за все это время минута, когда я принял решение написать для вас эти записки, была единственной, в которую я вновь почувствовал себя таким, каким был до этих ужасных событий. Я пытался занять себя работой отвлеченного характера, однако ничего из этого не получилось. Следовательно, я ничего не потеряю, если буду писать для вас эти страницы, благо за мной не следят. Вот уже четыре дня, как я только и думаю об этом, и да вознаградит вас судьба за то, что сила мысли уже возвращается ко мне. Мне даже доставило некоторое удовлетворение, — вроде того, какое я испытывал прежде, когда писал свои первые опыты, — что я применяю для этого труда холодный и суровый метод работы — ваш метод. Вчера я набросал на бумаге план этой монографии о моем теперешнем



«я», разделив ее на параграфы, как это обычно делаете вы в ваших книгах. Я доказал самому себе силу своего мышления, восстанавливая мою жизнь с самого ее начала, как будто бы решая некую геометрическую задачу синтетическим путем. Теперь я вижу, что кризис, который я переживаю, обусловлен, во-первых, наследственностью, затем духовной средой, в какой я вырос, и, наконец, влиянием тех обстоятельств, с которыми я столкнулся в семье Жюсса-Рандон. Этот кризис и вопросы, которые он вызывает, будут предметом заключительной части моего исследования. Я очищу его от несущественных воспоминаний и сведу все к тому, что один из крупнейших ученых нашего времени называет *созидающими идеями*. Таким образом, я по крайней мере снабжу вас точной документацией о человеческих чувствах, которые некогда я считал драгоценными и редкими. Своим доверием к вашей абсолютной порядочности и своей просьбой о философской поддержке я вдвойне доказываю вам, как много вы значили для автора этих строк. Прошу извинить меня за столь длинное предисловие и немедленно приступаю к анатомированию собственной души. Я надеюсь, что, закончив эти записки, мне удастся передать их вам.

### § 1.— *Моя наследственность*

Насколько я могу заглянуть в свое далекое прошлое, я констатирую, что главным свойством, проявившимся во всех серьезных и незначительных кризисах моей жизни, проявляющимся и в настоящее время, была способность — другими словами, возможность и потребность — раздвоения. Всегда я ощущал в себе два существа: одно, которое ходило, возвращалось, действовало, чувствовало, и другое, которое с невозмутимым любопытством взирало на то, как первое ходит, возвращается, действует, чувствует. Вот и в данный момент, превосходно сознавая, что я нахожусь в тюрьме по обвинению в убийстве, опозоренный и подавленный скорбью, зная, что это именно я, Робер Грелу, родившийся 5 сентября 1865 года в Клермон-Ферране, а не кто-нибудь другой, я тем не менее думаю об этом, как о каком-то спектакле, по отношению к которому я всего лишь зритель. Я даже спрашиваю себя иногда, правильно ли в данном

случае говорить «я». Конечно, неправильно. Ибо, если выражаться вполне точно, мое настоящее «я» не то, которое страдает, и не то, которое созерцает эти страдания. Оно слагается из обоих «я», и у меня было вполне отчетливое представление о подобном дуализме, хотя я и не имел тогда возможности понять до конца это психологическое состояние, преувеличенное до аномалии с самого детства,— с детства, которое мне и хочется прежде всего воскресить в памяти, стараясь с беспристрастностью историка отбросить все, что имеет отношение к настоящему времени.

Мои первые детские воспоминания связаны с Клермон-Ферраном, с домом, стоявшим на бульваре Саблон, облик которого сильно изменился после того, как здесь построили артиллерийскую школу. Этот дом был выстроен, как все здания в нашем городе, из серого вольвикского камня, который быстро темнеет и придает извилистым улицам облик средневекового города. Отец мой, которого я лишился очень рано, был родом из Лотарингии. В Клермоне он работал в качестве гражданского инженера. Это был человек слабого здоровья, хилый по внешнему виду, с редкой бородкой, с меланхолически-спокойным выражением лица; после многих лет разлуки я вспоминаю о нем с нежностью. Я представляю его себе сидящим в рабочем кабинете, из окна которого видна необъятная равнина Лимани и сразу же за нею — изящная возвышенность Пюи де Круель, а вдали — темная гряда Форэзских гор. Неподалеку от нашего дома находился вокзал, и в тихом кабинете непрерывно слышались свистки паровозов. Я обычно проводил время на ковре, подле камина, за тихими играми, и эти резкие призывные звуки уже тогда производили на меня, нервного ребенка, странное впечатление чего-то таинственного, далекого, впечатление стремительного бега времени и жизни. Отец чертил мелом на черной доске загадочные знаки, геометрические фигуры или алгебраические формулы с той отчетливостью в кривых линиях и буквах многочленов, которая была его отличительной манерой и вполне соответствовала его внутренней сущности. Иногда он занимался стоя, за чертежным столом, который предпочитал письменному. Это было несложное сооружение, состоящее из широкой некрашенной доски на двух козлах. В моей памяти во-

скрывают огромные математические трактаты, стоявшие в безукоризненном порядке на книжных полках, холодные лица ученых, чьи гравированные портреты были единственным украшением комнаты, часы в виде глобуса и две астрономические карты, висевшие на стене над письменным столом, а на столе — счетная линейка с медной передвижной муфтой, плоская линейка в виде буквы Т и другие предметы и принадлежности, связанные с научной работой, и эти вещи отчасти объясняют, почему с самого раннего детства во мне родилась мечта о совершенно интеллектуальном и созерцательном существовании, причем этому безусловно благоприятствовала и моя наследственность. Размышляя впоследствии над этим, я пришел к убеждению, что многие отличительные черты моего характера явились результатом жизни, всецело посвященной абстрактным наукам, какую вел мой отец и склонность к которым я инстинктивно перенял у него... Например, всю жизнь я испытывал ужас перед всяким действием, каким бы незначительным оно ни было, причем до такой степени, что даже необходимость нанести кому-нибудь визит доводила меня до сердцебиения, а малейшее физическое усилие было мне просто невыносимо. Вступать в борьбу хотя бы ради своих самых дорогих принципов даже и сейчас представляется мне почти невозможным. Этот ужас перед всяким действием объясняется чрезмерной работой мозга; будучи доведенной до крайних пределов, она как бы изолирует человека от действительности. Такой мозг не выносит ничего реального, потому что уже утерял привычку соприкасаться с реальным миром. Я уверен также, что манера воспринимать факты тоже унаследована мной от отца, как и склонность к обобщениям, составляющая сильную сторону моего ума, но в то же время доходящая у меня до какой-то мании; от отца же у меня и повышенная нервозность, порою лишаящая меня самообладания. Отец, которому суждено было умереть очень рано, крепким здоровьем никогда не отличался. В юности ему пришлось испытать тяжелые последствия подготовки к экзаменам в Политехническую школу, губельно отражающейся и на более сильных организмах. При виде его узких плеч и хилого тела, ослабленного длительной умственной работой и сидячим образом жизни, можно было подумать, что в жилах

этого человека с прозрачными руками течет не богатая красными шариками кровь, а жидкость с пылью от кусочков мела, которыми он привык водить по доске. Он не наделил меня достаточно крепкими мускулами, чтобы они могли уравновесить крайнюю возбудимость нервов, и, таким образом, именно ему я обязан, наравне со способностью к отвлеченному мышлению, делающей для меня трудным малейшее действие, также и необузданностью желаний. Всякий раз, когда я страстно хотел чего-нибудь, я уже не был в силах подавить свое желание. Когда я анализировал собственные поступки, у меня являлась мысль, что интеллектуальные натуры менее других способны противостоять страстям, когда эти страсти просыпаются в них, и это, вероятно, объясняется тем, что у таких людей нормальная связь между действием и мыслью нарушена. Самым блестящим доказательством этой гипотезы являются фанатики. Неоднократно наблюдал я и у отца, обычно очень сдержанного и мягкого человека, такие припадки гнева, что они доводили его почти до обморока. В этом отношении я тоже вылитый сын своего отца, а через него и достойный потомок деда, человека весьма неуравновешенного, по-своему одаренного, полукрестьянина по происхождению, но добившегося благодаря изобретениям в области механики должности гражданского инженера, а потом разорившегося в пух и прах на бесконечных судебных тяжбах. Здесь у меня тоже налицо некий опасный наследственный элемент, нечто такое, благодаря чему по временам я не знаю никаких границ, невзирая на неизменную мою интеллектуальность. Раньше я считал эту двойственность своей натуры даже неким высшим состоянием: бурные порывы страстей в соединении с неиссякаемой энергией отвлеченного мышления. Я мечтал быть одновременно лихорадочно возбужденным и сохранять ясную голову, быть, как говорят немцы, в одно и то же время субъектом и объектом своего анализа: субъектом, который сам изучает себя и находит в этом изучении как средства для экзальтации, так и средства для научного развития. Увы! Куда завела меня эта химера! Впрочем, еще рано говорить о последствиях. Пока мы рассматриваем только причины.

Среди обстоятельств, особенно повлиявших на меня в детстве, одним из самых важных было посещение

церкви. Как только я научился читать, мать стала брать меня с собою по воскресеньям к обедне. Обедню служили в восемь часов утра в церкви капуцинов, недавно построенной на том обсаженном платанами бульваре, что идет от бульвара Саблон к площади Торо, вдоль Ботанического сада. У входа в церковь возле своего ларька обычно сидела торговка пряниками, которую звали тетушка Жирар. Я отлично знал эту торговку, так как имел обыкновение покупать у нее весной вишни: пять-шесть ягод, привязанных белой ниткой к палочке. То бывали первые вишни в сезоне, которые я пробовал, и удовольствие от этого терпкого и свежего лакомства было одним из проявлений моей чувственности в дни детства. Если бы кто-нибудь наблюдал за мной в такие минуты, он уже тогда имел бы случай заметить во мне признаки тех иступленных желаний, о которых я только что говорил. Когда я направлялся к ларьку, меня почти охватывала лихорадка. Но не только ради этих вишен я предпочитал церковь капуцинов с ее очень простой архитектурой подземным приделам Нотр-Дам-дю-Пор и сводам собора, поддерживаемым лесом стройных колонн. В этой церкви хор скрыт от взоров молящихся. Во время богослужения невидимые певчие пели стихиры, производившие на мой детский ум странное впечатление. Мне казалось, что эти голоса долетают откуда-то издалека, из какой-то бездны или гробницы. Я видел возле себя мать, которая молилась со сдержанной страстностью, сказывающейся в малейших движениях, и тогда мне приходила в голову мысль, что отца с нами нет, что он никогда не ходит в церковь. Его отсутствие до такой степени занимало мой детский ум, что однажды я спросил:

— А почему папа не ходит с нами в церковь?

Проницательным детским взором я без труда заметил смущение, которое вызвал своим вопросом у матери. Но эта твердых правил женщина, привыкшая к повиновению, отделалась, как и во многих других случаях, ничего не значащими словами:

— Он ходит в другую церковь, в другое время. Ведь я уже много раз говорила тебе, что дети никогда не должны спрашивать, почему родители поступают так или иначе...

Все различие нашей духовной жизни, впоследствии

отдалившее меня от матери, уже заключалось в этой фразе, произнесенной в прохладное зимнее утро, когда мы, возвращаясь домой, шли под деревьями бульвара Саблон. Как сейчас вижу ее накидку, ее руки в норковой муфте, подбитой коричневым шелком, из которой высовывался молитвенник, и искреннее выражение ее лица, даже в минуту благочестивой лжи, когда она приносила слова: «Ты не должен никогда спрашивать...» Как сейчас вижу ее глаза, которые позже стали бросать на меня непонимающие взгляды. С того самого времени она уже не могла постичь мою натуру, понять созерцательного мальчика, для которого думать означало спрашивать самого себя при всяком удобном и неудобном случае: почему?.. Да, почему мать солгала мне? Ведь я отлично знал, что отец ни в какую церковь не ходит. Но почему он не ходит в церковь?.. Храм оглашали торжественные и печальные звуки монашеских литаний, а я не мог отделаться от этого вопроса. Однако я знал, что отец — один из самых видных людей в городе, хотя толком и не понимал причины такого превосходства. Сколько раз во время прогулок кто-нибудь из его друзей останавливал нас и, похлопав меня по щеке, говорил: «Ну, как? Мы тоже будем известным ученым?» Когда мать выслушивала какое-нибудь мнение отца, она делала это с покорным видом и с бессознательным почтением. Следовательно, она считала естественным, что он не делает некоторых вещей, которые для нас с ней считались обязательными. Значит, думал я, его и наши обязанности не одинаковы. Эта мысль еще не сформировалась тогда вполне ясно в моей голове, но уже зародилась и стала зерном того, что впоследствии сделалось одним из прочных убеждений моей юности, а именно, что очень умные люди не подчиняются тем же самым правилам, каким подчиняются все остальные. Тут, в этой маленькой церкви, в то время как я покорно склонялся над молитвенником, и родился мой великий жизненный принцип: не считать законом для нас, мыслящих людей, то, что является законом для тех, кто не мыслит. И в эти же самые годы, во время наших прогулок с отцом, в разговорах с ним возникли и основы моих научных воззрений.

Природа вокруг Клермона великолепна, и, хотя в противоположность поэту я и являюсь человеком, для

которого внешний мир едва существует, я навсегда сохранил в глубинах своей памяти широту горизонта, развертывавшегося перед нами во время этих прогулок. Наш город с одной стороны обращен к Лиманьской равнине, а с другой стороны он как бы прислонился к отрогам цепи Дом. Зубчатые кратеры потухших вулканов, вздутия бывших извержений, потоки застывшей лавы придают очертаниям этих вулканических гор сходство с пейзажами, которые видны в телескоп на мертвой поверхности луны. Вдали — горы как грандиозное воспоминание о страшных конвульсиях планеты, здесь же — прелестная сельская природа, с каменистыми тропинками среди виноградников, ручьями, журчащими под сенью ив и каштанов. Огромную детскую радость доставляли мне эти бесконечные скитания с отцом по тропинкам, что ведут с горы Пюи де Круель в Жергови, из Руайа в Дюртоль, из Бомона в Гравнуар. Мое сердце молодеет при одном звуке этих названий. Вот я снова мальчик с длинными волосами, в суконных гетрах на ногах, каким я изображен на одном из сохранившихся портретов. Я гуляю, держась за руку отца. Но откуда у отца могло возникнуть это тяготение к природе, у него, прирожденного математика, кабинетного ученого, привыкшего к отвлеченному мышлению? Потом я часто размышлял на эту тему, и мне кажется, что тут я открыл малоизвестный закон развития человеческого сознания. Дело в том, что вкусы, сложившиеся в молодости, упорно сохраняются у нас и тогда, когда наш мозг уже развился в противоположном направлении; мы продолжаем проявлять эти вкусы, оправдывая их какими-нибудь интеллектуальными доводами, которые в действительности должны бы их исключать. Объясню это на примере. Вполне естественно, что отец любил природу, так как он вырос в деревне и проводил в детстве целые дни где-нибудь на берегу ручья, в мире цветов и насекомых. Но вместо того, чтобы и теперь бесхитростно предаваться этим радостям, он сочетал их со своими учеными занятиями. Он не простил бы себе прогулку в горы, если бы попутно не изучал строение земли, он не мог бы любоваться цветком, не определяя его вид и название, не был бы в состоянии взять в руки какое-нибудь насекомое, не подумав при этом, к какой группе оно принадлежит и каковы его особенности.

Благодаря методичности, которой он неизменно следовал в любой своей работе, он достиг отличного знания окрестностей, и наши совместные прогулки проходили в беседах об окружающей природе. Горные пейзажи служили для него поводом объяснить мне перевороты, которые испытала земля. От них он переходил к гипотезе Лапласа о туманностях и так просто объяснял ее, что эти сложные вещи становились доступными для меня; я ясно представлял себе планетные протуберанцы, вырывающиеся из пылающего ядра — раскаленного и вращающегося солнца. В прекрасные летние ночи небосвод превращался в своего рода карту; отец расшифровывал ее, применяясь к моему возрасту, и я научился отыскивать на небе Полярную звезду, семь звезд Большой Медведицы, Вегу в созвездии Лиры, Сириус и другие далекие и огромные миры, величина, положение и даже составные элементы которых известны науке. То же самое происходило и с цветами, которые он научил меня собирать в гербарий, с камнями, которые я под его наблюдением разбивал железным молоточком, с насекомыми, которых я, смотря по обстоятельствам, то кормил, то накалывал на булавки. Еще задолго до того, как в коллежах был введен предметный метод преподавания, мой отец применил в моем начальном воспитании свое великое правило: научно объяснять все, что встречаешь на своем пути. Так он сумел примирить свою любовь к природе, воспитанную в нем еще с детства жизнью в деревне, с точностью, приобретенной в дальнейших занятиях математикой. Именно этому методу я приписываю свою склонность к анализу, которая преждевременно развилась у меня еще в ранней юности и которая без сомнения обратилась бы на изучение позитивных наук, если бы отец не умер. Однако он не успел завершить моего воспитания, задуманного по строго разработанному плану, набросок которого я потом обнаружил в его бумагах. Во время одной из наших прогулок, в то лето, когда мне шел десятый год, нас захватила гроза, и мы с ним вымокли до последней нитки. Возвращаясь домой в сырой одежде, отец сильно продрог. Вечером он стал жаловаться на озноб. Через два дня у него обнаружилось воспаление легких, а неделю спустя его уже не было в живых.



Так как в этом кратком перечислении различных обстоятельств, повлиявших на мой юный ум, мне хочется во что бы то ни стало избежать того, что мне противнее больше всего на свете, а именно выставления напоказ своих субъективных душевных переживаний, то я не буду рассказывать вам, дорогой учитель, о других подробностях, связанных со смертью отца. Были среди них и весьма тягостные, но всю горечь этих переживаний я почувствовал только позднее, на некотором расстоянии от события. Помню, что, хотя я уже был большим и необыкновенно развитым мальчиком, я испытал тогда скорее удивление, чем горе. Только теперь я по-настоящему оплакиваю смерть отца и понимаю, что я потерял в его лице. Надеюсь, я достаточно ясно объяснил, что именно отцу я обязан своею склонностью и способностью к абстрактному мышлению, любовью к интеллектуальной жизни, верой в науку и умением с юных лет применять научные методы. Это в области моего умственного развития. А в формировании моего характера я обязан отцу юношеским обожествлением величия мысли, а вместе с тем и несколько болезненной неспособностью действовать, с чем связана и невозможность сопротивляться страстям, когда они овладевают мною.

Мне хотелось бы также отметить здесь и все то, чем я обязан, как мне кажется, матери. Прежде всего бросается в глаза, что ее влияние на меня было косвенным, в то время как отцовское действовало непосредственно. По правде говоря, влияние матери стало сказываться с того дня, когда она, овдовев, решила лично руководить мною. До этого она всецело предоставляла меня отцовскому влиянию. Может показаться странным, что, оставшись вдвоем на земле, такая энергичная и исполненная чувства долга мать и такой юный сын даже в первые годы не стали жить в полном единении сердец. Действительно, согласно элементарной психологии, слова «мать» и «сын» — синонимы нежности и духовной близости. Может быть, так оно и есть в семьях со старым укладом, хотя лично я не верю, что такое простосердечие в отношениях между существами различного возраста и пола присуще человеческой природе. Во всяком случае, в современной семье за благопристойными условностями таится страшный внутренний разлад,

глубокое взаимное непонимание, иногда даже ненависть. Все это легко понять, когда подумаешь о происхождении этих чувств. Ведь в последнее время в браках происходит такое смешение провинции с провинцией и породы с породой, что это отяготило нашу кровь слишком противоречивой наследственностью. Люди, номинально принадлежащие к одной и той же семье, в действительности не имеют ни единой общей черты, ни в умственном, ни в нравственном складе. В итоге каждодневное общение между этими людьми приводит к бесконечным столкновениям или постоянному притворству. В этом смысле мы с матерью являем пример, который я мог бы назвать замечательным, если бы удовольствие, доставляемое мне возможностью привести убедительное доказательство существования такого психологического закона, не омрачалось горьким сожалением, что я сам стал его жертвой.

Отец мой, как я уже сказал, был сыном гражданского инженера и питомцем Политехнической школы. Я говорил также, что дед и отец — уроженцы Лотарингии. А существует поговорка, что «лотарингец изменит и королю и богу». Эта поговорка, при всей своей несправедливости, заключает в себе очень меткое наблюдение, что у этих жителей пограничных областей в душе таится нечто очень сложное. Они всегда жили на грани двух рас — немецкой и французской. А в сущности что же представляет собою эта склонность к измене, как не извращение другой черты, очень ценной с умственной точки зрения, а именно склонности усложнять душевную жизнь? Что касается меня, то именно этому атавизму я и приписывал свою способность к раздвоению личности, о которой я говорил в начале этих записок. Должен прибавить, что еще ребенком я испытывал странное удовольствие от всякого рода бескорыстного притворства, восходившее, очевидно, к тому же источнику. Например, я любил рассказывать о себе товарищам по школе всякие небылицы: о месте своего рождения, о месте рождения отца, о какой-нибудь прогулке, которую я якобы только что совершил, и все это я говорил не для того, чтобы похвастать, а просто так, — чтобы быть другим. Позднее, я испытывал особого рода удовольствие от того, что высказывал мнения, прямо противоположные тем, которые считал правильными, и делал это по тем

же самым мотивам. Играть какую-нибудь роль наряду со своей настоящей сущностью казалось мне чем-то вроде обогащения моей личности, до такой степени сильно было во мне инстинктивное ощущение, что ограничить себя в рамках одного определенного характера, верования или чувства равносильно ограничению самой своей сущности. Моя мать — настоящая южанка: нехитрому складу ее ума противны всякие отвеченные представления. Ей доступны только понятия о конкретных вещах. В ее сознании все формы жизни преломляются в определенном, точном и простом виде. Если это касается религии, то она видит перед собой свою церковь, исповедальню, причастный плат, знакомых священников, катехизис, по которому она училась в детстве. Когда она думала о моей карьере, то и тут представляла себе вполне определенную деятельность и связанные с нею выгоды. Например, преподавательская карьера, о которой она мечтала для меня, олицетворялась для нее в образе г-на Лимассе, учителя математики и друга моего отца, и она заранее воображала меня таким же, как он, думала, что я тоже дважды в день буду пересекать город, летом буду ходить в визитке из альпака и в панаме, зимой — в деревянных башмаках и в меховом пальто, буду получать определенное жалованье и дополнительный доход в виде репетиционных и жить с приятной перспективой пенсии. Наблюдая мать, я имел случай убедиться, насколько этот род воображения лишает тех, кому он свойствен, способности представить себе внутреннюю жизнь другого человека. О таких людях часто говорят, что они самодуры и отличаются чрезмерно выраженной индивидуальностью или что у них скверный характер. В действительности же они воспринимают людей, с которыми имеют дело, как ребенок воспринимает часы. Ребенок видит, как вращаются стрелки, но ничего не знает о механизме, приводящем их в движение. Поэтому, если стрелки не двигаются так, как ему хочется, он готов передвинуть их или сломать в часах пружину.

С первых же дней после нашей семейной катастрофы так относилась ко мне и моя бедная мать, и почти немедленно я стал чувствовать по отношению к ней какую-то смутную неловкость, хотя ни один факт не давал в этому определенного повода. Первое обстоя-

тельство, открывшее мне расхождение, которое началось между нами,— в той степени, конечно, в какой могла соображать моя детская голова,— имело место как-то в осенний послеполуденный час, месяца четыре спустя после смерти отца. Впечатление, произведенное этим эпизодом, было до того сильным, что я помню все его подробности так ясно, словно это произошло вчера. Нам пришлось переменить квартиру, и мы сняли четвертый этаж дома, который как бы вытянулся весь в высоту, на улице Бийяр,— в узком переулке, начинающемся возле тенистых деревьев площади Птиз-Арбр, перед зданием префектуры. Матери дом этот понравился из-за балкона, который был в квартире, и как раз на этом балконе я играл в тот солнечный день, когда все произошло. Вы узнаете в моей игре все то же научное направление, привитое мне покойным отцом: она состояла в том, что я передвигал из одного конца балкона в другой камень, превращенный моим воображением в великого исследователя неведомых стран; я перемещал его среди других камушков, найденных в цветочном горшке. Они олицетворяли для меня то какой-нибудь город, то экзотических животных, о которых я читал. Одно из окон гостиной выходило на балкон и было полуотворено. Во время игры я очутился около окна и вдруг услышал, что мать разговаривает обо мне с какой-то гостьей. Мне трудно было удержаться, чтобы не подслушать их; сердце у меня сильно билось, как случалось и впоследствии, когда я слушал суждения других людей, касавшиеся меня. Позднее я понял, что наша подлинная сущность и впечатление, какое мы производим на окружающих, даже на друзей, так же мало совпадают, как цвет нашего лица и его отражение в голубом, зеленом или желтом зеркале.

— А может быть, вы ошибаетесь насчет бедного Робера,— говорила посетительница.— Ведь в десять лет у ребенка еще не сложился характер...

— Дай-то бог,— отвечала мать,— но я трепещу при мысли, что он такой бессердечный. Вы представить себе не можете, каким он был черствым, когда умер муж... На другой же день у него был такой вид, точно он уже забыл об этом. И с тех пор ни слова!.. Ни единого слова, которое показывает, что человек помнит... А когда я сама говорю ему об отце, он еле отвечает... Можно

подумать, что он никогда и не знал нашего дорогого, а ведь отец был так добр к нему...

Я прочел где-то, что однажды, когда Мериме был еще ребенком, мать побранила его и выгнала из комнаты. Едва он оказался за дверью, как мать разразилась смехом. Мериме услышал смех, понял, что перед ним разыгрывали комедию, и с тех пор в его душе родилось недоверие, которое не исчезло до конца дней. Случай с Мериме меня поразил. Впечатление знаменитого писателя представляло полное сходство с тем, что испытал и я, когда услышал на балконе обрывок разговора. Правда, я никогда не говорил о покойном отце. Но совершенно не соответствовало истине утверждение, будто я позабыл его. Напротив, я думал о нем постоянно. Я не мог пройти по тротуару, перейти через улицу, взглянуть на предметы нашей обстановки без того, чтобы во мне тотчас не проснулось воспоминание об отце, и я бывал до боли одержим этим воспоминанием. К этой постоянной одержимости примешивалось и тревожное удивление, что он исчез из нашей жизни навеки, и все это вместе взятое и превращалось в то тягостное чувство, которое закрывало мне уста, когда речь заходила об отце. Теперь-то я понимаю, что мать не была в состоянии постичь подобный ход моих мыслей. Но в ту минуту, услышав, как она осуждает меня за черствость, я испытал глубокое унижение. Мне казалось, что она поступает по отношению ко мне неправильно, что она ко мне несправедлива, но из робости, как дичившийся и еще плохо прирученный ребенок, я, вместо того чтобы постараться изменить ее мнение обо мне, весь внутренне как бы съежился в знак протеста против такой несправедливости. Начиная с этой минуты я уже не мог открыться в чем-либо матери. Я отлично чувствовал это, и, когда ее глаза смотрели в мои, стараясь прочесть в них то, что я переживаю, я испытывал непреодолимую потребность скрыть от нее свою внутреннюю жизнь.

Это было первой семейной сценой,— хотя такой пустячный эпизод вряд ли заслуживает столь громкого названия,— за ней последовала другая, которую я тоже отмечу, несмотря на всю ее незначительность. Но ведь дети не были бы детьми, если бы самые пустячные события не превращались в их детском восприятии в не-

что важное. Тогда я уже увлекался чтением, и случай дал мне в руки несколько книг, весьма отличавшихся от тех, какими награждают школьникам за успехи в науках. Вот как это произошло. Хотя мой отец, будучи математиком, и не очень-то следил за беллетристикою, он все же любил некоторых писателей, но воспринимал их по-своему. Найдя впоследствии его заметки об этих писателях, я понял, до какой степени литературные восприятия субъективны, устойчивы или, заимствуя определение из его любимой науки, *несоизмеримы*. Иными словами, я понял, что нет общей мерки, по которой два человека принимают или отвергают то или другое произведение. Среди других книг в библиотеке отца оказался и перевод Шекспира. Когда для меня настало время навсегда распрощаться с детским кресельцем, эти два тома клали на стул, чтобы я сидел повыше. Потом мне предоставили распоряжаться ими, как мне заблагорассудится. Находившиеся в них гравюры, само собою разумеется, немедленно же привлекли мое любопытство, и я прочел отдельные подписи к ним. Тут леди Макбет вытирала руки под исполненными ужаса взглядами медика и служанки; Отелло с кинжалом входил в спальню Дездемоны и склонял свой черный лик над белеющей фигурой спящей; король Лир раздирает на себе одежды при вспышках молний; Ричард III спал в шатре, окруженный призраками. Одолев надписи, которыми сопровождалась иллюстрация, я тем самым еще до десятилетнего возраста вполне ознакомился с этими драмами, сильно возбуждавшими мое воображение, так как многое в них я понимал, вероятно, потому, что они были написаны для зрителя из народа, или потому, что содержат в себе элементы первобытной поэзии и ребяческие преувеличения. Я любил этих королей, которые, то ликуя, то в полном отчаянье, проходили предо мною во главе своих войск и в несколько мгновений выигрывали или проигрывали сражения; любил эту кровавую резню, сопровождаемую фанфарами, среди привидений и развернутых знамен; любил мгновенные переселения из одной страны в другую и эту химерическую географию. Словом, все то, что в шекспировских пьесах, особенно в хрониках, изложено сжато и почти примитивно, прельщало меня до такой степени, что, оставаясь один, я разыгрывал целые сцены, пользуясь стульями, кото-

рые становились Йорком или Ланкастером, Уорвиком или Глостером. О, святая наивность!.. Мой отец, которому было свойственно отвращение к печальной действительности, наслаждался у Шекспира трогательными и чистыми сторонами его поэзии, образами женщин с необычайно тонкой душой. Каким бы странным ни показалось подобное сопоставление, но ему нравились Имогена и Дездемона, Корделия и Розалинда, как наряду с романами Диккенса и Топфера нравилась ребяческая болтовня Флориана и Бержена. Но такие контрасты лишь доказывают шаткость художественных суждений, основанных исключительно на чувстве. Все эти книги, точно так же как и романы Вальтера Скотта и идиллии Жорж Санд, я читал в иллюстрированных изданиях. Само собою разумеется, что было бы лучше не пичкать воображение такой разнообразной, а порой и опасной пищей, хотя в силу своего возраста я понимал лишь незначительную часть из прочитанного. Отец не обращал на мое чтение никакого внимания. Впрочем, даже если бы молния поразила наш дом, то едва ли отец заметил бы это, когда, унесенный на могучих крыльях абстракции, он выводил на черной доске свои формулы. Но мать, которой этот демон был так же чужд, как и зверь из апокалипсиса, едва только первое потрясение нашего горя прошло, не замедлила порываться в комнату, где я готовил уроки. Под начатым сочинением она обнаружила раскрытую книгу. Это был роман Вальтера Скотта «Айвенго».

— Это что за книга? — спросила она. — Кто позволил тебе взять ее?

— Но я уже прочел ее один раз, — ответил я.

— А эти? — продолжала она перебирать томики моей библиотеки, где рядом с учебниками стояли драмы Шекспира, «Женевские рассказы», «Николас Никльби», «Роб Рой», «Чертово болото». — Это не для твоего возраста, — твердо заявила мать. — Потрудись отнести эти книги в гостиную. Я их запру в шкаф.

Отлично помню, как я переносил книги, по три зараз; некоторые из них были очень тяжелы для моих детских рук; я переносил их в холодную комнату с мебелью в чехлах и с балконом, выходящим на улицу, — в ту самую комнату, где я услышал, как мать сурово осуждала мою бесчувственность. Белыми пальцами, вы-

совывавшимися из черных митенок, мать брала у меня том за томом и ставила рядом с математическими трактатами. Затем она заперла стеклянную дверцу, а ключ присоединила к тем, что висели на кольце, с которым она никогда не расставалась. Потом она строго прибавила:

— Когда тебе захочется прочитать какую-нибудь книжку, обратись ко мне...

Просить у нее книги! Какие? Я великолепно знал, что она не даст мне те, перечитать которые мне захочется и на корешки которых, видневшиеся за стеклом, я смотрел с грустью. Уже тогда я сознавал, что мы с матерью ни по одному вопросу не мыслим одинаково. Я был очень сердит на нее за то, что она лишила меня самого большого удовольствия — удовольствия читать, и, может быть, даже не столько за самое запрещение, сколько за те объяснения, которые она мне давала по этому поводу, ибо она почла нужным несколько раз повторить слова о вреде романов, заимствованные из какого-то благочестивого сочинения и выражавшие нечто совершенно противоположное тому, что я сам думал на этот счет. Мать воспользовалась предлогом, что неумеренное чтение может мне повредить, и стала внимательно следить за моими занятиями. В этом состоял ее долг. Но как велика была разница между идеями, к которым приобщал меня с малых лет отец, и жалкой скудостью ее заурядных, мелочных и мещанских представлений! Теперь на прогулки я уже ходил с матерью, и, гуляя, она разговаривала со мной. Но все ее разговоры сводились к замечаниям о том, как надо себя вести, к рассуждениям о хороших или дурных манерах или касались моих школьных товарищей и их родителей. Мой ум, приученный к наслаждению мыслить, чувствовал себя теперь как бы придавленным. Застывшие пейзажи с потухшими вулканами напоминали мне о тех днях, когда отец рисовал мне грандиозные катаклизмы земли. Цветы, которые я срывал, мать брала на несколько минут в руки, потом бросала, почти не взглянув на них. Она не знала их названий, как не знала и названий насекомых, которых она тут же приказывала мне выбрасывать, так как считала их грязными и ядовитыми. Тропинки, вившиеся среди виноградников, уже не вели больше к открытию огромного мира, куда звали меня



вдохновляющие слова отца. Они сделались просто продолжением городских улиц и убожества повседневных делишек. Я подыскиваю слова, чтобы точнее передать смутное и странное ощущение скуки, умственного гнета и затхлой атмосферы, с которыми связаны для меня эти прогулки, и не нахожу ничего подходящего. Ведь язык создан взрослыми, чтобы выражать мысли и чувства взрослых, и в нем не хватает выражений, соответствующих робким восприятиям ребенка и полумраку его души. Как передать еще не осознанные страдания, которые можно обнаружить только тогда, когда они уже в прошлом? Например, те страдания, какие испытал я, в чьей голове уже бродили высокие мысли; мой ум, уже находившийся на грани обширного духовного горизонта, вдруг подвергся тирании другого ума, ограниченного, слабого, чуждого всяким общим идеям, всякому широкому и глубокому взгляду на вещи. Теперь, когда пора моего загнанного в подполье и всячески подавляемого детства отошла в прошлое, я объясняю все малейшие его эпизоды законом интеллектуальных конституций; и сейчас я вполне отдаю себе отчет в том, что, доверив воспитание такого ребенка, каким я был, женщине, как моя мать, судьба пыталась соединить две столь же несоединимых формы мысли, как несоединимы два разных рода в животном царстве. Теперь мне приходят на ум тысячи всяких подробностей, в которых я нахожу доказательство врожденного различия наших натур. Я уже достаточно рассказал вам об этом, чтобы теперь можно было ограничиться простым указанием на конечный результат молчаливого столкновения между нашими душами; если выражаться философским языком, благодаря этому противоречию в моем воспитании во мне оказались заложенными два различных начала: одно в области чувств, другое — в области умственных способностей. Чувство сосредоточилось на сознании одиночества моего «я», а умственные способности оказались направленными на внутренний анализ.

Я уже сказал, что у меня тотчас же создалось впечатление, что как в области чувства, так и в области мысли я не могу целиком открыться своей матери. Я едва вступил в интеллектуальную жизнь, а мне уже стало понятно, что существуют такие элементы нашей душевной сущности, которые недоступны другому чело-

веку. Отсюда появилась у меня робость, которая затем перешла в гордыню. Но разве всякая гордость не имеет аналогичное происхождение? Не осмеливаться раскрыть себя, значит себя изолировать, а изолировать себя от других значит быстро перейти к тому, чтобы считать себя выше, чем они. Впоследствии я нашел у некоторых современных философов, например у Ренана, это же самое чувство одиночества, но уже видоизмененное в торжествующее и трансцендентальное высокомерие. Я обнаружил это чувство, превратившееся в болезненную сухость, в «Адольфе» Бенжамена Констана, открыл его в разящей иронии Стендаля. Но у бедного провинциального лицеиста, бегущего в зимнюю пору по ледяным улицам горного городка с набитой учебниками сумкой, окоченевшего от холода, с болячками на обмороженных руках и ногах, это чувство проявлялось лишь в виде смутного и болезненного инстинкта. Эти инстинктивные переживания, первоначально связанные только с матерью, все росли и росли, и вскоре их стали вызывать во мне товарищи по классу и преподаватели. Я чувствовал себя иным, чем они, и это различие можно определить так: мне казалось, что я вполне понимаю их, они же понять меня не в состоянии. Теперь я начинаю склоняться к мысли, что я понимал их не больше, чем они меня; однако сейчас я вижу, что между нами действительно было различие: они просто, искренне и открыто ставили на одну доску себя и меня, в то время как я уже начал усложнять наши отношения, слишком много думая о своей персоне. Если я рано почувствовал, что у меня вопреки словам Христа нет ближних, то это происходило потому, что уже с самых ранних лет я привык слишком много копаться в своей душе и возмнил себя существом необычайным, доведя до предела свою чувствительность. От отца я унаследовал раннюю любознательность. Но так как его уже не было возле меня, чтобы обратить мое внимание на мир позитивных знаний, то эта любознательность, не находившая себе применения вовне, обратилась на меня самого. Ведь ум такое же живое начало, как и всякое существо, и у него тоже возможность сопровождается потребностью. Справедливо было бы перевернуть старую поговорку таким образом: «Кто может — хочет». Всякая способность всегда приводит к волеизъявлению.

Интеллектуальная наследственность и первоначальное воспитание преждевременно сделали из меня человека мысли. Я оставался им и в дальнейшем, но за отсутствием учителя, подобного тому, какого я потерял, мой ум обратился на собственные мои переживания, и, живя вместе с матерью, никогда не подозревавшей этого, я превратился в полнейшего эгоиста, с ярко выраженным презрением к окружающим. Впрочем, эти черты моего характера проявились уже позднее, под влиянием тех духовных кризисов, через которые я прошел и историю которых мне нужно теперь вам рассказать.

## § 2.—*Моя духовная среда*

Различные влияния, о которых я рассказал здесь в несколько отвлеченных, но для вас, мой дорогой учитель, конечно, понятных выражениях, имели своим первым и неожиданным результатом то, что между одиннадцатую и пятнадцатую годами я стал очень набожным. Вполне возможно, что, если бы меня поместили в коллеж интерном, я вырос бы таким же, как все мои товарищи, которых мне случалось наблюдать впоследствии. Никакой религиозной экзальтации они не знали. В эпоху, о которой я рассказываю и которая отмечена окончательной победой демократических партий во Франции, из Парижа в провинцию хлынула волна свободомыслия. Но не надо забывать, что я был сыном чрезвычайно набожной женщины и должен был выполнять все обряды, предписываемые самым суровым благочестием. Я рассказывал здесь о своей ранней склонности к самоанализу, и это подтверждается тем, что, в противоположность своим товарищам по изучению катехизиса, я был до страсти захвачен исповедью. Да, могу сказать о себе, что в продолжение четырех лет моих юношеских мистических настроений, с 1876 по 1880 год, самые сильные мои переживания были связаны с пребыванием в деревянной будке исповедальни нашей францисканской церкви, куда я отправлялся каждые две недели и где, коленопреклоненный, с бьющимся сердцем, шептал о том, что происходило в моей душе. Рождение этого особого отношения к исповеди, сотканного из самых противоположных ощущений, связано у меня с приближением дня первого причастия. Я был

верующим мальчиком; поэтому мои незначительные грехи казались мне настоящим преступлением и мне было стыдно признаваться в них. Но я каялся, и у меня была уверенность, что я уйду из храма, получив отпущение всех своих прегрешений, с восхитительным чувством человека, который смыл с себя всю грязь. Я был очень нервным и впечатлительным ребенком, и в самой обстановке таинства, в прохладной тишине церкви, в запахе склепа и ладана, в звуке моего собственного голоса, когда я шептал слова «отец мой», и в голосе священника, называвшего меня через решетку «сын мой», заключалась для меня особая мистическая поэзия, которую я остро воспринимал, хотя еще и не отдавал себе отчета, в чем она заключается. К этому присоединилось особое чувство страха, зародившееся у меня в дни изучения катехизиса у аббата Мартеля, которому было поручено подготовить нас к первому причастию. Это был коротконогий человек апоплексической наружности, с широким красным лицом и мрачным, жестким взглядом голубых глаз. Он учился в какой-то провинциальной семинарии, где еще сохранился дух яansenизма. Когда с кафедры францисканской церкви, под сводами которой нас собирали, он говорил о преисподней, его голубые глаза метали молнии, и тогда в его блестящих и вдруг застылавших зрачках мелькали страшные видения. Он умел этот ужас передать и нам. Я, пожалуй, даже рад, что аббата уже нет в живых, иначе я увидел бы его в тюрьме и, кто знает, может быть, снова испытал бы чувство ужаса, которое испытывал некогда в том помещении с побеленными стенами, всю мебель которого составляли деревянные скамьи и маленькая кафедра из крашеного дерева. Обычными темами его проповедей было изречение о немногих избранных и о божественном отмщении.

— Кто может воспрепятствовать богу, раз он всемогущ, повелеть душе умершего пребывать около тела, с которым она разлучена?..— вопрошал священник.— И вот душа томится около него, в горнице усопшего, внимая рыданиям и созерцая слезы близких. Ей не будет дано утешать их... Ее заточат во гроб, и она будет там в течение бесчисленных дней, в крошечном мраке, среди червей и тлена, присутствовать при разложении плоти, которая служила ей обиталищем...

Подобные фантастические и жестокие образы потоком лились из его уст. Они преследовали меня даже во сне. Мой страх перед адом доходил до безумия. С другой стороны, аббат Мартель с не меньшим красноречием прославлял в своих проповедях важность и спасительность причастия, и в результате боязнь вечных мук превращалась для меня в строжайшее испытание совести. Очень скоро эти самоуглубления, это рассматривание, как через лупу, малейших извилин своих мыслей, это непрестанное исследование самых сокровенных глубин души стали меня интересовать до такой степени, что по сравнению с ними любая игра потеряла для меня всякую прелесть. Впервые с того дня, как умер отец, я нашел достойное применение своей способности к анализу, уже вполне сложившейся во мне и ставшей моей второй натурой.

Это обострение внутренней жизни должно было бы благотворно сказаться на моем нравственном состоянии. Однако следствием такого обострения была только излишняя чувствительность, уже сама по себе являвшаяся развращенностью, по крайней мере с точки зрения строгой дисциплины католической церкви. В самом деле, во время этих копаний в собственной совести, связанных скорее с наслаждением, чем с раскаяньем, я сделался чрезвычайно изобретательным в обнаружении сложных побуждений, якобы таившихся за самыми обыкновенными моими поступками. Аббат Мартель не был достаточно проницательным психологом, чтобы уловить этот оттенок и понять, что, кромсая таким образом свою душу, легко дойти до предпочтения сложности греха простоте добродетели. Он видел в моем поведении только порыв детской души. Например, в утро первого причастия я явился к аббату весь в слезах, умоляя его еще раз исповедать меня. Дело в том, что, выворачивая все глубины и недра своей памяти, я открыл у себя курьезный грех преувеличенного уважения к мнению ближнего. За несколько недель до этого я заметил, как двое моих одноклассников потешались у ворот лицея над какой-то старой дамой, направлявшейся в церковь кармелиток, напротив нашей школы. Я тоже посмеялся над ней, вместо того чтобы остановить расшалившихся приятелей. А ведь почтенная женщина шла к обедне. Значит, смеяться над ней было равносильно

издевательству над благочестивым поступком. Я смеялся. Почему? Из ложного стыда, который мешал мне осудить недостойное поведение моих сверстников. Следовательно, я сам принимал участие в этом проступке. А между тем я должен был бы обратиться с увещанием к насмешникам и призвать их к раскаянию. Я этого не сделал. Почему? Опять же из ложного стыда или из преувеличенного уважения к человеку, как сказано в катехизисе. Всю ночь перед знаменательным днем первого причастия я провел в душевных муках, беспокоясь, успею ли я разыскать аббата, чтобы исповедаться и в этом грехе. Помню улыбку, с какой он, отпустив мне грех, похлопал меня по щеке, чтобы я не тревожился. Как сейчас слышу его голос, ставший вдруг ласковым, когда он сказал мне:

— Если бы ты навсегда остался таким!

Ему и в голову не приходило, что муки детской совести были признаком болезненного самоанализа и что этот самоанализ грозит отравить мне всю сладость евхаристии, которой я так жаждал. До этого дня в течение многих недель я не довольствовался тем, что тщательнейшим образом анализировал свою совесть, но предвосхищал в воображении те эмоции, которые являются неизбежным результатом такого анализа. Поэтому я очень отчетливо представлял себе чувства, какие буду испытывать, принимая причастие. И вот я приблизился к решетке алтаря, задрапированной белой пеленой, в таком напряженном состоянии, какого никогда уже позднее не испытывал. Но, причащаясь, я содрогнулся от леденящего разочарования и испытал такой упадок сил, что мне трудно передать его словами. Потом я рассказывал об этом ни с чем не сравнимом переживании одному товарищу, продолжавшему оставаться верующим. Он сказал мне:

— Надо было отнестись ко всему этому проще.

Его благочестие помогло ему в данном случае стать тонким наблюдателем. Он был прав, конечно. Но что я мог сделать?

Однако важнейшее событие моей юности, а именно утрата веры, все-таки не связано с пережитым разочарованием. Существовало немало других причин, определивших эту утрату, но я вполне осознал их только теперь. Были среди них и такие, которые действовали на

мою душу медленно, но неуклонно, так же, как червь гложет прекрасный плод, пожирая его сердцевину, в то время как снаружи не видно никаких других изменений, кроме еле заметного пятнышка на его румяной коже. Первая из таких причин заключалась, мне кажется, в том, что я применил к своему исповеднику тот же самый ужасный метод критики, подрывающий доверие, какой с детских лет отдалил меня от матери. Я продолжал доводить до самых изощренных тонкостей анализ своей совести, а аббат Мартель по-прежнему не замечал возможных последствий моих тайных попыток, когда я производил вивисекцию своей души. Мои сомнения представлялись ему тем, чем они, собственно говоря, и были в действительности, то есть ребячеством. Но это было ребячество мальчика с очень сложной душевной организацией, которым можно было руководить только в том случае, если бы у него создалось впечатление, что он понят до конца. Я же в своих отношениях с этим грубоватым и прямолинейным священником скоро стал испытывать противоположное чувство: я все более и более убеждался, что он меня не понимает. Этого было еще мало, чтобы помешать мне выполнять религиозные обязанности, но вполне достаточно, чтобы отнять у моего духовного наставника всякую подлинную власть над моими отроческими мыслями. В то же время (и это было второй причиной, отторгнувшей меня от церкви) я открыл у людей, которых считал тогда выше других, такое же равнодушие к церковным обрядам, какое раньше наблюдал у отца. Мне, например, было хорошо известно, что все молодые преподаватели, являвшиеся к нам из Парижа и обладавшие авторитетом питомцев Нормальной школы, — скептики и атеисты. Я узнал об этом от самого аббата Мартеля, рассказывавшего о них с пеной у рта во время посещений нашего дома. Когда я сопровождал мать к обедне во францисканскую церковь, как раньше в церковь капуцинов, мне невольно приходили в голову мысли о скудоумии тех набожных людей, что по воскресеньям наполняли храм и бормотали молитвы в тишине богослужения, нарушаемой только шумом стульев, которые передвигала женщина, сдававшая их внаем. На лбах, которые с покорным видом склонялись при возношении чаши, никогда не отражалась светлая, живая мысль.

Я, конечно, еще не мог сформулировать эти впечатления с такой же точностью, с какой делаю это сейчас; но, глядя на молящихся, я невольно сравнивал их с молодыми преподавателями, которые, выходя из лица с независимым видом, разговаривали о таких вещах, о каких некогда беседовал со мной отец. В его беседах со мною малейшее замечание было насыщено научным значением. И у меня стало зарождаться сомнение в интеллектуальной ценности католических верований. Эти сомнения питались своего рода наивным честолюбием, в силу которого у меня возникло страстное желание стать таким же умным, как самые умные люди на земле, а не прозябать среди существ второго сорта. В этом желании было много гордыни, но сейчас я не стыжусь ее. Это была гордыня чисто отвлеченного характера, совершенно чуждая каким бы то ни было стремлениям к житейским благам и успехам. К тому же, если у меня еще хватает сил устоять в страшной драме, которую послала мне судьба, то этим я обязан именно гордыне своих юных лет. Именно она дает мне возможность показать вам с холодной ясностью мое прошлое, вместо того чтобы докучать бьющими на эффект подробностями, как это сделал бы на моем месте всякий заурядный преступник. Я ясно вижу, что первые сцены этой драмы происходили еще в душе тщедушного лицеиста, в котором уже проявлялся тот юноша, каким вы меня знаете.

Третьей причиной, содействовавшей постепенной утрате веры, явилось открытие мною современной литературы; это произошло, когда мне шел четырнадцатый год. Я уже рассказал вам, что вскоре после смерти отца мать отняла у меня некоторые книги. Не стала она снисходительней и позднее, и ключ от отцовского шкафа по-прежнему позвякивал на стальном кольце в общей связке с ключами от буфетной и погреба. Самым очевидным следствием этого запрета было то, что во мне с особенной силой стала оживать прелесть воспоминаний, оставшихся от перелистывания наполовину непонятых трагедий Шекспира, наполовину забытых романов Жорж Санд. Но случаю было угодно, чтобы в начале шестого класса в хрестоматии французских авторов, служившей пособием для заучивания наизусть, мне попались кое-какие образчики современной поэзии. В этой книжке можно было найти отрывки из Ламар-



Уина, десяток стихотворений Гюго, «Стансы к Малибран» Альфреда де Мюссе, несколько страничек из Сент-Бёва и Леконта де Лиля. Этих всего каких-нибудь двухсот страниц было достаточно, чтобы я понял огромную разницу между современными поэтами и старыми классиками. Я почувствовал ее так же легко, как легко, даже с закрытыми глазами, ощутить разницу в аромате букета роз и букета сирени. Различие, которое я инстинктивно угадал, заключается в том, что до революции писатели никогда не брали в основу своих произведений человеческое чувство. Начиная же с восьмьдесят девятого года все изменилось. С этого времени у молодых писателей появилось нечто необузданное, печальное, особая изощренность душевных и физических ощущений, доходящих в своей обостренности до чего-то болезненного. Это сразу же увлекло меня с неотразимой силой. Мистическая чувственность стансов «Озеро» или «Распятие», чарующее великолепие некоторых «Восточных песен» приводили меня в восторг. Но особенно меня захватывало и доводило почти до лихорадочного состояния все то, что есть греховного в «Уповании на бога» и в некоторых строфах «Утешений». Неуловимую сложность греха, о которой я только что говорил вам, я почувствовал уже по некоторым поэтическим отрывкам, помещенным в школьной хрестоматии. И я стал испытывать к произведениям открытых мною писателей крайнее, почти иступленное любопытство, свойственное только юности. Юноша находится на пороге жизни. Он еще не видит ее, но уже слышит, как слышат грохот водопада, скрытого за деревьями. О, как этот грохот пьянит душу ожиданием!..

Дружба с мальчиком, который жил в нашем же доме, во втором этаже, еще больше разожгла это любопытство. Дело в том, что мой друг — его звали Эмиль — был таким же пожирателем книг, как и я. Мне было суждено очень рано потерять его. Но тогда он жил в более благоприятных условиях, чем я, так как не знал над собой никакой опеки. Его родители, люди уже пожилые, существовали на скромную ренту и проводили целые дни за раскладыванием пасьянса у окна, выходящего на улицу Бийяр; они пользовались колодой карт, приобретенной в соседнем кафе и насквозь пропахнувшей табачным дымом. Эмиль, предоставленный само-

му себе, мог наслаждаться в своей комнате чтением, сколько ему было угодно. Мы учились с Эмилем в одном классе, вместе отправлялись в лицей и вместе возвращались домой, поэтому мать охотно разрешала мне проводить у приятеля целые часы. Вскоре я привил этому милому мальчику страсть к стихам, которыми сам увлекался, и даже желание поближе познакомиться с их авторами. Мы ходили в коллеж по узким улицам старого города и обычно останавливались возле книжной лавки, у дверей которой стояли лотки с подержанными книгами. Там мы иногда покупали отдельные томики классиков. В какой восторг пришли мы, когда нам удалось отыскать в одном из ящиков два сборника стихов Мюссе в довольно неприглядном виде, ценою в сорок су за пару! Какие они были потрепанные, сколько на них было клякс!.. Мы перелистали их и уже не могли не приобрести эти сокровища. Сложив деньги, данные нам на неделю, мы унесли книжки домой и там, в комнате Эмиля, — он усевшись на кровать, а я на стуле, — прочли «Дона Паэза», «Каштаны из огня», «Порцию», «Мардоша», «Ролла». Во время чтения я весь дрожал, как будто бы совершал какой-то смертный грех. Мы читали эти стихи с жадностью, с упоением, опьяняли себя ими, как вином.

С тех пор в моих руках перебивало немало запретных книг, хранимых все в той же комнате Эмиля, а иногда и в моей собственной, с помощью всяческих уловок, вроде тех, к каким прибегают в опасную минуту любовники. Я очень любил эти книги, начиная с «Шагреновой кожи» Бальзака и кончая «Цветами зла» Бодлера, не говоря уже о стихах Генриха Гейне и романах Стендаля. Я уже никогда больше не испытывал таких возвышенных волнений, как при первой встрече с гениальным автором «Ролла». Я не был ни художником, ни историком, поэтому более или менее высокая ценность этих стихов, большее или меньшее их значение для современников были мне совершенно безразличны. Но автор их был как бы моим старшим братом, который открывал мне, еще слабому и не знавшему жизни, опасный мир любовного опыта. То, что я лишь смутно предчувствовал, а именно интеллектуальное убожество благочестия по сравнению с грехом, открылось мне тогда в совершенно новом и неожиданном свете.

Добродетели, которыми меня наставляли в детстве, вдруг показались мне такими серыми, жалкими и мелкими рядом с великолепом, богатством и иступленностью некоторых грехов... Богомольные прихожанки, преждевременно увядшие и постаревшие приятельницы матери, сделались для меня олицетворением простодушной веры, а безбожие символизировал прекрасный юноша, который под конец своей последней ночи взирает на кровавую зарю и в мгновение ока открывает весь горизонт легенды и истории, чтобы склонить голову на грудь прелестной, как мечта, девы, полюбившей его, увы, слишком поздно! Целомудрие, брак были теперь связаны для меня с представлением о буржуа, что по четвергам и воскресеньям размеренным шагом отправляются в Ботанический сад слушать музыку и каждый раз произносят одним и тем же тоном одни и те же фразы. А рядом с ними воображение рисовало мне озаренные химерическим сиянием поэзии лица прелюбодеев и неверных жен из «Испанских поэм» и из тех отрывков, что следуют за ними. Это был Дальти, убивающий мужа Порции и потом скитающийся со своей возлюбленной по сонным водам лагуны, мимо лестниц старинных дворцов; это был дон Паэз, убивающий Жуану, после того как любовный напиток бросил его в ее безумные объятия; это был Франк и его Бельколора, Гассан и его Намуна, аббат Кассио и его Сюзон. Я не был в состоянии отнестись критически к неправдоподобности этих романтических декораций или установить в таких стихах границу между искренностью и литературной условностью. За строками я видел самые мрачные глубины души, и они обольщали меня, пробуждали мой ум, уже обуреваемый любопытством к новым переживаниям, и мою уже и без того слишком развитую склонность к анализу. Другие книги, названия которых я привел, тоже служили для меня предметом искушения, хотя, может быть, и не столь сильного. Перед ранами человеческого сердца, с готовностью выставленными в этих книгах, я уже на пятнадцатом году жизни испытывал чувства, подобные тем, какие охватывали средневековых святых при созерцании ран Спасителя. Сила благочестия этих подвижников была так велика, что вызывала на их руках чудесные стигматы, изумление же перед стихами рождало в моей душе, в возрасте полного не-

знания жизни и незапятнанной чистоты, стигматы нравственных язв, кровоточивших у всех великих страдальцев нашего века. Да, в те годы, когда я был еще только лицеистом, приятелем маленького Эмиля, и тайком от матери читал недозволенные книги, я уже приобщился к тем волнениям, на которые мои робкие воспитатели указывали, как на самые греховные. Мечты мои питались опасными ядами жизни, и в то же время благодаря врожденному дару раздвоения личности я продолжал разыгрывать из себя примерного, благопристойно набожного мальчика, старательного ученика и послушного сына. Впрочем, это было не так. Быть может, это покажется вам странным, но я ничего не разыгрывал, потому что на самом деле был таким, с теми непосредственными противоречиями, которые, возможно, и толкнули меня на путь самоанализа, всецело поглотившего мои отроческие силы. Когда в вашем труде о воле я прочел полные глубокого смысла указания относительно множественности нашего «я», как мог я немедленно не хватиться за них, после того что мне пришлось пережить за годы, о которых я рассказываю вам здесь и в течение которых я действительно был многими существами одновременно?

Этот кризис чувствительности, реализуемой в области воображения, продолжал разрушать во мне веру и соблазнял изощренными грехами и мучительным скептицизмом. Но кризис чувственности, который явился следствием первого, чуть было снова не возродил уже угасавшую в моем больном сердце религиозность. Я перестал быть девственником в семнадцать лет и, как это часто бывает, при самых прозаических и невеселых обстоятельствах. Однажды после обеда я оказался наедине с прислугой, приходившей иногда к моей матери. Это была свежая, но заурядная женщина лет тридцати. Она воспользовалась тем, что мы остались вдвоем, обняла меня и жаркими поцелуями довела до иступления. Потом она пригласила меня к себе, и лихорадка, которую она вызвала во мне своими ласками, вместе с трепетным любопытством к плотским переживаниям, взбудораженным книгами, побудила меня пойти на это свидание. И вот, в случайной комнате, на постели, покрытой грубой простыней, в объятиях этой женщины, я потерял невинность. Мысль о моей физической непо-

рочности разжигала в ней такую животную страсть, что мне делалось страшно. Как только это произошло, я в припадке невыразимого отвращения бросился вон из комнаты. Мне казалось, что мои руки, губы, все мое тело покрыты такой грязью, которую не смыть никакой водой. Первой моей мыслью было бежать исповедоваться и молить бога, в которого я еще веровал, чтобы он дал мне силы не повторять этого. Такое отвращение длилось несколько дней, а затем со смешанным чувством страха и радости я заметил, что постепенно желание снова овладевает мною, и тут-то я и имел случай наблюдать ту черту своего характера, которую уже отметил, рассказывая об отце: неспособность контролировать свои поступки и владеть собою. Напрасно противопоставляя я позору нового падения в бездну похоти свои еще не вполне разрушенные религиозные убеждения и всю свою интеллектуальную утонченность, воспитанную чтением; напрасно убеждал я себя, что все это и отвратительно и пошло, что я мало чем отличаюсь в данном случае от тех товарищей, которые по четвергам проводят время в кабаках или у девок и которых мы с Эмилом так презирали. Однажды вечером, часов около восьми, сославшись на головную боль, я вышел из дому. Был летний вечер. И я теперь еще помню запах мокрой пыли, стоявший над только что политой площадью Жод. Я направился в предместье Сент-Алпир, где жила Марианна — так звали это существо, — в тревоге, что не застаю ее дома. Но я нашел ее в ее убогой комнатке, и тут впервые целиком отдался животному наваждению. Однако потом меня охватило то же омерзение, что и в первый раз. С тех пор, наряду с двумя «я», обитавшими во мне, наряду с пылким, порядочным и набожным юношей и с юношей, настроенным романтически, возник и вырос третий — сладострастник, которым владеют самые низменные животные вожделения. Однако склонность к интеллектуальной жизни сказывалась во мне с такой силой и остротой, что, страдая от своего необычного состояния, я одновременно сознавал и свое превосходство, потому что сам же это состояние констатировал и изучал. Самое удивительное заключалось в том, что я отдавался этому настроению не более, чем трем остальным, причем отдавался совершенно сознательно. Во всех этих переживаниях

я оставался подростком, другими словами — еще незрелым существом, с несложившимся характером, в котором едва намечались черты будущей личности. Я не утверждал себя ни в мистицизме, потому что в глубине души — в самой ее глубине — стыдился быть верующим, то есть человеком заурядным; ни в сентиментальных мечтаниях, ибо рассматривал все это как литературную забаву; ни в чувственности, поскольку я испытывал отвращение, как только покидал комнату Марианны. С другой стороны, у меня не хватало ни смелости, ни теоретических знаний, чтобы объяснить интерес к своим собственным проступкам. Это происходило, когда я был в классе риторики. Эмиль, которому суждено было умереть в ту вину от чахотки, уже тяжело болел и почти не выходил из дому. Он выслушивал мои признания с интересом, к которому примешивался страх. Это льстило моему самолюбию и делало меня в собственных глазах существом особого порядка. Но, как и накануне первого причастия, самолюбие не мешало и мне испытывать страх под взглядами аббата Мартеля, которые он бросал теперь на меня, когда мы встречались на улице. Несомненно, он рассказал моей матери то, что можно было сказать, не нарушая тайны исповеди, так как она стала следить за моими отлучками, хоть и не могла помешать им. Да она, вероятно, и не видела в них ничего предосудительного, до такой степени я был лицемерен. Но болезнь моего лучшего друга, надзор матери и страх перед аббатом привели к тому, что у меня расшатались нервы, тем более что в нашей местности, изобилующей вулканами, летние жары вызывают из почвы какие-то пряные, пьянящие испарения. Тогда мне случалось переживать буквально безумные дни, столько в них было противоречий, дни, когда я порой вставал утром более пламенным христианином, чем когда-либо. Я прочитывал несколько страниц «Подражания», молился и отправлялся в лицей с твердым намерением взять себя в руки и быть благоразумным. Вернувшись домой, я учил уроки, а потом спускался вниз к Эмилю. Некоторое время мы посвящали чтению какой-нибудь увлекательной книги. Родители Эмиля, понимавшие, что сын их умирает, баловали его и позволяли покупать любую книгу, которую ему хотелось. Мы с ним читали теперь произведения современных авторов. Новинки,

голько что полученные из Парижа, еще пахли свежей бумагой и типографской краской. Это чтение доводило нас до своего рода мозгового озноба, который не покидал меня в течение всего дня, даже во время лицейских занятий. В классе, в удушливой атмосфере жаркого дня, когда через открытую дверь на дворе были видны короткие тени от деревьев и слышались голоса диктующих учителей, передо мной вдруг возник образ Марианны, приходило искушение, сначала смутное и далекое, а потом все более и более сильное. Я боролся с ним, хотя и знал, что долго не выдержу, и борьба эта придавала ему еще большую силу и остроту. Я возвращался домой. Нечистый образ следовал за мной по пятам. С дьявольской поспешностью я готовил уроки, как-то находя еще для этого силы, несмотря на сумятицу взбудораженных нервов. Я ужинал, но чувствовал, что во рту у меня пересыхает, потом спускался вниз под предлогом, что мне надо поговорить с Эмилом, и бежал стремглав на улицу, где жила Марианна. Подле нее я вновь испытывал звериное вождение, обжигающее и терпкое, за которым снова следовало странное тошнотворное чувство, а вернувшись к себе, обычно проводил целые часы у окна, глядя на звезды, мерцавшие на безграничном летнем небе, вспоминая покойного отца и то, что он рассказывал мне об этих далеких мирах. Тогда меня ошеломляла мысль о тайне природы, о тайне человеческой души вообще и моей души, живущей среди этой природы, и я не знал, чему я больше изумляюсь: глубинам ли этих немых небес, или безднам, которые за один проведенный таким образом день раскрывались в моем сердце.

Таковы были мои настроения, дорогой учитель, когда я перешел в класс, ставший для меня решающим: в класс философии. С первых же недель курса начались мои восторги, хотя вы отлично представляете себе, что это был за курс и как он был набит всяким хламом классической психологии. Но как бы то ни было, психология — даже неточная и неполная, официальная и условная — привела меня в восторг. Применяемый в этой дисциплине метод — собственные наши размышления и анализ интимных переживаний; самый предмет изучения — человеческое «я», рассматриваемое в его свойствах и страстях; результат, к какому стремится

психология,—система общих идей, способных в кратких формулах резюмировать огромное количество отдельных феноменов,—все в этой еще неведомой мне науке соответствовало тому складу ума, какой сложился у меня в итоге наследственных задатков, воспитания и собственных устремлений. Я забыл обо всем на свете, даже о книгах, и целиком погрузился в эти еще непривычные для меня занятия с тем большим увлечением, что смерть Эмиля, моего единственного друга, случившаяся как раз в это время, вновь поставила перед моим любознательным умом проблему судьбы человека, а я чувствовал, что разрешить ее с помощью веры я уже не в состоянии. Мое рвение было настолько сильным, что вскоре я перестал удовлетворяться только лицейским курсом. Я разыскивал на стороне книги, которые могли бы дополнить уроки преподавателя, и таким-то образом и очутилась однажды в моих руках «Психология веры». Книга произвела на меня такое впечатление, что я тотчас же достал и «Теорию страстей» и «Анатомию воли». В области отвлеченных идей эти труды были для меня таким же ударом грома, как некогда в области художественных впечатлений произведения Мюссе. Завеса упала. Мрак внешнего мира и мира внутреннего озарился светом. Я нашел свой путь. Я стал вашим учеником.

Но, чтобы объяснить вам точнее, каким образом ваши идеи заполнили, подчинили себе мое сознание, разрешите сразу же перейти к тому, что явилось результатом чтения ваших книг и вызванных ими размышлений. Вы увидите, каким образом мне удалось извлечь из ваших произведений полную, совершенную и основанную на разуме этику, которая чудесным образом помогла мне объединить все разрозненные во мне элементы. Прежде всего в первом из этих трудов, в «Психологии веры», я нашел окончательное избавление от тех религиозных терзаний, которые еще преследовали меня, несмотря на все мои сомнения. Конечно, и раньше у меня не было недостатка в возражениях против догматов церкви, так как мне попадалось немало книг, отличительной чертой которых было самое смелое отрицание религии. В особенности меня привлекал к себе, как я вам уже говорил, скептицизм, ибо я находил в нем двойное достоинство: интеллектуальное превосходство и новизну в области



чувства. В числе многих других не избег я влияния и автора «Жизни Иисуса». Магия его изысканного стиля, царственное изящество его дилетантизма, томная поэзия его елейного безбожия меня глубоко трогали; но недаром я был сыном математика: я не мог удовлетвориться всем тем приблизительным, а порой и вовсе сомнительным, что мы видим у этого несравненного художника. Мои мысли покорила, дорогой учитель, именно математическая строгость вашей книги. Вы мне доказывали с помощью неотразимой диалектики, что всякая гипотеза о первопричине представляет собою нелепость, что сама идея об этой первопричине — бессмыслица, но что тем не менее эта нелепость и эта бессмыслица так же необходимы для нашего ума, как иллюзия вращения Солнца вокруг Земли необходима для нашего зрения, хотя мы отлично знаем, что Солнце неподвижно, а Земля находится в движении. Сила и убедительность этого рассуждения восхитили меня, и мой ум, покорно отдавшись вашему руководству, пришел, наконец, к ясному и обоснованному мировоззрению. Вселенная предстала предо мною такой, какой она есть на самом деле, источающей без начала и без цели неисчерпаемые потоки феноменов. Тщательность, с какой вы основывали вашу аргументацию в области фактов, почерпнутых из естественных наук, совершенно соответствовала тому методу, какой некогда применял отец, и уже это одно должно было прельстить меня очарованием старой привычки, к которой мой ум снова возвращался спустя много лет. Я читал и перечитывал страницы вашего труда, резюмировал их, комментировал и со всем пылом неопита старался впитать в себя их содержание. Интеллектуальная гордость, свойственная мне с самого детства, расцвела в юноше, который научился у вас отказываться от самых сладостных утешительных иллюзий. Как передать лихорадочные переживания, охватившие меня при этом посвящении в мир новых идей, переживания, которые своим блаженством и энтузиазмом были подобны первой любви! Мне доставляло почти физическое наслаждение с вашими книгами в руках потрясать древнее здание веры, в котором я вырос. Да, это было мужественное блаженство Лукреция, блаженство отрицания, дающего свободу, а не трусливая меланхолия какого-нибудь Жюффруа. Этому

гимну Науке, в котором каждая ваша страница подобна строфе поэмы, я внимал с восторгом, тем более что способность к анализу, до сих пор составлявшая основу моей религиозности, нашла благодаря вам новое и более полное применение, чем в исповедальне; два ваших главных трактата раскрыли мне мой внутренний мир, в то время как «Психология веры» осветила вселенную таким озарением, которое даже сегодня остается для меня последним и неугасимым светочем среди ненастной ночи.

В самом деле, как хорошо вы объяснили мне все несообразности моего детства! Теперь я понял доставившее мне столько горя нравственное одиночество возле матери, возле аббата Мартеля, возле товарищей, возле всех, не исключая даже Эмиля. Ведь в вашей «Теории страстей» вы блестяще доказали, что человек не в состоянии выйти из своего «я», что всякие отношения между двумя существами, как и все остальное в мире, покоятся на иллюзии. Ваша «Анатомия воли» и ее неопровержимая логика дали мне все необходимое для объяснения тех припадков чувственности, по поводу которых я переживал столь жестокие приступы раскаянья. Что же касается усложнений, в каких я часто винил самого себя, особенно останавливаясь на них как на недостатке искренности, то вы открыли мне, что это — непреложный закон существования, навязанный нам наследственностью. Благодаря вам я стал отдавать себе отчет в том, что, выискивая у романистов и поэтов нашего века греховные и болезненные состояния души, я тем самым следовал своему призванию психолога. Не правда ли, вы писали: «Человеческая душа должна рассматриваться ученым как предоставленный ему природой опыт. Одни из таких опытов полезны для общества, и тогда мы говорим о добродетели; другие — вредны, и тогда слово «добродетель» заменяется словами «порок» или «преступление». Однако эти последние явления — наиболее примечательны, и науке не хватало бы самых существенных элементов, если бы, например, не жил на земле Нерон или какой-нибудь итальянский тиран XV века...» Помню, как в жаркие летние дни с вашей книгой в кармане я отправлялся на прогулку и, оказавшись наедине с природой, читал какую-нибудь из таких фраз и с наслаждением размышлял над ее

смыслом. Я применял к окружающей природе философское толкование того, что обычно принято называть злом. Совершенно очевидно, что извержения, поднявшие горную цепь Дом, у подножия которой я бродил, некогда залили кипящей лавой и опустошили соседнюю равнину, уничтожив на ней все живое. Однако они создали то величие горизонта, которым я восхищался, любясь изящными очертаниями горы Парну, вершиной Пюи де Дом и благородством всего этого горного ландшафта. Вдоль дорог зеленел молочай в цвету. Я ломал его стебли, чтобы посмотреть, как капает из них молочно-белый сок. Этими ядовитыми цветами питается красивая зеленая гусеница с темными пятнышками; из нее появится бабочка с крыльями самых нежных оттенков, которую называют сфинксом. Иногда среди камней этих пыльных дорог проскальзывала гадюка, и я смотрел, как ее гибкое пятнистое тело с плоской головкой ползет по красноватой вулканической почве. Опасное пресмыкающееся представлялось мне еще одним доказательством равнодушия природы, которая с неистощимым упорством стремится только умножить виды жизни, все равно какой, полезной или вредоносной. И тогда я с невыразимой силой чувствовал, что окружающее дает мне тот же самый урок, что и ваши книги, то есть, что единственное, чем мы обладаем,— это наше «я», что только оно реально, что природа не знает нас, равно как не знают нас и люди, и нам нечего ждать от нее или от них, кроме повода для переживаний и размышлений. Мои прежние верования в бога отца и судию казались мне теперь бредом больного ребенка, и при одной мысли, что я, такой слабый, в состоянии постигнуть в этом мире то, чего никогда не понять какому-нибудь крестьянину из числа тех, что встречались мне во время прогулок, я готов был обнять весь мир, до самого горизонта, до самых глубин огромного, чистого неба. Правя мирными волами, запряженными в огромные повозки, крестьяне спускались с гор и набожно снимали шапки перед придорожными крестами. Я с каким-то упоением, всем сердцем презирал их за грубое суеверие, а заодно презирал и аббата Мартеля и мать, хотя еще и не решался объявить о своем безбожии, предвидя, какую это вызовет бурю. Но подробности эти не существенны, и я перехожу к изложению драмы, которую вам трудно

было бы понять, если бы я предварительно не обнажил перед вами самых сокровенных тайников своей души и не раскрыл процесса формирования моих взглядов.

### § 3.— В чуждой среде

В результате занятий, может быть, слишком усиленных, я в тот год довольно серьезно заболел и принужден был прервать подготовку к поступлению в Нормальную школу. Поправившись, я остался на второй год в классе философии, но одновременно посещал некоторые уроки в классе риторики. На экзамены в Нормальную школу я явился приблизительно в то же время, когда имел честь быть принятым вами. Вам известны события, последовавшие за этим: на экзаменах я провалился. Моим сочинениям не хватало того литературного блеска, который приобретает только в парижских лицейях. В ноябре 1885 года я принял предложение поступить гувернером в семью Жюсса-Рандон. Я писал вам тогда, что отказываюсь от своей независимости, чтобы избавить мать от новых расходов. К этому соображению примешивалась и тайная надежда на то, то сделанные здесь сбережения позволят мне, как только я выдержу экзамен на лиценциата, готовиться в Париже к карьере лицейского преподавателя. Меня тянуло в столицу особенно потому, — и теперь ничто не мешает мне признаться вам, дорогой учитель, — что это дало бы мне возможность поселиться где-нибудь недалеко от улицы Ги де ля Бросс. Посещение вашей уединенной обители произвело на меня неизгладимое впечатление. Вы представлялись мне современным Спинозой, благородным ученым, жизнь которого, в полном соответствии с вашими книгами, целиком посвящена теоретической мысли. Я уже создавал в воображении целую поэму, блаженно мечтая о том, что узнаю часы ваших прогулок и буду встречаться с вами в старом Ботаническом саду, деревья которого шумят под вашими окнами, и даже о том, что вы, быть может, согласитесь руководить мною и что при вашей помощи и поддержке я займу какое-то место в науке; словом, вы были для меня олицетворением Уверенности, Учителем с большой буквы, тем, кем являлся Фауст для Вагнера в психологической симфонии Гете.

Условия, предложенные мне семьей Жюсса-Рандон, были вполне подходящими. Речь шла о том, чтобы проводить время с двенадцатилетним мальчуганом, младшим сыном маркиза де Жюсса-Рандон. Впоследствии я узнал, почему эта семья была вынуждена перебраться на всю зиму в свой замок около озера Эда, где обычно Рандоны проводили только осенние месяцы. Сам маркиз де Жюсса, родом из Оверни, занимавший во времена Второй империи пост полномочного министра, только что проиграл очень крупную сумму на бирже, и без того уже пострадав во время последнего биржевого краха. Поместья его были заложены, и доходы заметно сократились, поэтому было решено сдать внаем со всей мебелью за очень высокую плату родовой особняк на Елисейских Полях. Семья отправилась в поместье Жюсса несколько раньше чем обычно, рассчитывая перебраться оттуда на свою виллу в Канны. Однако представился удобный случай сдать и виллу. Желание облегчить свой бюджет, а вместе с тем и развившаяся у маркиза ипохондрия навели его на мысль, что провести круглый год в деревне не так уж плохо. Тут его захватил врасплох неожиданный отъезд гувернера, которому, очевидно, не очень-то улыбалось похоронить себя на несколько месяцев в глуши, и маркизу пришлось спешно отправиться в Клермон. Тридцать пять лет тому назад он изучал в этом городе математику у г-на Лимассе, который был другом моего отца. Тут маркизу и пришлось в голову просить старого учителя, чтобы тот порекомендовал ему какого-нибудь дельного и образованного молодого человека, который в течение года мог бы заняться воспитанием его сына. Он предлагал за этот труд пять тысяч франков. Лимассе вспомнил обо мне, и по причинам, о которых я уже говорил, я согласился, чтобы меня представили маркизу в качестве кандидата на это место. И вот однажды в салоне одного из отелей на площади Жод я увидел довольно высокого лысого господина, со светло-серыми глазами и с лицом, покрытым красными пятнами. Маркиз даже не дал себе труда взглянуть на меня как следует; он сразу же заговорил и разглагольствовал не переставая, мешая в разговоре всякие подробности о своем здоровье — он был очень мнителен — с резкой критикой современных методов воспитания. Мне кажется, что я еще слышу

его голос, слышу, как он небрежно сыплет фразами, открывавшими самые различные стороны его характера: «Послушайте, милый Лимассе, когда же вы соберетесь к нам в горы? Воздух у нас замечательный! Это как раз то, что мне нужно. В Париже я задыхаюсь. Вообще, мы не дышим полной грудью. Я надеюсь, сударь, — тут он обернулся ко мне, — что вы не сторонник новых методов воспитания? Наука, только наука! А бог, господа ученые? Куда вы его девали? — Потом, снова обращаясь к г-ну Лимассе: — В мое, или, вернее, в наше время все-таки еще существовали иерархия и чувство долга. Еще не жертвовали воспитанием ради образования. Помните нашего духовника, аббата Абера? То-то был проповедник! Какое у него было завидное здоровье! Помните, как он, бывало, бодро шествовал в любую погоду и никогда не кутался?.. А вам, Лимассе, сколько лет? Шестьдесят пять? Ого... Шестьдесят пять лет — и никаких болезней? Ни одной?.. Но не находите ли вы, что с тех пор, как мы перебрались в горы, вид у меня лучше? Я никогда по-настоящему не хвораю, но вечно у меня что-нибудь не так... Между прочим, если уж хворать, то я предпочел бы хворать по-настоящему. Тогда по крайней мере было бы от чего лечиться...»

Я привожу здесь эти несуразные фразы, как они сохранились у меня в памяти, только для того, чтобы показать, чего стоил ум этого господина, который, как мне сообщила мать, позволил себе впутать ваше почтенное имя в этот процесс. И также для того, чтобы вы могли понять, в каком настроении я явился четыре дня спустя после этого разговора в замок, где судьба столкнула меня с такими ужасными событиями. Я понравился маркизу с первой же встречи, и он пожелал отвезти меня в замок в своем ландо. Во время переезда из Клермона в Эда он успел рассказать мне о всех членах семьи. Благодаря его безудержной болтливости — причем он непрестанно возвращался к собственной особе — я постепенно узнал, что его жена и дочь не любят светское общество, что обе они превосходные хозяйки, что его старший сын, граф Андре, в настоящее время находится в двухнедельном отпуске в замке и что мне не следует обращать внимания на его резкости, так как в сущности у него золотое сердце. Маркиз рассказал

мне также, что его младший сын, Люсьен, был очень болен и что самое важное сейчас — восстановить его здоровье. Но при слове «здоровье» он снова заговорил о себе, — и пошел и пошел! После бесконечных признаний о своих мигренях, несварении желудка и бессоннице, о своих бывших, настоящих и будущих недугах он вдруг уснул в уголке экипажа, видимо, утомленный прохладным воздухом и потоком своих собственных слов.

Я отлично помню все планы, которые мысленно строил, отделившись наконец от этого несносного болтуна, уже ставшего предметом моего глубокого презрения. Я строил их, любуясь прелестными пейзажами, открывавшимися перед нами среди гор и пропастей и желтеющих осенних рощ, над которыми на горизонте возвышалась гора Пюи де ля Ваш с ее морщинистым кратером, покрытым красноватой вулканической пылью. Даже если бы я не был подготовлен ко всему этому заранее, было вполне достаточно того, что я разглядел в маркизе и что он сам успел наболтать о своей семье, чтобы я понял, что еду как в ссылку и буду жить среди людей, которых привык причислять к варварам. Так я уже давно называл всех, кого считал безнадежно чуждыми уметвенной жизни.

Перспектива подобной ссылки не пугала меня. Ведь план, на основании которого я собирался построить жизнь, представлялся мне таким ясным! Я уже решил, что буду жить только внутренней жизнью, в самом себе, и всячески оберегать свое «я» от посягательств на него извне. Замок, куда я направлялся, и люди, которые жили под его кровлей, должны были стать для меня только материалом для исследований к вящей пользе моего мышления. Моя программа была выработана заранее: те двенадцать или четырнадцать месяцев, которые мне предстоит провести в замке, я использую для изучения немецкого языка и для того, чтобы протудировать два тома «Физиологии» Бонн, лежавших в моем чемоданчике, набитом главным образом вашими книгами, дорогой учитель. Вместе с ними там находилась и моя настольная книга — «Этика» и сочинения Рибо, Тэна, Герберта Спенсера, кое-какие психологические романы и учебники, необходимые для подготовки к экзаменам. Я рассчитывал держать экзамены в июле.

Не начатая тетрадь была специально приготовлена для того, чтобы заносить в нее заметки об обитателях замка. Я решил, что буду разбирать их по косточкам, и с этой целью приобрел перед отъездом запирающийся на ключик альбом, на первом листе которого написал следующее изречение из «Анатомии воли»: «Спиноза утверждал, что он изучает человеческие чувства, как математик изучает геометрические фигуры; современный психолог должен изучать их, как химические соединения, производимые в реторте, сожалея только о том, что его реторта менее прозрачна и удобна в обращении, чем лабораторная...» Я рассказываю вам об этих пустяках для того, чтобы показать степень своей тогдашней искренности, а также и то, как мало я походил, когда ехал в ландо по дороге в Эда, на того бедного, но честолюбивого юношу, образ которого выведен во множестве романов.

Я отлично помню, что, при своей обычной склонности к раздвоению, я с первой же минуты не без удовольствия констатировал это различие. Я вспоминал Жюльена Сореля из «Красного и черного», когда он направлялся в дом г-на де Реналья, вспоминал искушения бальзаковского Рюбампре перед домом Баржетонов и некоторые страницы из «Вентра» Валлеса. Я анализировал чувства, которые скрывались за вожделениями и мятежностью этих столь различных героев. Переходя из одного мира в другой, все они испытывали изумление. Должен сказать, что у себя я никаких следов такого изумления не находил, тем более изумления, связанного с алчностью или со злобой. Я совершенно спокойно смотрел на старого маркиза, дремавшего рядом. В тот прохладный ноябрьский день на нем было меховое пальто, поднятый воротник которого наполовину закрывал лицо. Ноги у него были покрыты темным пледом из мягкой шерстяной материи. На руках, поддерживавших плед, были коричневые перчатки с черными узорами. Надвинутая на глаза фетровая шляпа блестела, как шелк. Уже по этим подробностям можно было судить о разнице между образом жизни маркиза и жалким убожеством нашего домашнего обихода, скрываемым лишь благодаря редкой опрятности моей матери. Но я испытывал удовлетворение от того, что это богатство не вызывает во мне ни малейшей зависти,— ни зависти,



ни робости. Я великолепно владел собой, чувствовал себя уверенно и от всякого вульгарного посягательства на меня был, как броней, укрыт своей теорией, вашей теорией, и неизменным превосходством моих идей. Мой тогдашний внутренний портрет будет очерчен со всей полнотой, если прибавить к этому, что я дал себе слово раз навсегда вычеркнуть любовь из своей жизненной программы. Дело в том, что после приключения с Марианной у меня было еще одно любовное приключение — о нем я умолчал, — с женой лицейского преподавателя, женщиной до того глупой и вместе с тем до того претенциозной, что я расстался с ней, более чем когда-либо утвердившись в своем презрении к умственным способностям «дамы», как выразился Шопенгауэр, и также с полным отвращением к чувственности. Я приписываю это отвращение к плоти глубокому влиянию на меня католицизма, сохранившего власть надо мной, несмотря на новые догмы моей духовной жизни. По опыту, который я слишком часто повторял, я уже знал, что этой гадливости еще недостаточно, чтобы подавить в себе плотские вожделения. Но я также знал, что они рождались у меня — например, в дни встреч с Марианной — только оттого, что я не сомневался в возможности их удовлетворить. Поэтому я рассчитывал, что одиночество в замке избавит меня от соблазнов и позволит в полной мере осуществить правило древнего мудреца, который сказал: «Инстинкты пола обуздывай мыслью!» Ах, это мое вечное преклонение перед мозгом, перед мыслящим «я»! Преклонение перед ним до такой степени гнездилось во мне, что одно время я даже хотел изучать монашеские уставы, чтобы при их помощи лучше выполнить это предписание. Да, я собирался ежедневно посвящать, как это делают монахи, определенное время размышлениям над каким-нибудь вопросом своего философского кредо и ежедневно, по монашескому обычаю, отмечать день одного из моих святых — Спинозы, Гоббса, Стендаля, Стюарта Милля, вас, дорогой учитель, — вызывая в памяти образ и теорию избранного мною наставника и вдохновляясь его примером. Я понимаю, что такие планы можно объяснить только молодостью и что все это было очень наивно. Но по крайней мере вы убедитесь, что я совсем не был тем человеком, каким меня теперь изображает семья

маркиза,— плебеем-интриганом, который только и мечтает о выгодной женитьбе; если совращение мадемуазель де Жюсса и входило в мои расчеты, то это было обусловлено и вызвано обстоятельствами совершенно особого рода.

Я пишу не для того, чтобы выставлять себя перед вами в романтическом свете, и не вижу причин скрывать от вас, что среди обстоятельств, толкнувших меня на мысль об обольщении, от которой я был далек в день приезда в замок, самым важным я считаю первое впечатление, произведенное на меня графом Андре, братом этой несчастной, воспоминание о которой, по мере того как драма приближается к развязке, терзает меня, как пытка. Но вернемся к моему приезду в замок... Было около пяти часов. Вот ландо катит быстрее. Маркиз проснулся. Он показывает мне подернутую рябью поверхность маленького озера, розоватого и холодного в час заката, бросающего красные отблески на сухие листья буков и дубов. Вдали показался замок,— большое белое здание не очень старой постройки, с чересчур тонкими башенками, конические крыши которых напоминают крепостные караулки. Замок приближается с каждым поворотом серой дороги. Над соломенными крышами соседнего села, или, вернее, деревушки, высится крытая черепицей колокольня. Но скоро и она останется позади. Вот мы уже едем по старой аллее, ведущей к замку, мы около подъезда и наконец в вестибюле. Входим в гостиную. Как все дышало безмятежностью в этой гостиной, освещенной лампой под широким абажуром, как весело потрескивал камин! В комнате я заметил несколько групп. Маркиза де Жюсса с дочерью занимались каким-то вязаньем для бедных; прислонившись к раскрытому роялю, на котором лежали ноты, мой будущий ученик рассматривал книгу с картинками; скромно сидя в сторонке, гувернантка мадемуазель Шарлотты и какая-то монашка шили; граф Андре читал газету, которую он отложил в сторону, когда мы вошли. Каким миром дышало все в этой гостиной! И кто бы мог предполагать, что мое появление в ней означает конец счастливой жизни для всех этих людей, которые в настоящую минуту рисуются в моей памяти с поразительной отчетливостью! Прежде всего в моем воображении возникает сама маркиза, высокая, полная женщина

с несколько крупными чертами лица и весьма отличающаяся от того представления о светской даме, которое я, при совершенном незнании аристократического общества, мог составить себе мысленно. Она, по-видимому, действительно была образцовой хозяйкой, какой рекомендовал ее маркиз, но, кроме того, и прекрасно воспитанной дамой. Достаточно ей было сказать мне несколько слов по поводу хорошей погоды, благоприятствовавшей нашей поездке, чтобы я тотчас же почувствовал себя здесь как дома. Далее я вижу невыразительный профиль гувернантки, мадемуазель Элизы Ларже, и застывшую на ее бесцветном лице неизменно одобрительную улыбку старой девы, которая могла бы служить типичным примером простодушного и счастливого раболепия, спокойной жизни и материального благополучия. Рядом с нею сидит сестра Анакле; у нее глаза крестьянки и тонкие губы. Монахиня постоянно находилась в замке, готовая в любую минуту сделаться сиделкой у маркиза, которому вечно грозил удар. Потом я вижу Люсьена, ленивого ребенка с пухлыми щеками. Я вижу ту, которой уже нет в живых, ее тонкую фигурку в светлом платье, ее серые глаза, особенно кроткие благодаря бледной окраске, ее каштановые волосы, продолговатое лицо и жест, каким она подавала отцу и мне по чашке чаю, чтобы мы согрелись с дороги. Я еще слышу ее голос, когда она обратилась к маркизу:

— Отец, вы заметили, что сегодня озеро было совсем розовое?

Слышу я и голос господина де Жюсса, ответившего дочери между двумя глотками грога:

— Во всяком случае, я заметил, что над лугами туман, а в воздухе пахнет ревматизмом.

Я слышу голос графа Андре, который вмешался в разговор:

— Все это верно, зато какая великолепная предстоит завтра охота! — Потом, обернувшись ко мне, он спросил: — А вы не охотник, господин Грелу?

— Нет, — ответил я.

— А верхом ездить любите?

— Тоже нет.

— Мне жаль вас, — рассмеялся он. — По-моему, если не считать войны, то это два самых больших удовольствия.

Конечно, такой отрывок разговора мало что значит, и, вероятно, вы не поймете, почему эти простые фразы были причиной того, что граф Андре де Жюсса показался мне человеком, не похожим на всех тех, с кем я встречался до сих пор, и почему, поднявшись в свою комнату, где лакей начал распаковывать мой чемодан, я думал о нем больше, чем о его хрупкой и изящной сестре, а за столом во время обеда и в течение всего вечера следил только за ним. Однако мое наивное изумление в присутствии этого мужественного, уверенного в себе человека объяснялось очень просто. Ведь до этого я рос в среде, занятой исключительно интеллектуальными интересами. Моими товарищами были первые ученики, такие же хрупкие и слабые здоровьем, как я сам, и мне в голову не приходило обращать внимание на товарищей другого рода, на тех, которые отличались в гимнастических упражнениях, служивших им, впрочем, только предлогом для проявления силы. Все мои любимые учителя и немногочисленные друзья отца тоже были людьми интеллектуального склада. А рисуя в своем воображении героев из романов, которые мне приходилось читать, я всегда представлял себе их более или менее сложную манеру мыслить, а не их физические качества. Короче говоря, когда я думал о превосходстве человека, обладающего здоровой животной энергией, я делал это вполне отвлеченно. Граф Андре, которому было немного за тридцать, являл собою замечательный образчик такого превосходства. Представьте себе человека среднего роста, атлетического сложения, широкоплечего и стройного, с движениями, свидетельствующими о физической силе и гибкости. Глядя на такие движения, чувствуешь, что каждое из них производится с тем совершенством, которое объясняется точностью и ловкостью. У графа были породистые руки и ноги, сами по себе говорившие о его происхождении, а вместе с тем и чрезвычайно мужественное лицо и смуглый оттенок кожи, указывающий обыкновенно на кровь, богатую железом и красными кровяными шариками. У него был четырехугольный лоб, обрамленный иссиня-черными волосами, такие же черные усы над плотно сжатым энергичным ртом, карие, близко расположенные друг от друга глаза и нос с горбинкой. Все это придавало его облику сходство с какой-то хищной птицей. Наконец, энергично очерченный под-

бородок с ямочкой завершал волевой характер этого лица. Воля и была отличительным признаком графа: действие, воплотившееся в человеке. У этого офицера, с телом, развитым всеми видами физических упражнений, и готового на любой подвиг, не было, казалось, ни малейшего нарушения в равновесии между мыслью и действием, и в каждом малейшем его жесте выражалось все его существо. Впоследствии я неоднократно наблюдал, как граф ездил верхом, и в моем воображении воскресала античная легенда о кентавре; я видел, как он всаживает на расстоянии тридцати шагов одну за другой десять пуль в игральную карту, как во время прогулок перепрыгивает с ловкостью профессионального гимнаста рвы или, чтобы позабавить своего младшего брата, перескакивает через стол, едва касаясь его руками. Я узнал, что на войну он ушел добровольцем, хотя ему тогда едва минуло шестнадцать лет, и проделал всю кампанию, легко перенося самые тяжкие лишения и подерживая дух старых солдат. Я наблюдал за ним в первый вечер во время обеда, смотрел, как степенно он ест, с тем прекрасным аппетитом, который свидетельствует о полноте жизни, как он говорит звучным и властным голосом,— и я сразу почувствовал, что передо мною существо, во всем отличное от меня, но по-своему совершенное и в своем роде вполне законченное. Теперь, когда я пишу эти строки, мне кажется, что все это было вчера, что я снова нахожусь в гостиной, где маркиз начинает с дочерью очередную партию в безик, а я беседую с маркизой и украдкой наблюдаю, как граф Андре один играет на бильярде. Я видел его в тот вечер в пролете открытой настежь двери, гибкого и сильного, в вечернем костюме из тонкого сукна, с сигарой во рту, видел, как он толкает шары с такой безупречной ловкостью, что каждое его движение преисполнено изящества. И вот я, ваш ученик, безмерно гордый широтой своих мыслей, с завистливым изумлением следил за каждым жестом этого молодого человека, предававшегося довольно вульгарному спорту. Так ученый средневековый монах, непривычный к могучей игре мускулов, испытывал зависть и восхищение при виде рыцаря, шествовавшего в полном вооружении.

Произнося слово «зависть», умоляю вас понять меня правильно и не приписывать мне низменных чувств,

которые никогда мне не были свойственны. Ни в тот вечер, ни в последующие дни ни малейшей зависти ни к титулу графа Андре, ни к его богатству, ни к одной из его общественных привилегий, какими он обладал и каких я был лишен, я не испытывал. Не испытывал я и той странной ненависти одного самца к другому, о которой вы очень тонко говорите на страницах своего труда, посвященных любви. Моя мать имела слабость твердить мне в детстве, что я красивый мальчик. Часто повторяли мне это и Марианна и другая моя любовница. Не будучи фатом, я все же понимал, что в чертах моего лица и в фигуре есть нечто, что может нравиться женщинам. Я рассказываю вам это не из тщеславия, а наоборот, для того, чтобы показать, что тщеславие не играло ни малейшей роли в том виде соперничества, которое с первых же дней сделало меня противником, почти врагом графа, хотя он ни на минуту и не подозревал об этом. Повторяю, в этом соперничестве было столько же восхищения, сколько и антипатии. В сущности чувство, которое я пытаюсь определить здесь, носило в себе определенные следы бессознательного атавизма. Позднее я расспрашивал маркиза, дворянской спеси которого льстили такого рода расспросы, о генеалогии Жюсса-Рандонов и убедился, что они — потомки завоевателей, в то время как в жилах потомка лотарингских крестьян, который пишет для вас эти записки, течет кровь расы покоренной, кровь многочисленных предков, в течение столетий прикрепленных к земле. Конечно, между моим мозгом и мозгом графа Андре такое же различие, как, например, между моим и вашим, дорогой учитель, и, может быть, еще более значительное, так как я могу вас понять, граф же едва ли мог воспринять хотя бы одно из моих умозаключений, даже то, которое я высказываю в эту минуту о наших отношениях с ним. Если говорить начистоту, то я — цивилизованный человек, а он — варвар. Но, представьте себе, я сразу же испытал ощущение, что моя утонченность менее аристократична, чем его варварство. Я вдруг почувствовал глубинным жизненным инстинктом, куда мысль проникает с таким трудом, то преимущество породистости, которое современная наука вполне признает и которое, будучи действительным для всей природы, должно быть действительным и для человека. Но зачем произносить неточное

слово «зависть» для обозначения бессознательной вражды, вроде той, какую сразу же возбудил во мне граф? Почему бы этой вражде не быть наследственной, как и многим другим явлениям? Ведь всякое человеческое качество, например, сильный характер или неиссякающая активность, предполагает, что в течение многих веков целый ряд индивидуумов, завершением цепи которых является данный субъект, проявлял свою волю и действовал. Качество же, выражающееся в мощной мысли, порождено цепью индивидуумов, которые, наоборот, больше размышляли, чем проявляли волю, больше созерцали, чем действовали. В течение длинного ряда лет антипатия, то ясно выраженная, то скрытая, сделала людей первой группы ненавистной для второй, и когда наследники этой гигантской работы веков, одинаково типичные для каждой из этих групп, как, например, мы с графом, встречаются, то как же им не ощериться друг на друга, словно двум зверям равной породы? Лошадь, никогда не выдавшая льва, дрожит от страха, если ей бросят на подстилку солому, на которой до этого лежал хищник. Следовательно, страх передается по наследству. А разве страх не является одним из выражений ненависти? Почему же тогда нельзя унаследовать и ненависть? Ведь в тысяче случаев зависть не что иное, как именно это чувство; таким чувством она была и для меня — отдаленным эхом той ненависти, которую некогда испытывали наши предки, продолжающие в наших сердцах борьбу, начатую много столетий тому назад.

Известная поговорка гласит, что антипатии всегда взаимны, и если принять мою гипотезу о вековом происхождении антипатии, то нетрудно понять и корни этой взаимности. Однако случается, что антипатия не обнаруживается в двух существах одновременно. Это, например, бывает тогда, когда один из соперников не снисходит до того, чтобы считаться с другим, или когда один прячется от другого. Я не думаю, что граф Андре воспытал с первой же встречи той ненавистью по отношению ко мне, которая, конечно, вспыхнула бы у него, если бы он пожелал читать в моей душе. Во-первых, он очень мало обращал внимания на какого-то юношу, который явился к ним из Клермона, чтобы занять место домашнего учителя, а я со своей стороны решил, что в чуждой для меня среде буду всячески скрывать свое подлинное

«я». Такое защитное лицемерие не было мне противно, подобно тому как садовнику Жюсса-Рандонов нисколько не противно укрывать кусты смородины, чтобы предохранить их от заморозков. Ложь в отношениях с людьми, всегда привлекавшая меня благодаря прирожденной склонности к раздвоению личности, слишком соответствовала моей интеллектуальной гордости, чтобы я не предавался ей с полным восторгом. У графа же Андре не было никаких причин скрывать от меня свой истинный характер, и в самый вечер моего приезда в замок, когда настал час расходиться по своим комнатам, он пригласил меня зайти к нему, чтобы побеседовать. При этом он едва взглянул на меня, и я отлично понял, что меня приглашают отнюдь не для того, чтобы познакомиться со мной поближе, а лишь для того, чтобы сообщить мне свои взгляды относительно обязанностей воспитателя. Граф Андре занимал в одном из флигелей замка небольшое помещение, состоявшее из трех комнат: спальни, гардеробной и курительной, в которой мы и встретились. Обстановку ее составляли большой задрапированный диван, несколько кресел и широкий письменный стол. На стенах поблескивало оружие всех стран и народов: марокканские ружья из Танжера, сабли и мушкеты времен Первой империи, каска прусского солдата, которую граф показал мне, едва я успел войти в комнату. Он закурил короткую вересковую трубку, поставил на стол два стакана джина, разбавленного сельтерской водой, и, подняв лампу, чтобы осветить каску с медным острием, стал мне рассказывать:

— Уверен, что этого я ссадил собственной рукой... Вы не знаете, что это за ощущение, когда держишь врага на мушке, тщательно прицелившись, и видишь, как он падает. Приятно подумать: «Одним меньше!» Это произошло в какой-то деревне, недалеко от Орлеана, на рассвете... Мы были тогда в карауле на деревенском кладбище. Вдруг вижу, над оградой появилась чья-то голова! Человек оглянулся по сторонам... Вот и плечи показались... Вероятно, этому любопытному немцу захотелось посмотреть, что мы тут делаем... Ну, ему не пришлось вернуться с докладом...

Граф поставил лампу на стол и рассмеялся своим воспоминаниям. Потом лицо его снова сделалось серьезным. Я решил, что приличнее требует пригубить стакан,



хотя меня от этой смеси алкоголя с шипучей водой и тошнило, а граф продолжал рассказывать:

— Я почел нужным поговорить с вами, сударь, в первый же вечер, чтобы объяснить вам характер нашего Люсьена и указать, в каком направлении вы должны им руководить. Гувернер, которого вы заменили, был славным малым, но слишком уж слабого, вялого характера. Вашу же кандидатуру я поддерживал потому, что вы молоды, а для тех обязанностей, которые требуется выполнять по отношению к Люсьену, юноша подходит больше, чем человек в летах... Образование, на мой взгляд,— ничто, а то и хуже, чем ничто, если вашу голову забивают всякой чепухой... Самое важное в жизни, можно даже сказать, единственное, что важно,— это характер.

Он сделал паузу, по-видимому, желая узнать мое мнение по этому поводу; я ответил какой-то банальной фразой, выражающей согласие.

— Ну, очень рад,— продолжал он,— значит, мы пойдем друг друга. Видите ли, в настоящее время во Франции для человека нашего положения существует только одна достойная карьера: военная... До тех пор, пока наша страна будет в руках всякой сволочи и пока остается задача побить Германию, наше место в единственном незапятнанном уголке, который еще остался: в армии... Слава богу, родители разделяют мое мнение. Люсьен будет военным, а солдату не требуется знать слишком много, какие бы глупости ни говорились сейчас на этот счет... Честь, хладнокровие, мускулы! Если человек к тому же предан Франции, этого вполне достаточно. Я по себе знаю, сколько труда нужно, чтобы стать бакалавром!.. Я хочу сказать, что в нынешнем году, раз уж мы в деревне, Люсьен должен возможно больше времени проводить на воздухе и вести более или менее суровый образ жизни. А что касается обучения, то следует ограничиться беседами. И я прошу вас обратить особое внимание на эти беседы. Вы должны подчеркивать практическую, позитивную сторону жизни и особенно указывать ему на принципы. У него есть недостатки, которые необходимо искоренить в самом зародыше. Вы скоро убедитесь, что у него доброе сердце, но что он чересчур мягок. Необходимо, чтобы он закалял себя. Требуйте, например, чтобы он гулял в любую

погоду и ходил пешком не меньше двух-трех часов в день. Он очень неточен. Я настаиваю на том, чтобы вы сделали из него человека пунктуального, как хронометр! Он не прочь иногда приврать. С моей точки зрения, это — самый ужасный порок. Я все прощу, какие бы глупости ни делал человек. Я сам делаю глупости, однако ложь не прощу никогда! Никогда!.. Мы получили от старого учителя моего отца прекрасные отзывы о вас, о вашей жизни с матушкой, о вашей прямоте и присущем вам чувстве собственного достоинства и поэтому очень рассчитываем, что ваше влияние на Люсьена будет благотворным. Ваш возраст позволит вам быть не только его воспитателем, но и товарищем. Между прочим, лучший способ воспитания — на собственном примере. Твердите сколько угодно новобранцу, что идти в атаку почетно и благородно, он вас не поймет. А вот если вы сами пойдете впереди него, знаете, так, очертя голову, то он даже превзойдет вас в храбрости... Я через несколько дней возвращаюсь в полк. Но буду ли я тут, или не буду, вы всегда можете полагаться на мою поддержку, если потребуются принять меры, чтобы наш мальчуган сделался человеком, каким он должен быть, человеком, который способен послужить родине, а будь на то божья воля, то и королю...

В этой краткой речи графа, которую, мне кажется, я воспроизвожу здесь почти дословно, я не услышал ничего такого, что удивило бы меня. Вполне естественно, что в семье, где отец — маньяк, мать — всего лишь домашняя хозяйка, а сестра — совсем еще молоденькая, робкая девушка, всем распоряжался старший брат и что именно он давал указания новому воспитателю. Было также понятно, что офицер и дворянин, воспитанный в убеждениях, присущих его классу и профессии, говорил со мной как офицер и дворянин. С вашим всесторонним пониманием человеческой природы, с той легкостью, с какой вы, дорогой учитель, обнаруживаете непреложную связь между темпераментом и средой человека, с одной стороны, и его идеями, с другой, вы увидели бы в графе Андре де Жюсса-Рандон вполне определенный и очень интересный объект для изучения. А я как раз для того и приобрел тетрадь с замочком, чтобы собирать документацию о человеческой природе и именно документацию подобного характера. Ведь в лице этого офицера,

такой цельной и примитивной личности, мне представлялось совершенно новое поле для наблюдений над человеком, чья манера мыслить, по-видимому, целиком соответствовала манере жить, дышать, двигаться, курить, есть. Однако я отдаю себе ясный отчет, что моя философия в данном случае все-таки не владела мною всецело, не пронизывала меня до мозга костей, раз речь графа и высказанные им убеждения, вместо того чтобы понравиться мне своей редкостной логикой, еще сильнее разожгли во мне антипатию к нему, неожиданно возникшую где-то в глубинах моей души, — быть может, в моем самолюбии, ибо нельзя же было отрицать, что по сравнению с этим сильным человеком я — совсем хилое, слабое создание. Во всяком случае, эта ненависть возникла в самых недрах моего существа. Ни одна из мыслей, которые высказывал граф Андре, не имела в моих глазах ни малейшей ценности. С моей точки зрения, все это было чистейшим вздором, и вот, вместо того чтобы вызвать у меня презренье, как это было бы в любом другом случае, этот вздор породил во мне ненависть, поскольку был высказан устами графа. Военная профессия? Я считал ее до того презренной из-за ее грубости и напрасной потери времени, что был счастлив, что я единственный сын у вдовы и тем самым избавлен от варварской обстановки казармы и всех тягот воинской дисциплины. Ненависть к Германии? Я всячески старался изжить ее в себе как один из глупейших предрассудков отчасти из отвращения к тем недалеким товарищам, которые бесновались в порыве невежественного патриотизма, а отчасти в силу благоговейного преклонения перед народом, давшим психологии Канта и Шопенгауэра, Лотце и Фехнера, Гельмгольца и Вундта. Политические убеждения? Но я питал одинаковое презрение ко всем тем грубым теориям, которые под маркой легитимизма, республиканизма или цезаризма стремятся управлять страной а priori. Вместе с автором «Философских диалогов» я мечтал об олигархии ученых, о диктатуре психологов и экономистов, физиологов и историков. Практическая жизнь? Такая жизнь представлялась мне неполноценной, мне — человеку, видевшему во внешнем мире лишь поле для опытов, по которому не связанный предрассудками ум осторожно пускается только ради того, чтобы испытывать те или иные

ощущения. Наконец, презрение ко лжи, высказанное моим собеседником, было для меня почти оскорбительным, а абсолютное доверие к моей безупречной нравственности, основанное на превратном представлении обо мне, стесняло меня, корбило и возмущало. Впрочем, несоответствие это было не лишено пикантности. Я выдавал себя за человека, вполне сходного с тем портретом, какой изобразил старый друг моего отца; мне даже было отчасти приятно, что меня считают таким, и в то же время я был раздражен тем, что граф не почел нужным проявить ко мне недоверие. Тут была какая-то загадка, которая нарушала всю мою концепцию. Не доказывает ли это, что никто из нас не знает себя до конца? Вы, мой дорогой учитель, прекрасно выразили эту мысль: «Наше сознание в тот или иной момент напоминает острова в океане мрака, который навеки скрывает от нас их основание. Задача психолога заключается в том, чтобы, оперируя зондом, нащупать почву, на которой эти острова превращаются в видимые вершины той горной цепи, что остается невидимой и неподвижной под вечно движущейся массой воды...»

Я отвел столько места рассказу о своей первой беседе с графом Андре не потому, что этот разговор повлек за собой какие-либо немедленные последствия. Ведь я поднялся к себе, предварительно заверив графа, что вполне придерживаюсь его взглядов относительно воспитания младшего брата, а очутившись в своей комнате, ограничился тем, что записал его слова, снабдив их довольно-таки презрительными комментариями. Однако первое мое впечатление даст вам возможность понять аналогичные впечатления, последовавшие за этой беседой, и тот неожиданный, хотя и вполне естественный духовный кризис, который был ими вызван. Это была как раз одна из тех подводных горных цепей, о каких вы пишете в своем труде, и я теперь постигаю все ее скрытые детали, погрузив зонд в самую глубину своего сердца. Под влиянием ваших книг, дорогой учитель, и вашего личного примера я все больше и больше предавался умственной жизни. Мне казалось, что я уже совершенно избавился от болезненного любопытства, которое некогда побуждало меня искать острых наслаждений в предосудительном чтении или даже в вызывавшей отвращение чувственной связи с Марianneй. Но в нашей душе таят-

ся области, которые мы когда-то ощущали очень живо, а ныне считаем мертвыми, хотя в действительности они только погрузились в сон. И вот мало-помалу, после каких-нибудь двух недель общения с этим человеком, который был старше меня лет на девять-десять и олицетворял для меня реальность и энергию, то чисто созерцательное существование, о каком я некогда искренне мечтал, начало казаться мне... Как бы это выразить?.. Более низменным, чем существование графа? Нет, это не то, ибо ни за какие блага я не согласился бы стать графом Андре, даже с его титулом, богатством, физическим превосходством и его убеждениями. Бесцветным? Это, пожалуй, тоже неверно, ибо стоило мне вспомнить единственное в мире видение — ваш профиль, рисовавшийся в окне рабочего кабинета на фоне обширного и печального парижского пейзажа, чтобы снова почувствовать всю прелесть созерцательной жизни. Слово «неполнота», как мне кажется, лучше всего характеризует то странное недовольство своими собственными убеждениями, какое я ощутил, когда мне неожиданно случилось сравнить себя с графом. В этом ощущении неполноты и заключался соблазн, жертвой которого я сделался. Мне кажется, что нет ничего особенно оригинального в душевном состоянии человека, который, культивируя в себе до излишества мыслительные способности, вдруг встречает другого человека, в такой же степени развившего в себе способность действовать, и испытывает при этой встрече своего рода тоску по такой способности, хоть и презирает ее. У Гете из такой тоски возник Фауст. Я не был Фаустом, я еще не осушил чашу познания до дна, как старый ученый. И тем не менее приходится предположить, что мои научные занятия последних лет, возбуждая ум в одной слишком узкой области, оставили во мне нетронутыми огромные силы, которые всколыхнулись от чувства соперничества при встрече с представителем другой породы людей. Восхищаясь графом, завидуя ему и одновременно презирая его, я не мог воспрепятствовать работе своего мозга, делавшего соответствующие умозаключения. Я рассуждал так: «Если бы у кого-нибудь была одновременно такая же способность действовать, как у графа, и такая же способность мыслить, как у меня, то это был бы действительно человек того высшего порядка, о каком я меч-

таю. Но не исключают ли друг друга мысль и действие? Они не исключали друг друга у людей эпохи Возрождения, а ближе к нашему времени — у Гете, который олицетворял собою Фауста и был поочередно философом и придворным, поэтом и министром; ни у Стендаля — романиста и драгунского офицера, или у Констанана — автора «Адольфа» и пламенного оратора, а в то же время дуэлиста, игрока и соблазнителя. И я спрашивал себя, могу ли я без этого развития всех человеческих способностей, без параллелизма практической и интеллектуальной жизни достигнуть полноценного культивирования своего «я», которое я сделал конечной и высшей целью своей доктрины? Вероятно, сожаление, что я лишен целого мира, а именно — мира действий, было связано у меня с гордостью. Но благодаря философской природе моего существа ощущения у меня немедленно превращаются в идеи. Малейшая житейская мелочь служит мне поводом для постановки проблем общего характера; всякое событие в личной жизни приводит меня к теориям об общечеловеческой судьбе. Там, где другой юноша просто сказал бы: «Как жаль, что мне предоставлена только одна возможность развития!» — я задавал себе вопрос: «Не ошибаюсь ли я относительно законов всеобщего развития?» С тех пор как я благодаря вашим изумительным книгам освободился от религиозных страхов, у меня осталась от прежнего благочестия только одна привычка — ежедневная проверка своей совести с помощью дневника, и время от времени я совершал, если хотите, нечто вроде молитвы. Как я уже сказал, я с каким-то странным удовольствием переносил религиозные понятия в область своих личных восприятий. Я называл это литургией моего «я». Теперь я вспоминаю, что в один из вечеров во вторую неделю пребывания в замке Жюсса я потратил несколько часов на то, чтобы написать свою исповедь, то есть составить полную картину своих различных инстинктов, начиная с младенческих лет. И я пришел к заключению, что основной чертой моей натуры, характерным свойством моей внутренней сущности всегда была, как я уже отметил в начале этих записок, способность к раздвоению личности. Это означало наличие у меня тенденции быть обуреваемым какой-нибудь страстью и одновременно рассуждать по поводу ее, жить и в то же время наблю-

дать, как я живу. Но, добровольно замыкаясь в скорлупу своих отвлеченных размышлений и отказываясь от жизни, чтобы быть только глазами, широко раскрытыми на жизнь, не подвергал ли я себя риску уподобиться Амбелю, дневник которого тогда только что вышел в свет, и, злоупотребляя самоанализом, не обрекал ли я себя как бы на практическое бесплодие? Напрасно я призывал ваш образ, дорогой учитель, чтобы укрепиться в решении вести созерцательную жизнь. Я вспомнил слова из вашей «Теории страстей», посвященные любви. «Но ведь он не всегда был таким, как сейчас,— говорил я себе,— чувствуется, что в юности его была какая-то греховная тайна». И я представлял себе вас в моем возрасте, предающимся всякого рода предосудительным экспериментам, которые уже смутно соблазнили меня, волнуемого этим потоком мыслей.

Не знаю, покажется ли вам достаточно ясной вся эта душевная химия, сложная и вместе с тем вполне искренняя. Процесс, в итоге которого в нас возникает та или иная эмоция, превращающаяся затем в идею, настолько темен, что идея эта оказывается иногда прямо противоположной тому, что мог бы предвидеть здравый смысл. Разве не было бы вполне естественным, чтобы смешанная с некоторым восхищением антипатия, вызванная во мне графом Андре, превратилась либо в явное отвращение, либо в окончательное восхищение? В первом случае мне следовало бы еще более привязаться к науке, во втором — пожелать себе большей активности, большей практичности и решительности в своих действиях. Да, так должно было бы быть. Но каждого человека определяет его характер. Мой же характер привел к тому, что благодаря чувствам, метаморфозу которых я старался передать вам, антипатия к графу, смешанная с восхищением, явилась для меня источником самокритичности; самокритичность эта породила несколько необычную теорию о жизни, а теория в свою очередь разбудила во мне прирожденный интерес к миру страстей, и все вместе слилось в стремлении произвести опыт в сфере чувства. Судьбе было угодно, чтобы как раз в это время около меня оказалась девушка, одного присутствия которой было достаточно, чтобы вызвать у любого юноши моего возраста желание понравиться ей. Но я был слишком рассудочен, чтобы это

желание могло возникнуть в моем сердце, не пройдя предварительно через мозг. Во всяком случае, если я испытал на себе очарование изящества и прелести, исходящих от этого двадцатилетнего ребенка, то я воображал, что это совершается с ведома моего рассудка. Иной раз я спрашиваю себя, так ли оно было в действительности, и тогда эта история представляется мне самой обычной, и я говорю себе: «Просто я влюбился в Шарлотту, потому что она была хороша собой, изящна, нежна, а я был молод. Но я выдумывал всевозможные штуки, потому что был рассудочным гордецом и не желал любить, как любят другие». Какое я испытываю облегчение, когда рассуждаю так! В подобные минуты я могу жалеть себя, вместо того чтобы испытывать к себе отвращение, как бывает порой, когда я вспоминаю свои думы тех дней, то холодно принятое решение, которое я выносил в своей голове, доверил дневнику и, к сожалению, проверил событиями,— решение соблазнить эту девушку, почти ребенка, соблазнить, не любя, из простого любопытства психолога, ради удовольствия действовать, распоряжаться по своему желанию живой человеческой душой, непосредственно наблюдать в ней механизм страстей, который я до сих пор изучал только по книгам, ради того, чтобы удовлетворить свое тщеславию, обогатив себя еще одним экспериментом. Да, это было именно то, чего я добивался; пересаженный в чуждую среду, куда меня бросил случай, охваченный звериным чувством соперничества с дерзким молодым человеком, представлявшим полную мою противоположность, я не мог не хотеть этого уже в силу своей наследственности, своего воспитания, о котором я вам рассказывал.

И, однако, как заслуживала эта чистая, правдивая девушка встретить другого человека, не такого, как я, не какую-то холодную счетную машину! При одной мысли об этом сердце мое трепещет и рвется на части, хотя я стремился тогда быть бесстрастным и точным, как врач-диагност. Я заметил ее не сразу. С первого взгляда она не поражала ни совершенством черт, ни свежестью лица, ни царственной осанкой, которые заставляют говорить о женщине, что она прекрасна. Все в ее облике было отмечено печатью изящества и мягкости, все — от оттенка каштановых волос до цвета серых и как бы несколько затуманенных глаз и не слишком



бледное, не слишком румяного лица. С ней неизменно связывалась мысль о скромности, когда приходилось наблюдать выражение ее лица, или о хрупкости, при виде изящества ее рук и ног и почти изысканной грации ее движений. Она была небольшого роста, но казалась высокой благодаря своей горделивой осанке. Если граф Андре в силу явного атавизма точно воспроизводил одного из их общих предков, то Шарлотта, хоть и похожая на отца, отличалась таким, почти идеальным, изяществом линий, что обнаружить это сходство можно было лишь в том случае, если они стояли рядом. Однако нетрудно было заметить на ее лице и предрасположение к неврастении, доведшее отца до ипохондрии. Шарлотта отличалась почти болезненной восприимчивостью, которую порой выдавало легкое дрожание рук и необыкновенно красиво обрисованных губ, прекрасных губ, дышавших почти божественной добротой. Но ее резко очерченный подбородок говорил о том, что в этом хрупком существе таится огромная воля, и теперь я понимаю, что в глубине ее глаз, порою неподвижных и устремленных на что-то видимое ей одной, уже чувствовалась роковая склонность к навязчивым идеям. Как же мне было сразу обратить на нее внимание? Первая черта, которую я обнаружил в ней вскоре после моего приезда в замок, была ее исключительная доброта, и открылось это благодаря Люсьену. Мальчик рассказал мне, что сестра много раз просила его узнать у меня, есть ли в моей комнате все необходимое. Это, конечно, мелочь, но она очень тронула меня, так как я чувствовал себя совсем одиноким в этом огромном доме, где с самого моего появления никто, казалось, не обращал на меня ни малейшего внимания. Маркиз появлялся только к завтраку, запахнувшись в халат, и только для того, чтобы пожаловаться на свое здоровье или на политическое положение. Маркиза была занята благоустройством замка и бесконечно совещалась с обойщиком, прибывшим из Клермона. Граф Андре по утрам ездил верховом, после завтрака отправлялся на охоту, а вечером курил сигары, не обращаясь ко мне ни с единым словом. Гувернантка и монахиня относились друг к другу и ко мне с такой сдержанностью, что это вызывало с моей стороны чувство неловкости. Воспитанник мой оказался ленивым и не очень способным мальчиком, у которого

была только одна хоршая черта: он был простодушен, доверчив и охотно рассказывал все, что мне хотелось знать о нем самом или о его семье. Так, например, от него я узнал, что затея провести весь год в деревне принадлежит графу Андре. Это меня нисколько не удивило, ибо я все более убеждался, что настоящим главой семьи является именно он. Мне стало известно также, что в прошлом году он решил выдать сестру замуж за одного из своих товарищей по полку, некоего господина де Плана. Однако Шарлотта отвергла его и де План уехал в Тонкин. Я узнал... Но к чему все эти подробности? Во время наших ежедневных занятий с Люсьеном — утром от восьми до половины десятого и днем с трех до половины пятого — мне с большим трудом удавалось добиться от этого бездельника прилежного отношения к урокам. Сидя против меня за столом, он заполнял лист крупными каракулями, подпирая щеку языком, украдкой косясь на меня и выслеживая на моем лице малейшие признаки рассеянности. Безошибочным животным инстинктом, свойственным детям, он быстро заметил, что я становлюсь менее строгим, когда он рассказывает о брате или сестре, и таким-то образом мне и стало известно из его невинных уст, что в этом чужом и холодном доме есть существо, для которого мое благополучие не безразлично и которое думает обо мне. Мне так не хватало матери, хотя я и не хотел признаться в этом самому себе! И именно это внимание, ничего, конечно, не выражавшее, кроме простой вежливости, и побудило меня присмотреться к мадемуазель де Жюсса более пристально.

Другая черта, открытая мною в характере девушки, заключалась в ее склонности к романтике. Не потому, что Шарлотта много читала, а потому, что она отличалась, как я уже сказал, чрезмерной впечатлительностью, и эта последняя внушала ей какой-то страх перед реальным миром. Сама того не подозревая, Шарлотта совсем не походила в этом отношении на отца, мать и братьев. Она не могла ни обнаружить перед ними своей истинной сущности, ни видеть их такими, какими они были в действительности, без того чтобы не испытывать страдания. Поэтому она и своей души перед ними не раскрывала и на них старалась смотреть как бы сквозь пальцы. В полном согласии со своим сердцем Шарлотта составила о тех, кого любила, свое собственное и довольно наивное

представление, до того не соответствующее действительности, что недоброжелательному наблюдателю оно могло показаться фальшью или просто лестью. Матери, женщине заурядной и практичной, она иной раз говорила: «Вы, мама, с вашей тонкостью...» Или отцу, этому неисправимому эгоисту: «Вы, папа, с вашим добрым сердцем...» Старшего брата, такого узкого и ограниченного, она убеждала: «Ты все можешь понять...» И она искренне верила тому, что говорит. Однако мир иллюзий, в котором она жила, обрекал это простосердечное и необыкновенно нежное существо на полное моральное одиночество, весьма для нее опасное и лишавшее ее способности понимать других людей. Она не знала себя так же, как не знала и окружающих. Сама не подозревая об этом, Шарлотта томилась тоскою по человеку, который бы чувствовал так же, как и она. Например,— мне случалось наблюдать это во время наших первых совместных прогулок,— только она по-настоящему чувствовала красоту пейзажа, искренне любовалась маленьким озером, окружающими его рощами, далекими вулканами и осенним небом, порою еще более прекрасным, чем летом, благодаря сочетанию лазури с золотом листвы, иногда мгlistым, затянутым печальной дымкой облаков и особенно далеким. В такие минуты Шарлотта вдруг замолкала без видимой причины, вероятно, потому, что все ее слишком взволнованное существо как бы растворялось в очаровании окружающей природы. В инстинктивно-смутной форме, в виде неосознанных ощущений она обладала тем даром, который делает мужчин великими поэтами, а женщин — способными на большую любовь. Она умела забывать самое себя, отдаваться целиком тому, что волнует сердце, будь то скрытый в тумане горизонт, тишина пожелтевшей рощи, музыкальная пьеса, сыгранная на рояле гувернанткой, или трогательная история, рассказанная в ее присутствии. С самого начала нашего знакомства я не переставал удивляться различию между грубым солдафоном, каким был ее брат, и этой полной изящества и кротости девушкой, которая легко, едва касаясь земли, е приветливой и в то же время застенчивой улыбкой спускалась по каменным лестницам замка. У меня хватит смелости ничего не утаить от вас, ибо, повторяю, я пишу эти заметки не для того, чтобы выставить себя в выгодном свете, а для того,

чтобы предстать перед вами во всей полноте. В обществе этого прелестного существа мне уже становилось приятно. Но я не хочу утверждать, что мое стремление внушить девушке любовь не явилось также и следствием разительного контраста между нею и ее братом. Быть может, ее душа, полная любви к столь несхожему с нею брату, сделалась как бы полем битвы для моей тайной и смутной неприязни к нему, неприязни, которая за две недели пребывания с этим человеком под одной крышей успела превратиться в настоящую ненависть. Поэтому вполне возможно, что в моем стремлении обольстить Шарлотту таилось также страстное и жестокое желание унижить этого солдафона, этого аристократа, этого верующего христианина, тяжко оскорбив его в том, что было для него самым дорогим на свете. Я знаю, дорогой учитель, что мое признание — ужасно, но я не был бы достоин считаться вашим учеником, если бы в этих записках не запечатлел свои самые сокровенные мысли. И в конце концов разве отвратительный привкус в тогдашних моих ощущениях не такой же необходимый феномен, как и все другие, как романтическая градия Шарлотты, прямолинейная энергия ее брата или мои сложные душевные переживания, непонятные для меня самого!

#### § 4.— *Первый кризис*

Я поразительно ясно помню день, когда мысль соблазнить сестру графа Андре предстала предо мною не как эпизод воображаемого романа, а как вполне определенная, достижимая и почти достигнутая возможность. После двух месяцев безвыездного пребывания в замке я отправился к матери, чтобы провести у нее рождественские праздники, и неделю спустя вернулся из Клермона. Двое суток шел снег. Зимы в наших горах так суровы, что только капризом г-на де Жюсса можно объяснить его упорное желание провести зиму в этой вулканической пустыне с ее почти непрерывными резкими ветрами. Правда, маркиза всячески старалась создать в замке уют. Кроме того, хотя Эда и считается захолустьем, все-таки сообщение с Клермоном через Сен-Сатюрнен и Сент-Аман-Талланд не прерывается даже в самые холодные месяцы, не говоря уже о том, что и в это время года выдаются ясные, солнечные дни. Вдруг по-

сле нескольких дней метели небо снова становится лазурным, и все кругом начинает сиять, как бы преображенное волшебной силой сказочного света. Именно таким был тот день, который я воскрешаю сейчас в памяти, день, когда мое роковое решение вполне определилось и приняло реальную форму. Снова я вижу озеро, покрытое тонким слоем льда, под складками которого чувствуется легкое дрожание воды. Передо мною широкий застывший поток Шеры, белый от снега, в темными пятнами лавы среди ослепительной белезны; и тоже вся белая, но без единого пятнышка, горная цепь — Пюи де Дом, Пюи де ля Ваш, Вишатель, Род, Монредон, а дальше на фоне снегов и небесной синевы черными массами своих сосен вырисовываются шатер Шармона и лес Руйя. Перед моим взором снова возникают все эти мельчайшие подробности, которые едва замечаешь, но которые надолго запечатлеваются где-то в тайниках памяти. Я вновь вижу купу берез с обнаженными ветками, слегка порозовевшими на солнце. Я снова вижу кристаллы инея, поблескивающие на концах тонких ветвей, чахлые, но еще зеленые стебли дрока, торчащие из-под снега, следы лисьих лап на девственно-белом снежном ковре, слышу крик летящей над дорогой сороки, особенно подчеркивающий безмолвие беспредельных снегов. Я вновь вижу гурт бурых и коричневых овец, которых гонит пастух в синей блузе и широкополой круглой шляпе, в сопровождении рыжей лохматой собаки с желтыми, близко поставленными блестящими глазами. Да, я вновь вижу весь этот ландшафт и людей, совершающих прогулку по дороге в Фонфред: мадемуазель Ларже, мадемуазель Жюсса, моего ученика и самого себя. На мадемуазель Шарлотте каракулевый жакет, облегающий ее стан; от мехового боа, лежащего вокруг шеи, головка ее в каракулевой шапочке кажется еще меньше и еще изящнее. После продолжительного заточения в замке свежий воздух, видимо, опьянил ее. Щеки ее порозовели от ходьбы, стройные ножки бесстрашно ступают по снегу, оставляя на нем легчайшие следы, а в глазах сияет наивное восхищение красотой природы, которое является привилегией чистых сердец и немедленно исчезает, как только душа зажерстует от рассуждений, отвлеченных теорий или чтения. Я находился рядом с Шарлоттой: она шла очень быстро, так что мадемуазель Ларже, не-



ловко ковылявшая по снегу в каких-то неуклюжих башмаках, скоро осталась далеко позади. Мальчик то убегал вперед, то отставал, то снова перегонял нас с живостью молодого зверька. Я чувствовал, что в то время как маленький Люсьен и Шарлотта радуются, сам я становлюсь все мрачнее и молчаливее. Может быть, это было следствием раздражения, какое порою вызывает у нас веселье окружающих, когда мы не в состоянии его разделить? Или же во мне, пока еще полубессознательно, начал созревать план будущего оболыщения? Уж не хотел ли я своим враждебным отношением к радости Шарлотты обратить на себя ее внимание? Мне не раз случалось подолгу разговаривать с нею, но в продолжение этой прогулки я едва отвечал на ее восторженные восклицания, которыми она как бы приглашала разделить ее радость. Резкие ответы или холодное молчание настолько явно выдавали мое скверное настроение, что, несмотря на охвативший ее восторг, Шарлотта не могла его не заметить. Два или три раза она бросала на меня удивленный взгляд, и в уголках ее рта чувствовался молчаливый вопрос, который она не решалась выразить словами; потом на ее оживленное лицо легла тень. Мало-помалу под влиянием моей угрюмости ее веселость тоже стала исчезать, и по выразительному лицу девушки я видел, что в душе ее совершается переход к другим настроениям: она вдруг стала нечувствительной к красоте окружающей природы и как бы ничего не замечала вокруг себя, кроме моей печали. Наконец наступила минута, когда она уже не могла больше преодолеть впечатление, которое производила на нее моя грусть, и голосом, слегка приглушенным от робости, она обратилась ко мне:

— Вам нездоровится, господин Грелу?

— Нет, мадемуазель,— ответил я так резко, что это, вероятно, обидело ее, потому что голос ее задрожал еще сильнее, когда она опять спросила:

— Значит, кто-нибудь огорчил вас? Вы сегодня не такой, как всегда...

— Никто меня не огорчал,— сказал я, покачав головой.— Но, правда, сегодня у меня есть основания быть грустным, очень грустным... Сегодня годовщина большого горя, о котором мне трудно говорить...

Шарлотта снова посмотрела на меня. Она не следит

ла за собой, и по ее глазам я продолжал наблюдать волновавшие ее чувства, как часовщик наблюдает через lupу мельчайшие движения часового механизма. До сих пор она была настолько встревожена моим поведением, что уже не могла любоваться чудесным пейзажем. Теперь я увидел, что, с одной стороны, ей легче при мысли, что я на нее не сержусь, а с другой стороны, она растрогана моей печалью и хотела бы знать ее причину, но не решается расспрашивать меня. Она только сказала:

— Простите за нескромные вопросы...

Затем она умолкла. Но этих нескольких минут было достаточно, чтобы я понял, какое место я уже занимаю в ее мыслях. Видя столь чуткое и благородное внимание к себе, я должен был бы устыдиться своей лжи, ибо ссылка на какое-то горе действительно была тут же придуманной дешевой ложью. Потом меня самого удивляло, что я мог так быстро придумать все это. В самом деле, почему вдруг мне пришло в голову окутать себя повзвией печали, когда вся моя жизнь со дня смерти отца протекала столь безмятежно и не требовала каких-либо жертв с моей стороны? Не уступил ли я и в данном случае все той же врожденной склонности к раздвоению личности? Или это романтическое притворство было проявлением того болезненного тщеславия, которое толкает иногда детей на ложь? Ведь они делают это тоже без всякой цели и совершенно неожиданно. Или, быть может, смутная интуиция подсказала мне, что эта недостойная игра в меланхолию и разочарованность — самый верный способ еще больше заинтересовать собою сестру графа Андре? Я и сейчас не отдаю себе полного отчета в мотивах, руководивших мною в тот миг. Одно для меня несомненно: я не предвидел ни впечатления, которое произведет на девушку моя притворная грусть, ни результата своей лжи; зато я отлично помню, что, убедившись в произведенном эффекте, я тотчас же решил идти до конца по этому пути и выяснить, как отразится на ее душевном состоянии, если я буду умышленно продолжать комедию, начатую бессознательно в сияющий январский день среди величественного ландшафта, который мог бы служить декорацией для чувств иного рода.

Теперь, когда непоправимое уже свершилось и когда, с невыразимой болью восстанавливая прошлое, я убеж-



даюсь и в своем полном непонимании вещей и в своей жестокости, я вижу, что с того дня внушил Шарлотте самое искреннее, самое нежное чувство. Следовательно, вся психологическая дипломатия, которую я пустил в ход, была не чем иным, как отвратительной и нелепой работой профана в науке любви. Теперь я понимаю, что не сумел вдохнуть аромат цветов, которые распустились для меня в этой душе. Достаточно было бы предоставить вещам идти своим чередом, и я мог бы изведать ощущения, которых так жаждал, мог бы жить жизнью восторженных и благородных чувств, которая своей полнотой не уступала бы моей интеллектуальной жизни. Вместо этого я холодом рассудка парализовал порывы своего сердца. Я задумал покорить уже покоренную душу, пустился в сложные шахматные комбинации, когда достаточно было простой искренности. Сейчас я даже не могу утешать себя гордым сознанием, что я по крайней мере был режиссером этой драмы, посланной мне судьбой, что я руководил событиями, по своему усмотрению создавал отдельные сцены и эпизоды и искусно вел интригу. Драма эта разыгрывалась только в душе Шарлотты, и я ровным счетом ничего в ней не понимал. Любовь и Смерть, две верных помощницы неумолимой Природы, действовали здесь без моего ведома и только издевались над всеми моими ухищрениями. Шарлотта любила меня по причинам, не имевшим ничего общего с теми, какие приписывала этой любви моя наивная психология. Она умерла от отчаяния, когда, в свете трагического объяснения, увидела меня таким, каков я на самом деле. Я внушил ей ужас, и этим она дала мне неопровержимое доказательство того, что самые тонкие мои рассуждения не имели ни малейшей власти над ней. На опыте этой любви я надеялся разрешить одну из проблем психической механики. Увы! Я просто-напросто встретил искреннюю и глубокую нежность, но не почувствовал ее очарования. Почему я раньше не угадал того, что сегодня вижу столь отчетливо, с такой жестокой очевидностью? Ведь было вполне естественно, что в силу своего романтического характера этот ребенок идеализирует меня. Мои многолетние учебные занятия придали мне тот несколько страдальческий вид, который всегда трогает женское сердце. Я был воспитан матерью, и это наделило меня изящными манерами, известной мягко-

стью жестов и интонаций, привычкой тщательно следить за собой, что искупало мою неловкость и незнание светских правил. Старый учитель, который меня рекомендовал, отзывался обо мне как о молодом человеке, безупречном с точки зрения образа мыслей и характера. Этого было вполне достаточно, чтобы чувствительная и замкнутая девушка заинтересовалась мною. И что же? Не успел я во время прогулки заметить этот интерес к себе, как тут же задумал обратить его во вред Шарлотте, вместо того чтобы быть тронутым им. Если бы кто-нибудь увидел меня в тот вечер, после прогулки, когда я в своей комнате сидел за столом и писал, с толстым психологическим трактатом под рукой, он не поверил бы, что перед ним юноша, едва достигший двадцати двух лет, размышляющий над чувствами, которые он вызвал или хочет вызвать у двадцатилетней девушки... Замок спал. Раздавались только шаги лакея, тушившего лампы на лестнице и в коридорах. За стенами огромного дома слышалось то жалобное, то затихающее завывание бури. Западный ветер достигает в наших горах страшной силы и сносит иногда целиком черепичные крыши. Его скорбные порывы еще более усиливали во мне чувство одиночества. В камине мирно пылал огонь, а я записывал в тетрадь с замком, которую сжег перед арестом, рассказ о проведенном дне и составлял план эксперимента, который предполагал произвести над душою мадемуазель де Жюсса. В тот вечер я переписал в тетрадь отрывок из вашей «Теории страстей», где говорится о сострадании. Вы, вероятно, помните это место, дорогой учитель. Оно начинается словами: «Сострадание включает в себе и вполне физические элементы, которые, в особенности у женщин, часто граничат с сексуальными эмоциями...» Я решил действовать на Шарлотту, пользуясь именно ее чувством жалости ко мне. Мой план состоял в том, чтобы использовать впечатление, произведенное на нее моей первой ложью, затем опутать ее другими лживыми признаниями и внушить ей чувство любви, основанное на жалости. В этом желании воспользоваться одним из самых благородных человеческих чувств ради удовлетворения своего фантастического любопытства было нечто такое, что коренным образом противоречит общепринятым взглядам, и это несказанно льстило моей гордости. Набрасывая план обольщения

и подкрепляя его соответствующими философскими положениями, я воображал, что подумал бы обо всем этом граф Андре, если бы мог, как повествуется в старинных легендах, прочесть из своего гарнизонного захоластья слова, которые чертило на бумаге мое перо? В то же время уже одно сознание, что я буду по своей воле управлять работой женского мозга, механикой мыслей и чувств, ложной и тонкой, как часовой механизм, давало мне повод сравнивать себя с Клодом Бернаром, с Пастером и с их последователями. Эти ученые производят вивисекцию животных. Я же собирался произвести длительную вивисекцию человеческой души.

Чтобы извлечь желаемый результат из жалости, скорее подмеченной, чем преднамеренно вызванной мною, требовалось прежде всего продлить ее действие. С этой целью я решил умышленно продолжать разыгрывать комедию притворной грусти, постепенно подготавливая Шарлотту к тому, чтобы в более или менее отдаленный день дать ей объяснения по этому поводу в виде маленького романа, который мог бы ее умиротворить. Поэтому всю неделю после этой прогулки я напускал на себя все более и более глубокую меланхолию. Я притворялся не только в присутствии Шарлотты, но и в течение тех долгих часов, которые проводил наедине со своим воспитанником, ибо был уверен, что он передает сестре свои впечатления от наших уроков. Итак, дорогой учитель, перед вами доказательство низких проделок, на которые я пошел. Разве не подло было впутывать в эту гнусную интригу ребенка, которого мне доверили? Да и какая была нужда в этой хитрости, раз мадемуазель де Жюсса ни на минуту не сомневалась в моей искренности? Но я считал вопросом чести как можно более усложнить западню, и совесть моя при этом молчала. Мы занимались с Люсьеном в большой комнате, носившей название библиотеки, потому что вдоль одной из ее стен тянулись книжные полки, заставленные книгами в сафьяновых переплетах. Среди них находился и полный комплект «Энциклопедии». Книги эти остались в наследство от прадеда — аристократа, философа, родственника и друга Монлозье; замок был им построен в глуши, чтобы воспитывать двух своих сыновей на лоне природы согласно предписаниям «Эмиля». Около двери висел портрет этого дворянина-вольнодумца, довольно посредст-

венно написанный в манере того времени и изображавший человека в пудренном парике со скептической и вместе с тем чувствительной улыбкой. По другую сторону двери висел портрет его супруги, кокетливой женщины с прической в несколько ярусов и с мушками на щеках. Глядя на эти полотна, пока Люсьен переводил какой-нибудь отрывок из Овидия или Тита Ливия, я спрашивал себя, что делали мои предки в прошлом веке, в то время, когда жили особы, изображенные на этих портретах? Я ясно представлял себе неотесанных мужланов и крепостных, потомком которых я являюсь. Я видел, как они идут за плугом, подрезают виноградную лозу, боронят пашню на туманных равнинах Лотарингии, похожие на тех крестьян, что в любую погоду бредут по дороге мимо ворот замка, в сапогах до колен, волоча за собой палку с железным наконечником, привязанную ремешком к руке. Эти картины придавали моим стараниям напустить на себя грусть приятный характер законной мести. Странная вещь! Хотя я в теории и ненавидел идеи революции и скрытый за ними посредственный спиритуализм, однако я вполне чувствовал себя плебеем, когда со злорадством думал, что, может быть, я, отдаленный потомок бедных земледельцев, единственно силой своей мысли соблазну праправнучку этого вельможи и этой знатной дамы. Я подпирал рукой подбородок, хмурил брови и старался придать взгляду печальное выражение, отлично зная, что Люсьен исподтишка следит за моим лицом в надежде, что урок будет прерван очередной беседой. Когда он окончательно убеждался, что уже не встретит с моей стороны ни приветливой улыбки, ни снисходительного взгляда, как бывало на предыдущих уроках, он сам становился озабоченным. Вполне естественно, что бедный мальчик принимал мою грусть за суровость, а молчание за неудовольствие. Однажды он даже решился спросить:

— Вы за что-нибудь сердитесь на меня, господин Грелу?

— Нет, мой мальчик, — ответил я, потрепав его по нежной щечке, но продолжал хранить задумчивый вид, не отрывая взгляда от падающих за окном снежинок. Снег валил теперь с утра до вечера крупными кружащимися хлопьями, покрывая окрестность белым сонным покровом. А в натопленных комнатах замка стояла уют-

ная тишина, сюда не доносились умиравшие далеко в горах звуки; через стекла, покрытые снаружи ледяными узорами, а изнутри запотевшие, проникал смягченный и как бы болезненный свет. Это составляло неплохой фон для меланхолии, которую я изображал на своём лице и которую предоставлял Шарлотте наблюдать при наших встречах. Когда колокол собирал всех нас в столовой к завтраку, я ловил в ее взглядах, брошенных на меня украдкой, то же робкое и участливое любопытство, которое заметил в ее глазах на прогулке, то есть со времени, обозначенного в моем дневнике как начало эксперимента. Такие же точно взгляды я замечал, когда мы снова встречались за чаем, при свете только что зажженных ламп, а потом во время обеда и, наконец, в долгие зимние вечера, если я не уходил в свою комнату раньше других, сославшись на какую-нибудь работу. Жизнь и разговоры в замке были очень монотонны; поэтому ничто не могло помочь Шарлотте избавиться от впечатления волнующей тайны, которое я постарался ей внушить. Маркиз, находясь во власти почти болезненных крайностей своего характера, проклинал злосчастное решение провести зиму в глуши. Он говорил, что при первой же перемене погоды мы уедем из замка, хотя отлично знал, что переезд невозможен. Теперь это было бы связано с большими расходами, да и куда было переезжать? Иногда он гадал, есть ли надежда, что в замок приедет кто-нибудь из клермонских знакомых, которые иной раз заезжали в Жюсса позавтракать, но только в тех случаях, если четыре часа дороги из Клермона не превращались из-за плохой погоды во все восемь. Потом старик усаживался за карточный столик; маркиза, гувернантка и монахиня склонялись над своим бесконечным рукоделием; на моей обязанности лежало присматривать за Люсьеном, который перелистывал какую-нибудь книгу с картинками или раскладывал пасьянс. Я располагался в кресле таким образом, чтобы Шарлотта, игравшая с отцом в карты, подняв глаза, непременно меня видела. Я занимался гипнотизмом и всесторонне изучил в вашей «Анатомии воли» главу, озаглавленную «О полувнушениях» и посвященную странным явлениям господства над чужой волей. Я надеялся при помощи этого метода подчинить себе праздную мысль девушки в ожидании удобной минуты, когда завершу каждоднев-

ную работу внушения, рассказав ей свою историю. Объясняя мою грусть и мои поступки, история эта должна была окончательно заполнить ее воображение, которое, я знал, и так уже было занято мною.

Эту историю я разработал довольно искусно, дорогой учитель, и построил ее в полном согласии с двумя принципами, которые вы выдвигаете в вашей превосходной главе о любви. Ваш труд, теоремы «Этики», касающиеся страстей, и труд г-на Рибо «Болезни воли» стали моими путеводителями. Позвольте хотя бы в самом существенном напомнить вам эти два принципа. Первый из них заключается в том, что большинство людей испытывает различные чувства только в силу подражания. Если предоставить им свободно следовать велениям своей природы, то, например, чувство любви у них, как и у животных, ограничится половым инстинктом, который затихает, как только получает удовлетворение. Вторым принципом гласит, что ревность может существовать и до появления любви; следовательно, она может в некоторых случаях даже порождать любовь, как может и пережить ее. Пораженный правильностью этих двух замечаний, я решил, что и роман, который я расскажу мадемуазель де Жюсса, должен поразить ее воображение и подействовать на ее тщеславие. Мне уже удалось затронуть в ее душе струну жалости, теперь оставалось сыграть на струнах ревности и самолюбия. Поэтому я надумал построить свою историю, исходя из того, что самолюбие всякой женщины, которую интересует какой-нибудь мужчина, бывает уязвлено, если он дает ей понять, что в мыслях еще привязан к другой. Но мне пришлось бы исписать страниц двадцать, дорогой учитель, если бы я стал подробно рассказывать вам, как я бился над сочинением этой искушающей истории. Случай поведать ее был предоставлен мне самой жертвой недели две спустя после того, как я начал осуществлять свой замысел, который горделиво продолжал называть экспериментом. Маркиз узнал откуда-то, что существует том «Энциклопедии», посвященный игральным картам. Ему захотелось разыскать описание некоторых старинных карточных игр, вроде «империала», «ломбера», «манкильи», чтобы попробовать сыграть в них. Эта замечательная мысль пришла ему в голову после завтрака, когда он, читая газету, наткнулся на заметку о новой игре

«покер», в связи с которой приводился целый список вышедших из моды игр. Если этому маньяку приходила в голову какая-нибудь блажь, он не мог ждать ни минуты; поэтому дочери его пришлось немедленно подняться в библиотеку, где я в это время делал какие-то выписки. Я был занят книгой Гельвеция «Об уме», оказавшейся в библиотеке среди других сочинений XVIII века. Я предложил мадемуазель де Жюсса помочь разыскать нужный ей том. Когда она брала у меня книгу, с которой я предварительно стер пыль, она сказала с обычной своей приветливостью:

— Я надеюсь, что мы найдем здесь какую-нибудь игру, в которой и вы не откажетесь принять участие... Мы так боимся, что вы соскучитесь у нас. Вы всегда такой грустный...

Последние слова она произнесла с той же улыбкой, которая поразила меня во время прогулки; она как бы просила у меня прощения за свои слова и из скромности говорила «мы», но я великолепно знал, что остальные тут ни при чем. Ее голос стал особенно ласковым, мы были совсем одни и еще минут десять — пятнадцать могли пребывать в полном уединении, так что момент показался мне подходящим, чтобы объяснить ей свою притворную грусть.

— Ах, мадемуазель, — ответил я, — если бы вы знали мою жизнь!..

Не будь Шарлотта доверчивым еуществом, романтическим ребенком, каким она оставалась, несмотря на две или три зимы, проведенные в светском обществе Парижа, она легко догадалась бы, что я рассказываю заранее придуманную историю. Это видно было хотя бы уже по первой фразе, да и вообще по оборотам речи, которые я применял и которые мне самому казались неловкими и неестественными. Я стал рассказывать ей, что был обручен в Клермоне с одной девушкой, но обручен тайно. Мне казалось, что я придам этой истории еще большую поэтичность в ее глазах, если скажу, что девушка эта — иностранка, русская, гостившая у своей дальней родственницы. Я прибавил, что девушка выслушала мое признание и в свою очередь призналась, что любит меня. Мы поклялись друг другу в верности. Потом она уехала. Там ей представился случай выйти замуж за богатого человека, и она изменила своей клятве

ради денег. Я постарался особенно подчеркнуть свою бедность, даже дал понять, что мать живет исключительно на мой заработок. Эту подробность я придумал тут же, ибо, как известно, лицемерие растёт по мере того, как его проявляют. Словом, это была ребяческая и в то же время мерзкая комедия, разыгранная вдобавок без большого умения. Но причины, побудившие меня лгать, были настолько своеобразны, что надо было обладать особой проницательностью, досконально зная склад моего ума или быть наделённым гением психолога, как вы, дорогой учитель, чтобы догадаться об этих причинах, а мое наигранное смущение легко было приписать волнению, вызванному такими воспоминаниями. Но, рассказывая эту историю Шарлотте, я сохранял обычное самообладание и поэтому имел полную возможность наблюдать за нею. Она стояла потупившись и слушала меня совершенно спокойно, опершись рукою на толстую книгу. Когда я кончил, она взяла книгу со стола и беззвучным голосом, тем голосом, по которому невозможно определить, что за ним скрывается, сказала:

— Я не понимаю, как вы могли доверять этой девушке, если она слушала вас тайком от родителей...

И она ушла, унося толстый том с красным обрезом и едва кивнув мне головой. Как она была хороша в эту минуту, такая грациозная и почти идеально красивая, в сером суконном платье, с тонкой талией, изящным бюстом, немного продолговатым лицом, освещённым серыми задумчивыми глазами! Она походила на охваченную экстазом, изящную и скорбную мадонну Мемлинга; я некогда восхищался гравюрой с этой картины на первой странице «Подражания», принадлежавшего аббату Мартелю. Но объясните мне ещё одну загадку сердца, вы, великий психолог: никогда я с такой силой не испытывал сладостного и чистого очарования этого существа, как именно в ту минуту, когда лгал ей и, как мне тотчас же показалось по её ответу, лгал без всякой пользы для себя. Да, я был так наивен, что понял её ответ буквально, хотя он, наоборот, должен был внушить мне надежду. Я не понимал, что уже одно то, что она выслушала мою исповедь, со стороны такой гордой и сдержанной девушки, как Шарлотта, далеко стоявшей от меня по своему социальному положению, служило доказательством глубокой симпатии. Я не отдавал себе отчёта, что



почти суровая фраза, брошенная в ответ на ложное признание, отчасти подсказана тайной ревностью, которую я как раз и хотел возбудить в ней, а отчасти — желанием подкрепить себя в своих жизненных правилах и искупить в собственных глазах допущенную фамильярность. Так же точно, как она не сумела уловить ложь в моем рассказе, так и я не был в состоянии угадать правду в ее ответе. Я стоял на месте перед закрывшейся дверью, чувствуя, как рушатся все надежды, которые я громоздил одну на другую в течение последних двух недель. «Нет, — думал я, — я не увлек ее по-настоящему, не вызвал у нее интереса, который можно было бы превратить в страсть. Да и вообще, — рассуждал я, — каким я был глупцом, принимая свои химеры за нечто реальное!» Я тут же подвел итог нашим отношениям, на основании которых вообразил, что могу обольстить ее. Какие у меня были доказательства того, что она интересуется мною? Заботы о моем удобстве, которыми она так деликатно окружила меня? Но это было естественным проявлением ее доброты. Внимание, с каким она наблюдала за моим меланхоличным настроением? Ну и что ж из того? Просто она любопытна, и ничего больше. Робость в голосе, когда она расспрашивала меня об этом? Но нужно быть дураком, чтобы не понять, что это обычная скромность благовоспитанной девушки. Вывод: комедия, которую я разыгрывал в продолжение двух недель, мои чаттертоновские гримасы, вся ложь моей мнимой душевной драмы — все это смешные потуги, ни на волос не приблизившие меня к сердцу, которое я хотел покорить. Незначительной фразы, сухо произнесенной Шарлоттой, было достаточно, чтобы я вынес себе такой приговор уже четверть часа спустя после нашего короткого разговора, — до такой степени мне свойственны неожиданные припадки самоанализа, мгновенно ледящего все мое существо. Так поток холодной воды укрощает ярость горячей струи пара.

Я снова склонился над книгой «Об уме», но уже не мог сосредоточиться на отвлеченном рассуждении Гельвеция. Я рассказываю об этих ребячествах, дорогой учитель, чтобы вам стало яснее, какой невероятной смесью наивности и испорченности была забита в те дни моя голова. Ведь мое быстрое разочарование доказывало только то, что я намеревался направлять мысли Шарлот-

ты, применяя к этой девушке психологические законы, заимствованные у философов, совершенно так же, как ее брат, граф Андре, направлял по своему усмотрению бильярдные шары в тот вечер, когда он изумил меня своими повадками. Белый шар слева чуть касается красного, отходит к борту и возвращается к другому белому шару. Это можно изобразить на чертеже, объяснить соответствующей формулой; можно рассчитать и воспроизвести это десять, сто, тысячу раз. Несмотря на мою начитанность, а может быть, именно из-за нее, игра страстей представлялась мне тогда такой же идеально простой схемой. Только значительно позже я понял, до какой степени я ошибался. Чтобы уяснить жизнь человеческого сердца, аналогию нужно искать не в механике, а в растительном мире. Чтобы руководить ею, нужно применять методы ботаника: терпеливо делать прививки, долго ждать, старательно выращивать. Чувство рождается, растет, расцветает и вянет, как растение, развиваясь иногда медленно, иногда крайне быстро, но всегда бессознательно. Зерно жалости, ревности и опасного для подражания примера, коварно брошенное мною в душу Шарлотты, должно было прорасти, но лишь после многих и многих дней. Это было тем более неизбежно, что девушка считала меня влюбленным в другую и потому не пыталась защищаться против меня. Но нужно было быть каким-нибудь Рибо, Тэнном или Адриеном Сикстом — словом, совершенным знатоком человеческой души, чтобы представить себе все это заранее и строить на этом свои расчеты. Я же скорее походил на путника, который пересекает долину, не зная, что в земле уже зреют семена, и в простоте души не подозревая, что летом здесь будут снимать жатву. У путника есть хотя бы то оправдание, что он не видел, как здесь сеяли, а я сам посеял зерно и все-таки не ожидал всходов!

Убеждение, что я окончательно потерпел крах в попытке влюбить в себя Шарлотту, еще более усилилось в последующие дни. Она почти не разговаривала со мной. Позже я из ее же собственных признаний узнал, что под этой холодностью она скрывала растущее в ней волнение, которое своей новизной, напряженностью и глубиной приводило ее в замешательство. Пока же она казалась целиком поглощенной изучением игры в триктрак, правила которой маркиз вычитал из «Энциклопедии»

дни». Вспомнив, что эта игра была любимым времяпрепровождением его деда эмигранта, маркиз не пожелал изучать других игр, приведенных в книге. Один из клермонских торговцев немедленно доставил в замок все необходимое, чтобы маркиз мог удовлетворить свою прихоть. И едва в гостиной установили стол для игры в триктрак, как отец и дочь принялись вечера напролет бросать кости, которые падали на доску с сухим стуком. К фразам, которыми маркиза обменивалась со своими компаньонками по вязанью, примешались теперь кабалистические термины игры вроде: «малое табло», «большое табло», «возвратное табло», «два по два», «два по три», «два по пять», «бью» или «заполнил». Иногда Шарлотту сменял на ее посту аббат Бартомеф, старичок священник, который в слишком скверную погоду служил мессу в самом замке. Хотя маркиз был со мною безупречно вежлив, он ни разу не спросил меня, не хочу ли и я научиться игре в триктрак, и развличие, которое он делал между мной и аббатом, как это ни странно, оскорбляло меня: ведь я гораздо охотнее читал книгу, сидя на своем низеньком стуле, или разгадывал характеры присутствующих по их физиономиям. Но такая обидчивость свойственна всякому, кто находится в положении, которое он считает для себя унижительным. Неравенство в обращении всегда вадевает самолюбие. Я отыгрывался на том, что выискивал смешные черточки у аббата, который ко всему в замке, и в частности к маркизу, питал самые благоговейные чувства. Надо было видеть, какой багровой становилась его и без того красная физиономия, когда он усаживался напротив старого аристократа. В то же время он думал о возможности выиграть несколько серебряных монет. Деньги должны были придать игре больший интерес, и поэтому его руки дрожали, когда он с азартом бросал кости из кожаного стаканчика. Однако эти наблюдения скоро надоедали мне, и тогда я все внимание обращал на Шарлотту: освободившись, она брала рукоделье и присаживалась к матери. Неудача моей попытки влюбить в себя девушку ожесточила меня, хотя я и восхищался все больше и больше ее наивной прелестью. Откровенно говоря, эмоции, которые я начал испытывать в ее присутствии, приобрели скорее чувственный, чем психологический характер. Я был молод, и, несмотря на мои философ-

ские планы, тело мое хранило воспоминание о плотских наслаждениях, и во мне говорил инстинкт пола, неискоренимую фатальность и непреодолимую живучесть которого вы так мастерски анализируете. Пользуясь одной из ваших метафор, можно сказать, что похотливый зверь, привитый к моему мыслящему началу в результате чувственного опыта, пробуждался при одном прикосновении к платью девушки. Гибкость ее стана, изящество ее жестов, маленькая ножка, вдруг появлявшаяся из-под платья, ее несколько худые плечи, линии которых угадывались под тканью кофточки, ее белокурые волосы, собранные на затылке в простой узел, родинка около свежего рта — все это возбуждало во мне смутное и почти мучительное желание. Я готовился обольстить ее и вот сам почувствовал себя обольщенным, а после того, что я вам рассказал о своей гордости и о претензии на самообладание, вы легко можете представить, какое чувство тайного возмущения все это вызывало во мне! Вы, который так прекрасно показали наличие элемента ненависти в половом влечении, вы поймете, что моя неудовлетворенная похоть сопровождалась диким бешенством при виде ее очаровательного лица, всегда холодного в своей мечтательности и глубоко волновавшего меня, хотя девушка, по-видимому, и не замечала этого.

Не знаю, как долго продолжался бы этот период бездействия, полный одновременно и страсти и отчаянья. Мы с мадемуазель де Жюсса находились в своеобразном положении: ее влекла ко мне рождающаяся любовь, еще не осознанная ею, меня к ней — ряд неясных причин, которые я анализировал выше и которые занимали меня больше, чем она сама. Хотя мы и проводили вместе по многу часов, ни один из нас не подозревал о том, что происходит в душе другого. Ведь в таких положениях люди не отдают себе отчета, являются ли события, с которыми связан новый припадок чувств, следствием или причиной, имеют ли эти события значение сами по себе, или же они служат только средством обнаружить скрытое состояние нашей души. Впрочем, такой же вопрос может быть поставлен о всякой человеческой судьбе вообще. Сколько раз, особенно с тех пор, как я томлюсь в четырех стенах камеры, не видя ничего, кроме кусочка неба в окошке под самой крышей, сколько раз я спрашивал себя, вороша мельчайшие факты этой короткой исто-

рии: судьба ли наша порождает наши мысли, или, наоборот, мысли создают нашу судьбу, даже ту, что проявляется во внешнем мире? Конечно, оба мы должны были воспользоваться первым же удобным случаем: Шарлотта — чтобы целиком отдаться своему чувству, тем более опасному, что оно было еще неясным для нее самой, а я — чтобы продолжить прерванный эксперимент. Вот при каких обстоятельствах такой случай представился. Однажды вечером, сидя в кресле около камина и кутаясь в халат, с которым он не расставался иногда по целым дням из-за своих воображаемых болезней, маркиз подробно рассказывал жене о заметке, напечатанной в одной из полученных газет. Речь шла о приеме, который устроили у себя их знакомые. Я как раз держал газету в руках, и маркиз, заметив это, вдруг сказал мне:

— Не соблаговолите ли прочесть нам эту заметку вслух, господин Грелу?

В глубине души я еще раз подивился умению этого аристократа придавать оскорбительный оттенок даже самым незначительным просьбам. Уже один тон его задевал человека. Однако я повиновался и стал читать. В заметке живо рассказывалось о блестящем костюмированном бале, и она была написана более тонко, чем обычно пишется светская хроника. Эта оригинальная смесь поэзии и репортажа своим изяществом напоминала изысканный стиль братьев Гонкур. Пока я читал, маркиз с удивлением смотрел на меня. Нужно вам сказать, дорогой учитель, что за время дружбы с Эмилем я развил в себе настоящий талант чтеца. Когда мальчик болел, для него не было большего удовольствия, чем слушать, как я читаю длинные отрывки из наших любимых авторов. Мой голос, от природы глуховатый, сделался благодаря этим упражнениям гибким и звучным.

— Однако вы отлично читаете! — воскликнул маркиз, когда я кончил.

Его удивление превратило эту похвалу в очередную обиду для моего самолюбия. Он слишком явно показал, что не ожидал встретить какой-либо талант у скромного молодого человека из Клермона, всегда молчаливого, робкого, явившегося в замок по рекомендации старика Лимассе, чтобы занять место образованного лакея. Потом, как всегда следуя своей прихоти, он продолжал:

— Вот идея! Вы по вечерам будете нам читать... Это все-таки занимательнее, чем триктрак. Малое табло, большое табло, возвратное табло... Дыра, две дыры, три дыры... Все одно и то же... Да и стук костяшек меня раздражает... Мерзкая погода! Если опять будет валить снег, мы и недели здесь не останемся... Что ты смеешься, Шарлотта? Ты вечно издеваешься над отцом.. Недели здесь не останемся... Так какую же книгу вы выберете для начала?

Итак, неожиданно для самого себя я получил новые лакейские обязанности, даже не успев сообразить, не помешает ли это моим занятиям, так как по вечерам я обычно приносил в гостиную какое-нибудь пособие для подготовки к экзаменам и, присматривая за Люсьеном, понемногу занимался своим делом. Однако мне ни на одну секунду не пришла в голову мысль отказаться от этой новой обязанности, и я даже не отгорчился. Во-первых, за грубость маркиза меня вознаградила почти умоляющий взгляд Шарлотты, один из тех взглядов, которыми женщины умеют просить прощение за того, кого они любят. Во-вторых, у меня тотчас же возник новый план. Я подумал, не воспользоваться ли мне обязанностью чтеца с тем, чтобы возобновить оставленное было намерение обольстить мадемуазель де Жюсса? Брошенный ею взгляд как будто снова давал основание надеяться на успех. На вопрос маркиза о том, что же мы будем читать, я ответил, что постараюсь найти что-нибудь подходящее. В самом деле, я стал искать книгу, которая помогла бы мне приблизиться к жертве, вокруг которой я кружил, как кружил над бедной птичкой коршун, которого я видел однажды недалеко от Пюи де Дом. Не предоставляла ли мне судьба новый способ оказать на Шарлотту влияние, которого мне не удалось добиться своей притворной исповедью? Мир обязан вам, дорогой учитель, самыми сильными страницами, которые когда-либо были написаны о том, что вы так метко называете «литературной душой», то есть о бессознательном подражании нашего сердца страстям, изображаемым поэтами. И вот я смутно видел перед собою новое средство воздействовать на Шарлотту и бранил себя, что не подумал об этом раньше. «Но где достать,— спрашивал я себя,— роман, который был бы в достаточной мере насыщен страстями, чтобы взволновать Шарлотту, и в то же

время достаточно благопристойно с внешней стороны, чтобы его можно было прочесть в семейном кругу?» Я перерыл всю библиотеку. Случайный и даже противоречивый подбор находившихся в ней книг свидетельствовал о том, что в замке сменилось несколько поколений с весьма разнообразными вкусами. Была тут прежде всего полная коллекция произведений восемнадцатого века, о которых я вам уже говорил. Затем следовал пробел, так как в годы эмиграции в замке никто не жил. Потом следовали книги романтиков в первых изданиях, отразившие литературные симпатии отца маркиза, который, как я слышал, был другом Ламартина. Наконец, стали попадаться плохие современные романы, те, что приобретаются в вокзальных киосках и потом в растрепанном виде, иногда разрезанные пальцем забываются на какой-нибудь дальней полке; рядом с ними стояли трактаты по политической экономии — следы мимолетного увлечения нашего маркиза. Но в конце концов я все-таки разыскал в этом хаосе «Евгению Гранде», роман, который вполне отвечал предъявляемым мною требованиям. Нет ничего более привлекательного для юного воображения, чем подобные идиллии, одновременно целомудренные и испепеляющие, где невинность окутывает страсть дымкой поэзии. «Но маркиз, — думал я, — вероятно, помнит этот знаменитый роман наизусть», — и я боялся, что он не захочет его слушать. Однако мой выбор привел его в восторг.

— Bravo! — воскликнул он. — Это одна из тех книг, которые прочитываются один раз, о которых много говорят, а потом совершенно забывают. Я видел его однажды, этого Бальзака, в Париже, у Кастри... Да, лет сорок тому назад... Я был тогда еще молокососом... Но я хорошо его помню: такой толстый, коренастый, шумный, важный, с прекрасными живыми глазами, однако довольно простоватый с виду...

Как бы то ни было, после первых же страниц маркиз задремал. Маркиза, мадемуазель Ларже и монахиня вязали, ничем не обнаруживая своего мнения, а маленький Люсьен, которому недавно подарили набор красок, старательно раскрашивал картинки в какой-то толстой книге. Во время чтения я особенно внимательно наблюдал за Шарлоттой, и мне было нетрудно заметить, что на сей раз мой расчет оказался правильным и что каж-

дая фраза этого романа заставляет ее трепетать, как трепещет струна под искусным смычком. Все в ней было подготовлено для восприятия таких впечатлений, все — от ее уже взволнованных чувств до нервов, натянутых под влиянием различных физических причин. Нельзя безнаказанно жить неделями в атмосфере, подобной той, какая царила в замке, с его жарко натопленными комнатами и удушающим воздухом. Ипохондрия маркиза требовала, чтобы в доме всегда было очень тепло. Это незначительное, но каждодневное раздражение нервной системы явилось моим неожиданным союзником, на которого я никак не рассчитывал и который я, в качестве психолога, с удовлетворением отмечаю. Я видел, что девушка как бы прикована к моим губам, повествуя о трогательных эпизодах наивного романа между Евгенией и ее кузеном Шарлем. То же самое инстинктивное притворство, которое руководило мною в сцене с ложным признанием, побуждало меня произносить каждую фразу с такой интонацией, какая, по моим расчетам, должна была особенно понравиться Шарлотте. Самому мне эта книга по душе, хотя я и предпочитаю ей десяток других романов Бальзака, таких, например, как «Турский священник», где поразительно ярко обрисованы характеры и где каждая фраза заключает в себе больше мудрости, чем какая-нибудь схолия Спинозы. Однако я старался казаться глубоко тронутым несчастной судьбой дочери старого скряги. В моем голосе слышалось сочувствие бедной сомюрской затворнице, и он становился негодующим, когда речь шла о неверном кузене. Но, как и прежде, я и тут тратил силы напрасну. Столь сложных приемов совершенно не требовалось. В том настроении, в каком находилась тогда Шарлотта, любой роман представлял для нее опасность. Если бы ее отец и мать хотя бы в малой степени обладали даром наблюдательности, необходимым для родителей, то они догадались бы об этой опасности, следя за лицом дочери, ибо на протяжении трех вечеров, пока продолжалось чтение, роман все более и более захватывал ее. Маркиза ограничила замечанием, что таких нехороших людей, как отец Евгенией и ее кузен, в действительности не существует. Что же касается старого маркиза, то он слишком много повидал на своем веку, чтобы из-



рекать столь наивные мнения, и свое равнодушие к роману он объяснил так:

— Право же, роман чересчур расхвалили. Бесконечные описания, рассуждения, подсчеты... Все это прекрасно, ничего не скажешь... Но лично я предпочитаю романы позабавнее...

И он закончил пожеланием, чтобы из книжного магазина в Клермоне выписали полное собрание комедий Лабиша. Эта новая фантазия маркиза привела меня в отчаяние. Я мог лишиться возможности влиять на уже взбудораженное воображение Шарлотты и притом в тот момент, когда успех начинал казаться мне вероятным. Но все дело в том, что я не понимал стремления этой уже уязвленной мною души, которая, сама того не ведая, жаждала приблизиться ко мне, понять меня, раскрыться предо мной и жить в полном согласии с моими мыслями. На другой день после того как маркиз вынес свой приговор психологическим романам, мадемуазель де Жюсса вошла в библиотеку, когда я занимался там с Люсьеном. Она поставила на место уже ненужный том «Энциклопедии» и со смущенной улыбкой обратилась ко мне:

— Я хотела просить вас об услуге. У меня много свободного времени, и я не знаю, чем заняться... Мне хотелось бы, — робко продолжала она, — чтобы вы посоветовали, что мне прочесть... Книга, которую вы выбрали в прошлый раз, доставила мне такое наслаждение! Обычно романы наводят на меня скуку, а вот этот очень меня увлек...

Слушая эти слова, я испытывал такую же радость, какую, вероятно, испытал граф Андре, увидев высунувшуюся над кладбищенской оградой голову вражеского солдата, которого он убил. Мне показалось, что я тоже держу дичь на прицеле. Предлагая мне руководить ее чтением, Шарлотта тем самым ставила себя под удар. Но ее просьба представлялась мне настолько важной, что я притворился крайне смущенным. Поблагодарив за доверие, я заявил, что она возлагает на меня слишком сложную задачу, для которой я не чувствую себя подготовленным. Короче говоря, я сделал вид, будто отказываюсь, хотя в глубине души просьба ее привела меня в восторг, я был как пьяный. Она настаивала, и кончилось тем, что я обещал составить для нее список книг.

Теперь весь вопрос заключался в том, чтобы не ошибиться в выборе, сделать который было куда труднее, чем выбрать «Евгению Гранде». Я просидел до глубокой ночи, перебирая в памяти и отвергая сотни книг. Как подобрать такие, которые воспламенили бы ее воображение, не напугав ее, и такие, что взволновали бы ее, но вместе с тем не вызвали бы у нее возмущения? Наконец, подражая голосу своего отца, я повторил его излюбленную фразу:

— Приступим к делу методически...

И я подошел к решению задачи следующим образом: я стал припоминать, какие книги и как именно действовали на мое собственное воображение, когда я был подростком. Я вспомнил (как я уже говорил вам в этой подробной исповеди), что литература влекла меня тем, что открывала неведомую мне область чувств. Я был одержим желанием пережить еще не испытанное. Из этого я заключил, что «отравление» литературой неизбежно для всех. Следовательно, надо было выбрать для девушки такие книги, которые пробудили бы у нее то же самое желание, но при этом необходимо было учесть различие наших характеров. Мне особенно нравились сложные произведения с любовным сюжетом, потому что они соответствовали двум самым глубоким, основным чертам моей натуры. Шарлотта же была утонченным, чистым и нежным созданием. Легче всего было увлечь ее на опасный путь романтического любопытства описанием чувств, сходных с ее собственными чувствами. В конечном счете я решил, что больше всего подходят для этой цели такие произведения, как «Доминик» Фромантена, «Принцесса Клевская», «Валерия», «Жюли де Трёкер», «Лилия в долине», сельские романы Жорж Санд, некоторые комедии Мюссе, в частности «Любовью не шутят», ранние стихи Сюлли-Прюдома, поэзия Виньи. Я не только составил список книг, но и постарался снабдить его заманчивыми комментариями, в которых тщательно указывал все особенности, свойственные каждому из этих писателей. Это и есть тот список, который бедная девушка сохранила у себя и относительно которого следственные власти заявляют, что он подтверждает мои попытки начать ухаживание. Странное ухаживание! Как мало оно походит на пошлые планы насчет выгодного брака, в которых меня обвиняют эти тупоголовые госпо-

да! Если бы у меня не было другого, куда более серьезного повода отказываться от защиты, о чем я скажу в конце этих записок, то я молчал бы уже из одного отращения к этим пошлякам, которым и в голову никогда не придет, что можно совершить что-либо из чисто отвлеченных побуждений. Пусть они дадут мне в судьи вас, дорогой учитель, и других корифеев современной философии! Тогда я мог бы говорить в суде так же, как сейчас говорю с вами. Но вам-то, во всяком случае, хорошо известно, что я роковым образом был предопределен к этому решительному часу своей жизни, как и к тому, чтобы писать эти строки, а наше лицемерное общество предпочитает жить вне Науки, той Науки, которой я служил в те дни,— служил ей одной!

Наконец, указанные мною книги были доставлены из Клермона. Со стороны маркиза никаких замечаний они не вызвали. Но нужно обладать более значительным умом, чем ум этого ограниченного человека, чтобы понимать, что вредных книг вообще не существует: существуют только неблагоприятные моменты для чтения тех или иных книг, в том числе и самых лучших. У вас в главе о «литературной душе» есть замечательное сравнение: вы уподобляете открытые раны, нанесенные воображению некоторых людей чтением, широко известному явлению, имеющему место у больных диабетом. Самый незначительный порез у них воспаляется и превращается в гангрену. Если нужно еще доказательство для теории «предрасположения», о которой вы пишете дальше, то я не мог бы найти ничего лучшего, чем тот факт, что мадемуазель де Жюсса искала в этих столь различных книгах прежде всего сведений обо мне самом, о моей манере чувствовать, мыслить, воспринимать жизнь и человеческие характеры. Каждая глава, каждая страница этих коварных книг сделалась для нее предлогом для бесконечных расспросов, с которыми она горячо и наивно обращалась ко мне. Да, я совершенно убежден, что делала она это с самыми добрыми намерениями и вовсе не подозревала, что поступает дурно, приходя поболтать со мной по поводу той или иной фразы о Доминике или Жюли, о Феликсе де Ванденессе или Пердикане. Я отлично помню, какое отвращение вызвал у нее этот юноша, самый обольстительный и греховный из всех героев Мюссе, помню, с каким пылом, вторя ей, как эхо, я клей-

мил его двуличие в отношениях с Камиллой и Розеттой. А между тем ни один герой не нравился мне больше, чем этот любовник, одновременно вероломный и искренний, изменчивый и нежный, простодушный и в то же время беспутный, который по-своему тоже производил опыт душевной виссекции над своей хорошенькой и гордой кузиной. Я привожу этот пример из двадцати других только для того, чтобы дать вам представление о разговорах, какие мы теперь вели с Шарлоттой, живя в такой близости друг от друга. Действительно, никто за нами не наблюдал. Личина, которую я надел на себя по приезде в замок, продолжала скрывать меня от взоров окружающих. Маркиз и маркиза сразу же составили обо мне совершенно ложное представление и не давали себе труда проверить, не ошиблись ли они на мой счет. Добрейшая мадемуазель Ларже, приятно и благодушно обосновавшаяся в замке на положении приживалки, была слишком наивным существом, чтобы подозревать порочные мысли, которые роились в моей голове. Аббат Бартомеф и сестра Анакле, которых разделяло тайное соперничество, скрытое за елейной вежливостью, были озабочены одним: как бы снискать благоволение владельцев замка. Священник добивался этого для своей церкви, монахиня — в интересах своего ордена. Люсьен был чересчур молод, а что касается слуг, то я еще не знал, какое вероломство скрывается за безразличным выражением их бритых лиц и под безукоризненными коричневыми ливреями с металлическими пуговицами. Таким образом, мы с Шарлоттой были предоставлены самим себе и могли свободно беседовать целыми часами. Утром она появлялась в столовой, где мы с Люсьеном пили чай; тут, под предлогом совместного завтрака, мы успевали поговорить. От нее веяло приятной свежестью только что принятой ванны, волосы ее были заплетены в тяжелую косу, и под небрежно накинутым платьем угадывалось очарование ее гибкого тела. Затем я видел ее в библиотеке, так как она всегда находила какой-нибудь благовидный предлог заглянуть туда. Здесь она была совсем другой, уже причесанная и в дневном туалете. Затем мы снова встречались в гостиной перед вторым завтраком и после него; она со своей обычной грацией разливала кофе, немного торопясь, чтобы задержаться около меня: мне она наливала последнему, и это

давало нам возможность побеседовать, уединившись у окна. Если позволяла погода, во вторую половину дня мы отправлялись на прогулку, чаще всего вчетвером: гувернантка, Шарлотта, я и Люсьен. Затем в пять часов мы снова собирались за чайным столом; потом подавали обед, во время которого я сидел рядом с Шарлоттой. Наконец, мы оставались вдвоем вечером, так что наши разговоры, прерываемые и снова возобновляемые, как бы сливались в одну нескончаемую беседу. Я мысленно сравнивал свои наблюдения над Шарлоттой с тем, что я замечал у животных, которых мне доводилось приручать. Одно время меня заинтересовал вопрос о психологии животных, и я написал об этом несколько очерков. Если мать, как я ее просил, передаст вам после моей смерти бумаги, которые вернут ей судебные власти, то вы найдете среди них и эти заметки о приручении животных человеком. Я имею основания считать, что по этому вопросу еще ничего не написано и что мои заметки достойны вашего внимания. Отправной точкой послужила мне одна из теорем Спинозы. Не помню ее точного текста, но смысл ее сводится к следующему: представить себе какое-нибудь действие то же самое, что мысленно произвести его. Это одинаково верно и по отношению к человеку и по отношению к животным. Ученый, имеющий огромные заслуги перед наукой и хорошо вам известный,—я имею в виду г-на Эспина,—доказал, исходя из этого, что всякое общество основано на подражании. Отсюда я сделал вывод, что приручить какое-либо животное, заставить его жить в обществе человека можно лишь тогда, когда в своих отношениях с этим животным ограничиваешься только тем, что оно способно повторять за нами; другими словами, мы должны сами походить на это животное. Я проверял этот закон, констатируя таинственное физиономическое сходство, возникающее, например, между охотником и его собаками. Я убедился также,—и это служило доказательством, что мадемуазель де Жюсса с каждым днем все более приручается,—что мы стали употреблять одни и те же обороты речи. Я иногда ловил себя на том, что произношу слова так же, как она, а у нее наблюдал жесты, похожие на мои. Короче говоря, я как бы становился частью ее жизни, и происходило это незаметно для нее самой, ибо я прилагал все усилия к тому, чтобы каким-

нибудь неосторожным словом не спугнуть душу, уже готовую запутаться в моих силках.

Эта жизнь, на которую я обрек себя в течение двух месяцев, пока продолжались наши чисто интеллектуальные отношения, жизнь, полная настороженности и дипломатических ухищрений, протекала не без внутренней, почти каждодневной борьбы. Мой план заключался не только в том, чтобы увлечь ее ум, овладеть мало-помалу ее воображением. Я хотел быть любимым и отлично понимал, что духовный интерес лишь начало страсти. Этот интерес неминуемо должен был завершиться иной близостью, иначе он остался бы бесплодным. В вашей «Теории страстей» к одной из страниц есть примечание, которое я постоянно перечитывал в те дни и поэтому знаю его наизусть: «Методическое изучение жизни профессиональных соблазнительей могло бы пролить яркий свет на проблему возникновения любви. Но мы не располагаем необходимыми документами: соблазнительи были в большинстве случаев людьми действия и не умели рассказывать о себе. Тем не менее некоторые отрывки, например, в «Мемуарах» Казановы, в «Частной жизни» маршала де Ришелье, в главе Сен-Симона о Лозене, представляющие огромный психологический интерес, позволяют нам утверждать, что в девятнадцати случаях из двадцати смелость и физическая фамильярность являются вернейшими средствами, чтобы вызвать у женщины любовь. Эта гипотеза подтверждает нашу доктрину о животном происхождении любовной страсти». Я мысленно повторял этот тезис, когда беседовал с Шарлоттой на литературные темы, и с тем большим убеждением, что во мне уже говорила природа и что присутствие девушки будило во мне самые жгучие воспоминания. Порой, когда мы на несколько минут оставались наедине, когда она вдруг делала какое-нибудь движение или приближалась ко мне и я чувствовал ее рядом, по моим жилам пробегала лихорадочная волна желания, и мне приходилось отводить взгляд, чтобы он не испугал ее. Я смотрел, как ее белая рука перелистывает книгу, как вытягивается ее пальчик, указывая мне на ту или иную строку. А что, если я возьму эту ручку в свою, что, если я нежно сожму ее и долго буду держать в своей руке? Я убеждал себя, что должен это сделать. Но у меня не хватало смелости... Часто в отсутствие Шарлотты мне казалось, что легче

будет проявить смелость, если я отважусь на большее. Тогда я решал, что непременно сожму ее в объятиях, прильну губами к ее губам. Я представлял себе, как она слабеет под моими ласками, теряя власть над собой, пораженная, словно молнией, этим грубым проявлением страсти. А что будет дальше? При этой мысли у меня билось сердце. Меня удерживал не страх, что меня могут с позором выгнать из дома. Моя гордость страдала больше от мысли, что у меня не хватит решимости. И я не решался. Сколько раз я вскакивал по ночам от еще более безумных мыслей. После долгих часов таких волнений я вставал с постели в холодном поту. «А что, если сейчас же пойти к ней? — размышлял я. — Что будет, если она проснется в моих объятиях и почувствует, что мои губы слились с ее губами, а тело с ее телом?» В безумном увлечении этим планом я дошел до того, что осторожно, как вор, отворяя дверь, спускался этажом ниже и пробирался по коридору до другой двери, до той, за которой спала Шарлотта. Я рисковал тем, что меня заметят и выгонят, — и на этот раз ни за что. Но я брался за дверную ручку. Холод меди обжигал мне пальцы. На большее я не осмеливался. Не думайте, что это объяснялось только моей робостью. Правда, неспособность к действию — одна из отличительных черт моего характера, но только в тех случаях, когда меня не воодушевляет какая-нибудь идея. Однако стоит только идее овладеть мною, и я преисполняюсь несокрушимой энергией. Тогда мне и смерть нипочем. Вы убедитесь в этом, если меня приговорят к смертной казни. Нет, около мадемуазель де Жюсса меня парализовала, как какое-то магнетическое влияние, ее чистота: ясно сознавая это, я все же не в состоянии объяснить себе причину такого явления. Утверждение, что соблазнить невинную девушку труднее, чем овладеть женщиной, которая уже отдавалась и поэтому может лучше защищаться, на первый взгляд кажется нелепым. А между тем это так. По крайней мере лично я с необычайной силой испытал невольное благоговение перед невинностью. Часто, когда я ощущал между собой и Шарлоттой эту непреодолимую преграду, я вспоминал легенду об ангелах-хранителях и понимал происхождение этого поэтического верования. Если мы низведем путем анализа это явление к его реальной сущности, мы увидим, что и в отношениях

между двумя людьми, даже без их ведома, существует такое же взаимодействие. Я пытался из холодного расчета приручить эту девушку, уподобляясь ей, но испытал на себе самом, уже забыв о всяком расчете, духовное влияние, которое источает всякий подлинно возвышенный характер. Необычайная простота ее души порой одерживала верх над всеми моими идеями, воспоминаниями и желаниями. Словом, хоть я и считал это слабостью, не достойной сильного ума, как мой, я все же уважал Шарлотту. Мы слишком легко поддаемся влиянию предрассудков! Я уважал ее, будто не знал цену такому слову, как «уважение», и того, что за этим словом скрывается нелепейшее проявление нашего невежества. Разве станем мы уважать игрока в рулетку, который десять раз подряд выигрывает, ставя на красное или черное? А в азартной лотерее вселенной добродетель и порок — это то же, что красное и черное в рулетке. Порядочная девушка и счастливый игрок стоят друг друга.

Наступила весна. Она застала меня среди волнующих чередований дерзких планов и безумной робости, противоречивых рассуждений, хитроумных комбинаций и наивного пыла. О, какая это была весна! Нужно пережить суровую зиму в наших горах, потом неожиданную сладость обновления природы, чтобы понять, какое очарование жизни чувствуется в воздухе, когда апрель и май приводят с собой священное время года. Сначала пробуждается вода на лугах. Она трепещет под хрупким покровом льда, потом взламывает его, струится и журчит, свободная и прозрачная. В пустынных лесах слышится неумолчный шепот снега: он падает ком за комом на вечнозеленые ветви сосен, на черную сухую листву дубов. Освободившееся ото льда озеро покрывается рябью под набежавшим ветерком, который гонит облака, и тогда вновь появляется на небе лазурь, та лазурь над горами, что кажется более прозрачной, более глубокой, чем над равниной; и вот проходит несколько дней — и унылый пейзаж принимает тончайшие оттенки нежных красок. На голых ветках появились острые почки. Зеленые сережки орешины смешались с желтоватыми сережками ивы. Даже черная лава Шеры как бы оживилась вместе со всей природой. Бархатистые споры мхов пережились с белыми пятнами лишайника. Кратеры Пюи



де ля Ваш и Пюи де Лассола постепенно открыли великолепие своих красноватых песков. Серебристые стволы берез и многоцветная кора буков ярко засияли на солнце. В зарослях начали распускаться прелестные цветы, которые я некогда собирал с отцом; их венчики смотрели на меня, как глаза, а аромат казался живым дыханием. Сначала зацвели барвинки, первоцвет и фиалки. Потом стали попадаться бледно-лиловый полевой сердечник, розовые цветы волчьего лыка, что появляются раньше своих зеленых листьев, и белые анемоны; за ними последовали мускатные гиацинты, пахнущие сливой; двулистный морской лук с его приторно-сладким запахом; цветы, которые называются Соломоновой печатью, — белые колокольчики с таинственно блуждающим под землей корнем; в глубине небольших оврагов появились ландыши, а вдоль изгородей — цветы шиповника. Их овевал легкий ветерок, прилетавший с гор, еще покрытых снегом. Он приносил благоухание цветов, запах солнца и снега и что-то до того ласкающее и свежее, что, вдыхая воздух, человек пьянел от ощущения юности, от сознания, что он и сам принимает участие в обновлении огромного мира. Даже я, находившийся во власти своих доктрин и теорий, ощущал эту молодость природы, и лед абстрактных идей, сковывавший мою душу, начинал таять. Когда позднее я перечитывал страницы ныне сожженного дневника, где я записывал свои переживания, я сам удивлялся тому, с какой силой чисто физическое ощущение весны вновь открыло во мне источники наивности и какими потоками они наводнили мое сердце! Я сержусь сам на себя за эти мысли. Однако я испытываю какую-то сладость при воспоминании, что в те дни я искренне любил ту, которой уже нет на свете... Да, повторяю я с истинным облегчением: по крайней мере в тот день, когда я осмелился, наконец, сказать ей о своей любви — в тот роковой день, что явился для нас обоих началом гибели, — я был искренне обманут собственными словами. Вы видите, дорогой учитель, до чего я стал беспомощным, если ссылаюсь в качестве оправдания на искренность этого самообмана! Оправдания в чем? Не в жалком ли отречении исследователя от задуманного им эксперимента?

Чтобы быть вполне откровенным и не выставлять себя более смелым, чем я был на самом деле, должен

сказать, что признание, к которому я так готовился, я сделал совершенно случайно. Помню, это было 12 мая. За точность даты ручаюсь. Но подумать только, что не прошло еще и года с тех пор, а сколько совершилось событий! В то утро все как-то особенно сияло, и после полудня мы отправились вчетвером — мадемуазель Ларже, Люсьен, Шарлотта и я — на прогулку до деревни Сен-Сатюрнен, через заросли дубов, берез и орешника, которые отделяют деревню от развалин замка Монредон и известны под названием леса Прада. Дорога, пересекающая этот одичавший парк, великолепна. За нами следовал небольшой английский шарабан, где в случае необходимости мы могли бы поместиться все четверо. Но в пути мы садились в него по очереди. Нет, никогда еще утро не было таким теплым, небо таким голубым, а весенние запахи, которые приносил ветерок, такими пьянящими... Не прошли мы и мили, как мадемуазель Ларже, утомленная солнцем и свежим воздухом, устроилась на скамеечке экипажа, которым правил младший замковый кучер. Этот негодяй впоследствии дал крайне неблагоприятные для меня показания, вспомнив все, что видел или о чем догадался из тех фактов, о которых я сейчас расскажу. Люсьен вскоре тоже заявил, что устал, и присоединился к гувернантке. Таким образом, пешком продолжали прогулку только мы с Шарлоттой. Ей вздумалось собрать букет ландышей, и я помогал ей. Мы очутились под сводами деревьев, нежная, едва распустившаяся листва которых окутывала лес зеленоватой дымкой. Шарлотта шла впереди, углубляясь в чащу, увлеченная поисками цветов, которые то покрывали землю сплошным ковром, то совсем исчезали. Наконец мы очутились на какой-то прогалине, так далеко, что уже не видели за деревьями, хотя и прозрачными, своих спутников и экипаж. Шарлотта первая заметила, что мы в полном уединении. Она насторожилась и, не слыша цоканья подков на дороге, по-детски рассмеялась:

— Мы заблудились!.. К счастью, дорогу не трудно будет «наверстать», как говорит сестра Анакле. Вы пождете, пока я свяжу букет? Жаль портить такие прекрасные цветы...

Она присела на камень, залитый солнцем, и, разложив на коленях только что сорванные ландыши, стала

перебирать их стебелек за стебельком. Усевшись на другом краю камня, я вдыхал пряный аромат этих бледных гроздей. Никогда еще это создание, к которому в течение нескольких месяцев тянулись все мои помыслы, не казалось мне более трогательным и нежным, чем в эти мгновения. Я любовался ее порозовевшим на воздухе лицом, ярким пурпуром губ, которые складывались в легкую улыбку, прозрачностью серых глаз, тонким изяществом всего ее существа. На ней было темное шерстяное платье и нечто вроде жакета, который слегка обрисовывал ее стан. Из-под подола виднелись зашнурованные ботинки; каштановые волосы, собранные в узел под черной фетровой шляпкой, отливали на солнце рыжеватым отблеском. Чтобы удобнее было перебирать ландыши, она сняла перчатки, и я наблюдал быстрые движения ее прекрасных белых рук. Очарование молодости, исходившее от нее, как-то особенно гармонировало с окружающим ландшафтом, и чем больше я на нее смотрел, тем больше крепло во мне убеждение, что необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы высказать ей все, что я так давно собирался сказать. Несомненно, другого такого случая мне уже не представилось бы. В каких глубинах моей души родилась эта мысль и в какое именно мгновение? Не знаю. Знаю только, что, едва зародившись, она стала расти, расти... К ней примешивалось смутное угрызение совести, потому что я видел, как доверчива Шарлотта, как мало подозревает она о терпеливых усилиях, благодаря которым, злоупотребляя нашей ежедневной близостью, я приучил ее относиться ко мне с почти сестринской нежностью. Сердце у меня тревожно билось. Чары ее волновали все мое существо. На свою беду, она вдруг обернулась ко мне, чтобы показать почти законченный букет. Она несомненно заметила на моем лице следы волнения, которое поднимал во мне вихрь мыслей, ибо у нее самой радостное и обычно такое открытое лицо вдруг омрачилось тревогой. Должен прибавить, что за последние два месяца, когда мы с ней так подружились, мы избегали всяких намеков на придуманный мною печальный роман, которым я пытался вызвать в ней жалость. Она делала это из деликатности, а я из хитрости. Я понял, что Шарлотта вполне поверила в мою историю и постоянно думает о ней, ибо она сказала с невольной грустью во взгляде:

— Почему вы хотите испортить печальными воспоминаниями удовольствие от этой прогулки? Мне казалось, что вы стали благоразумнее...

— Нет,— ответил я,— вы не знаете, почему я грущу... Тут виной не воспоминания! Я знаю, вы намекаете на мои прошлые горести... Но вы ошибаетесь... Их уже нет. Их нет, как на этих ветвях нет прошлогодних листьев...

Я показал на молодые ветки березы, бросавшие кружевную тень на камень, на котором мы сидели. Мне казалось, что кто-то другой произносит эти слова. И я прочел в глазах своей спутницы, что, несмотря на поэтическое сравнение, которым я завуалировал их смысл, она поняла меня. Не знаю, что произошло во мне и почему вдруг стало для меня легким то, что было совершенно невозможным до этой минуты. Каким образом я посягнул на то, что казалось мне невыразимым? Я взял ее руку и почувствовал, как она затрепетала в моей руке, словно от какого-то невыразимого ужаса. У нее хватало сил подняться, чтобы уйти, но ее колени дрожали, и я без труда заставил ее снова сесть на камень. Я был так взволнован собственной смелостью, что уже не владел собою и стал говорить о своих чувствах в выражениях, каких уже не могу найти сейчас,— так мало подчинялся я в тот миг своим расчетам. Все переживания, которые я испытал по приезде в замок — да, все, начиная с самых отвратительных, вроде зависти к графу Андре, и до самых благородных, до угрызений совести, что я злоупотребляю доверием этой девушки,— все они вдруг слились в почти мистическое, полубезумное обожание этого трепетного, прекрасного, взволнованного существа!.. Я видел, что по мере того как я говорю, она становится бледной, как цветы, разбросанные на ее коленях. Я помню, что фразы срывались с моих губ, восторженные до исступления, беспорядочные до неосторожности, и что я кончил объяснение, сжимая ее руку в своей, еще ближе подвигаясь к ней и повторяя вне себя:

— Как я вас люблю!.. О, как я вас люблю!..

Она склонилась, точно у нее не хватало сил держаться прямо. Свободной рукой я обнял ее за талию, однако так смутился, что даже не подумал, что могу поцеловать ее. Но этот жест, вызвавший у нее новый приступ

страха, вернул ей силы: она вскочила и высвободилась из моих рук. Она скорее простонала, чем сказала:

— Оставьте меня!.. Оставьте!..

Пятясь от меня и вытянув вперед руки, как бы для защиты, она отошла к березе, на которую я только что показывал ей, и прислонилась к стволу, задыхаясь от волнения: крупные слезы катились по ее щекам. В этих слезах было столько оскорбленного целомудрия, в подергивании ее полуоткрытых губ чувствовалось такое мучительное возмущение, что я замер на месте и только бормотал:

— Простите меня!..

— Молчите! — сказала она резко.

Так мы стояли в полном молчании друг перед другом некоторое время, по-видимому, очень непродолжительное, хотя оно и показалось мне вечностью. Вдруг в лесу раздался чей-то голос. Кто-то кричал вдали, потом все ближе и ближе, подражая кукушке. Там уже забеспокоились по поводу нашего отсутствия, и маленький Люсьен звал нас обычным условным сигналом. При этом простом напоминании о действительности Шарлотта вздрогнула. Щеки ее снова зарделись. Она посмотрела на меня, и в ее взоре гордость победила страх. Как бы очнувшись от ужасного сна, она взглянула на свои дрожащие руки, молча подняла перчатки и цветы и бросилась бежать от меня. Да, она бежала, как преследуемый зверь, — в ту сторону, откуда доносился голос. Минут через десять мы уже снова были на дороге.

— Я что-то не совсем хорошо себя чувствую, — сказала она гувернантке, как бы предупреждая расспросы, которые могло вызвать выражение ее лица. — Можно, я сяду в шарабан? Пора возвращаться...

— Это от зноя, — заметила старая дева.

— А как же господин Грелу? — спросил мальчик, когда Шарлотта устроилась на сиденье, а сам он поместился сзади.

— Я вернусь пешком, — сказал я.

Кучер хлестнул лошадь, шарабан тронулся и быстро покотился, несмотря на четырех седоков. Люсьен помахал мне рукой. Некоторое время я видел шляпу мадемуазель де Жюсса, неподвижно сидевшей рядом с кучером. Потом экипаж исчез, и я зашагал в одиночестве по дороге под тем же голубым небом и среди тех же самых

деревьев, покрытых пухом молодой листвы. Но восторженное настроение, охватившее меня в начале прогулки, сменилось теперь страшной тревогой. На этот раз жребий был брошен. Я дал сражение и проиграл его. Теперь меня с позором выгонят из замка. Однако меня угнетала не столько эта перспектива, сколько странная смесь раскаяния, стыда и вожделения. Вот куда завели меня моя ученость и психология и произведенная по всем правилам осады девичьего сердца! Ни слова в ответ на мое страстное признание! Да и я в минуту, когда наступило время действовать, не нашел ничего лучшего, как декламировать перед нею фразы из романов! И один ее жест, ее бегство от меня с вытянутыми вперед руками пригвоздили меня к месту. Несомненно, в моей страсти к Шарlotte в эту пору наших отношений заключалось немало тщеславия и чувственности, ибо порыв обожания, который побудил меня излиться перед нею с таким искренним красноречием, вдруг превратился в припадок бешенства. Почему я не овладел ею тут же, на земле, у подножия того самого дерева, к которому она прислонилась? Вместо этого я стоял в каких-нибудь четырех шагах от нее и не нашел ничего лучшего, как просить прощения. В моих мыслях возник граф Андре. В мгновение ока я представил себе презрительную гримасу на его лице, когда ему расскажут об этой сцене. Словом, когда я оказался перед оградой замка, я уже не был ни тонким психологом, ни взволнованным любовью юношей, а всего только кровно оскорбленным человеком. Как только я взглянул на знакомые очертания озера, привычную для глаза линию гор и фасад замка, гордыня уступила во мне место чудовищному страху перед тем, что мне предстояло испытать, и у меня мелькнула мысль немедленно бежать отсюда, вернуться поскорее в Клермон. Лучше бежать, чем снова убедиться в презрении мадемуазель де Жюсса и пережить оскорбления, на которые не покусится, конечно, ее отец... Но было уже поздно: по главной аллее навстречу мне шел сам маркиз в сопровождении Люсьена. Мальчик звал меня. В голосе его звучала обычная дружеская интонация, а прием, оказанный мне стариком, окончательно убедил меня, что еще не все погибло.

— Они вас бросили, — ворчал маркиз, — и даже не догадались послать за вами экипаж... Пришлось же вам

помаршировать!..— Он посмотрел на часы и прибавил: — Боюсь, не простудилась ли Шарлотта. Она легла, как только вернулась... Весеннее солнце — предательская штука!

Значит, мадемуазель де Жюсса еще ничего не сказала!.. «Сегодня ей нездоровится, но завтра она все расскажет»,— думал я, оставшись один, и тотчас же стал укладывать свои бумаги. Я очень дорожил ими в те дни, еще питая наивную веру в свои психологические таланты! Это завтра наступило. Опять ничего! Я встретился с Шарлоттой за столом во время завтрака; она была бледна, как человек, испытавший сильное горе. Я заметил, что от звука моего голоса она слегка вздрагивает. И только. Боже мой! Какую странную неделю пережил я тогда, каждый день ожидая, что она все откроет родителям! Меня терзало это ожидание, и в то же время я никак не мог предупредить события и уехать из замка. Дело заключалось не только в отсутствии подходящего предлога. Меня удерживало здесь жгучее любопытство. Я хотел не только мыслить, но и жить. Ну что ж, я жил. Да еще какой лихорадочной жизнью! Наконец, через неделю маркиз попросил меня зайти к нему в кабинет. «Ну, на этот раз,— думал я,— развязка близка. Пожалуй, это к лучшему...» Я приготовился увидеть гневное лицо, услышать оскорбительные речи. К моему удивлению, ипохондрик улыбался, у него был оживленный и помолодевший вид.

— Дочь все еще больна...— начал он.— Ничего серьезного... Но у нее странные нервные явления... Она во что бы то ни стало хочет посоветоваться с парижскими врачами... Вы знаете, она и раньше хворала. Но один врач поставил ее на ноги, и она чувствует к нему особое доверие. Да я и сам не прочь обратиться к нему. Так вот, послезавтра мы с ней уезжаем. Возможно, что затем мы совершим небольшое путешествие, чтобы она чуточку рассеялась... Мне хотелось бы дать вам кое-какие указания относительно Люсьена на время моего отсутствия. Хотя я очень доволен вами, дорогой Грелу, очень, очень доволен... Я уже писал Лимассе... Мне повезло, что я нашел такого воспитателя, как вы...

На основании того, что я рассказал вам о своем характере, вы подумаете, дорогой учитель, что эти комплименты весьма польстили мне,— ведь они служили дока-

вательством того совершенства, с каким я играл свою роль, и успокаивали меня насчет событий последних дней. Но я отнюдь не был польщен. Мне стало ясно: Шарлотта решила не рассказывать о моей попытке объяснить ей в любви, и я спрашивал себя: почему? Вместо того чтобы истолковать это молчание как благоприятный для меня признак, я заподозрил другое. Я подумал, что она из жалости боится лишить меня куска хлеба, но не из той жалости влюбленной женщины, какую мне хотелось вызвать у нее. Не успел я придумать это объяснение, как оно уже показалось мне убедительным и вместе с тем невыносимым. «Нет,— сказал я сам себе,— этому не бывать. Я не приму милостыни, такое оскорбительное снисхождение мне не нужно... Когда мадемуазель де Жюсса вернется, она уже не застанет меня здесь. Она дает мне понять, как я должен поступить? Ну что ж, я так и поступаю. Я пытался увлечь ее, но не сумел вызвать даже ее гнева... Пусть же у нее по крайней мере не останется обо мне воспоминания как о лакее, который цепляется за место, невзирая на все обиды..» Надежда на обольщение, которая всю зиму поддерживала меня, окончательно рухнула, и я был так сбит с толку, что в ночь после разговора с маркизом написал письмо той, кого мечтал влюбить в себя. В этом письме я снова просил у нее прощения. «Я понимаю,— писал я,— насколько наши отношения стали теперь невозможными»,— и прибавлял, что по возвращении ей уже не придется выносить моего ненавистного присутствия. На другой день утром, в суматохе сборов, я улучил минуту, когда маркиза зачем-то позвала Шарлотту к себе, и бросился в ее комнату. Я проник туда и положил письмо на ее письменный столик. Среди книг и всяких мелочей, которые она собиралась взять в дорогу, лежал и ее бювар. Я раскрыл его и заметил конверт, на котором было помечено: 12 мая 1886 года... Это была дата рокового объяснения!.. Я взял конверт и приоткрыл его. В нем лежали полузасохшие ландыши. Тут я вспомнил, что во время нашей последней прогулки дал ей несколько особенно крупных стебельков и что она приколола их на груди... Она сохранила эти ландыши! Она не захотела расстаться с ними, несмотря на все, что я ей сказал, а может быть, именно потому, что я это сказал! Об этом свидетельствовала дата на конверте: 12 мая 1886 года.



Не думаю, чтобы мне пришлось еще когда-нибудь испытать волнение, подобное тому, какое охватило меня при виде этого простого конверта. Мое сердце преисполнилось гордости. Да, Шарлотта отвергла меня. Да, она от меня бежала. Но она любит меня! Передо мною доказательство чувства, о каком я и думать не смел. Я закрыл бювар и вернулся к себе в комнату, опасаясь, как бы она не застала меня здесь. Письмо я не оставил, а тут же уничтожил его. Теперь уже не могло быть и речи о моем отъезде. Нет, теперь надо было дожидаться ее возвращения. Тогда я уже ни перед чем не остановлюсь и буду торжествовать победу. Она меня любит!..

### § 5.— Второй кризис

Она любит меня! Итак, эксперимент с обольщением, который я затеял из гордости и любопытства, удался. В этом уже нельзя было сомневаться ни одной минуты, и полученное мною доказательство не только помогло мне перенести отъезд Шарлотты, но привело к тому, что я почти радовался ее временному отсутствию. Бегство ее объяснялось борьбой с собственными чувствами и указывало на их глубину. Кроме того, ее отъезд на несколько недель помогал мне выйти из невероятных затруднений. «В самом деле,—спрашивал я себя,—что же мне делать? Как вести себя, чтобы закрепить и развить этот неожиданный успех?» Теперь у меня еще было время подумать об этом в отсутствие девушки, которое не могло продолжаться долго, так как в настоящее время Жюсса могли жить только в Оверни. Итак, я на время отложил разработку дальнейшего плана и ходил как хмельной под впечатлением своей победы. А тем временем в замке происходили сборы в дорогу. В день отъезда я, как бы из деликатности, чтобы не стеснять их в последние минуты, попрощался с уезжающими в гостиной и поднялся в свою комнату. Крепкое, дружеское рукопожатие маркиза доказало мне еще раз, как прочно мое положение в этом доме. За подчеркнутой холодностью девушки я угадывал трепет ее сердца, тайну которого она не хотела выдавать. Моя комната была угловой на третьем этаже; окно выходило на двор перед замком. Я спрятался за портьеру, чтобы незаметно наблюдать за тем, как уезжающие будут садиться в экипаж.

У подъезда стояла коляска с меховой полстью, запряженная той же гнедой лошастью, что везла в памятный для меня день английский шарабан, и на козлах сидел, как монумент, тот же самый кучер, в коричневой ливрее и с бичом в руке. Показался маркиз, потом Шарлотта. Мне трудно было рассмотреть издали ее лицо, и, когда она подняла вуалетку, чтобы вытереть глаза, я не мог разгадать, что ее так растрогало: последние ли поцелуи матери и брата, или горечь непосильного решения. Но когда экипаж покотился к воротам замка, я отлично видел, что Шарлотта обернулась. Родных уже не было на крыльце. Куда же она могла смотреть так долго, как не на окно, из которого я тайком наблюдал за нею? Потом экипаж скрылся за рощей, еще раз мелькнул на берегу озера, затем снова исчез и стал удаляться по дороге через лес Прада, по той дороге, где Шарлотту подстерегало воспоминание, от которого, я был уверен, еще сильнее забьется ее сердце, наконец-то растревоженное и покоренное.

Это ощущение удовлетворенной гордости не покидало меня ни на одну минуту в продолжение целого месяца. Никогда еще мой ум не был более ясным, более гибким и восприимчивым, чем в те дни, и это служит доказательством, что по отношению к этой девушке я продолжал оставаться прежде всего ученым и психологом. Я написал в те дни лучшие свои страницы — исследование о работе воли во время сна. С понятным вам восторгом исследователя я использовал в этом этюде все наблюдения, сделанные мною за последние месяцы относительно изменчивости, твердости или слабости моих решений. Ведь, как я вам уже сказал, я вел подробный дневник, анализируя, перед тем как лечь в постель, и утром, едва проснувшись, все оттенки своего душевного состояния. Да, те дни были полны переживаний. Свободного времени у меня было много. Мадемуазель Ларже и сестра Анакле поочередно развлекали маркизу, а мы с Люсьеном гуляли, пользуясь прекрасной погодой. Под предлогом, что это необходимо для его обучения, я привил ему страсть к собиранию бабочек. С сачком в руках он целыми днями бегал вдали от меня за аврами с оранжевой каемкой на крылышках, коричневыми мориосами, пестрыми крапивницами, голубыми аргусами и золотыми лимонницами. Таким образом, он оставлял

меня наедине с моими мыслями. Мы отправлялись с ним то по дороге в Прада, сившей теперь весенним убранством, то шли в сторону Вернежа и спускались в долину Сен-Женес-Шампанель, такую же очаровательную, как и ее название. Я садился где-нибудь на глыбу окаменевшей лавы — частицу огромного потока, излившегося некогда из Пюи де ля Ваш, и, предоставив воспитанника самому себе, целиком отдавался странному настроению, под влиянием которого в этой дикой природе, воплощавшей мои научные взгляды, я видел пример неумолимости рока. Природа как бы советовала мне относиться к добру и злу с полнейшим равнодушием. Я смотрел на распутившуюся под солнцем листву и вспоминал о законах дыхания растений, думал о том, как простым изменением количества света можно видоизменять их жизнь. Вот так можно было бы по своему желанию руководить и жизнью души, если бы точно знать ее законы. Мне уже удалось зародить страсть в душе девушки, от которой меня отделяла бездна. Какие же новые методы применить, чтобы усилить это чувство? Погруженный в формулы психологической алгебры, я забывал о синем небе, о лесной прохладе, о величии вулканов, о раскинувшихся вокруг меня широких просторах. Я колебался в выборе решения и не знал, как поступить в тот уже недалекий день, когда в тишине замка я снова окажусь лицом к лицу с мадемуазель де Жюсса. Разыграть ли в момент ее возвращения полнейшее равнодушие, чтобы смутить и унижить ее, вызвать у нее сначала удивление, а затем чувство обиды и, наконец, причинить ей горе? Или лучше затронуть ее ревность, намекнув, что иностранка из моего вымышленного романа вернулась в Клермон и пишет мне? Или продолжать в прежнем духе и преследовать ее пылкими объяснениями, со смелостью, которая обезоруживает женщин, с безрассудством, которое их опьяняет? Я переходил от одного решения к другому, перебрал еще много других. Мне это доставляло удовольствие, так как доказывало, что я не запутался в тенетах любви, что философ во мне сильнее влюбленного, что мое «я», могучее «я», жрецом которого я являюсь, остается превыше всего, что оно абсолютно независимо и невозмутимо. Как за недостойную слабость, я досадовал на себя за мечты, овладевавшие мною в иные минуты. Особенно часто это случалось в замке,

перед фотографиями Шарлотты, стоявшими на столешках, развешенными на стенах гостиной и в комнате у Люсьена. Это были портреты всевозможных размеров, изображавшие Шарлотту то шестилетним ребенком, то десятилетней девочкой, то пятнадцатилетним подростком, и по ним я мог проследить всю историю ее красоты, от детской грации до ее теперешнего хрупкого очарования. Черты на этих фотографиях изменялись, но взгляд был всюду тот же. У ребенка и у взрослой девушки он оставался неизменным, и было в нем что-то серьезное, нежное и вместе с тем решительное, что выдает способность к глубокому чувству. Этот взгляд недавно обращался и на меня, и воспоминание о тех минутах наполняло меня смутным волнением. Ах, почему я не отдался ему целиком? Почему тщеславие помешало мне испытать такую радость? Но на многих фотографиях Шарлотта была снята вместе с братом Андре. Какие струны ненависти затронул этот человек в моем сердце одним фактом своего существования? Достаточно мне было увидеть его возле Шарлотты — и нежность моя немедленно увядала; во мне ничего не оставалось, кроме желания. Какого желания?.. Теперь, когда ее сердце попало в мою ловушку, я осмеливался его сформулировать. Да, я хотел сделаться любовником Шарлотты. А потом?.. Но я старался не задумываться над тем, что будет потом, как старался подавить в себе и угрызения совести, возникавшие у меня порою при мысли, что я недостойно злоупотребляю гостеприимством. Я сосредоточивал всю мужественную силу своего мозга и еще больше углублялся в теории о культе собственного «я». Мне казалось, что я выйду из этого эксперимента обогащенный новыми чувствами и воспоминаниями. «Таков будет психологический итог приключения, — думал я. — А в повседневной жизни это будет означать возвращение к матери, как только кончится срок контракта». Но иногда угрызения совести становились слишком сильными и внутренний голос спрашивал меня: «А Шарлотта? Какое право имеешь ты превращать ее в объект твоего опыта?» Тогда я брал томик Спинозы и перечитывал теорему, где говорится, что наше право ограничено только нашими возможностями. Я раскрывал вашу «Теорию страстей» и штудировал рассуждение о борьбе полов. «Это — закон жизни, — рассуждал я, — что всякое существование выражается

в победе, одержанной и закрепленной более сильным над более слабым. Это одинаково верно как для физической природы, так и для природы чувств. Существуют хищные души, как существуют волки, леопарды и ястребы». Такая формула казалась мне убедительной, новой и справедливой. Я применял ее к самому себе и твердил: «У меня душа хищника! Душа хищника!» Я повторял эту фразу в припадке того бурного чувства, которое мистики называют горделивым сознанием жизни, а вокруг меня зеленела молодая листва, синело небо, и я находился на берегу прозрачной реки, бежавшей с гор в озеро. Тогда я на свой лад становился причастником слепой, глухой и вредоносной природы.

Это опьянение торжествующей гордыни было нарушено неожиданным событием, Маркиз написал, что возвращается в замок, но без Шарлотты: мадемуазель де Жюсса все еще хворала, и ей приходилось остаться в Париже, у тетки. Мы обедали, когда маркиза сообщила эту новость. Тут со мной приключился такой страшный припадок гнева, что он удивил меня самого: я даже вынужден был уйти из-за стола, сославшись на внезапное головокружение. Мне хотелось кричать, разбить что-нибудь, проявить свое бешенство в каком-нибудь безумном поступке. Гнев буквально потрясал все мое существо. Живя в лихорадке тщеславия, которая владела мною со дня отъезда Шарлотты, я все предвидел, кроме того, что при всей своей влюбленности девушка может найти в себе достаточно силы, чтобы не возвращаться в Эда. Она избрала самый простой и в то же время безошибочный и решительный способ освободиться от власти своего чувства! Вся хитроумная тактика моей науки становилась столь же бесполезной, как бесполезна пушка с самым усовершенствованным механизмом против врага, оказавшегося вне пределов ее досягаемости. Что я мог предпринять, раз Шарлотты не было здесь? Ничего, решительно ничего! А возможность разыскать ее в Париже была для меня исключена. Я с такой остротой, с такой болью понял свое бессилие и это сознание так взбудоражило мою нервную систему, что с момента получения письма от маркиза и до его возвращения я не мог есть и несколько ночей подряд не спал. С приездом маркиза я надеялся по крайней мере узнать, есть ли надежда, что Шарлотта вернется к концу июля, в августе или

хотя бы в сентябре. Мой контракт кончался в середине октября. Сердце у меня неистово билось и к горлу подступал ком, когда мы с Люсьеном прогуливались по перрону клермонского вокзала в ожидании шестичасового поезда из Парижа. Терзаемый нетерпением, я настоял, чтобы нам разрешили поехать встречать маркиза. И вот локомотив входит под стеклянные своды вокзала... Породистое и потрепанное лицо маркиза высовывается из окна вагона. Рискуя выдать свои чувства, я тут же спросил:

— Как мадемуазель Шарлотта?..

— О, благодарю, благодарю,— ответил он, горячо пожимая мне руку,— врач говорит, что у нее сильное нервное расстройство... Видно, горный воздух ей не подходит... А вот я, наоборот, только здесь и чувствую себя хорошо! Откровенно говоря, все это очень и очень печально. Одним словом, мы решили попробовать продолжить курс лечения холодными душами в Париже, а потом, может быть, в Нери...

Шарлотта не вернется! Сегодня, дорогой учитель, я впервые пожалел, что сжег тетрадь с замком; да, жаль, что у меня уже нет этого психологического документа, нет ежедневных записей моих мыслей, начиная с того июльского вечера, когда маркиз окончательно лишил меня надежды. Записи велись до октября месяца — до того, как непредвиденное обстоятельство изменило вероятный ход событий. В этих записях вы нашли бы, словно в атласе душевной анатомии, иллюстрацию к вашему прекрасному анализу любви, желания, сожалений, ревности, ненависти. Да, в продолжение четырех месяцев я прошел через все эти фазы. Сначала я сделал безрассудную, хотя и вполне естественную попытку написать ей, в полной уверенности, что отсутствие Шарлотты только подтверждает ее страсть. В письме, составленном очень искусно, я, прежде всего, просил у нее прощения за свою дерзость в лесу Прада и тут же совершал еще большую дерзость, рисуя волнующую картину отчаяния, в которое повергла меня разлука с нею. Это письмо было еще более безумным признанием в любви, чем сцена в лесу, и таким смелым, что, когда конверт исчез в ящике на деревенской почте, куда я сам его отнес, меня охватил страх. Прошло два дня, три дня... Никакого ответа. Но письмо все-таки не вернулось ко мне

нераспечатанным, чего я так опасался. Как раз в это время маркиза заканчивала сборы, собираясь в свою очередь поехать к дочери. Сестра маркизы занимала в Париже на улице Шаналей особняк, достаточно обширный, чтобы в нем можно было удобно разместить гостей.

«Париж, улица Шаналей, особняк де Сермуаз...» Какое волнение испытывал я всякий раз, надписывая на конверте этот адрес! Я написал пять или шесть писем. Я рассчитывал, что тетка не проверяет корреспонденцию Шарлотты, как это будет делать ее мать. Поэтому необходимо было воспользоваться временем, пока последняя еще находилась в Эда, и усилить впечатление, несомненно, произведенное на девушку моим первым письмом. И я писал каждый день до самого отъезда маркизы, писал все такие же письма. Мне не стоило большого труда разыгрывать влюбленного. Мое страстное желание, чтобы Шарлотта поскорее вернулась, было вполне искренним, — столь же искренним, сколь неблагоразумным. Впоследствии я узнал, что каждый раз, получив письмо и узнав мой почерк, Шарлотта часами боролась с искушением распечатать конверт. В конце концов она все-таки вскрывала его. Она читала и перечитывала страницы, яд которых действовал безошибочно. А так как ей было неизвестно об открытии, благодаря которому я стал обладателем ее тайны, она не считала нужным опровергать мнение, какое я мог составить о ней. Чтобы оправдать себя в собственных глазах за чтение моих писем, она, вероятно, уверяла себя, что я никогда не узнаю об этом, как не узнал о ее зародившейся любви. Эти письма так ее трогали, что она хранила их. Потом их пепел был обнаружен в камине ее комнаты — она сожгла их перед смертью. А я хорошо представлял себе волнующее действие этих посланий, которые я лихорадочно писал по ночам, возбужденный мыслью, что растрачиваю свои последние патроны. Все это действительно походило на стрельбу в густом тумане, ибо не было никаких признаков, по которым я мог бы определить, что мои выстрелы попадают в сердце той, в которую я целю. Эту полнейшую неопределенность я сначала истолковал в свою пользу. Но потом, когда маркиза уехала и я уже не мог писать Шарлотте, я увидел в ее молчании неоспоримое доказательство не того, что девушка меня не любит,

а того, что она всеми силами старается победить свою любовь и, вероятно, преуспеет в этом. «Ну, что ж,— говорил я сам себе,— приходится отказаться от нее, раз она отныне недосыгаема. Значит, всему конец...» Я произнес эту фразу вслух, будучи один в своей комнате и прислушиваясь к грохоту экипажа, увозившего маркизу. Маркиз и Люсьен провожали ее до Мартр де Вейр, где она должна была сесть в поезд. «Да,— повторял я,— всему конец. Впрочем, что мне до этого, раз я не люблю ее?..» В ту минуту эта мысль немного успокоила меня; я чувствовал только какое-то томительное стеснение в груди, как обыкновенно бывает при больших неприятностях. Я вышел из дому, чтобы отделаться от этого ощущения; из простого озорства, которым я любил доказывать самому себе свою силу, я направился на то место, где осмелился признаться Шарлотте в любви. Чтобы еще больше подчеркнуть свое душевное спокойствие, я захватил с собой только что полученную мною новую книгу — письма Дарвина во французском переводе. День выдался облачный, но очень жаркий. Южный ветер, своего рода самум, дувший из Лимани, согревал горячим дыханием деревья, теперь уже покрытые густой листвой. По мере того как я углублялся в лес, ветер все больше и больше действовал на мои нервы. Именно его влиянию хотелось мне приписать неприятное ощущение, все сильнее овладевавшее мною. После долгих поисков я в конце концов нашел в лесу ту лужайку, где мы сидели с Шарлоттой, нашел тот камень и березу около него. Теперь дерево трепетало от дыхания знойного ветра, и тень от его кружевной листвы стала гуще. Я собирался прочитать книгу именно в этом уголке. Я уселся и раскрыл томик. Однако я мог прочитать лишь каких-нибудь полстраницы... Воспоминания нахлынули на меня, властно овладели мною: я снова увидел девушку, которая сидела тогда на этом камне, перебирая стебли ландышей, вдруг встала и прислонилась к этой березе, а потом, словно обезумев, побежала по тропинке. В моем сердце все росла и росла невыразимая горечь, она теснила его тяжким гнетом, перехватывала мне дыхание, обжигала глаза слезами, и я с ужасом стал понимать, что, несмотря на все мои путанные рассуждения и тонкий анализ, я, сам того не подозревая, безумно влюбился в Шарлотту, которой нет со мной и никогда не будет.



Это совершенно неожиданное открытие, открытие чувства, в корне противоречившего всей моей программе, почти тотчас же вызвало во мне бунт и против самого этого чувства и против той, которая причиняла мне такую боль. Не было дня в те бесконечно тянувшиеся недели, чтобы мне не приходилось бороться против постыдного сознания, что я попался в свою собственную западню. Мною овладевали приступы горького озлобления против отсутствующей. Я понял всю силу этой злобы по той радости, которая наполняла мое сердце, когда маркиз получал письма от дочери и читал их, нахмурившись и вздыхая: «Шарлотта по-прежнему чувствует себя неважно!» Я испытывал некоторое, хотя и весьма слабое, утешение при мысли, что я тоже пронзил ее сердце отравленной стрелой и что эта рана не так-то скоро заживет. Мне даже стало казаться, что это и будет моей настоящей мстью: пусть она страдает, в то время как сам я исцелюсь. Я взывал к философу, каковым я себя с гордостью считал, чтобы он помог мне побороть в себе влюбленного. Я пустил в ход свое давнее рассуждение: «Существуют определенные законы душевной жизни, и они мне известны. Я не имею возможности применить их к Шарлотте, раз она бежала от меня. Но неужели я бессилён применить их к самому себе?» И тогда я начинал размышлять над новой проблемой: «Есть ли лекарства против любви?» «Да, есть, — отвечал я сам себе, — и я их найду!» Задумавшись над задачей излечения, я обратился к своему обычному методу почти математического анализа и, следуя этому методу, как геометр, разложил проблему на ее составные части. Я свел этот вопрос к другому: «Что такое любовь?» На него я со всей резкостью ответил вашим определением: «Любовь — это половая одержимость». Как же следует бороться с такой одержимостью? Конечно, при помощи физического утомления, которое приостанавливает или, во всяком случае, ослабляет работу мысли. Поэтому я совершал со своим воспитанником далекие прогулки. По воскресеньям и четвергам, в дни, свободные от занятий, я на рассвете уходил один, условившись заранее с Люсьеном о том, где и когда мы встретимся, и он в экипаже приезжал ко мне. Я наказывал будить себя около двух часов утра и выходил из замка еще в холодном предрасветном сумраке. Я шел куда глаза глядят, как безум-

ный выбирал самые крутые овраги, самые обрывистые, почти непроходимые места. Я рисковал сломать себе шею, скатываясь по выбухему песку кратеров или спускаясь по базальтовым уступам скал. Все мне было ни почем. Близился рассвет. На горизонте появлялась оранжевая полоска зари. Предутренный ветер бил мне в лицо. Звезды, как драгоценные камни, таяли, утопая в волнах лазури, сначала очень бледной, потом все более и более синей. Затем солнце зажигало на цветах, на деревьях и в траве брильянтовое сияние росы. А я стремился к животному опьянению, какое испытывал некогда во время долгих прогулок. Убежденный в существовании законов доисторического атавизма, я старался долгой ходьбой и ощущением высоты пробудить в себе древний дух нашего общего предка — грубого пещерного человека. Так доводил я себя до какого-то дикого неистовства, но оно не приносило мне ни умиротворения, ни радости, которых я жаждал, а при малейшем воспоминании о моих отношениях с Шарлоттой и вовсе исчезало. Изгибы дороги, по которой мы некогда ходили вместе, синяя гладь озера, открывавшаяся с высоты, очертания черепичной крыши замка, видневшейся вдалеке, или даже какие-нибудь менее значительные детали, — трепетная листва березы, ее серебристый ствол, придорожный столб с названием деревни, о которой она однажды говорила, — этого было достаточно, чтобы мое нарочитое неистовство постепенно исчезало, уступая место острому сожалению, что ее уже нет со мной. Я слышал нежный звук ее голоса: «Ну, посмотрите же...» Так она говорила мне порою, когда мы в зимние дни бродили с нею среди покрытых снегом гор. Но тогда в снегах распускался живой цветок ее красоты. Теперь же все вокруг покрылось зеленью, однако цветок этот был далеко... Отсутствие Шарлотты становилось еще более невыносимым, когда я встречался с Люсьеном, потому что он все время говорил о сестре. Он нежно любил ее, восхищался ею, и его детская простодушная привязанность лишней раз убеждала меня в том, насколько она достойна любви и восхищения. Тогда моя физическая усталость сменялась сильнейшим нервным возбуждением, начиналась бессонница, мучительная и отравленная горечью, бессонница, во время которой я плакал навзрыд и как безумный выкрикивал имя Шарлотты.

«Я страдаю, потому что думаю об этом,— убеждал я самого себя, после того как попытка найти спасение в физической усталости ни к чему не привела.— Попробуем преодолеть эти мысли при помощи других мыслей». И вот наступил второй период, когда я пытался переместить центр тяжести своих духовных сил. Я засел за изучение предмета, отвлекающего от всяких мыслей о женщине: менее чем за две недели я проштудировал с карандашом в руке двести страниц, трактующих о химии живых тел, самых трудных для меня страниц из привезенной с собою «Физиологии» Бони. Однако, как ни силился я понять и резюмировать этот анализ, требующий лабораторных опытов, я ничего не достиг, кроме того, что притупил свой ум и стал еще менее способен бороться с навязчивой идеей. Я понял, что снова выбрал неправильный путь. Не лучше ли метод, предложенный Гете: сосредоточить все свои мысли на том страдании, от которого хочешь избавиться? Этот великий мыслитель, отлично понимавший, как надо жить, применил на практике теорию, изложенную Спинозой в пятой книге его труда. Сущность ее заключается в том, что за случайными событиями нашей личной жизни нужно искать закономерности, которые связывают эти события с великой жизнью вселенной. Тэн в блестящем очерке, посвященном Байрону, также советует нам «понять самих себя», чтобы «свет разума родил в нас безмятежность сердца». Да и вы, дорогой учитель, говорите то же самое в вашей «Теории страстей»: «Считайте свою личную судьбу необходимым выводом из той живой геометрии, какой является природа, а стало быть, и неизбежным следствием вечной аксиомы, развитие которой длится во Времени и Пространстве! Таков единственный принцип, ведущий к свободе...» И вот, работая сейчас над моими записками, я как раз и следую этим максимам. Но помогут ли они мне теперь больше, чем тогда? Ведь тогда я тоже попытался резюмировать историю моего чувства к Шарлотте в своего рода автобиографической повести. Я вывел в ней некоего великого психолога, к которому обращается молодой человек за советом. Видите, как странно иногда случай реализует наши фантазии! Повесть кончалась тем, что психолог составляет для явившегося к нему нравственно больного юноши перечень его страстей с указанием их причин. Я писал эту

повесть в августе, когда стояла изнуряющая жара, и посвятил ей около двух недель, работая с десяти вечера до часу ночи. Окна были раскрыты настежь, вокруг зажженной лампы кружились огромные ночные сфинксы — как бы сделанные из бархата темные бабочки с белыми пятнами на спинке, напоминающими череп. Поднималась луна, заливая голубоватым светом озеро, отливавшее перламутром, леса, казавшиеся еще более таинственными, и линию потухших вулканов, похожих на те, какие отец показывал мне, еще ребенку, в телескоп на этой самой луне. Я откладывал в сторону перо, чтобы, созерцая безмолвный пейзаж, погрузиться в космогонические мечтания, привычные для меня с детства. Как и в те дни, когда слова отца открывали мне историю вселенной, я снова представлял себе первичную туманность. От нее отделялась Земля, а от Земли — Луна. Луна стала мертвой планетой, и так же точно умрет когда-нибудь и наша Земля. Она уже умирает, охлаждаясь с каждой секундой. Неуловимый бег этих секунд, накапливаясь в течение тысячелетий, уже потушил пожар ее вулканов, откуда некогда вырывалась кипящая и всеразрушающая лава, на которой теперь стоит замок. Охлаждаясь, эта лава создала преграду для потока воды, широко разлившейся затем в виде теперешнего озера. Но, испаряясь, вода в озере тоже понемногу исчезнет, по мере того как будет исчезать и окружающая нашу планету атмосфера — слой пригодного для дыхания воздуха, толщиной в каких-нибудь четырнадцать километров. Я закрывал глаза и ощущал, как обреченный на гибель земной шар несется в бесконечном пространстве, равнодушный к маленьким мирам, что снуют вокруг него, точно так же, как само это пространство равнодушно к Солнцам, Лунам и Землям. Наша планета будет продолжать свое вращение и тогда, когда она превратится в шар, лишенный воздуха и воды, когда на ней исчезнут последний человек, животные и растения. Но, вместо того чтобы создать у меня созерцательное настроение, эта мысль о неизбежной катастрофе приводила к тому, что я весь съеживался и в ужасе осознавал самого себя, как единственную реальность, которой я обладаю. Да и надолго ли? Что я такое? Всего лишь точка в пространстве, одно мгновение! И мне припомнились наивные слова, сказанные однажды Марианной, когда я ее чем-то огорчил.

«Кроме самого себя, никого-то у нас нет...» — повторяла она сквозь рыдания. «Кроме самого себя, никого-то у нас нет...» Теперь и я шептал эти слова и вполне оценил их смысл. Но если среди неотвратимого бега времени эта точка, это мгновение человеческого сознания являются нашим единственным достоянием, то нужно в полной мере воспользоваться им и до предела увеличить его напряженность. Я отодвигал листы бумаги, на которых только что писал свою более или менее научно прокомментированную исповедь, и с ужасающей очевидностью чувствовал, что эту высшую напряженность ощущений мне могла бы дать только Шарлотта, если бы она была со мной в этой комнате, сидела бы в этом кресле, лежала бы на этой постели, соединяя свое смертное тело с моим смертным телом, свою обреченную душу с моей душой, свою мимолетную молодость с моей. И подобно тому как все инструменты в оркестре сливаются в единый аккорд, так и все различные силы моего существа, — интеллектуальные, душевные, чувственные, — сливались в единый вопль желания. Но оттого, что я знал причины этого желания, оно превращалось в какое-то безумие, а видение вселенной, вместо того чтобы успокоить меня, придавало еще большее неистовство моему стремлению к полноте личной жизни.

Слова Марианны, неожиданно пришедшие мне на ум, напомнили о том времени, о котором я уже рассказывал вам, и о пламенных страстях, которым я тогда предавался. Я подумал, что безусловно ошибаюсь, считая себя отвлеченным, чисто интеллектуальным существом. «Не наперекор ли своему характеру, — думал я, — я веду в течение долгих месяцев столь благоразумную жизнь? Не является ли моя страсть к Шарлотте просто результатом слишком длительного воздержания? Может быть, в основе этого желания нет ничего психологического и оно свидетельствует только о полнокровии юности, избытке жизненных сил, которым нужно дать выход? В таком случае этот страшный зуд вожделения можно успокоить, лишь удовлетворив его». Под предлогом, что мне необходимо устроить кое-какие личные дела, я упросил маркиза отпустить меня на неделю в Клермон, твердо решив, что предамся там самому безудержному разврату с первой попавшейся женщиной. А так как в те дни я думал о Марианне, думал о сказанных

ею словах, которые я привел, то я и решил, что разыщу ее. Мне это не стоило большого труда. Марианна уж не работала. Теперь ее содержал какой-то землевладелец: он снял для нее квартиру, принарядил ее. Этот покровитель приезжал в город только раз в неделю, так что у Марианны было много свободного времени, и жила она теперь, как барыня. Такая перемена в ее жизни и отпор, который она сначала пыталась мне оказать, придали возобновлению старой истории даже некоторую пикантность, и это забавляло меня в течение целых суток. Несмотря на жестокость, проявленную мною при разрыве с нею, бедная девушка сохранила ко мне нежное чувство, и на другой день после моего приезда в город, устроившись так, чтобы мать об этом не догадалась, я провел ночь у Марианны. Мое сердце учащенно забилося, когда я поднимался по лестнице дома, где она теперь жила, на улице Гранше де Гра, недалеко от мрачного собора, который мне пришлось обогнуть по пути к ней. Это возвращение в мир чувственности волновало меня, как новое посвящение. «Теперь-то я узнаю,— рассуждал я,— до какой степени воспоминание о Шарlotte разъедает мне душу». Сидя на постели, я смотрел, как раздевается эта женщина, на которую я подростком набросился со всем неистовством первой страсти. Она несколько расплнела, но была еще молодой, свежей, сильной. Ах, каким ярким возник в эти минуты предо мной образ мадемуазель де Жюсса, ее силуэт, напоминавший греческую статуэтку, нежная грация ее хрупкого тела, о которой я догадывался! Каким живым был этот образ, когда, лежа в постели, я с животной страстью, к которой примешивалась грусть, сжимал в объятиях свою первую любовницу! Марианна была девушкой из народа и не привыкла к тонким рассуждениям, но даже самые заурядные женщины отличаются необыкновенной чуткостью, когда они любят. А Марианна по-своему любила меня. И вот я заметил, что она тоже не испытывает прежних восторгов. Мои ласки возбуждали ее, но потом, вместо былого упоения, она, казалось, чувствовала как бы разочарование, как-то смущалась под моими взглядами; наконец, точно заразившись моею грустью, она вдруг между двумя поцелуями спросила:

— Чем ты так огорчен?..— И, употребляя ходячее выражение, прибавила с чисто овернской хитрой усмеш-

кой: — Я никогда не видела тебя таким грустным, верно, какая-нибудь замужня дамочка тебе нос натянула. Но он у тебя и так длинный, незачем было и тянуть...

И, вдобавок к этой дешевой игре слов, она зажала мне нос своими грубыми, толстыми пальцами. А у Шарлотты были изумительно тонкие пальчики, — такие же изящные, как и ее душа! Но я приходил в отчаянье, и сердце у меня сжималось не от вульгарности слов и не от контраста между этими двумя женщинами. Нет! Меня вывело из себя другое. Неужели душа моя настолько больна, что даже эта девица заметила мое состояние? Однако я всеми силами старался рассеять это впечатление, смеялся над ее предположениями и принуждал себя к самым животным проявлениям похоти, в результате чего я утром пришел домой с невыразимой горечью в сердце. Я уже не мог вернуться к Марианне или пойти к другим женщинам. Несколько дней, оставшихся в моем распоряжении, я провел в прогулках с матерью. Видя, что я погружен в глубокую меланхолию, она стала беспокоиться и своими вопросами еще больше растравила мою рану. Мне это было до такой степени тягостно, что я думал о возвращении в замок даже с некоторым облегчением. Там по крайней мере я буду жить среди воспоминаний. Но в замке меня ждал ужасный удар, который маркиз нанес мне сразу же по моем приезде.

— Хорошие новости, — сказал он, как только увидел меня, — Шарлотта поправляется! И еще одна приятная новость: она выходит замуж. Да, да, она приняла предложение господина де Плана... Впрочем, вы об этом ничего не знаете. Это друг моего сына. В первый раз она отказала ему, а вот теперь соглашается... — И, по обыкновению возвращаясь к своей собственной персоне, маркиз продолжал: — Да, это очень приятная новость. Сами понимаете, жить мне уже недолго... Ведь я болен, серьезно болен...

Но он мог говорить, сколько его душе было угодно, о своих воображаемых болезнях, о желудке, подагре, кишечнике, почках, голове. Я слушал его не больше, чем слушает болтовню тюремщика арестант, которому только что объявили смертный приговор. Мои мысли были всецело поглощены этим горестным событием. Вы, дорогой учитель, написали также изумительные страницы о ревности, о терзаниях, какие причиняет

душе влюбленного одна мысль о ласках соперника, и вы поймете, какой жгучий яд пролился на мою рану вместе с этой новостью. Май, июнь, июль, август, сентябрь... Прошло почти пять месяцев с тех пор, как Шарлотта уехала, а моя рана, вместо того чтобы зарубцеваться, растревлялась все больше и больше; последнее же известие окончательно сразило меня. Теперь у меня даже не оставалось утешения, что мои страдания разделяет другое существо. Предстоящее замужество служило доказательством, что Шарлотта уже освободилась от любви ко мне, в то время как я сам сгорал в этом чувстве. Я тем более приходил в бешенство, что ее любовь, родившуюся так недавно, у меня отнимают в тот самый момент, когда я готов был приступить к решительным действиям. Вероятно, подобное бешенство испытывает игрок, вынужденный покинуть игорный зал и узнающий в эту минуту, что вышел именно тот номер, на который он хотел поставить и который принес бы ему в тридцать шесть раз больше, чем его ставка. Я упрекал себя в том, что не бросил все, когда уехала Шарлотта, и не последовал за нею с несколькими сотнями франков в кармане, которые я заработал. А теперь было уже поздно. Я представлял себе ее в Париже, где, как мне было известно, господин де План проводит отпуск и где девушка принимает его как жениха в атмосфере дозволенной близости, почти наедине, под снисходительным присмотром старой маркизы. Теперь ее горделивые и стыдливые улыбки принадлежат другому! И эти нежные и смущенные взгляды, и эти переходы от бледности к стыдливому румянцу на ее милом лице, и эти грациозные жесты слишком застенчивого существа! Разумеется, она любит де Плана, если соглашается стать его женой. Этот человек представлялся мне похожим на графа Андре, отвратительное влияние которого я чувствовал и здесь. Теперь я стал ненавидеть графа в лице жениха Шарлотты, питая к этим двум аристократам, бездельникам, офицерам одинаковое чувство бешеной злобы.

В лесу, уже одетом в лиственный убор тех мягких и светлых тонов, которые предвещают золото осени, я предавался припадкам пустого ребяческого гнева. Ласточки, готовясь к отлету, собирались в стаи. Охота уже началась, в лесу то и дело слышались выстрелы,



и перепуганные, трепетные птицы, вспорхнув тесной стайкой, исчезали в быстром полете, напоминавшем мне полет дикой птицы, которую я однажды чуть не убил. В виноградниках, покрывавших холмы со стороны Сен-Сатюрнена, виднелись уже почти совсем созревшие гроздья. Я смотрел на сиротливо стоявшие лозы, пораженные во время цветения весенними заморозками. На них не было плодов. «Вот так, — думал я, — погибла и моя жатва опьяняющих чувств, безмятежного счастья и жгучих восторгов». Я испытывал терпкое, невыразимое удовольствие, разыскивая в окружающей природе символы своих переживаний: алхимия горя на некоторое время очистила меня от всяких корыстных расчетов. Если я и был когда-либо настоящим влюбленным, предающимся на волю жестокой смены сожалений, воспоминаний и отчаянья, то это было именно в те дни, в последние дни моего пребывания в замке. Дело в том, что маркиз собирался уехать. Он позабыл о своей ипохондрии и, бодрый, с блестящими серыми глазами, которые стали совсем светлыми на уже не столь красном лице, говорил мне:

— Я обожаю своего будущего зятя... Мне хочется, чтобы вы познакомились с ним... Это человек очень славный, порядочный, добрый, самолюбивый. Настоящая голубая кровь! Да, вот и извольте понять женщин! Ведь Шарлотта не сумасшедшая, не то что другие, скорее наоборот, не так ли? А два года тому назад, когда он сделал ей предложение, она отказала. Ну конечно, бедняга потерял голову и отправился туда, откуда едва ноги унес... И вдруг — согласие! Знаете, мне всегда казалось, что в ее нервной болезни есть что-то от влюбленности. Я понимаю толк в таких вещах. Я думал: наверное, она в кого-то влюблена!.. И что же? Оказалось — именно в него. Но представьте себе, что было бы, если бы он теперь раздумал?

Я привожу этот разговор, похожий на многие другие, для того, чтобы вы поняли, что мое истерзанное сердце беспрестанно обливалось кровью. «Нет, — отвечал я ему мысленно, — Шарлотта любила зимой не господина де Плана!» Но она действительно любила. Наши жизни пересекались в одной точке, как те две дороги, которые видны из моего окна: одна из них спускается с гор и бежит к роковому лесу Прада,

другая подымается к Пюи де ля Родд. Иной раз, в сумерки, мне случалось видеть, как по этим дорогам ехали повозки. Почти коснувшись одна другой, они потом терялись вдали, скрываясь в противоположных направлениях. Так разошлись навеки и наши судьбы. Баронесса де План будет вести в Париже светскую жизнь, и в моем представлении это был какой-то вихрь неведомых мне и волнующих ощущений в обстановке непрерывного праздника. Свою же будущую скромную жизнь я рисовал себе вполне ясно. Мысленно я уже просыпался в комнатухе на улице Бийяр. Я уже шел по тем трем улицам, по которым нужно пройти, чтобы попасть в университет. Я входил в кирпичное здание и оказывался в аудитории, в просторном зале с голыми стенами, где ничего не было, кроме черных досок. Я слушал профессора, разбиравшего какого-нибудь автора, включенного в программу по подготовке к лиценциату или к кандидатскому экзамену. Лекция длилась часа полтора. Потом с портфелем под мышкой я возвращался домой по холодным улицам старого города. Так мне предстояло провести еще один год, поскольку я не занимался достаточно усердно, чтобы выдержать экзамены. По-прежнему я буду ходить мимо мрачных домов Клермона, окруженного цепью снеговых вершин, буду видеть родителей маленького Эмиля, все так же играющих у окна в карты, старика Лимассе, читающего газету в укромном уголке «Парижского кафе», стоящие на площади Жод омнибусы. Да, дорогой учитель, я снова очутился в жалком мире нищих духом людей, которые в своей привязанности к внешним формам жизни не в состоянии проникнуть в ее сущность. Я не находил в себе прежней веры в превосходство науки, для которой достаточно каморки в три квадратных метра, чтобы какой-нибудь Спиноза или Адриен Сикст постигал вселенную и тем самым владел ею. Ах, в тот период бессильных вождедений и побежденной любви я был жалкой посредственностью. Я проклинал (и как это было несправедливо!) жизнь, посвященную отвлеченным занятиям, к которой мне предстояло вернуться. А теперь как бы мне хотелось, чтобы она действительно снова была моим делом и чтобы я вдруг проснулся бедным студентом клермонского университета, квартирантом у отца Эмиля, учеником старика Лимассе, угрюмым про-

хожим на темных улицах — но невинным! Невинным! А не тем человеком, который пережил то, что я пережила и о чем мне приходится теперь рассказывать.

### § 6.— Третий кризис

К концу этого страшного сентября Люсьен стал жаловаться на недомогание, которое врач приписал сначала обыкновенной простуде. Но на другой день больному стало хуже, и два доктора, спешно вызванные из Клермона, обнаружили, что у него скарлатина, хотя и в слабой форме. Если бы я не находился во власти назязчивой идеи, которая делала из меня настоящего маньяка, у меня нашлось бы в те дни чем заполнить все страницы моего дневника. Достаточно было бы, например, наблюдать хотя бы за переменами в настроении маркиза, за борьбой между ипохондрией и отеческой любовью, происходившей в его душе. То, несмотря на заверения врачей, он до такой степени тревожился о сыне, что ночи напролет проводил у его постели; то вдруг его охватывала боязнь заразиться, и тогда он сам ложился, жаловался на воображаемые боли и считал минуты до прихода врача. А когда врач появлялся, маркиз порою требовал, чтобы осмотр начался с него, настолько симптомы болезни казались ему угрожающими. Потом ему самому делалось стыдно за свой страх, и в нем снова просыпалось благородство древнего рода, кровь которого текла в его жилах. Он вставал, корил себя за свои страхи, за стариковские слабости и снова занимал место у изголовья больного. Первой его мыслью было скрыть болезнь Люсьена от маркизы, Шарлотты и графа Андре. Однако две недели ревностной заботы о сыне и страха за себя так ослабили его, что он почувствовал потребность видеть подле себя жену, которая поддерживала бы его; в конце концов он совсем потерял голову и даже советовался со мной.

— Не считаете ли вы, что мой долг — вызвать жену? — спрашивал он.

Существуют, дорогой учитель, лживые душонки, умеющие прикрывать прекрасными побуждениями самые мерзкие свои поступки. Если бы я был из их числа, я мог бы поставить себе в заслугу, что советовал маркизу не вызывать жены, хотя и понимал значение тако-

го совета. Ведь я был совершенно уверен, что стоит ему сообщить маркизе о болезни Люсьена, и она приедет с первым поездом, а я достаточно знал Шарлотту, чтобы не сомневаться, что и она вернется вместе с матерью. Таким образом мне представилась бы возможность вновь разбудить в ее сердце любовь, доказательство которой случайно попало в мои руки. Следовательно, я поступил честно, посоветовав маркизу не тревожить жену. Да, на первый взгляд это было так. Если бы я не был убежден, что нет следствия без причины и что не существует честности без скрытого эгоизма, я объяснял бы свой поступок нежеланием воспользоваться ради греховной страсти благороднейшим человеческим чувством: любовью сестры к брату. Но истина заключалась в следующем: я потому пытался отговорить маркиза, что не надеялся вновь завоевать сердце Шарлотты. От ее возвращения я не ожидал ничего, кроме новых унижений. Устав за эти месяцы от внутренней борьбы, я уже не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы возобновить игру. Поэтому с моей стороны не было никакой заслуги в том, что я обратил внимание маркиза на волнения и даже опасность, которые ожидают обеих женщин в замке, где имеется заразный больной.

— А как же я,—ответил он простодушно,—ведь я же подвергаюсь каждый день опасности? Однако вы совершенно правы в отношении Шарлотты... Я напишу, чтобы она не приезжала.

Два дня спустя он получил телеграмму и, прочитав ее, сказал:

— Ах, Грелу, посмотрите, что они со мной делают! Читайте!

Маркиз протянул мне депешу, извещавшую о возвращении мадемуазель де Жюсса вместе с матерью.

— Ну конечно,—стонал ипохондрик,—она решила приехать, не подумав о том, что мне сейчас вредны такие волнения.

Разговор с маркизом происходил в два часа дня. Я знал, что парижский поезд отходит в девять вечера и прибывает в Клермон около пяти утра, так как мне самому пришлось ехать этим поездом в тот раз, когда я познакомился с вами. Маркиза и Шарлотта должны были быть в замке часов в десять, считая время на до-

рогу в экипаже. Я провел ужасный вечер и еще более ужасную ночь, ибо теперь был лишен того философского напряжения, без которого я превращаюсь в существо, лишенное энергии и целиком пребывающее во власти своих впечатлений. Однако здравый смысл подсказывал мне весьма простое решение. Мой контракт, как я вам сказал, кончался 15 октября, а было уже пятое число. Мальчик начинал быстро поправляться. Скоро около него будут мать и сестра. Я мог воспользоваться первым предложением и без всяких угрызений совести покинуть замок. Я имел возможность так поступить и должен был это сделать как ради сохранения собственного достоинства, так и для своего спокойствия. Под утро, проведя бессонную ночь, я принял решение уехать и немедленно заговорил об этом с маркизом. Но тот даже не дослушал меня, настолько он был взволнован приездом дочери.

— Хорошо, потом, потом! — сказал он мне. — Сейчас я ничего не соображаю... Вечно какие-нибудь неприятности... От них-то я так рано и состарился... То и дело неожиданные удары...

Кто знает, может быть, мою участь решило минутное раздражение, из-за которого старый самодур отказался меня выслушать... Если бы мне тогда удалось переговорить с ним и если бы мы условились о дне моего отъезда, волей-неволей мне пришлось бы покинуть замок. Но появление Шарлотты привело к тому, что мысль об отъезде сменилась у меня самым твердым намерением остаться: так лампа, внесенная в темную комнату, немедленно превращает мрак в свет. Но еще раз повторяю: тогда я был вполне уверен, что, с одной стороны, Шарлотта уже перестала интересоваться мной, а с другой, что тяжелые минуты, которые я пережил, объяснялись не моей любовью к ней, а оскорбленным самолюбием и обостренной чувственностью. И можете себе представить, когда я увидел, как Шарлотта выходит из вагона, когда убедился, насколько мое присутствие волнует ее и насколько ее приезд сводит меня с ума, я с полной очевидностью понял совсем другое. Я понял, во-первых, что для меня физически невозможно уехать из замка, пока она здесь, и, во-вторых, что начиная с мая месяца она переживает такие же точно мучения, как и я, а может быть, даже худшие. Она мог-

ла с самыми искренними намерениями бежать от меня, не отвечать на мои письма, не читать их, обручиться, чтобы воздвигнуть между нами непроходимую преграду, даже убедить себя в том, что уже не любит меня, и вернуться в замок с этой уверенностью,— все равно она меня любила. Для того чтобы удостовериться в этой любви, мне вовсе не нужно было прибегать к тщательному анализу, которому я обычно с таким увлечением предавался и который так часто подводил меня. Просто мгновенная, подсознательная, безошибочная интуиция доказывала мне, что теории о ясновидении, по поводу которых ведутся горячие споры в науке, вполне соответствуют истине. В ее взволнованных взорах я читал любовь, на которую не смел надеяться, как вы читаете строки, где я пытаюсь передать эту очевидность, блеснувшую молнией и потрясшую меня. Шарлотта стояла передо мной в дорожном костюме, бледная, как лист бумаги, на котором я пишу. Можно было бы объяснить эту бледность утомлением, проведенной в вагоне ночью, не правда ли? Или тревогой за больного брата. Но ее глаза, встретившись с моими, были полны трепетного волнения. Впрочем, это тоже могло объясняться оскорбленной стыдливостью. Шарлотта похудела, как бы растаяла, и когда она в вестибюле замка сняла пальто, я увидел, что на ее прошлогоднем платье, которое я узнал не сразу, возле плечей появились складки. Но ведь она же хворала... Во всяком случае я, так веривший в метод, в индукцию, во все сложности умозаключения, вдруг почувствовал в ту минуту всемогущество инстинкта, который ничем нельзя преодолеть. Она по-прежнему любила меня. Она любила меня даже сильнее, чем прежде. Какое имело значение, что она не протянула мне руки при первой встрече, что она едва разговаривала со мной в вестибюле, а поднимаясь вместе с матерью по ступеням парадной лестницы, не обернулась в мою сторону? Она любила меня! Эта уверенность после долгих мучений и тревог наполнила мое сердце такой радостью, что, когда я шел вслед за нею по лестнице в свою комнату, я почувствовал себя плохо. Как же мне теперь быть? Облокотившись о стол, сжимая руками виски, чтобы сдерживать пульсирование крови, я задавал себе этот вопрос, но ответить на него не мог. Я только знал, что

теперь уже не в силах уехать, что встреча с Шарлоттой не может закончиться разлукой или молчанием, словом, я знал, что мы приближаемся к тому мгновению, когда наши взаимные усилия, тайная борьба и подавляемые желания должны привести к решительному объяснению. Я чувствовал, что это трагическое и неизбежное объяснение уже близко.

Ведь Шарлотта была вынуждена терпеть мое присутствие. Как бы она ни относилась к этому, нам предстояло встречаться с нею у постели ее брата. И в первое же утро по приезде в замок, часов в одиннадцать, когда как раз настала моя очередь дежурить у больного, я застал ее в комнате Люсьена; она разговаривала с ним, а маркиза, стоя у окна, шепотом расспрашивала сестру Анакле. От больного скрыли предстоящий приезд матери и сестры, и теперь в его нервных движениях можно было заметить ту возбужденную, почти лихорадочную радость, какая бывает у выздоравливающих. Он весело улыбнулся мне и, взяв меня за руку, сказал сестре:

— Если бы ты знала, как заботился обо мне господин Грелу!

Шарлотта ничего не ответила, но я заметил, что ее рука, лежавшая на подушке возле головы брата, вздрогнула. Она сделала над собой усилие и посмотрела на меня, но не выдала своих чувств. Зато мое лицо, по-видимому, выражало сильное волнение, и это ее тронуло. Она поняла, что не отозваться на невинную фразу мальчика значило бы огорчить меня, и мягким, задушевным голосом прежних дней, в котором чувствовалось приглушенное биение трепещущего сердца, она сказала, не обращаясь прямо ко мне:

— Да, знаю... И очень благодарна ему. Мы все ему очень благодарны...

Больше она не прибавила ни слова. Но я уверен, что, если бы я снова взял ее за руку, она упала бы в обморок, — так она была потрясена этим незначительным разговором. Я пробормотал что-то невинное, вроде того, что, мол, все это вполне естественно. Я и сам не очень-то хорошо владел собою. Но Люсьен, не заметивший ни волнения сестры, ни моего смущения, продолжал:

— А Андре? Он навестит меня?

— Ты же знаешь, что он не может оставить полк,— сказала Шарлотта.

— А Максим? — не унимался мальчик.

Я уже знал, что так зовут жениха Шарлотты. И едва было произнесено это имя, как ее бледное лицо запылало. Наступило недолгое молчание, во время которого я явственно слышал тихий шепот сестры Анакле, потрескивание огня в камине, мерный стук маятника. Мальчик, удивленный этим молчанием, продолжал:

— Так как же? Максим тоже не придет?

— Господин де План тоже уехал в полк,— ответила Шарлотта.

— Вы уже уходите, господин Грелу? — спросил Люсьен, когда я порывисто поднялся с места.

— Я сейчас вернусь,— сказал я.— Я забыл письмо у себя на столе...

И я вышел, оставив Шарлотту у постели больного. Она снова побледнела и потупилась.

Ах, дорогой учитель! Мне хочется, чтобы вы поверили тому, что я сейчас расскажу вам, и чтобы вы не сомневались, что в те минуты я был вполне искренен, несмотря на всю сумятицу моих чувств, которых я сам тогда не мог понять. Мне и самому так необходимо быть в этом уверенным! Я не лгал тогда. Поверьте мне! Не было и капли притворства в том внезапном движении, с каким я вскочил при одном упоминании имени человека, которому Шарлотта должна была принадлежать, уже принадлежала. Не было никакого притворства и в слезах, брызнувших у меня из глаз, едва я переступил порог, и в тех, что я проливал ночью, в полном отчаянье от вдвойне мучительной очевидности, что мы любим друг друга, но никогда, никогда не будем друг другу принадлежать! Не было притворства и в той боли, которую я испытывал в ее присутствии в последующие дни. Осунувшееся лицо, ставший еще более хрупким силуэт Шарлотты, ее страдальческий взор неотступно были передо мною и терзали меня; ее бледность раздирала мне сердце, изящные линии тела доводили мою страсть до исступления, но глаза ее умоляли меня: «Ни слова... Я знаю, вам тоже тяжело. Но было бы слишком жестоко с вашей стороны упрекать меня,



жаловаться и обнажать предо мною свои раны...» Ну, скажите, если бы я не был тогда чистосердечен, разве я упустил бы удобный случай, тем более что каждый час был у меня на счету? Но я не припомню, чтобы у меня были какие-то мысли, какие-то планы. Мне запомнился только как бы вихрь чувств, что-то обжигающее, неистовое, невыносимое, да еще угнетенное нервное состояние, продолжительная колющая боль во всем теле и все крепнувшая мысль о необходимости покончить со всем этим, мысль о самоубийстве... Когда, в связи с каким именно приступом отчаяния она возникла у меня? Этого я не могу сказать. Но вы же видите, что тогда я любил искренне, раз все мои хитросплетения вдруг расплавились в огне этой страсти, как свинец в рдеющих углях. Я не могу анализировать своих переживаний, потому что это было настоящим умопомешательством, мучительным отречением от своего «я». В этой мысли о смерти, исходившей из самых темных глубин моего существа, в этом безотчетном стремлении к могиле, овладевшем мною, как физическая жажда или голод, вы узнаете, дорогой учитель, неизбежные последствия того «любовного недуга», который вы так подробно изучили. Тут сказывался обратившийся на меня самого инстинкт разрушения, который, как вы отмечаете, таинственно пробуждается в человеке одновременно с половым инстинктом. Сначала это выразилось в бесконечной усталости, усталости невысказанных переживаний, так как глаза Шарлотты при встрече с моими задищали ее лучше, чем любые слова. К тому же мы никогда не оставались наедине, если не считать редких минут в гостинной, однако и эти случайные минуты проходили в глубоком молчании, точно кто-то железной рукой сжимал мне горло. Сказать тогда что-нибудь было для меня так же невозможно, как для паралитика сделать движение. Не помогло бы здесь даже сверхчеловеческое усилие. Только на опыте познаешь, что на известной ступени человеческого волнение становится непередаваемым. В такие мгновения чувствуешь себя замурованным в своем «я», и тогда хочется вырваться из этого страдающего «я» и броситься, погрузиться в смерть, погибнуть в ее прохладе, где всему наступает конец... Все это сопровождалось безумным желанием оставить в сердце Шарлотты неизгладимый след, дать

ей такое доказательство своей любви, которое никогда не могли бы затмить ни любовь ее будущего мужа, ни роскошь, в какой ей суждено было жить. «Если я умираю от отчаяния, что мне предстоит вечная разлука с нею,— думал я,— то пусть она по крайней мере долго, очень долго помнит о скромном воспитателе, о бедном провинциале, способном на такое большое чувство!..» Мне кажется, что я правильно формулирую тогдашние свои мысли. Обратите внимание: я говорю «кажется», ибо в те дни я действительно не был в состоянии понять самого себя. Я не узнавал себя в пожирившей меня необузданной и трагической лихорадке. Только с большим трудом я мог различить в этом сумбуре мыслей то, что вы называете самовнушением. Я гипнотизировал себя и именно в состоянии сомнамбулизма решил покончить с собой в такой-то день, в такой-то час и отправился к аптекарю, чтобы раздобыть роковой пузырек с чилибухой.

Во время этих приготовлений и под влиянием принятого мною решения я уже ни на что не надеялся и ничего не обдумывал. На меня действовала какая-то сила, совершенно чуждая моему сознанию. Нет! Никогда в жизни я не был до такой степени только зрителем — я сказал бы, равнодушным зрителем — своих движений, мыслей и поступков при почти абсолютной независимости действующего начала от начала мыслящего. (Вы найдете несколько слов об этом состоянии на титульном листе моего экземпляра книги Бриера де Буамона, посвященной самоубийству.) При этих приготовлениях я испытывал непередаваемое чувство сна наяву, ясно ощущаемый автоматизм. Я приписываю эти странные явления нарушению нервной системы, которое граничило с помешательством и было вызвано навязчивой идеей. Лишь утром того дня, который я назначил для самоубийства, мне пришло в голову сделать последнюю попытку повлечь на Шарлотту. Я сел за стол, чтобы написать ей прощальное письмо. Я уже представлял себе, как она будет читать его, и неожиданно у меня возник вопрос: «А как же она поступит? Неужели известие о моем самоубийстве не взволнует ее? Неужели она не бросится стремглав, чтобы помешать мне? Да, она, наверное, прибежит в мою комнату, найдет меня мертвым... Может быть, следует произвести еще

один, последний опыт, прежде чем покончить все расчеты с жизнью?» Тут я вполне отдаю себе отчет в своих помыслах. Я знаю, что именно так родилась у меня эта надежда и именно в это мгновение. «Ну что ж,— сказал я сам себе,— попробуем!» Я решил: если до полуночи Шарлотта не придет ко мне, я приму яд. Я уже изучил его действие. Я знал, что смерть наступит почти мгновенно, и надеялся, что мне не придется долго страдать. Как ни странно, весь тот день прошел для меня в особенном спокойствии. Должен отметить и следующее. У меня как будто гора свалилась с плеч, словно бы я освободился от самого себя. Тревога охватила меня только часов в десять вечера, когда я первым ушел из гостиной и положил свое письмо на стол Шарлотты, в ее комнате. В половине одиннадцатого я услышал через приотворенную дверь шаги маркизы, маркиза и Шарлотты. Они поднимались к себе и остановились в коридоре, чтобы обменяться еще несколькими словами. Потом до меня донеслись обычные пожелания спокойной ночи, и все разошлись по своим комнатам... Одиннадцать часов... Четверть двенадцатого... Все тихо. Я смотрел на часы, лежавшие передо мной возле трех писем — маркизу, матери и вам, дорогой учитель. Сердце чуть ли не разрывалось у меня в груди, но воля оставалась твердой и холодной. В своем письме я сообщал мадемуазель де Жюсса, что она уже не увидит меня завтра утром, и был совершенно уверен, что сдержу слово, если только... В ту минуту я не смел разбираться в том, какую надежду заключало в себе это «если». Я смотрел, как бежит секундная стрелка, и машинально подсчитывал, старательно умножая: в минуте — шестьдесят секунд... Я увижу вращение секундной стрелки еще столько-то раз, ибо в полночь покончу с собой... Вдруг послышались легкие, осторожные шаги на лестнице. В крайнем волнении я перестал считать. Шаги приближались. Потом затихли у моего порога. Вдруг дверь отворилась. Передо мной была Шарлотта.

Я встал. Так мы замерли друг против друга. Лицо девушки, еще более побледневшее, было искажено от неожиданности ее поступка. В глазах ее горел особенный блеск. Они казались почти черными, настолько зрачки расширились от волнения. Я обратил внимание

на эту подробность, потому что лицо ее совсем преобразилось. Всегда такое сдержанное, почти холодное, оно дышало теперь иступлением, как у человека, которым овладела страсть более сильная, чем его воля. Вероятно, Шарлотта уже легла спать, но потом встала с постели, так как волосы ее были заплетены в косу, а не собраны, как обычно, на затылке. На ней был светлый халатик, подпоясанный витым шнуром и лежавший складками вокруг талии. Она совсем обезумела от волнения, — об этом можно было судить по тому, что она была без чулок, в ночных туфлях, которые, вероятно, поспешно надела, не отдавая себе отчета в том, что делает. Было видно, что с постели она поднялась и бросилась в мою комнату под влиянием невыносимой тревоги. Она уже не считалась с тем, что я подумаю о ней и что ей скажу. Она поверила моему письму и прибежала, охваченная таким сильным возбуждением, что даже забыла о чувстве страха.

— Слава богу, я не овоздала!.. — сказала она дрожащим голосом, после недолгого молчания. — Я думала, что вас уже нет в живых!.. Как это ужасно!.. Но теперь всему этому конец, не правда ли? Обещайте, что будете слушаться меня и не посягнете больше на свою жизнь! Поклянись мне, поклянись мне в этом!..

Она с умоляющим жестом взяла мою руку. Пальцы ее были холодны как лед. Ее приход был таким решающим событием, таким неопровержимым доказательством ее любви, да еще в минуту, когда я сам находился в сильнейшем возбуждении, что я уже больше ни о чем не рассуждал. Помню, что, не отвечая, я, разрыдавшись, обнял ее, потянулся губами к ее губам и сквозь слезы поцеловал самым пламенным, самым нежным и самым искренним из поцелуев. Помню, что это был миг несказанного экстаза, высшего блаженства... Но она вырвалась из моих рук, и на ее все еще иступленном лице отразился стыд за то, что она позволила мне такой поступок.

— Я с ума сошла, — шептала она. — Я должна уйти... Не удерживайте меня!.. Не прикасайтесь ко мне!..

— Вы же сами понимаете, что мне лучше умереть, раз вы не любите меня и собираетесь стать женой другого, — ответил я. — Судьба разлучает нас, разлучает навеки!

Я взял со стола черный пузырек и, поднеся к лампе, показал его Шарлотте.

— Видите? Четверти этого флакона достаточно, чтобы избавиться от всех страданий... Через пять минут все будет кончено.

Спокойно, без единого резкого движения, которое могло бы снова вынудить ее к защите, я прибавил:

— Уходите! Спасибо, что пришли! Не пройдет и четверти часа, я уже перестану существовать и чувствовать то, что чувствую сейчас. Перестану чувствовать невыносимую утрату, от которой страдал столько месяцев... Ну что ж, прощайте! Не лишайте меня мужества!..

Когда свет лампы упал на пузырек с черной жидкостью, Шарлотта вздрогнула. Она протянула ко мне руку и вырвала его со словами:

— Нет! Ни за что!

Бросив взгляд на пузырек, она прочла надпись на красной этикетке и затрепетала. Ее лицо еще больше исказилось. Между бровями легла морщинка. Губы шевелились. Глаза выражали безмерное горе. Потом, отрывисто произнося каждое слово голосом, который звучал почти сурово, точно какая-то сила вырывала у нее эти слова под невыносимой пыткой, она сказала:

— Тогда и я тоже... Мне тяжело, очень тяжело. Я так боролась с собой...

Она подошла ко мне и, взяв меня за руку выше локтя, продолжала:

— Нет, я не хочу, чтобы вы один... Умрем вместе. После того что я сделала, мне ничего другого не остается...

Она подняла руку, точно хотела поднести пузырек к губам. Я отнял его. Но она с почти безумной улыбкой повторяла:

— Умереть! Да, умереть около вас, вместе с вами...

Она подошла ко мне совсем близко и положила голову мне на плечо, так что я щекою почувствовал шелк ее волос.

— Вот так... Ах, я давно люблю вас, давно... Теперь я могу вам признаться, раз я плачу за это жизнью... Ведь вы не откажетесь взять меня с собой? Мы уйдем вдвоем, уйдем вместе...

— Да,— ответил я,— мы умрем вместе. Клянусь!



Но не сейчас. Дай мне время почувствовать, что ты меня любишь!

Наши губы опять слились, и на этот раз она отвечала на мои поцелуи. Я прижал ее к себе. Я чувствовал, что она изнемогает в моих объятиях. Я увлек ее к кровати, она прижалась ко мне, и здесь силы окончательно оставили ее. В таких поцелуях восторг переполняет все тело и придает лихорадке чувств пламенность духовного порыва, в котором прошлое, настоящее и будущее исчезают, чтобы оставить место лишь одной любви, мучительному, пьянящему безумию страсти! Эта хрупкая девушка, эта живая танагрская статуэтка отдалась мне во всей своей невинности, отдалась не сопротивляясь, с покорностью замороженного существа. Мгновение это показалось мне сказкой, настолько оно превосходило мои самые безрассудные надежды и даже силу желаний. При мягком свете лампы и полупотухшего камня она тонкостью похудевшего лица, его изможденностью и бледностью и распущенными волосами напоминала привидение, несмотря на физический дар тела, которое она принесла мне в жертву. Голосом призрака она рассказывала мне долгую историю своего чувства. Она говорила, что полюбила меня почти с первого же взгляда, хотя и сама не подозревала об этом; она страдала при виде моей грусти и от моего рассказа о несчастной любви и стала мечтать, что сделается моим другом и будет утешать меня. Но в ослепительном свете моего признания в лесу ей вдруг открылась ужасная истина, и тогда она поклялась вырвать между нами пропасть. Она поведала мне, какую внутреннюю борьбу пришлось ей вынести, когда она получала мои письма и как она тщетно решала не читать их; о том, как с отчаянья она обручилась с другим, чтобы отрезать себе пути к отступлению; рассказала о своем возвращении в замок и обо всем остальном. Открывая тайны своей любви, она находила целомудренные и страстные слова, которые льются через край души, как слезы льются из глаз.

Она говорила:

— Даже если бы я могла, я не хотела бы, чтобы из моей памяти изгладились эти муки: так мне отрадно сознавать, что я жила только любовью к вам... Позвольте мне умереть первой, чтобы я не видела ваших страданий...

Она опутывала меня своими волосами, и на ее лице, которым она так умела владеть, я увидел какой-то мученический восторг, смешанный с раскаяньем. Когда она умолкала в моих объятиях, вся как бы растворяясь во мне, наши губы снова сливались в поцелуях, руки сплетались, и тогда мы слышали, как за окнами уныло шумит ветер, и уснувший в мирной тишине замок уже становился нашей могилой, в которую мы низвергались, влекомые от жизни к смерти пламенной любовью, соединившей нас навеки.

И вот именно в этот момент и произошел, дорогой учитель, самый странный эпизод этой истории, эпизод, который люди сочтут самым постыдным. Но ведь для нас с вами подобные слова лишены какого-либо значения, и у меня хватит мужества рассказать вам об этой минуте. Я уже говорил, что был вполне искренним, и у меня не было и тени расчета, когда, решив покончить с собою, я приобрел пузырек с чилибухой и написал письмо Шарлотте. Когда она пришла ко мне, упала в мои объятия и воскликнула: «Умрем вместе!» — я совершенно искренне ответил: «Да, умрем вместе!» Мне тогда казалось, что это просто и вполне естественно, что так легко покинуть этот мир вдвоем. Вы написали яркие страницы о тумане иллюзий, порождаемом в нас физическим желанием, о сексуальном головокружении, овладевающим нами, как вино, и потому вы не сочтете меня чудовищем, когда узнаете, что этот туман вдруг стал рассеиваться вместе с вожделением, а опьянение покидало меня по мере того, как я удовлетворял свое желание. В эту безумную ночь наступила минута, когда мы оба устали от ласк. Я был в истоме от страсти, она была изнурена волнениями, и мы уступили потребности отдохнуть друг подле друга. Некоторое время мы молчали. Шарлотта в изнеможении от пережитого положила голову мне на грудь и закрыла глаза. Я хорошо помню эти минуты. Я смотрел на нее и чувствовал, хотя и не понимал, каким образом это происходит, что моя душа, преображенная волшебством желаний, экзальтированная и иступленная, какую она была до этого счастливого мгновения, снова становится рассудительной, философически настроенной и ясной, как в прежние дни. Я смотрел на Шарлотту, и мною овладевала мысль, что через несколько часов ее прелестное



тело, одухотворенное в эти минуты ярким пламенем жизни, станет неподвижным, ледяным, мертвым. Будут мертвы эти губы, еще трепещущие от моих поцелуев; будут мертвы эти глаза, прикрытые дрожащими ресницами, охраняющими их сон; будет мертво ее тело, в котором я только что пробудил любовь; будет мертва ее душа, принадлежащая мне, опьяненная и полная мной! Мысленно я твердил: «Мертва, мертва, мертва...» И вдруг мое сердце сжалось, когда я осознал, что заключает в себе это слово: мгновенный провал в ночь, безвозвратное падение во мрак, в холод, в пустоту. Прыжок в бездну небытия, казавшийся раньше, пока мною владело бешенство неразделенной любви, не только легким, но и страстно желанным, вдруг представился мне самым ужасающим, самым безумным и невозможным поступком, лишь только страсть была удовлетворена... Шарлотта по-прежнему лежала с закрытыми глазами, ее волосы разметались по подушке. Какая она была юная и хрупкая! Она казалась почти ребенком и была целиком в моей власти. Исхудавшие черты ее милого лица, освещенные мягким светом лампы, говорили обо всем, что она пережила за последние дни. А я намерен убить ее или по меньшей мере помочь ей покончить с собой! Да, сейчас мы сведем счеты с жизнью... При этой мысли я содрогнулся, мне стало страшно... За нее? За себя? За нас обоих? Не знаю. Но мною овладел страх, все парализующий страх, от которого оледенели самые сокровенные уголки моего существа, душа моей души, непостижимый источник нашей энергии. Со мной произошло нечто вроде того, что происходит с умирающим, когда он бросает последний взгляд на свое земное существование и в мираже невероятного сожаления мысленно обращается к тому, что радовало его или о чем он мечтал. Так и у меня неожиданно возникло представление о жизни, всецело посвященной науке, той жизни, которой я так жаждал и от которой в последнее время отрекся. Я увидел вас, дорогой учитель, размышляющим в своей келье, и мир интеллекта снова развернул передо мною все великолепие своих горизонтов. Неужели я сейчас принесу в жертву все эти сокровища — свои занятия, которые я забросил в последние дни, и разум, которым так гордился, и свое «я», которое я так любовно культивировал? Принесу в жертву

ради чего? «Ради данного мною слова», — следовало бы мне ответить самому себе. Но я ответил: «Ради минутной прихоти». Строго говоря, самоубийство имело смысл, когда перспектива разлуки с Шарлоттой доводила меня до отчаянья. А теперь? Ведь мы же любим друг друга, принадлежим друг другу. Кто же может помешать нам, свободным и молодым, бежать вместе, если после этой ночи мы будем не в силах вынести разлуку? Мысль о похищении Шарлотты вызвала в моем представлении образ графа Андре. Это тоже необходимо отметить. Воспоминание о графе приятно пощекотало мое самолюбие. Я еще раз взглянул на Шарлотту и почувствовал, что мое сердце наполняется самой дикой гордостью, и вместе с сознанием торжества во мне вдруг снова проснулось соперничество, вызванное тайной завистью к ее брату. Известная поговорка гласит, что после любовных наслаждений всякое животное становится печальным: «Omne animal...» Но я испытывал печаль другого рода. У меня было ощущение, что моя нежность вдруг иссякла; это был стремительный, как химическая реакция, возврат к моему прежнему душевному состоянию. Думаю, что на это превращение не потребовалось и получаса. Я продолжал любоваться Шарлоттой, но уже целиком отдавался своим мыслям, наслаждаясь вновь обретенной свободой. Жизнь, исполненная воли и разума, вновь наполняла меня, как вода наполняет реку, когда поднимают шлюз. Во время нашей разлуки болезненная тоска по Шарлотте воздвигла преграду, остановившую поток моих прежних переживаний. Но едва только преграда исчезла, я снова стал самим собой. А между тем Шарлотта задремала. Я слышал ее ровное, легкое дыхание, потом она вдруг глубоко вздохнула и проснулась.

— Ах, ты со мной, со мной! — прошептала она, прижимаясь ко мне каким-то почти конвульсивным движением. — Я уснула, видела сон... И какой ужасный сон! Мне приснилось, что брат топчет тебя... Боже, какой ужасный сон!

Она поцеловала меня, и в то самое мгновение, когда ее губы соединились с моими, стали бить часы. Она прислушалась. Часы пробили четыре.

— Четыре часа,— сказала она.— Теперь пора! Прощай, мой любимый, еще раз прощай!

Она опять поцеловала меня. Ее восторженное лицо стало снова спокойным, почти радостным.

— Дай мне яд,— произнесла она твердым голосом.

Я продолжал лежать неподвижно и ничего не ответил.

— Ты боишься за меня? — опять спросила она.— Не бойся, я не страшусь смерти... Дай...

Я встал с постели, по-прежнему не отвечая. Отвернувшись от меня, она села на постели и молитвенно сложила руки. Вероятно, она молилась. Или это было последнее усилие вырвать из души любовь к жизни, корни которой так глубоко сидят в каждом двадцатилетнем существе? Вы поймете, до какой степени я был спокоен в эту минуту, если я вам сообщу одну мелкую, но очень красноречивую подробность: я стал спешно приводить в порядок свою одежду, чтобы не показаться смешным в той сцене, которую я уже предвидел, так как у меня окончательно созрело намерение во что бы то ни стало помешать нашему двойному самоубийству... У меня хватило хладнокровия взять со стола темный пузырек, поставить его в шкаф и повернуть ключ в замке. Все эти приготовления, значения которых Шарлотта еще не понимала, показались ей слишком долгими. Она обернулась ко мне и сказала:

— Я готова.

Но тут она увидела, что в руках у меня ничего нет. Тогда экзальтированное выражение на ее лице сменилось выражением крайней тревоги, и она повторила сурово:

— Где яд? Дайте мне яд! — Потом, точно отвечая на мысль, пришедшую ей в голову, она лихорадочно добавила: — Нет, этого не может быть...

— Да,— воскликнул я, падая на колени у постели и схватив руки Шарлотты,— да, ты права, это невозможно... Я не могу допустить, чтобы ты умерла у меня на глазах, из-за меня! Я не могу лишить тебя жизни! Умоляю, Шарлотта, не требуй, чтобы мы привели в исполнение наше ужасное намерение... Ведь, когда я поупал яд, я был как безумный, я думал, что ты не любишь меня... Я искренне хотел покончить с собой, поверь мне! Но сейчас, раз ты меня любишь, и я знаю



об этом, и раз ты отдалась мне... нет, я не могу, не хочу... Будем жить, любимая, будем жить! Обещай, что мы будем жить!.. Если хочешь — уедем куда-нибудь. Мы имеем право пожениться. Ведь мы свободны. А если не хочешь этого, если раскаиваешься в том, что дала себе волю, ну что ж, я все беру на себя. Клянусь, что все будет так, словно ничего не произошло, я ничем не буду тревожить тебя... Но помочь тебе умереть?.. Убить тебя?.. Нет, нет, это выше моих сил, не проси меня об этом...

Долго ли я говорил и какие еще слова сказал ей, не помню. Я читал уже на ее лице тихое волнение, женскую слабость, а во взгляде — одно из тех «да», которые опровергают «нет», произнесенное губами. Она замолкла, устремив на меня взор, и в этом взоре поблескивало теперь трагическое пламя. Она высвободила свои руки из моих, скрестила их на груди и, когда я наконец прекратил свои мольбы, вся закрытая разметавшимися волосами, как бы отброшенная от меня каким-то невыразимым ужасом, она промолвила:

— Значит, вы не хотите сдержать свое слово?

— Нет,— бормотал я,— я не могу... Не могу... Я не знал, что говорил тогда...

— Лучше скажите, что вам страшно! — произнесла она с жестоким презрением, и ее прекрасные губы вдруг задрожали.— Что ж, дайте мне яд! Я возвращаю вам ваше слово, я умру одна! Боже! Завлечь меня так подло в западню!.. Трус! Трус! Трус!

Не знаю, почему это оскорбление не задело меня, почему я не схватил пузырек и не поднес его тут же к губам со словами: «Вот, смотрите, какой я трус!» Вспоминая неумолимое презрение на ее лице, я сам не понимаю, почему так не поступил. Приходится думать, что в те минуты я действительно испытывал страх, хотя теперь бестрепетно взошел бы на эшафот и теперь у меня хватает мужества в продолжение трех месяцев не отвечать на допросах, не считаясь с тем, что я рискую своей головой. Но сейчас меня поддерживает идея, холодная, рассудочная идея, а тогда я находился в состоянии полного упадка духовных сил, в разладе между обостренными восприятиями последних месяцев и чувствами, которые я переживал в те минуты. Я сел на ковер, где только что стоял на коленях, как будто

у меня уже не хватило сил держаться на ногах, и, качая головой, повторял одно и то же слово: «Нет, нет...» На этот раз она ничего не сказала. Я видел, как она собрала свои прекрасные волосы и поспешно скрутила их в узел, сунула ноги в туфельки, закуталась в халат. Она поискала глазами черный пузырек с красной этикеткой и, не найдя его на столе, направилась к двери, потом, даже не обернувшись, исчезла за нею, бросив мне в последний раз ужасное слово: «Трус!»

Как подкошенный, я остался у кровати и так лежал очень долго. Только смятая постель напоминала мне, что все это не было сном. Но вдруг сердце мое сжалось от безумной тревоги. «А что, если Шарлотта, вернувшись к себе, в отчаянии посягнет на свою жизнь?» — подумал я. Весь во власти этой страшной мысли, я осмелился выйти в коридор, спустился по лестнице, подошел к ее комнате и, приложив ухо к двери, пытался услышать какие-нибудь звуки, стоны или другие признаки, по которым можно было бы догадаться о том, что происходит за тонкой дверью, которую мне ничего не стоило бы высадить плечом. Я ничего не слышал: за дверью было тихо. А первые признаки пробуждения уже доносились из подвального этажа замка. Просыпались слуги. Мне пришлось вернуться к себе, и я оделся. В шесть часов я уже стоял в саду, под окнами Шарлотты. Я был в паническом страхе, и воображение рисовало мне жуткие картины. Мне представлялось, будто она выбросилась из окна и лежит на земле с искалеченными руками и ногами. Но я убедился, что ставни в ее комнате затворены; внизу, на нетронутой клумбе в холодных осенних сумерках тихо доцветали последние зябкие розы. Шарлотта рассказывала ночью, что в часы смятения, когда она скрывала свою любовь ко мне, она часто сидела по ночам у окна над этими розами и ей доставляло удовольствие вдыхать их сладостный аромат, принесенный ветерком. Я сорвал цветок, и от его запаха у меня слегка закружилась голова. Чтобы унять тревогу, с каждой минутой все более и более овладевавшую мною, я пошел куда глаза глядят, в поле, еще подернутое ноябрьским утренним туманом. Я ушел очень далеко, даже миновал деревушку Созе-ле-Фруа, однако в восемь часов был уже в замковой столовой, чтобы позавтракать со всеми или делать вид, что завт-

ракаю. Я знал, что как раз в это время горничная обычно входит в комнату к мадемуазель де Жюсса. Если произошло какое-нибудь несчастье, она должна была немедленно известить об этом. С каким неизъяснимым облегчением я увидел, что горничная спокойно спустилась по лестнице, направилась в буфетную и вышла оттуда с подносом, готовясь подавать чай. Шарлотта не покончила с собой! Тогда снова воспрянули все мои надежды. Может быть, подумав хорошенько и подавив первый приступ гнева, она истолкует мой отказ умереть и дать ей яд как доказательство моей любви? Мне не пришлось долго ждать, чтобы проверить это. Достаточно было подстеречь ее появление в комнате брата. Наш маленький больной уже совсем выздоравливал, и, хотя ему не разрешали гулять, он проявлял обычную веселость ребенка, который понемногу возвращается к жизни. Он встретил меня в то утро особенно радушно, и это еще более укрепило мои надежды. Его ласковость должна была помочь разбить лед в отношениях между мною и Шарлоттой. Как легко юноше и девушке соединить руки над кудрявой головкой невинного ребенка! Но когда Шарлотта вошла в комнату, вся белая, в светлом платье, еще больше подчеркивавшим ее бледность, с воспаленными глазами и сухими, как бы увядшими веками, и, под предлогом мигрени, уклонилась от шалостей Люсьена, я понял, что слишком опрометчиво понадеялся на примирение. Я поклонился ей. Однако у нее хватило твердости не ответить на мое приветствие. Я уже знал в ней три разных человека: нежное и кроткое сострадающее существо, немного дичившуюся меня девушку и страстную до экстаза любовницу. Теперь я увидел на этом благородном лице холодную, непроницаемую маску презрения. Да, в ту минуту я имел возможность понять, что такое патрицианская гордость, и убедиться в том, что, как говорит старая избитая поговорка, молчание казнит иногда страшнее раскаленного железа. Все это было так тяжело для меня, что я не мог с этим примириться, и я в тот же день подстерег Шарлотту, чтобы услышать из ее уст хотя бы одно слово, пусть даже новое оскорбление. Когда она направилась в свою комнату, чтобы переодеться к обеду, я поднялся вслед за ней по лестнице. Но она отстранила меня царственным жестом и сказала:

— Я вас больше не знаю...

Ее дрожащие губы произнесли эти слова с такой жестокостью и ее взгляд был полон такого негодования, что я не нашелся, что ответить. Она судила меня и вынесла мне приговор.

Да, она осудила меня; и этот приговор был тем ужаснее, что был мною вполне заслужен. Она презирала меня за страх перед смертью; это было справедливо, так как я действительно испытал в ту минуту подлый ужас перед черной ямой. Конечно, я имел право сказать себе самому, что один этот страх не остановил бы меня перед двойным самоубийством, если бы сюда не примешивались жалость к юному существу и честолюбие философа. Но какое это имеет значение? Ведь она отдалась мне с известным условием, и на это трагическое условие я сначала ответил согласием, а потом сказал «нет». Однако вот что получилось. То, что вы называете, дорогой учитель, гордостью самца, чрезвычайно сильно в человеке, и сознание, что я обладал ее телом и душой, ее чувством и ее переживаниями, удовлетворяло эту гордость с такой полнотой, что, как бы ни было унижительно презрение Шарлотты, оно не могло ранить меня, как некогда ранило ее молчание после первого неудачного объяснения в любви, или ее бегство, или даже известие о ее помолвке. Да, она презирает меня, но ведь она все-таки принадлежала мне! Я держал ее в своих объятиях, обнимал ее вот этими самыми руками, был ее первым любовником. Да, я жестоко страдал после той безумной ночи, в ожидании окончательного отъезда из замка. Но это уже не было бесплодным отчаяньем побежденного, каким я чувствовал себя летом, и не было полнейшим самоотречением в горе. Где-то в глубине существа я хранил то, что, может быть, и нельзя назвать подлинным счастьем, но что являлось тем не менее каким-то удовлетворением, поддерживавшим меня в тяжелых переживаниях. Когда Шарлотта проходила мимо меня с таким видом, точно я какой-то ничтожный предмет, забытый прислугой, или когда я следил, как она поднимается по лестнице и исчезает в коридоре, я мысленно представлял ее себе такой, какой она была в ту ночь,— с распущенными косами и обнаженными ногами. Как-никак ее губы сливались с моими, и она отдавалась мне с тем девственным само-



отречением, какое она уже никогда не подарит никому другому. Я очень страдал от сознания, что эта ночь любви была столь мимолетной, единственной и не повторится уже никогда. За один час блаженства, испытанного тогда, я, быть может, снова согласился бы на роковой договор, на этот раз с холодной решимостью выполнить его. Но изведенное блаженство все же оставалось для меня реальностью, и неизгладимое воспоминание о той ночи спасало меня от отчаянья. «Кроме того,—спрашивал я себя,—где подтверждение, что любовь ее действительно угасла, и угасла навсегда? Поступая так, как она поступает со мной, мадемуазель де Жюсса только доказывает глубину своего чувства. Неужели возможно, что в ее романтическом сердце от этого чувства не осталось и следа?» Сейчас, в свете трагедии, которой закончилась эта прискорбная история, я понимаю, что именно ее романтичность и экзальтированность и помешали ей вернуться ко мне. У нее ни на минуту не могло быть мысли, что она может сделаться моей женой, создать со мной семью. То, что произошло, она могла сделать только под влиянием бредового состояния, которое вырвало ее из жизни, из ее нормальной жизни. Она полюбила во мне мираж, существо, которое отнюдь не соответствовало тому, каким я был на самом деле, и неожиданное столкновение с моей настоящей природой, разбившее эти иллюзии, зажгло в ней ненависть, равную по силе ее недавней любви. Увы! вопреки всем своим притязаниям на научную психологию я тогда не заметил эволюции ее души. Я не подозревал также, что она будет стремиться всеми способами узнать обо мне еще больше и в иступленности своего отвращения дойдет до того, что будет относиться ко мне, как судья к обвиняемому; что она даже захочет прочитать мои записи и не остановится для этого ни перед какой сделкой со своей совестью. Я не понял даже, что она не из тех девушек, которые могут пережить свой позор, каким, конечно, представлялась ей та ночь, и не подумал о необходимости уничтожить пузырьки с ядом, в котором я ей отказал. Я мнил себя великим наблюдателем, потому что много размышлял. Но я сам запутался в своих хитросплетениях. В те дни не надо было размышлять. Надо было наблюдать. Вместо этого, обманутый умозаключениями,

которые я только что привел вам, и убежденный в том, что в глубине души Шарлотта по-прежнему любит меня, несмотря на все свое презрение, я пытался оживить ее любовь самыми простыми средствами, совершенно недейственными в тех обстоятельствах. Я написал ей. Однако в тот же день я нашел письмо у себя на письменном столе нераспечатанным. Я пробрался ночью к ее двери и позвал ее. Дверь была заперта на ключ, и никакого ответа не последовало. Я попытался еще раз заговорить с нею. Она отстранила меня рукой еще более властно, чем в первый раз, и даже не взглянула на меня.

В конце концов боль от этих непрекращающихся оскорблений превзошла вновь загоревшееся во мне желание. Помню, что вечером того дня, когда она так презрительно отстранила меня, я долго плакал, а потом принял твердое решение. Видимо, ко мне частично вернулась моя прежняя энергия, так как это решение было вполне разумным. Прибавлю, чтобы быть правдивым до конца, что в замке было получено известие о скором приезде господина де Плана и графа Андре. Если бы у меня и были какие-нибудь колебания, новость эта окончательно устраняла их. Присутствие этих офицеров при двойном ударе, нанесенном и моей любви и моей гордости, я перенести не мог, да и не хотел. И вот как я решил поступить. Маркиз просил меня остаться в замке до 15 ноября. Было уже третье число. Утром этого рокового дня я заявил маркизу, что получил от матери очень тревожное письмо, а днем сказал, что прибыла еще более тревожная телеграмма. В результате я добился у маркиза разрешения поехать на другой день в Клермон как можно раньше. Я просил, в случае если не вернусь, упаковать оставленные мною вещи и прислать мне их в город. Я нарочно говорил об этом в присутствии Шарлотты, уверенный, что она поймет меня надлежащим образом, то есть что я уезжаю и больше не вернусь. Я надеялся, что мысль о предстоящей разлуке взволнует ее, и, желая использовать это волнение, снова написал ей, на сей раз всего две строчки: «Я покидаю вас навсегда, а потому имею право просить о последней встрече. Зайду к вам в одиннадцать часов». Надо было сделать так, чтобы она не могла отослать мне записку, не прочитав ее. Поэтому

я положил ее незапечатанной на ночной столик, рискуя погубить Шарлотту и себя, если записка попадетсся на глаза горничной. Как билось у меня сердце, когда без пяти одиннадцать я направился к двери ее комнаты и нажал на дверную ручку! Дверь была не заперта. Она ждала меня. При первом же взгляде на нее я понял, что борьба будет очень трудной. На ее лице было совершенно явственно написано, что она позволила мне прийти вовсе не для того, чтобы простить меня. На ней было темное вечернее платье, и никогда еще взгляд ее не казался таким неумолимо твердым и холодным.

— Сударь, я не знаю, что вы хотите мне сказать, и не желаю знать...— начала она, как только я запер дверь и в молчании остановился перед нею.— Я васпустила сюда не для того, чтобы выслушивать вас. Клянусь вам— а я-то умею держать свое слово,— что если вы сделаете хоть один шаг ко мне или попытаетесь говорить, я позвоню, и вас вышвырнут отсюда, как вора...

При этих словах она положила палец на кнопку электрического звонка у изголовья кровати. Ее лоб, губы, движения, голос— все выражало такую решимость, что мне ничего не оставалось, как только молчать. Потом она продолжала:

— Вы толкнули меня на три недостойных поступка. Первый еще можно оправдать тем, что я не считала вас способным на подлость, которую вы совершили... К тому же этот поступок я сумею искупить,— прибавила она, как бы разговаривая сама с собой.— Второй поступок... Я не пытаюсь оправдать его...— И ее лицо вдруг залила краска стыда...— Мне было очень тяжело сознавать, что вы могли так сделать... Мне хотелось узнать ваш подлинный облик, поближе познакомиться с вами... А вы мне говорили, что ведете дневник. Мне захотелось прочесть его... Я его прочла. Да, я вошла к вам, когда вас не было в комнате. Я рылась в ваших бумагах. Я даже сломала замок на тетради. Да, я виновата в этом! Но я уже жестоко наказана тем, что я там прочла... Третий поступок... Открыв вам его, я заплачу свой долг. Заплачу за то, что я делала в вашей комнате. Третий поступок...

Она запнулась, потом сказала:

— В порыве негодования я написала брату. Он знает все!

— Вы погубили себя! — не выдержал я.

— Вам известно, в чем я поклялась, — перебила она меня, снова взявшись за звонок. — Молчите! Погубить меня уже невозможно. Никто уже не в силах ничего сделать ни для меня, ни против меня. Мой брат узнает о случившемся, а также и о том, что я решила. Письмо он получит завтра утром. Я должна была предупредить вас об этом, раз вы так цепляетесь за жизнь. А теперь уходите...

— Шарлотта! — воскликнул я.

— Если вы сейчас же не уйдете, — сказала она, посмотрев на часы, — я позову людей...

### § 7.— Заключение

И я повиновался! На следующий день, около шести часов утра, я покинул замок, весь во власти мрачных предчувствий, тщетно стараясь убедить себя, что последняя сцена не будет иметь никаких последствий, что граф Андре придет вовремя и сумеет воспрепятствовать Шарлотте принять в припадке отчаяния непоправимое решение, что она сама в последнюю минуту откажется от него, что ей может помешать какое-нибудь непредвиденное обстоятельство. Мало ли что могло произойти? Но я ни минуты не думал о том, чтобы бегством спастись от возможной мести ее брата. Теперь я снова обрел мужество, так как меня поддерживала мысль, что отныне я уже никому не позволю унижать себя. Если я и проявил мимолетную слабость под влиянием счастливой любви, в присутствии обезумевшей девушки, то это ни в коем случае не повторится в присутствии мужчины, чем бы он ни угрожал мне. В Клермон я приехал полный ужасной тревоги. Впрочем, это продолжалось недолго, ибо вскоре стало известно о смерти мадемуазель де Жюсса и я тут же был арестован. С первых же слов следователя мне не трудно было восстановить для себя самого картину самоубийства Шарлотты: она отлила из моего пузырька с ядом столько, сколько считала достаточным, чтобы покончить с собой. Она сделала это в тот день, когда читала дневник в моей комнате. Действительно, замок тетради оказался сломанным. Впрочем, тогда мне было не до этих бесплодных записей, и я даже не заметил,

что он сломан. Чтобы отвести мои подозрения относительно пузырька, она долила его водой и таким образом возместила взятое количество яда. Свой пузырек она выбросила в окно, так как, вероятно, не хотела, чтобы родители узнали о ее самоубийстве иначе как от ее брата. А я, знавший всю правду об этой страшной трагедии и имевший по крайней мере возможность представить дневник в качестве доказательства своей невиновности,— я уничтожил его, как только вышел от следователя после первого допроса. Давать показания и защищать себя я отказался из-за брата Шарлотты. Я уже сказал вам, что до дна испил чашу унижений и больше не хотел этого. И теперь не желаю. Человек, которому я так завидовал в первые дни, который является для меня как бы представителем покойной и который знает всю правду, должен считать меня последним мерзавцем. Но я не хочу, чтобы он имел право презирать меня, и у него этого права нет, потому что мы оба молчим. Однако для меня молчание означает, что я рискую своей головой, чтобы спасти доброе имя покойной, а его молчание губит человека, невиновного в ее смерти, и тоже ради спасения чести покойницы. Кто из нас поступает благороднее? Кто из нас джентльмен? Я ли, не желающий защищаться, прячась за труп Шарлотты, или он, у которого хранится ее письмо, но который, чтобы отомстить любовнику сестры, предоставляет осудить его как убийцу? Ведь позор своего малодушия в ту ночь, когда Шарлотта отдалась мне,— если считать это позором,— я смываю тем, что отказываюсь защищать себя. За ужас последних дней моего пребывания в замке меня вознаграждает гордое сознание, что я не хочу сейчас покончить расчеты с жизнью и просить у смерти забвения своих мук. Нет, пусть граф Андре проявит свою подлость до конца. Если меня приговорят к смерти, а он, зная о моей невиновности и имея в руках доказательства, будет все-таки молчать, то что ж, Жюсса-Рандонам не в чем будет упрекать меня, и мы будем квиты.

Но вам, мой досточтимый учитель, я рассказал все, я открыл вам все глубины своей души и даже то, что лежит за этими глубинами. Но, доверяя вам тайну, я слишком хорошо знаю, к кому обращаюсь, и потому не напоминаю об обещании, которое позволил себе взять

с вас на первой странице этой рукописи. Однако, по правде говоря, я задыхаюсь от своего молчания; оно давит мне душу, лежит на ней вечным гнетом. Чтобы выразить вам все это в немногих словах,—а это желание выразить свои чувства так же законно, как и сами чувства,—я должен сказать откровенно, что меня мучат угрызения совести. Мне хочется, чтобы кто-то понял меня, утешил, любил; чтобы чей-нибудь голос пожалел меня и произнес слова, от которых рассеялись бы страшные призраки. Начиная эту исповедь, я составил в уме ряд вопросов и хотел предложить их вам в конце записок. Я льстил себя надеждой, что мне удастся рассказать свою историю так же ясно, как вы излагаете психологические проблемы в своих трудах. С каким вниманием я читал их! А вот теперь я ничего не надежду сказать вам, кроме слов, выражающих отчаяние: «De profundis!» Напишите мне, дорогой учитель, руководите мною! Укрепите мою веру в доктрину, которая была и остается моей доктриной, мою веру во всеобщую необходимость. Она учит, что даже самые отвратительные и самые роковые наши поступки, даже хладнокровно задуманное мною оболечение, даже мое малодушие перед обязательством умереть, подчиняются общим законам вселенной. Скажите мне, что я вовсе не чудовище, что в мире вообще не существует чудовищ и что вы примете меня как ученика, как друга, если мне удастся выйти из этих невероятных переживаний. Если бы вы были врачом и к вам пришел бы человек и показал свои раны, ведь вы же не отказались бы перевязать их из человеколюбия? А вы тоже врач, великий врачеватель душ. Моя душа смертельно ранена, она истекает кровью. Умоляю вас сказать хоть одно слово утешения, скажите его, и вас до конца своих дней будет благословлять неизменно преданный вам

*Робер Грелу.*





## V

### В ВИХРЕ МЫСЛЕЙ

Прошел месяц с тех пор, как мать Робера Грелу принесла в тихую обитель на улице Ги де ля Бросс странную рукопись, которую Адриен Сикст так долго не решался прочитать. А прочитав ее, философ до такой степени разволновался, что даже простые люди из его окружения заметили перемену в душевном состоянии ученого. Это тревожное настроение сделалось теперь предметом бесконечных пересудов со стороны мадемуазель Трапенар и четы Карбоне. Разговоры происходили обычно в пропахнувшей кожей привратничьей, где преданная экономка и рассудительные супруги спорили до потери сознания о странной перемене в поведении знаменитого философа. Изумительная, почти автоматическая регулярность выходов Сикста на прогулку и его возвращений домой, сделавшая из него за пятнадцать лет как бы живой хронометр для всего тихого квартала Ботанического сада, вдруг превратилась в лихорадочную и необъяснимую хаотичность. После визита г-жи Грелу философ стал выходить из дому в любой час, вдруг преобразившись в какого-то беспокойного человека, которому не сидится на месте, который возвращается, едва выйдя на прогулку, а вернувшись, не в состоянии пробыть и одной минуты дома. На улице он уже не шествовал тем размеренным шагом, свидетельствующим об уравновешенной нервной системе, а торопился или вдруг останавливался и жестикулировал, как бы споря

о чем-то с самим собой. Эта нервозность выражалась порой еще более странным образом. Мадемуазель Трапенар рассказывала супругам Карбоне, что ее хозяин не ложится теперь спать раньше двух-трех часов ночи.

— И вовсе не потому, что он занимается,— утверждала славная женщина,— нет, он все ходит, ходит. В первый раз я подумала, что он захворал, и встала с постели, чтобы-спросить, не нужно ли ему чего-нибудь, не дать ли ему какого-нибудь отвара... И представьте себе, он, обычно до того вежливый и мягкий в обращении, что и в голову не придет, что он такой ученый,— тут вдруг выгнал меня, как последний грубиян!

— А я в прошлый раз, когда возвращалась с покупками, видела его в кафе! — заметила тетушка Карбоне.— Я своим глазам не поверила. Ей-богу, он сидел за окном и читал газету! Не знай я его как свои пять пальцев, я бы перепугалась. А если бы вы видели его лицо, нахмуренный лоб, и какой у него был при этом рот!..

— В кафе! — всплеснула руками мадемуазель Трапенар.— За все шестнадцать лет, что я у него в экономах, я ни разу не видела его с газетой в руках.

— У него какая-то неприятность, которая не дает ему покоя,— заключил Карбоне.— А всякая неприятность, мадемуазель Мариетта,— это как бочка *Аделаид* — она бездонная... Но что ни говорите,— все это началось с вызова к судебному следователю и когда появилась дама в черном. Знаете, что мне приходит в голову? Может, у него есть сынок и с парнем не все ладно...

— Господи Иисусе,— снова всплеснула руками Мариетта,— у него — и вдруг сын?

— А почему бы ему и не быть? — ответил привратник вопросом, игриво подмигивая за стеклами очков.— Вы считаете, что он не мог куролесить в молодые годы, как всякий другой? — Потом, обращаясь к петуху, добавил: — Вот и ты, каналья! Опять собираешься греховодничать?

Фердинанд прогуливался по комнате, изредка покривая, и рылся в обрезках кожи, попутно глотая пуговицы и потряхивая гребнем. Любуясь этим «гулякой», как он называл своего питомца, Карбоне забывал даже о профессиональном любопытстве парижского приврат-



инка. Фердинанд прыгал ему на плечо и спокойно сидел там, в то время как хозяин снова брал в руки молоток и, прибывая подметку к башмаку, прилаженному на железной форме, восхищался петухом:

— Нет, вы скажите мне: птица это или человек?

Потом он передавал перепуганной мадемуазель Трапенар слухи, ходившие по поводу бедного г-на Сикста среди простонародных обитателей улицы Линнея с тех пор, как ученый изменил своим привычкам. Длинные языки повторяли на один лад, что причиной волнений философа послужил вызов к судебному следователю. Прачка уверяла, что получила от земляка г-на Сикста сведения, согласно которым отцу ученого когда-то были даны на хранение деньги, но отец злоупотреблял ими, и теперь г-н Сикст должен все возместить. Мясник рассказывал всем, кому не лень было слушать, что философ — женатый человек и что жена недавно закатила ему ужасную сцену и даже пригрозила бракоразводным процессом. А угольщик так и вовсе намекал, что с виду почтенный человек в действительности брат того злодея, орудовавшего под фальшивым именем Кампи, казнь которого в те дни очень занимала обывателей.

— Ни за что не пойду теперь к ним, — возмущалась мадемуазель Трапенар. — Боже милостивый, как не стыдно придумывать такие ужасы!

И расстроенная старая дева уходила из каморки. Эта крупная женщина с багровым лицом, сильная, как бык, невзирая на свои пятьдесят пять лет, так и оставшаяся крестьянкой, всегда ходившая в грубых башмаках, в синих шерстяных чулках, связанных собственными руками, и в чепце, прочно надетом на твердый шиньон, чувствовала к хозяину расположение, основанное на различных свойствах ее правдивой и простой натуры. Прежде всего она уважала в лице хозяина ученого человека, о котором даже пишут в газетах. Кроме того, она весьма дорожила местом у этого старого холостяка, который никогда не проверял ее счетов и в доме которого она сделалась настоящей хозяйкой; такое место обеспечивало ей полное благополучие и ренту в старости. Наконец она, крепкая и сильная, нежно оберегала от трудностей жизни это физически слабое, почти хилое существо — наивного человека, которого, по ее словам, проведет любой десятилетний мальчуган. Поэто-

му подобные сплетни в какой-то степени затрагивали и ее самолюбие, не говоря уже о том, что от этих перемен в настроении ученого квартира становилась для нее не столь уютной. Из искреннего расположения к хозяйну Мариетта очень беспокоилась, что в последнее время он почти ничего не ест и плохо спит. Она наблюдала, как он ходит, покашливая, удрученный и больной, и ей ничем не удавалось развеселить его или хотя бы угадать причину его все усиливающейся меланхолии и возбуждения! Легко себе поэтому представить, что с ней делалось, когда однажды, в марте месяце, пообедав где-то в городе, Сикст вернулся около пяти часов домой и спросил:

— Мой чемодан в порядке, Мариетта?

— Не знаю, господин Сикст,— ответила служанка.— Вы ведь не пользовались им с тех пор, как я служу у вас...

— Разыщите его,— перебил ее философ.

Старая дева отправилась выполнять распоряжение и с антресолей, где за отсутствием чердака хранилось также топливо, принесла небольшой кожаный чемодан, запыленный, с заржавевшими замками, ключи от которых были давным-давно утеряны.

— Так,— сказал Сикст, взглянув на чемодан.— Сейчас же купите мне другой чемодан, вроде этого, и уложите в него все, что необходимо для поездки.

— Значит, вы уезжаете, господин Сикст? — растерялась мадемуазель Трапенар.

— Да, на несколько дней.

— Но ведь у вас ничего нет, что требуется в дороге,— заметила старая экономка.— Разве можно пускаться в путь без пледа, без...

— Купите все, что нужно,— перебил ее философ,— и, пожалуйста, поторопитесь: поезд отходит в девять часов.

— Я тоже поеду?

— Вам незачем ехать,— ответил Сикст.— Но имейте в виду, времени осталось в обрез.

— Как бы он не загубил себя,— заметил Карбоне, когда Мариетта рассказала в привратничкой о новом событии, почти так же удивившем этот мирок, как потрясла бы его, например, весть о женитьбе философа.

— Хоть бы взял меня с собой! — сказала служанка в ответ на свои мысли.— Я поехала бы с ним, даже если бы пришлось из своего кармана за билет заплатить...

Одно это восклицание, столь трогательное в устах женщины, некогда прибывшей в Париж из департамента Ардеш, чтобы поступить в услужение, и доводившей экономию до того, что она кроила себе кофты из старых сюртуков хозяина, доказывало лучше всего, до какой степени обеспокоила всех этих простых людей перемена, происшедшая в характере философа, который в те дни действительно переживал очень тяжелый нравственный кризис. Не подозревая, что за ним наблюдают, он выдавал крайнюю остроту своих волнений в малейших жестах и в каждой черте лица. Таких тяжелых часов не было в жизни г-на Сикста с тех пор, как умерла его мать. К тому же в те далекие дни его переживания, связанные с непоправимой утратой, ограничивались областью личных чувств, тогда как записки Робера Грелу затронули всю полноту его умственной жизни, самое дорогое для него, то, в чем он видел смысл существования. Отдавая Мариетте распоряжение приготовить чемодан, философ испытывал тот же непреодолимый страх, как и тогда, когда ночью впервые перелистывал тетрадь с исповедью Грелу. Гнетущее состояние овладело им с первых же страниц повествования, где с таким смешением гордости и стыда, цинизма и простодушия, низости и благородства разбиралось и как бы выставлялось напоказ преступное заблуждение человеческого ума. Когда ученый дошел до фразы, в которой Робер Грелу заявлял, что тесно и нерасторжимо связан с ним, философ содрогнулся, и так же содрогался он при каждом новом упоминании своего имени в этом необыкновенном анализе, при каждой цитате из его книг, которые давали право этому странному юноше называть себя его учеником. Находясь во власти какого-то очарования, в котором ужас сочетался с любопытством, Сикст не отрываясь прочел эту исповедь человеческой души с первой до последней строки: идеи, дорогие его сердцу идеи, и наука, любимая им наука, были представлены здесь в соединении с самыми постыдными поступками. Мало того, что они были в соединении с такими поступками! Риомский подсудимый в свое оправдание ссы-

лался на эти идеи, на эту науку как на причину самой чудовищной, безудержной развращенности. По мере того как Сикст читал рукопись, ему начинало казаться, что какая-то часть и его собственного существа оскверняется, разлагается, поражается гангреной, потому что на каждом шагу он находил нечто от самого себя, видел, что он каким-то колдовством пристегнут к чувствам, которые ненавидел больше всего на свете. Ибо у этого знаменитого философа в полной неприкосновенности сохранилась незапятнанная чистота совести и за смелыми мыслями отрицателя всегда таилось благородное человеческое сердце. Именно в своей безупречной совести и безукоризненной порядочности и чувствовал себя неожиданно уязвленным учитель этого вероломного гувернера. Мрачная история так подло подстроенного обольщения, ужасного предательства и прискорбного самоубийства ставила философа лицом к лицу со страшным фактом: с влиянием его идей, оказавшихся разлагающими и тлетворными, хотя он лично жил в полном самоотречении и его идеалом всегда была чистота. История Робера Грелу выставляла книги Сикста как сообщниц отвратительной гордыни и мерзкой чувственности, а между тем он всегда писал только для того, чтобы служить науке, выполнял в качестве скромного труженика дело, которое считал благотворным, соблюдая строжайший аскетизм и не давая врагам повода использовать его личную жизнь в виде аргумента против его принципиальных утверждений. Впечатление от дневника было тем сильнее, что оно было совершенно неожиданным. Такое же чувство мог бы испытать медик, человек большого сердца, нашедший средство против какой-нибудь болезни и вдруг узнавший, что один из его ассистентов решил испробовать это средство на практике, в результате чего целая палата больных находится при смерти. Очень горько бывает умышленно совершить какой-нибудь неблагоприятный поступок. Но в тысячу раз тяжелее потрясение, в тысячу раз мучительнее рана,— пусть даже потрясение длится не более часа, а рана немедленно закроется,— если человек, в течение тридцати лет посвящавший себя труду, который он считал полезным, тридцать лет трудившийся искренне, с чистой совестью, отклоняя как незаслуженные все обвинения своих противников в безнравственности и ни

на минуту не сомневаясь в своей правоте,— если этот человек в свете молниеносного открытия вдруг получит неоспоримое, очевидное, как сама жизнь, доказательство, что труд его отравил человеческую душу, что он заключает в себе тлетворное начало, которое продолжает распространяться по всему свету!

Всем мыслителям, совершившим переворот в какой-либо области, знакомы приступы подобной тревоги. Большинство из них быстро преодолевает эту тревогу. И вот почему. Ведь редко случается, чтобы человек, бросившись в битву идей, вскоре не утратил своих первоначальных искренних убеждений и постепенно не уподобился актеру, который продолжает играть некую заученную роль. Люди приобретают сторонников и очень скоро, когда их потреплет жизнь, приходят к концепции приблизительных понятий, а это позволяет допускать известное умаление идеалов. Они успокаивают себя тем, что хотя они в данном случае и поступили неправильно, зато правильно поступили в другом и что в конце концов все поступают так же. Но Адриен Сикст был слишком искренним человеком, чтобы так рассуждать; у него не было ни роли, которую нужно было бы играть, ни приверженцев, с которыми надлежало бы считаться. Он жил в полном одиночестве. Его философия и он сам составляли единое целое, и компромиссы, обычно сопутствующие славе, не затронули его прекрасную, гордую и суровую душу, душу подлинного ученого. К этому следует добавить, что благодаря своему чистосердечию он жил в обществе, как бы не замечая его вокруг себя. Страсти, которые он описывал, преступления, которые он изучал, представлялись ему отвлеченными объектами вроде тех, что отмечаются в историях болезни: «Н... 35 лет... такой-то профессии... холост...» И далее следует изложение данного заболевания, без единой подробности, которая дала бы читающему ощущение индивидуальности больного. Словом, ни разу в жизни этот суровый теоретик страстей, тончайший анатом воли, не посмотрел в лицо живому человеку из крови и плоти. Поэтому исповедь Грелу не только растревожила его совесть. Философ должен был ухватиться и, конечно, ухватился за сведения, сообщенные юношей, с той жадностью, с какой свет воспринимается зрачком, только что освобожденным от катарак-

ты. Прочитав записки, Сикст в течение целой недели находился в состоянии какой-то одержимости, и она еще больше усилила его моральные муки, прибавив к ним нечто вроде физического недомогания. Мозг этого человека, привыкший оперировать только отвлеченными понятиями, оказался как бы во власти конкретного и навязчивого кошмара. Психолог представлял себе своего несчастного ученика таким, каким видел его тогда, в этой самой комнате, стоящим на этом самом ковре, опирающимся на этот стол, дышащим, двигающимся.

За словами, написанными на бумаге, он слышал немного глуховатый голос, произносящий ужасную фразу: «Я с такой страстью и такой полнотой жил вашими мыслями и вместе с вашими мыслями!» И слова исповеди уже не были мертвыми словами, написанными холодными чернилами на безразличной бумаге: они вдруг ожили, превратились в звуки, за которыми философ чувствовал трепет живого существа. «Ах,— думал он, когда образ становился невыносимо ярким,— зачем его мать принесла мне эти записки? Было бы так естественно, если бы несчастная женщина, одержимая желанием доказать невиновность сына, использовала для этого доверенную ей рукопись. Но, очевидно, Робер, прибегнув к лицемерию, которым он гордится, словно какой-то психологической победой, обманул и ее...» Лицо юноши, как в галлюцинации неотвязно стоявшее перед глазами философа, выводило его из равновесия. Когда мать Робера бросила ему в лицо: «Вы развратили моего сына!» — безмятежность ученого была едва задета. Обвинения маркиза де Жюсса, о которых он узнал от следователя, как и фраза самого представителя судебного ведомства о его моральной ответственности, тоже вызвали у Сикста лишь презрение. С каким спокойствием и даже интересом к этому делу, чуть ли не с оживлением покинул он здание суда! А теперь он уже не находил в себе этой способности презирать. Его безмятежное состояние было нарушено, и он, отрицатель свободы воли, он, ученый, который с хладнокровием химика, изучающего свойства какого-нибудь газа, разлагал на составные части порок и добродетель, он, смелый глашатай учения о всемирной механике, до сих пор живший в полной гармонии ума и сердца,— он испытывал теперь невыносимые муки, противоречившие всем его

доктринам. Как и его ученик, он мучился угрызениями совести и чувствовал за собой вину!

Только неделю спустя после первого потрясения конфликт сердца и разума стал у Адриена Сикста затихать: философ читал и перечитывал исповедь Грелу, так что мог бы теперь процитировать из нее любую фразу наизусть, и, наконец, он стал делать попытки что-то предпринять. Однажды он гулял в Ботаническом саду. Стоял конец февраля, но день выдался теплый, как весной. В своей любимой аллее, той самой, что тянется вдоль улицы Бюффона, он опустился на скамью у подножия акации, вывезенной из Виргинии и уже подпертой железными костылями и залитой, как стена, цементом, с ветвями, перекрученными, словно искривленные пальцы великана. Автор «Психологии веры» особенно любил это дерево, в котором уже иссякали жизненные соки. Он любил его потому, что дата, указанная на табличке, представлявшей нечто вроде паспорта обреченного гиганта, гласила: «Посажено в 1632 году». 1632 год! Год рождения Спинозы! Было два часа дня. Солнце в тот день приятно пригревало, и хорошая погода несколько успокоила нервы ученого. Он рассеянно смотрел вокруг и некоторое время с удовольствием наблюдал за проделками двух ребятишек, игравших поблизости, подле матери. Они копали деревянными лопатками песок и строили воображаемый дом. Вдруг один из них вскочил и при этом стукнулся головой о скамью, которая находилась позади. Должно быть, малышу было очень больно, потому что его личико исказилось и у него перехватило дыхание, так что он расплакался не сразу. Потом, в припадке негодования, он вдруг повернулся к скамье и ударил по ней кулаком.

— Какой же ты глупенький,— сказала мать, отряхнув с ребенка песок и вытирая ему глаза.— Ну, утри нос хоршенько! Неужели ты думаешь, что тебе станет легче, если ты побьешь деревяшку! — И она помогла ему высморкаться.

Эта сцена несколько рассеяла ученого. Гуляя, он долго вспоминал ребятишек. «Я похож на этого мальчугана,— думал он.— По детской наивности он одушевляет неодушевленный предмет и возлагает на него ответственность за свои страдания. А ведь и я поступаю точно так же вот уже в течение целой недели».

Впервые с тех пор как Сикст прочел записки Грелу, он осмелился сформулировать свою мысль с той отчетливостью, которая была отличительным свойством его ума и всех его трудов. «Я должен тоже считать себя в какой-то мере ответственным за эту ужасную историю... Ответственным? Но ведь это — бессмысленное слово...» Направляясь к выходу из сада, к острову Сен-Луи и к Собору Парижской богородицы, философ перебирал в уме доводы против понятия ответственности, изложенные им в «Анатомии воли», и особенно свою критику идеи причинной связи; этот отрывок всегда был ему особенно дорог. «Это совершенно неоспоримо», — сделал он вывод. И затем, убедив себя еще раз в правильности своих положений, он стал думать о Грелу, о Грелу сегодняшнего дня, сидящем в камере № 5 Риомского дома предварительного заключения, и о прежнем Грелу, молодом студенте из Клермона, склонившемся над страницами «Теории страстей» и «Психологии веры». Снова его охватило тягостное чувство при мысли, что этот юноша пользовался его книгами, размышлял над ними, любил их. «Как мы все двойственны в душе, — подумал он. — И почему мы бессильны рассеять иллюзии, о которых заведомо знаем, что они ложны!» Вдруг ему вспомнилась фраза из записок Грелу: «У меня возникают угрызения совести, а ведь теории, которых я придерживаюсь, истина, которой обладаю, убеждения, составляющие самую сущность моего духа, предписывают мне рассматривать угрызения совести как самую жалкую из всех человеческих иллюзий». Тождественность его теперешнего морального состояния с моральным состоянием его ученика показалась ученому до того невыносимой, что он попытался отделаться от этих мыслей путем новых умозаключений. «Ну, хорошо, — продолжал он, — последуем примеру геометров. Предположим, что то, что мы считаем ложным, на самом деле истинно... Будем рассуждать от абсурда. Да, человек является причиной и причиной свободной. Следовательно, он ответствен за свои поступки... Предположим, что так оно и есть. Но когда, где и в чем именно я поступил неправильно? И с какой стати у меня возникают угрызения совести по поводу этого негодяя? В чем моя вина?» Философ вернулся домой с твердым намерением мысленно пересмотреть всю свою жизнь.



И вот он увидел себя ребенком, готовящим уроки с тем же прилежанием, с каким трудился его отец, часовщик. А чего же он хотел, чего добивался значительно позже, когда стал размышлять? Истины. Разве не истине он служил, когда брал в руки перо? Не ради ли истины он писал свои книги? Ради нее он пожертвовал всем: богатством, положением, семьей, здоровьем, любовью, дружбой. Ведь это проповедует даже христианство — учение, проникнутое идеями, совершенно противоположными его идеям. «Мир на земле людям доброй воли». То есть тем, кто ищет истину. И вот в его прошлом, которое он ворошил сейчас, вооружившись всей силой своего разума, поставленного на служение неподкупной совести, не оказалось ни одного дня, ни одного часа, когда он изменял бы идеальной программе своей юности, некогда сформулированной в благородном и скромном девизе: «Высказывать все, что думаешь, и только то, что думаешь». «Это долг всех, кто верит в долг, — сказал он сам себе. — И я этот долг выполнил». В ту ночь, после трезвых размышлений о своей судьбе, судьбе неподкупного труженика, этот выдающийся и честный ученый наконец спокойно уснул, и воспоминание о Робере Грелу уже не тревожило его сон.

Проснувшись на другой день после своеобразной исповеди, которую он принял сам у себя и ради самого себя, Адриен Сикст совсем успокоился. Он слишком привык к самоанализу, чтобы не искать причины этой перемены своих настроений, и в то же время был слишком добросовестным, чтобы такой причины не видеть. Временное успокоение совести объяснялось тем простым фактом, что в продолжение нескольких часов он допускал истинность таких идей о человеческой морали, которые разум его осуждал. «Следовательно, — сделал философ вывод, — существуют идеи благотворные и зловердные. Ну и что же? Разве зловердность той или иной идеи доказывает ее ложность? Предположим, что удалось бы скрыть от маркиза де Жюсса смерть Шарлотты и что он успокоился бы, считая, что она жива. Разве тем самым эта идея приобрела бы характер истинности? И наоборот...» Адриен Сикст всегда считал софистикой и трусостью аргументацию некоторых философов-спиритуалистов, направленную против гибельных последствий новых теорий. Обобщая проблему,

он подумал: «Каков душевный склад человека, такова и его доктрина. И доказывается это, в частности, тем, что Робер Грелу даже религиозные обряды и молитвы превратил в орудие своей развращенности...» Он снова взял в руки записки, чтобы просмотреть страницы, посвященные религиозным переживаниям. Но чтение до такой степени захватило его, что он вновь перечел всю рукопись, особенно задерживаясь на тех страницах, где упоминалось его имя, его теория или труды. Адриен Сикст напрягал всю силу своего ума, чтобы доказать, что каждое из его положений, приведенных Грелу, могло бы оправдать и поступки, диаметрально противоположные тем, какие оправдывал ими больной юноша. Но внимательное перечитывание роковой рукописи вновь вызвало в нем глубокое душевное волнение. На этот раз не помогали никакие доводы рассудка. В силу своей исключительной искренности философ не мог обмануть себя: характер Робера Грелу, опасный уже по самой своей природе, нашел в его доктринах почву, на которой могли развиваться самые отрицательные склонности. К этой очередной истине приходилось присоединить и другую, не менее прискорбную: у Адриена Сикста не хватало силы ответить на отчаянный призыв, с каким ученик обращался к нему из глубины своей темницы. Из всей этой исповеди заключительные строки о помощи подействовали на ученого сильнее всего. И хотя слово «долг» в них не было произнесено, он чувствовал себя как бы должником по отношению к Грелу. Молодой человек был прав, утверждая, что учитель всегда связан таинственными узами с той душой, которой он руководит, и эти узы не позволяют отнестись к ее страданиям с безразличием Понтия Пилата даже в том случае, если учитель и не стремился руководить, даже если эта душа неправильно истолковала его учение. Такие мысли вызвали у философа еще более жестокие переживания, чем в первые дни. Раньше, когда Адриена Сикста охватывала безумная тревога при виде разрушений, которые произвели в душе Грелу его сочинения, он был скорее жертвой панического страха. Философ мог успокаивать себя — да и успокаивал — тем, что на него действует только неожиданность ужасного открытия. Теперь, когда он сохранял полное хладнокровие, он с горечью убеждался, что психология, как

бы она ни была научно обоснована, бессильна управлять механизмом человеческой души. Сколько раз в течение последних дней февраля и начала марта он принимался за письмо к Роберу Грелу, но не мог его окончить. В самом деле, что ему было сказать этому несчастному юноше? Что нужно мириться с неизбежностью как во внутреннем мире, так и во внешнем? Что нужно принимать свою душу такой, какая она есть, как принимаем мы по необходимости и свою плоть? Да, именно в этом заключался весь смысл его философии. Но ведь эта неизбежность была в данном случае самой отвратительной развращенностью в прошлом и в настоящем. Поэтому советовать юноше примириться со своей сущностью, с порочностью своей природы означало бы стать сообщником его пороков. Причитать его? Но во имя каких принципов он мог сделать это после того, как провозгласил, что добродетель и порок только количественные понятия, а добро и зло лишь социальные этикетки. словом, что всякая черточка в нашем характере, как и в общем строе вселенной,—необходима? И тем более какой совет дать ему на будущее? Какими словами помешать тому, чтобы мозг этого двадцатидвухлетнего юноши опустошали гордыня и чувственность, нездоровое любопытство и развращающие парадоксы? Разве можно доказать гадюке, если бы она была способна мыслить, что ее железы не должны вырабатывать яд? «А почему я змея?» — могла б ответить она. Пытаясь уточнить свою мысль другими образами, взятыми из личных воспоминаний, Адриен Сикст сравнил душевный механизм, разобранный перед ним Робером Грелу, с механизмом часов на отцовском верстаке, в которых он в детстве наблюдал движение колесиков. Пружинка напрягается, производит движение, за ним следует другое, потом еще... Стрелки начинают вращаться. Если отнять одно колесико или хотя бы только дотронуться до него, останавливается весь механизм. Так и в душе. Изменить в ней что-нибудь, значит остановить жизнь. Ах, если бы механизм сам мог изменять колесную передачу и ее движение! Если бы можно было отдать в починку и эти часы! Ведь существуют же создания, которые от зла возвращаются на стезю добра, падают и снова поднимаются, морально опускаются и опять становятся нравственными. Да, но для этого требуется иллюзия рас-

кайня, которая подразумевает иллюзию свободы и иллюзию судни, небесного отца. Как может он, Адриен Сикст, написать этому юноше: «Покайтесь!» Ведь под пером последовательного отрицателя, каким он является, это слово означало бы: «Перестаньте верить в то, что я доказал вам как непреложную истину!» И тем не менее ужасно присутствовать при гибели человеческой души и не быть в состоянии помочь ей. Дойдя в своих рассуждениях до этой мысли, ученый почувствовал, что здесь он касается неразрешимой проблемы, — того непостижимого начала душевной жизни, которое приводит в отчаяние психолога так же, как физиолога приводят в отчаяние некоторые необъяснимые тайны человеческого организма. Автор книги о вере, мыслитель, писавший, что «никаких тайн не существует, а существует лишь наше неведение», не считал себя вправе заглядывать в потусторонний мир, который за всякой реальностью открывает бездну и приводит науку к необходимости склониться перед загадкой и признаться, что «не знаю и не узнаю никогда», допуская тем самым вмешательство религии. Философ чувствовал свою полную неспособность предпринять что-либо для этой гибнущей души и понимал, что она нуждается в помощи, по правде говоря, сверхъестественной. Но после того, что он проповедовал, произнести подобные слова казалось ему таким же безумием, как говорить о квадратуре круга или приписывать треугольнику три прямых угла.

Однако неожиданное и само по себе незначительное событие привело к тому, что эта душевная борьба стала еще более трагичной и побудила философа предпринять решительные действия. Чья-то неизвестная рука направила ему газету, в которой в связи с делом Робера Грелу была напечатана чрезвычайно резкая статья против него и его влияния на молодежь. Журналист, вне всякого сомнения вдохновленный каким-нибудь родственником или другом семьи Жюсса, бичевал в этой статье современную философию и ее идеи, олицетворенные в Адриене Сиксте и некоторых других ученых. Затем он требовал поучительных выводов. В последнем абзаце, написанном по-современному, с тем реализмом, который является типичным для наших дней, подобно тому, как поэзия метафор была типична для прошлого, журналист рисовал картину того, как убийца мадемуа-

зель де Жюсса всходит на эшафот, что, по его мнению, должно было спасти от безверия целое поколение юных декадентов. При всяких других обстоятельствах великий психолог просто улыбнулся бы, читая всю эту галиматью. Он подумал бы, что газету ему, вероятно, прислал его враг Дюмулен, и продолжал бы прерванную работу, как Архимед, невозмутимо чертивший на песке геометрические фигуры в то время как враг громил его родной город. Но, читая эту статейку, нацарапанную бульварным моралистом на краешке стола у какой-нибудь девки, философ обратил внимание на один факт, который раньше ускользал от него, настолько абстрактная манера мыслить уводила этого философа от общественной жизни. Он заметил, что душевная драма сопровождается драмой вполне реальной. Через несколько недель, а может быть, и дней, человек, доказательство невиновности которого он держит в своих руках, предстанет перед судом. С точки зрения человеческой справедливости соблазнитель мадемуазель де Жюсса невиновен, и, если эти записки и не представляют собою окончательного доказательства его невиновности, тем не менее они отличаются такой правдивостью, что их вполне достаточно, чтобы спасти человеку голову. Неужели он допустит, чтобы эта голова скатилась на плаху? Ведь ему доверены несчастье, позор и вероломство молодого человека, ведь он знает, что этот интеллектуально развращенный юноша все же не убийца! Конечно, он связан молчаливым обязательством, которое взял на себя, принявшись читать записки. Но имеет ли силу такое обязательство перед лицом смерти? У этого затворника, терпевшего в течение целого месяца жестокие нравственные муки, была такая физическая потребность избавиться от бесцельных и бесплодных раздумий путем какого-нибудь волевого акта, что он почувствовал подлинное облегчение, когда в конце концов остановился на определенном решении. Из других газет, которые философ теперь с тревогой просматривал, он узнал, что дело Грелу назначено разбирательством в риомском суде присяжных на пятницу, одиннадцатое марта. Десятого он отдал Мариетте столь ее удивившее распоряжение приготовить чемодан и в тот же вечер сел в поезд, опустив предварительно в почтовый ящик письмо, адресованное графу Андре де Жюсса, капитану

драгунского полка, стоявшего в Люневиле. Письмо, без подписи, заключало в себе всего несколько строк: «Граф, у вас находится письмо сестры, которое служит доказательством невинности Робера Грелу. Неужели вы допустите, чтобы был осужден невинный человек?» Психолог-отрицатель не мог написать таких слов, как «право» или «долг». Но он принял твердое решение. Он решил, что дождется окончания процесса, и если Андре де Жюсса так и не скажет правды, а Робера Грелу приговорят к смертной казни, он немедленно представит записки председателю суда.

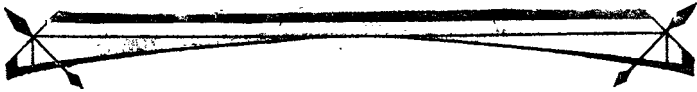
— Он взял билет до Риома, — рассказывала мадемуазель Трапенар дядюшке Карбоне, вернувшись с вокзала, куда проводила хозяина почти вопреки его воле. — И что это ему вздумалось ехать туда, зимой, одному, когда у нас так уютно дома...

— Будьте уверены, мадемуазель Мариетта, — не без лукавства ответил ей привратник, — рано или поздно мы узнаем, в чем дело... Но никто меня не разубедит, что в этой истории замешан его незаконный сын... — И, собираясь хлебнуть мятной настойки, которую жена приготавливала ему каждый вечер, он пояснил: — Желудок у меня никуда не годится, вот и приходится принимать всякие подкрепления... — Он сделал глоток и прибавил: — Пей, что дают!..

В это время петух долбил клювом кусочек сахара, который ему бросил хозяин.

— Смотри, Фердинанд, — не унимался привратник, — не вздумай шататься по своим петушиным делам, как господин Сикст... А то ведь хлопот не оберешься с дыплятами, старый греховодник...





## VI

### ГРАФ АНДРЕ

Когда письмо Адриена Сикста пришло в Люневиль, граф Андре, к которому философ обращался с отчаянным призывом и от которого теперь зависела участь Робера Грелу, находился уже в Риоме. Случаю было угодно, чтобы эти два человека не встретились, так как знаменитый ученый, выйдя из вагона, сел в подвернувшийся ему омнибус «Коммерческой гостиницы», граф же остановился в конкурирующем с ней «Всемирном отеле». Брат несчастной Шарлотты ходил из угла в угол по комнате с выгоревшими обоями, с полинялыми шторами, заштопанным ковром и старой мебелью. Было утро 11 марта 1887 года, утро того дня, когда должен был начаться процесс Робера Грелу. Медные, позолоченные часы со скульптурной группой на мифологический сюжет, украшавшие номер, пробили двенадцать. Дымивший камин едва обогревал комнату. Над городом нависло свинцовое небо, предвещавшее снегопад. Такая погода не редкость для Оверни, когда с гор дует ледяной ветер. Денщик капитана, драгун с веселой физиономией, по-военному навел порядок в номере, заказанном еще накануне. Пустив в ход часы и разведя огонь в камине, он поставил на стол, занимавший середину комнаты, два прибора. Время от времени он поглядывал на своего офицера. Граф Андре нервно покручивал усы, кусал губы, хмурился, и на его мужест-

венном лице была написана мучительная озабоченность. Но Жозеф Пура — так звали денщика — в простоте душевной считал, что граф и не может вести себя иначе, когда судят убийцу его сестры. Для него, как и для всех имевших то или иное отношение к семье Жюсса-Рандон, виновность Робера Грелу не оставляла никаких сомнений. Однако преданному денщику, знавшему решительный характер офицера, было не совсем понятно, почему он не отправился в суд вместе со старым маркизом. «Мне это слишком тяжело», — сказал граф, и Пура, расставлявший тарелки и вилки, предварительно их протерев, так как благоразумно не доверял чистоплотности гостиничного персонала, подумал при виде озабоченного лица капитана: «Все-таки у него доброе сердце, хотя иногда он и резковат. Как он ее любил!»

Казалось, что Андре де Жюсса даже не замечает, что он не один в комнате. Его темные, близко поставленные глаза, некогда поразившие, почти смутившие Робера Грелу своим сходством с глазами хищной птицы, уже не бросали тех горделивых взглядов, которые как бы вонзались в человека и завладевали им. Нет, теперь в этих глазах можно было заметить какую-то неуверенность, почти стыд или даже боязнь выдать свои душевные страдания. Словом, это были глаза человека, у которого засела в голове какая-то мысль и которого жало невыносимого горя разит беспрестанно в самые сокровенные уголки души. Это горе не затихало с той минуты, когда граф получил от сестры ужасное письмо, где она сообщала о намерении покончить с собой. Почти одновременно была получена и телеграмма, извещавшая о смерти Шарлотты, и граф немедленно отправился поездом в Овернь, сам еще не зная, как открыть отцу страшную истину, но с твердым намерением отомстить Грелу, как этого требовала справедливость. Маркиз встретил сына словами:

— Ты получил мою вторую телеграмму? Убийца в наших руках...

Граф ничего не ответил, хорошо зная, что тут кроется недоразумение. Однако маркиз привел подробности, рассказал, что подозрение пало на гувернера и что молодого человека должны арестовать. И тут у Андре, обезумевшего от горя, возникла мысль: сама судьба



предоставляет ему возможность отомстить, а о мести он только и думал с тех пор, как прочел с такой невыразимой болью в сердце исповедь сестры, узнал подробности ее несчастной любви, узнал о ее заблуждениях, попытках бороться, о мучительном пробуждении и гибельном решении покончить с собою. Достаточно не показывать письмо, которое хранится в его бумажнике, и подлый соблазнитель понесет заслуженное наказание, будет посажен в тюрьму и, конечно, приговорен к смертной казни. Доброе имя Шарлотты будет спасено, так как Робер Грелу не может доказать характер своих отношений с девушкой. Тогда по крайней мере родители, верящие в чистоту своей дочери и благоговеющие перед ее памятью, не узнают о падении Шарлотты, которое ввергло бы их в еще большее отчаянье, чем самоубийство... И граф Андре решил молчать.

Правда, молчание стоило ему очень дорого. Этот мужественный человек, обладавший от природы волевыми качествами подлинного воина, ненавидел всякие сделки с совестью, вероломство, окольные пути, трусость. Он понимал, что его долг сообщить кому следует о том, что ему известно, чтобы не допустить осуждения невинного. Как он ни уверял себя в том, что Грелу моральный убийца Шарлотты и что это заслуживает кары, как и убийство физическое,— все же софизм, подсказанный ненавистью, не мог заглушить другого голоса, говорившего ему, что недостойно становиться на сторону несправедливости, а осуждение Грелу за отравление нельзя считать справедливым. Одно непредвиденное обстоятельство, казавшееся графу почти чудовищным, окончательно ошеломило его: обвиняемый молчал. Презрение графа к Грелу было бы безграничным, если бы тот стал рассказывать о своем романе с Шарлоттой и спасать собственную жизнь, бессовестно черня доброе имя своей жертвы. Однако по какому-то странному своеобразию характера, которое простодушному человеку должно было казаться совершенно непонятным, преступник неожиданно проявил аристократическое благородство, не произнося ни одного слова, которое могло бы бросить тень на память той, кого он завлек в свою подлую западню. Негодяй держался на суде очень мужественно, по-своему героически. Во всяком случае, он вызывал теперь к себе не одно только отвращение. Сна-

чала Андре объяснял такое поведение особой тактикой, рассчитанной на присяжных, приемом, позволяющим добиться оправдания за недостатком улик. Но, с другой стороны, граф знал из письма сестры о существовании дневника, где история оболыщения записана час за часом. Дневник этот мог бы весьма уменьшить вероятность осуждения, и тем не менее Грелу не предъявлял его. Офицер не был в состоянии объяснить себе, почему благородное поведение врага доводит его порой до бешенства. В припадках гнева графу иногда хотелось броситься к следователю и рассказать ему все, чтобы обнаружилась истина и чтобы сестра ничем, решительно ничем не была обязана погубившему ее подлецу. Когда граф представлял себе, что Шарлотта, кроткое существо, любимое им такой мужественной и благородной любовью, любовью старшего брата к хрупкому и слабому ребенку, принадлежала этому хаму, этому учителишке без роду и племени, его охватывало чувство отвращения; он сознавал, что его знатному роду нанесено тяжкое оскорбление, и почти терял сознание от бешенства. Так было с ним, когда ему во время войны пришлось пережить капитуляцию Метца и сдаться в плен. Ему становилось немного легче при мысли, что этот человек сидит на позорной скамье подсудимых, предназначенной для мошенников, воров, убийц, а скоро очутится на эшафоте или на каторге... И он всячески заглушал в себе голос, твердивший: «Ты должен сказать правду!» Боже мой! Какой мукой были для него эти три месяца, когда его беспрестанно раздирали самые противоречивые чувства. Был ли он на маневрах (он снова вернулся в полк), пронесился ли карьером на коне по дорогам Лотарингии, занимался ли при свете лампы в своей комнате, — всюду его преследовал вопрос: «Что же делать?» Проходили недели, а он все еще не мог ответить на него. Но вот настал момент, когда во что бы то ни стало нужно было на что-то решиться, так как через два дня Грелу должен был предстать перед судом, а процессу предполагалось уделить всего четыре заседания. Граф считал, что гувернера безусловно приговорят к смерти. Конечно, еще можно будет сделать заявление и после вынесения приговора. Но это означает, что снова разгорится внутренняя борьба. Граф был человеком действия, и всякая неопределенность была для него не-

выносимой, а между тем именно в таком состоянии жил он целых три месяца, не будучи в силах решиться на что-нибудь. И когда он заглядывал поглубже в свою душу, он видел, что его молчание — еще не окончательное решение вопроса. Он не давал себе слова молчать. Он только откладывал свое заявление. Это и было причиной, помешавшей ему сопровождать отца в суд на первое заседание. Но об этом заседании он надеялся получить подробнейший отчет с минуты на минуту. Часы уже пробили двенадцать. За двенадцатью слабыми ударами сразу же раздался бой часов на колокольне соседней церкви. Старик Жюсса вот-вот должен был прийти.

— Их сиятельство прибыли, господин капитан, — доложил денщик, выглянув в окно, за которым послышался шум подъезжавшего экипажа.

— Ну что, отец? — с нетерпением спросил Андре, едва маркиз вошел в комнату.

— Присяжные на нашей стороне, — ответил старик.

Маркиз де Жюсса уже не был тем расслабленным маньяком, над которым так едко насмеялся в своих записках Грелу. Глаза его теперь горели, голос и даже движения помолодели. Страстная жажда мести, всецело овладевшая стариком, не только не подорвала его силы, а, наоборот, поддерживала их. Он даже забыл о своей ипохондрии, и его речь стала оживленной, властной и отчетливой.

— Утром происходила жеребьевка... Выбрали двенадцать присяжных... Я записал фамилии. — Маркиз стал рыться в своих записках. — Из двенадцати присяжных — три крестьянина, два офицера в отставке, врач из Эгперса, два лавочника, два домовладельца, фабрикант и учитель. Все это почтенные люди, семейные, они потребуют, чтобы убийца понес строгое наказание... Прокурор уверен, что Грелу будет приговорен к смертной казни... Ах, негодяй! За три месяца у меня была единственная приятная минута, когда я увидел, как его вводят в зал под конвоем двух жандармов: я понял тогда, что ему уже не вывернуться... От этих не убежишь! Но, представь себе, какая дерзость! Он окинул взглядом зал... Я сидел в первом ряду. Он меня увидел и даже не отвел взгляда, а, наоборот, пристально, вы-

зываюте посмотрел в мою сторону... Нам нужна его голова! И мы ее получим!

В голосе маркиза звучала звериная злоба, и он не заметил, что его слова вызвали на лице сына выражение глубокой горечи. Представив своего врага в руках жандармов, побежденным государственной властью, как бы раздавленным неумолимыми жерновами безликой и неотвратимой машины правосудия, офицер содрогнулся от стыда. Да, это был стыд человека, который подослал наемных убийц. И в самом деле, он пользуется жандармами и судейскими, как наемными убийцами, как исполнителями того, что он охотно осуществил бы собственными руками, чтобы самому же нести ответственность за это... Конечно, подло не сказать того, что он знает! А взгляд, брошенный подсудимым на отца,— что он означает? Известно ли Роберу, что Шарлотта перед самоубийством написала брату и обо всем рассказала ему? А если он знает об этом, то что он думает сейчас? При одной мысли, что молодой человек догадывается о подлинном положении вещей и презирает их обоих за молчание, у графа Андре закипела кровь.

— Нет,— сказал он сам себе, когда маркиз, наскоро позавтракав, отправился на заседание, возобновлявшееся после обеденного перерыва.— Нет! Я не могу молчать. Я им все скажу. Или напишу.

Он присел к столу и машинально стал выводить на листе бумаги официальное обращение: «Господин председатель суда...» Наступил уже вечер, а этот убитый горем человек все еще сидел за столом, сжимая голову руками и так ничего и не написав, кроме первой строки... Он дождался возвращения отца и стал с волнением слушать подробный рассказ о втором заседании:

— О, дорогой мой Андре! Как ты правильно поступил, что не пошел на заседание! Какая низость! Нет, ты подумай только, какая низость! Вот послушай... Допрашивали Грелу... Он применяет все ту же тактику и не отвечает на вопросы. Это бы еще ничего. Но давали показания эксперты. Сначала наш милый доктор... У него дрожал голос, когда он стал передавать свои впечатления от того, что он увидел, когда вошел в комнату Шарлотты... Потом выступал профессор Арман. Ты не

вынес бы этого ужаса — он говорил о результатах вскрытия бедняжки! И все выложил тут же, хотя в зале было по меньшей мере пятьсот человек... Затем выступил химик из Парижа... Теперь уж не остается никаких сомнений! Пузырек, который был в руках этого чудовища, стоял на столе. Я сам видел его... И потом... Как только у людей поворачивается язык говорить такие вещи! Его адвокат, и — имей в виду — адвокат по назначению, которого не заподозришь в том, что он друг подсудимого... Так этот адвокат... Даже не знаю, как сказать... Он все добивался ответа: умерла ли Шарлотта девственницей, и было ли это обследовано! В зале даже послышался шепот негодования, чувствовалось всеобщее возмущение. Моя девочка! Такая чистая и благородная, почти святая! Мне хотелось дать этому господину пощечину! Даже подсудимый был взволнован, а его, по-видимому, абсолютно ничем не прошибешь. Я смотрел на него. Тут он взялся за голову и заплакал. Ну, скажи, пожалуйста, ведь закон должен запрещать подобные вещи — публично оскорблять жертву преступления! Что подразумевал адвокат? Что у нее был любовник?.. Любовник! У такой, как она, и любовник!

Старик был в таком негодовании, что вдруг разрыдался. При виде этого безысходного горя сын тоже почувствовал, что у него разрывается сердце и слезы душат его. Не произнося ни слова, отец и сын обнялись.

— Надо сказать, — продолжал маркиз, когда снова был в состоянии говорить, — что это самая ужасная сторона судопроизводства, — вот эти публичные обсуждения ее интимной жизни. А она была так целомудренна даже в незначительных проявлениях чувства! Я уже говорил тебе... Уверен, что она всю зиму страдала от разлуки с Максимом... Она безусловно любила его, только не хотела показывать... Как раз это и возбудило у Грелу ревность. Когда он явился к нам в дом и увидел ее, прелестную, естественную, чистосердечную, он подумал, что может ее соблазнить и жениться на ней. Скажи, пожалуйста, ну как она могла догадываться о чем-нибудь, если даже я при моем знании людей ничего не заметил, ни о чем не подозревал!

Маркиз ухватился за эту версию и не переставал

говорить в продолжение всего обеда, а потом и целый вечер. Этим он утешал себя. В некоторых случаях жизни вспоминать вслух прошлое — единственная отрада. Но благоговение несчастного отца перед памятью покойной дочери представлялось Андре чем-то трагическим, ибо в эти самые минуты он готовился... К чему? Неужели он действительно решится нанести старику этот ужасный удар?

Андре заперся в своем номере. Вокруг стояла та особенная тишина, какая бывает только в провинциальных городках. Предаваясь размышлениям, капитан еще раз вынул письмо сестры и перечитал его, хотя знал в нем наизусть каждую строчку. От этих строк, начертанных застывшей навеки рукой, веяло таким отчаяньем, такими страданиями и печалью! Иллюзии девушки были столь безрассудны, борьба так искренна, а пробуждение до того горестно, что граф почувствовал, как по его щекам снова потекли слезы. Сегодня он плакал уже второй раз, а ведь с того дня, как умерла Шарлотта, его глаза оставались сухими и были как бы обожжены ненавистью. Он подумал: «Нет такого наказания, которого не заслуживал бы Грелу». Несколько минут он сидел неподвижно. Потом подошел к камину, где уже догорал огонь, и положил исписанные листки на обуглившееся полено. Он чиркнул спичкой и поднес ее к бумаге. Листки вспыхнули со всех сторон, пламя охватило мелко написанные строчки и превратило это единственное доказательство несчастной любви и самоубийства в горсточку темного пепла. Андре перемешал щипцами остатки бумаги с золой. Затем, ложась спать, он сказал вслух:

— С этим покончено!

И он уснул тем тяжелым сном, какой бывает у сильных людей после большого расхода энергии. Так случилось с ним, например, после первого сражения. Он открыл глаза только в девять часов утра, хотя и имел привычку вставать очень рано.

— Маркиз запретил будить вас, — сказал Пура, когда Андре позвал его и велел открыть ставни.

В то утро небо было радостным и голубым, а не свинцовым, как накануне. Солнце сияло.

— Маркиз ушел уже час тому назад, — докладывал

денщик.— Вам известно, что сегодня преступника проведут в суд подземным ходом? Вот до чего народ озлоблен против него.

— Каким подземным ходом? — не понял Андре.

— Подземным ходом из тюрьмы в суд. Говорят, им пользуются только для самых больших преступников в тех случаях, когда опасаются, что толпа разорвет злодея на куски. Клянусь, господин капитан, если бы негодяй попался мне под руку, я бы не вытерпел и вцепил бы ему пулю в лоб! Бешеных собак не судят, а пристреливают... Ах, забыл в гостинной сегодняшние письма!

Через минуту денщик вернулся с тремя конвертами в руках. Бросив взгляд на два первых, Андре сразу же узнал, от кого они. На третьем письме почерк оказался незнакомым. Оно было отправлено из Парижа в Люневиль, а затем переадресовано в Риом. Граф вскрыл конверт и прочел те несколько строк, которые Адриен Сикст набросал перед тем, как отправиться на вокзал. Руки офицера, не знавшего, что такое страх, задрожали. Он побледнел, как лист бумаги, который держал в руке. Пура даже забеспокоился!

— Вам нездоровится?

— Выйди,— резко приказал граф Андре,— я сам оденусь.

Ему необходимо было остаться наедине с самим собою, чтобы оправиться от неожиданного удара. Значит, есть еще кто-то, кроме Грелу, кому известна тайна смерти Шарлотты! Графу приходилось видеть почерк Грелу,— письмо написано другой рукой! Это был ужас, который даже очень смелые люди испытывают перед лицом чего-нибудь настолько неожиданного, что оно кажется сверхъестественным. Если бы перед графом вдруг предстала живая Шарлотта, то и тогда он не был бы потрясен больше, чем в минуты, когда читал это письмо. Кто-то знает о самоубийстве, о написанном сестрой письме, а возможно, и обо всем остальном... И что может думать о нем этот таинственный незнакомец, ратующий за истину? Вопросительный знак в конце анонимного письма говорил об этом достаточно красноречиво. Вдруг граф вспомнил, на что он решился вчера вечером. Он мысленно увидел листки, сожженные в ка-

мине, и его лицо залила краска стыда... Решение, принятое накануне, решение, после которого он спокойно проспал всю ночь напролет, показалось ему совершенно неприемлемым. Сознание, что есть на свете человек, который имеет основания считать графа де Жюсса подлецом, было для него, так высоко ценившего дворянскую честь, невыносимо. Вчерашние сомнения, с которыми, как он думал, он покончил раз навсегда, снова воскресли в его душе. Они стали еще мучительнее, когда маркиз вернулся из суда и начал рассказывать о том, что там происходило.

— Сегодня допрашивали свидетелей. Я тоже давал показания. Мне было особенно тяжело сидеть перед началом заседания в комнате для свидетелей рядом с матерью Грелу. Еще хорошо, что она остановилась не в нашей гостинице, а в «Коммерческой». Старуха закатила мне сцену и даже позволила себе настаивать, чтобы я посетил ее для переговоров. Ужасная была сцена! Это зловещее лицо невозможно забыть: черные глаза, в которых сквозь слезы вспыхивает мрачный огонь... Она вцепилась в меня и заклинала заявить во всеуслышанье, что ее сын невиновен. Она говорила, что я сам вполне уверен в этом, что я не имею права выступать против него. Ужасная сцена!.. Пришлось вмешаться жандарму. Несчастливая! Сердиться на нее нельзя, ведь это ее сын. Но странно как-то, что даже у злодея вроде Грелу может быть человек, который его любит, как я любил Шарлотту или люблю тебя... Впрочем, все это пустяки... Теперь ровно час. После обеда выступит прокурор, а затем защита... Приговор вынесут часов в пять-шесть... О, как я буду ликовать, когда станут читать приговор! Что ж, это сама справедливость. Ты убил? Значит, ты должен умереть!

Часов в пять-шесть!.. Когда граф Андре остался наконец один, он снова зашагал из угла в угол, как накануне. Денщик вместе с камердинером маркиза убирал посуду. Позже они рассказывали, что никогда не видели барина в таком возбужденном состоянии, как в течение тех двадцати минут, пока они убрали со стола. Они очень удивились, когда вдруг граф потребовал, чтобы ему приготовили мундир. Через какие-нибудь четверть часа капитан был готов и вышел из гостиницы, хотя в течение трех дней, с тех пор как он был в Рио-



ме, ни разу не показывался на улице. Одно обстоятельство особенно взволновало бедного Жозефа. Он заметил, что капитан взял с собой револьвер, уже два дня лежавший на ночном столике. Солдат вспомнил собственные рассуждения насчет револьвера и поделился своими страхами с камердинером.

— Если Грелу оправдают, — заметил он, — наш капитан, чего доброго, пустит ему пулю в лоб.

— Может быть, пойти за ним? — предложил лакей.

Но, пока денщик и камердинер обсуждали это событие, граф уже был на главной улице, ведущей к зданию суда. Он хорошо знал ее, так как еще мальчиком неоднократно бывал в Риоме. Этот старинный парламентский город, застроенный особняками из вольвикского камня с высокими окнами, казался еще более пустынным, тихим и мрачным, чем обычно. Но около судебной палаты граф увидел, что всю улицу Сен-Луи, против входа в зал заседаний, заправила толпа. Дело Грелу привлекло всех, у кого был хоть час свободного времени. Граф Андре с трудом пробился сквозь плотные ряды крестьян, прибывших из соседних деревень, и мелких лавочников, оживленно обсуждавших процесс. Он остановился перед крыльцом, которое вело в вестибюль. На крыльце распоряжались два солдата, сдерживавшие напор толпы. Некоторое время граф, видимо, колебался, стоит ли подниматься по ступенькам, потом прошел в дальний конец улицы и очутился на площадке, обсаженной деревьями, ветви которых уже оголились. С этой площадки, расположенной между мрачными стенами центральной тюрьмы и темным зданием судебной палаты, открывался вид на обширную лиманскую равнину. Под деревьями шумел фонтан, и его нежное журчание можно было уловить, несмотря на гул толпы, доносившийся с соседней улицы. Андре опустился на скамью около бассейна. Впоследствии он никак не мог объяснить, почему он просидел здесь полчаса и почему потом поднялся и направился к зданию суда. У входа он написал на визитной карточке несколько слов и вручил ее одному из солдат, чтобы тот передал ее через судебного пристава председателю суда. У Андре было такое чувство, точно он действует помимо своей воли и как бы во сне. Тем не менее решение было им принято окончательно, хотя его и охватывала

невыразимая тоска при мысли о том, как он предстанет перед отцом, находящимся среди этих людей со склоненными головами, неподвижными затылками и сутулыми спинами. Граф испытал некоторое облегчение, когда за ним пришел судебный пристав. Но вместо того, чтобы провести посетителя прямо в зал заседаний, пристав повел его по коридору в небольшую комнату, вероятно, в кабинет председателя. На столе лежали папки с какими-то бумагами, на вешалке висели пальто и шляпа. Когда они вошли в комнату, судебный пристав сказал:

— Господин председатель выслушает вас, как только прокурор закончит речь...

Какое неожиданное облегчение! Значит, он избежит страшной пытки давать показания в присутствии отца и публики. Однако надежда на такой оборот дела скоро рухнула. Не прошло и десяти минут, как появился председатель — высокий старик с желчным лицом и седыми волосами, которые на фоне его красной мантии казались зеленоватыми. Едва только граф произнес несколько слов о том, что он может представить доказательство невиновности подсудимого, на лице старика появилось выражение крайнего изумления, и он сказал:

— В таком случае, граф, я не могу выслушивать вас частным образом. Сейчас заседание возобновится. Вам придется выступить в качестве свидетеля... Если только обвинение или защита не заявят об отводе...

Итак, брат Шарлотты должен был пройти все этапы мучений. Он столкнулся с бесстрастной машиной правосудия, которая не считается и не может считаться с человеческими чувствами. Ему пришлось сидеть в комнате для свидетелей, и он вспомнил сцену, которая недавно произошла между его отцом и матерью Грелу. Оттуда граф Андре прошел в зал судебных заседаний. Здесь он увидел на голой стене распятие, как бы царившее над залом, увидел повернувшиеся к нему в крайнем любопытстве головы присутствующих, увидел председателя, снова занявшего место между ассессорами, прокурора и товарища прокурора в красных мантиях и присяжных, помещавшихся слева от трибунала. Грелу сидел справа, на скамье подсудимых, со скрещенными на груди руками, очень бледный, но спокойный.

Обширный зал был до отказа набит публикой; люди стояли всюду — на галерее, даже позади судейских кресел. На скамье свидетелей Андре заметил седую голову отца, и у него сжалось сердце; но оно не дрогнуло, когда председатель, осведомившись у прокурора и защитника, не имеют ли они возражений против выступления нового свидетеля, стал задавать обычные в таких случаях вопросы об имени, фамилии и прочем. Затем он предложил капитану принести присягу. Судейские, присутствовавшие при этой сцене, единодушно утверждали потом, что никогда за всю свою практику не наблюдали такого волнения, какое охватило зал, когда выступал этот человек, боевое прошлое которого всем было известно из статей, печатавшихся в связи с процессом. Твердым голосом, в котором чувствовалась невыразимая душевная мука, граф произнес:

— Господа присяжные заседатели! Мне нужно сказать вам всего несколько слов. Моя сестра не была убита. Она покончила с собой. Накануне ее смерти я получил от нее письмо, в котором она сообщала о намерении умереть и объясняла мотивы своего решения... Господа, мне казалось, что я имею право скрыть это самоубийство, и я сжег письмо... Впрочем, если человек, которого вы видите перед собой, — граф указал рукой на Грелу, слегка повернувшись в его сторону, — и не отравил сестру, то он поступил еще хуже... Однако в этом он не подлежит вашему суду и его нельзя судить как убийцу... Он невиновен... За отсутствием материальных доказательств, ибо я уже не могу их предъявить, я даю вам в этом свою клятву.

Слова падали одно за другим среди всеобщего оцепенения. Вдруг раздался чей-то крик, сопровождаемый стоном:

— Он с ума сошел! Не слушайте его, он с ума сошел!

— Нет, отец, — продолжал Андре, узнав голос маркиза и повернувшись к старику, рухнувшему на скамейку. — Я не сошел с ума... Я поступаю так, как этого требует честь. Надеюсь, господин председатель, что меня избавят от дальнейших показаний?

Последняя фраза звучала такой мольбой, и все так хорошо понимали душевное состояние этого гордого

человека, что в зале даже послышался ропот, когда председатель ответил ему:

— К моему глубокому сожалению, сударь, я не могу удовлетворить вашу просьбу... Необычайная важность показаний, которые вы только что сделали, не позволяет правосудию удовлетвориться этим кратким заявлением. Наш долг, как он ни тягостен, предписывает потребовать от вас уточнений...

— Хорошо, господин председатель, в таком случае я тоже выполню свой долг до конца.

В тоне, каким свидетель произнес эти слова, звучала непреклонная решимость. Шепот в зале сразу прекратился, и снова наступила мертвая тишина. В этой тишине раздался голос председателя:

— Вы упомянули о письме, которое написала вам ваша покойная сестра... Позвольте мне заметить, что по меньшей мере странно, что у вас тотчас не явилась мысль сообщить содержание этого письма органам правосудия...

— Письмо заключало тайну, которую я готов был бы скрыть ценой своей жизни...

Впоследствии граф рассказывал своему другу Максиму де Плану, тому, которого он выбрал себе в братья и который вел себя в высшей степени благородно до самого конца трагедии, что эта минута была для него самой тягостной, но что, начиная с этого момента, волнение было как бы подавлено самой его чрезмерностью. Ему пришлось сообщить все ужасающие подробности письма, рассказать о своих собственных переживаниях и признаться в своих мучениях. Что же касается дальнейшего, то, как он сам потом говорил, ему запомнились лишь некоторые совершенно незначительные подробности и физические ощущения, например холодок железных перил, к которым он прислонился, когда ему пришлось сесть на скамью для свидетелей, откуда только что унесли отца, упавшего в обморок при последних его словах... Он обратил также внимание на певучее лотарингское произношение прокурора, который встал и заявил, что отказывается от обвинения... Сколько времени прошло между этим заявлением прокурора, речью защитника, уходом присяжных заседателей в совещательную комнату и их возвращением? Когда был

объявлен оправдательный вердикт? Дать себе в этом отчет Андре не мог. Не мог он рассказать и о том, как он провел вечер, после того как зал опустел и сторож подошел к нему и попросил покинуть помещение. Он запомнил только, что куда-то шел, очень долго и быстро. Обитатели Комбронда, возвращавшиеся после суда, встретили его на улице в своей деревне. Он выходил из трактира, где написал несколько писем: матери, отцу, командиру полка и, наконец, Максиму де Плану. В девять часов вечера Андре постучался в дверь «Коммерческой гостиницы», где, как он знал со слов отца, остановилась мать оправданного, и спросил швейцара, может ли он видеть г-на Грелу. Швейцар слышал рассказ о бурном заседании в суде. По мундиру офицера нетрудно было догадаться, кто стоит в дверях, и у швейцара хватило смекалки ответить, что Грелу еще не возвращался. Но, к несчастью, он почел нужным тут же подняться наверх к молодому человеку. Робер Грелу, час тому назад выпущенный из тюрьмы, находился в обществе матери и Адриена Сикста. Этот последний не мог отказать отчаянным просьбам вдовы, которая встретила его в коридоре гостиницы и умоляла повлиять на сына.

— Будьте осторожны, сударь,— сказал швейцар Роберу, попросив разрешения переговорить с ним наедине.— Граф де Жюсса разыскивает вас...

— Где он? — нервно спросил Грелу.

— Вероятно, еще неподалеку,— ответил швейцар,— но я ему сказал, что вас нет...

— Напрасно,— вырвалось у Грелу. И, схватив шляпу, он бросился на лестницу.

— Куда ты? — встревожилась мать.

Молодой человек ничего не ответил. Быть может, он даже не расслышал вопроса, так поспешно спускался он по лестнице. Мысль о том, что граф может подумать, будто он спрятался из трусости, бросила его в жар. Ему не пришлось долго разыскивать врага. Граф стоял на противоположном тротуаре и наблюдал за подъездом гостиницы. Робер его узнал и прямо направился к нему.

— Вам угодно что-то сказать мне? — спросил он надменно.— Я к вашим услугам и готов дать вам любое

удовлетворение... Я никуда не уеду из Риома, даю вам слово...

— Нет, милостивый государь,— ответил Андре де Жюсса,— с такими, как вы, не дерутся на дуэли, таких пристреливают...

Граф Андре выхватил из кармана револьвер, а молодой человек, вместо того чтобы бежать, стоял на месте и как бы говорил своим видом: «Ну что ж, стреляйте!» И граф выстрелил ему в голову. В гостинице услышали сначала выстрел, потом предсмертный крик, а когда люди прибежали на место происшествия, они увидели, что граф Андре, скрестив руки на груди и отбросив револьвер, стоит, прислонившись к стене. Он сказал, показывая на лежавший у его ног труп любовника Шарлотты:

— Я расправился с ним...

При аресте он не оказал никакого сопротивления.

. . . . .  
. . . . .

Вероятно, поклонники «Психологии веры», «Теории страстей», «Анатомии воли» были бы очень удивлены, если бы они видели, что происходило в ночь после этой трагической сцены в третьем номере «Коммерческой гостиницы», и прочли бы мысли своего неумолимого и всемогущего учителя.

У кровати, где с повязкой на лбу лежал Робер, стояла на коленях его мать. Великий отрицатель сидел рядом и смотрел то на молящуюся женщину, то на мертвеца, который был его учеником, а теперь уснул тем же сном, что и Шарлотта де Жюсса. Впервые почувствовав беспомощность своей доктрины, которая не могла в эти минуты поддержать его, этот аналитик, наделенный почти сверхъестественной силой, склонился перед непостижимой тайной человеческой судьбы. Ему приходили на ум слова единственной молитвы, еще сохранившейся в памяти из далекого детства: «Отче наш, иже еси на небесех...» Конечно, он не произнес этих слов и, быть может, никогда не произнесет их. Но если существует небесный отец, к которому великие и малые обращают свои взоры в трудные часы жизни как к единственному источнику помощи, то не заключается ли самая трогательная молитва уже в самой потребно-

сти молиться? А если бы небесного отца не существовало, то разве чувствовали бы мы потребность обратиться к нему в такие минуты? «Ты меня не искал бы, если бы уже не нашел...» Благодаря ясности ума, которая не покидает ученых в самые тяжелые дни их жизни, Адриен Сикст вспомнил эти удивительные слова Паскаля из его «Тайны Христа», и когда мать поднялась после молитвы, она увидела, что философ плачет.

*Париж, сентябрь 1888 г.—  
Клермон-Ферран, май 1889 г.*





*Перевод М. Ваксмахера*







*Моей сестре Изабелле*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### НОВИЧОК

Он появился в нашем доме в один из воскресных дней ноября 189... года.

Я по-прежнему говорю в «нашем доме», хотя дом уже давно перестал быть нашим. Вот уже почти пятнадцать лет, как мы уехали из тех мест и, наверное, никогда больше туда не вернемся.

Мы жили на территории школы в маленьком городке Сент-Агат. Мой отец, которого я, как и все другие ученики, называл «господин Сэрель», преподавал и в старших классах, где воспитанников готовили к экзаменам на звание учителя, и одновременно в средних. Моя мать занималась с младшими классами.

Длинное красное строение на окраине городка, с пятью застекленными дверьми, все заросшее диким виноградом; огромный двор с площадкой для игр и с прачечной; большие ворота, за которыми начинается улица; с северной стороны решетчатая калитка выходит на дорогу в Ла-Гар, что в трех километрах от Сент-Агата; на юге, позади дома, — пригороды, переходящие в поля, сады и луга... Таковы, в общих чертах, приметы дома, где я прожил самые тревожные и самые мне дорогие дни своей жизни, — дома, откуда брали свое начало и куда возвращались все наши приключения, разбиваясь, как волны об одинокую скалу.

Нашу семью привела сюда простая случайность: то ли поиски работы, то ли распоряжение инспектора или

префекта. В один теперь уже очень далекий день, к концу каникул, крестьянская повозка, за которой следовал наш домашний скарб, подвезла нас — мою мать и меня — к ржавой решетчатой калитке. Мальчишки, воровавшие в саду персики, бесшумно юркнули в щели изгороди... Моя мать, которую мы с отцом называли Милли, самая педантичная хозяйка на свете, тотчас прошла в комнаты, заваленные пыльной соломой, и, как это бывало с ней при каждом переезде на новое место, сразу с отчаянием заявила, что просто невысказанно разместить мебель в таком ужасном доме... Она вышла ко мне, чтобы поделиться своим огорчением. Разговаривая со мной, она ласково вытирала носовым платком мое лицо, почерневшее от дорожной пыли. Потом вернулась в дом и стала подсчитывать, сколько дыр нужно заделывать, чтобы квартира стала пригодной для жилья... А я остался в этом чужом дворе один, в своей большой соломенной шляпе с лентами, и, ожидая Милли, копошился в песке, под навесом возле колодца.

Во всяком случае, именно так представляется мне теперь наш приезд в Сент-Агат. И едва только пытаюсь я вызвать в памяти этот далекий первый вечер в школьном дворе и это первое ожидание, как передо мной встают другие вечера, тоже наполненные ожиданием; уже я вижу себя возле больших ворот, вижу, как, схватившись обеими руками за решетку, я пристально смотрю на улицу и жду, тревожно жду кого-то. А если я стараюсь представить себе первую ночь, проведенную на новом месте, в моей мансарде, рядом с чердаками на втором этаже, сразу вспоминаются мне другие ночи; я уже не один в этой комнате: по стенам движется большая беспокойная тень моего друга. Школа, поле папаша Мартена с тремя ореховыми деревьями, сад, каждый день, начиная с четырех часов, заполнявшийся женщинами, которые приходили в гости к маме, — этот мирный пейзаж навсегда вошел в мою память каким-то встревоженным, неузнаваемо преображенным благодаря присутствию человека, который взбаламутил все наше отрочество и даже бегством своим не принес нам успокоения.

Однако мы прожили в этих краях уже десять лет, когда появился Мольн.

Мне было пятнадцать лет. Было холодное ноябрьское воскресенье, первый в ту осень день, напомнивший о зиме. Весь день Милли прождала экипаж из Ла-Гара, с которым ей должны были привезти зимнюю шляпу. Утром она пропустила мессу; сидя вместе с другими детьми на хорах, я до самой проповеди тоскливо поглядывал на двери, надеясь, что она вот-вот войдет в своей новой шляпе.

К вечеру мне тоже пришлось идти одному.

— Впрочем, все равно,— сказала она, желая меня утешить и счищая рукой пылинки с моего костюма,— даже если бы ее и доставили, эту шляпу, мне бы, наверно, пришлось все воскресенье ее переделывать.

Нередко так и проходили наши зимние воскресенья. Отец с утра отправлялся на какой-нибудь дальний, окутанный туманом пруд ловить с лодки щук, а мать до самой ночи сидела в полутемной комнате за починкой своих немудреных нарядов. Она запиралась на ключ из боязни, что какая-нибудь знакомая дама,— такая же бедная и такая же гордая, как и она,— застигнет ее за этим занятием. А я, придя от вечерни, сидел в нетопленной столовой, читал и ждал, пока она отопрет дверь, чтобы показать мне, как ей идет эта обнова.

В то воскресенье я немного задержался после вечерни на улице. Возле церкви было оживленно, у входа собрались мальчишки поглазеть на крещение. На площади несколько горожан, облаченных в пожарные куртки, составили ружья в козлы и, зябко постукивая ногами, слушали разглагольствования Бужардона, своего бригадира...

Вдруг колокольный звон оборвался, словно звонарь понял, что ошибся и звонит в неурочный час; Бужардон со своими людьми, разобрав оружие, мелкой рысью потащил пожарный насос; я видел, как они скрылись за поворотом, а за ними молча бежали четверо мальчишек, с хрустом ломая своими толстыми подошвами ветки и сучья на зандевевшей дороге; я не решился пуститься вслед.

Жизнь в городке замерла, только из кафе Даниэля глухо доносились, то разгораясь, то затихая, споры любителей выпивки. Прикасаясь на ходу к низкой ограде нашего двора, я добрался до калитки, немного встревоженный своим опозданием.

Калитка была приоткрыта, и я сразу увидел: происходит что-то необычное.

У двери в столовую — из пяти застекленных дверей, выходящих во двор, она была ближе всех к калитке — стояла седая женщина и, наклонившись к стеклу, пыталась что-то разглядеть сквозь занавески. Она была маленького роста, в старомодном капоре черного бархата. Ее худое лицо с тонкими чертами выражало крайнее беспокойство, и какое-то тревожное предчувствие при виде ее заставило меня остановиться на первой ступеньке, у самой калитки.

— Куда он мог деваться, боже мой! — проговорила она вполголоса. — Ведь только что был здесь. Наверно, уже весь дом успел обойти. Может быть, убежал...

Каждую фразу она сопровождала еле слышным троекратным постукиванием по стеклу.

Никто не отзывался на стук незнакомки. Милли наверняка получила уже шляпу из Ла-Гара; значит, она сидела сейчас в своей комнате, перед кроватью, усеянной старыми лентами и потертыми перьями, и, забыв обо всем на свете, шила, перешивала, переделывала свой скромный головной убор... И правда, когда посетительница проскользнула вслед за мною в столовую, мама появилась на пороге в новой шляпе, двумя руками придерживая еще не до конца укрепленные ленты, перья и латунные нити... Она улыбнулась мне своими синими глазами, уставшими от работы в сумерках, и воскликнула:

— Взгляни-ка! Я ждала тебя, чтобы показать...

Но, заметив незнакомку, усевшуюся в большое кресло посреди комнаты, она в смущении остановилась, не докончив фразы. Быстрым движением она сняла шляпу и в продолжение всего последующего разговора прижимала ее к груди правой рукой, как большое гнездо.

Женщина в капоре, зажав коленями зонтик и кожаную сумочку, стала объяснять цель своего визита и при этом слегка покачивала головой и прищелкивала языком. Она уже снова держалась с апломбом, а начав говорить о своем сыне, сразу приняла горделивый и таинственный вид, нас обоих очень заинтриговавший.

Они приехали в почтовой карете из Ла-Ферте-д'Анжийон, что в четырнадцать километрах от Сент-Агата.

Вдова — и, как она дала нам понять, весьма богатая — она потеряла младшего из двух своих сыновей, Антуана, который внезапно умер, вернувшись однажды вечером из школы, — умер оттого, что искупался вместе с братом в зараженном пруду. Она решила поместить старшего, Огюстена, к нам на пансион, чтобы он прошел здесь курс старших классов.

И она сейчас же принялась расточать похвалы этому новому ученику, которого к нам привезла. Ее словно подменили; я просто не узнавал седую женщину, ту, что минутой раньше стояла, сгорбившись, перед дверьми и всем своим умоляющим и растерянным видом напоминала курицу, потерявшую дикого птенца, которого она вывела вместе с собственными цыплятами.

Она с восторгом рассказывала о своем сыне удивительные вещи. По ее словам, он любил делать ей приятное и мог прошагать босиком по берегу реки целые километры — только для того, чтобы разыскать для нее среди зарослей терновника яйца водяных курочек или диких уток... Он ставил и верши... И один раз ночью нашел в лесу фазана, попавшего в силки...

А я-то однажды, порвав нечаянно куртку, едва решился вернуться домой... Я с удивлением взглянул на Милли.

Но моя мама больше не слушала, она даже сделала даме знак, чтобы та замолчала; осторожно положив на стол свое «гнездо», мама тихонько поднялась, словно желая застигнуть кого-то врасплох...

Действительно, над нами, в чулане, где были свалены почерневшие остатки фейерверка от прошлогоднего праздника Четырнадцатого июля, ходил взад и вперед кто-то чужой, сотрясая потолок уверенными шагами; потом шаги переместились в сторону больших темных чердаков второго этажа и наконец затерялись где-то возле пустующих комнат надзирателей, где теперь сушился липовый цвет и дозревали яблоки.

— Я уже слышала этот шум несколько минут тому назад; кто-то ходил по нижним комнатам, — тихо проговорила Милли, — но я подумала, что это ты, Франсуа, вернулся...

Никто не ответил ей. Мы все трое застыли с бьющимся сердцем; и вот отворилась дверь, ведущая с чер-

дака на кухонную лестницу; кто-то прошагал по ступенькам, прошел через кухню — и возник в полумраке на пороге столовой.

— Это ты, Огюстен? — спросила дама.

Перед нами был высокий мальчик лет семнадцати. В сумерках я видел сперва только его крестьянскую войлочную шляпу, сдвинутую на затылок, и черную блузу, стянутую ремнем на ученический манер. Я смог разглядеть, что он улыбается...

Он заметил меня и, прежде чем кто-либо успел потребовать от него объяснений, сказал:

— Пошли во двор!

Какую-то секунду я колебался. Потом, видя, что Милли меня не удерживает, взял фуражку и шагнул к нему. Мы вышли через кухонную дверь и двинулись к площадке, уже погружавшейся в темноту. В неверном вечернем свете я видел его костистое лицо, прямой нос, пушок на верхней губе.

— Посмотри, что я нашел у вас на чердаке,— сказал он.— Ты, должно быть, редко туда заглядываешь.

Он держал в руке маленькое потемневшее деревянное колесо, обвитое фитильным шнуром,— наверно, то было «солнце» или «луна» для праздничного фейерверка.

— Я нашел там еще две такие же штуки, они совсем целые, мы их сейчас с тобою зажжем,— сказал он невозмутимым тоном с видом человека, который уверен в успехе задуманного.

Он сбросил свою шляпу на землю, и я увидел, что он острижен наголо, как крестьянин. Он показал мне две ракеты с бумажными фитилями, видимо, не успешными догореть до конца. Воткнув в песок ступицу колеса, он вытащил из кармана коробку спичек — к моему величайшему изумлению, так как нам категорически запрещалось иметь при себе спички. Присев, он осторожно поднес спичку к фитилю. Потом быстро оттащил меня за руку.

Минуту спустя, когда моя мать, закончив с матерью Мольна переговоры о плате за пансион, вышла вместе с ней из дома во двор, над площадкой, шипя, как кузнечные мехи, взвились два снопа красных и белых звезд. И какую-то долю секунды она, наверно, мог-

ла видеть, как я стою в волшебном сиянии рядом с высокой фигурой новичка, держа его за руку...

Но она и на этот раз ничего не сказала.

А вечером, во время ужина, за нашим семейным столом сидел молчаливый юноша; он ел, опустив голову и не замечая, что мы все трое с любопытством глядим на него.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ ПОПОЛУДНИ

До того времени мне почти что не приходилось бегать по улицам вместе с городскими мальчишками. Вплоть до этого самого, 189... года меня мучили боли в бедре, и я чувствовал себя несчастным и робким. До сих пор помню, как, жалко прыгая на одной ноге, я пытался догнать быстроногих школьников, которые носились по переулкам, окружавшим наш двор.

К тому же мне не разрешалось уходить из дому. И я вспоминаю, как Милли, обычно гордившаяся моим послушанием, не раз крепкими подзатыльниками загоняла меня домой, увидев, что я ковыляю и подпрыгиваю, увязавшись за ватагой шалопаев.

Прибытие Огюстена Мольна, совпавшее с моим выздоровлением, явилось для меня началом новой жизни.

Прежде, до его приезда, конец уроков в четыре часа пополудни означал для меня наступление долгого одинокого вечера. Отец переносил огонь из классной печки в камин нашей столовой; из выстывшей школы, где перекатывались клубы дыма, уходили последние запоздалые ученики. Еще некоторое время во дворе продолжались беготня, игры; потом спускались сумерки; двое дежурных, закончив уборку класса, забирали из-под навеса свои пальто и капюшоны и, подхватив сумки, быстро уходили, оставляя за собой открытыми большие ворота.

Тогда я шел в комнаты мэри, забирался в архив, где было полно дохлых мух и хлопающих на ветру объятий, и, пока не угасали отблески дневного света, читал, усевшись в старую качалку возле выходявшего в сад окна.



Когда становилось совсем темно, когда на соседней ферме начинали завывать собаки, а в окне нашей кухоньки загорался свет, я шел наконец домой. Мать принималась готовить ужин. Я поднимался по чердачной лестнице, молча садился на третью ступеньку и, прислонившись лбом к холодным прутьям, смотрел, как она разводит огонь в тесной кухне, озаренной мерцанием одинокой свечи...

Но вот появился человек, оторвавший меня от этих мирных радостей детства, человек, задувший свечу, которая освещала для меня ласковое материнское лицо, склонившееся над вечерней трапезой, человек, погасивший лампу, под которой поздними вечерами, когда отец наглухо закрывал деревянными ставнями стеклянные двери, собиралась наша счастливая семья. И этим человеком оказался Огюстен Мольн — Большой Мольн, как его сразу прозвали у нас в школе.

С его приездом, с первых дней декабря, школа преобразилась: теперь никто не торопился уходить домой после четырех часов пополудни. Несмотря на холод, врывающийся в открытые двери, и на крики дежурных, таскавших ведра с водой для мытья полов, десятка два учеников, живших в городке и в окрестных деревнях, оставались в классе, сгрудившись вокруг Мольна. И начинались долгие споры, бесконечные разговоры, в которых понемногу — со смешанным чувством тревоги и удовольствия — начинал участвовать и я.

Мольн обычно молчал, но только ради него все болтали наперебой, и то один, то другой из самых словоохотливых учеников, потребовав общего внимания и призвав в свидетели поочередно каждого из приятелей, шумно выражавших свое одобрение, принимался рассказывать длинную историю об очередном озорстве, которую все слушали разинув рты и втихомолку посмеиваясь.

Усевшись на парту, болтая ногами, Мольн размышлял. Иногда он смеялся вместе с другими, но совсем тихо, словно приберегая настоящий, громкий смех для какой-то лучшей истории, известной лишь ему одному. Потом, когда сумерки начинали густеть и классные окна не освещали больше кучку подростков, Мольн вдруг поднимался и, расталкивая тесно обступивший его кружок, кричал:

— Хватит! Пошли!

И все срывались с места и шли за ним, и долго еще из темноты дальних улиц до меня доносились их крики...

Теперь иногда отправлялся с ними и я. Вместе с Мольном я доходил до ворот деревенских конюшен и хлевов в тот час, когда хозяйки доят коров... Мы заглядывали в мастерские, и из глубины темной комнаты под стук станка слышался голос ткача:

— А! Студенты пришли!

Обычно к часу ужина мы оказывались недалеко от бульвара, у Дену, тележного мастера, который был также и кузнецом. Его мастерская помещалась в бывшем постоялом дворе с большими двустворчатыми дверьми, всегда открытыми настежь. Еще с улицы слышен был скрежет кузнечных мехов, и в отблесках пылающих углей возникали из темноты то фигуры крестьян, остановивших телегу у ворот, чтобы поболтать с минутку, то школьник вроде нас, который, прислонившись к дверям, молча смотрел, как работает кузнец.

Здесь-то примерно за неделю до Рождества все и началось.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### «Я ЗАХОДИЛ В ЛАВКУ КОРЗИНЩИКА»

Дождь лил целый день и закончился только к вечеру. День был смертельно тосклив. Во время перемен никто не выходил из школы. В классе ежеминутно слышался голос моего отца, г-на Сэреля:

— Да хватит же вам галдеть, сорванцы!

После окончания последней перемены — мы называли ее последней «четвертушкой часа» — г-н Сэрель, несколько минут шагавший с задумчивым видом взад и вперед, остановился, с силой стукнул линейкой по столу, чтобы прекратить смутный гул, обычно поднимавшийся к концу занятий, когда класс скучает, и спросил в настроженной тишине:

— Кто поедет завтра вместе с Франсуа в Ла-Гар встречать господина и госпожу Шарпантье?

Это были мой дед и бабка. Дедушка Шарпантье, старый лесничий в отставке, носил серый шерстяной

плащ и кроличью шапку, которую называл «своим кепи»... Младшие хорошо его знали. По утрам, умываясь, он, как старый солдат, шумно плескался в ведре с водой, теребя свою бородку. А дети обступали его и, заложив руки за спину, с почтительным любопытством наблюдали за этой процедурой... Были они знакомы и с бабушкой Шарпантье, маленькой старушкой в вязаном крестьянском чепчике, которую Миали не раз приводила в класс малышей.

Каждый год, за несколько дней до Рождества, мы отправлялись встречать их в Ла-Гар к поезду, прибывавшему в четыре часа две минуты. Чтобы повидаться с нами, они пересекали весь департамент, нагруженные мешками каштанов и завернутой в салфетки рождественской снедью. И как только оба они, укутанные, улыбающиеся и немного смущенные, переступали порог нашего дома, мы закрывали за ними все двери — и начиналась чудесная неделя радости и забав...

Чтобы доставить стариков с вокзала, вместе со мной нужно было послать еще кого-нибудь, человека положительного, который не опрокинул бы всех в канаву, и к тому же достаточно добродушного, потому что дедушка Шарпантье по любому поводу начинал браниться, а бабушка была немного болтлива.

На вопрос г-на Сэреля дружно отозвался десяток голосов:

— Большой Мольн! Большой Мольн!

Но г-н Сэрель сделал вид, что не слышит.

Тогда одни начали кричать:

— Фромантен!

— Жасмен Делюш! — закричали другие.

Самый младший из братьев Руа, тот самый, что любил, взгрсморздившись верхом на свинью, прокатиться бешеным галопом по окрестным полям, закричал пронзительным голосом: «Я, я!»

Дютрамбле и Мушбеф только робко подняли руки.

Мне хотелось, чтобы выбор пал на Мольна. Эта небольшая прогулка в повозке, запряженной ослом, обещала быть занимательной. Ему, конечно, тоже хотелось поехать, но, напустив на себя высокомерный вид, он молчал. Все старшие ученики уселись, как и он, на парты, положив ноги на сиденья, — это была наша обычная

поза в минуты веселых передышек в занятиях. Коффен, задрав полы своей блузы и обвязавшись ими вокруг пояса, обхватил железный столб, служивший опорой для потолочной балки, и начал взбираться по нему в знак ликования. Но г-н Сэрель сразу охладил наш пыл, сказав:

— Решено! Поедет Мушбеф!

И все молча расселись по своим местам.

В четыре часа пополудни мы стояли вдвоем с Мольном посреди большого холодного двора, изрытого дождевыми потоками. Мы молча смотрели на мокрый город, уже начинавший высыхать под порывами ветра. Вот в плаще с капюшоном, с куском хлеба в руке, вышел из своего дома маленький Коффен; держась поближе к стенам и насвистывая, он добрался до дверей каретника. Мольн открыл ворота, окликнул Коффена, и через минуту мы все трое уже были внутри жаркой, озаренной красным пламенем мастерской, куда время от времени внезапно врвались ледяные струи ветра. Коффен и я, поставив ноги в грязных башмаках на белую стружку, уселись поближе к горну; Мольн, засунув руки в карманы, молча прислонился к входной двери. Порой по улице, пригибая под сильным ветром голову, проходила, возвращаясь из лавки мясника, какая-нибудь жительница поселка, и мы оборачивались, чтобы посмотреть, кто это.

Все молчали. Кузнец и его подручный раздували мехи и ковали железо; по стене прыгали огромные, резко очерченные тени...

Это был один из самых памятных вечеров моего отрочества. Я сидел со смешанным чувством удовольствия и тревоги: я опасался, что мой товарищ лишит меня скромной радости — поездки в Ла-Гар, и в то же время я ждал от него, не смея себе в этом признаться, какого-то необыкновенного поступка, который должен все перевернуть.

Временами спокойная и размеренная работа в кузнице на миг прерывалась. Кузнец несколькими короткими и звучными ударами опускал молот на наковальню. Он разглядывал кусок железа, почти прижимая его к свое-

му кожаному фартуку. Потом распрямлялся и говорил нам, чтобы хоть немного передохнуть:

— Ну, как жизнь, молодежь?

Его помощник, не снимая руки с цепного привода мехов, подпирал бок левым кулаком и смотрел на нас, посмеиваясь.

И снова кузницу заполнял глухой шум работы.

Во время одной из таких передышек мимо приоткрытой двери прошла, борясь с ветром, закутанная в шаль Милли, вся нагруженная небольшими пакетами.

Кузнец спросил:

— Значит, скоро приедет господин Шарпантье?

— Завтра,— ответил я.— И бабушка тоже. Я поеду за ними в повозке к четырехчасовому поезду.

— Уж не в повозке ли Фромантена?

Я быстро ответил:

— Нет, папаши Мартена.

— Ну, тогда вам домой не вернуться!

И оба они, кузнец и подручный, захохотали. Потом подручный лениво заметил — просто чтобы что-нибудь сказать:

— На кобыле Фромантена можно было бы поехать за ними во Вьерзон. За час были бы там. Туда километров пятнадцать. И вернулись бы домой раньше, чем Мартен успел бы запрячь своего осла.

— Да,— сказал кузнец,— у Фромантена кобыла что надо!..

— К тому же он с удовольствием вам ее одолжит.

На этом разговор закончился. Снова мастерская наполнилась искрами и шумом, и каждый молча думал о своем.

А когда настало время уходить и я, поднявшись, сделал знак Большому Мольну, он не сразу это заметил. Прислонившись к дверям, опустив голову, он, казалось, размышлял над словами кузнеца. Он стоял, погружившись в раздумье, глядя словно сквозь туман на мирно работающих кузнецов, и мне вдруг вспомнилось то место из «Робинзона Крузо», где молодой англичанин незадолго до своего отъезда из дома «заходит в лавку корзинщика»...

С тех пор этот образ не раз приходил мне на память.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### ПОВЕГ

На другой день, к двум часам, освещенный солнцем класс среди ледяных полей становится похожим на корабль посреди океана. Правда, здесь пахнет не рассолом и не машинным маслом, как на рыболовном судне, а селедкой, поджаренной на печке, да паленой шерстью от тех, кто, вернувшись с улицы, сел слишком близко к огню.

Год подходит к концу, и нам раздают тетради для сочинений. Пока г-н Сэрель пишет на доске темы, в классе устанавливается относительная тишина, прерываемая разговорами вполголоса, приглушенными выкриками и фразами, которые начинают лишь для того, чтобы испугать соседа:

— Господин учитель! Такой-то меня...

Господин Сэрель, записывая темы, думает о чем-то своем. Время от времени он оборачивается лицом к классу и смотрит на нас строгим и одновременно отсутствующим взглядом. Тогда на секунду вся эта скрытая возня полностью прекращается, чтобы тут же возобновиться — сначала тихо-тихо, как жужжанье.

Я один молчу среди всеобщего возбуждения. Я сижу в том углу класса, где разместились ученики помоложе, сижу на краю парты возле окна, и мне достаточно только чуть выпрямиться, чтобы увидеть сад, ручей внизу и за ним — поля.

Иногда я приподнимаюсь на цыпочки и тоскливо гляжу в сторону фермы Бель-Этуаль. Я с самого начала урока заметил, что после большой перемены Мольн не вернулся в школу. Его сосед по парте, должно быть, тоже это заметил. Весь поглощенный своим сочинением, он пока еще ничего никому не сказал. Но как только он поднимет голову, новость сразу обожит весь класс, и уж кто-нибудь, по обыкновению, непременно выкрикнет во весь голос первые слова фразы:

— Господин учитель! А Мольн...

Я знал, что Мольн уехал. Точнее, я подозревал, что он удрал. Должно быть, сразу после завтрака он перескочил через забор и, перейдя у Вей-Планша ручей, помчался напрямик через поле к Бель-Этуаль. Он по-

просил дать ему кобылу, чтобы поехать встретить господина и госпожу Шарпантье. Как раз теперь, наверно, там запрягают.

Бель-Этуаль — это большая ферма, расположенная за ручьем на склоне холма; летом ее не видно за вязами и дубами, за зеленью живой изгороди. Ферма стоит на проселочной дороге, соединяющей шоссе на Ла-Гар с окраиной Сент-Агата. Большое здание феодальных времен со всех сторон обнесено высокой стеной с каменными подпорками, основания которых утопают в навозе; в июне дом полностью скрывается в листве, и только с наступлением вечера до школы доносятся громыханье телег и крики пастухов. Но сегодня я вижу из окна высокую серую стену скотного двора между голыми деревьями, входную дверь, а дальше, сквозь обломки изгороди, параллельно ручью, полосу побелевшей от изморози дороги, которая ведет к дороге на Ла-Гар.

Ничто еще не шевелится на фоне этого ясного зимнего пейзажа. Пока еще ничего не произошло.

Здесь, в классе, г-н Сэрель заканчивает запись второй темы. Обычно он дает нам три. Если сегодня, как назло, он даст всего две... Тогда он сразу поднимется на кафедру и обнаружит отсутствие Мольна. Он прикажет двоим мальчишкам пойти искать его по всему городу, и, уж конечно, они разыщут его раньше, чем кобыла будет запряжена...

Записав вторую тему, г-н Сэрель на минуту опускает уставшую руку. Потом, к моему великому облегчению, снова подносит ее к доске и продолжает писать, приговаривая:

— Ну, а дальше — совсем легко, просто забава!

...Две черные черточки, которые поднялись над стеной фермы Бель-Этуаль и через минуту снова исчезли, — это, должно быть, оглобли повозки. Теперь я уже окончательно убежден, что там снаряжают Мольна в дорогу. Вот между столбами ворот показались голова и грудь лошади, вот она останавливается, и я догадываюсь: это в повозке укрепляют второе сиденье для пассажиров, за которыми вроде бы отправляется Мольн. Наконец повозка медленно выезжает со двора, исчезает на миг за плетнем и так же медленно катится по отрезку белой дороги, который виднеется сквозь просвет в ограде. И тогда в черной фигуре, которая держит

вожжи, небрежно, на крестьянский манер, облокотившись о край повозки, я узнаю своего товарища, Огюстена Мольна.

Еще через минуту все исчезает за изгородью. Двое людей, стоявших у ворот фермы Бель-Этуаль и смотревших, как отъезжает повозка, теперь о чем-то возбужденно спорят. Вот один из них подносит ко рту сложенные рушором ладони и что-то кричит Мольну, потом пробегает несколько шагов по дороге вслед за повозкой. Тем временем Мольн, все так же неторопливо, выезжает на дорогу, ведущую к Ла-Гару; теперь поворот скрывает его от тех, кто стоит возле фермы. И тут поведение Мольна внезапно меняется. Он становится одной ногой на передок, выпрямляется во весь рост, словно римский воин на колеснице, и, схватив вожжи обеими руками, пускает лошадь бешеным галопом; через мгновение он исчезает по ту сторону холма. Окликавший Мольна человек снова бежит по дороге; его собеседник устремляется через поле как будто в нашу сторону.

Через несколько минут, в тот самый миг, когда г-н Сэрель, отойдя от доски, стряхивает мел с ладоней, и в тот самый миг, когда сразу три голоса кричат из глубины класса: «Господин учитель! Большой Мольн удрал!» — настежь распахивается дверь, и человек в синей блузе, снимая шляпу, спрашивает с порога:

— Извините, сударь, это вы послали ученика за повозкой, чтобы ехать во Вьерзон встречать ваших родителей? Он вызвал у нас подозрения...

— Да нет, я никого не посылал! — отвечает г-н Сэрель.

В классе поднимается гам. Трое учеников, которые сидят ближе всех к двери и которым обычно поручается выгонять камнями коз и свиней, топчущих клумбы на школьном дворе, бросаются к выходу. Их подкованные железом сабо неистово грохочут по каменным плитам первого этажа, потом со двора доносится приглушенный шум шагов — три пары башмаков торопливо мнут песок и, разбежавшись, скользят, как по льду, на повороте, вылетая через раскрытую калитку на дорогу. Весь класс сгрудился у окон, выходящих в сад. Некоторые, чтобы лучше видеть, взобрались на парты.

Но слишком поздно. Большой Мольн бежал.



— Все равно ты поедешь с Мушбефом в Ла-Гар,— говорит мне г-н Сэрель.— Мольн не знает дороги на Вьерзон. Он запутается в перекрестках. Ему не успеть к поезду к трем часам.

Из дверей младшего класса высовывается Милли и спрашивает:

— Скажите же, что случилось?

На улице начинают собираться кучками горожане. Крестьянин все еще стоит на пороге — неподвижно, упрямо, со шляпой в руке,— как человек, требующий правосудия.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ПОВОЗКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Когда я привез дедушку и бабушку из Ла-Гара и когда после ужина, усевшись перед камином, они принялись с величайшей обстоятельностью рассказывать нам о своем житье-бытье за то время, что мы не виделись с ними, я скоро заметил, что не слушаю их.

Дворовая калитка была совсем рядом с дверьми столовой. Открываясь, она скрипела. Обычно с наступлением темноты, когда мы сумерничали в столовой, я втайне с нетерпением ждал этого скрипа — за ним следовал шум сабо, кто-то шел по двору, потом вытирал у порога ноги, иногда слышался шепот, словно люди тихонько совещались, прежде чем войти. В двери стучали. То был сосед, или одна из учительниц, или еще кто-нибудь, заходивший посидеть с нами в долгие зимние вечера...

Но ведь в этот вечер мне некого было ждать: все, кого я любил, собрались в доме; и все-таки я чутко ловил каждый ночной звук, ожидая, что вот-вот отворится дверь.

Рядом сидел мой старый дед, лохматый, обросший, похожий на гасконского пастуха; неуклюже выставив ноги, зажав коленями палку, он порой наклонялся в сторону, чтобы выбить о башмак свою трубку. Его добрые слезящиеся глаза словно подтверждали рассказ бабушки о том, как они доехали, и как поживают куры, и что подельывают соседи, и почему крестьяне до сих пор не внесли арендной платы. Но мои мысли были далеко.

Я представлял себе, как повозка вдруг останавливается перед нашими дверьми, Мольн соскакивает на землю и входит в дом, словно ничего не случилось... Или, может быть, он сначала отведет кобылу на ферму Бель-Этуаль, и сейчас я услышу его шаги на улице, услышу, как отворяется калитка...

Но кругом была тишина. Дедушка пристально смотрел перед собою, и, когда он моргал, веки его долго не поднимались, будто его клонило ко сну. Бабушка, видя, что ее не слушают, в замешательстве несколько раз повторила последнюю фразу.

— Вы беспокоитесь за этого мальчика? — спросила она наконец.

На вокзале я тщетно расспрашивал ее. Когда поезд стоял во Вьерзоне, бабушка не видела никого, кто был бы похож на Большого Мольна. Наверное, мой друг задержался в дороге. Его попытка оказалась напрасной. На обратном пути с вокзала, пока бабушка беседовала с Мушбефом, я переживал свое разочарование. На белой от инея дороге, у самых копыт бежавшего рысцой осла, кружились воробьи. В глубокой тишине морозного дня порой раздавался далекий крик пастушки или голос мальчика, который перекликался с товарищем в сосновой роще. И всякий раз, услышав этот протяжный крик среди пустынных холмов, я вздрагивал, точно это голос Мольна звал меня вдаль...

За этими мыслями прошел вечер, и настало время ложиться. Дедушка уже вошел в красную гостиную, сырую и холодную, потому что она простояла запертой с прошлой зимы. Перед его приездом с кресел сняли кружевные салфетки, постелили на пол ковер и убрали из комнаты все быющиеся предметы. Дедушка положил на стул палку, поставил под одно из кресел свои толстые башмаки; он только что задул свечу, и все мы стояли в темноте, желая друг другу спокойной ночи и готовые разойтись по своим комнатам, когда шум экипажа заставил всех замолчать.

Казалось, одна за другой медленно ехали две повозки. Кони постепенно замедлили шаг и наконец остановились напротив окна столовой, которое выходило на дорогу, но было наглухо заколочено.

Отец взял лампу и немедля открыл дверь, уже запертую на ключ. Потом, толкнув калитку, стал на край ступеньки и поднял лампу над головой, чтобы лучше разглядеть, что происходит.

И в самом деле, перед домом остановились две повозки; лошадь второй из них была привязана к передней повозке. На землю соскочил человек и остановился в нерешительности...

— Скажите, это мэрия? — спросил он, подходя ближе. — Вы не могли бы мне сказать где живет господин Фромантен, арендатор из Бель-Этуаль? Я нашел его повозку возле дороги на Сен-Лу-де-Буа; лошадь шла без возницы. При мне есть фонарь, я прочитал на номере имя и адрес. Мне было по пути, и я привел сюда всю упряжку, чтобы не случилось какой беды; но все это здорово меня задержало.

Мы были изумлены. Отец подошел и осветил повозку.

— Возницы и след простыл, — продолжал человек. — Я не нашел даже попоны. Лошадь устала, она немного прихрамывает.

Я тоже подошел поближе и вместе со всеми смотрел на эту заблудившуюся упряжку, которая появилась перед нами, как обломок кораблекрушения, вынесенный на берег морским приливом, — первый и, быть может, последний обломок приключения Мольна.

— Если Фромантен живет далеко, — сказал человек, — я бы оставил его повозку у вас. Я уж и так потерял много времени, и обо мне, наверно, беспокоятся дома.

Отец согласился. Это позволяло нам сейчас же отвести упряжку в Бель-Этуаль, ничего не рассказывая о случившемся. А что говорить людям и что написать матери Мольна, можно будет решить потом... Человек хлестнул свою лошадь; он даже отказался от предложенного ему стакана вина.

Отец поехал с повозкой на ферму, мы молча вернулись в дом, а дедушка в своей комнате снова зажег свечу и окликнул нас:

— Ну что, вернулся ваш путешественник?

Женщины переглянулись.

— Да, конечно. Он был у своей матери. Спи покойно.

— Ну, вот и хорошо! Я так и думал,— сказал девушка.

И, удовлетворившись ответом, погасил свечу и повернулся на другой бок.

Такое же объяснение мы дали соседям. Что касается матери беглеца, мы решили пока ни о чем ей не писать. Три бесконечно долгих дня ни с кем не делились мы своей тревогой. Я и теперь ясно вижу перед собой лицо моего отца, когда он часов около одиннадцати вернулся с фермы, вижу его заиндевшие усы, слышу его голос, встревоженный и сердитый,— он тихо спорит о чем-то с Милли...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ КТО-ТО СТУЧИТСЯ В ОКНО

Четвертый день был одним из самых холодных в ту зиму. С утра ученики, пришедшие первыми во двор, катались по льду вокруг колодца, пытались согреться. Они ждали, когда растопится в школе печка, чтобы кинуться поближе к теплу.

Многие из нас стояли за воротами, поджидая деревенских ребят. Они приходили, еще ослепленные зимним пейзажем,— инеем, замерзшими прудами, перелесками, среди которых скакали зайцы... Их блузы сохраняли запах сена, конюшни, и воздух в классе становился тяжелым и душным, когда они теснились вокруг раскаленной докрасна печки... В то утро один из них принес в корзинке замерзшую белку, которую нашел на дороге. И я помню, как он старался подвесить ее длинное окоченевшее тельце за когти к столбу на площадке для игр.

Потом начался томительный зимний урок.

Вдруг сильный удар по стеклу заставил нас поднять головы. У дверей, стряхивая иней с блузы, высоко вскинув голову, словно ослепленный каким-то видением, стоял Большой Мольн!

Двое учеников с самой близкой к дверям парты сорвались с мест, чтобы ему открыть; они пошептались о чем-то с Мольном у порога, после чего беглец решился наконец войти в школу.

Волна свежего воздуха, ворвавшаяся с пустынного двора, солома, приставшая к одежде Большого Мольна, и особенно его вид — вид усталого, голодного, но чем-то очарованного путешественника, — все это вызвало в нас странное ощущение радости и любопытства.

Господин Сэрель, что-то нам диктовавший, сошел по двум ступенькам вниз со своей маленькой кафедры, и Мольн шагнул к нему с вызывающим видом. Я вспоминаю, каким красивым показался мне в эту минуту мой старший товарищ, красивым, несмотря на измученное лицо и глаза, покрасневшие, верно, от бессонных ночей под открытым небом.

Он подошел к самой кафедре и сказал твердым голосом, как человек, явившийся с докладом:

— Я вернулся, сударь.

— Вижу, вижу, — ответил г-н Сэрель, с любопытством разглядывая его. — Ступайте на свое место.

Мольн повернулся к нам, чуть сутулясь и улыбаясь с тем насмешливым видом, какой напускают на себя взрослые ученики, когда их наказывают за плохое поведение; взявшись рукой за край парты, он проскользнул на свою скамью.

— Сейчас вы возьмете книгу, которую я вам укажу, — сказал учитель, видя, что все головы повернуты к Мольну. — А ваши товарищи закончат писать диктант.

И класс снова принялся за работу. Время от времени Большой Мольн поворачивался ко мне; потом он смотрел в окна на белый, словно осыпанный ватой, неподвижный сад и на пустынное поле, куда порой садился одинокий ворон. В классе было душно, от раскаленной печки шел жар. Мой товарищ, облокотившись о парту, обхватив руками голову, пытался читать; я раза два видел, как слипаются у него веки, и подумал, что он сейчас заснет.

— Я хотел бы прилечь, господин учитель, — сказал он наконец, неуверенно поднимая руку. — Вот уже три ночи, как я не спал.

— Идите, — ответил г-н Сэрель, больше всего желая избежать скандала.

Все головы поднялись над партами, все перья застыли в воздухе; с сожалением смотрели мы, как он ухо-

дит, — в измятой на спине блузе, в залепленных грязью башмаках.

Как томительно долго тянулось утро! Перед полуднем мы услышали наверху, в мансарде, шаги путешественника, который собирался сойти вниз. Во время завтрака он сидел перед камином, возле озадаченных стариков, а в заснеженном дворе, скользя словно тени, перед дверьми столовой, после того как часы пробили двенадцать раз, бегали попеременно старшекласники и малыши.

От этого завтрака в моей памяти осталась только огромная тишина и чувство огромной неловкости. Все было холодным как лед: не покрытая скатертью клеенка, вино в стаканах, красноватый кафель пола, холод которого мы чувствовали под ногами... Было решено ни о чем не расспрашивать беглеца, чтобы не давать ему повода взбунтоваться. А он воспользовался этим перемирием и не произносил ни слова.

Наконец, закончив десерт, мы оба смогли выскочить во двор. Школьный двор после полудня, когда снег изрыт десятками сабо... Двор, почерневший от оттепели, когда с навеса бежит капель... Двор, полный возни и пронзительных криков... Мы с Мольном побежали вдоль дома. Уже двое-трое наших приятелей бросили игру и, радостно крича, кинулись к нам, сунув руки в карманы, в развевающихся шарфах, разбрызгивая под ногами грязь. Но мой товарищ устремился в старший класс, я поспешил за ним, и он запер стеклянную дверь как раз в тот миг, когда на нее обрушились наши преследователи. Послышалось резкое дребезжанье сотрясаемых стекол, стук башмаков о порог; от сильного толчка погнулся железный вазов, сдерживавший дверные створки, но Мольн, рискуя поранить пальцы о сломанный ключ, уже успел повернуть его в замке.

Обычно такое поведение считалось у нас оскорбительным. Если дело происходило летом, нередко те, кто оставался за дверью, стремглав мчались в сад и влезали в класс через окно раньше, чем спрятавшиеся там успевали его захлопнуть. Но сейчас стоял декабрь, и все окна были заколочены. Еще с минуту мальчишки напирали на дверь, осыпая нас бранью, потом один за другим, опустив головы и поправляя шарфы, начали отходить прочь.

В пустом классе пахло каштанами и кислым вином, двое дежурных переставляли столы. Я подошел к печке и стал греться, ожидая начала урока, а Огюстен Мольн шарил на кафедре и в партах. Скоро он нашел маленький географический атлас и, стоя на помосте, опустив локти на кафедру, зажав голову в ладонях, принялся с увлечением его изучать.

Я уже собирался было подойти к нему; я положил бы руку ему на плечо, и мы вдвоем стали бы вычерчивать по карте его таинственный маршрут, — но вдруг дверь соседнего младшего класса распахнулась от сильного толчка, и в нашу комнату с победным криком влетел Жасмен Делюш, с ним еще один парень из города и трое деревенских. Значит, одно из окон класса для младших оказалось плохо забитым, и им удалось его открыть.

Жасмен Делюш не отличался большим ростом, но был одним из самых взрослых учеников старшего класса. Он очень завидовал Большому Мольну, хотя и прикидывался его другом. До поступления Мольна в школу признанным вожаком в классе считался он, Жасмен. У него было бледное, маловыразительное лицо и напомаженные волосы. Единственный сын вдовы Делюш, содержательницы постоялого двора, он корчил из себя мужчину: с хвастливым видом повторял он все, что слышал от игроков в бильярд и любителей вермута.

При его появлении Мольн поднял голову и, нахмутив брови, крикнул мальчишкам, которые, толкая друг друга, бросились к печке:

— Неужто нельзя хоть на минуту оставить человека в покое?

— Если тебе здесь не нравится, что же ты не остался там, где был? — ответил, не поднимая головы, Жасмен Делюш, чувствуя за собой поддержку товарищей.

Вероятно, Огюстен был в том состоянии крайней усталости, когда гнев охватывает человека внезапно и уже невозможно взять себя в руки. Мольн слегка побледнел.

— Ты! — сказал он, выпрямляясь и закрывая атлас. — Пошел прочь отсюда!

Тот крикнул со злой усмешкой:

— Вот как? Если ты три дня был в бегах, значит ты уж и господином учителем стал?

И, пытаясь вовлечь в ссору остальных, добавил:

— Во всяком случае, не тебе приказывать нам убираться отсюда!

Но Мольн уже бросился на него. Началась потасовка, затрепали по швам рукава рубах. Из всех учеников, вошедших вместе с Жасменом, в ссору вмешался только один деревенский парень, Мартен.

— А ну-ка, оставь его! — сказал он, раздувая ноздри и тряся головой, как баран.

Отброшенный резким толчком Мольна, Мартен отлетел на середину класса, пошатываясь, раскинув в стороны руки, а Мольн, схватив Делюша одной рукой за ворот, другой же открыв дверь, попытался вытолкнуть его вон. Жасмен цеплялся за столы и волочил ноги по полу, скрежеща по плитам своими подкованными башмаками; тем временем Мартен, восстановив равновесие, нагнув голову вперед, яростно кинулся на Мольна. Тот отпустил Делюша, чтобы схлестнуться с этим болваном, и, может быть, Огюстену пришлось бы худо, если бы в этот миг не приоткрылась дверь. Появился г-н Сэрель; прежде чем шагнуть в класс, он обернулся в сторону кухни, заканчивая какой-то разговор... Тотчас же битва прекратилась. Ученики сгрудились у печки, опустив головы, так до конца и не приняв ничью сторону в драке. Мольн сел на свое место; его блуза была распорота и изодрана в плечах. У Жасмена побагровело лицо; в течение тех секунд, которые предшествовали стуку линейки, возвещающему начало урока, он кричал:

— Теперь уж ему и слова не скажи! Тоже мне умник нашелся! Может, он воображает, что никому не известно, где он был!

— Дурак! Мне это и самому неизвестно, — ответил Мольн уже в полной тишине.

Потом, пожав плечами и подперев ладонями голову, он погрузился в чтение.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ ШЕЛКОВЫЙ ЖИЛЕТ

Я уже говорил, что нашей комнатой была большая мансарда, наполовину мансарда, наполовину комната. В других помещениях, примыкавших к ней, имелись окна, а здесь, неизвестно почему, было лишь небольшое



слуховое окошко. Осевшая дверь терлась о пол, и ее невозможно было как следует закрыть. По вечерам, когда мы поднимались к себе, защищая ладонью свечу, которую угрожали задуть все гулявшие в просторном доме сквозняки, мы каждый раз пытались закрыть эту дверь — и каждый раз отступали перед непосильной задачей. По ночам мы ощущали вокруг себя тишину трех чердаков — казалось, она проникает и в нашу комнату.

Здесь мы и встретились, Огюстен и я, вечером все того же зимнего дня.

Я мигом скинул с себя всю одежду и бросил ее кучей на стул у изголовья кровати, а мой товарищ, не говоря ни слова, стал раздеваться медленно и аккуратно. Я забрался в свою железную кровать с занавесками, украшенными узором из виноградных листьев, и смотрел на Мольна. Он то садился на свою низенькую кровать, на которой не было никаких занавесок, то вставал и ходил взад и вперед по комнате, продолжая при этом медленно раздеваться. Свеча, которую он поставил на столик, какие плетут цыгане из ивовых прутьев, бросала на стену огромную колеблющуюся тень.

В отличие от меня он с рассеянным и удрученным видом, но вместе с тем заботливо складывал и развешивал все части своего школьного костюма. Вот он положил на стул тяжелый ремень, вот расправил на спинке стула черную длинную блузу, необычайно грязную и мятую, вот стянул с себя грубошерстную синюю куртку, которую носил под блузой, и, повернувшись ко мне спиной, наклонился, чтобы повесить ее в ногах своей кровати... Но когда он выпрямился и опять повернулся ко мне лицом, я увидел, что под курткой вместо короткого жилета с медными пуговицами, полагавшегося нам по форме, на нем надет какой-то чудной шелковый жилет с большим вырезом, застегнутый внизу плотным рядом маленьких перламутровых пуговичек.

Это была вещь причудливая и очаровательная, — такие, должно быть, носили на балах молодые люди, танцевавшие с нашими бабушками в тысяча восемьсот тридцатом году.

Я вспоминаю, как он выглядел в ту минуту: высокорослый деревенский школьник с непокрытой головой (свою фуражку он аккуратно положил на костюм), с таким смелым, юным и уже таким суровым лицом. Он

снова принялся ходить из угла в угол, расстегивая таинственное одеяние, которое явно принадлежало не ему. Это было так странно: школьник без куртки, в коротких, не по росту, брюках, в грязных башмаках — и в жилете маркиза!

Прикоснувшись к жилету, он вдруг очнулся от своей задумчивости, оглянулся на меня, и в его глазах мелькнула тревога. Мне стало смешно. Он улыбнулся вместе со мной, и его лицо просветлело. Это придало мне смелости, я тихо спросил его:

— Ну, скажи же мне, что это такое? Где ты его взял?

Но его улыбка тут же погасла. Он провел своей тяжелой рукой по коротко остриженным волосам и внезапно, как человек, который больше не может противиться сильному желанию, снова натянул поверх изящного жабо свою куртку, тщательно застегнул ее на все пуговицы, надел измятую блузу; на мгновение он заколебался, глядя на меня как-то сбоку... Наконец он сел на край своей кровати, сбросил башмаки, которые с шумом упали на пол, и, как солдат в походе, одетым растянулся на постели и задул свечу.

Среди ночи я вдруг проснулся. Мольн стоял посреди комнаты в фуражке и что-то искал на вешалке. Вот он накинул на плечи плащ с пелериной... В комнате было темно, в нее не проникало даже то смутное мерцание, которое излучает иногда снег во дворе. Черный ледяной ветер свистел над крышей и в мертвом саду.

Я немного привстал и шепотом окликнул его!

— Мольн! Ты опять уходишь?

Он не ответил. Тогда, совсем рассердившись, я сказал:

— Ну что ж, я пойду с тобой. Ты должен меня взять.

И я прыгнул на пол.

Он подошел, схватил меня за руку и, силой усаживая на край кровати, сказал:

— Я не могу тебя взять, Франсуа. Если б я знал дорогу, мы бы пошли вместе. Но сначала нужно отыскать ее по карте, а мне это не удастся.

— Значит, ты тоже не можешь идти?

— Да, ты прав, это бесполезно, — сказал он упав-

шим голосом.— Иди ложись. Обещаю нигуда без тебя не уходить.

И он опять стал мерить шагами комнату. Я больше не осмеливался с ним заговорить. Он шагал, останавливался, потом начинал ходить еще быстрее, как человек, который снова и снова перебирает в мозгу воспоминания, сталкивает их друг с другом, сравнивает, подсчитывает; ему уже кажется, что нужная нить надежно схвачена, как вдруг он снова теряет ее и опять начинает свои мучительные поиски...

Так продолжалось не одну ночь; бывало, около часа я просыпался, разбуженный шумом его шагов, и видел, как он все ходит и ходит по комнате и чердакам словно те моряки, которые, не в силах отвыкнуть от вахтенной службы, просыпаются на своей бретонской ферме в предписанный корабельным уставом час, встают, одеваются и несут всю ночь вахту на суше.

Раза два-три на протяжении января и первой половины февраля я просыпался так среди ночи. И каждый раз Большой Мольн стоял одетый, в своей пелерине, готовый уйти,— и каждый раз уже на пороге той таинственной страны, куда однажды ему удалось проникнуть, он останавливался в нерешительности. В тот самый миг, когда оставалось только отодвинуть засов с двери, ведущей на лестницу, и проскользнуть на улицу через кухонную дверь, открывающуюся так легко, что никто бы не услышал ни звука, в тот самый миг он снова отступал... И потом в течение долгих ночных часов лихорадочно метался по пустынным чердакам, о чем-то размышляя.

Наконец как-то ночью — это было в середине февраля — он сам разбудил меня, тихонько тронув за плечо.

Накануне у нас был хлопотный день. Мольн, который теперь совсем не участвовал в играх с прежними товарищами, всю последнюю перемену просидел за своей партией, поглощенный каким-то таинственным маленьким чертежом, по которому водил пальцем, сверяясь в атласе с картой департамента Шер. Между двором и классом непрерывно сновали мальчишки. Стуча-

ли сабо. Ученики гонялись друг за другом между партами, перескакивали через скамейки, прыгали на по-мост... Все хорошо знали, что, если Мольн занят, лучше к нему не подходить. Но перерыв затягивался, и двое-трое городских, увлекшись игрой, на цыпочках подкрались поближе к Мольну и заглянули через его плечо. Один из них до того осмелел, что толкнул товарищей на Мольна... Тот резко захлопнул атлас, спря-тал листок и схватил одного из смельчаков; другим удалось улизнуть.

...Это оказался влюка Жирода, он стал хныкать, пытался брыкаться, и в конце концов Большой Мольн выбросил его вон из класса. Тогда он в ярости завопил:

— У, подлюга! Понятно, почему они все на тебя зу-бы точат, почему они собираются пойти на тебя вой-ной...

За этим последовал поток ругательств, на которые мы с Мольном отвечали тем же, не зная толком, что означают эти угрозы. Я кричал особенно громко, по-тому что принял сторону Большого Мольна. Мы словно заключили между собой договор. Он пообещал взять меня с собой и не сказал при этом, как говорили мне все, что я, «пожалуй, не дойду», и этим привязал меня к себе навсегда. Я непрестанно думал о его таинствен-ном путешествии. Я был убежден, что он встретил ка-кую-то девушку. Наверное, она бесконечно красивее всех девушек в городке, красивее Жанны, которую мож-но увидеть в монастырском саду, если заглянуть туда в замочную скважину, красивее розовой белокурой Мадлены, дочери булочника, красивее прелестной, но глупенькой Женни, которую ее мать, владелица замка, всегда держит взаперти. И, конечно, о ней, о той де-вушке, думал он по ночам, как все герои романов. И я решил, что смело заговорю с ним об этом в первую же ночь, как он разбудит меня...

Вечером, после этой новой драки, мы складывали на место садовые инструменты — лопаты и мотыги, служившие для окапывания деревьев. Вдруг на дороге раздался крики. Это была целая ватага подростков и мальчишек во главе с Делюшем, Даниэлем, Жирода и еще кем-то, кто не был нам знаком; они шли гимна-стическим шагом, по четыре человека в ряд, как хоро-шо обученная рота. Заметив нас, они принялись гикать

и свистеть. Значит, против нас был весь город, готовилась какая-то воинственная игра, из которой мы были исключены.

Мольн, не говоря ни слова, снял с плеча лопату и кирку и положил их под навес... Но в полночь я почувствовал его прикосновение и сейчас же проснулся.

— Вставай,— сказал он,— мы уходим.

— Теперь ты знаешь дорогу до конца?

— Я знаю большую часть дороги. И мы должны отыскать остальную! — ответил он, стиснув зубы.

— Слушай, Мольн,— сказал я, садясь на постели.— Слушай меня. Нам остается только одно: днем, когда будет совсем светло, мы вдвоем попробуем найти по твоему плану ту часть пути, которой нам недостает.

— Но это очень далеко отсюда.

— Ну и что же! Мы поедем туда в повозке, летом, когда настанут долгие дни.

Он промолчал, и я понял, что он согласен.

— И раз уж мы собираемся вдвоем разыскивать девушку, которую ты любишь,— добавил я,— расскажи мне о ней, Мольн.

Он сел в ногах моей постели. В полутьме я видел его опущенную голову, его скрещенные руки, его колени. Он глубоко вздохнул, как человек, у которого долго было тяжело на сердце и который может наконец доверить свою тайну...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### ПРИКЛЮЧЕНИЕ

В ту ночь мой товарищ еще не рассказал мне всего, что произошло в нем тогда на дороге. И даже потом, в скорбные дни, о которых речь еще впереди, когда он наконец решился довериться мне до конца, это долго оставалось великой тайной нашего отрочества. Но теперь, когда все кончено, теперь, когда

от всего хорошего, от всего плохого

остался лишь прах, теперь я могу рассказать о его странном приключении.

. . . . .

В тот морозный день в половине второго на Вьерзонской дороге Мольн нахлестывал свою лошадь изо всех сил: он знал, что опаздывает. Вначале ему было весело: он думал лишь о том, как мы все удивимся, когда к четырем часам он привезет нам дедушку и бабушку Шарпантье. Ведь в те минуты это было, конечно, единственной целью его поездки.

Понемногу его стал пронимать холод, и он закутал ноги попоной, от которой сперва отказывался на ферме Бель-Этуаль, так что ее чуть ли не насильно сунули к нему в повозку.

В два часа он проехал через городок Ла-Мотт. Прежде ему ни разу не приходилось бывать в таких местах в часы школьных занятий, и он с интересом разглядывал пустынные, словно дремлющие улицы. Лишь изредка то здесь, то там поднималась занавеска, и в окне показывалось лицо любопытной кумушки.

При выезде из Ла-Мотта, сразу за зданием школы, дорога разветвлялась, и Мольн заколебался; ему вроде бы помнилось, что к Вьерзону надо свернуть налево. Спросить было не у кого. Он пустил кобылу рысью; дорога была теперь совсем узкой и плохо мощенной. Некоторое время он ехал вдоль леса и наконец повстречал телегу. Сложив ладони рупором, Мольн окликнул возницу и спросил, это ли дорога на Вьерзон. Но кобыла, натягивая поводья, по-прежнему бежала рысью, — человек, очевидно, не расслышал вопроса, он что-то прокричал в ответ с неопределенным жестом, и Мольн продолжал свой путь наугад.

Снова потянулись замерзшие поля, пустые и однообразные; порой лишь сорока, испугавшись повозки, отлетала подальше и садилась на обломанную верхушку вяза. Путник накинул на плечи попоны и закутался в нее, как в плащ. Вытянув ноги, прислонившись к борту тележки, он задремал — вероятно, надолго...

...Мольн очнулся от дремоты из-за холода, который теперь пробирал его сквозь попоны; он заметил, что местность вокруг изменилась. Не было больше бескрайних горизонтов, не было огромного белого неба, в котором теряется взгляд, вокруг лежали зеленые еще лужайки, обнесенные высокими изгородами. Справа и слева в канавах подо льдом текла вода. Все говорило о близости ре-

ки. И дорога, проходившая между высокими плетнями, превратилась теперь в узкую изрытую колею.

Кобыла перешла с рыси на шаг. Мольн стегнул ее кнутом, чтобы заставить бежать быстрее, но она продолжала идти очень медленным шагом, и юноша, опершись руками о передок повозки и посмотрев на лошадь сбоку, заметил, что она хромотает на заднюю ногу. Охваченный беспокойством, он тотчас соскочил на землю.

— Нам уже не попасть во Вьерзон к поезду, — сказал он вполголоса.

Даже себе не хотел он признаться в самом тревожном и страшном: в том, что ошибся дорогой и ехал теперь совсем не в сторону Вьерзона.

Мольн долго осматривал ногу животного и не обнаружил никаких следов ранения. Но стоило ему к ней только прикоснуться, как кобыла начинала пугливо вздрагивать и скрести землю тяжелым неуклюжим копытом. Наконец он понял, что в копыто просто попал камень. Мольн привык иметь дело с животными; присев на корточки, он попытался схватить левой рукой правую ногу лошади, чтобы зажать ее между коленями, но ему мешала повозка. Лошадь два раза вырывалась и уходила на несколько метров вперед. Подножка ударила его по голове, колесом ободрало коленку. Он упрямо продолжал свои попытки и в конце концов одержал над пугливым животным верх, но камешек вошел в копыто очень глубоко, и, чтобы его вынуть, Мольну пришлось пустить в ход свой крестьянский нож.

Когда операция была закончена и, усталый, с покрасневшими глазами, Мольн смог наконец выпрямиться, он с изумлением увидел, что приближается ночь...

Любой другой на месте Мольна немедленно повернул бы назад. Только так можно было бы найти дорогу. Но он рассудил, что Ла-Мотт все равно остался далеко позади. К тому же, пока он спал, кобыла могла свернуть на какой-нибудь поперечный проселок. Наконец, и та дорога, на которой он сейчас находился, должна же была привести его к какому-нибудь селению... Прибавьте ко всему этому, что, встав на подножку и чувствуя, как нетерпеливое животное натягивает вожжи, юноша вдруг ощутил, как растет в нем непреодолимое желание к чему-то прийти, куда-то, вопреки всем препятствиям, добраться!

Он хлестнул кобылу, она сделала скачок в сторону и понеслась быстрой рысью. Темнота густела. Изрытая дорога стала такой узкой, что на ней не могли бы разъехаться две повозки. Иногда в колесо попадала засохшая ветка изгороди и ломалась с сухим треском... Когда стало совсем темно, Мольн вдруг подумал с замиранием сердца о нашей столовой в Сент-Агате, где в этот час все уже, наверное, сели за стол. Потом его охватил гнев, потом, при мысли о своем невольном побеге, он ощутил гордость и глубокую радость...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### ОСТАНОВКА

Вдруг кобыла замедлила бег, будто в темноте на что-то наткнулась; Мольн увидел, как она дважды опускала и опять поднимала голову, потом она резко остановилась, пригнув морду к земле и словно что-то обнюхивая. Под ее ногами слышался плеск воды. Дорогу пересекал ручей. Летом здесь, наверное, был брод. Но в это время года течение было таким сильным, что лед не сумел его сковать; ехать дальше было бы опасно.

Мольн легонько потянул вожжи, отъехал на несколько шагов назад и, не зная, что делать, выпрямился в повозке во весь роег. Тогда-то он и заметил свет между ветвями. Значит, всего каких-нибудь два-три поля отделяли Мольна от дороги...

Он вылез из повозки и повел лошадь назад, приговаривая, чтобы успокоить животное, которое испуганно встряхивало головой:

— Пошли, старушка! Пошли! Теперь уж нам недалеко. Скоро будем на месте.

И, толкнув полуоткрытую калитку в ограде, окружавшей лужайку, которая примыкала к дороге, Мольн провел упряжку за собой. Ноги глубоко уходили в мягкую траву. Повозка бесшумно тряслась на ухабах. Прижавшись головой к голове лошади, Мольн чувствовал ее тепло, ее тяжелое дыхание... Он подвел ее к самому краю лужайки, покрыл ей спину попоной, потом раздвинул ветки изгороди и снова увидел свет. Это был одинокий дом.



Но чтобы до него добраться, Мольну пришлось пересечь еще три поляны, перепрыгнуть через предательский ручеек, в котором он промочил ноги... Наконец, сделав последний прыжок с высокого пригорка, он очутился во дворе деревенского дома. У корыта хрюкала свинья. Услышав шум шагов по мерзлой земле, неистово залаяла собака.

Дверь была открыта, и слабый свет, замеченный Мольном с дороги, оказался светом очага, в котором пылала охапка хвороста. Другого освещения в доме не было. Добродушного вида женщина поднялась со стула и подошла к дверям, не проявляя никакого испуга. В этот миг стенные часы с гирями пробили половину седьмого.

— Извините меня, пожалуйста,— сказал подросток,— кажется, я наступил на ваши хризантемы.

Женщина стояла с миской в руках и смотрела на него.

— И верно,— сказала она,— во дворе такая темень, что недолго и заблудиться.

Они помолчали; стоя в дверях, Мольн оглядывал стены комнаты, оклеенные иллюстрированными журналами, как это бывает на постоянных дворах. На столе лежала мужская шапка.

— Что, хозяина дома нет? — спросил Мольн, садясь.

— Он сейчас вернется,— ответила женщина, видимо, проникаясь к Мольну доверием.— Он пошел за хворостом.

— Да мне он, собственно, и не нужен,— продолжал юноша, придвигая свой стул поближе к огню.— Нас тут несколько охотников в засаде. Я пришел спросить, не уступите ли вы нам немного хлеба.

Большой Мольн знал, что, когда говоришь с крестьянами, да еще на уединенной ферме, не стоит пускаться в откровенность,— тут нужна особая политика, а главное — нельзя показывать, что ты нездешний.

— Хлеба? — переспросила она.— Как раз хлеба-то мы вам дать и не можем. Каждый вторник здесь бывает булочник, но сегодня он почему-то не приехал...

Огюстен, который все еще надеялся, что где-нибудь неподалеку есть деревня, испугался.

— Булочник из какой деревни? — спросил он.

— Ну конечно из Вье-Нансея, откуда же еще! — ответила женщина с удивлением.

— А сколько отсюда до Вье-Нансея? — продолжал с тревогой свои расспросы Мольн.

— Сколько будет по дороге, я вам точно не скажу, а напрямик — три с половиной лье.

И она принялась рассказывать, что там у нее дочка в прислугах живет, и каждое первое воскресенье они ее навещают, и что ее хозяйева...

Но Мольн в полной растерянности прервал ее:

— Значит, Вье-Нансей — это самый близкий отсюда городок?

— Нет, ближе всего — Ланд, до него пять километров. Но там нет ни торговцев, ни булочника. Зато каждый год в день святого Мартина там собирается столько народу...

Мольн никогда и не слышал такого названия — Ланд. Ну и заблудился же он! Это даже начинало его забавлять. Но женщина, которая ополаскивала миску над каменным корытом, с любопытством обернулась и, глядя на него в упор, медленно проговорила:

— Так, значит, вы нездешний?

В это время в дверях показался пожилой крестьянин и сбросил на пол вязанку дров. Женщина очень громко, словно перед ней был глухой, объяснила ему просьбу молодого человека.

— Ну что ж! Это не трудно, — сказал он просто. — Но придвиньтесь поближе, сударь. Так вы не согреетесь.

Минуту спустя оба сидели у камина, старик колот дрова и подбрасывал их в огонь, Мольн трудился над миской молока с хлебом, которым угостили его хозяйева. Наш путешественник был счастлив, что после стольких тревог попал в этот скромный дом, ему казалось, что его странное приключение закончилось, он уже мечтал, что когда-нибудь вернется сюда вместе с товарищами, чтобы повидать этих славных людей. Мольн не знал, что то была всего лишь короткая передышка и что через несколько минут он снова двинется в путь.

Он попросил вывести его на дорогу, идущую на Лан-Мотт. И, понемногу приближаясь к правде, рассказал,

что отстал со своей повозкой от других охотников и теперь совершенно сбился с пути.

Тогда супруги предложили ему остаться ночевать; он сможет отправиться дальше, когда рассветет; они так долго настаивали, что Мольн в конце концов согласился и вышел, чтобы завести лошадь в конюшню.

— Будьте осторожны, на тропинке много выбоин, — сказал ему крестьянин.

Мольн не осмелился признаться, что сюда он пришел не «по тропинке». Он уже был готов просить хозяина проводить его. Заколебавшись, он на минуту остановился на пороге, и нерешительность его была так велика, что он пошатнулся. Потом вышел в темный двор.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### ОВЧАРНЯ

Чтобы осмотреться получше, он снова взобрался на тот самый пригорок, с которого раньше спрыгнул.

Медленно, с трудом продираясь сквозь заросли, ступая, как и прежде, по лужам, перелезая через ивовые плетни, он направился в глубь луга, где оставил повозку. Но повозки там больше не было... Застыв на месте, чувствуя, как в висках стучит кровь, он жадно ловил ночные звуки, и каждую секунду ему казалось, что он уже слышит, как где-то здесь, совсем рядом, звенят бубенчики на конской сбруе... Нет, ничего не слышно. Он обошел весь луг; плетень был местами раздвинут, местами повален, словно по нему проехало колесо. Должно быть, лошадь отвязалась и ушла.

Снова выбираясь на дорогу, он сделал несколько шагов — и вдруг его ноги запутались в попоне! видимо, она соскользнула со спины лошади на землю; значит, решил он, лошадь ушла в этом направлении. И он пустился бежать.

Ни о чем не думая, ощущая только упрямое и неистовое желание во что бы то ни стало догнать упряжку, с прилившей к лицу кровью, весь во власти этого панического желанья, похожего на страх, он бежал... Несколько раз он попадал в рытвины. На поворотах, в полной темноте, он налетал на изгороди и, слишком усталый, чтобы вовремя остановиться, раздираал о колючки

ладони, стараясь только защитить лицо выставленными вперед руками. Иногда он останавливался, прислушивался — и снова бежал. Однажды ему показалось, что он слышит шум колес, но это была телега, громыхавшая на дороге где-то слева, очень далеко...

Был момент, когда у Мольна так заныло колено, ушибленное вечером о подножку, что ему пришлось остановиться, — нога почти не сгибалась. И тут он подумал, что, если бы кобыла не бежала галопом, он бы давно ее поймал. К тому же, сказал он себе, ведь не может повозка так просто затеряться, кто-нибудь непременно ее найдет. И Мольн пошел назад, до предела усталый, злой, еле волоча ноги.

Время шло, ему казалось, что он узнаёт место, откуда начал погоню, и скоро он увидел свет в доме, который искал. От изгороди шла глубоко протоптанная тропинка.

«Об этой самой тропинке и говорил мне старик», — подумал Огюстен.

И он пошел по ней, радуясь, что больше не нужно перелезать через плетни и карабкаться по склонам. Через некоторое время тропинка свернула влево, а свет, казалось, переместился вправо; Мольн дошел до места пересечения нескольких тропинок и, торопясь поскорее добраться до своего скромного ночлега, выбрал, не размышляя, ту из них, которая, казалось, вела прямо к дому. Но не успел он сделать и десяти шагов, как свет исчез; то ли он скрылся за изгородью, то ли крестьяне, устав его ждать, закрыли ставни. Юноша смело пошел через поле, прямо в том направлении, где только что горел свет. Потом, перебравшись еще через одну изгородь, он оказался на новой тропинке...

Так понемногу запутывался след Большого Мольна и рвалась та нить, которая связывала его с покинутыми им людьми.

В отчаянии, выбиваясь из сил, он решил идти по этой тропинке до конца. Шагов через сто он вышел в открытое поле, казавшееся серым в ночной темноте, по нему были разбросаны тени, должно быть, кусты можжевельника, в ложбине вырисовывалось темное строение. Мольн подошел поближе. Это был не то загон для скота, не то заброшенная овчарня. Дверь со скрипом пода-

дась. Когда ветер разгонял тучи, сквозь щели в стенах пробивался лунный свет. Пахло плесенью.

Не в силах идти дальше, Мольн растянулся на сырой соломе, опершись на локоть, опустив голову на ладонь. Потом снял ремень и свернулся в комок, натянув на ноги блузу и поджав колени к животу. Тут ему вспомнилась попона, которую он оставил на дороге, и он почувствовал себя таким несчастным, ощутил такую злость на самого себя, что чуть не заплакал...

Тогда он заставил себя думать о другом. Продрогший до мозга костей, он вспомнил сон, или, скорее, видение, посетившее его однажды в детстве, видение, о котором он никому никогда не рассказывал. Как-то утром он проснулся не в своей комнате, где висели его штанишки и куртки, а в длинном зеленом зале, с обоями, похожими на листву. В зале струился свет, такой нежный, что хотелось попробовать его на вкус. Возле ближайшего окна сидела девушка и, повернувшись к мальчику спиной, что-то шила, словно ожидая, когда он проснется... А у него не было сил соскользнуть с кровати и пройти по этому волшебному залу. Он снова заснул... Но, засыпая, поклялся, что в следующий раз обязательно встанет... Может быть, завтра утром!..

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ТАИНСТВЕННОЕ ПОМЕСТЬЕ

Как только рассвело, он снова пустился в путь. Но его мучило распухшее колено, боль была так сильна, что через каждые несколько минут приходилось останавливаться и садиться на землю. Местность, в которой он очутился, была, видимо, самой пустынной частью Солони<sup>1</sup>. За все утро он лишь один раз увидел пастушку, которая где-то далеко, у самого горизонта, стерегла свое стадо. Он было окликнул ее, пытался подбежать к ней, но она исчезла, не услышав его крика.

А он шел и шел все в одном направлении — шел удручающе медленно... Ни живой души вокруг, ни человеческого жилья. Не слышно было даже крика куликов

---

<sup>1</sup> Солонь — область Франции в излучине реки Луары. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

в болотных камышах. И над этим пустынным простором сияло ясное и холодное декабрьское солнце.

Было, наверное, уже часа три дня, когда он заметил наконец, что над верхушками елового леса возвышается серая башенка со шпилем.

«Какой-нибудь заброшенный замо́к,— подумал он,— или пустая голубятня!..»

И, не ускоряя шага, он продолжал свой путь. От опушки леса, между двумя белыми столбами, начиналась аллея; Мольн вошел в нее. Сделав несколько шагов, он остановился, пораженный, полный необъяснимого волнения. Потом опять пошел прежним усталым шагом; от ледяного ветра трескались губы, порой замирало дыхание, но Мольна охватила необыкновенная радость, какой-то удивительный, пьянящий душу покой, уверенность, что он дошел наконец до цели и его ждет теперь только счастье. Лишь в детстве, накануне больших летних праздников, когда с наступлением темноты на улицах городка вырастали елки и окно его комнаты утопало в зеленых ветвях, ощущал он такое же счастливое изнеможение.

«Сколько радости — и все только оттого, что я пришел к этой старой голубятне, полной сов и сквозняков!» — подумал он.

И, сердясь на себя, остановился, размышляя, не лучше ли повернуть назад и постараться добрести до ближайшей деревни. Так он стоял какое-то время в раздумье, опустив голову, и вдруг заметил, что аллея подметена ровными большими кругами, как будто здесь готовились к празднику... Можно было подумать, что он оказался на главной улице родного городка утром в день Успения!.. Вряд ли бы он удивился сильнее, если увидел бы за поворотом толпу празднично разодетых людей.

— Что за праздник в подобной глуши? — спросил он себя.

Дойдя до первого поворота, он услышал голоса, они приближались. Он кинулся в сторону, в густые заросли ельника, присел на корточки и затаил дыхание. Это были детские голоса. Группа детей прошла по аллее совсем близко. Голосок — вероятно, маленькой девочки — прозвучал так рассудительно и важно, что Мольн, хотя и не понял, о чем идет речь, не мог удержаться от улыбки.

— Меня беспокоит только один вопрос,— говорила девочка.— Я имею в виду лошадей. Кто может помешать, например, Даниэлю сесть верхом на большого желтого пони?

— Никто не сможет мне помешать! — отвечал на смешливый мальчишеский голос.— Разве нам не разрешили делать все, что захочется?.. Даже расшибиться, если нам это по вкусу...

Голоса удалились, и с Мольном поравнялась новая группа детей.

— Если лед растаял,— сказала девочка,— завтра с утра можно на лодках кататься.

— А разве нам разрешат? — спросила ее подруга.

— Да вы же знаете, что это наш праздник и мы можем делать все, что захотим!

— А если Франц вернется сегодня вечером со своей невестой?

— Ну и что ж! Он тоже будет все делать по-нашему!..

«Вероятно, речь идет о свадьбе,— подумал Огюстен.— Но неужели здесь командуют дети?.. Странное поместье!»

Он решил выйти из своего тайника и спросить, где можно поест и попить. Выпрямившись, он увидел, как удаляется от него вторая группа детей. Это были три девочки в коротких, до колен, свободных платьях. На них были красивые шляпки, завязанные под подбородком. С каждой шляпки ниспадало длинное белое перо. Одна из девочек, полубернувшись и чуть наклонив голову, слушала свою подругу, которая, подняв палец, что-то объясняла ей с важным видом.

«Они испугаются меня»,— подумал Мольн, глядя на свою разорванную крестьянскую блузу и замысловатый пояс воспитанника сент-агатского коллежа.

Боясь, как бы дети на обратном пути не увидели его в аллее, Мольн пошел напрямик через ельник по направлению к «голубятне», не задумываясь о том, что он будет там делать. На опушке дороги ему преградила невысокая замшелая стена. По ту сторону стены был длинный узкий двор, окаймленный службами и весь заставленный экипажами, как постоянный двор в дни ярмарки.

Здесь были повозки всех видов и фасонов: изящные четырехместные коляски с торчащими вверх оглоблями, шарабаны, давно вышедшие из моды кареты с резными карнизами и даже старинные дорожные берлины с поднытыми зеркальными стеклами.

Спрятавшись за елками, чтобы его не заметили, Мольн рассматривал все это нагромождение повозок; вдруг его взгляд упал на полуоткрытое окно одной из пристроек, как раз на уровне сиденья высокого шарабана. Когда-то окно было заперто на два железных засова, какие можно увидеть в старых усадьбах на закрытых воротах конюшен; но время источило их.

«Я заберусь туда,— решил Мольн,— выплусь на сене, а утром уйду, и мне не придется пугать этих славных девчушек».

Он очутился не на сеновале, а в просторной комнате с низким потолком, очевидно, спальне. В полумраке зимнего вечера видно было, что стол, камин и даже кресла завалены большими вазами, дорогой утварью, старинным оружием. В глубине комнаты, за занавесом, должно быть, скрывался альков.

Мольн закрыл окно,— было холодно, к тому же он боялся, как бы его не увидели со двора. Он приподнял занавес и обнаружил за ним большую низкую кровать, на которой валялись в беспорядке старые книги в позолоченных переплетах, лютни с порванными струнами, подсвечники... Сдвинув всю груды в глубь алькова, он улегся на этом ложе, чтобы немного отдохнуть и поразмыслить по поводу своего странного приключения.

Над помещьем царила глубокая тишина. Только слышно было порой, как завывает холодный декабрьский ветер.

И Мольн, лежа в своем убежище, не мог отделаться от мысли: а что, если, несмотря на все эти странные встречи, несмотря на детские голоса в аллее, несмотря на сборище карет,— что если это просто-напросто старое заброшенное строение, каким оно ему показалось вначале,— просто пустой дом, затерянный в зимнем одиночестве?

Скоро ему почудилось, что ветер доносит откуда-то далекую музыку. Это было похоже на воспоминание, полное прелести и сожалений. Он вспомнил время, когда его мать, еще молодая, садилась вечером в зале за ро-



яль, а он молча стоял за дверью, выходявшей в сад, и слушал, слушал до самой ночи...

«Словно кто-то на рояле играет?» — подумал он.

Но этот вопрос остался без ответа. Измученный, Мольн тут же заснул...

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### КОМНАТА ВЕЛЛИНГТОНА

Когда он проснулся, было темно. Он зябко ворочался на своем ложе, дрожа от холода, комкая и подбирая под себя полы своей блузы. Слабый синевато-зеленый свет окрашивал занавес алькова.

Сев на кровати, он просунул голову между занавесок. Пока он спал, кто-то раскрыл окно и повесил в оконном проеме два зеленых венецианских фонаря.

Но едва Мольн успел взглянуть на них, как на лестнице послышался приглушенный шум шагов и тихие голоса. Мольн быстро спрятался в альков, задев своими подкованными башмаками какую-то бронзовую вещь, и она звякнула, ударившись о стену. В тревоге он на миг затаил дыхание. Шаги приблизились, и в комнату скользнули две тени.

— Не шуми, — послышался голос,

— Да что там! — ответил другой. — Ему уж давно пора бы проснуться!

— Ты обставил его комнату?

— Конечно, как и все другие.

Ветер хлопнул рамой открытого окна.

— Посмотри-ка, — сказал первый, — ты даже не закрыл окно. Ветер уже погасил один фонарь. Нужно его опять зажечь!

— Вот еще! — возразил второй, внезапно охваченный ленью и унынием. — К чему вся эта иллюминация — здесь, в деревенской глуши? Кто увидит наши фонари?

— Как кто? Да ведь до утра приедут новые гости. Им будет приятно еще с дороги, из экипажей, увидеть наши огни!

Мольн услышал, как чиркнула спичка. Тот, кто говорил последним и, казалось, был здесь главным, продол-

жал — тягуче, чуть нараспев, на манер могильщика из «Гамлета»!

— Повесь зеленые фонари в комнате Веллингтона, И красные тоже повесь... Ведь ты сам все знаешь не хуже меня!

Молчание.

— Веллингтон был, кажется, американец? Так вот, зеленый — это американский цвет. Тебе, бродячему актеру, надо бы знать такие вещи.

— О-ля-ля! — воскликнул актер. — Ты говоришь, бродячий? Да, я побродил на своем веку! Но я ничего не видел! Много ли увидишь из фургона?

Мольн осторожно выглянул из-за занавесок.

Тот, кто командовал, оказался грузным мужчиной, без шляпы и в широченном пальто. В руке у него был длинный шест, увешанный цветными фонарями, он сидел, заложив ногу за ногу, и спокойно смотрел, как работает его товарищ.

Что касается актера, — более жалкую фигуру было трудно себе представить. Длинный, тощий, дрожащий от холода, с косящими зеленоватыми глазами, с усами, свисающими на щербатый рот, он походил на утопленника, только что вытащенного из воды. Пиджака на нем не было, и зубы его выбивали дробь. Все его слова и движения свидетельствовали о том, что к своей персоне он относился с величайшим пренебрежением.

После минутного раздумья, горестного и в то же время насмешливого, он подошел к своему приятелю и широко расставив руки, проговорил:

— Знаешь, что я тебе скажу?.. Никак в толк не возьму, зачем понадобилось посылать за такими подонками, как мы с тобой, чтобы прислуживать на этом празднике! Так-то, мой милый!..

Но толстяк не обратил никакого внимания на этот крик души; по-прежнему безмятежно, скрестив ноги, сопя и зевая, он наблюдал за работой товарища, потом встал, повернулся спиной, взвалил свой шест на плечо и вышел, говоря:

— Ну, пошли! Пора одеваться к обеду.

Бродяга последовал за ним; проходя мимо алькова, он стал кланяться, приговаривая с издевкой в голосе:

— Господин Соня! Вам остается лишь проснуться и одеться маркизом — даже в том случае, если вы такой

же голодранец, как я. И вы спуститесь вниз, на костюмированный бал, потому что так хотят маленькие кавалеры и маленькие барышни.

И, делая последний реверанс, добавил тоном ярмарочного шута:

— Наш сотоварищ Малуайо, прикомандированный к кухонному ведомству, представит вам Арлекина и вашего покорного слугу, великого Пьеро...

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК

Как только они исчезли, Мольн вышел из своего убежища. У него замерзли ноги, окоченели все суставы, но он чувствовал себя отдохнувшим, и боль в колене как будто прошла.

«Спуститься к ужину! — подумал он. — Уж что-что, а это я сделаю. Я буду просто гостем, чьего имени никто не помнит. Впрочем, я здесь и не совсем посторонний: ведь совершенно очевидно, что господин Малуайо со своим приятелем ждали меня...»

После полной темноты алькова он смог довольно ясно разглядеть комнату, освещенную зелеными фонарями.

Бродяга «обставил» ее. На крюках висели плащи. На разбитой мраморной доске массивного туалетного стола было разложено все, при помощи чего можно превратить в щеголя даже юношу, который провел всю ночь в заброшенной овчарне. На камине, рядом с большим подсвечником, лежали спички. Только вот паркет забыли натереть, и под ногами Мольна хрустел песок и щебень. Ему опять показалось, что он попал в дом, давно покинутый обитателями... Направляясь к камину, он споткнулся о груды больших картонок и ящичков; он протянул руку, зажег свечу и, сняв крышки, наклонился, чтобы разглядеть содержимое коробок.

Там были старинные костюмы для молодых людей: сюртуки со стоячими бархатными воротниками, изящные жилеты с глубоким вырезом, бесчисленные белые галстуки и лакированные башмаки, какие носили в начале девятнадцатого века. Сперва Мольн не смел ни к чему притронуться, но потом, вздрагивая от холода,

он почистил свое платье, накинул на ученическую блузу один из больших плащей, подняв его плиссированный воротник, заменил свои подбитые железом башмаки щегольскими лакированными туфлями и, не надевая шляпы, тихонько вышел из комнаты.

Не встретив ни души, Мольн спустился вниз по деревянной лестнице и очутился в темном закоулке двора. Ледяное дыхание ночи коснулось его лица и приподняло полу плаща.

Он сделал несколько шагов и при смутном свете, струившемся с неба, смог разглядеть очертания окружающих его предметов. Это был маленький двор, образованный служебными постройками. Все здесь казалось древним и ветхим. Внизу лестниц зияли дыры — дверей давно уже не было, оконные рамы сгнили, и в стенах чернели провалы. Однако все эти здания выглядели таинственно и в то же время празднично. В низких комнатах трепетали яркие отсветы: должно быть, на окнах, выходящих в сторону деревни, тоже повесили зажженные фонари. Двор был подметен, сорная трава выполота. И наконец, прислушавшись, Мольн уловил неясное пение, отдаленные детские и девичьи голоса, они доносились со стороны строений, смутно темневших вдаль, — там, где ветер раскачивал ветви перед розовыми, зелеными и синими пятнами окон.

Так он стоял посреди двора, в длинном плаще, напругая спух, чуть наклонившись вперед, похожий на охотника, выслеживающего добычу; как вдруг из соседнего здания, которое казалось необитаемым, вышел удивительный юный человек.

На нем был сильно выгнутый цилиндр, блестящий в темноте, как серебряный, камзол, воротник которого упирался в ватылок, открытый жилет, панталоны на штрипках... Этот фронт, на вид лет пятнадцати, шел на цыпочках, словно резинки панталон приподнимали его над землей, и при этом передвигался с поразительной скоростью. Не останавливаясь, на ходу, он машинально приветствовал Мольна низким поклоном и растворился в темноте, в той стороне, где было центральное здание — ферма, замок или аббатство, чья башенка еще с полудня указывала школьнику путь.

После недолгого колебания наш герой пошел следом за любопытной фигуркой. Они пересекли большой зеле-

ный двор, прошли сквозь густые ряды деревьев, обогнули огороженный частоколом рыбный садок, миновали колодец и оказались наконец у входа в главное здание.

Тяжелая деревянная дверь, закругленная сверху и обитая гвоздями, как дверь в доме сельского кюре, была полуоткрыта. Щеголь проскользнул в нее. Мольн последовал за ним и, не успев пройти по коридору нескольких шагов, еще никого не видя, окунулся в атмосферу смеха, песен, возгласов и веселой возни.

В глубине коридор пересекался другим, поперечным. Мольн остановился в нерешительности, не зная, идти ли ему дальше или открыть одну из дверей, за которыми слышался шум голосов, как вдруг навстречу ему выбежали, догоняя друг друга, две девочки. Неслышно ступая мягкими туфлями, Мольн побежал за ними. Двери распахнулись, под старинными шляпками с лентами мелькнули два юных лица, разругавшихся от беготни и вечерней прохлады,— и все разом исчезло во внезапной вспышке света.

С минуту девочки, играя, кружились на месте; их широкие легкие юбки вздулись, приоткрыв кружева забавных длинных панталон; потом, завершив пируэт, они прыгнули в комнату и снова захлопнули дверь.

Ослепленный, Мольн стоял пошатываясь в черноте коридора. Теперь ему не хотелось, чтобы его обнаружили. У него такой нерешительный и неловкий вид, еще примут за вора. И он уже повернулся к выходу, но в это время в глубине дома снова послышались шаги и детские голоса. Два маленьких мальчика, разговаривая, приближались к нему.

— Что, скоро ли ужин? — спросил их Мольн с самым независимым видом.

— Пойдем с нами,— ответил тот, что казался постарше,— мы тебя проводим.

И с той доверчивостью, с той потребностью в дружбе, которая свойственна детям в канун веселого праздника, каждый из них взял Мольна за руку. Судя по всему, это были крестьянские дети. Их нарядили как можно лучше: из-под коротких штанишек, чуть пониже колен, видны были толстые шерстяные чулки и башмаки на деревянной подошве, на каждом был камзолчик синего бархата, того же цвета картуз и белый, повязанный бантом, галстук.

— А ты ее знаешь? — спросил один из мальчиков.

— Я-то? — сказал малыш с круглой головой и наивными глазами. — Мама сказала, что она в черном платье с белым воротничком и похожа на красивого попугая.

— О ком это вы? — спросил Мольн.

— О невесте, конечно, за которой отправился Франц...

Мольн не успел ничего сказать — все трое уже стояли в дверях большого зала, где ярко пылал камин. Положенные на козлы доски заменяли столы, на них были посланы белоснежные скатерти, и множество самых разных людей восседало за торжественной трапезой.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК

*(Продолжение)*

Этот банкет в большом зале с низким потолком напоминал церемонию угощения родственников, приехавших издалека на деревенскую свадьбу.

Оба мальчика отпустили руки Мольна и кинулись в смежную комнату, откуда слышались детские голоса и дробный стук ложек о тарелки. Смело, без всякого смущения, Мольн перешагнул через скамейку и сел за стол рядом с двумя старыми крестьянками. Тотчас же с волчьим аппетитом набросился он на еду; прошло несколько минут, прежде чем он смог наконец поднять голову от тарелки, чтобы осмотреться и послушать, о чем говорят за столом.

Впрочем, гости были неразговорчивы. Казалось, все эти люди едва знакомы друг с другом. Должно быть, одни приехали сюда из глухих деревень, другие — из дальних городов. То тут, то там за столом виднелись старики с бакенбардами и другие старики, гладко выбритые, — может быть, они были когда-то моряками. Рядом с ним обедали их ровесники, очень похожие на них: те же обветренные лица, те же живые глаза под косматыми бровями, те же галстуки, узкие, как шнурки для башмаков... Но с первого взгляда было видно, что за всю свою жизнь они не плавали дальше границ своего кантона, а если все же качало и трепало их многие

тысячи раз под ветром и дождями,— это происходило во время того тяжкого, хотя и не опасного для жизни путешествия, когда ведешь борозду за бороздой и, дойдя до конца поля, поворачиваешь плуг назад... Женщины за столом почти не было — лишь несколько старых крестьянок в гофрированных чепцах, с круглыми, похожими на печеные яблоки морщинистыми лицами...

Среди гостей не было ни одного человека, с которым бы Мольн не почувствовал себя просто и уверенно. Позднее он так объяснял это впечатление: когда совершишь, говорил он, какую-нибудь тяжелую, непростительную ошибку и тебе станет горько, порою подумаешь: «А ведь на свете есть люди, которые меня бы простили». И представишь себе стариков, дедушку с бабушкой, исполненных снисходительности, заранее убежденных в том, что все, что ты делаешь,— хорошо. Вот такие славные люди и собрались сейчас в этом зале. Что касается остальных гостей, это были подростки и дети...

Рядом с Мольном беседовали две старые женщины.

— Жених с невестой приедут в лучшем случае только завтра, не раньше трех часов,— сказала старшая из них смешным визгливым голосом, который она тщетно пыталась смягчить.

— Замолчи, ты меня просто бесишь,— спокойно ответила вторая; она была в вязаном чепце, надвинутом на лоб.

— Давай подсчитаем! — невозмутимо возразила первая.— Полтора часа железной дорогой от Буржа до Вьерзона да семь лье в карете из Вьерзона сюда..

Спор продолжался. Мольн старался не упустить ни слова. Благодаря этой мирной перепалке ситуация немного прояснилась: Франц де Гале, сын хозяев замка, который был студентом, или моряком, или, может быть, гардемаринном — этого никто не знал точно,— отправился в Бурж за девушкой, на которой собирался жениться. Странная вещь: все в поместье делалось так, как хотел этот молодец, должно быть, очень юный и очень взыскательный. Он потребовал, чтобы дом, куда он должен привести свою невесту, походил на праздничный дворец. И для того, чтобы отпраздновать приезд девушки в замок, он сам пригласил всех этих детей и добродуш-

ных стариков. Вот и все, что удалось узнать Мольну из спора двух женщин. Остальное было загадкой, так как спорщицы без конца возвращались к вопросу о приезде молодых. Одна из них считала, что они прибудут завтра утром. Другая — что после полудня.

— Бедняжка Муанель, ты все так же глупа, — спокойно говорила та, что была помоложе.

— А ты, моя бедненькая Адель, все так же упряма. Вот уже четыре года, как я тебя не видала, но ты совсем не изменилась, — отвечала вторая, пожимая плечами, но голос ее звучал мирно и кротко.

Они самым благодушным образом продолжали свою перебранку. Надеясь выведать у них что-нибудь новое, Мольн вмешался в разговор:

— А она и вправду так хороша, как о ней говорят, эта невеста Франца?

Они озадаченно взглянули на Мольна. Никто, кроме Франца, молодую девушку в глаза не видел. Сам он, возвращаясь из Тулона, встретил ее однажды вечером, когда она в полном отчаянии сидела в одном из тех садов Буржа, что именуется там «Болотами». Отец выгнал ее из дому. Она была очень красива, и Франц тотчас решил жениться на ней. Это странная история. Но г-н де Гале, отец Франца, и его сестра Ивонна всегда потворствовали любым его желаниям!..

Мольн собирался задать еще несколько осторожных вопросов, но в это время в дверях появилась очаровательная пара: девушка лет шестнадцати, в бархатном корсаже и в юбке с большими воланами, и юный кавалер, в сюртуке с высоким воротником и в панталонах со штрипками. Они прошли через зал легкой походкой, в которой можно было уловить ритм танца, за ними следом шли другие пары, потом с громкими криками вбежала группа детей, а за ними — высокий бледный пьеро с чересчур длинными рукавами, в черной шапочке и со щербатым смеющимся ртом; он передвигался неуклюжими скачками, подпрыгивал на каждом шагу и размахивал своими длинными пустыми рукавами. Девушки немного побаивались его, молодые люди пожимали ему руку, а дети были в восторге и бежали за ним с пронзительными криками. Оказавшись возле Мольна, пьеро взглянул на него непроницаемыми глазами, и юноше показалось, что этот гладко выбритый человек



и есть приятель господина Малуайо, тот самый бродячий актер, который недавно развешивал фонари.

Ужин закончился. Все встали из-за стола.

В коридорах кружились хореводы, гости отплясывали фарандолу. Откуда-то доносились звуки менуэта... Мольн, прятая лицо в воротнике плаща, как в брыжах, чувствовал себя так, словно он превратился в другого человека. Его захватило общее веселье, и он вместе со всеми стал бегать за длинным пьеро по коридорам замка, точно в театре, где пантомиме стало тесно на сцене и она выплеснулась за кулисы. Так всю ночь напролет кружился он в веселой толпе, разодетой в причудливые костюмы. Иногда, распахнув какую-нибудь дверь, он попадал в комнаты, где показывали картины волшебного фонаря. Детвора шумно хлопала в ладоши... Иногда где-нибудь в углу салона, где танцевали, он перебрасывался несколькими словами то с одним, то с другим щеголем, торопливо осведомляясь, какие костюмы надо будет надевать в следующие дни...

Но в конце концов сама щедрость, с которой раскрывались перед ним все новые удовольствия, стала его немного тревожить; опасаясь, что в любой момент кто-нибудь увидит под распахнувшимся плащом его ученическую блузу, он укрылся в более укромном и темном уголке здания. Сюда доносились лишь приглушенные звуки рояля.

Мольн вошел в тихую комнату, это была столовая, освещенная висячей лампой. Здесь тоже был праздник — только праздник для самых маленьких.

Одни малыши, сидя на мягких пуфах, перелистывали книжки с рисунками, другие, присев на корточках перед стулом, с увлечением раскладывали на сиденье цветные картинки, третьи, пристроившись поближе к камину, не шевелясь и не говоря ни слова, прислушивались к праздничному гулу, наполнявшему огромное здание.

Дверь столовой была широко раскрыта. В соседней комнате кто-то играл на рояле. Мольн с любопытством заглянул туда. Он увидел небольшой салон, своего рода приемную, за роялем, спиной к Мольну, сидела женщина или девушка в коричневом плаще, накинутом на плечи, и очень тихо наигрывала мелодии танцев и песенок. Рядом, на диване, шесть-семь маленьких маль-

чиков и девочек чинно сидели и слушали, образуя живописную группу. Лишь время от времени кто-нибудь из них, опираясь руками о диван, соскальзывал на пол и шел в столовую, а его место занимал другой, которому надоело рассматривать картинки...

После празднества, где все было так чудесно, но слишком шумно и как-то лихорадочно весело и где сам он как безумный гонялся за длинным пьеро, Мольн вдруг почувствовал себя удивительно счастливым и умиротворенным.

Девушка продолжала играть, а он бесшумно вернулся в столовую, сел и, раскрыв одну из разложенных на столе толстых книг в красных переплетах, стал рассеянно ее перелистывать.

Тут же один из малышей, сидевших на полу, подошел к нему, повис у него на руке и вскарабкался на колени, чтобы вместе смотреть картинки; другой мальчуган забрался к нему на колени с другой стороны. И Мольну показалось, что он снова видит один свой давний сон. Словно он сидит вечером в своем собственном доме, — уже взрослый, женатый человек, а прелестная незнакомка, играющая на рояле, — это его жена...

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### ВСТРЕЧА

На другое утро Мольн был готов одним из первых. Он надел, как ему советовали, простой черный костюм вышедшего из моды покроя: узкую в талии, широкую в плечах курточку, застегнутый крест-накрест жилет, панталоны, такие широкие снизу, что за ними почти не видно было изящных туфель, и цилиндр.

Когда он спустился вниз, двор был еще пуст. Он прошел несколько шагов, и ему показалось, что наступила весна. В самом деле, это утро было самым теплым за всю зиму. Солнце грело, как в первые дни апреля. Иней таял, и влажная трава сверкала, точно покрытая росой. В ветвях пели птицы, теплый ветерок время от времени легко прикасался к его лицу.

Мольн поступил как гость, проснувшийся раньше хозяина дома. Он вышел во двор, втайне надеясь, что

его вот-вот окликнет чей-то сердечный и радостный голос: «Вы уже проснулись, Огюстен?..»

Но ему пришлось долго гулять по саду и двору в полном одиночестве. Там, в главном здании, ничто не шевелилось, — никакого движения ни за окнами, ни в башенке. Однако створки закругленных деревянных дверей были уже раскрыты. И в одном из окон верхнего этажа, словно ранним летним утром, сверкал солнечный луч.

Мольн впервые смог среди бела дня разглядеть расположение усадьбы. Развалины стены отделяли запущенный сад от двора, который, видимо, недавно посыпали песком и разровняли граблями. За пристройками, в одной из которых ночевал Мольн, находились разбросанные в причудливом беспорядке конюшни, образуя множество закоулков, заросших кустарником и диким виноградом. Со всех сторон усадьбу обступил еловый лес, закрывая вид на плоскую равнину, только на востоке виднелись синие скалистые холмы, поросшие все тем же еловым лесом.

Проходя по саду, Мольн на минуту нагнулся над шатким деревянным барьером, окружавшим садок для живой рыбы; по краям еще оставалось немного льда, тонкого, в морщинках, как пенка на молоке... Мольн увидел в воде свое отражение, словно склонившееся над небом, свой романтический костюм, и ему показалось, что перед ним совсем другой Мольн, — не школьник, удравший из дому в крестьянской повозке, а очаровательное, загадочное существо, точно сошедшее со страниц дорогой, прекрасной книги...

Почувствовав, что проголодался, Мольн воспешил к главному зданию. В большом зале, где он ужинал накануне, крестьянка накрывала на стол, расставляя на скатерти ряды чашек. Мольн уселся, она налила ему кофе и сказала:

— Вы нынче первый, сударь.

Он очень боялся, что его могут принять за постороннего, и ничего не ответил. Он только спросил, когда начнется лодочная прогулка, о которой было объявлено накануне.

— Не раньше чем через полчаса, сударь; никто еще не спускался к завтраку, — последовал ответ,

И он опять стал бродить вокруг длинного здания замка с несимметричными, как у церкви, крыльями, развыскивая причал. Обогнув южное крыло, он вдруг увидел перед собой заросли камышей, заполнявшие все пространство, насколько хватал глаз. Пруды подступали с этой стороны к самым стенам дома, и перед многими дверьми были устроены деревянные балкончики, котрые нависали прямо над плещущими волнами.

Не зная, чем заняться, Мольн побрел по песчаному берегу, похожему на дорогу, по какой тянут бечевой суда. Он с любопытством разглядывал большие двери и за их пыльными стеклами — запущенные нежилые комнаты и кладовые, заваленные тачками, ржавыми инструментами и разбитыми цветочными горшками, как вдруг с другого конца здания донесся до него хруст шагов по песку.

Это были две женщины — одна совсем старая, сгорбленная, другая — молодая девушка, белокурая, стройная, в прелестном платье, которое после вчерашнего маскарада сперва показалось Мольну необычным.

Они остановились на миг, глядя на расстилавшийся перед ними пейзаж, и Мольн с удивлением, которое потом сам же счел неуместным, подумал: «Именно таких девиц называют эксцентричными... Верно, какая-нибудь актриса, которую наняли на время праздника».

Женщины прошли совсем рядом с Мольном, и он, встав на месте, посмотрел на девушку. Много позже, когда он вечерами мучительно пытался вспомнить стершееся в памяти прекрасное лицо, ему часто виделись во сне целые вереницы молодых женщин, похожих на эту. На одной была такая же шляпка, другая шла, так же чуть-чуть наклонившись вперед; у одной был ее чистый взгляд, у другой — ее тонкий стан или ее синие глаза. Но ни одна из них не была этой высокой девушкой.

Мольн успел увидеть под густыми светлыми волосами лицо с чертами некрупными, но обрисованными с удивительной, почти скорбной тонкостью. Вот она уже прошла вперед, и он смотрел на ее платье и видел теперь, что это самое простое и скромное платье на свете...

Смущенный, он спрашивал себя, идти ли ему за ними следом, как вдруг девушка, неуловимым движением обернувшись к нему, сказала своей спутнице:

— Я думаю, лодка скоро отправится...

И Мольн пошел за ними. Старая дама, дряхлая, трясущаяся, не переставала весело болтать и смеяться. Девушка ласково отвечала ей, Когда они спускались к причалу, она посмотрела на Мольна простодушным и серьезным взглядом, который, казалось, говорил: «Кто вы? Что вам здесь нужно? Я вас не знаю. И все же мне кажется, что я знаю вас».

Среди деревьев в ожидании уже стояли другие гости. К берегу подошли три разукрашенных судна, готовые принять пассажиров. Когда дамы — как видно, хозяйка поместья и ее дочь — проходили мимо гостей, молодые люди почтительно кланялись, а барышни приседали в реверансе. Странное утро, странная прогулка!.. Солнце грело по-зимнему скупое, было довольно холодно, и женщины кутали шею в пуховые боа, которые были в то время в моде...

Старая дама осталась на берегу, а Мольн, сам не зная каким образом, оказался в одной яхте с молодой владелицей замка. Облокотившись о перила палубы, придерживая рукой шляпу, чтобы ее не сбило ветром, он смотрел на девушку, которая уселась под навесом. Она тоже смотрела на него. Она отвечала своим подругам, улыбалась и время от времени, чуть закусив губу, оставляла на нем взгляд своих синих глаз.

На крутых берегах царила полная тишина. Лодка тихо скользила, мерно шумела машина, шумела вода за кормой. Казалось, стоит середина лета. Казалось, они вот-вот причалят к зеленому саду возле какого-нибудь деревенского дома. Девушка будет гулять под белым зонтиком в саду. До самого вечера будет слышно, как стонут горлицы... Но внезапный порыв ледяного ветра напоминал участникам этого странного праздника, что на дворе — декабрь.

Лодки пристали возле елового леска. Пассажиры столпились на пристани и, тесно прижатые друг к другу, с минуту ожидали, пока лодочники отомкнут замок и откроют калитку барьера. С каким волнением вспоминал потом Мольн ту минуту, когда он стоял на берегу пруда и видел так близко лицо девушки — лицо, которого ему уже больше не увидеть! Он смотрел на ее чистый профиль не отрывая глаз, так пристально, что на глаза

набежали слезы. И как маленькую тайну, доверенную только ему одному, запомнил Мольн легкий след пудры на ее щеке...

А потом на берегу все было как во сне. Дети с радостными криками носились по роще, собираясь группками и опять рассыпаясь между деревьев. Мольн шагал по аллее, а впереди, шагах в десяти от него, шла девушка. Он нагнал ее и, не дав себе времени опомниться, просто сказал:

— Вы прекрасны!

Но она ускорила шаг и, не отвечая, свернула на боковую аллею. Вокруг бегали дети, играя кто во что горазд, наугад пересекая дорожки, чувствуя полную свободу. Юноша осыпал себя упреками, называя свой поступок неуместным, грубым, глупым. Он брел куда глаза глядят, уверенный, что больше уже никогда не увидит эту прелестную девушку,— и вдруг заметил, что она идет прямо ему навстречу. Тропинка была узка, и девушка поневоле должна была пройти совсем рядом с Мольном. Обеими руками без перчаток она придерживала полы своего широкого плаща. На ней были черные открытые туфли, позволявшие видеть щиколотки, такие хрупкие, что, казалось, они могут подломиться.

На этот раз юноша поклонился и очень тихо сказал:

— Пожалуйста, простите меня.

— Я вас прощаю,— ответила она серьезно.— Но я должна пойти к детям: сегодня они здесь хозяйева. Прощайте.

Огюстен стал умолять ее задержаться хоть на минуту. Он говорил неловко, но в голосе его звучало такое волнение, такая растерянность, что девушка замедлила шаг и стала слушать.

— Я даже не знаю, кто вы,— сказала она наконец.

Она говорила ровным тоном, одинаково подчеркивая голосом каждое слово, но конец фразы звучал немного мягче, чем начало... Потом ее лицо снова стало неподвижным, и, чуть закусив губы, она посмотрела своими синими глазами куда-то вдаль.

— Я тоже не знаю вашего имени,— ответил Мольн.

Теперь они шли по открытой дороге; на некотором расстоянии от них виднелся посреди чистого поля одинокий дом, вокруг которого толпились участники пикника.

— Вот и «дом Франца»,— сказала девушка.— Я должна вас покинуть...

Она постояла секунду в нерешительности, посмотрела на него с улыбкой и сказала:

— Вы не знаете моего имени?.. Я—Ивонна де Гале...

И она убежала.

«Дом Франца» был в ту пору необитаем. Но толпы гостей вмиг заполнили его снизу доверху—до самых чердаков. Впрочем, у Мольна не нашлось и минуты свободной, чтобы обследовать здание: надо было наспех позавтракать привезенной в лодках холодной провизией—что было, пожалуй, не совсем по сезону, но, видимо, на этом настояли дети—и скорей отправляться в обратный путь. Когда Мольн увидел, что мадмуазель де Гале собирается выйти, он подошел к ней и, словно отвечая на ее недавние слова, сказал:

— Имя, которое дал вам я, мне нравится больше.

— Какое же это имя?—спросила она с прежней серьезностью.

Но он испугался, что сказал глупость, и не ответил.

— А меня зовут Огюстен Мольн, я учусь,—сказал он.

— О, вы учитесь?—отвечала она. Они разговаривали еще с минуту. Они беседовали неторопливо и радостно, как друзья. Потом девушка будто переменилась. Она казалась теперь не такой надменной и важной, как прежде, но ее словно что-то встревожило. Казалось, она уже заранее боится того, что скажет ей Мольн. Она шла рядом с ним, вся трепеща, как ласточка, которая на миг опустилась на землю, но уже дрожит от нетерпеливого желания снова взмыть в небо.

— Зачем? Зачем?—тихо отвечала она на все, что говорил ей Мольн.

Но когда наконец, осмелев, он попросил разрешения когда-нибудь снова вернуться в эти чудесные места, она ответила просто:

— Я буду вас ждать.

Они приближались к пристани. Вдруг она остановилась и сказала задумчиво:

— Мы ведем себя как дети. Это безрассудно. Мы не должны теперь садиться в одну лодку. Прощайте. И не идите за мной.

Какой-то миг Мольн стоял в замешательстве, глядя ей вслед. Потом он тоже пошел к пристани. Девушка остановилась и, обернувшись к Мольну, издали посмотрела на него, впервые посмотрела долгим, внимательным взглядом — и затерялась в толпе гостей. Был ли это последний знак прощанья? Или запрет сопровождать ее? Или, быть может, она хотела еще что-то сказать?..

Когда все вернулись в поместье, на большом, чуть покато лугу позади конюшен начались скачки пони. Это была последняя часть праздника. Все ожидали, что жених с невестой приедут вовремя, что они смогут присутствовать на скачках и Франц будет сам руководить состязаниями.

Но пришлось начинать без него. Под веселые возгласы, под крики и детский смех, под шум заключаемых пари и долгие удары колокола на лужайку вывели лошадок; мальчики в жокейских костюмах вели резвых пони, разукрашенных лентами; девочки, одетые наездницами, — одряхлевших послушных животных. И деревенский луг сразу стал похож на зеленое, аккуратно подстриженное поле ипподрома в миниатюре.

Мольн узнал Даниэля и тех девочек в шляпках с перьями, которые встретились ему накануне в аллею парка... Но зрелище скачек ускользнуло от его внимания, он был поглощен одной мыслью: отыскать в толпе милую шляпку с розами и длинный коричневый плащ. Однако мадмуазель де Гале не появлялась. Он продолжал искать ее до тех пор, пока удары колокола и радостные крики не возвестили об окончании скачек. Победу одержала маленькая девочка на старой белой кобылке. Победительница торжественно объехала поле, и султан ее шляпки развевался на ветру.

А затем все сразу смолкло. Игры закончились, а Франц так и не приехал. Гости постояли в нерешительности, посоветались, а потом группами разошлись по своим комнатам и в тревожном молчании стали ждать приезда жениха и невесты.



## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### ФРАНЦ ДЕ ГАЛЕ

Скачки закончились слишком рано. Была половина пятого и еще не стемнело, когда Мольн, не успевший прийти в себя от всего, что произошло за этот удивительный день, снова очутился в своей комнате. Не зная, чем заняться, он сел у стола и стал ждать ужина и продолжения праздника.

Опять, как в первую ночь, поднялся сильный ветер. Он то шумел, как поток, то грохотал, как водопад. Временами в камине стучала заслонка.

Впервые Мольн почувствовал ту едва уловимую тоску, которая охватывает вас к концу слишком радостных дней. Он хотел было разжечь огонь в камине, но заржавевшая заслонка не поддавалась. Тогда он принялся приводить комнату в порядок: развесил щегольские костюмы, расставил вдоль стен опрокинутые стулья, как будто собирался прожить здесь еще долгое время.

Вместе с тем не забывая, что нужно быть в любую минуту готовым отправиться в обратный путь, он аккуратно разложил на спинке стула свой дорожный костюм — ученическую блузу и остальные вещи, в которых он ушел из школы, поставил под стул свои подкованные башмаки, так и не очищенные от грязи.

Потом опять сел и, чувствуя себя немного спокойнее, оглядел прибранное жилище.

Время от времени капли дождя прочерчивали линии по окну, выходящему на каретный двор и еловый лес. Глядя на расставленные по местам вещи, Мольн снова почувствовал себя вполне счастливым. Вот он сидит здесь, таинственный незнакомец, посреди этого неведомого мира, в комнате, которую он сам для себя выбрал. То, чего он достиг, превзошло все ожидания. Стоило ему вспомнить обращенное к нему девичье лицо, обвеваемое ветром, как его охватывала радость...

Так он сидел, не зажигая свечей, и грезил наяву; тем временем настала ночь. Внезапный порыв ветра хлопнул дверьми соседней комнаты, сообщавшейся с комнатой Мольна и тоже выходявшей окнами на каретный двор. Мольн встал, чтобы закрыть дверь поплотнее,

и вдруг заметил, что оттуда пробивается неясный свет, словно от горящей на столе свечи. Он просунул голову в полуоткрытую дверь. В комнате кто-то был. Очевидно, незнакомец проник через окно и теперь ходил взад и вперед неслышными шагами. Насколько можно было разглядеть в полумраке, это был совсем еще юноша. С непокрытой головой, в брошенной на плечи дорожной накидке, он шагал и шагал, не останавливаясь ни на миг, словно обезумев от невыносимой боли. В распахнутое настежь окно врвался ветер, раздувая полы накидки, и, всякий раз, как молодой человек попадал в полосу света, видно было, как сверкают волооченные пуговицы на его дорогом сюртуке.

Он насвистывал что-то сквозь зубы, какую-то матросскую песенку, вроде тех, что напевают в портовых кабаках моряки и девушки, разгоняя тоску...

На миг прервав свое взволнованное хождение, он наклонился над столом, стал шарить в какой-то коробке и выбрасывать из нее листки бумаги... В мерцании свечи Мольн увидел тонкий профиль, орлиный нос, безусое лицо под пышной шевелюрой, расчесанной на боковой пробор. Незнакомец перестал свистеть. Страшно бледный, с полуоткрытым ртом, он, казалось, с трудом переводит дыхание, как человек, пораженный безжалостным ударом в самое сердце.

Мольн стоял в нерешительности, не зная, уйти ли ему, или, не боясь показаться нескромным, подойти к юноше, участливо, по-товарищески положить руку ему на плечо, заговорить с ним. Но тот уже поднял голову и увидел Мольна. Секунду он разглядывал его, потом, без всякого удивления, подошел и сказал, стараясь придать своему голосу твердость:

— Сударь, я вас не знаю. Но я рад видеть вас. Раз уж вы оказались здесь, именно вам я и объясню... Да!

Казалось, он не может собраться с мыслями. Сказав «Да!», он взял Мольна за отворот куртки, словно для того, чтобы привлечь его внимание. Потом повернул голову к окну, точно размышляя, с чего начать, и зажмурил глаза; Мольн понял, что юноша с трудом сдерживает слезы.

А тот, по-детски проглотив подступивший к горлу комок, снова заговорил дрогнувшим голосом, не отводя пристального взгляда от окна:

— Так вот! Все кончено. Праздник кончился. Можете пойти и сказать им об этом. Я вернулся один. Моя невеста не придет. Из-за своей мнительности, из-за боязни, из-за неверия... Впрочем, сударь, я вам все объясню...

Но он не мог продолжать; лицо его исказилось. Он так ничего и не объяснил. Резким движением отвернувшись от Мольна, он стал в темноте выдвигать и задвигать ящики с бельем и книгами.

— Я должен подготовиться к отъезду. Пусть мне никто не мешает.

Он стал выкладывать на стол всякие вещи, дорожный несессер, пистолет...

И Мольн, в полном смятении, вышел, не посмев ни заговорить с ним, ни пожать ему руку.

А внизу все уже словно почувствовали, что произошло что-то недоброе. Почти все девушки переоделись в свои обычные платья. Ужин в главном здании начался, но проходил беспорядочно, в спешке, как перед отъездом в дальнюю дорогу.

Между большой столовой и комнатами верхнего этажа, между замком и конюшнями непрерывно сновали гости. Те, кто уже поужинал, собирались группами и прощались друг с другом.

— Что здесь происходит? — спросил Мольн у деревенского паренька в фетровой шляпе, который торопился закончить еду, прикрыв жилет салфеткой.

— Мы уезжаем. Все как-то сразу решили. К пяти часам мы оказались одни, без хозяев. Ждать дольше было бесполезно. Стало ясно, что жених с невестой не придут. Кто-то сказал: «А не уехать ли нам?..» И все начали собираться в дорогу.

Мольн ничего не ответил. Теперь и ему, пожалуй, можно уезжать. Разве не завершилось его приключение?.. Разве не добился он всего, чего желал? Он еще не имел времени спокойно обдумать чудесный утренний разговор. Сейчас ему оставалось одно — уехать. Но скоро он вернется сюда — на этот раз открыто, без всякого плутовства...

— Если вы хотите ехать вместе с нами, поторопитесь, — продолжал сосед, который, казалось, был ровесником Мольна. — Мы сейчас запягаем.

Оставив едва начатый ужин и даже не позаботившись о том, чтобы рассказать гостям то, что он узнал, Мольн со всех ног помчался к себе в комнату. Парк, сад и двор были погружены в глубокий мрак. В окнах уже не горели фонари. Но поскольку эта трапеза все же могла сойти за последнюю церемонию, завершающую свадебные торжества, кое-кто из гостей, подвыпив, решил затянуть песню. Уходя все дальше от главного здания, Мольн слышал, как в парке, который в эти два дня был полон очарования и видел столько чудес, звучали теперь кабацкие напевы. Это было началом беспорядка и опустошения. Мольн прошел мимо рыбного садка, где еще сегодня утром вглядывался он в свое отражение. Как все успело перемениться... И все из-за этой подхваченной многими голосами песни, обрывки которой долетели до него:

Ах ты, распутница, где ты была?  
Разорван твой чепчик,  
Растрепаны косы...

И еще одной:

Красные туфли мои...  
Прощай же, моя любовь...  
Красные туфли мои...  
Тебе не вернуться вновь...

Когда Мольн подошел к своему стоящему на отлете жилищу, кто-то быстро сбежал вниз по лестнице, толкнул его в темноте, сказал: «Прощайте, сударь!» — и, кутаясь в свою накидку, словно его пробирал холод, исчез. Это был Франц де Гале.

Свеча, которую Франц оставил в своей комнате, еще горела. Всюду был такой же порядок. Только на столе, на видном месте, лежал листок почтовой бумаги. На нем было написано:

«Моя невеста скрылась; она просила мне передать, что не может быть моей женой, что она швея, а не принцесса. Я не знаю, что делать. Я ухожу. Мне больше не хочется жить. Пусть Ивонна простит мне, что я не попрощался с ней, но она ничем не могла бы мне помочь...»

Свеча догорела до конца, язычок пламени заморгал, затрепетал и погас. Мольн вернулся в свою комнату и

закрыв дверь. Несмотря на темноту, он узнавал каждый из предметов, которые сам аккуратно расставил по местам совсем недавно, когда в комнате было еще светло, а на сердце радостно. Вещь за вещь собрал он свой жалкий старый костюм, начиная с тяжелых башмаков и кончая грубым поясом с медной пряжкой. Быстро, но в какой-то рассеянности он разделся и оделся снова, сложил на стуле праздничный костюм. Тогда-то он и перепутал жилеты...

Под окном, на каретном дворе, поднялась возня. Люди кричали, тянули и толкали повозки, каждый хотел поскорее вытащить свою из общей кучи, в которой все безнадежно перемешалось. Время от времени то один, то другой возница влезал на козлы экипажа, на брезентовый верх двуколки и поводил вокруг фонарем. Свет ударял в окно, на миг вокруг Мольна, в комнате, ставшей для него такой привычной, снова все оживало... Он вышел и прикрыл за собой дверь — так он покинул таинственное место, куда ему, видно, не суждено больше вернуться.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ СТРАННЫЙ ПРАЗДНИК

(Окончание)

Была уже темная ночь, когда вереница повозок медленно покатила к деревянной ограде. Человек, завернувшийся в козью шкуру, шел впереди с фонарем в руке и вел под уздцы лошадь первой упряжки.

Мольн торопился сесть в чей-нибудь экипаж. Он торопился уехать. В глубине души он опасался, что окажется один в усадьбе и обман его будет раскрыт.

Когда он подошел к главному зданию, возницы кончали размещать поклажу в последних повозках. Прикидывая, как лучше расположить сиденья, они высаживали пассажиров, и девушки, закутанные в платки, с трудом поднимались со своих мест, одеяла и шали падали к их ногам, видны были встревоженные лица тех, кто наклонял голову в сторону фонарей.

В одной из повозок Мольн увидел молодого крестьянина, который недавно предлагал подвезти его.

— Можно мне с вами? — крикнул ему Мольн.

— Тебе куда ехать, паренек? — ответил тот, не узнавая Мольна.

— В сторону Сент-Агата.

— Тогда спроси Маритена, может, у него найдется место.

И юноша стал искать среди задержавшихся путешественников этого неведомого Маритена. Наконец ему сказали, что Маритен на кухне — поет песни в компании пьяниц.

— Это гуляка, — сказали Мольну. — Он тут до трех часов засидится.

И Мольн вдруг представил себе, что охваченная тревогой и горем девушка будет до глубокой ночи слышать, как разносятся по усадьбе песни пьяных крестьян. В какой комнате она живет? Где, в каком из этих таинственных строений ее окно? Но нет, задерживаться бессмысленно. Нужно ехать. Когда он вернется в Сент-Агат, все станет проще: он уже не будет беглым школьником, он снова сможет думать о юной хозяйке замка.

Повозки отъезжали одна за другой, колеса скрипели по песку широкой аллеи. Видно было, как экипажи поворачивают и исчезают в ночи, увозя закутанных женщин и дремлющих детей в шальях и платках. Вот проехала большая двуколка, за ней шарабан, битком набитый женщинами, а Мольн все стоял в замешательстве на пороге дома. И вот уже осталась во дворе одна только старая дорожная берлина, на козлах которой сидел крестьянин в блузе.

— Можете садиться, — ответил он на объяснения Огюстена, — мы едем в этом же направлении.

Мольн с большим трудом открыл дверцу древней колымаги — задрожали стекла, скрипнули петли. В углу кареты, на скамейке, спали двое малышей, мальчик и девочка. От шума и от холода они проснулись, открыли сонные глаза, забились, дрожа, поглубже в угол и снова заснули...

Старая карета тронулась. Мольн, стараясь не шуметь, закрыл дверцу, осторожно пристроился в другом углу и, прикинув к окну, стал жадно всматриваться в ночной мрак, пытаясь запомнить дорогу и места, которые он покидал. Несмотря на темноту, он угадывал, что карета пересекла двор и сад, проехала мимо лестницы,

которая вела в его комнату, миновала ворота и, оставив усадьбу позади, углубилась в лес. Смутно чернея в темноте, вдоль оконного стекла пробегали стволы старых елок.

«Может быть, мы встретим Франца де Гале»,— подумал Мольн, и сердце его забилося сильнее.

Вдруг карета резко свернула в сторону, объезжая препятствие, неожиданно возникшее перед ней на узкой дороге. Насколько можно было угадать в ночной тьме, это был, судя по форме и внушительным размерам, большой фургон, брошенный чуть ли не на самой середине дороги; должно быть, он стоял здесь, неподалеку от усадьбы, с самого начала праздника.

Фургон остался позади, лошади опять пошли рысью, Мольн продолжал устало смотреть в окно, тщетно стараясь хоть что-нибудь разглядеть в окружающем мраке, как вдруг в глубине леса блеснула яркая вспышка и раздался выстрел. Лошади помчались галопом, и Мольн сначала не мог понять, пытается ли кучер в блузе их удержать, или, наоборот, нахлестывает все сильнее. Мольн хотел отворить дверцу. Ручка была снаружи, и после безуспешных попыток опустить стекло он стал трясти его... Дети проснулись и молча, в страхе жались друг к дружке. Приблизив лицо к самому стеклу, Мольн продолжал толкать дверцу и вдруг на повороте дороги увидел бегущую белую фигуру. Это был высокий пьеро с праздника, бродяга в маскарадном костюме, он бежал, как безумный, прижимая к груди неподвижное человеческое тело. Потом все исчезло.

Карета мчалась галопом в ночи, дети снова уснули. С кем поделиться, кому рассказать о таинственных событиях этих двух дней? Юноша еще долго перебирал в памяти все, что довелось ему увидеть и услышать, пока наконец, побежденный усталостью, с тяжелым сердцем, словно опечаленный ребенок, тоже не погрузился в сон...

...Было еще темно, карета стояла посреди дороги, когда Мольна разбудил чей-то стук по стеклу. Возница с трудом открыл дверцу, холодный ночной ветер проникнул до костей.

— Вам нужно выйти здесь,— крикнул возница.— Светает. Сейчас мы свернем на проселок. А вам отсюда уже недалеко до Сент-Агата.

Полусогнувшись, Мольн машинальным движением шарил вокруг в поисках фуражки, которая закатилась в самый дальний и темный угол кареты, под ноги спящих детей, потом, наклоняя голову, он вылез на дорогу.

— Ну, до свиданья,— сказал человек, снова взбираясь на козлы.— Вам осталось не больше шести километров. Смотрите, вон там, на обочине — дорожный знак.

Засыпая на ходу, наклонившись вперед, тяжелым шагом Мольн дошел до столба с указателем и опустился на землю, уронив голову на руки, словно собирался опять уснуть.

— Э, нет! — закричал возница.— Здесь спать нельзя. Вы замерзнете. Ну, ну, вставайте, разомнитесь немножко!..

Шатаясь, как пьяный, засунув руки в карманы и втянув голову в плечи, Мольн зашагал по дороге на Сент-Агат, а старая колымага — этот последний свидетель загадочного праздника — свернула с посыпанной гравием дороги и, бесшумно покачиваясь, поехала по заросшему травой проселку. Скоро она скрылась из глаз, и только шапка возницы прыгала еще вдали над колымаги изгороди...







## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### ВОЛЬШАЯ ИГРА

Сильные ветры и холода, непрерывные дожди и снегопады, невозможность во время учебного года затевать сколько-нибудь длительные поиски — все это вынуждало нас с Мольном дожидаться конца зимы, и мы с ним даже не заговаривали о Затерянном Поместье. Разве можно было предпринять что-нибудь серьезное в эти короткие февральские дни, в эти четверги<sup>1</sup>, пронизанные яростными порывами ветра и неизменно, часам к пяти вечера, завершавшиеся холодным дождем.

Ничто не напоминало нам о приключении Мольна, если не считать того странного факта, что со дня его возвращения у нас не стало больше друзей. Те же игры, что и прежде, затевались во время перемен, но Жасмен не разговаривал теперь с Большим Мольном. По вечерам, лишь только заканчивалась уборка класса, двор сразу пустел, как во времена моего одиночества, и я видел, как мой товарищ неприкаянно бродит между садом и навесом, между двором и столовой.

По четвергам мы с Мольном устраивались с утра за учительскими столами в классных комнатах и читали Руссо и Поля-Луи Курье, которых мы отыскивали в стеллах шкафов, между учебниками английского языка и переписанными от руки нотами. После обеда, спасаясь от очередного визита соседей, мы ускользали из гости-

---

<sup>1</sup> По четвергам во французских школах не было занятий.

ной и опять возвращались в школу... Иногда мы слышали, как группы старших учеников словно случайно останавливаются у школьной ограды, играя в какие-то таинственные военные игры, колотят в ворота, а потом уходят восвояси... Такая тусклая жизнь продолжалась до конца февраля. Я начинал уже думать, что Мольн обо всем забыл, но одно происшествие, еще более странное, чем все остальные, доказало мне, что я ошибаюсь и под хмурой пеленой этих зимних будней назревает бурный конфликт.

Однажды вечером, в самом конце месяца, как раз в четверг, и дошла до нас первая весть о загадочном Поместье — первая волна, вызванная приключением, о котором мы с Мольном давно уже перестали говорить. В доме еще никто не ложился. Дедушка с бабушкой уехали, с нами оставались только Милли и отец, которые, конечно, и не подозревали о глухой вражде, разделившей класс на два лагеря.

В восемь часов Милли открыла дверь, чтобы выбросить во двор оставшиеся после ужина крошки, и вдруг вскрикнула с таким удивлением, что мы все быстро подошли к двери. На пороге лежал слой снега... Было совсем темно, и я сделал несколько шагов по двору, чтобы посмотреть, глубока ли снег. Я чувствовал легкое прикосновение снежных хлопьев, тут же таявших на моем лице. Но мне приказали сейчас же вернуться в дом, и Милли, вяко поводя плечами, закрыла дверь.

В девять часов мы собирались ложиться; мать взяла уже в руку лампу, чтобы подняться наверх, как вдруг мы отчетливо услышали два сильных удара в ворота на противоположном конце двора. Милли снова поставила лампу на стол, и мы все, застыв посреди комнаты, стали напряженно прислушиваться.

Нечего было и думать о том, чтобы выйти наружу, взглянуть, что происходит. Лампа погасла бы раньше, чем мы успели бы пройти половину двора, и стекло наверняка бы разбилось. Несколько секунд стояла полная тишина, и мой отец уже начал было говорить, что «это, несомненно...» — но тут под самым окном столовой, которое, как я уже упоминал, выходило на дорогу к Ла-Гару, раздался свист, такой резкий и протяжный, что он, наверное, донесся до соборной улицы. И сразу

же за окном послышались пронзительные крики, чуть приглушенные стеклами:

— Тащите его сюда! Тащите его!

Кричавшие, вероятно, подтянулись на руках к самому окну, ухватившись за наружные выступы наличника. В ответ с другого конца здания раздались такие же вопли; очевидно, другая группа нападавших, пройдя по полю папаши Мартена, перелезла через невысокую стену, отделявшую поле от нашего двора.

Потом истошные крики: «Тащите его!» — повторяемые хором в восемь-десять незнакомых, очевидно, нарочно измененных голосов, стали раздаваться то в одном, то в другом месте: то на крыше погреба, на которую, должно быть, они влезли по гряде хвороста, наваленной у наружной стены, то на округлой перемычке, которая соединяла навес с воротами и на которой было удобно усесться верхом, то на решетчатой ограде со стороны ла-гарской дороги — на нее тоже нетрудно было забраться... Наконец еще одна запоздалая группа появилась в саду и исполнила ту же самую сарабанду, только на этот раз они вопили:

— На abordаж!

Эхо их криков гулко отдавалось в пустых классах, в которых они распахнули окна.

Мы с Мольном так хорошо знали все углы и закоулки нашего большого дома, что очень ясно, как на чертеже, представляли себе все места, через которые могли нас атаковать эти незнакомцы.

Говоря по правде, мы испугались только в первый миг. Когда прозвучал свист, мы все четверо одновременно подумали, что на нас напали бродяги или цыгане. И в самом деле, уже недели две как на площади, позади церкви, поставил свой фургон долговязый детина подозрительного вида и с ним другой, помоложе, с забинтованной головой. А у кузнецов и тележных мастеров прибавилось много подручных, пришедших из чужих мест.

Но как только нападавшие стали кричать, мы тут же убедились, что имеем дело с жителями городка, и, скорее всего, с местной молодежью. Больше того, в толпе, которая бросилась на штурм нашего дома, как пираты на abordаж корабля, наверняка были и мальчишки — мы сразу узнали в общем хоре их пронзительные голоса.

— Ну вот, только этого не доставало! — вскричал мой отец.

А Милли спросила вполголоса:

— Но что же все это значит?

Тут голоса у ворот и у решетки внезапно замолкли, потом так же внезапно стих шум под окнами. У самого дома кто-то дважды свистнул. Крики тех, кто вскарабкался на погреб, и тех, кто наседали со стороны сада, стали затихать, потом совсем прекратились; мы услышали, как вся толпа поспешно обратилась в бегство и пронеслась вдоль стены нашей столовой; глубокий снег приглушал их топот.

Было очевидно, что кто-то их спугнул. Они рассчитывали, что в этот поздний час, когда все спит, им удастся безо всяких помех совершить нападение на наш дом, одиноко стоящий на самой окраине городка. Но кто-то нарушил этот план военных действий.

Едва мы успели прийти в себя — атака была проведена внезапно, по всем правилам военного искусства! — и только собрались выйти во двор, как за калиткой послышался знакомый голос, повторявший:

— Господин Сэрель! Господин Сэрель!

Это был г-н Паскье, мясник. Толстый маленький человек обтер на пороге свои сабо, отряхнул запорошенную снегом короткую блузу и вошел. У него был лукавый и вместе с тем растерянный вид человека, которому только что удалось проникнуть в самую суть какого-то весьма загадочного дела.

— Выхожу я во двор — знаете, со стороны площади Четырех дорог, — собираюсь в хлев козлят вапереть и вдруг вижу: стоят на снегу два больших парня — стоят будто на часах или подкарауливают кого. Возле креста стоят. Подхожу я поближе. Не успел сделать и двух шагов — хлоп! — оба срываются с места и скачут галопом прямо к вашему дому. Ах, вот оно что! Я ни минуты не раздумывал, взял свой фонарь и сказал себе: «Пойду все расскажу господину Сэрелю!..»

И он опять начинает с самого начала: «Выхожу я на свой задний двор...» Тут ему предлагают рюмочку наливки, он не отказывается, и у него начинают выяснять подробности, которых он не знает.

Он ничего не заметил, когда подходил к дому. Нападающие, предупрежденные об опасности двумя часо-

выми, тотчас разбежались. Что касается того, кто же эти часовые...

— Может, это те бродяги,— высказывает он предположение.— Вот уже почти месяц, как они торчат на площади,— всё ждут хорошей погоды, чтоб сыграть свою комедию. И, уж конечно, не прочь устроить какую-нибудь пакость.

Все это ни на шаг не продвинуло нас вперед; в полнейшем недоумении стояли мы вокруг г-на Паскье, который смаковал наливку и, жестикулируя, снова и снова рассказывал нам свою историю. Тогда Мольн, до сих пор внимательно слушавший, поднял с пола фонарь мясника и сказал решительным тоном:

— Нужно пойти посмотреть!

Он открыл дверь и вышел; мы — г-н Сэрель, г-н Паскье и я — двинулись за ним следом.

Милли уже успокоилась, потому что нападавшие убежали, к тому же она, как все педантичные и уважающие порядок люди, не отличалась любопытством; она заявила:

— Идите, если вам так хочется. Только закройте дверь и возьмите с собой ключ. А я иду спать. Лампу я тушить не буду.

## ГЛАВА ВТОРАЯ МЫ ПОПАДАЕМ В ЗАСАДУ

В полнейшей тишине шли мы по снегу. Мольн шагал впереди, от его защищенного сеткой фонаря во все стороны веером расходились лучи... Едва мы вышли за ворота, как из-за городских общественных весов, стоявших у самого нашего забора, выскочили, словно спугнутые куропатки, два каких-то субъекта в капюшонах. На бегу они выкрикнули несколько слов, прерываемых смехом,— я так и не понял, звучала ли в их словах насмешка, или азарт затеянной ими странной игры, или просто нервное возбуждение и боязнь, что их могут догнать.

Мольн опустил свой фонарь на снег и крикнул мне:  
— Франсуа, не отставай!..

Оставив позади своих спутников — возраст не позволял им участвовать в подобных забегах,— мы с Моль-



ном кинулись вдогонку за двумя теньями, которые, пробежав немного по дороге на Вьей-Планш, обогнули нижнюю часть городка и стали подниматься по улице, ведущей к церкви. Они бежали размеренно, неторопливой трусцой, и мы без особого труда двигались в том же темпе. Они пересекли соборную улицу, погруженную в сон, и, обогнув кладбище, углубились в лабиринт переулков и тупиков.

Этот квартал, где жили поденные рабочие, швеи и ткачи, носил название Закоулков. Мы довольно плохо знали эти места и никогда не заглядывали сюда ночью. Здесь и днем-то бывало не слишкомлюдно, — поденщики уходили на работу, ткачи запирались в своих мастерских, — но сейчас среди мертвой ночной тишины Закоулки казались совсем заброшенными и пустынными. Тут было еще более тихо, чем в других кварталах городка. И нам не приходилось рассчитывать на чью-либо помощь.

Среди всех этих домишек, разбросанных как попало, словно картонные коробочки, я знал только одну дорогу — ту, что вела к дому швеи по прозвищу Немая. Сначала надо было спуститься по довольно крутому склону, местами вымощенному каменными плитами, потом, после двух-трех поворотов, пройдя между маленькими двориками ткачей и заброшенными конюшнями, вы попадали в широкий тупик, который упирался в забор давно пустовавшей фермы. Я приходил к Немой вместе с моей матерью, и, пока они вели на пальцах молчаливую беседу, прерывавшуюся иногда только короткими выкриками несчастной калеки, я смотрел в окно на высокие стены фермы, последней постройки с этой стороны предместья, на запертые ворота и на пустой двор, где не было видно даже охапки соломы и куда с давних пор никто не заходил...

Именно по этой дороге и побежали двое незнакомцев. При каждом повороте мы боялись потерять их из виду, но, к моему удивлению, мы всякий раз добежали до следующего угла, прежде чем они успевали скрыться за ним. Я говорю «к моему удивлению», потому что все эти улочки были короткие и мы бы давно потеряли беглецов, если бы они каждый раз нарочно не замедляли шаги.

Наконец они уверенно повернули на улицу, которая вела к дому Немой, и я крикнул Мольну!

— Ну, теперь они у нас в руках: это тупик!

Говоря по правде, это мы были у них в руках... Они завели нас туда, куда им было нужно. Добежав до стены, оба решительно повернулись к нам лицом, и один из них засвистал тем самым свистом, который мы уже дважды слышали в этот вечер.

И сразу же с десяток парней выскочили на улицу из двора заброшенной фермы, где они, как видно, все это время поджидали нас. Все были в капюшонах и скрывали свои лица под шарфами...

Мы и раньше догадывались, кто это, но твердо решили ничего не говорить г-ну Сэрлею, потому что наши дела его не касались. Здесь были Делюш, Дени, Жирода и вся остальная компания. Завязалась драка, и мы сразу узнали их по ухваткам и отрывистым выкрикам. Но я видел, что Мольна тревожило и чуть ли не пугало другое: здесь находился человек, нам незнакомый, — он-то, судя по всему, и был вожаком этой банды...

Он не трогал моего товарища, он только смотрел на своих дерущихся солдат, которым приходилось довольно туго, — топчась в снегу, они остервенело бросались на тяжело дышавшего Мольна, и одежда на многих из них уже висела клочьями. Двое занялись мною и лишь с большим трудом одолели меня, потому что я отбивался как черт. Они крепко держали меня сзади за руки, а я стоял на коленях в снегу и со жгучим любопытством, к которому примешивался страх, смотрел на поле битвы.

Вот Мольн отделался от четырех молодцов из нашей школы, вцепившихся было в его блузу: он круто повернулся и со всего размаха отшвырнул их в снег... А незнакомец продолжал невозмутимо стоять на месте и с интересом, но совершенно спокойно наблюдал за сражением, время от времени отчетливо повторяя:

— Так... Смелее... Ну-ка, еще разок... Go on, my boys...<sup>1</sup>

Было очевидно, что он здесь главарь... Но откуда он взялся? Как удалось ему втянуть их в драку? Все это пока оставалось для нас загадкой. Как и остальные, он

<sup>1</sup> А ну-ка, мальчики (англ.).



прятал лицо в шарф, но когда Мольн, освободившись от своих противников, шагнул к нему с угрожающим видом, незнакомец, завидев опасность и желая лучше разглядеть обстановку, сделал резкое движение, и мы увидели полоску белой материи, которой была перевязана его голова.

В этот момент я крикнул Мольну:

— Берегись! Сзади еще один!

Но не успел он обернуться, как из-за забора, к которому Мольн стоял спиной, выскочил, точно вырос из-под земли, длинный детина и, ловко накинув шарф на шею моего друга, опрокинул его навзничь. Тотчас четверо противников Мольна, которых он только что швырнул носом в снег, снова накинулись на него, скрутили ему руки веревкой, а ноги шарфом, и молодой главарь с перевязанной головой стал обыскивать его карманы... Незнакомец, подоспевший последним и заарканивший Мольна, зажег маленькую свечу, защищая ее ладонью от ветра, и главарь, извлекая из кармана пленника бумаги, осматривал каждую из них при свете этого огарка. Наконец он развернул ту самую испещренную пометками самодельную карту, над которой трудился Мольн со дня своего возвращения, и радостно закричал:

— На этот раз попался! Вот он, план! Вот он, путеводитель! Теперь мы посмотрим, в самом ли деле этот господин побывал там, где я думаю...

Его приспешник задул свечу. Подобрав со снега кто шапку, кто ремень, все исчезло в темноте так же бесшумно, как и появились. Я торопливо развязал своего товарища.

— Он не далеко уйдет по этому плану,— сказал Мольн, поднимаясь с земли.

И мы пошли медленным шагом, потому что Мольн немного прихрамывал. Недалеко от церкви нам повстречались г-н Сэрель и папаша Паскье.

— Вы кого-нибудь видели? — спросили они.— И мы никого...

Благодаря темноте они ничего не заметили. Мясник ушел, г-н Сэрель тоже заторопился домой спать.

А мы с Мольном, вернувшись в нашу комнату, долго еще сидели при свете лампы, которую оставила нам Милли, кое-как чинили наши разодранные куртки и, точно двое товарищей по оружию вечером после проигранного боя, тихо обсуждали странное происшествие...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### БРОДЯГА В ШКОЛЕ

На следующее утро мы с трудом подняли головы с подушек. В школу мы прибежали в последнюю минуту и в половине десятого, когда г-н Сэрель уже подал знак идти в класс, запыхавшись, стали в строй. Из-за опоздания нам пришлось занять первые попавшиеся места, хотя обычно Большой Мольн становился первым в этой длинной веренице нагруженных книгами, тетрадями и ручками школьников, которым г-н Сэрель устраивал придирчивый осмотр.

Меня удивила молчаливая поспешность, с какой нам освободили место в самой середине рядов. И пока г-н Сэрель, задерживая на несколько секунд начало уроков, осматривал книги и тетради Большого Мольна, я стал с любопытством вертеть головой направо и налево, чтобы разглядеть лица наших вчерашних врагов.

Первым, кого я заметил, был как раз тот, о ком я не переставал думать и кого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Он стоял на обычном месте Мольна впереди всех, поставив ногу на каменную ступеньку крыльца, прислонившись плечом с висевшей на спине сумкой к дверному косяку. Его тонкое, очень бледное, чуть тронутое веснушками лицо было обращено к нам и выражало любопытство, смешанное с легким презрением. Голова его и часть лица были перевязаны полотняным бинтом. Я узнал главаря шайки, молодого бродягу, обокравшего нас прошлой ночью.

Но вот мы вошли в класс и расселись по своим местам. Новый ученик сел возле столба, на левый край длинной скамьи, на которой первым справа был Мольн. Жирода, Делюш и трое других учеников, сидевших на этой скамейке, потеснились, освобождая новичку место, словно они обо всем договорились заранее.

Бывало и прежде, что зимою к нам ненадолго забредали случайные ученики: лодочники, застрявшие в канале из-за неожиданных морозов, бродячие подмастерья, путешественники, которых задержал в пути снегопад. Они оставались в школе два-три дня, иногда месяц, редко больше. В течение первого часа они привлекали к себе общее любопытство, но очень скоро их

переставали замечать, и они растворялись в толпе обыкновенных учеников.

Но этот новичок был не из тех, кого легко можно забыть. Я до сих пор ясно вижу это удивительное существо и все необычайные сокровища, принесенные им в сумке за спиной. Прежде всего это оказались ручки «с видами», которые он достал, чтобы писать диктант. В них были крохотные глазки, заглянув в которые, можно было увидеть довольно тусклое и грубо выполненное изображение базилики Лурда или какого-нибудь другого, неизвестного нам здания. Он выбрал себе одну из этих ручек, а остальные тут же пошли гулять по классу. Потом на свет появился китайский пенал с циркулем и другими занятыми инструментами, которые тоже пошли вдоль левой скамьи, скрытно переходя из рук в руки, тихо скользя под партами, прячась от глаз г-на Сэреля.

За ними последовали книги, совсем новые, знакомые мне лишь по названиям, которые я с таким вожделием читал на обороте обложек книг нашей небогатой библиотеки: «Земля дроздов», «Скала чаек», «Мой друг Бенуа»... Положив на колени эти неизвестно где добытые, может быть, просто украденные тома, школьники перелистывали их одной рукой, ухитряясь одновременно писать диктант. Другие вертели циркулями внутри парт. Третьи, улучив момент, когда г-н Сэрель, шагая от кафедры к окну и продолжая диктовать, поворачивался к классу спиной, закрывали один глаз, а другим пытались разглядеть сине-зеленый, покрытый трещинами Собор Парижской Богоматери. А странный ученик, с пером в руке, выделяясь своим тонким профилем на фоне серого столба, весело подмигивал, довольный всей этой завязавшейся вокруг него тайной игрой.

Однако понемногу класс забеспокоился. Передававшиеся по рукам предметы доходили один за другим до Большого Мольна, который, не глядя, с видом полного пренебрежения, складывал их возле себя. Скоро рядом с ним выросла целая куча симметрично разложенных разноцветных вещей, точно у ног женщины, представляющей на аллегорических картинках Науку. Господин Сэрель неизбежно увидит эту необычную выставку и заметит возню под партами. Впрочем, он наверняка

учинит допрос о событиях минувшей ночи. Присутствие бродяги только поможет добраться до истины...

И действительно, г-н Сэрель скоро остановился в удивлении перед Большим Мольном.

— Кому все это принадлежит? — спросил он, указывая на «все это» корешком книги, в которой он заложил указательным пальцем нужную страницу.

— Понятия не имею, — ответил Мольн угрюмым тоном, не поднимая головы.

Но тут вмешался новичок.

— Это мое, — сказал он.

И добавил с широким и изящным жестом молодого вельможи, перед которым не смогло устоять сердце старого учителя:

— Но если вы хотите посмотреть, сударь, я предоставляю их в ваше полное распоряжение.

Тогда в одну секунду, бесшумно, точно боясь нарушить новые отношения, только что возникшие на наших глазах, весь класс с любопытством сгрудился вокруг учителя, склонившего над этими сокровищами свою курчавую лысеющую голову, и вокруг молодого бледного незнакомца, который спокойно, с торжествующим видом давал необходимые разъяснения. А Большой Мольн в полном одиночестве молча сидел на своей скамье, хмурил брови и, уставясь в черновую тетрадь, решал какую-то трудную задачу...

За этим занятием и застигла нас «четвертушка часа». Диктант так и не был закончен, в классе царил беспорядок. Честно говоря, перемена длилась с самого утра.

Когда в половине одиннадцатого ученики высыпали на мрачный и грязный двор, быстро обнаружилось, что играми верховодит новый вожак.

Из всех развлечений, которые бродяга в то утро ввел в наш обиход, мне запомнилось только одно, самое буйное и кровавое — своего рода рыцарский турнир, в котором лошадьми были старшие ученики, а всадниками — младшие, вскарабкавшиеся к ним на плечи. Разделившись на две группы, двигаясь с противоположных концов двора, они набрасывались друг на друга и старались сильным ударом свалить противника на землю;

используя свои шарфы как лассо и вытянув вперед руки, как копыта, всадники выбивали друг друга из седла. Иногда, стремясь избежать удара, всадник терял равновесие, шлепался в грязь и оказывался под копытами своего коня. Иным из наездников, наполовину выбитым из седла, удавалось, вцепившись в ноги своей лошади, снова взобраться на нее верхом. Усевшись на плечи долговязого Делажа, у которого были непомерной длины руки и ноги, рыжие волосы и оттопыренные уши, стройный всадник с забинтованной головой подзадоривал обе воюющие армии и с громким хохотом ловко управлял своим конем.

Засунув руки в карманы, Огюстен поначалу хмуро смотрел с крыльца на игру. Я в нерешительности стоял рядом с ним.

— Ну и хитрец, — процедил он сквозь зубы. — Сражу же, с утра, прийти прямо сюда — ведь это единственный способ остаться вне подозрений. И г-н Сэрель попался на его удочку!

Он довольно долго стоял так, подставив ветру свою стриженую голову и что-то бурча по адресу фигляра, который заставил этих парней избивать друг друга — парней, чьим предводителем еще так недавно был он, Мольтн. И я, вообще ненавидевший всякие драки, был полностью согласен со своим товарищем.

А во всех углах двора, пользуясь отсутствием учителя, школьники продолжали сражение. Самые маленькие тоже стали влезать верхом друг на друга, они носились по двору и, не дожидаясь удара противника, летели кубарем на землю... Скоро все сплелось в один яростно крутящийся клубок, в котором время от времени мелькала белая повязка нового жоака.

И тут Большой Мольтн не выдержал. Он нагнул голову, уперся руками в бедра и крикнул мне:

— Пошли, Франсуа!

Это внезапное решение застигло меня врасплох, но я, не колеблясь, вскочил ему на плечи; через секунду мы были уже в самой гуще схватки, а большинство бойцов в растерянности удирало, крича:

— Вот он, Мольтн! Большой Мольтн!

Окруженный немногочисленной группой тех, кто не захотел выбывать из игры, Мольтн завертелся волчком, говоря мне:

— Вытяни руки! Хватай их, как я вчера ночью!..

Опьяненный битвой, уверенный в победе, я хватал мальчишек направо и налево, а они отбивались, тщетно пытались удержаться на плечах старших учеников и летели в грязь. В одно мгновение все были сбиты с ног, и только новичок продолжал держаться верхом на Делаже. Но тому, видно, совсем не улыбалось вступать в драку с Огюстеном, он резко выпрямился и заставил бледного всадника прыгнуть на землю.

Положив руку на плечо Делажа, словно военачальник, который держит в поводу своего коня, юноша в белой повязке посмотрел на Большого Мольна с некоторой опаской и с откровенным восхищением.

— Ну и здорово! — сказал он.

Но тут прозвенел звонок, и школьники, которые собрались вокруг нас в предвкушении интересной сцены, побежали в класс. Мольн, досадуя, что не смог сбросить своего врага на землю, повернулся к нему спиной и зло сказал:

— Отложим до следующего раза!

В этот день занятия проходили так, словно назавтра должны были начаться каникулы: уроки до самого полудня прерывались оживленными беседами, и юный бродячий актер находился в центре общего внимания.

Он объяснял, что, застигнутые холодами, они вынуждены были остановиться на городской площади и что устраивать вечерние представления не имело никакого смысла: все равно здесь никто бы на них не пришел; что он решил пока посещать школу, чтобы как-нибудь заполнить день, а его спутник в это время будет занят своими попугаями и дрессированной козой. Потом он рассказывал, как они путешествовали по окрестным местам, как худая цинковая крыша фургона протекала во время дождей и как им то и дело приходилось, соскочив на дорогу, толкать фургон в гору. Ученики на задних партах вставали с мест и подходили поближе, чтобы послушать его рассказ. Те, кто был равнодушен к подобной романтике, использовали эти минуты, чтобы погреться у печки. Но даже их в конце концов разбирало

любопытство, и они приближались на шаг к шумной группе, приелушиваясь, но не отнимая руки от печки, чтобы не потерять своего места.

— А на какие средства вы живете? — спросил г-н Сэрель, который слушал все это со свойственным ему почти детским любопытством и задавал множество вопросов.

Юноша ответил не сразу, точно ему до сих пор не приходилось задумываться над такими мелочами.

— Я думаю, на те деньги, которые мы заработали минувшей осенью. Хозяйством у нас занимается Ганаш.

Никто не спросил у него, кто такой Ганаш. Но я вспомнил про длинного верзилу, который вчера вечером предательски напал на Мольна свади и повалил его в снег...

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, В КОТОРОЙ ИДЕТ РЕЧЬ О ЗАГАДОЧНОМ ПОМЕСТЬЕ

После обеда уроки по-прежнему состояли из одних развлечений, и в классе царил все тот же беспорядок, все та же неразбериха. Бродяга принес с собой еще целую кучу драгоценных предметов, раковин, новых игр, песенок — и даже маленькую обезьянку, которая глухо скреблась внутри его сумки... Господину Сэрелю чуть ли не каждую минуту приходилось прерывать свои объяснения, чтобы взглянуть, что еще вытащил на свет божий из своего мешка этот хитрец. К четырем часам только один Мольн выполнил все задания.

Никто особенно не спешил уходить из класса. На этот раз словно стерлась та четкая грань между часами уроков и переменами, которая делает школьную жизнь такой же размеренной и простой, как смена дня и ночи. Мы даже забыли, что, по установившейся традиции, без десяти минут четыре нам нужно назвать г-ну Сэрелю имена двух дежурных, которые останутся после уроков для уборки класса. До сих пор мы никогда не пропускали этого маленького ритуала, который был для нас способом поторопить учителя, напомнить ему, что урок подходит к концу.

Случилось так, что в этот день дежурить должен был Большой Мольт, и еще утром в разговоре с бродягой я предупредил его, что вторым дежурным всегда назначается у нас новичок.

Мольт только перехватил кусок хлеба и сразу же вернулся в класс. Что касается бродяги, то он заставил себя довольно долго ждать и прибежал лишь тогда, когда уже начинало темнеть...

— Ты останешься в классе,— сказал мне мой товарищ,— я его буду держать, а ты отнимешь у него план, который он украл у меня.

Я сел с книжкой в руках на маленький стол возле окна, пытаюсь читать при последних отблесках угасавшего дня, а они молча передвигали парты— Большой Мольт, хмурый, с непроницаемым выражением лица, в черной блузе, застегнутой сзади на три пуговицы и перетянутой ремнем, и бродячий актер, хрупкий, нервный, с перевязанной головой, похожий на раненого солдата. Он был в старом пальто, разорванном во многих местах,— мне показалось, что днем этих дыр не было. Охваченный каким-то диким рвением, он с бешеной стремительностью приподнимал и толкал столы и при этом чуть заметно улыбался. Можно было подумать, что он играет в какую-то необыкновенную игру, суть которой понятна ему одному.

Постепенно они добрались до самого темного угла класса, чтобы передвинуть последний стол.

Здесь бы Мольту и повалить своего противника, и ни одна живая душа ничего не увидела бы в окно, никто ничего не услышал бы с улицы. Я не понимал, почему Мольт упускает такую прекрасную возможность. Ведь, вернувшись к двери, бродяга под тем предлогом, что работа закончена, в любую минуту сможет удрать, и мы больше его не увидим. И тогда план и все сведения, которые Мольт отыскивал, сопоставлял, собирал так долго и с таким трудом,— все будет для нас бесповоротно потеряно...

Каждую секунду я ждал от своего друга знака, движения, которые объявили бы мне о начале битвы, но Мольт хранил невозмутимое спокойствие. Лишь время от времени он бросал пристальные вопросительные взгляды на повязку бродяги, которая в сумраке надви-



гавшейся ночи казалась покрытой крупными черными пятнами.

Вот и последняя парта поставлена на место, а между Мольном и бродягой так ничего и не произошло.

Но в тот самый момент, когда оба они подошли к дверям, чтобы напоследок подмести пол у самого порога, Мольн, опустив голову и не глядя на нашего врага, проговорил вполголоса:

— У вас вся повязка в крови и одежда разорвана. Актер взглянул на него, не столько удивленный, сколько глубоко тронутый его словами.

— Они пытались,—ответил он,—отнять у меня ваш план—только что, здесь, на площади. Когда они узнали, что я хочу вернуться сюда убирать класс, они поняли, что я собираюсь заключить с вами мир. И они взбунтовались. Но я все равно его спас,—добавил он с гордостью, протягивая Мольну сложенный драгоценный листок.

Мольн медленно обернулся ко мне.

— Ты слышал? — сказал он.— Он дрался за нас, его ранили, а мы-то с тобой готовили ему здесь ловушку!

Потом, переходя на привычное для школьников «ты», он сказал:

— Ты настоящий товарищ,—и протянул ему руку.

Актер схватил ее и секунду стоял молча, в сильном волнении, словно не в силах произнести ни слова... Но тут же заговорил с живым любопытством:

— Так, значит, вы готовили мне ловушку? Вот забавно! Я догадался об этом и подумал: и удивятся же они, когда отнимут у меня этот план и увидят, что я дополнил его!

— Дополнил?

— О, не спешите радоваться... Дополнил не до конца...

Внезапно он оставил свой игривый тон и, подойдя к нам вплотную, сказал медленно и серьезно:

— Мольн, теперь я могу вам сказать, я тоже был там, где побывали вы. Я присутствовал на этом необыкновенном празднике. Когда школьники рассказали мне о вашем таинственном приключении, я сразу подумал, что речь идет о Затерянном Поместье. Чтобы убедиться

в этом, я выкрал у вас карту... Но я, так же как и вы, не знаю, как называется этот замок, я не смог бы туда вернуться,—я не знаю до конца дорогу, которая туда ведет.

С каким волнением, с каким страстным любопытством, с каким чувством дружбы слушали мы его! Мольн жадно забрасывал его вопросами... Нам казалось, что, если мы будем горячо настаивать, наш новый друг сможет рассказать даже то, чего он, по его словам, сам не знает...

— Вы увидите, вы увидите,—отвечал юноша с легкой досадой и смущением,—я внес в ваш план несколько указаний, которых вам не хватало... Это все, что я мог сделать.

Потом, видя, что мы полны восхищения и энтузиазма, он сказал с грустью и гордостью:

— О, я должен вас предупредить: я не похож на моих сверстников... Три месяца тому назад я хотел пустить себе пулю в лоб. Вот откуда эта повязка на голове, как у ополченца семидесятого года...

— И сегодня вечером, во время драки, рана открылась...— сказал Мольн с участием.

Но тот, не обращая внимания на слова Мольна, продолжал слегка напыщенным тоном:

— Я хотел умереть. И поскольку мне это не удалось, я продолжаю теперь жить только ради забавы, как ребенок, как бродяга. Я все покинул. У меня нет больше ни отца, ни сестры, ни дома, ни любви... Никого, кроме товарищей по играм!

— Эти товарищи уже успели вас предать,—сказал я.

— Да,—ответил он с живостью.—Но в этом виноват небезызвестный Делюш. Он догадался, что я собираюсь действовать заодно с вами. Вся банда была у меня в руках, а он ее развалил. Вы видели, как была организована, как прошла вчерашняя атака! Это, пожалуй, моя самая большая удача за последние годы...

Он задумался на миг и добавил, словно желая окончательно рассеять наши заблуждения на свой счет:

— Я пришел сейчас к вам потому, что с вами иметь дело гораздо интереснее, чем со всей этой шайкой, я еще утром в этом убедился. Противнее всех — Делюш.

Что за глупость — в семнадцать лет корчить из себя взрослого мужчину! Это в нем особенно мерзко. Но он еще попадетя к нам в руки, как вы думаете?

— Конечно,— сказал Мольн.— А вы еще долго у нас пробудете?

— Я и сам не знаю. Мне бы хотелось остаться подольше. Я страшно одинок. У меня никого нет, кроме Ганаша...

От его возбужденного, шутливового тона не осталось и следа. На какой-то момент он, видимо, погрузился в то беспросветное отчаянье, какое однажды уже привело его к попытке самоубийства.

— Будьте моими друзьями,— проговорил он внезапно.— Видите: я знал вашу тайну и отстоял ее от всех. Я могу навести вас на след, который вы потеряли...

И добавил почти торжественно:

— Будьте же моими друзьями в тот день, когда я снова окажусь на краю преисподней, как это со мной уже однажды случилось... Поклянитесь мне, что вы откликнетесь, когда я вас позову... когда я вас позову вот так (и он испустил странный крик, что-то вроде: «Уу-у»). Вы, Мольн, клянитесь первым!

И мы поклялись,— мы были еще детьми, и все то, что казалось нам торжественным и значительным, особенно привлекало нас.

— Взамен я могу вам сказать пока только одно: я укажу вам дом в Париже, где девушка из замка обычно проводит праздники — Пасху и Троицын день, а кроме того, весь июнь и иногда часть зимы.

В эту минуту в ночной тишине раздался незнакомый голос, кто-то несколько раз прокричал возле ворот. Мы поняли, что это Ганаш, бродяга, который не решался войти во двор или просто не знал, как это сделать. Голосом настойчивым и тревожным он кричал на разные лады, то очень громко, то совсем тихо:

— Уу-у! Уу-у!

— Говорите! Говорите скорей! — крикнул Мольн молодому бродяге, который вздрогнул и стал поправлять на себе одежду, собираясь уходить.

Юноша быстро назвал нам парижский адрес, и мы вполголоса повторили его. Потом, оставив нас в необычайном волнении, он убежал в темноту к поджидавшему его у ворот товарищу.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ЧЕЛОВЕК В ВЕРЕВОЧНЫХ ТУФЛЯХ

В ту же ночь, около трех часов, вдова Делюш, хозяйка постоялого двора, находившегося в центре городка, поднялась, чтобы затопить печь. Ее шурин Дюма, живший в ее доме, намеревался уехать по своим делам в четыре часа утра, и бедная женщина, у которой правая рука была изуродована давним ожогом, металась по темной кухне, торопясь приготовить кофе. Было холодно. Она накинула поверх своей кофты старый платок, потом, держа в одной руке зажженную свечу, а другой, увечной рукой, приподняв фартук, чтобы защитить пламя от ветра, пересекла двор, заваленный пустыми бутылками и ящиками из-под мыла, и открыла дверь деревянного сарая, служившего одновременно курятником, собираясь набрать щепок для растопки. Но не успела она распахнуть дверь, как кто-то выскочил из темной глубины сарая, сильным ударом фуражки, со свистом рассекшей воздух, погасил свечу, сбил добрую женщину с ног и бросился бежать под невероятный шум, поднятый перепуганными курами и петухами.

В своем мешке человек унес,— вдова обнаружила это несколько позже, когда пришла в себя,— добрую дюжину отборных цыплят.

На крики невестки прибежал Дюма. Он установил, что негодяй, чтобы проникнуть во двор, отпер отмычкой висевший на воротах замок и удрал тем же путем, не закрыв за собою ворот. Как человек, привыкший иметь дело с браконьерами и ворами, Дюма тотчас зажег фонарь своей повозки и, держа его в одной руке, в другую схватив ружье, побегал по следам грабителя, следам очень неясным,— очевидно, тот был обут в веревочные туфли; след привел Дюма к дороге на Ла-Гар и тут затерялся возле ограды какого-то луга. Вынужденный на этом прекратить свои поиски, он поднял голову, остановился... и услышал вдалеке, на дороге, шум упряжки, пущенной во весь опор и удалявшейся от него.

Сын вдовы, Жасмен Делюш, тоже встал и, торопливо накинув на плечи плащ с капюшоном, вышел в комнатных туфлях из дому, чтобы осмотреть окружающие улицы. Все спало вокруг, все было погружено в тот полный

мрак, в то глубокое молчание, которые предшествуют первым лучам рассвета. Дойдя до площади Четырех до-рог, он, как и его дядя, услышал где-то очень далеко, в стороне Риодского холма, шум телеги и бешеный галоп лошади. Парень хитрый и хвастливый, он рассказывал нам потом, невыносимо картавя на манер жителей пригородов Монлюсона:

— Я рассудил так: что же, может, эти-то и удрали к Ла-Гару, но кто сказал, что я не накрою других, если пошарю с другого края городка?

И он пошел по направлению к церкви, окруженный все той же ночной тишиной. В фургоне бродячих актеров на площади горел свет. Наверно, кто-то заболел. Делюш собирался подойти поближе и узнать, в чем дело, но в это время бесшумная тень, тень, обутая в плетеные туфли, выскользнула со стороны Закоулков и, не замечая Делюша, бегом направилась к фургону...

Жасмен, сразу узнавший Ганаша, внезапно вступил в полосу света и спросил вполголоса:

— Ну! Что случилось?

Тот остановился и, растерянный, взлохмаченный, беззубый, ответил тяжело дыша и с жалкой гримасой, выражавшей изнеможение и испуг:

— Мой товарищ заболел... Подрался вчера вечером, и у него опять открылась старая рана... Я ходил за сестрой.

И верно, когда Жасмен Делюш, так и не удовлетворив своего любопытства, возвращался домой спать, на встречу ему попала монахиня, спешившая в сторону площади.

Наутро многие жители Сент-Агата показались на порогах своих домов с распухшими от бессонной ночи глазами и измученными лицами. Слухи распространились с быстротой молнии, и городок охватило всеобщее негодование.

Оказалось, что возле дома Жирода часов около двух ночи остановилась двуколка; слышно было, как ее торопливо нагружали какими-то мешками, мягко падавшими друг на друга. В доме были только две женщины, в страхе они не смели пошевелиться. Когда рассвело,

они поняли, заглянув на птичий двор, что это были не мешки, а кролики и домашняя птица...

Во время первой перемены Милли нашла у дверей прачечной множество полуобгоревших спичек. Вероятно, воры не знали расположения нашего дома и не смогли в него войти... У Перре, у Бужардона и у Клемана недосчитались свиней; сначала решили, что их тоже украли, но потом обнаружилось, что свиньи разбрелись по соседним огородам, где мирно уничтожают салат и прочую зелень. Видимо, они воспользовались случаем и через раскрытые ворота отправились на ночную прогулку... Почти у всех была украдена домашняя птица, но на этом потери и кончались. Правда, госпожа Пиньо, булочница, которая не держала кур, весь день кричала, что у нее украли валеk для стирки белья и фунт синьки, но этот факт так и остался недоказанным и в протокол внесен не был...

Пересуды продолжались все утро; жители были растеряны и напуганы. В школе Жасмен рассказал о своем ночном приключении.

— Да, это ловкачи,— сказал он.— Но если моему дяде попадется хоть один из них, уж будьте уверены, он его подстрелит, как кролика!

И, глядя на нас, он добавил:

— Счастье еще, что Дюма не встретил Ганаша: с дяди случилось бы и выстрелить в него. Все они одного поля ягоды, говорит он, и Десень точно так же считает.

Однако никому и в голову не пришло в чем-то подозревать наших новых друзей. Лишь на другой день к вечеру Жасмен обратил внимание своего дяди на то, что Ганаш, как и вор, был обут в плетеные туфли. Они решили, что не мешало бы рассказать об этом в полиции, и под большим секретом договорились в первый же день отправиться в главный город кантона, чтобы предупредить жандармского начальника.

В следующие дни молодой бродяга, у которого боле-ла раскрывшаяся рана, не появлялся у нас.

Вечерами мы шли на церковную площадь и бродили вокруг фургона, глядя на свет лампы, горевшей за красной занавеской. Полные тревоги и возбуждения, мы стояли на площади, не смея приблизиться к жалкой хижине на колесах, казавшейся нам таинственным мостиком, преддверием страны, в которую мы не знали дороги.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### СПОР ЗА КУЛИСАМИ

За всеми треволениями этих дней мы не заметили, как наступил март и подули теплые ветры. Но на третий день после этих событий, выйдя утром на школьный двор, я вдруг понял, что пришла весна. Над стеной, окружавшей двор, струился ласковый, как нагретая вода, ветерок; бесшумный дождь омыл ночью листья пионов; в саду от свежеперекопанной земли исходил сильный запах, а на дереве, у самого окна, пробовала голос какая-то птица...

На первой же перемене Мольн завел разговор о том, что надо поскорее проверить, правилен ли маршрут, в который наш новый приятель внес свои уточнения. Мне стоило большого труда убедить Мольна подождать, пока мы не повидаемся еще раз с юным актером, пока окончательно не установится хорошая погода... Пока в Сент-Агате не зацветут сливовые деревья. Мы стояли, прислонившись к низкой садовой ограде, выходившей в переулок, стояли без шапок, заложив руки в карманы, и ветер то заставлял нас вздрагивать от холода, то, вдруг обдавая теплом, будил в нас неясное ощущение глубокого, ни с чем не сравнимого восторга. О мой брат, товарищ и спутник, как мы были тогда уверены, что счастье совсем рядом, стоит лишь отправиться в путь — и оно в наших руках!

В половине первого, во время обеда, мы услышали, как на площади Четырех дорог загрохотал барабан. Через секунду мы уже стояли у калитки, с салфетками в руках. Это Ганаш объявлял, что в восемь часов, «в случае хорошей погоды», на площади возле церкви состоится большое представление. На всякий случай, «чтобы уберечь публику от дождя», будет установлен навес. Далее следовал длинный перечень всевозможных аттракционов, и, хотя ветер доносил до нас далеко не все слова Ганаша, мы разобрали, что речь шла о «пантомимах... песнях... конных состязаниях...»; каждый пункт программы подчеркивался грохотом барабана.

Вечером, когда мы ужинали, огромный барабан, возвещавший начало представления, загремел под самыми нашими окнами, задрожали стекла. И скоро под жужжа-

ние разговоров к церковной площади потянулись небольшие группками жители предместий. А мы с Мольном, вынужденные оставаться за обеденным столом, стучали ногами от нетерпения.

Наконец около девяти часов возле калитки послышалось шарканье ног, приглушенный смех,— за нами пришли учительницы. В полной темноте мы гурьбой направились к месту спектакля. Еще издали мы увидели, что стена церкви освещена, словно рядом развели большой костер. У входа в балаган на ветру колыхались два зажженных кенкета...

Внутри, как в цирке, были расставлены амфитеатром скамьи. Господин Сэрель, учительницы и мы с Мольном уселись на лавки в самом низу. У меня и сейчас перед глазами этот зрительный зал, очень тесный, похожий на настоящий цирк, с большими темными полотнищами вместо стен, битком набитый публикой, среди которой виднеются булочница госпожа Пиньо, бакалейщица Фернанда, девушки из городка, кузнецы, дамы, мальчишки, крестьяне и много всякого прочего люда.

Уже прошло больше половины представления. На арене выступала дрессированная козочка; она послушно ставила ноги сначала на четыре стакана, потом — на два, потом — на один-единственный стакан. Ганаш тихонько отдавал ей приказания, чуть прикасаясь к ней палочкой и тревожно поглядывая на зрителей; рот его был открыт, глаза казались безжизненными.

Рядом с двумя другими кенкетами, освещавшими цирк изнутри, в той стороне, где арена сообщалась с фургоном, сидел на табуретке одетый в тонкое черное трико наш друг; он был здесь за главного. Его голову стягивала повязка.

Едва мы успели усесться, как на арену выскочил пони в красивой сбруе, и раненый юноша заставил его проделывать несколько кругов; когда от пони требовалось указать, кто из сидящих в зале всех любезней или храбрее, он всякий раз останавливался возле меня или Мольна; но если нужно было отыскать самую лживую, самую скупую или самую влюбленную особу, пони непременно замирая возле госпожи Пиньо. И вокруг нее поднимался смех, крик, гогот, как в стаде гусей, за которыми гонится спаниель...



Во время антракта наш приятель подошел к г-ну Сэрелю и заговорил с ним; окажись перед ним сам Тальма или Леотар, г-н Сэрель вряд ли испытал бы большую гордость... Мы с Мольном старались ни словечка не пропустить из этого разговора; циркач говорил, что его рана опять закрылась, что этот спектакль они готовили очень долго, в течение всей зимы, что они уедут от нас не раньше конца месяца, потому что рассчитывают дать здесь еще много новых разнообразных представлений.

Спектакль должен был закончиться большой пантомимой.

К концу перерыва наш друг отошел от нас; чтобы добраться до входа в фургон, ему пришлось пройти мимо группы зрителей, заполнивших арену, среди которых мы вдруг заметили Жасмена Делюша. Женщины и девушки расступились, чтобы дать актеру пройти. Они были в восхищении от его черного костюма, от повязки на лбу, от всего его необычного и мужественного вида. Что касается Жасмена, который, казалось, только что вернулся из какой-то дальней поездки и тихо, но взволнованно о чем-то говорил с госпожою Пиньо, то его, очевидно, больше пленили бы широченные брюки, витой кушак и распахнутый ворот... Он стоял, заложив большие пальцы за отвороты своего пиджака, и вся его фигура выражала одновременно замешательство и развязность. В тот самый миг, когда актер проходил мимо, Делюш весь передернулся и с досадой сказал громким голосом госпоже Пиньо что-то такое, чего я не расслышал, но что явно было оскорблением в адрес нашего друга. Должно быть, эти слова содержали угрозу, тяжкую и неожиданную, потому что юноша резко обернулся и взглянул на Делюша, а тот, стараясь скрыть свое смущение, ухмылялся и подталкивал локтем соседей, словно приглашая их принять его сторону... Все произошло очень быстро, в две-три секунды, и никто из сидевших со мной рядом, должно быть, ничего не заметил.

Актер прошел к своему товарищу за полог, закрывавший вход в фургон. Зрители вернулись на свои места, ожидая начала второго отделения, в цирке устанавливалась тишина. И тогда, под утихавший шумок последних фраз, которыми еще обменивался вполголоса кто-то из публики, за занавесом разгорелся бурный спор. Мы не разбирали слов, слышно было только, что спо-

рят двое — долговязый детина и молодой актер; первый что-то объяснял и оправдывался, второй с возмущением и горечью распекал его.

— Несчастный! Почему же ты раньше не сказал мне об этом!..— вскричал молодой человек.

Дальнейшего мы не разобрали, хотя все вокруг молча прислушивались. Внезапно за кулисами стало тихо: видимо, спорившие перешли на шепот. Мальчишки в задних рядах принялись кричать: «Фонари! Занавес!» — и топтать ногами.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### БРОДЯГА СНИМАЕТ ПОВЯЗКУ

Наконец из-за занавеса медленно выплыло лицо — изборожденное морщинами, с вытаращенными глазами, выражавшими не то радость, не то печаль, все усеянное облатками для запечатывания писем, — и показалась длинная нескладная фигура пьеро: скрючившись, словно у него болел живот, он шел на цыпочках, всем своим видом выражая крайний испуг, и непомерно длинные рукава его, свисая до самого пола, волочились по арене.

Я не смог бы сейчас восстановить в памяти содержание этой пантомимы. Я только помню, что, несмотря на все свои тщетные и отчаянные попытки удержаться на ногах, он упал. Напрасно старался он подняться на ноги — это было сильнее его, он падал. Падал непрерывно. Он спотыкался сразу о четыре стула. Падая, он увлекал за собой огромный стол, который перед тем внесли на арену. В конце концов он растянулся во весь рост, перевалившись через барьер, и улегся почти у ног зрителей. Два помощника, которых с трудом удалось завербовать среди публики, потащили его за ноги и ценой невероятных усилий придали ему вертикальное положение. При каждом новом падении он коротко вскрикивал, всякий раз меняя тон, и в его невыносимых выкриках смешивались отчаянье и радость. Под конец, взобравшись на гору наваленных друг на друга стульев, он совершил с огромной высоты ужасающе долгое падение, и, пока он летел оттуда, в зале непрерывно звучал его пронзительный, жалкий и вместе с тем торжествующий вопль, сливаясь с испуганными возгласами женщин.

Во второй части пантомимы «бедный падающий пьеро» вытащил из своего рукава маленькую куклу, набитую отрубями, и разыграл с нею целую трагикомическую сцену. В конце концов он заставил куклу выплюнуть изо рта все отруби, которыми был начинен ее живот. Потом, жалобно вскрикивая, стал наполнять ее жидкой кашей, и в момент, когда зрители, затаив дыхание и разинув рты, пялили глаза на липкую и раздутую дочку бедного пьеро, он вдруг схватил ее за руку и со всего размаху швырнул через головы публики прямо в лицо Жасмену Делюшу; кукла задела его за ухо и плюхнулась в живот госпожи Пиньо, предварительно проехавшись по ее подбородку. Булочница завопила истошным голосом, откинулась резким движением назад, все ее соседи сделали то же самое, лавка под ними подломилась, и булочница, вместе с Фернандой, с безутешной вдовой Делюш и добрыми двумя десятками других зрителей, рухнула на пол, задрав вверх ноги, под всеобщие крики, смех и аплодисменты, а долговязый клоун, лежавший ничком на земле, поднялся и с поклоном провозгласил:

— Дамы и господа, имеем честь поблагодарить вас за внимание!

Тогда-то среди оглушительного гомона Большой Мольн, который с самого начала пантомимы не проронил ни слова и, казалось, следил за ней со все усиливавшимся интересом, вдруг вскочил с места, схватил меня за руку и, словно не в силах больше сдерживаться, воскликнул:

— Взгляни на бродягу! Взгляни! Наконец-то я его узнал!

И, не успев поднять глаз, я уже догадался, в чем дело, словно эта мысль давно таилась во мне и только ожидала своего часа, чтобы вырваться наружу. Под кенкетом, у самого входа в балаган, стоял юный незнакомец — без повязки на лбу, в наброшенной на плечи пелерине. В неясном мерцании лампы, как в свое время при свете огарка, озарявшего комнату в Поместье, вырисовывался тонкий орлиный профиль его безусого лица. Бледный, с полуоткрытым ртом, он торопливо перелистывал маленький красный альбом, должно быть карманный атлас. Точно таким описывал мне Большой Мольн жениха из таинственного замка, и только шрам,

пересекавший висок и исчезающий в густой шевелюре, дополнял теперь его портрет.

Было ясно, что он снял повязку намеренно, желая, чтобы мы узнали его. Но не успел Большой Мольн вскочить с места и вскрикнуть, как юноша бросил на нас заговорщический взгляд, улыбнулся своей немного грустной улыбкой и вернулся в фургон.

— А другой-то! — возбужденно проговорил Мольн. — Как же я с самого начала не узнал его! Ведь это пьеро, который был на том празднике...

И Мольн стал пробираться между скамьями, направляясь к Ганашу. Но тот уже убрал подмости, соединявшие арену с залом, один за другим погасил все четыре кенкета, освещавшие цирк, и нам пришлось, нетерпеливо топая в темноте ногами, пробираться к выходу вместе с толпой зрителей, которая двигалась очень медленно между параллельными рядами лавок.

Оказавшись наконец снаружи, Большой Мольн кинулся к фургону, вскочил на подножку и постучал в дверь, но дверь была заперта. Видно, и в фургоне с занавесками на окнах, и в повозке, где помещались пони, коза и дрессированные птицы, все уже расположились на ночлег.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### ЖАНДАРМЫ!

Мы побежали догонять группу мужчин и женщин, возвращавшихся темными улицами к школьному зданию.

Теперь нам стало все понятно. Та высокая белая фигура, которую Мольн увидел из окна кареты в последний вечер праздника, — это был не кто иной, как Ганаш; он подобрал в лесу отчаявшегося жениха и бежал вместе с ним. Франц примирился с кочевым образом жизни, полным опасности, игр и приключений. Ему казалось, что снова вернулась к нему пора его детства.

До сих пор Франц де Гале скрывал от нас свое имя и притворялся, что не знает дороги в Поместье; видимо, он боялся, что его заставят вернуться в родительский дом. Но тогда почему в этот вечер он вдруг решил перед нами открыться, дал нам возможность его узнать и угадать всю правду?..

Каких только планов не строил Большой Мольн, пока толпа зрителей медленно растекалась по городку! Он решил, что завтра с утра — это будет четверг — он отыщет Франца. И они вдвоем отправятся туда, в замок! Ах, какой славный путь предстоит им по размытой дороге!.. Франц все объяснит, все уладится, и чудесное приключение возобновится на том самом месте, где оно было прервано...

Я шагал в темноте, и сердце мое билось от несказанного волнения. Все смешивалось в этом ощущении счастья: и легкое удовольствие от предвкушения четверга, и радость удивительного открытия, которое мы только что сделали; я радовался большой удаче, выпавшей на нашу долю. И, помнится, в неожиданном порыве великодушия я подошел к самой уродливой из дочерей нотариуса, с которой меня иногда заставляли идти под руку, что было для меня сущей пыткой, и по собственному почину протянул ей руку...

Горькие воспоминания! Тщетные, обманутые надежды!..

На другой день, когда мы с Мольном, оба в начищенных до блеска башмаках, в новых фуражках, с ярко сверкавшими пряжками на ремнях, вышли около восьми часов утра на церковную площадь, Мольн, который до этой минуты, поглядывая на меня, с трудом сдерживал счастливую улыбку, вдруг вскрикнул и кинулся бежать... На том месте, где еще вчера стояли балаган и повозки, валялись теперь лишь тряпки и черепки. Комедианты уехали...

Ветерок сразу стал ледяным. Мы шли по площади, и мне казалось, что мы вот-вот зацепимся ногами за булыжники мостовой и упадем. Мольн, словно обезумев, раза два порывался побежать то по дороге на Вье-Нансей, то по дороге на Сен-Лу-де-Буа. Он прикладывал ладонь козырьком ко лбу, он надеялся, что наши знакомцы еще не успели далеко уехать. Куда там! На площади перепутались следы десятка разных повозок, а дальше, на мерзлой почве, и вовсе ничего нельзя было разобрать. Нам по-прежнему оставалось только ждать и бездействовать.

А когда мы шли домой через озаренный утренним солнцем городок, на площадь галопом выехало четверо верховых жандармов, которых накануне вечером вызвал

Делюш; словно драгуны, посланные в разведку; разбились они по четырем улицам, перекрывая все выезды. Но похититель цыплят Ганаш и его спутник успели удражать. Жандармы не нашли ни его, ни тех незнакомцев, которые грузили в повозки придушенных Ганашем каплунов. Вовремя предупрежденный неосторожными словами Жасмена, Франц, должно быть, внезапно понял, каким ремеслом добывал для них обоих пропитание его приятель, когда касса бродячего цирка пустовала; охваченный стыдом и яростью, он тут же решил прекратить дальнейшие представления и скрыться, прежде чем придут жандармы. И уже не боясь, что его попытаются вернуть в отцовский замок, он захотел на прощанье предстать перед нами без повязки.

Только одно оставалось для нас неясным: каким образом Ганаш умудрился одновременно и очистить курятники, и разыскать сестру милосердия для своего лежавшего в горячке друга? А может быть, именно в этом и раскрывался весь характер этого бедолаги? С одной стороны, бродяга и вор, с другой — доброе и отзывчивое существо...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯННОЙ ТРОПИНКИ

Когда мы возвращались домой, солнце уже разогнало легкую утреннюю дымку, на порогах домов хозяйки выбивали ковры или болтали друг с другом, в полях и рощах, окружавших городок, занималось весеннее утро, самое лучезарное из всех, что сохранились в моей памяти.

В этот четверг все старшие ученики должны были явиться к восьми часам в школу и до полудня готовиться к экзаменам — кто на аттестат об окончании курса, кто для поступления в Нормальную школу<sup>1</sup>. Но когда мы с Мольном — я совершенно подавленный, он в каком-то скорбном возбуждении, не позволявшем ему ни минуты оставаться в неподвижности, — пришли к школе, она оказалась пустой... Яркий солнечный луч сколь-

---

<sup>1</sup> Нормальная школа — высшее педагогическое учебное заведение во Франции.

зил по пыльной трухлявой скамье и по старой, потертой карте земных полушарий.

Что же, оставаться здесь, в классе, уставясь в книгу и горько размышляя о нашей неудаче, в то время как все вокруг звало нас на улицу: птицы возились в ветвях у самых окон, и наши товарищи разбежались по лугам и лесам, а нам самим не терпелось поскорее проверить, насколько правилен дополненный Францем маршрут — последняя наша надежда, последний ключ в связке, где все остальные ключи уже перепробованы?.. Нет, сидеть в школе было выше наших сил... Мольн мерил шагами класс, подходил к окнам, смотрел в сад, потом снова подходил и глядел в сторону городка, словно без всякой надежды поджидая кого-то, кто наверняка уже не появится.

— Мне пришло в голову, — сказал он наконец, — мне пришло в голову, что это совсем не так далеко, как нам кажется... Франц вычеркнул из моего плана большой кусок дороги, который я там наметил. Вполне может быть, что, пока я спал, кобыла сделала большой лишний крюк...

Я сидел, опустив голову, на углу длинного стола, одной ногой упираясь в пол, другой болтая в воздухе, и весь мой вид выражал, должно быть, растерянность и уныние.

— И все-таки, — сказал я, — когда ты возвращался домой в берлине, поездка длилась всю ночь.

— Мы выехали ровно в полночь, — ответил он живо. — Меня высадили в четыре часа утра, километрах в шести на запад от Сент-Агата, а ведь я отправлялся отсюда по восточной ла-гарской дороге. Значит, высчитывая расстояние между Сент-Агатом и Затерянным Поместьем, эти шесть километров надо скинуть. Право же, мне сдается, что от того места, где кончается Общинный лес, и до замка, который мы ищем, должно быть не больше двух лье.

— Как раз этих-то двух лье и не хватает на карте.

— Верно. Но опушка Общинного леса — в полутора милях отсюда, и, если идти хорошим шагом, можно обернуться за одно утро...

В это время в класс вошел Мушбеф. Ему всегда страшно хотелось, чтобы его считали хорошим учени-

ком, но достичь этого он старался больше фискальством, чем усиленными занятиями.

— Я так и знал,— провозгласил он с торжествующим видом,— что застану здесь только вас двоих. Остальные отправились в Общинный лес. Ведет Жасмен Делюш, он знает, где птичьи гнезда.

Играя в благонравного мальчика, он принялся рассказывать, какими словами ругали они школу, г-на Сэреля и нас с Мольном, отправляясь в эту экспедицию.

— Если они в лесу, я их наверняка встречу по дороге,— сказал Мольн,— потому что я тоже ухожу. Вернусь к половине первого.

Мушбеф так и застыл с разинутым ртом.

— А ты не пойдешь со мной? — спросил меня Огюстен, задержавшись на миг в дверях. В хмурую комнату ворвалась струя согретого солнцем воздуха и с ней — сумятица криков, голосов, птичьего щебета, звон ведра, ударившегося о закраину колодца, и щелканье кнута вдалеке.

— Нет,— сказал я, несмотря на то что искушение было велико,— я не могу. Из-за господина Сэреля... Но торопись. Я буду ждать тебя с нетерпением...

Он сделал неопределенный жест и быстро вышел, полный новых надежд.

К десяти часам пришел г-н Сэрель, сменивший черный альпаговый сюртук на плащ рыбака с большими карманами на пуговицах; он был в соломенной шляпе и коротких лакированных крагах, стягивавших низ брюк. Я думаю, он несколько не удивился, не застав в классе ни души. Он не стал слушать Мушбефа, в третий раз принимавшегося повторять слова, сказанные перед уходом учениками: «Если мы ему нужны, пусть сам приходит за нами!» Он только скомандовал:

— Живо собирайтесь, берите свои фуражки, и эти разорители гнезд скоро сами попадутся нам в руки, как птенчики... Франсуа, ты сможешь идти так далеко?

Я сказал, что смогу, и мы отправились.

Было решено, что Мушбеф поведет г-на Сэреля и послужит для нас своего рода манком. Зная, в каком направлении пошли разорители гнезд, он должен был время от времени кричать во все горло:

— Эй! Эге-гей! Жирода, Делюш! Где вы?.. Нашли что-нибудь?..



Что касается меня, то мне, к моему огромному удовольствию, было поручено идти вдоль восточной опушки леса — на тот случай, если беглецы попытаются ускользнуть с этой стороны.

Ведь на нашем плане, выверенном Францем, на плане, который мы с Мольном знали уже чуть ли не наизусть, именно где-то здесь, у лесной опушки, брала начало намеченная пунктиром дорога, ведущая к замку. А вдруг я найду ее в это утро!.. Я уже был почти убежден, что еще до полудня окажусь на дороге к Затерянному Помещью...

Чудесная была прогулка!.. Как только мы прошли Гласи и обогнули Мулен, я расстался со своими спутниками — с г-ном Сэрелем, у которого был такой вид, точно он собрался на войну (я даже подозреваю, что он сунул в карман свой старый пистолет), и с этим предателем Мушбефом.

Пройдя по проселочной дороге, я скоро вышел к опушке леса — впервые в жизни один, затерянный среди полей, как солдат, отставший от части.

И вот я в лесу, и мне чудится, что где-то совсем рядом — то таинственное счастье, которое в один прекрасный день так ненадолго мелькнуло перед Мольном. В моем распоряжении целое утро, и я могу шаг за шагом обследовать всю лесную опушку, самый прохладный и укромный уголок в наших краях; а в это время мой старший друг и брат тоже шагает навстречу новым открытиям. Местность напоминает русло высохшего ручья. Я иду под низко свисающими ветками деревьев, названия которых не знаю; должно быть, это ольха. Я только что перескочил через изгородь в конце тропинки, и теперь передо мной — заросшая зеленой травой широкая дорога, которая словно струится под навесом листьев; порой я наступаю на куст крапивы, приминаю ногой высокую валерьяну...

Иногда я делаю несколько шагов по мелкому песку. И в тишине я слышу птицу — мне хочется думать, что это соловей, но, конечно, я ошибаюсь, ведь соловьи поют только по вечерам, — птицу, которая упрямо повторяет одну фразу, и она звучит для меня как голос утра, как шепот в полутьме, как чудесное приглашение погру-

зиться в ольховые заросли. Я не вижу птицы, но мне кажется, что она летит следом за мною, скрываясь в листве.

Вот и я — впервые в жизни! — вступаю на путь приключений. Я иду уже не ракушки на берегу реки под присмотром г-на Сэреля, и не дикие орхидеи, приметы которых неизвестны, пожалуй, и учителю, и даже не тот старый колодезь на поле папаша Мартена, глубокий, пересохший, закрытый решеткой колодезь, который так густо порос сорняками, что всякий раз нужно основательно потрудиться, прежде чем удастся заново его обнаружить... Нет, теперь я иду нечто гораздо более таинственное. Я иду путь, о каких пишут в книгах, древнюю, полную препятствий дорогу, которую не сумел отыскать разбитый усталостью принц. Найти ее можно лишь утром, таким вот свободным от всяких дел утром, когда ты давно уже не знаешь, который теперь час... И, раздвигая неуверенным движением рук, поднятых вровень с лицом, покрытые пышной листвою ветви, ты вдруг обнаружишь перед собой длинную тенистую аллею, которая кончается вдали крохотным кружком света.

Полный надежд и хмельных ожиданий, я выхожу на какую-то поляну; оглядевшись, я вдруг понимаю, что это самый обыкновенный луг. Оказывается, я и сам не заметил, как прошел весь Общинный лес до конца. А я-то всегда думал, что он тянется бесконечно далеко! Вот, справа от меня, за бревенчатым забором, — сторожка, скрытая, как улей, в тени. На подоконнике сушатся две пары чулок... В прошлые годы, входя в лес, мы всегда говорили, показывая на светлую точку в самом конце невероятно длинной темной просеки: «А там — дом сторожа, дом Баладье». Но мы никогда не доходили до него. Изредка нам приходилось слышать, как кто-нибудь говорил, словно речь шла о единственной в своем роде экспедиции: «Он дошел до самой сторожки!»

И вот я дошел до самой сторожки — и ничего не нашел.

У меня разболелась уставшая нога, и жара, которой я до сих пор не чувствовал, теперь давала себя знать; я уже боялся, что мне придется весь обратный путь пройти одному, как вдруг невдалеке послышалось ауканье Мушбефа, потом другие голоса, окликавшие меня...

Оказалось, что это — шестеро наших школьников; вид у них был довольно унылый, и только изменник Мушбеф торжествовал. Тут были и Жирода, и Оберже, и Делаж. Заманенные Мушбефом, они были схвачены либо когда карабкались на дикую вишню, одиноко стоящую посреди поляны, либо в тот момент, когда опустошали гнезда зеленых дятлов. Болван Жирода, с припухшими глазами, в засаленной блузе, умудрился спрятать гнездо у себя на животе, под рубахой. Двоим удалось улизнуть от г-на Сэреля. Это были Делюш и маленький Коффен. Сначала они наперебой выкрикивали всякие насмешки по адресу «Мушваша»<sup>1</sup>, и эхо повторяло их голоса, но Мушбеф, разозлившись и забыв о своей роли, в досаде крикнул в ответ:

— Эй вы! Слезайте, вам некуда деваться: здесь господин Сэрель!..

Тогда вокруг все сразу замолкло, и мальчишки скрылись в чаще леса. А поскольку они знали лес как свои пять пальцев, о погоне нечего было и думать. Неизвестно было также, какой дорогой пошел Большой Мольн. Он не отзывался на наши крики, и мы решили прекратить розыски.

Время уже перевалило за полдень, когда мы, усталые, бледные, опустив головы медленно побрели по сентагатской дороге. Выйдя из лесу на сухое место, мы кое-как соскребли грязь со своих башмаков. Солнце палило нещадно. Весеннее утро, такое ясное и свежее, осталось позади. Новые звуки, предвещавшие близость вечера, наполняли воздух. Время от времени на безлюдных фермах вблизи дороги тоскливо кричал петух. Спускаясь к Гласи, мы ненадолго остановились, чтобы поболтать с батраками, которые только что кончили обедать и снова принимались за работу. Они стояли прислонившись к изгороди, и г-н Сэрель говорил им:

— Полюбуйтесь-ка на этих сорванцов! Рекомендую: вот это Жирода. Он, видите ли, сунул птенчиков к себе за пазуху. Можете себе представить, какую они ему там навели чистоту!..

Батраки смеялись, а мне казалось, что они смеются над моей неудачей. Смеясь, они с укоризной покачивали

<sup>1</sup> Игра слов: школьники заменили вторую часть фамилии Мушбеф «беф» (бык) словом «вац» (корова), имея, очевидно, в виду переносное значение слова «корова» — «полицейский», «шпик».

головами, но я видел, что проделки парней, которых они хорошо знали, не вызывают у них осуждения. Они даже сообщили нам, когда г-н Сэрель снова встал во главе нашей колонны:

— Здесь был еще один из ваших, ну, знаете, такой длинный... Должно быть, на обратном пути ему встрети-лась повозка из Гранжа и его подвезли. Вот здесь, на развилке, он сошел — оборванный, весь в грязи. Мы ему сказали, что утром видели вас, но что вы еще не возвращались. Он и побрел потихоньку в Сент-Агат.

В самом деле, Большой Мольн, усталый и измученный, поджидал нас в Гласи, сидя на перилах моста. На вопрос г-на Сэреля он ответил, что тоже ходил искать тех, кто удрал в лес. А когда я вполголоса спросил его о наших делах, он только уныло покачал головой.

— Нет, ничего. Ничего похожего!

После обеда, вернувшись в пустой и темный, точно отгороженный от всего лучезарного мира, класс, он сел за один из больших столов, опустил голову на руки и погрузился в печальный и тяжелый сон. К вечеру, после долгого раздумья, словно приняв какое-то важное решение, он сел писать письмо своей матери. Вот и все, что осталось у меня в памяти от этого мрачного вечера, завершившего собой день наших больших неудач.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### СТИРКА

Мы слишком рано понадеялись на весну.

В понедельник мы решили сесть за приготовление уроков сразу после четырех часов, как бывало летом, и вытащили во двор, на свет, два больших стола. Но небо сразу вдруг потемнело, на тетрадь упала крупная капля дождя, пришлось поскорей возвращаться в дом. Встав у широких окон большого хмурого класса, мы молча смотрели, как в сером небе мечутся тучи.

И вот Мольн, который, положив руку на оконную задвижку, тоже смотрел на улицу, не выдержал и, словно сердясь на самого себя и на свою тоску, сказал:

— Да, они плыли совсем по-другому, эти тучи, когда я ехал по той дороге в повозке из Бель-Этуаль.

— По какой дороге? — спросил Жасмен.

Но Мольн не ответил.

— А мне больше нравится,— сказал я, чтобы переменить разговор,— ехать вот в такую погоду, под проливным дождем, в экипаже с поднятым верхом.

— И всю дорогу читать, будто сидишь в комнате,— добавил кто-то.

— В тот раз дождя не было, и мне совсем не хотелось читать,— откликнулся Мольн.— Я только и думал, как бы получше разглядеть места, по которым ехал.

Но когда Жирода спросил, в свою очередь, о каких местах идет речь, Мольн опять промолчал. И Жасмен сказал:

— Я знаю... Опять это знаменитое приключение!..

Он произнес эти слова примирительным тоном, с некоторой многозначительностью, точно и сам уже был немного посвящен в тайну. Но его попытка что-нибудь выведать пропала даром, Мольн не поддержал разговора, и, так как уже становилось совсем темно, все накинули на головы блузы и умчались домой под холодным ливнем.

Дождливая погода стояла до следующего четверга. Да и сам четверг оказался еще печальнее предыдущего. Поля кругом, как в самые унылые дни зимы, были окутаны пеленой ледяного тумана.

На прошлой неделе Милли, обманутая ярким солнцем, затеяла стирку, но теперь, в сырости и холоде, нечего было и думать о том, чтобы развесить белье на садовой изгороди или на веревках, протянутых на чердаке.

Тогда Милли пришла в голову мысль, что по случаю четверга можно высушить белье в классах, добела раскалив школьную печку. Чтобы зря не жечь дрова и на кухне и в столовой, на той же печке сварят обед, и весь день нам придется провести в большой классной комнате.

Поначалу — как я был тогда зелен и глуп! — мне почудилось в этом даже что-то праздничное.

Мрачный праздник! Всю теплоту, исходившую от печки, забирало белье, и в классе стоял настоящий холод. На дворе нескончаемо и вяло моросил мелкий зимний дождь. И все же именно там я встретил Большого Мольна, когда, не зная куда деваться от скуки, я вышел во двор часов в девять утра. Мы молчали и, прижав-

шись головами к решетке ворот, смотрели, как движется по городу, через площадь Четырех дорог, похоронная процессия из какой-то дальней деревни. Вот с повозки, запряженной быками, сняли гроб и поставили его на плиту у основания большого креста — того самого, возле которого мясник заметил когда-то выставленных бродягой часовых... Где он сейчас, юный военачальник, который так ловко провел абордаж?.. Согласно обычаю, кюре вместе с певчими подошел к стоящему на плите гробу, и до нас донеслись печальные песнопения. Мы знали, что ничего, кроме этого зрелища, не мог предложить нам тоскливый день, который будет течь до самого вечера, как мутный дождевой поток в водосточном желобе.

— Ну, я пойду укладывать вещи,— неожиданно сказал Мольн.— Ты, верно, еще не знаешь, Сэрель: в прошлый четверг я написал своей матери, что хочу закончить учебу в Париже. Сегодня я уезжаю.

Он по-прежнему смотрел в сторону города, ухватившись на уровне лица за перекладины решетчатых ворот. Не было нужды спрашивать, что же ответила ему мать,— она была богата и исполняла любое его желание,— видно, она и на этот раз согласилась. Не было нужды спрашивать, почему его так внезапно потянуло в Париж!..

Но я понимал, что ему все же жалко и боязно покинуть этот милый край, откуда брало начало его приключение. А я, я не сразу почувствовал, как растет во мне невыносимая скорбь.

— Приближается Пасха,— сказал он со вздохом, словно объясняя причину своего отъезда.

— Когда ты там, в Париже, разыщешь ее, ты мне напишешь? — спросил я.

— Ну, конечно. Ведь ты мой товарищ и брат...

И он положил руку мне на плечо.

Лишь постепенно дошло до меня, что все уже решено бесповоротно: Мольн уезжает заканчивать свои занятия в Париж, и никогда больше не будет рядом со мной моего старшего друга.

Оставалась единственная надежда, что мы когда-нибудь встретимся с ним в гом парижском доме, где может вновь обнаружиться затерявшийся след его приключе-

ния... Но Мольн выглядел таким печальным, что эта надежда показалась мне слабой и жалкой.

Мои родители были уже предупреждены; господин Сэрель сначала выразил удивление, но довольно быстро согласился с доводами Огюстена; Милли, прежде всего хозяйка в душе, особенно сокрушалась при мысли, что мать Мольна застанет наш дом в таком необычном для него беспорядке... Уложить чемодан оказалось делом, увы, недолгим. Мы вытащили из-под лестницы пару воскресных башмаков Мольна, из шкафа — его белье, потом собрали тетради и учебники — всё, что составляет немудреное богатство восемнадцатилетнего юноши.

К полудню в своей коляске приехала госпожа Мольн. Она позавтракала вдвоем с Огюстеном в кафе Даниэля и, не вдаваясь ни в какие объяснения, увезла его, как только накормили и запрягли лошадь. Мы попрощались с порога, и коляска, проехав по площади Четырех дорог, скрылась за поворотом.

Милли обтерла перед входом свои башмаки и пошла прибрать нетопленную столовую. А я впервые за долгие месяцы остался в одиночестве, не зная, как убить нескончаемый вечер безрадостного четверга. Мне казалось, что эта старая коляска навсегда увезла сейчас мое отрочество.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Я ПРЕДАЮ...

Чем заняться?..

Погода понемногу прояснялась. Казалось, вот-вот выглянет солнце.

В огромном доме гулко хлопала дверь. И опять тишина. Время от времени отец пересекал двор, чтобы наполнить ведро очередной порцией угля для печки. Когда дверь открывалась, я успевал разглядеть развешанное на веревке белье, и мне так не хотелось возвращаться в эту невеселую комнату, превращенную в сушильную, и снова, один на один с учебниками, готовиться к выпускному экзамену, да еще к этому конкурсу в Нормальную школу, который отныне должен был стать моей единственной заботой!

Но странное дело: к моей тоске, граничившей с отчаяньем, примешивалось неясное ощущение свободы. Я чувствовал, что с отъездом Мольна, с неудачным финалом его похождения я избавился от странных хлопот и таинственных дел, не позволявших мне жить обычно и просто, как все люди. Мольн уехал; я уже не был товарищем неугомонного искателя приключений, братом отважного следопыта, я опять становился обыкновенным мальчишкой, таким же, как все остальные мальчишки в городке. Это делало мою жизнь легче и проще; мне оставалось лишь следовать естественным склонностям своей натуры.

На грязной улице показался младший из братьев Руа; он вращал над головой три привязанных к бечевке каштана, потом отпускал бечевку, и она взвивалась в воздух. Вот они упали на школьный двор. Меня охватило вдруг такое ощущение праздности, что я с удовольствием тем же манером раза два-три перебросил ему каштаны через ограду.

Но внезапно Руа прервал эту детскую забаву и бросился бегом догонять двуколку, которая выехала со стороны Вьей-Планша. Он быстро и ловко вскочил в нее на ходу. Я узнал повозку Делюша и его лошадь. Правил сам Жасмен, рядом с ним стоял толстый Бужардон. Они возвращались с луга.

— Франсуа, поехали с нами! — крикнул Жасмен, который, должно быть, знал уже об отъезде Мольна.

И тогда, не предупредив никого из домашних, я взобрался в тряскую повозку и поехал, как и все, стоя во весь рост и прислонясь к высокому борту. Двуколка повезла нас к дому вдовы Делюш...

И вот мы сидим в комнате за лавкой (добрая женщина не только держит постоянный двор, она еще и бакалейщица). Белый солнечный луч, проникая сквозь низкое окошко, скользит по жестяным ящикам и по бочкам с уксусом. Бужардон уселся на подоконник и, повернувшись к нам лицом, с жирным смехом толстяка поглощает бисквиты. Он берет их из стоящего рядом, на бочке, вскрытого ящика. Маленький Руа вопит от удовольствия. Между нами уже успели установиться дружеские



отношения, впрочем довольно дурного пошиба. Я вижу, что теперь моими товарищами станут Жасмен и Бужардон. Моя жизнь в один миг изменила свое направление. Мне кажется, что Мольн уехал уже очень давно, что его приключение — это давняя печальная история, и с нею покончено.

Маленький Руа отыскал под какими-то досками початую бутылку ликера. Делюш предлагает нам выпить по рюмочке, но в лавке нашелся только один стакан, и мы поочередно пьем из него. Мне наливают первому, — в их отношении ко мне чувствуется некоторая снисходительность, как к человеку, не привыкшему к подобным нравам охотников и крестьян... Это немного меня тяготит. И, поскольку разговор заходит о Мольне, меня охватывает желание преодолеть свою скованность, показать, что я посвящен в его историю, рассказать ее. К тому же разве мой рассказ повредит Мольну? Ведь всем его похождениям в Сент-Агате теперь наступил конец.

.....

Может быть, я плохо рассказываю историю Мольна? Она не производит того впечатления, которого я ожидал.

Как истинные деревенские жители, привыкшие не удивляться ничему на свете, мои товарищи выслушивают рассказ с полной невозмутимостью.

— Свадьба как свадьба, только и всего! — говорит Бужардон.

Делюш как-то видел в Преверанже свадьбу позанятней, чем эта.

Замок? В городке наверняка есть люди, которые слышали о нем.

Девушка? Мольн, как отслужит срок в армии, так женится на ней.

— Он должен был сам рассказать нам об этом, — добавляет кто-то, — и показать нам план, вместо того чтобы доверяться какому-то бродяге!

Смущенный своей неудачей, я хочу воспользоваться случаем и пробудить у них любопытство: я решаюсь объяснить, кто был этот бродяга, откуда он явился, какова его удивительная судьба... Бужардон и Делюш меня даже не слушают. «Это он во всем виноват. Из-за него Мольн стал нелюдимым — Мольн, который был до

того таким славным товарищем! Это он затеял все глупости с абордажами и ночными атаками, это он обрадовался с нами, как с малыми детьми...»

— Знаешь,— говорит Жасмен, глядя на Бужардона и покачивая головой,— я правильно сделал, что заявил на него жандармам. Он и так натворил здесь дел, а если б не я, натворил бы их еще больше!

Я с ними почти согласен. Несомненно, все обернулось бы совсем по-другому, если бы с самого начала мы не восприняли эту историю в таком драматическом и таинственном свете. И все под влиянием Франца, у которого так страшно сложилась жизнь...

Я целиком ушел в свои мысли, и тут в лавке внезапно послышался шум. Жасмен Делюш мгновенно прячет остатки ликера за бочку, толстяк Бужардон кубарем слетает с подоконника, спотыкается о пустую пыльную бутылку, которая катится по полу, и с трудом сохраняет равновесие. Маленький Руа, задыхаясь от хохота, отталкивает их обоих от двери, чтобы самому поскорее выбраться наружу.

Не понимая толком, в чем дело, я удираю вместе с ними; перебежав через двор, мы влезаем по лестнице на сеновал. Я слышу женский голос, который честит нас на все корки...

— Я не думал, что она так рано вернется,— шепчет Жасмен.

Только теперь до меня доходит, что в лавку мы пробрались тайком, а печенье с ликером попросту воровали. Я чувствую себя обманутым, как тот потерпевший кораблекрушение путешественник, который считал, что беседует с человеком,— и вдруг обнаруживает, что перед ним обезьяна. Я только и думаю, как бы поскорее убраться с сеновала,— эти проделки мне противны. Тем временем наступает темнота... Меня проводят задками через два чужих сада мимо большой лужи; наконец я на мокрой и грязной улице; на дороге падают отсветы из кафе Даниэля... Я отнюдь не горжусь тем, как провел этот вечер. Вот и площадь Четырех дорог. И передо мной вдруг невольно возникает суровое и дружеское лицо, оно улыбается мне; последний взмах руки — и колыска исчезает за поворотом...

Мою блузу раздувает холодный ветер, так похожий на ветер минувшей зимы, трагической и прекрасной.

И снова жизнь не кажется мне простой. В большом классе меня ждут с ужином; холодные струи воздуха то и дело врываются в комнату и уносят скудную теплоту, исходящую от печки. Стуча зубами, я выслушиваю упрёки за то, что почти целый день пробродяжничал. Мне трудно войти в привычную колею: я лишен даже слабого утешения — сесть на свое обычное место за обеденным столом. В этот вечер мы обходимся без стола, — каждый держит тарелку на коленях и пристраивается где может в полумраке большого класса. Я молча жую испеченную на раскаленной плите лепешку, которая должна, очевидно, служить мне вознаграждением за этот проведенный в школе четверг и которая здорово подгорела...

Наверху, в своей комнате, еще острее ощутив одиночество, я стараюсь поскорее заснуть, чтобы заглушить угрызения совести, которые поднимаются с самого дна моей омраченной души. Среди ночи я дважды просыпаюсь; в первый раз мне слышится скрип соседней кровати, словно на ней спит Мольн, который обычно резким движением поворачивается во сне на другой бок; во второй раз мне чудится, что он своим легким крадущимся шагом ходит по чердаку...

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### ТРИ ПИСЬМА ВОЛЬПОГО МОЛЬНА

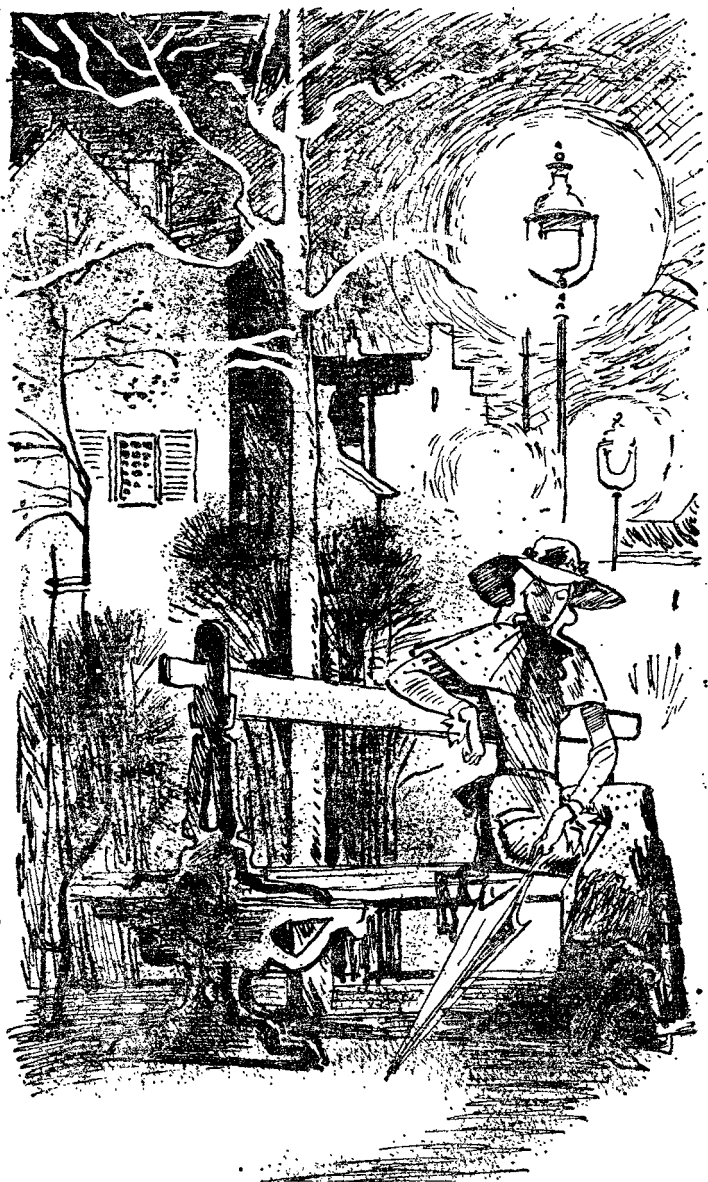
За всю свою жизнь я получил от Мольна всего три письма. Они и сейчас хранятся у меня в ящичке комода. И, перечитывая их, я всякий раз ощущаю прежнюю грусть.

Первое письмо пришло на другой день после того, как он уехал.

*«Дорогой Франсуа,*

сегодня я приехал в Париж и сразу же пошел к дому, о котором говорил Франц. Я никого не нашел. Дом пуст. Он всегда будет пуст.

Это небольшой двухэтажный особняк. Комната мадам-уазель де Гале должна быть наверху. Окна второго этажа больше других затенены деревьями. Но если смот-



реть с тротуара, они видны довольно хорошо. Все шторы спущены, и только безумец может надеяться, что в один прекрасный день за одной из них появится лицо Ивонны де Гале.

Дом выходит на бульвар... Моросил небольшой дождь, на зазеленевших деревьях блестела листва. Слышались резкие звонки трамваев, которые непрерывно, один за другим, шли по улице.

Почти два часа я шагал взад и вперед под окнами. Чтобы меня не приняли за грабителя, задумавшего недоброе, я зашел в лавку и выпил стаканчик вина. Потом снова, без всякой надежды, принялся ходить возле дома.

Наступил вечер. В окнах стали загораться огни — во всех домах, только не в этом. Ясно, что в нем никто не живет. А ведь Пасха не за горами.

Я уже собирался уходить; в это время какая-то девушка — или молодая женщина — подошла к дому и села на мокрую от дождя скамейку. Она была в черном платье с маленьким белым воротничком. Когда я уходил, она все еще сидела на своем месте, сидела неподвижно, несмотря на вечернюю прохладу, и ждала — неведомо чего, неведомо кого. Как видишь, в Париже полно безумных, вроде меня.

*Огюстен».*

Время шло, напрасно ждал я весточки от Огюстена в первый день Пасхи; не было писем и в последующие дни, когда пасхальная суматоха сменилась тишиной и спокойствием и, казалось, остается только ждать лета. Наступил июнь, пришла пора экзаменов, а с ней — страшная жара, которая удушливой пеленой, при полном безветрии, повисла над полями. Даже ночь не приносила свежести, и дневная пытка продолжалась в темноте. Во время этой невыносимой июньской жары я получил второе письмо от Большого Мольна.

*«Июнь 189... года*

*Дорогой друг,*

теперь уже не осталось никакой надежды. Я это знаю со вчерашнего вечера. С этого времени меня мучает тоска, которой я до того почти не чувствовал.

Каждый день я приходил туда, на ту скамью, и, не смотря ни на что, ждал, караулил, надеялся. Вчера после ужина вечер был особенно удушливым и темным. На тротуаре, под деревьями, переговаривались люди. Над черной листвой, которую свет из окон местами окрашивал в зеленый цвет, горели огни в квартирах третьих и четвертых этажей. То здесь, то там виднелось распахнутое настежь окно... Зажженная на столе лампа отгоняла знойный июньский мрак, и можно было разглядеть самые дальние углы комнаты... О, если бы черное окно Ивонны де Гале вдруг тоже осветилось, наверное, я бы решился подняться по лестнице, постучать, войти...

Девушка, о которой я тебе писал, опять сидела на прежнем месте, чего-то ожидая, как и я. Я подумал, что она должна знать, кто живет в доме, и спросил ее об этом.

— Я знаю,— ответила она,— что раньше сюда приезжали на каникулы девушка и ее брат. Но мне сказали, будто брат бежал из замка своих родителей неизвестно куда, и никто не может его разыскать, а девушка вышла замуж. Вот почему дом пустует.

Я пошел прочь. Не пройдя и десяти шагов, я споткнулся и едва не упал. Ночью — это было минувшей ночью,— когда во дворах наконец уgomонились женщины и дети и я мог бы уснуть,— я стал прислушиваться к шуму фиакров на улице. Они проезжали довольно редко. Но стоило одному затихнуть вдали, как я невольно начинал ждать следующего. И вот — позвякиванье бу-бенчика, цоканье копыт по асфальту... И все повторяется сначала, и этому нет конца: пустынный город, твоя утраченная любовь, долгая ночь, лето, лихорадка...

Сэрель, друг мой, я в полном отчаянье.

*Огюстен».*

Как мало смог узнать я из этих писем о делах моего друга! Мольн не объяснял, почему так долго не писал мне; он не сообщал, что собирается делать дальше. У меня было такое впечатление, что он порывает со мной, как порывал со всем своим прошлым, потому что на приключении его можно было поставить крест. В самом деле, я несколько раз писал ему, но он не ответил. Если не считать нескольких поздравительных слов, которые он черкнул мне, когда я получил аттестат. В сентябре я уз-

нал от одного из школьных товарищей, что Мольн приехал на каникулы к своей матери в Ла-Ферте-д'Анжийон. Но в тот год мой дядя Флорантен пригласил нас провести каникулы у него, во Вье-Нансее. И я так и не смог повидаться с Мольном, который вскоре вернулся в Париж.

В начале учебного года, точнее говоря, в последних числах ноября, когда я с мрачным усердием засел за подготовку к новым экзаменам в надежде добиться на следующий год звания учителя, минуя Нормальную школу в Бурже, я получил еще одно письмо от Огюстена, последнее из трех:

«Я все еще хожу под этим окном,— писал он.— Я все еще жду, безрассудно, без всякой надежды. В холодные воскресные вечера, перед наступлением сумерек я не могу заставить себя вернуться в свою комнату, закрыть ставни, меня тянет еще раз пойти туда, на продрогшую улицу.

Я похож на ту сумасшедшую из Сент-Агата, которая ежеминутно выходила на крыльцо и смотрела из-под ладони в сторону Ла-Гара, не идет ли ее сын,— а ведь он давно умер.

Я сижу на скамейке, дрожу от холода и представляю себе, как кто-то сейчас подойдет и тихо возьмет меня за руку... Я обернусь. Это будет она. «Я немного задержалась»,— скажет она просто. И сразу исчезнет все горе, все безумие. Мы входим в наш дом. Ее шубка заледенела, вуалетка промокла, она вносит с собой с улицы привкус тумана, она подходит поближе к огню, и я вижу ее белокурые волосы, на которых блестит иней, вижу ее дивный профиль, ее нежное лицо, склоненное над пламенем...

Увы! За стеклом по-прежнему белеет штора. Поняла ли девушка из Затерянного Поместья, что мне теперь больше нечего ей сказать?

Наше приключение окончено. Нынешняя зима мертва, как могила. Может быть, только когда мы умрем, может быть, только смерть даст нам ключ, даст нам продолжение и конец этого несостоявшегося романа?

Сэрель, когда-то я просил тебя думать обо мне. Те-

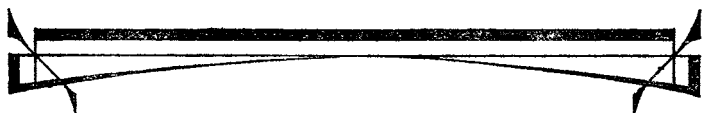
перь, напротив, лучше меня забыть. Лучше было бы все забыть.

..... О. М.»

И снова наступила зима, мертвая и унылая, так не похожая на прошлую зиму, полную таинственной жизни; на площади больше не было бродячих комедиантов, школьный двор пустел сразу после четырех часов, я оставался в классе один, и учење не шло мне в голову... В феврале, впервые за эту зиму, выпал снег и окончательно похоронил наши бывшие романтические приключения, стер последние следы, замел все тропинки. И я старался, как просил меня Мольн, все забыть.







## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### КУПАНЬЕ

Курить папиросы, смачивать сахарной водой волосы, чтобы они завивались, обнимать на дороге девушек, учениц дополнительного класса, и, спрятавшись за изгородью, вопить: «Эй, чепцы!» — дразня проходящих мимо монахинь, — все это было любимым занятием местных шалопаев. Впрочем, шалопаи подобного сорта вполне могут исправиться и стать к двадцати годам весьма милыми юношами. Хуже, когда у шалопаю лицо, несмотря на молодость, уже успело поблекнуть и приобрести какой-то старообразный вид, когда он занимается сплетнями о женах своих соседей, когда он, чтобы посмешить товарищей, болтает глупости о юной Жильберте Поклен. Но в конце концов, может быть, даже и такой случай не безнадежен...

Именно таков был Жасмен Делюш. По непонятным причинам, но явно без малейшего намерения сдавать экзамены, он продолжал ходить в школу в старший класс, хотя все кругом просто мечтали, чтобы Делюш наконец расстался с партой. Время от времени он учился ремеслу штукатура у своего дяди Дюма. Так или иначе, но скоро этот самый Делюш, Бужардон и еще один парень по фамилии Дени — очень славный мальчик, сын помощника учителя, — оказались единственными моими приятелями из всех учеников старшего класса, и только потому, что они остались «со времен Мольна».

Впрочем, желание дружить со мной было у Делюша

вполне искренним. Он, который был когда-то врагом Большого Мольна, хотел теперь занять в школе его место и, вероятно, даже сожалел, что в свое время не был его соратником. Не такой тяжелодум, как Бужардон, Делюш, сдается мне, почувствовал, сколько увлекательного и необычного внес Мольн в нашу жизнь.

И я нередко слышал, как он повторял: «Вот и Большой Мольн это говорил...», или: «А Большой Мольн сказал...»

Кроме того, что Жасмен был старше нас, этот старобразный подросток обладал еще несколькими драгоценными возможностями для развлечений, закреплявшими его превосходство над нами: у него был длинношерстный белый пес неведомой породы, отзывавшийся на нелепую кличку «Бекали», приносивший обратно камешки, как бы далеко вы их ни закинули, и не проявлявший наклонностей ни к каким другим видам спорта; был у него старый велосипед, купленный где-то по случаю; вечером, после уроков, Жасмен иногда разрешал нам прокатиться на своей машине, но гораздо больше нравилось ему катать местных девушек; наконец самое главное: Делюш был хозяином слепого белого осла, который позволял запрягать себя в любую повозку.

Честно говоря, осел принадлежал Дюма, но он всегда давал его Делюшу, когда летом мы отправлялись купаться на Шер. В этих случаях мать Жасмена вручала нам бутылку лимонада, мы укладывали ее под сиденье вместе с купальными штанами, и целой компанией в восемь — десять человек ученики старшего класса, сопровождаемые г-ном Сэрелем, отправлялись в путь кто пешком, кто вскарабкавшись в запряженную ослом тележку, которую потом, возле Шера, где дорога делалась непроезжей, мы оставляли на ферме Гранфона.

Одна из таких прогулок запомнилась мне в мельчайших подробностях. Осел Жасмена вез к Шеру наши купальные штаны, всякую другую поклажу, лимонад и г-на Сэреля, а мы шли по дороге пешком. Был август. Мы только что сдали экзамены. Нас охватило чувство освобождения, — нам казалось, что все лето, все счастье в мире принадлежит теперь нам, в этот чудесный полдень — дело было в четверг — мы шагали по дороге и во все горло, кто во что горазд, распевали веселые песни.

Только одна тень омрачила эту ясную картину. Мы заметили, что впереди идет Жильберта Поклен. У нее была стройная талия, не очень длинная юбка, высокие башмаки и невинно-задорная осанка девчонки-подростка, которая превращается в девушку. Она сошла с дороги в сторону, свернув на проселок; верно, ее послали за молоком. Маленький Коффен тут же предложил Жасмену пойти за ней следом.

— Это будет не первый поцелуй, который она от меня получит,— откликнулся тот.

И вся наша группа из простого мальчишеского фанфаронства двинулась по проселочной дороге, слушая бесконечные легкомысленные истории Делюша о Жильберте и ее подругах, а тележка с г-ном Сэрелем продолжала свой путь к Шеру. Но скоро нам это наскучило. Девушка убегала от нас, а Делюшу, видно, не очень-то хотелось приставать к ней на людях, и он держался от нее метрах в пятидесяти. Все закончилось кукареканьем и кудахтаньем да несколькими короткими свистками, выражавшими нашу галантность, после чего мы вернулись на главную дорогу, немного смущенные своим отступлением. Нам пришлось бегом догонять повозку по солнцепеку. Больше мы не пели.

Мы раздевались и одевались в сухих зарослях ивняка, окаймляющих берега Шера. Кустарник защищал нас от посторонних взглядов, но не от палящего солнца. Ступая босыми ногами по песку и засохшей грязи, мы думали только о бутылке с лимонадом вдовы Делюш: перед купаньем мы опустили бутылку в колодезь Гранфона, вырытый на самом берегу реки. В глубине колодца всегда виднелась синевато-зеленая трава да два-три каких-то насекомых, похожих на мокриц, но вода была так чиста и прозрачна, что обычно рыболовы, не колеблясь, становились возле колодца на колени и, держась обеими руками за низкий сруб, принимали губами к воде.

Увы, и на этот раз наши ожидания были обмануты... Когда мы оделись, уселись в кружок, поджав по-турецки ноги, и стали делить между собой холодный лимонад, разливая его по двум граненым стаканам, то на долю каждого, включая г-на Сэреля, досталось всего несколько капель пены, которая только щипала в горле и еще больше возбуждала жажду. Тогда мы отправились к ко-

лодцу, которым раньше пренебрегали, и стали по очереди наклоняться лицом к самой поверхности чистой воды. Но мы не привыкли к деревенским обычаям. Многим, как и мне, так и не удалось утолить жажду: одни вообще не любили пить воду, у других перехватило горло от боязни проглотить мокрицу, третьи, обманутые полной прозрачностью неподвижной воды, не сумели рассчитать своих движений и погрузили в воду не только губы, но почти все лицо, втянув носом обжигающе ледяную воду, наконец четвертых остановили все эти причины вместе взятые... Но все равно нам казалось, что вся земная прохлада собралась здесь, на засушливых берегах Шера! И до сих пор, когда я слышу слово «колодец», где бы и кем бы оно ни произносилось,— передо мной возникает колодец Гранфона...

Домой мы возвращались уже под вечер; на душе у нас было сначала так же легко, как и днем, на пути к Шеру. Путь от Гранфона до проселочной дороги шел по дну глухого оврага, пересеченного трещинами и толстыми корнями; зимой здесь протекал ручей, а сейчас, летом, таинственно чернели в сумерках густые древесные заросли. Часть купальщиков забавы ради углубилась в эту чашу. А мы с Жасменом, г-н Сэрель и еще несколько человек двинулись по мягкой песчаной тропинке, которая шла параллельно оврагу и огибала соседнее поле. Мы слышали, как рядом с нами, где-то внизу, невидимые в темноте, смеются и переговариваются наши товарищи, а Делюш все рассказывал нам любовные истории... В верхушках деревьев, которые образовали живую изгородь, шуршали ночные насекомые, и видно было на фоне светлого неба, как они летают вокруг кружевной листвы. Время от времени какой-нибудь жук срывался вдруг вниз с сердитым жужжанием. Чудесный вечер тихого лета... Спокойное, не знающее ни надежд, ни желаний возвращение со скромной деревенской прогулки... И снова Жасмен, сам того не ведая, смутил этот покой...

Когда мы поднялись по склону до самого верха, до того места, где лежат два больших древних камня,— по преданию, остатки крепости,— Жасмен завел разговор о старых поместьях, в которых ему довелось побывать, и, в частности, о почти заброшенной усадьбе в окрестностях Вье-Нансея — поместье Саблоньер. Утрируя произношение жителей департамента Алье, жеманно округ-

ляя одни слова и манерно не договаривая до конца другие, он стал рассказывать, что несколько лет назад в разрушенной часовне этого старинного поместья он видел могильную плиту, на которой высечены слова:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ РЫЦАРЬ ГАЛУА<sup>1</sup>,  
СОХРАНИВШИЙ ВЕРНОСТЬ СВОЕМУ ГОСПОДУ,  
СВОЕМУ КОРОЛЮ И СВОЕЙ ДАМЕ

— Вот как! Скажите пожалуйста! — обронил г-н Сэрель, чуть заметно пожимая плечами; было видно, что его несколько коробит тон наших бесед, но он не хочет мешать нам разговаривать, как взрослым мужчинам.

А Жасмен стал описывать этот замок так подробно, точно он провел там всю жизнь.

Возвращаясь из Вье-Нансея, он и Дюма не раз с любопытством глядели на старую серую башенку, возвышающуюся над елями. Там, посреди леса, скрывался целый лабиринт обветшалых строений — их можно было осмотреть в отсутствие хозяев. Как-то раз они подвезли в своей тележке местного сторожа, и он показал им эту странную усадьбу. Но с тех пор там все пришло в упадок; по слухам, уцелели лишь ферма да маленький дачный домик. В нем живут все те же хозяева: старый отставной офицер, наполовину разбитый параличем, и его дочь.

Он говорил, говорил. Я внимательно слушал и безотчетно чувствовал, что речь идет о чем-то таком, что мне самому уже давно знакомо... И вдруг, совсем просто — обычно так и происходят на свете все необыкновенные вещи! — Жасмен обернулся ко мне, дотронулся до моей руки и сказал, словно пораженный неожиданной мыслью:

— Послушай-ка, наверно, как раз туда и попал Мольн — помнишь, Большой Мольн!

Я не ответил, и он прибавил:

— Ну да, я вспоминаю, сторож говорил нам тогда про сына хозяина замка, что это чудак с какими-то вывертами в голове...

Я уже не слушал Делюша. С первых его слов я понял, что его догадка верна и что сейчас предо мною, вдали от Мольна, вдали от всяких надежд, открылась доступа и легкая, как тропинка возле твоего дома, дорога в Безымянное Поместье.

<sup>1</sup> Г а л у а — старинная форма фамилии Гале.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### У ФЛОРАНТЕНА

В детстве я был болезненным мальчиком, замкнутым и мечтательным; но тут, почувствовав, что от меня зависит исход этого важного дела, я сразу стал решительным и уверовал в свои силы.

Я даже думаю, что как раз с этого вечера у меня окончательно прошла боль в ноге.

Во Вье-Нансее, центре округа, куда входило поместье Саблоньер, жили все родственники г-на Сэреля и, в частности, мой дядя Флорантен, торговец, у которого мы иногда проводили конец сентября. Поскольку все экзамены были уже сданы, я не захотел ждать и настоял на том, чтобы отправиться к дяде немедленно. Но я решил ничего не сообщать Мольну до тех пор, пока не узнаю чего-нибудь определенного, пока не смогу послать ему добрую весть. В самом деле, к чему было обнадеживать его? Для того чтобы потом он снова впал в отчаянье, еще более глубокое, чем прежде?

Вье-Нансей долгое время был для меня самым любимым уголком на свете, страной последних дней каникул. Мы посещали его довольно редко, потому что не всегда удавалось нанять повозку, которая бы нас туда довезла. К тому же в давние времена у нас была какая-то ссора с тамошними родичами и, наверно поэтому каждый раз приходилось так долго упрашивать Милли, чтобы она тоже села с нами в экипаж. Но какое мне было дело до всех этих размолвок! Сразу же по приезде я забывал обо всем на свете и вел в кругу своих многочисленных двоюродных братьев и сестер жизнь, полную тысяч увлекательных дел и приводивших меня в восторг развлечений.

Мы высаживались из повозки у дома дяди Флорантена и тети Жюли; у них был сын одного со мной возраста, мой кузен Фирмен, и восемь дочерей, из которых старшим, Марии-Луизе и Шарлотте, было, наверно, семнадцать и пятнадцать лет. Дядя владел большим магазином, расположенным возле церкви, у въезда в этот солонский городок, магазином универсальным, который снабжал всем необходимым окрестных жителей — хозяев поместий и охотников, живших одиноко в этих пу-

стынных местах, в тридцати километрах от железной дороги.

Магазин с прилавками, заваленными бакалейными и мануфактурными товарами, выходил многочисленными своими окнами на дорогу, а застекленными дверьми — на большую соборную площадь. Но как ни странно, деревянных полов в лавке не было, их заменяла утрамбованная земля, впрочем, вещь довольно обычная в этих бедных краях.

В глубине магазина имелось еще шесть комнат с разными товарами; в одной продавали только шляпы, в другой — садовые инструменты, в третьей — лампы или уж не помню что. Когда, мальчишкой, я проходил по этому лабиринту вещей и товаров, мне казалось, что я никогда не смогу досыта наглядеться на все эти чудеса. И даже в ту пору, о какой идет речь, я по-прежнему считал настоящими каникулами только те, которые можно провести во Вье-Нансее.

Семья моего дяди жила в большой кухне, сообщавшейся с магазином; здесь в конце сентября пылал в камине яркий огонь, сюда охотники и браконьеры, продававшие Флорантену дичь, заходили спозаранок выпить стаканчик вина, здесь по утрам младшие дочери затевали шум и беготню, брызгая друг другу туалетной водой на гладко причесанные волосы. По стенам были развешаны старые фотографии; на пожелтевших групповых портретах среди воспитанников Нормальной школы можно было найти и моего отца — правда, разыскать его было нелегко, потому что на всех учениках была одинаковая форма...

Здесь мы проводили каждое утро — здесь да еще во дворе, где Флорантен выращивал георгины и разводил цесарок, где хозяйева, сидя на ящиках из-под мыла, поджаривали кофейные зерна, а мы помогали распаковать коробки, наполненные всевозможными предметами, которые были тщательно обернуты в бумагу и названия которых не всегда были нам известны.

Весь день в магазине толпились крестьяне и кучера из соседних усадеб. У стеклянной двери останавливались мокрые от сентябрьского тумана повозки из дальних деревень. А мы, сидя в кухне, с любопытством прислушивались к разговорам крестьянок...

Но по вечерам, с восьми часов, когда взрослые шли с фонарями в конюшню, чтобы задать сено лошадям, весь магазин целиком переходил в наше распоряжение.

Мария-Луиза, самая старшая и самая малорослая из моих кузин, еще должна была свернуть и сложить кипы сукна в лавке, ей было скучно одной, и она звала нас к себе. Тогда мы с Фирменом и все девочки врывались в огромную лавку и при свете ламп, какие бывают на постоянных дворах, вертели кофейные мельницы, устраивали между собой поединки, взобравшись на прилавок, а иногда Фирмен отправлялся на чердак отыскивать какой-нибудь позеленевший от времени медный тромбон — уж очень располагал к танцам гладко утопанный земляной пол...

Я до сих пор краснею при мысли, что в предыдущие годы мадмуазель де Гале могла именно в такой час наших ребяческих забав случайно заглянуть в лавку.. Может быть, она и видела меня в такой момент. Но я впервые увидел ее в один из августовских вечеров, незадолго до наступления темноты, когда спокойно беседовал с Марией-Луизой и Фирменом...

В первый же вечер моего приезда во Вье-Нансей я стал расспрашивать дядю Флорантена о поместье Саблоньер.

— Теперь это больше уже не поместье, — сказал дядя. — Там все продано, и покупатели — охотники — велели снести все старые здания, чтобы расширить участок для охоты; парадный двор стал теперь пустырем и весь зарос вереском да утесником. Бывшие владельцы сохранили за собой только маленький двухэтажный дом и ферму. Тебе, наверно, представится случай увидеть здесь мадмуазель де Гале, она сама приезжает за провизией — иногда верхом, иногда в повозке, но всегда на одной и той же лошади, на старом Белизере... И что за чудной экипаж!

Я был так взволнован, что не сразу придумал, какой еще задать вопрос, чтобы разузнать о поместье побольше.

— Но раньше они были богаты?

— Да. Господин де Гале устраивал празднества, чтобы позабавить своего сына, — странный был мальчик,



всегда полна голова причуд. Чего только не придумывал отец, чтобы его развлечь! Приглашали девочек и мальчиков из Парижа... из других городов...

Все имение было уже в развалинах, и госпожа де Гале чуть ли не при смерти, а они все еще пытались разве-селить его и выполняли все его прихоти. Минувшей зимой — нет, в позапрошлую зиму — они устроили самый пышный костюмированный праздник. Половину гостей пригласили из Парижа, половину — из местных крестьян. Купили и взяли напрокат множество чудесных костюмов, игр, лошадей, лодок. И все для того, чтобы развлечь Франца де Гале. Говорили, он собирается жениться, и это будет праздник в честь его помолвки. Но он был еще так молод! И все рухнуло в один день. Франц скрылся, с тех пор его никто не видел. Мадмуазель де Гале после смерти матери осталась одна со своим отцом, старым моряком.

— Она не вышла замуж? — решил я наконец.

— Нет, об этом я ничего не слышал. Уж не ты ли собираешься предложить ей руку и сердце?

Я пришел в замешательство и, насколько возможно кратко и сдержанно, признался ему, что речь идет не обо мне, а о моем лучшем друге, Огюстене Мольне.

— О,— улыбнулся Флорантен,— если только он не гонится за богатством, это прекрасная партия.. Я могу поговорить с господином де Гале. Он иногда еще приезжает ко мне за охотничьей дробью. Я всегда угощаю его старой виноградной водкой.

Но я поспешно возразил, что пока ничего не надо предпринимать. И сам я тоже решил не торопиться и не предупреждать Мольна. Меня немного тревожило такое совпадение счастливых случайностей. И эта тревога заставляла меня ничего не говорить Мольну хотя бы до тех пор, пока я сам не увидаю девушку.

Мне не пришлось долго ждать. На следующий день, перед самым ужином, когда уже начинало темнеть, в воздухе поплыл холодный туман, напомнивший о близости сентября. Мы с Фирменом, зная, что в это время в магазине бывает мало покупателей, пошли проведать Марию-Луизу и Шарлотту. Они уже знали, какая тайная причина привела меня во Вье-Нансей раньше обычного.

Облокотившись о прилавок или сидя на нем, опершись ладонями о полированное дерево, мы стали рассказывать друг другу все, что нам было известно о таинственной девушке, а известно нам было довольно мало. Вдруг шум колес заставил нас обернуться.

— Вот и она сама,— тихо сказали мои кузины.

Спустя несколько секунд перед стеклянной дверью остановился странный экипаж. Я увидел старую закрытую карету, каких нам еще не приходилось встречать в этих местах, с закругленными сверху стенками, с узорчатым карнизом; старая белая лошадь на каждом шагу пригибала голову к земле, словно ей все время хотелось пощипать травы на дороге, а в карете сидела девушка — самая прекрасная девушка на свете,— быть может, это звучит и наивно, но я отвечаю за свои слова.

Никогда я не видел такого удивительного сочетания изящества и серьезности. Платье плотно облегалo тонкую талию, что придавало всему ее облику странную хрупкость. На плечи был наброшен просторный коричневый плащ, который она сбросила у входа в комнату. Это была самая серьезная из девушек, самая хрупкая из женщин. Тяжелые светлые волосы обрамляли ее лоб и все тоико очерченное, нежно вылепленное лицо. На ее белоснежной коже лето оставило две веснушки... В этой редкой красоте я заметил только один недостаток: в минуты грусти, уныния или просто глубокого раздумья на ее чистом лице проступали красноватые пятна, как это бывает иногда с тяжелобольными, которые сами не подозревают о своем недуге. В такие моменты чувство восхищения ее красотой уступало место жалости, тем более волнующей, что она застигала вас врасплох.

Все это я успел заметить за тот короткий промежуток времени, пока она неторопливо выходила из кареты. И вот наконец Мария-Луиза непринужденно представляет меня девушке и тем как бы приглашает начать разговор...

К ней пододвинули стул, и она села, прислонившись к прилавку; мы стояли рядом. Казалось, она хорошо знает и любит этот дом. Кто-то успел известить тетю Жюли, она тотчас пришла к нам и, скрестив руки на животе, легонько покачивая головой в белом крестьянском чепце, стала о чем-то степенно и рассудительно говорить

с гостьей, чем немного отодвинула тот страшный для меня миг, когда в разговор должен был вступить и я...

Но все произошло очень просто.

— Так, значит, вы скоро станете учителем? — спросила мадмуазель де Гале.

Тетка зажгла над нашими головами фарфоровую лампу, и магазин озарился слабым мерцанием. Я видел нежное детское лицо девушки, ее синие наивные глаза, и тем более изумлял меня ее голос — необычайно ясный и серьезный. Задав вопрос, она отвела взгляд в сторону и, ожидая ответа, сидела неподвижно, чуть закусив губу.

— Я бы тоже могла преподавать, если бы только господин де Гале разрешил мне! — проговорила она потом. — Я бы стала учить малышей, как ваша матушка...

И она улыбнулась, давая этим понять, что мои кузины рассказывали ей обо мне.

— Деревенские жители всегда очень вежливы со мной, добры и услужливы, — продолжала она. — И я их очень люблю. Но разве это можно ставить мне в заслугу?.. Вот с учительницами они бывают сварливы и скупы, правда? Вечные разговоры — куда девалась ручка с пером, почему тетради так дороги, почему дети плохо понимают объяснения. Ну что ж! Я бы спорила с ними. И все-таки они бы любили меня! Вот это было бы потруднее...

И без улыбки, как-то по-детски задумчиво, она устремила вдаль неподвижный взгляд своих синих глаз.

Мы все трое были немного смущены той непосредственностью, с какой она говорила о вещах деликатных, возвышенных, сокровенных, о которых обычно читаешь только в книгах. Некоторое время все молчали, но потом разговор постепенно завязался...

И тогда, словно со скорбью, даже с враждебностью к чему-то, чего мы не знали, она сказала:

— И потом, я научила бы мальчиков благоразумию, я знаю, о каком благоразумии говорю. Я не стала бы внушать им то желание бродить по свету, которое, наверное, и вы, господин Сэрель, будете внушать своим ученикам, когда станете помощником учителя. Я научила бы их находить свое счастье рядом, даже когда оно на первый взгляд и не похоже на счастье...

Мария-Луиза и Фирмен были так же озадачены, как и я. Мы все трое молчали. Она почувствовала наше сму-

щение, прервала себя, прикусила губу, опустила голову — и вдруг улыбнулась, словно посмеиваясь над нами.

— Ведь, может статься, — сказала она, — что какой-нибудь шальной молодой человек, ищет меня на краю света — в тот самый миг, когда я сижу здесь, в магазине госпожи Флорантен, под этой вот лампой, а моя старая лошадь ждет меня у дверей. Если бы этот молодой человек меня здесь увидел, он бы не поверил своим глазам, не правда ли?..

Видя, что она улыбается, я ощутил прилив отваги и сказал ей, тоже смеясь:

— А может быть, я знаю его, этого шального молодого человека?

Она с живостью взглянула на меня.

В этот момент у дверей зазвонил колокольчик, вошли две женщины с корзинами.

— Пройдите в нашу «столовую», там вас никто не потревожит, — сказала нам тетя Жюли, распахивая дверь на кухню.

И так как мадмуазель де Гале отказывалась и хотела сейчас же отправляться домой, моя тетка добавила:

— Здесь и господин де Гале. Они с Флорантеом беседуют у камина.

Хотя был август, в большой кухне, как всегда, с треском пылала в камине охапка еловых дров. Там была зажжена фарфоровая лампа, и рядом с Флорантеом, за стаканом виноградной водки, молча, словно пригибаясь под тяжестью возраста и воспоминаний, сидел старик с морщинистым, гладко выбритым добрым лицом.

— Франсуа! — закричал Флорантен громовым голосом ярмарочного торговца, точно нас разделяла река или поле в несколько гектаров. — Мы договорились, что в следующий четверг устроим пикник на берегу Шера. Кто поохотится, кто рыбку половит, кто потанцует, кто искупается!.. Мадмуазель, вы приедете верхом. Решено. Я все уладил с господином де Гале...

И, как будто эта мысль только что пришла ему в голову, он добавил:

— Да, Франсуа, ты можешь привести своего приятеля, господина Мольна... Кажется, я не ошибся, его фамилия Мольн?

Мадмуазель де Гале внезапно встала, страшно побледнев. И я тогда вспомнил, что в том странном Поместье Мольн назвал ей на берегу пруда свое имя...

Когда она, прощаясь, протянула мне руку, я понял яснее, чем после долгих бесед, что между нами установилось тайное взаимопонимание, которое может нарушить только смерть, установилась дружба более крепкая, чем самая большая любовь.

...На следующее утро, в четыре часа, Фирмен постучал в дверь моей маленькой комнаты, выходящей во двор с цесарками. Было еще темно, и я с трудом разыскал свои вещи на столе, заставленном медными подсвечниками и новенькими статуэтками святых, взятыми из магазина накануне моего приезда, чтобы украсить мое жилье. Я слышал, как во дворе Фирмен накачивает шины моего велосипеда, а тетка разводит в кухне огонь. Солнце только поднималось, когда я выехал со двора. Мне предстоял долгий день: сначала позавтракать в Сент-Агате, повидаться с родителями и объяснить им свое длительное отсутствие, потом снова пуститься в путь, чтобы добраться к вечеру до Ла-Ферте-д'Анжийон, где жил мой друг Огюстен Мольн.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ ИСТОРИЯ С ПРИВИДЕНИЕМ

До сих пор мне не приходилось совершать длительных поездок на велосипеде. Так далеко я отправлялся впервые. Но, несмотря на больное колено, я уже давно, тайком от родителей, с помощью Жасмена научился велосипедной езде. Велосипед — вещь необычайно привлекательная для каждого подростка; какое же удовольствие испытывал я теперь, если еще так недавно с трудом волочил ногу и обливался потом после каких-нибудь трех километров пути!.. Спускаться вниз по косогорам, углубляясь в тенистые ложбины, лететь, как на крыльях, обнаруживая за поворотом далекие извивы дороги, которые меняются на глазах и словно расцветают при твоём приближении, в один миг промчаться по деревенской улице, унося ее с собою в памяти... Только во сне переживал я прежде радость полета, такого чарующего, такого легкого. Даже брать подъемы казалось

мне увлекательным делом. К тому же я ехал по родным местам Мольна — и это было особенно уповательно.

«Недалеко от въезда в городок,— говорил мне когда-то Мольн, описывая эти края,— виднеется большое колесо с лопастями, когда дует ветер, оно вертится...» Он не знал, какую работу выполняет это колесо, а может быть, желая возбудить мое любопытство, делал вид, что не знает.

Лишь к концу этого дня я увидел наконец посреди огромной равнины большое ветряное колесо — должно быть, насос, качавший воду для соседней фермы. За лугом, обсаженным тополями, уже виднелись первые строения пригородов. Дорога делала большой крюк, огибая ручей, и передо мной открывались все новые виды... Проехав мост, я увидел наконец главную улицу городка.

Я стоял, положив руки на руль велосипеда, и осматривал местность, куда я явился как гонец с такой удивительной вестью. На лугу, скрытые зарослями тростника, паслись коровы, слышался звон их бубенцов. За маленьким деревянным мостом начинались дома, они вытянулись в ряд вдоль улицы, у края длинной канавы, напоминая корабли, которые, убрав паруса, в вечерней тишине причалили к берегу. Был час, когда во всех кухнях разводят огонь.

И вдруг какое-то странное чувство отняло у меня все мужество; я жалел, что приехал, я словно испугался, что мое появление нарушит весь этот безмятежный покой. Поддавшись малодушному желанию отложить встречу с Мольном, я ухватился за мысль, что здесь, в Ла-Ферте-д'Анжийон, на маленькой площади, живет тетка Муанель.

Она приходилась мне двоюродной бабушкой. Все ее дети умерли; я хорошо помнил Эрнеста, самого младшего — высокого юношу, который должен был стать учителем. Он тоже умер, а вслед за ним — и мой двоюродный дед Муанель, старый судейский чиновник. И тетя Муанель осталась одна в своем смешном маленьком домике, где ковры были сшиты из цветных лоскутков, столы покрыты вырезанными из бумаги петухами, курами и кошками, а стены увешаны старыми дипломами, портретами покойных родственников и медальонами с прядями их волос...

Но и пережив столько скорби и столько утрат, она оставалась самой веселой и забавной старушкой на свете. Я разыскал небольшую площадь, где стоял ее дом, подошел к полуоткрытой двери и громко позвал ее. Откуда-то из глубины расположенных анфиладой трех комнат послышался пронзительный возглас:

— Вот тебе и на! О боже мой!

Она опрокинула кофе в огонь — почему она варила кофе в такой неурочный час? — и выбежала ко мне... Она держалась очень прямо, даже как-то выгибалась назад, на самой макушке у нее возвышалось странное сооружение — не то шляпка, не то капор, не то чепец, оставляя открытым огромный морщинистый лоб и придавая ее лицу что-то монгольское или готтентотское; она смеялась дробным смехом, обнажая остатки мелких зубов.

Когда я поцеловал ее, она торопливо и неловко схватила меня за руку, которую я держал за спиной. С таинственностью, совершенно излишней, потому что в комнатах никого не было, она вложила мне в руку монетку, на которую я не посмел взглянуть, — вернее всего франк... Видя, что я собираюсь отказываться и благодарить ее, тетя Муанель наградила меня туманом и закричала:

— Оставь! Уж я-то знаю, что делаю!

Она всю жизнь жила в бедности, всегда в долгах — и всегда сорила деньгами.

— Я всегда была глупой и несчастной, — говорила она без всякой горечи своим резким фальцетом.

Убежденная, что я, как и она сама, нуждаюсь в деньгах, добрая женщина, не дав мне и рта раскрыть, насильно сунула мне в руку свои скудные, сбереженные за день гроши. С этого неизменно начиналось и каждое последующее наше свидание.

Ужин, которым она меня угостила, был не менее странным, чем встреча, и таким же грустным и смешным. Тетушка то уходила с зажженной свечой в руках, оставляя меня в темноте, то ставила ее на маленький столик среди щербатых или расколотых блюд и ваз.

— Вот у этой вазы, — говорила она, — в семидесятом году пруссаки отбили ручки, со зла, что не могут унести ее с собой.

И только при виде огромной вазы с такой трагической историей я вспомнил, что мы когда-то уже ужинали и ночевали в этом домике. Отец возил меня в департамент Йонны к врачу, чтобы показать мою больную ногу. Нужно было ехать скорым поездом, который проходил перед рассветом... Я вспомнил тогдашний тоскливый ужин, вспомнил истории, которые рассказывал старый судейский, поставив локти на стол возле бутылки с розовым вином.

Вспомнились мне и мои тогдашние страхи. После ужина тетка отвела отца в сторонку, села возле камина и принялась рассказывать ему о привидениях. «Оборачиваюсь... О дорогой Луи, что я вижу! Маленькую седую женщину...» Все кругом знали, что голова у тети Муанель буквально начинена всей этой чепухой.

Вот и на сей раз после ужина, когда, измученный целым днем велосипедной езды, я улегся в большой комнате, натянув на себя клетчатую ночную рубашку, оставшуюся после дяди Муанеля, она присела у моего изголовья и начала с самым таинственным видом, своим самым пронзительным голосом:

— Мой бедный Франсуа, я должна тебе рассказать то, чего еще никогда никому не рассказывала...

Я подумал:

«Ну, меня можно поздравить! Теперь она будет мучить меня всю ночь, как десять лет назад!»

И мне пришлось слушать. Рассказывая, она покачивала головой и смотрела не на меня, а куда-то вперед, словно говорила сама с собой:

— Возвращались мы с Муанелем домой с одного праздника. После смерти нашего бедного Эрнеста это была первая свадьба, на которую мы отправились вдвоем, и там я встретила мою сестру Адель, которую не видела целых четыре года! Один старый приятель Муанеля, очень богатый человек, пригласил его на свадьбу своего сына в поместье Саблоньер. Мы наняли повозку. Это нам недешево обошлось. Едем по большой дороге утром, часов около семи. Дело было зимой, только начало светать. Вокруг — ни души. И что же я вдруг вижу впереди, на дороге? Молодого человека. Маленького молодого человека, с лицом, как ясное солнышко. Стоит на дороге как вкопанный и на нас смотрит. А мы подъезжаем все ближе. И нам все лучше видно



его лицо, красивое-красивое, белое-белое! Такое красивое, что просто страх!..

Схватила я Муанеля за руку, дрожу как лист и думаю: это сам Господь Бог!.. Я говорю: «Смотри! Это нам явление!» А он отвечает — совсем тихо и так зло: «Я и сам вижу! Помолчи, старая болтунья...»

Он тоже не знал, что делать. А лошадь остановилась. Теперь, вблизи, видим: лицо у него бледное, на лбу пот, грязный берет, длинные брюки. И слышим нежный голос: «Я не мужчина, я девушка. Я убежала из дому, выбилась из сил. Будьте так добры, возьмите меня в свою повозку, сударь и сударыня...» Мы тут же забрали ее с собой. Не успела она сесть, как потеряла сознание. И можешь себе представить, кем она оказалась? Невестой молодого человека из Саблоньера, того самого Франца де Гале, на чью свадьбу нас пригласили!

— Но ведь свадьба не состоялась, раз невеста убежала! — сказал я.

— И верно, не состоялась,— ответила она, сконфуженно глядя на меня.— Свадьбы не было. Потому что эта бедная сумасбродка вбила себе в голову тысячу глупостей. Она нам все объяснила. Она дочка бедного ткача. И решила, что такое огромное счастье не для нее, что молодой человек еще слишком юн, что все чудеса, которые он ей расписывал, просто выдумки, и когда наконец Франц приехал за ней, Валентину охватил страх. Несмотря на холод и сильный ветер, Франц гулял с ней и с ее сестрой по Архиепископскому саду,— дело было в Бурже. Юноша любил младшую из сестер и поэтому, из вежливости, конечно, был очень внимателен к старшей. И вот моя глупышка вообразила бог весть что. Сказала, что пойдет домой за косынкой, переделалась в мужское платье, надеясь, что так ее трудней будет разыскать,— и убежала по парижской дороге.

Жениху она написала письмо, где объявляла, что едет к молодому человеку, которого любит. А это была неправда...

«Я принесла себя в жертву, и это дало мне гораздо больше счастья, чем если б я стала его женой»,— говорила она.— Вот так-то, мой глупенький, а ведь он-то и не думал жениться на ее сестре; он пустил себе пулю

в лоб, в лесу обнаружили кровь, но тела так и не нашли.

— И что же вы сделали с несчастной девушкой?

— Прежде всего мы заставили ее выпить рюмочку вина. Потом, когда вернулись домой, накормили ее, и она уснула возле камина. Она прожила с нами добрую половину зимы. С самого утра, как только рассветет, принималась не покладая рук и шить, и кроить, и приводить в порядок платья и шляпы, и в комнатах прибираться. Это она стены обоями оклеила. И с того времени у нас выют гнезда ласточки. Но по вечерам, как стемнеет, закончив работу, она, бывало, всегда найдет какой-нибудь предлог, чтобы уйти в сад, или во двор, или просто возле дома постоять — даже в самые трескучие морозы. И там мы заставляли ее всю в слезах. «Ну вот, вы опять плачете! Что с вами?» — «Ничего, госпожа Муанель!» — И возвращалась в дом.

Соседи говорили: «У вас прелестная маленькая горничная, госпожа Муанель».

Но как мы ни умоляли ее, она решила продолжить свой путь в Париж. В марте она ушла. Я отдала ей свои платья, и она перешила их для себя; Муанель взяла ей на вокзале билет и дал немного денег на дорогу.

Она не забыла нас. Она стала портнихой в мастерской возле Собора Парижской Богоматери. В письмах все спрашивала, нет ли каких новостей из Саблоньера. Чтобы избавить ее от этих мыслей, я как-то раз ответила ей, что поместье продано и снесено, что молодой человек исчез навсегда, а девушка, его сестра, вышла замуж. Да я думаю, так оно, наверно, и есть. С тех пор моя Валентина пишет мне гораздо реже...

Нет, не историю с привидениями рассказывала мне тетя Муанель своим тоненьким, пронзительным голоском, словно созданным для таких историй. Меня охватила тревога. Ведь мы поклялись актеру Францу, что поможем ему как братья, и теперь мне представлялся случай эту клятву сдержать...

Но вот ведь какая незадача! Разве посмею я завтра утром отравить радость Мольна и рассказать ему все, что узнал сейчас от тети Муанель? К чему толкать его на новые поиски, которые будут в тысячу раз труднее всех прежних? Правда, у нас есть адрес девушки, но где мы отыщем бродягу, который странствует по всему

свету?.. Пусть сумасброды сами занимаются своими сумасбродствами, думал я. Делюш и Бужардон были правы. Сколько зла причинили нам романтические бредни Франца! И я решил никому ничего не говорить, пока не увижу Огюстена Мольна женатым на мадмуазель де Гале.

Но даже приняв это решение, я не сразу отделался от тяжелого предчувствия, что нам угрожает опасность,— нелепого предчувствия, которое я скоро прогнал.

Свеча почти догорела, где-то пищал комар, голова тети Муанель в бархатном капоре, с которым она расставалась, только ложась спать, клонилась все ниже, но она снова начала всю историю с самого начала... Иногда она внезапно поднимала голову и взглядывала на меня, точно желая узнать, какое впечатление производит на меня ее рассказ, или, может быть, проверяя, не заснул ли я. Наконец я решил схитрить и, уткнувшись в подушку, закрыл глаза и притворился, что сплю.

— Э, да ты спишь,— протянула она приглушенным и немного обиженным голосом.

Мне стало ее жаль, и я запротестовал:

— Да нет же, тетя, уверяю вас...

— Да, да. Впрочем, я вижу, что тебя все это вообщенисколько не интересует. Ведь я говорю о людях, с которыми ты никогда не был знаком...

На этот раз я коварно промолчал.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### ДОБРАЯ ВЕСТЬ

Наутро, когда я выехал на главную улицу, стояла такая чудесная погода, в городке царил такой безмятежный покой, такие мирные, такие по-домашнему уютные звуки слышались вокруг, что ко мне опять вернулась радостная уверенность человека, несущего добрую весть...

Огюстен и его мать жили в старом школьном здании. Отец его, получив большое наследство, еще в давние времена вышел в отставку, и после его смерти Мольн упросил мать купить этот дом, в котором старик преподавал добрых двадцать лет и где сам Огюстен

научился читать. Нельзя сказать, чтобы школа выглядела привлекательно. Большое квадратное строение напоминало мэрию, которая действительно здесь когда-то помещалась; выходящие на улицу окна первого этажа были расположены на такой высоте, что в них невозможно было заглянуть, а задний двор, в котором не росло ни единого деревца и где навес над площадкой для игр закрывал вид на окрестные поля, являл собой самый тоскливый и самый пустынный школьный двор, какой мне только доводилось встречать...

В запутанном коридоре, куда выходили четыре двери, я встретил мать Мольна, она несла из сада большой тюк белья, которое, должно быть, с самого раннего утра развесила для просушки. Ее волосы растрепались, седые пряди, выбиваясь из старомодной прически, падали на лоб, лицо с правильными чертами казалось припухшим и усталым, как после бессонной ночи; она шла, задумчиво и грустно опустив голову.

Но внезапно заметив и узнав меня, улыбнулась.

— Вы приехали вовремя,— сказала она.— Вот видите, я только что сняла белье, которое высушила к отъезду Огюстена. Всю ночь я собирала его вещи. Поезд отходит в пять, но мы как раз успеем...

Она говорила с такой уверенностью, будто сама назначила день и час отъезда сына. А между тем она, может быть, даже не знала, куда он едет...

— Поднимитесь,— сказала она.— Вы найдете его в мэрии, он там пишет.

Я поспешно поднялся по лестнице, открыл правую дверь, на которой сохранилась табличка «Мэрия», и очутился в большом зале с четырьмя окнами — два из них выходили на улицу, два в сторону полей — и с пожелтевшими портретами президентов Греви и Карно на стенах. В глубине зала, на длинном возвышении, возле стола, покрытого зеленой скатертью, все еще стояли стулья муниципальных советников. В центре этого ряда стульев, в старом кресле, которое когда-то принадлежало мэру, сидел Мольн и что-то писал, обмакивая перо в старомодную фаянсовую чернильницу в форме сердца. Здесь, в этом уголке, словно созданном для какого-нибудь сельского рантье, обычно уединялся Мольн в долгие дни каникул — если только не отправлялся странствовать по окрестным лесам...

Узнав меня, он встал, но без той стремительности, которой я ожидал.

— Сэрель! — только и проговорил он с видом глубокого удивления.

Передо мной был все тот же высокий юноша с костлявым лицом, с бритой головой. Над губой уже начали пробиваться усы. И по-прежнему — открытый взгляд... Но над его лицом, казалось, колыхается туманная завеса, и лишь ненадолго прорывается сквозь нее былая страстность, прежний пыл...

Я видел, что встреча со мной взволновала его. Одним прыжком оказался я на помосте. Но, странно сказать, он даже не подумал протянуть мне руку. Он обернулся ко мне с видом величайшего смущения и неловкости, заложив руки за спину, прижавшись к столу и откинувшись назад. Глядя на меня, но меня как будто не видя, он уже был целиком поглощен теми словами, которые собирался мне сказать. Ему и прежде всегда было трудно начать разговор, как это бывает с отшельниками, охотниками и скитальцами; он принимал решение, не заботясь обычно о том, какими словами его выразить. И теперь, когда я стоял перед ним, он с трудом подбирал нужные слова.

Тем временем я стал весело рассказывать ему, как я добрался, где провел ночь и как был удивлен, увидев, что г-жа Мольтен готовит сына к отъезду...

— А, она тебе уже сказала?.. — спросил он.

— Да. Я надеюсь, ты едешь ненадолго?

— Нет, очень надолго.

На миг растерявшись, чувствуя, что я могу сейчас одним словом свести к нулю его решение, смысл которого мне непонятен, я не смел продолжать разговор и не знал, как приступить к выполнению своей миссии.

Наконец он сам заговорил, точно человек, желающий оправдаться:

— Сэрель! Ты знаешь, чем было для меня то странное приключение в Сент-Агате. В нем был весь смысл моего существования, вся надежда. Утратив эту надежду, что мог я делать в жизни?.. Жить, как все вокруг живут?

Что ж, я попробовал так жить — в Париже, после того как понял, что все кончено, что не стоит и пытаться искать Затерянное Помесье... Но если человек хоть

раз побывал в раю, разве он может привыкнуть к обыденной жизни? То, в чем другие видят счастье, мне показалось насмешкой. А с того дня, как я все же решил — искренне, по своей собственной воле решил жить, как все, — с того самого дня меня терзают угрызения совести.

Сидя на стуле, я слушал, не глядя на него, опустив голову и не зная, как отнестись к этим запутанным объяснениям.

— Мольн! Растолкуй мне как следует! — сказал я. — Зачем это дальнейшее путешествие? Тебе что же, какую-то ошибку надо исправить? Или сдержать обещание?

— Вот-вот, — ответил он. — Ты помнишь, что я обещал Францу?

— Ах так, — вздохнул я с облегчением, — значит, речь идет только об этом?..

— Об этом. А может быть, и об ошибке, которую надо исправить. Даже о двух ошибках...

Последовало недолгое молчание, во время которого я собирался с мыслями и искал нужные слова...

— Я знаю одно, — добавил Мольн, — конечно, я бы хотел еще раз повидать мадмуазель де Гале, только повидать... Но вот в чем я теперь твердо убежден: когда я открыл Безымянное Поместье, я ощутил себя на такой высоте, на вершине такого совершенства и такой чистоты, каких мне никогда уже не достигнуть. Только в смерти, — я тебе как-то писал об этом, — я, может быть, смогу вновь обрести красоту тех дней...

Потом, приблизившись ко мне, он проговорил другим тоном, со странным возбуждением:

— Но послушай, Сэрель! И новые отношения в моей жизни, и дальняя поездка, и ошибка, которую я совершил и которую надо исправить, — все это в некотором смысле продолжает прежнее мое приключение...

Он замолчал, пытаясь поймать ускользавшие воспоминания. Только что я упустил удобный случай перейти к делу. Ни за что на свете не хотел я упускать его снова. И я заговорил — на этот раз слишком рано: впоследствии я горько сожалел, что не дослушал его признаний до конца.

Итак, я произнес фразу, которую заготовил минутой раньше, но которая оказалась теперь неуместной. Сидя

все так же неподвижно, я сказал, едва приподняв голову:

— А если я сообщу тебе, что надежда еще не потеряна?..

Он посмотрел на меня, потом, резко отведя глаза, покраснел,— мне никогда не приходилось видеть, чтобы люди так краснели, казалось, вся кровь разом прилила к его голове и бешено застучала в висках...

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил он наконец едва слышно.

Тогда, словно бросившись головой в омут, я рассказал ему обо всем, что узнал, и что успел предпринять, и как все обернулось,— вышло, что чуть ли не сама Ивонна де Гале послала меня за ним.

Теперь он стал страшно бледен.

Пока я говорил, он слушал молча, слегка втянув голову в плечи, как человек, на которого внезапно напали и он не знает, защищаться ему, или спрятаться, или бежать. Помнится, он только раз перебил меня: я мимоходом заметил, что вся усадьба Саблоньер разрушена, что прежнего Поместья нет больше на свете, и тогда, словно он только и ждал случая оправдать свое поведение, свое безысходное отчаянье, Мольн сказал:

— О, вот видишь, вот видишь — больше ничего нет...

Убежденный, что боль его наконец-то исчезнет, едва он только поймет, как все стало теперь просто и легко, я поспешил закончить свой рассказ, сообщив, что мой дядя Флорантен устраивает увеселительную прогулку, что в ней должна принять участие мадмуазель де Гале и что он, Мольн, тоже приглашен... Но он казался совершенно растерянным и продолжал молчать.

— Нужно сейчас же отменить твой отъезд,— сказал я нетерпеливо.— Пойдем предупредим твою мать...

И когда мы оба уже спускались по лестнице, он спросил меня с нерешительностью:

— Эта увеселительная прогулка... Ты в самом деле считаешь, что мне туда нужно поехать?..

— Ну как же, само собой разумеется,— ответил я.

У него был такой вид, будто его взяли за плечи и насильно толкают вперед.

Внизу Огюстен сказал г-же Мольн, что я буду у них обедать и ужинать, переночую, а завтра он доста-

нет для меня велосипед и поедет вместе со мной во Вье-Нансей.

— Что ж, очень хорошо,— кивнула она головой, словно только и ожидала этого сообщения.

Я сидел в маленькой столовой, стены которой были украшены иллюстрированными календарями, кинжалами с узорными рукоятками и суданскими бурдюками, привезенными из далеких плаваний братом г-жи Мольн, бывшим солдатом морской пехоты...

Мольн на минуту оставил меня одного и, пока еще не начался завтрак, вышел в соседнюю комнату, где мать собирала ему вещи в дорогу; я слышал, как, чуть понизив голос, он попросил не распаковывать его чемодан, потому что поездка, возможно, лишь ненадолго откладывается...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ПИКНИК

Я с трудом поспевал за Огюстеном по дороге, которая вела к Вье-Нансею. Он мчался, как настоящий гонщик. Он не слезал с велосипеда даже на крутых подъемах. Необъяснимая нерешительность, которую он проявил накануне, сменилась лихорадочным возбуждением, стремлением приехать как можно скорее, и это меня даже немного пугало. Такое же нетерпение он выказал и у дяди Флорантена, он не мог ни на чем сосредоточиться вплоть до того момента, когда, к десяти часам утра, мы все стали рассаживаться в экипаже, чтобы отправиться на речку.

Был конец августа, последние летние дни. С пожелтевших каштанов, устилая белый грунт дорог, уже начала слетать скорлупа. Ехать предстояло недалеко: ферма Обье, куда мы направлялись, была расположена неподалеку от берега Шера, всего километрах в двух от поместья Саблоньер. Время от времени нам попадались повозки с другими участниками пикника и даже несколько молодых людей верхом,— Флорантен на свой страх и риск пригласил их от имени господина де Гале... Устроители прогулки постарались, как и в прежние времена, соединить в одной компании богачей и бедняков, помещиков и крестьян. Среди приглашенных мы увиде-



ли и прикатившего на велосипеде Жасмена Делюша, которого сторож Баладье познакомил когда-то с моим дядей.

— Вот и он,— сказал Мольн, увидев Делюша,— человек, в чьих руках все время были ключи от нашей тайны, а мы-то в своих поисках до Парижа дошли. Ну как тут не прийти в отчаянье!

И он бросал на Делюша злобные взгляды. А тот, искренне считая, что заслужил нашу признательность, всю дорогу ни на шаг не отставал от нашей повозки. Было видно, что бедняга раскошелился на обновление своего туалета, но больших результатов это не принесло, и полы его поношенного сюртука все время бились о крыло велосипеда... Несмотря на все его старания быть любезным, его старообразное лицо вряд ли могло кому-нибудь понравиться. Он внушал мне какую-то смутную жалость. Но только ли к нему одному я испытывал жалость в тот памятный день?..

Этот пикник я всегда вспоминаю с тяжелым чувством, с глубокой печалью. Как предвкушал я ту радость, какую подарит мне этот день! Казалось, все вокруг сговорилось доставить нам счастье. Но счастье не пришло...

А как красивы были берега Шера! Место, где мы остановились, представляло собой пригорок, отлого спускавшийся к воде; земля здесь делилась на маленькие зеленые лужайки и на ивовые рощицы, обнесенные изгородями, точно крохотные сады и огороды. Другой берег реки был покрыт серыми холмами, крутыми и каменистыми, и на самых далеких из них среди елок мелькали маленькие замки с романтическими башенками. Порой издалека, из замка Преверанж, доносился лай собачьей своры.

Нам пришлось добираться до места по целому лабиринту узких дорог и тропинок, то песчаных, то усеянных белой галькой; у самой реки все эти тропинки становились ручьями, потому что из-под земли здесь били ключи. Мы цеплялись рукавами за кусты дикой смородины, мы то погружались в прохладный полумрак глубоких оврагов, то, выходя на открытое место, окунались в прозрачные волны света, заливавшие всю Долину. Подойдя поближе к реке, мы увидели, как вдали, на другом берегу, какой-то человек, прижавшись к скале,

медленными движениями расправлял рыболовную снасть... Боже, как здесь было хорошо!

Мы устроились в укромном уголке, на лужайке, со всех сторон окруженной молодым березняком. Лужайка была большая и ровная — трудно найти лучшее место для веселья и игр!

Выпрягли лошадей и отвели их на ферму Обье. Под деревьями стали распаковывать провизию, а на лугу расставлять раскладные столики, которые привез дядя Флорантен.

Тут понадобились желающие пойти к повороту соседней дороги встретить запоздавших гостей и указать им место нашего лагеря. Я вызвался первым, Мольн пошел со мной, и мы расположились недалеко от висячего моста, у перекрестка, где дорогу из Саблоньера пересекают многочисленные тропинки.

В ожидании мы прохаживались взад и вперед, вспоминали о прошлом и всеми силами старались отвлечься от тревожных мыслей. Проехала еще одна повозка из Вье-Нансея, а в ней — незнакомые нам крестьяне со взрослой дочерью, у которой в волосы вплетены были ленты. И опять никого на дороге. Впрочем, вот трое ребятшек в коляске, запряженной осликом, — дети бывшего садовника из Саблоньера.

— Мне кажется, и их узнаю, — сказал Мольн. — Ну, конечно, это они взяли меня за руки тогда, в первый вечер праздника, и повели ужинать.

В этот момент осел заупрямился и не захотел идти даьше; дети выскочили из коляски, принялись тянуть, стегать, колотить его, что было мочи, — и Мольн с горечью признал, что ошибся...

Я спросил детей, не встретились ли им по дороге господин и мадмуазель де Гале. Один из них ответил, что не знает, другой сказал: «Кажется, да, сударь». Большого мы от них не смогли добиться. Наконец дети съехали с дороги и двинулись по лужайке; один тянул ослика за уздечку, другие подталкивали коляску сзади. Наше ожидание возобновилось. Мольн не спускал глаз с того места, где дорога сворачивала к Саблоньеру; он чуть ли не со страхом ожидал появления девушки, которую когда-то разыскивал с такой страстью. Потом им овладела странная, даже смешная досада — все против

того же Жасмена. С небольшого возвышения, на которое мы взобрались, чтобы лучше следить за дорогой, нам видно было, как внизу, на лужайке, Делюш собрал вокруг себя группу гостей и пытается завладеть всеобщим вниманием.

— Посмотри, как он разглагольствует, этот дурак, — сказал мне Мольн.

Я ответил:

— Да оставь ты беднягу в покое. Каждый делает что умеет.

Огюстен не унимался. В это время на лужайку выскочил из лесу какой-то зверек, не то заяц, не то белка. Жасмен, все больше входя в роль разбитного малого, сделал вид, что хочет погнаться за ним.

— Подумать только! Теперь он бежит! — сказал Мольн таким тоном, словно Делюш совершил героический поступок.

На этот раз я не смог удержаться от смеха. Засмеялся и Мольн, но это была всего лишь секундная вспышка веселости.

Прошло еще с четверть часа, и он сказал:

— А если она вообще не придет?..

— Но ведь она обещала, — возразил я. — Наберись терпения!

Он опять принялся неотрывно глядеть на дорогу. Однако вскоре, не в силах больше выносить это томительное ожидание, проговорил:

— Послушай, я спущусь вниз, к остальным. Мне кажется, все обернулось против меня, и, если я останусь здесь, она никогда не придет. Просто не могу себе представить, чтобы сейчас, за этим поворотом, вдруг появилась она.

И он ушел на лужайку, оставив меня одного. Чтобы убить время, я пошел вперед по дороге. Прошел сотню-другую метров и за первым же поворотом увидел Ивонну де Гале: она ехала верхом, ее старый белый конь проявил в то утро неожиданную резвость, и наезднице приходилось все время натягивать поводья, не давая ему перейти на рысь. Впереди, с трудом переставляя ноги, молча шел г-н де Гале. Должно быть, отец и дочь менялись по пути друг с другом местами, поочередно садясь на лошадь.



Увидев, что я в одиночестве, девушка улыбнулась, быстро спрыгнула с лошади и, передав поводья отцу, направилась ко мне, я побежал ей навстречу.

— Как я рада, что с вами никого нет! — сказала она. — Я не хочу никому, кроме вас, показывать старого Белизера, не хочу, чтобы его пускали пастись с другими лошадьми. Ведь он так уродлив и стар, и к тому же я всегда боюсь, как бы другие лошади его не поранили. Только на него я и решаюсь садиться, и когда он умрет, я больше не буду ездить верхом...

Я почувствовал, что за этим милым оживлением, за внешней непринужденностью Ивонны де Гале кроется то же нетерпение, та же тревога, что и у Мольна. Она говорила быстрее обычного. Ее щеки были румяны, но под глазами и на лбу, выдавая растерянность, проступала страшная бледность.

Мы решили привязать Белизера к дереву в небольшой рощице недалеко от дороги. Старый г-н де Гале, как всегда не говоря ни слова, вынул из седельной сумки недоуздок и привязал лошадь чуть ниже, чем следовало, как мне показалось. Я обещал тотчас же приехать с фермы сена, овса, соломы...

И мадмуазель де Гале пошла к лужайке — так же, подумалось мне, как она появилась когда-то на берегу пруда, где в первый раз увидел ее Мольн.

Ведя под руку своего отца, придерживая левой рукой полу широкого легкого плаща, она приближалась к гостям, и на лице ее было очень серьезное и вместе с тем удивительно детское выражение. Я шагал рядом. Участники пикника, успевшие разбрестись по лужайке, теперь быстро сходились вместе, чтобы приветствовать ее; в течение какой-то минуты все молча смотрели, как она идет к ним навстречу.

Мольн затерялся в группе молодежи, он ничем не выделялся среди товарищей, разве что своим ростом; впрочем, рядом с ним были юноши почти такие же высокие, как он. Ничем не выдал он своего напряжения, не шевельнулся, не шагнул вперед. Я видел, как он стоит неподвижно в своем сером костюме и вместе со всеми пристально смотрит на идущую к ним прелестную девушку. Он только провел рукой по непокрытой голове — бессознательным и каким-то смущенным движением, словно хотел спрятать среди этих аккуратно

причесанных юношей свою по-крестьянски обритую голову.

Молодежь окружила мадмуазель де Гале. Ей стали представлять девушек и молодых людей, с которыми она еще не была знакома... Приближалась очередь Мольна; я был встревожен не меньше, чем он. Я рассчитывал, что сам представлю моего друга Ивонне де Гале.

Но прежде чем я успел раскрыть рот, девушка уже шагнула к нему с поразительной решимостью и серьезностью.

— Я узнаю Огюстена Мольна,— сказала она.  
И протянула ему руку.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### ПИКНИК

(Окончание)

Тут новые гости подошли поздороваться с Ивонной де Гале, и Мольна оттеснили в сторону. По несчастливому стечению обстоятельств, молодые люди и за обедом очутились за разными столами. Но к Мольну как будто вернулись надежда и смелость. Сидя между Делюшем и господином де Гале, я не раз видел, как мой товарищ дружески машет мне издали рукой.

Лишь к вечеру, когда повсюду стали понемногу завязываться игры и беседы, а кое-кто из гостей отправился на реку купаться или кататься по соседнему пруду в лодке, Мольн опять оказался в обществе молодой девушки. Сидя на садовых стульях, которые мы привезли с собой, мы болтали в компании с Делюшем, и в это время, с непринужденностью оставив группу молодежи, среди которой она, видно, скучала, Ивонна направилась к нам. Помнится, она спросила, почему мы не катаемся, как остальные, на лодках по пруду Обье.

— Мы сегодня уже сделали там несколько кругов. Но это слишком однообразное занятие, и мы быстро устали,— ответил я.

— Но тогда вы могли бы поехать по реке,— возразила она.

— Там очень сильное течение, лодку может унести.

— Тут пригодилась бы моторная лодка,— сказал Мольн.— Или пароходик, как когда-то.

— У нас больше его нет,— проговорила она почти шепотом.— Мы его продали.

Наступило неловкое молчание.

Воспользовавшись этим, Жасмен заявил, что пойдет поищет г-на де Гале.

— Уж я-то знаю, где его найти,— сказал он.

Ирония судьбы! Эти двое таких несхожих между собой людей неожиданно понравились друг другу и все утро были почти неразлучны. В самом начале пикника г-н де Гале отозвал меня в сторонку, чтобы сказать, что мой друг Делюш — это человек, наделенный тактом, почтительностью и прочими достоинствами. Мне кажется даже, что отставной моряк доверил ему тайну существования Белизера и раскрыл место, где тот был спрятан.

Когда Делюш ушел, я подумал было, что и мне лучше удалиться, но Мольн и мадмуазель де Гале были так смущены и взволнованы, что я счел более благоразумным не оставлять их наедине друг с другом.

Однако и тактичный уход Жасмена и моя собственная осторожность были, пожалуй, излишни. Они начали разговор. Но Мольн с упорством, в котором он, конечно, не отдавал себе отчета, снова и снова заводил речь обо всем том чудесном, что поразило его когда-то в усадьбе. И каждый раз девушка, для которой эти воспоминания были пыткой, повторяла, что все исчезло, что старое здание, такое замысловатое и странное, снесено, огромный пруд высох и засыпан землей, а дети в прелестных костюмах разъехались по домам...

Мольн только тоскливо вздыхал в ответ с таким видом, словно во всех этих печальных событиях повинны были девушка или я...

Мы шли все трое рядом... Напрасно старался я переменить разговор и отогнать охватившую нас печаль. Не в силах противиться своей навязчивой идее, Мольн продолжал бестактные расспросы. Он требовал разъяснений решительно обо всем, что повидал в свое время в поместье: о девочках, о вознице старой берлины, о пони, участвовавших в скачках... «И пони тоже проданы? В Поместье не осталось больше лошадей?..»

Она отвечала, что не осталось. О Беллизере она не упомянула.

Тогда он стал припоминать, какие предметы находились в его комнате: канделябры, большое зеркало, старая разбитая лютюня... Он спрашивал обо всем этом с непонятым жаром, будто хотел еще и еще раз убедиться, что от его волшебного приключения ничего не уцелело и что девушка не может предъявить ему даже обломка кораблекрушения, который подтвердил бы: нет, это не пригрезилось им обоим... Так водолаз приносит со дна камни и водоросли.

Мы с мадмуазель де Гале не могли удержать грустной улыбки; она решилась объяснить ему все до конца:

— Вы никогда больше не увидите прекрасного замка, который мы с отцом привели тогда в порядок для нашего бедного Франца. Вся наша жизнь была посвящена выполнению его прихотей. Он был таким странным, таким очаровательным существом! Но все вместе с ним исчезло в тот вечер несостоявшегося обручения.

К тому времени господин де Гале был уже разорен, хотя не говорил нам об этом. Франц наделал много долгов, и его бывшие товарищи, узнав об его исчезновении, поспешили предъявить нам иск. Мы обеднели. Моя мать умерла. И скоро оказалось, что у нас нет больше друзей.

Пусть Франц вернется,— если, конечно, он жив; пусть он вновь обретет и прежних друзей, и невесту; пусть даже будет сыграна прерванная свадьба и все примет свой прежний вид,— все равно, разве можно вернуть прошлое?

— Кто знает? — сказал задумчиво Мольн. Больше он ни о чем не спрашивал.

Мы бесшумно ступали по короткой, уже слегка пожелтевшей траве, по правую руку от Огюстена шла рядом с ним девушка, которую он уже было считал потерянной для него навсегда. Когда он задавал безжалостные вопросы, она, отвечая, медленно поворачивала к нему свое милое встревоженное лицо; один раз, что-то говоря ему, она доверчивым и беззащитным движением нежно коснулась его руки... Почему же Большой Мольн вел себя как чужой, как человек, не нашедший того, что искал? Почему он казался таким безучастным? При-



ди к нему это счастье тремя годами раньше, — ведь он бы помешался от радости! Откуда же сейчас эта опустошенность, отчужденность, это неумение быть счастливым?

Мы подходили к роще, где утром господин де Гале привязал Белизера; солнце, клонясь к закату, бросало на траву наши длинные тени; с дальнего конца лужайки, сливаясь в радостный гул, доносились, приглушенные расстоянием, голоса игравших детей, и мы молчали, зачарованные спокойствием вечера, как вдруг из-за леса, со стороны фермы Обье, стоявшей на берегу реки, раздалась песня. Пел далекий молодой голос, — верно, кто-то вел скотину на водопой; мелодия напоминала своим ритмом танцевальный напев, но певец придавал ей протяжность, словно грустной старинной балладе:

Красные туфли мои...  
Прощай же, моя любовь...  
Красные туфли мои...  
Тебе не вернуться вновь...

Мольн поднял голову и стал прислушиваться. Это была одна из тех самых песенок, которые распевали подгулявшие крестьяне в Безымянном Поместье в последний вечер праздника, когда уже все пошло прахом... Еще одно воспоминание — самое горькое — о тех чудесных и безвозвратных днях...

— Вы слышите песню? — сказал вполголоса Мольн. — О, я пойду посмотрю, кто это поет.

И он тотчас же бросился в рощу. Вскоре песня оборвалась; еще секунду было слышно, как человек, удаляясь, свистом подгоняет животных. Потом все смолкло...

Я взглянул на девушку. Задумчивая и удрученная, смотрела она на заросли, в которых только что скрылся Мольн. Сколько еще раз ей придется задумчиво глядеть на дорогу, по которой навсегда уйдет Большой Мольн!

Она обернулась ко мне.

— Он несчастлив, — сказала она горестно.

И добавила:

— И, может быть, я не в силах ему помочь...

Я колебался, не зная, как ответить; я боялся, что Мольн, добежав быстро до фермы, уже возвращается

лесом назад и может услышать наш разговор. Но мне хотелось подбодрить ее, сказать, чтобы она не боялась разговаривать с юношей посуровее, что, вероятно, его приводит в отчаянье какая-то тайна, которую он никогда не доверит по своей воле никому, даже ей; — как вдруг из глубины роши раздался крик, потом мы услышали конский топот и резкие спорящие голоса... Я сразу сообразил: что-то произошло со старым Белизером, — и побежал в ту сторону, откуда доносился весь этот шум. Мадмуазель де Гале побежала вслед за мной. Должно быть, и с лужайки заметили, что мы бежим, потому что, углубившись в заросли, я услышал за собой голоса догонявших нас людей.

У старого Белизера, привязанного слишком низко, запуталась в постромках передняя нога; он стоял неподвижно до тех пор, пока не увидел, что к нему, гуляя по роше, приближаются г-н де Гале и Делюш, а тогда, испуганный, придя в возбуждение от непривычного количества заданного ему овса, стал неистово биться; те двое попытались освободить лошадь, но действовали так неловко, что только запутали ее еще больше, при этом ежеминутно рискуя получить удар копытом. Но тут, возвращаясь с фермы Обье, на них случайно наткнулся Мольн. Придя в ярость от такой неловкости, он с силой оттолкнул обоих мужчин, едва не сбив их с ног. Осторожно, одним умелым движением, он освободил Белизера. Но слишком поздно, — зло уже свершилось: у коня было, вероятно, повреждено сухожилие, а быть может, и сломана кость, он стоял с жалким видом, низко опустив голову, со сползающим со спины седлом, прижав к брюху согнутую и дрожащую ногу. Мольн нагнулся и начал молча ощупывать животное. Когда он наконец выпрямился, вокруг собрались почти все участники пикника. Но Мольн никого не видел. Он был в бешенстве.

— Не понимаю, кто мог так нелепо его привязать! — закричал он. — И на весь день оставить его под седлом! И кто вообще посмел оседлать эту несчастную старую тварь, годную разве лишь для легкой двуколки!

Делюш хотел ему что-то сказать, очевидно, собираясь взять вину на себя.

— Замолчи! — крикнул Мольн. — Ты больше всех виноват. Я видел, как ты по-дурацки тянул за веревку!

И, снова нагнувшись, он стал ладонью растирать коню сустав.

Господин де Гале, до сих пор молчавший, решил вмешаться, и это было с его стороны ошибкой.

— Морские офицеры привыкли... — пролепетал он. — Моя лошадь...

— Ах, так это ваша лошадь? — сказал Мольн, обращаясь к старику; юноша успел уже немного остыть, но его лицо все еще было красным.

Я думал, что Мольн переменит тон и извинится. Какое-то мгновение он молчал, тяжело дыша. Потом, решив, видимо, не отказывать себе в горьком удовольствии сжечь за собой корабли, он дерзко проговорил:

— Ну что ж, мне вас не с чем поздравить.

Кто-то робко подсказал:

— Может быть, холодная вода... Выкупать ее возле брода...

— Необходимо, — сказал Мольн, будто не слыша второй реплики, — сейчас же отвести эту старую лошадь домой, пока она еще в состоянии передвигаться. Нельзя терять ни минуты! Поставить ее в конюшню и больше никогда оттуда не выводить.

Несколько молодых людей тут же вызвались помочь. Но мадмуазель де Гале с живостью поблагодарила их и отказалась. Готовая расплакаться, с пылающим лицом, она попрощалась со всеми — и даже с Мольном, который, в сильном смущении, не смел поднять на нее глаза. Движением, каким протягивают руку человеку, она взяла лошадь за поводья — словно не для того, чтобы вести ее за собой, а чтобы подойти к ней поближе... Над саблоньерской дорогой дул ветерок, такой теплый, словно был май, а не конец лета, листья придорожных деревьев чуть вздрагивали... И она ушла, держа в своей узкой ручке, выпростанной из плаща, толстый кожаный повод. Рядом, с трудом переставляя ноги, шагал ее отец...

Печально закончился наш пикник! Каждый стал потихоньку собирать свои свертки, посуду, сложили стулья, разобрали столы; повозки, нагруженные вещами и людьми, одна за другой выезжали на дорогу; над головами приподнимались шляпы, прощально мелькали платки. Последними на лужайке остались мы с Моль-

ном и дядя Флорантен, который, хотя и молчал, не мог скрыть своей горечи и досады.

Но вот отправились и мы. Славный рыжий конь лихо мчал нашу повозку, которая мягко покачивалась на рессорах; на поворотах под колесами поскрипывал песок. Мы с Мольном смотрели с задней скамейки, как скрывается вдали проселочная дорога, по которой ушел дряхлый Белизер со своими хозяевами...

И тогда мой товарищ, всегда казавшийся мне человеком, который просто не умеет плакать, внезапно повернул ко мне свое потрясенное лицо, и я увидел, что к его глазам неудержимо подступают слезы.

— Остановите, пожалуйста! — сказал он, кладя руку на плечо Флорантена. — Не беспокойтесь обо мне. Я приду пешком.

И, опершись о крыло повозки, он одним прыжком соскочил на землю. К нашему изумлению, он повернул назад, бросился бежать и не замедлял бега до самого проселка, который мы только что проехали, — до дороги на Саблоньер.

Он вошел в Поместье, должно быть, по той самой еловой аллее, по которой он уже шел однажды и где, путником, спрятавшимся среди низких веток, он услышал таинственный разговор прелестных незнакомых детей...

В тот же вечер, рыдая, он просил руки мадмуазель де Гале.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Начало февраля, четверг, — чудесный морозный день, сильный ветер. Часы бьют половину четвертого, потом четыре... На плетнях и изгородях вокруг поселков с полудня сушится на ветру белье. В каждом доме пылает в столовой камин, и пламя отражается в ярком глянце детских игрушек. Устав играть, ребенок садится рядом с матерью и просит ее рассказать о дне ее свадьбы.

Тот, кто не хочет быть счастливым, может подняться на чердак — там он до самого вечера будет слышать свист и вой, наводящие на мысль о кораблекрушении; стоит ему выйти за ворота, на дорогу, — и ветер ударит

его концами шейного платка по губам, словно в неожиданном жарком поцелуе, от которого на глазах выступают слезы. Но для того, кому дорого счастье, есть в усадьбе Саблоньер, у самого края топкой дороги, одинокий дом, куда мой друг Мольн вошел вместе с Ивонной де Гале, которая в полдень стала его женой.

Со дня помолвки прошло пять месяцев. Они протекали мирно, — настолько же мирно, насколько бурной была первая встреча влюбленных. Мольн очень часто приезжал в Саблоньер, то на велосипеде, то в экипаже. Два-три раза в неделю мадмуазель де Гале, сидя за вышиванием или за книгой у большого окна, выходящего на равнину и еловые леса, вдруг видела, как мелькает за занавеской его высокий силуэт, ибо Мольн всегда приходил окольным путем — по аллее, которая когда-то впервые привела его сюда. Но то было с его стороны единственным — и притом молчаливым — намеком на прошлое. Казалось, счастье усыпило его странную тревогу.

Эти пять спокойных месяцев были отмечены несколькими незначительными событиями. Меня назначили учителем в деревушку Сен-Бенуа-де-Шан. Собственно говоря, Сен-Бенуа и не назовешь деревней. Это разбросанные среди полей фермы, и здание школы одиноко стоит на холме возле дороги. Я веду жизнь отшельника; но если идти напрямик, полями, то за три четверти часа можно добраться до Саблоньера.

Делюш живет теперь во Вье-Нансее у своего дяди — каменщика, который берет подряды на строительные работы. Скоро Жасмен станет сам хозяином фирмы. Он часто навещает меня. Мольн, уступив просьбам мадмуазель де Гале, держится с ним теперь очень любезно.

Вот почему сейчас, около четырех часов дня, когда приглашенные на свадьбу уже разъехались, мы с Делюшем все еще бродим в окрестностях.

Венчанье, обставленное самым скромным образом, состоялось ровно в полдень в бывшей усадебной часовне, которую не сломали и которая прячется среди елей на склоне ближнего холма. После короткого обеда мать Мольна, г-н Сэрель с Милли, Флорантен и другие гости сели в карету и уехали. Остались только мы с Жасменом...

Мы бредем по опушке леса, который тянется позади саблоньерского дома, обрамляя огромную залежь, где раньше было расположено снесенное ныне Помесье. Мы полны беспокойства — сами не зная почему и не решаясь в этом признаться. Тщетно пытаемся мы отвлечься от грустных мыслей и обмануть свою тревогу, показывая друг другу то заячью ямку, то свежие кучи песка, нарытые кроликами, то капкан, то след браконьера... Но, гуляя, мы снова возвращаемся к тому месту на краю зарослей, откуда виден безмолвный запертый дом...

Под большим окном, выходящим на еловую рошу, есть деревянный балкон, весь заросший бурьяном, пригибающимся к земле под порывами ветра. На оконных стеклах мерцают отсветы пылающего в камине огня. Время от времени в окне мелькает тень. А кругом, в окрестных полях, на огородах, на одинокой ферме, оставшейся от старых служебных пристроек, — тишина и безлюдье. Арендаторы отправились в город, чтобы выпить за счастье своих хозяев.

Иногда ветер, насыщенный влагой, которая вот-вот выпадет на землю дождем, овеивает наши лица и доносит чуть слышные звуки рояля. Там, в запертом доме, кто-то играет. Я на миг задерживаю шаг и пытаюсь вслушаться в тишину. Мне чудится, будто далекий трепетный голос едва решается излить свою радость в песне... словно смех девочки, которая собрала в своей комнате все игрушки и разложила их перед своим другом... Я думаю также о робкой радости молодой женщины, которая, надев красивое платье, впервые показывается в нем, еще не зная, к лицу ли оно ей... Напев, которого я прежде не слышал, звучит словно молитва — как будто кто-то встал перед своим счастьем на колени и умоляет его не быть жестоким...

Я думаю: «Наконец-то они счастливы. Там, рядом с ней, — Мольн...»

Только это мне и нужно знать, только в этом я, добрый малый, должен быть уверен, — и тогда я тоже буду счастлив.

Я стою так, поглощенный своими мыслями, с лицом, влажным от дуящего с равнины ветра, словно от морских брызг, — и вдруг чувствую, как кто-то прикасается к моему плечу. Это Жасмен.

— Прислушайся! — говорит он тихо.

Я смотрю на него. Он делает мне знак не двигаться и тоже прислушивается, наклонив голову и нахмурив брови...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ ЗОВ ФРАНЦА

— Уу-у!

На этот раз я расслышал. Этот сигнал, этот зов, состоящий из двух нот, высокой и низкой, кажется мне знакомым... Да, я вспоминаю: ведь так кричал возле школьной калитки долговязый циркач, окликая своего юного приятеля. И ведь мы поклялись Францу откликнуться на этот призыв, где бы и когда он ни раздался. Но почему звучит он именно здесь и именно сегодня? Что нужно Францу от нас?

— Кричат в большом ельнике, с левой стороны, — говорю я вполголоса. — Наверно, какой-нибудь браконьер.

Жасмен качает головой.

— Ты сам знаешь, что это не так.

И добавляет еще тише:

— Они с утра бродят оба вокруг. В одиннадцать часов я застиг Ганаша, когда он выслеживал кого-то в поле, недалеко от часовни. Он удрал, как только заметил меня. Они приехали издалека — может быть, на велосипедах, потому что он был по пояс в грязи.

— Но что же им нужно?

— Понятия не имею. Но их непременно надо спроводить отсюда. Нельзя, чтобы они шатались в этих местах. Иначе снова начнутся прежние выходки...

В глубине души я совершенно с ним согласен.

— Лучше всего, — говорю я, — было бы пойти к ним, узнать, чего они добиваются, и попытаться их как-нибудь урезонить.

И вот, пригибаясь, мы медленно и молчаливо продираемся сквозь заросли к еловому лесу, откуда с равномерными промежутками доносится протяжный крик, который сам по себе, может быть, и не печальнее любого другого крика, но нам он кажется зловещим предзнаменованием.

В этой части ельника деревья посажены ровными рядами, и глазу открывается далекое пространство между стволов, здесь трудно застигнуть человека врасплох, подойти к нему незамеченным. Мы даже и не пытаемся это сделать. Я занимаю пост в одном углу ельника, Жасмен идет в другой угол,— таким образом, у каждого из нас будут на виду две стороны прямоугольника, и ни один из бродяг не сможет от нас ускользнуть. Но вот позиции заняты, и я начинаю играть роль парламентаря. Я кричу:

— Франц!.. Франц, не бойтесь. Это я, Сэрель. Я хочу с вами поговорить...

Минута молчания. Я уже собираюсь повторить свой клич, но в это время из самой глубины ельника, куда почти не проникает взгляд, слышится приказание:

— Оставайтесь на месте — он сам подойдет к вам.

Понемногу между большими елями, которые из-за дальности расстояния кажутся растущими совсем близко друг к другу, я начинаю различать силуэт идущего ко мне молодого человека. Он забрызган грязью и плохо одет; брюки схвачены внизу велосипедными зажимами, из-под старой фуражки с якорем виднеются давно не стриженные волосы. Теперь я вижу и его исхудавшее лицо... Похоже на то, что он недавно плакал.

Он подходит ко мне решительным шагом и заносчиво спрашивает:

— Что вам нужно?

— А вы-то сами что здесь делаете, Франц? Зачем вы приходите, зачем нарушаете покой тех, кто счастлив? Чего вы хотите? Отвечайте же.

От этого прямого вопроса он слегка краснеет и отвечает, запинаясь:

— Я... Я несчастлив, несчастлив.

И, прислонившись к дереву, опустив голову на руки, начинает горько рыдать. Вокруг полнейшая тишина. Даже голос ветра, задержанный большими елями на опушке, не проникает сюда. Между ровными шеренгами стволов отдается эхом, затихая вдали, звук приглушенных рыданий. Я жду, пока он немного успокоится, и говорю, положив руку ему на плечо:

— Франц, пойдите со мной. Я отведу вас к ним. Они вас примут как блудного сына, который наконец вернулся, и все ваши горести исчезнут.



Но он ничего не желает слушать. В голосе его еще звучат слезы; несчастный, упрямый, злой, он принимается за свое:

— Значит, Мольн больше не думает обо мне? Почему он не отвечает, когда я его зову? Почему он нарушает свое обещание?

— Постойте, Франц, — отвечаю я, — время ребяческих выдумок и причуд давно позади. Не смущайте своим сумасбродством счастье тех, кого вы любите, — счастье вашей сестры и Огюстена Мольна.

— Но ведь только он и может меня спасти, вы ведь знаете. Лишь в его силах отыскать след, который я ищу. Вот уже почти три года, как мы с Ганашем колесим по всей Франции, — и все напрасно. Я верю теперь только в вашего друга. А он больше не отзывается. Он-то нашел свою любовь. Почему же теперь он не думает обо мне? Он должен отправиться в путь. Ивонна его отпустит... Она мне ни в чем никогда не отказывала.

Я вижу его лицо, пыльное, грязное, по которому слезы прочертили темные полосы, — измученное лицо до срока постаревшего подростка. Под глазами веснушки, подбородок небрит, длинные космы спадают на грязный воротник. Руки засунуты в карманы, он весь дрожит от холода. Передо мной уже не то царственное дитя в лохмотьях, каким он был прежде. Сердцем он, несомненно, еще больше ребенок, чем всегда: властный, взбалмошный, легко впадающий в отчаяние. Но больно видеть такое ребячество у взрослого парня... Прежде в нем было столько юного, гордого, что казалось, ему дозволено любое безумство на свете. Теперь прежде всего хотелось пожалеть Франца как неудачника; потом на язык просились упреки — настолько нелепой была роль романтического героя, за которую он так упорно цеплялся... Наконец, трудно было отделаться от мысли, что наш великолепный Франц со своей возвышенной любовью вынужден, чтобы не умереть с голоду, заниматься воровством, как и его приятель Ганаш... Такая гордость — и такое падение!

— Если я вам пообещаю, — говорю я после некоторого размышления, — что через несколько дней Мольн соберется в поход ради вас одного?..

— И он добьется удачи, правда? Вы в этом уверены? — спрашивает он, стуча зубами.

— Надеюсь. Для него нет ничего невозможного.

— А как я узнаю об этом? Кто мне скажет?

— Вы вернетесь сюда ровно через год, в этот самый час, и найдете здесь девушку, которую любите.

Говоря так, я и не думаю тревожить молодую чету, я рассчитываю разузнать все получше у тети Муанель и постараться самому разыскать девушку.

Бродяга смотрит мне в глаза с удивительной жаждой доверия. Пятнадцать лет, ему все еще пятнадцать лет,— не больше, чем было мне в тот вечер, когда, подметая класс в сент-агатской школе, мы все трое поклялись такой ужасной ребяческой клятвой!

Но вот им опять овладевает отчаянье. Он говорит:

— Ну что ж, пора уходить.

И, конечно, у него сжимается сердце, когда он смотрит на родные места, которые снова должен покинуть.

— Через три дня,— говорит он,— мы уже будем в Германии. Наши повозки остались далеко. Тридцать часов мы шли пешком, без остановки. Мы надеялись прийти вовремя, чтобы увести Мольна, пока венчание не состоялось, и отыскать вместе с ним мою невесту, как он отыскал поместье Саблоньер.

Потом на него снова находит приступ ребячества.

— Позовите вашего Делюша,— говорит он, уходя,— а то будет просто ужасно, если я с ним встречусь.

Его серая фигура медленно растворяется среди деревьев. Я зову Жасмена, чтобы продолжить нашу прогулку. Но почти тотчас мы замечаем вдали Огюстена Мольна, который вышел из дома закрыть ставни, и нас поражает что-то странное в его движениях.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

Потом я до мельчайших подробностей узнал, что произошло за это время...

После полудня Мольн и его жена, которую я по старой памяти называю мадмуазель де Гале, остались совершенно одни в гостинной саблоньерского дома. Когда все гости разъехались, старый г-н де Гале на секунду распахнул дверь, и в дом со стоном ворвался ветер;

потом старик отправился во Вье-Нансей и должен был вернуться лишь к ужину, чтобы запереть все на ключ и отдать распоряжения на ферме. Ни один звук не проникал теперь снаружи. Только голая ветка шиповника стучала по окну, выходявшему на равнину. Дом словно плыл по течению, подгоняемый зимним ветром, и в нем наедине со своим счастьем замкнулись двое влюбленных.

— Огонь вот-вот погаснет,— сказала мадмуазель де Гале, направляясь к ларю, чтобы достать оттуда полено.

Но Мольн опередил ее и сам положил дрова в камин.

Потом он взял протянутую ему руку, и оба застыли друг против друга, задыхаясь, точно пораженные великой вестью, которой не выразить словами.

Снова стал слышен ветер, кативший свои волны, как река в половодье. Время от времени капли дождя прочерчивали по диагонали стекло, словно окно летящего поезда.

Но вот девушка отняла свою руку. Открыла дверь, выходящую в коридор, и исчезла с таинственной улыбкой. На минуту Огюстен остался в полумраке комнаты один... Тиканье маленьких стенных часов напомнило ему столовую в Сент-Агате... Наверное, он подумал: «Вот он дом, который я так искал, и в этом самом коридоре когда-то слышался шепот и пробегали странные существа...»

Должно быть, в этот момент он и услышал — мадмуазель де Гале говорила мне потом, что и она услышала тоже, — клич Франца, раздавшийся возле самого дома.

И теперь молодая жена могла сколько угодно показывать ему всякие чудесные вещи, которые она внесла в комнату: игрушки, которыми она играла, когда была маленькой девочкой, все свои детские фотографии — в костюме маркитантки, и вместе с Францем на коленях у матери, которая была так красива, и все, что сохранилось от ее милых детских платьиц: «А вот это, взгляните, я носила незадолго до нашего знакомства, наверное, в то самое время, когда вы впервые приехали

в Сент-Агат...» — Мольн уже ничего не видел и ничего не слышал.

Правда, на какую-то минуту он, казалось, снова вспомнил о своем необыкновенном, невообразимом счастье.

— Вы рядом со мной,— сказал он глухим голосом, как будто от одних этих слов у него начинала кружиться голова,— вы проходите мимо стола и на миг прикасаетесь к нему рукою...

И еще:

— Когда моя мать была молодой, она вот так же чуть наклонялась вперед, разговаривая со мной... А когда она садилась за рояль...

Мадмуазель де Гале предложила что-нибудь сыграть до наступления ночи. Но в том углу гостиной, где стоял рояль, было темно, и пришлось зажечь свечу. Розовый абажур перед лицом девушки еще больше подчеркивал яркий румянец, проступавший у нее на скулах и выдававший затаенную тревогу.

Тогда-то и донеслась ко мне на лесную опушку трепетная мелодия, подхваченная ветром и вскоре прерванная вторичным криком двоих безумцев, которые подкрались к нам в ельнике.

Мольн долго слушал игру девушки и молча смотрел в окно. Несколько раз он оборачивался и взглядывал на нежное лицо, полное усталости и беспокойства. Потом подошел к Ивонне и легко положил руку ей на плечо. Она почувствовала возле самой шеи ласковое прикосновение, но не знала еще, как отвечают на ласку.

— Темнеет,— сказал он наконец.— Я выйду закрою ставни. Только прошу вас, продолжайте играть...

Что творилось тогда в этом странном, нелюдимом сердце? Я часто задавал себе этот вопрос, но ответ на него пришел слишком поздно. Терзали его неведомые урызвения совести? Необъяснимые сожаления? Боязнь увидеть, как тает в руках небывалое счастье, которое он так крепко держал? И всад за тем — ужасное искушение: совершить непоправимое, тут же, сейчас же бросить, разбить о землю завоеванное им чудо?..

Он еще раз взглянул на свою молодую жену и вышел — медленно и бесшумно. Остановившись на опушке леса, мы с Жасменом увидели, как он сперва нерешительно

тельно затворил один ставень, растерянно посмотрел в сторону леса, закрыл второй — и внезапно бросился со всех ног по направлению к нам. Он добежал до нас прежде, чем нам пришло в голову снова спрятаться. Он заметил нас в тот момент, когда собирался перепрыгнуть через невысокую изгородь, которой был недавно обнесен дуг. Он отскочил в сторону. Я припоминаю его растерянный вид: в его движениях было что-то от затравленного зверя... Он притворился, что возвращается назад; вероятно, он решил перелезть через изгородь в другом месте, возле маленького ручья.

Я позвал его:

— Мольн!.. Огюстен!..

Он даже не оглянулся. Тогда, убежденный, что только этим можно его удержать, я крикнул:

— Франц здесь. погоди!

Он остановился. Задыхаясь, не дав мне собраться с мыслями, он спросил:

— Он здесь? Что ему нужно?

— Он несчастлив, — ответил я. — Он пришел просить твоей помощи, — помочь ему отыскать то, что он потерял.

— А! Так я и думал, — сказал он, опуская голову. — Как мне хотелось заглушить в себе эту мысль!.. Но где же он? Говори скорее.

Я сказал, что Франц только что уехал и что теперь его уже не догнать. Для Мольна это было ударом. Не зная, что делать, он прошел несколько шагов, потом остановился. Казалось, его тоска и нерешительность достигли предела. Тогда я сказал, что дал от его имени молодому человеку обещание и назначил ему встречу через год на том же месте.

Обычно спокойный и уравновешенный, Огюстен пришел в необычайное возбуждение.

— Эх, зачем ты это сделал! — сказал он нетерпеливо. — Ну, конечно, я могу его спасти. Но действовать надо немедленно. Я должен его повидать, поговорить с ним, чтобы он простил меня и чтобы я все поправил... Иначе я не смогу больше прийти туда.

И он обернулся к саблоньерскому дому.

— Значит, из-за какого-то ребяческого обещания ты готов разрушить свое счастье?

— О, если бы дело шло только об этом обещании! — проговорил он.

Так я впервые узнал, что, кроме клятвы, двух юношей связывает еще что-то другое, — но что это было, я не мог догадаться.

— Во всяком случае, — сказал я, — теперь нет смысла бежать вдогонку. Они уже на пути в Германию.

Он собирался ответить, но в этот миг перед нами выросла фигура — растрепанная, растерзанная, с блуждающим взором. Это была мадмуазель де Гале. Должно быть, она бежала, потому что лицо ее было в поту. Должно быть, она упала и расшиблась, ибо над правым глазом у нее виднелась ссадина, а в волосах запеклась кровь.

Мне пришлось как-то видеть на улице, в бедном квартале Парижа, как полицейские разнимают дерущуюся супружескую чету; вся улица считала, что они живут дружно, счастливо и согласно. Ссора вспыхнула внезапно — то ли когда сядились за стол, то ли в воскресенье, перед выходом на прогулку, или когда поздравляли с праздником своего малыша, — и вот уже все хорошее забыто, все растоптано. Муж и жена в ходе перебранки превращаются в сущих дьяволов, и дети с плачем кидаются к ним, прижимаются, умоляют замолчать и больше не драться.

Когда мадмуазель де Гале подбежала к Мольну, она показала мне одним из этих детей — бедным, обезумевшим от горя ребенком. Я думаю, что, если бы на нее смотрели все знакомые, вся деревня, все люди вокруг, — она все равно бросилась бы бежать за ним, и бежала бы, и падала, плачущая, растрепанная, перепачканная в земле.

Но когда она поняла, что Мольн здесь, что, по крайней мере на этот раз, он не покинет ее, — она взяла его под руку и, вся еще в слезах, засмеялась, как маленький ребенок. Оба не сказали ни слова. Но когда она вынула носовой платок, Мольн ласково отнял его и бережно, осторожно стал вытирать кровь с ее волос.

— А теперь пора домой, — сказал он.

И они пошли под зимним ветром, хлеставшим прямо в лицо, он — в опасных местах поддерживая ее под руку, она — торопясь и улыбаясь, — пошли к своему ненадолго покинутому дому.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### «ДОМ ФРАНЦА»

Весь во власти тревожных предчувствий, которых не смог до конца успокоить мирный исход этой бурной сцены, я вынужден был весь следующий день безвылазно просидеть в школе. Но как только закончился последний вечерний урок, я отправился в Саблоньер. Уже темнело, когда я добрался до еловой аллеи, ведущей к дому. Все ставни были закрыты. Я не хотел быть назойливым, врываясь в такой поздний час к людям, которые только вчера поженились. Я еще довольно долго бродил вокруг сада и по соседним пустырям, надеясь, что кто-нибудь выйдет из запертого дома... Но моя надежда была напрасной... Даже соседняя ферма казалась вымершей. И, преследуемый самыми мрачными мыслями, я вернулся домой.

Назавтра, в субботу, — та же неизвестность. Вечером я второпях схватил свою пелерину, палку, кусок хлеба на дорогу и с наступлением темноты снова оказался перед запертым, как и накануне, саблоньерским домом... В окне второго этажа виднелся слабый свет, но все внутри было по-прежнему тихо и недвижно. Правда, на этот раз я заметил, что дверь на ферме открыта, в большой кухне горит огонь, и оттуда доносятся голоса и шаги — звуки, обычные для часа, когда семья садится ужинать. Это меня несколько успокоило, но ровно ничего не объяснило. Не мог же я расспрашивать чужих людей. И мне пришлось опять ходить в темноте, выжидая и тщетно надеясь, что вот-вот распахнется дверь и я увижу высокую фигуру Огюстена.

Только в воскресенье, в середине дня, решил я наконец позвонить у дверей саблоньерского дома. Я шел к поместью, карабкаясь по голым холмам; где-то вдали звонили к вечерне. Я чувствовал себя одиноким и несчастным. Меня одолевали печальные предчувствия. И когда на мой звонок в дверях появился г-н де Гале и сказал почти шепотом, что Ивонна лежит в сильнейшем жару, а Мольн уехал в пятницу утром в дальнейшее путешествие и неизвестно, когда вернется, — для меня это не было большой неожиданностью...

И поскольку старик, растерянный и огорченный, не предложил мне войти, я тут же откланялся. Когда дверь

закрылась, я с минуту стоял на крыльце в полном смятении; сам не зная почему, я смотрел на стебель засохшей глицинии, который тоскливо качался на ветру, освещенный солнечным лучом, и у меня сжималось сердце.

Значит, таинственные угрызения совести, которые мучили Мольна со времени его возвращения из Парижа, все-таки взяли верх. И мой друг в конце концов бежал прочь от собственного счастья...

Каждый четверг, каждое воскресенье приходил я справляться о здоровье Ивонны де Гале, пока она наконец, оправившись от болезни, однажды вечером не пригласила меня войти. Я застал ее сидящей у камина, в комнате, единственное большое окно которой выходило в сторону поля и леса. Она была совсем не бледна, как я ожидал, а наоборот, как будто в лихорадке, на скулах у нее пылал яркий румянец, выдававший крайнее возбуждение. Она выглядела еще очень слабой, но оделась так, точно собиралась выйти из дому. Говорила она мало, но каждую фразу произносила удивительно оживленно, будто стараясь убедить самое себя, что счастье еще не потеряно... Я не запомнил, о чем мы с ней говорили. Вспоминаю только, что после некоторого колебания я спросил, когда она ждет возвращения Мольна.

— Я не знаю, когда он вернется,— ответила она с живостью.

В глазах ее я прочел немую мольбу и больше уже ни о чем ее не спрашивал.

Я часто навещал ее. Часто беседовал с ней у огня в гостиной с низким потолком, где начинало темнеть раньше, чем в других комнатах. Ни разу не заговаривала она ни о себе, ни о своем затаенном горе. Но она самым подробным образом спрашивала меня о нашей школьной жизни в Сент-Агате.

Серьезно, ласково, чуть ли не с материнским вниманием слушала она рассказ о горестях больших детей, какими мы тогда были. Казалось, ее не удивляли даже самые рискованные, самые дерзкие наши выходки. Та нежная заботливость, которую ей приходилось постоянно проявлять к г-ну де Гале, так же не была ей в тягость, как и прискорбные поступки брата. Думая о прошлом, она, вероятно, сожалела лишь об одном: что не



сумела завоевать до конца доверие своего брата и что в минуту отчаянья он не посмел открыться перед ней и счел свое положение безвыходным. Только теперь я до конца понимаю, какое двойное бремя взвалила жизнь на плечи молодой женщины: тяжелое бремя служить поддержкой взбалмошному уму своего брата, непосильное бремя делить все радости и печали с отважным сердцем моего друга, Большого Мольна.

Однажды она дала мне самое трогательное и, я бы даже сказал, самое таинственное доказательство того, что она по-прежнему хранит веру в детские вымыслы своего брата и стремится во что бы то ни стало сберечь хоть крохи тех миражей, среди которых он жил до двадцатилетнего возраста.

Был по-осеннему хмурый апрельский вечер. До этого почти месяц стояла теплая весенняя погода, и молодая женщина совершала вместе с отцом дальние прогулки, которые она всегда так любила. Но в тот день старик казался уставшим, а я был свободен, и, несмотря на ненастье, она попросила меня составить ей компанию. В полумиле от Саблоньера, когда мы шли берегом пруда, нас застигла гроза с дождем и градом. Мы укрылись под навесом, защитившим нас от ливня, но не от порывов ледяного ветра, и задумчиво смотрели на почерневшие поля. Она была в простом строгом платье, встревоженная, бледная.

— Нужно вернуться, — сказала она. — Мы уже так давно вышли из дому. Мало ли что могло за это время случиться.

Но когда дождь утих и мы смогли наконец покинуть свое убежище, молодая женщина, вместо того чтобы вернуться назад, к Саблоньеру, пошла, к моему удивлению, вперед, приглашая меня следовать за ней. Мы шли довольно долго и очутились возле незнакомого мне дома; он одиноко стоял у края ухабистой дороги, которая, должно быть, вела в Преверанж. Дом был небольшой, городского вида, крытый шифером, и ничем не отличался от принятых в этих местах построек, разве что стояла далеко на отшибе.

Глядя на Ивонну де Гале, можно было подумать, что этот дом принадлежит нам и мы в него возвращаемся

после долгой отлучки. Нагнувшись, она открыла маленькую решетчатую калитку, торопясь поскорее взглянуть, все ли в порядке. Большой, заросший травой двор, где, должно быть, в долгие зимние вечера играли дети, был весь изрыт недавним ливнем. В луже мокнул обруч. В палисадниках, где дети посадили цветы и горох, все было смято и размыто дождем, засыпано белым гравием. И наконец, у самого порога отсыревшей двери мы наткнулись на целый выводок насквозь промокших цыплят. Почти все они лежали мертвыми под заочеченными крыльями и измятыми перьями наседки.

При этом жалком зрелище у молодой женщины вырвался приглушенный крик. Она наклонилась и, не обращая внимания на сырость и грязь, стала отделять живых цыплят от погибших и складывать их в подол своего плаща. Потом она открыла дверь своим ключом, и мы вошли. В узкий коридор, по которому со свистом гулял ветер, выходило четыре двери. Ивонна де Гале открыла первую дверь направо и пригласила меня в темную комнату; когда мои глаза привыкли к полумраку, я увидел большое зеркало и маленькую кровать, накрытую на деревенский манер красной шелковой периной. Тем временем, что-то поискав в других комнатах, Ивонна вернулась ко мне, неся больных цыплят в устланной пухом корзинке, и осторожно поставила ее под перину. На минуту сквозь облака пробился вялый солнечный луч, первый и последний за весь этот день; наши лица стали от этого еще бледнее, а вечер еще более мрачным. Так стояли мы, продрогшие и взволнованные, в этом странном доме.

Время от времени она заглядывала в беспокойное гнездо, чтобы вынуть еще одного мертвого цыпленка и не дать умереть остальным. И каждый раз нам слышалась какая-то безмолвная жалоба — точно стон ветра в разбитом окне чердака, точно плач незнакомых детей от неведомого горя.

— Когда Франц был маленьким, это был его дом, — сказала моя спутница. — Он захотел иметь свой собственный дом, для себя одного, вдали от всех, дом, куда бы он мог прийти в любой момент — играть, развлекаться, даже жить. Отцу эта фантазия показалась необычной и такой забавной, что он не смог отказать Францу. И Франц забирался сюда когда вздумается, — в воскре-

сенье, в четверг или в любой другой день — и жил в своем доме, как взрослый. К нему приходили дети с окрестных ферм, играли с ним, помогали вести хозяйство, работать в саду. Чудесная была игра! Наступал вечер, и он ничуть не боялся и, совершенно один во всем доме, ложился спать. А мы им восхищались и не думали за него беспокоиться...

Теперь дом опустел, — продолжала она со вздохом. — Господин де Гале разбит старостью и горем, он так ничего и не предпринял, чтобы разыскать моего брата. Да и что может он сделать?

А я здесь часто бываю. Крестьянские ребятишки с соседних ферм, как и прежде, приходят сюда поиграть во дворе. И мне нравится думать, что это — прежние приятели Франца, что и сам он еще мальчик, что скоро он вернется с невестой, которую для себя выбрал...

Дети хорошо меня знают. Я с ними играю. Это они принесли сюда цыплят...

Понадобился ливень, понадобился весь этот переполох с цыплятами, чтобы она поделилась наконец со мной огромным горем, о котором до сих пор не говорила ни слова, своей тоской по пропавшем брате, таком шальном, таком очаровательном и любимом. Молча, с трудом сдерживая слезы, слушал я ее рассказ...

Закрыв двери и калитку, посадив цыплят в дощатый шалаш позади дома, она печально оперлась о мою руку, и я проводил ее в Саблоньер.

Пролетели недели, месяцы. Где ты, прошлое? Где ты, утерянное счастье! На мою долю выпало брать за руку ту, что была феей, принцессой, таинственной любовью всего нашего отрочества, и искать для нее слова утешения, в то время как мой друг бродил неизвестно в каких краях. Что могу я рассказать теперь об этой поре, о беседах по вечерам, после того как в школе на холме Сен-Бенуа-де-Шан кончались уроки, о прогулках, во время которых нам хотелось говорить только об одном — о том самом, о чем мы решили молчать? В моей памяти смутно сохранились только черты милого исхудавшего лица да устремленные на меня глаза, которые медленно опускают веки, словно видят только свой внутренний мир.

Я был ей верным товарищем, — товарищем по ожиданию, о котором мы никогда не говорили, на протяжении всей весны и всего лета; никогда больше не будет в моей жизни такой дружбы. Много раз приходили мы под вечер к дому Франца. Она открывала дверь, чтобы проветрить комнаты, чтобы ничто в доме не отсырело к тому времени, когда вернется молодая чета. Она возилась с одичавшими курами, которые ютились на заднем дворе. А по четвергам и воскресеньям мы участвовали в играх крестьянских детей, от чьих криков и смеха маленький заброшенный дом казался еще более пустым и безлюдным.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### РАЗГОВОР ПОД ДОЖДЕМ

Пришел август, и каникулы разлучили меня с Саблоньером и его молодой хозяйкой. Два месяца своего отпуска я провел в Сент-Агате. Опять я увидел просторный высохший двор, площадку для игр, пустой класс... Все напоминало мне здесь о Большом Мольне. Все дышало воспоминаниями об ушедшем отрочестве. В эти долгие тусклые дни я, как прежде, до знакомства с Мольном, запирался в архиве мэрии или в пустынных классах. Я читал, писал, вспоминал... Отец был где-то далеко, на рыбной ловле. Милли сидела в гостиной, шила или играла на рояле, как в пору моего детства. В классе стояла мертвая тишина; обрывки зеленых бумажных венков, куски оберточной бумаги из-под дорожных книг, вытертые губкой классные доски — все говорило о том, что год окончился и награды распределены, все было полно ожиданием осени, октября, начала нового учебного года и новых трудов; я думал о том, что кончилась и наша юность, а счастье так и не пришло; я тоже ждал — ждал своего возвращения в Саблоньер и приезда Мольна, который, быть может, никогда не вернется...

И все же когда Милли принялась расспрашивать меня о молодой жене Мольна, я смог сообщить ей и счастливую новость. Я боялся ее расспросов, ее манеры с невинно-лукавым видом внезапно повергать вас в растерянность, будто указывая пальцем на ваши са-

мые потаенные мысли. Я быстро закончил разговор, объявив, что жена моего друга в октябре станет матерью.

Я хорошо помнил день, когда Ивонна де Гале поделилась со мной этой великой новостью. Выслушав ее, я был немного смущен. После короткого молчания, забыв, какую боль могут причинить ей мои слова, я опрометчиво спросил:

— Вы, должно быть, счастливы?

— Да, очень счастлива,— ответила она с чудесной, светлой улыбкой, и в ее словах не было и тени горечи, сожаления или злопамятства.

Наступила последняя неделя каникул,— эти прекрасные, полные романтики дни, когда идут дожди и в домах начинают топить камины, я обычно проводил во Вье-Нансее, шагая с охотничьим ружьем по мокрым и почерневшим еловым лесам, но на этот раз я решил вернуться прямо в Сен-Бенуа-де-Шан, минуя Вье-Нансей. Я боялся, что Фирмен, и тетя Жюли, и все кузины начнут задавать мне слишком много вопросов, отвечать на которые мне совсем не хотелось. И, отказавшись от восьми упительных дней охотничьей жизни, я вернулся в свою школу за четыре дня до начала занятий.

Вечерело, когда я въехал во двор, уже покрытый желтыми листьями. Отпустив возницу, я вошел в гулкую, пропитанную затхлым духом столовую и принялся уныло распаковывать сверток с едой, которую приготовила мне мама... Перекусив на скорую руку, я надел пелерину, с тревожной душой вышел из дому и отправился на исполненную лихорадочного возбуждения прогулку, которая привела меня к Саблоньеру.

Мне не хотелось вторгаться туда незваным гостем в первый же вечер моего прибытия. Однако, чувствуя в себе больше смелости, чем в феврале, я обошел вокруг всю усадьбу, где светилось только одно окно — окно в комнате молодой женщины, потом перелез через садовую ограду позади дома и сел на скамью возле живой изгороди; я сидел в сгущавшейся темноте и чувствовал себя счастливым и осто потому, что находился рядом с людьми, чья жизнь занимала и тревожила меня больше всего на свете.

Приближалась ночь. Заморосил мелкий дождь. Опустив голову, я смотрел, как мокнут и начинают влажно

блестеть мои башмаки, но думал совсем о другом. Темнота надвигалась медленно, и прохлада, незаметно охватывая меня, не нарушала моей задумчивости. С грустной нежностью представлял я себе улицы Сент-Агата, мокрые и грязные в этот сентябрьский вечер, окутанную туманом площадь, приказчика из мясной лавки, который, насвистывая, идет за водою к насосу, освещенное кафе и повозку с целым лесом раскрытых над ней зонтиков, которая за неделю до конца каникул весело подъезжает к дому дяди Флорантена... И я говорил себе: «Зачем мне вся эта радость, если Мольн, мой друг, и его жена не знают счастья...»

В этот самый миг, подняв голову, я увидел ее в двух шагах от скамьи. Я не заметил, как она подошла; ее ботинки ступали по песку с едва слышным хрустом, который я принял за шорох дождевых капель. Она накинула на голову и плечи большую черную шаль, дождь словно припудрил волосы над ее лбом. Должно быть, она увидела меня из своей комнаты, через окно, смотрящее в сад. И вышла ко мне. Так, когда-то в детстве, моя мать беспокоилась и приходила за мною, чтобы сказать: «Пора домой»,— но, войдя во вкус прогулки под ночным дождем, только ласково говорила: «Ведь ты простудишься»,— и оставалась со мной, а потом мы долго болтали с ней в темноте...

Ивонна де Гале протянула мне горячую руку, потом, видно раздумав возвращаться в дом, выбрала на старой замшелой скамье местечко посуше и села. Я стоял рядом, опираясь коленом о скамью и, немного наклонившись вперед, слушал ее.

Сначала она дружески побранила меня за то, что я сократил свои каникулы.

— Я должен был вернуться пораньше, чтобы скрасить ваше одиночество,— отвечал я.

— Да, это так,— сказала она негромко и вздохнула,— я все еще одна. Огюстен не вернулся...

Приняв этот вздох за приглушенный скорбный упрек, я стал медленно говорить:

— Сколько безрассудства в этой благородной голове! Видно, вкус к приключениям оказался сильнее всего остального...

Но молодая женщина прервала меня. И здесь, в этот

осенний вечер, она в первый и последний раз завела речь о Мольне.

— Не надо так говорить, Франсуа Сэрель, друг мой,— сказала она ласково.— Мы сами — я сама виновата во всем. Подумайте, что мы натворили... Мы сказали ему: вот оно, счастье, вот то, что ты искал всю свою юность, вот девушка, которая была венцом твоих грез! Мы насильно подталкивали его! Как мог он после этого не поддаться сомнениям, потом страху, потом ужасу, как мог он устоять против искушения бежать?

— Ивонна,— сказал я тихо,— но ведь вы и были для него этим счастьем, этой единственной в мире девушкой... Вы это сами знаете...

— Ах нет,— вздохнула она.— Как могла хоть на минуту прийти ко мне эта высокомерная мысль! Именно она, эта мысль, причина всему... Помните, я вам сказала: «Может быть, я не в силах ему помочь». А втайне я думала: «Ведь он меня так искал, и я люблю его. Значит, он будет счастлив со мной». Но когда я увидела его рядом, встревоженного, возбужденного, терзаемого таинственными сожалениями, я поняла, что я такая же бедная женщина, как все прочие... «Я не достоин тебя»,— повторял он наутро после свадебной ночи. Я старалась утешить его, успокоить. Но его тоска не унималась. Тогда я сказала: «Если тебе нужно уехать, если ты повстречал меня в тот момент, когда ничто не может дать тебе счастья, если тебе нужно покинуть меня на время, чтобы потом вернуться умиротворенным,— тогда я сама прошу: уезжай...»

Я увидел в темноте, как она подняла ко мне глаза. Это была ее исповедь, и она тревожно ждала, одобрю ли я или осужу ее. Но что я мог сказать? Я представил себе прежнего Большого Мольна, нескладного и нелюбимого, готового скорее перенести наказание, чем извиниться, чем просить на что-нибудь разрешения, которое наверняка было бы ему дано... Вероятно, Ивонна де Гале сделала бы лучше, если бы проявила силу, если бы обхватила руками его голову и сказала: «Какое мне дело до того, что ты натворил, я люблю тебя, какой мужчина безгрешен!» Вероятно, она совершила большую ошибку, когда из благородства и самопожертвования толкнула его снова на путь приключений... Но разве мог осудить я такую доброту, такую любовь!..

Мы долго молчали, взволнованные до глубины души, и слушали, как стучит холодный дождь по изгороди и веткам.

— Он ушел утром,— продолжала она.— Отныне нас ничто не разделяло. И он обнял меня просто как муж, который прощается с молодой женой перед отъездом в дальнюю дорогу...

Она встала. Я взял ее пылающую руку, поддержал ее под локоть, и мы пошли по темной аллее.

— И он ни разу не написал вам? — спросил я.

— Ни разу,— ответила она.

Тогда, одновременно подумав о том, что делает в этот час Мольн, какие приключения ждут его на дорогах Франции или Германии, мы стали говорить о нем так, как никогда еще не говорили. Медленно двигаясь к дому, останавливаясь чуть ли не на каждом шагу, мы делились былыми впечатлениями, припоминали полузабытые мелочи. И долго еще звучал в темноте нежный голос молодой женщины, и сам я, с прежней восторженностью, с чувством глубокой дружбы, без усталости говорил и говорил о человеке, который покинул нас...

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### ТЯЖКАЯ НОША

Занятия в школе должны были начаться в понедельник. В субботу, около пяти часов вечера, в школьный двор, где я пилил на зиму дрова, вошла женщина. Она пришла с вестью, что в Саблоньере родилась девочка. Роды были тяжелыми. Накануне вечером, в девять часов, послали в Преверанж за акушеркой. В полночь пришлось снова запрягать — ехать во Вьерзон, за врачом. Он вынужден был наложить шипцы. У девочки ранена головка, она все время кричит, но жизнь ее как будто вне опасности. Ивонна де Гале очень слаба, но она проявила удивительное мужество и терпение.

Я бросил работу, побежал в дом, переоделся и пошел вместе с доброй женщиной в Саблоньер, радуясь этим новостям. Осторожно, боясь потревожить мать или ребенка, я поднялся по узкой деревянной лестнице на второй этаж. Там меня встретил г-н де Гале; у него был измученный, но счастливый вид; он пригласил меня



в комнату, куда временно поставили колыбельку новорожденной, со всех сторон закрытую занавесками.

Мне никогда еще не приходилось бывать в доме, где только что родился ребенок. Все казалось мне таким удивительным, таким таинственным и чудесным! Вечер был теплый — настоящий летний вечер, — и г-н де Гале не побоялся открыть окно, которое выходило во двор. Облокотившись рядом со мной на подоконник, вздыхая от усталости и от счастья, он стал рассказывать мне о драматических событиях минувшей ночи; слушая его, я все время ощущал непривычное присутствие в комнате нового существа...

За занавесками раздался крик, пронзительный и протяжный... И г-н де Гале сказал мне вполголоса:

— Эта рана на головке так мучит ее...

Он стал качать маленький сверток за занавесками; по его машинальным движениям было видно, что он делает это с самого утра и успел привыкнуть к своим обязанностям.

— Она уже улыбается и хватается меня за палец, — сказал он. — Да вы ведь еще не видели ее?

Он раздвинул занавески, и я увидел крохотное личико, красное, сморщенное, и маленькую удлинненную головку, обезображенную щипцами.

— Это пустяки, — заверил меня г-н де Гале. — Доктор сказал, что со временем все пройдет само собой... Дайте-ка ей палец, вы увидите, как она его схватит.

Передо мной словно открылся неведомый мир. Сердце наполнялось странным радостным чувством, которого я раньше не знал...

Господин де Гале осторожно приоткрыл дверь в комнату молодой женщины. Она не спала.

— Можете войти, — сказал он.

Она лежала с горящим лицом; по подушке разметались светлые волосы. Устало улыбнувшись, она протянула мне руку. Я поздравил ее с чудесной дочерью. Она ответила чуть охрипшим голосом, в котором слышалась необычная для нее суровость — суровость человека, вернувшегося с поля боя:

— Да, но мне ее немного испортили...

И опять улыбнулась.

Я скоро ушел, чтобы не утомлять ее.

Назавтра, в воскресенье, в середине дня, я с радостным чувством поспешил в Саблоньер. Поднеся руку к звонку, я вдруг заметил прикрепленную к двери записку:

ПРОСЬБА НЕ ЗВОНИТЬ

Я не понял, в чем дело. Довольно сильно постучал. За дверью послышались торопливые приглушенные шаги. Мне открыл незнакомый человек — врач из Вьерзона.

— Скажите, что случилось? — быстро спросил я.

— Тсс! Тсс! Девочка ночью едва не умерла. И с матерью очень плохо, — шепнул он с сердитым видом.

В полном расстройстве чувств я на цыпочках поднялся вслед за ним на второй этаж. Девочка спала в своей колыбели, бледная как смерть, белая как полотно. Врач считал, что ему удалось ее спасти. Что касается матери, он не может ни за что поручиться... Увидев во мне единственного друга семьи, он пустился в пространные объяснения. Говорил о воспалении легких, закупорке сосудов. Он колебался, он не был уверен... Вошел г-н де Гале, страшно постаревший за двое суток, растерянный, дрожащий. Он провел меня в соседнюю комнату, сам не слишком понимая, что делает, и сказал шепотом:

— Нельзя ее пугать, врач велел внушать ей, что все хорошо.

Ивонна де Гале лежала, запрокинув голову, как накануне; к лицу прилила кровь, щеки и лоб были пунцовыми, глаза по временам блуждали, точно ее что-то душило; с невыразимой кротостью и мужеством боролась она со смертью.

Не в состоянии говорить, она протянула мне свою пылающую руку, и в этом движении было столько дружбы, что я чуть не разрыдался.

— Ну-ну, — сказал г-н де Гале очень громко, с жуткой шутливостью, смахивавшей на безумие, — видите, она не так уж плохо выглядит, наша больная!

Не зная, что ответить, я держал в ладонях горячую руку умирающей...

Она силилась сказать мне что-то, о чем-то попросить; она обратила взгляд на меня, потом показала глазами на окно, будто хотела, чтобы я вышел на улицу и

позвал кого-то... Но тут у нее начался страшный приступ удушья; ее прекрасные синие глаза, которые только что так трагически звали меня, теперь закатились, щеки и лоб потемнели, она задрожала, забилась, стараясь сдержать стоны ужаса и отчаяния. К ней кинулись врач и сиделка с кислородным баллоном, салфетками, флаконами, а старик, склонившись над ней, закричал — закричал так, словно она уже была далеко от него, хриплым и дрожащим голосом:

— Не пугайся, Ивонна. Ничего страшного. Тебе нечего бояться!

Приступ скоро прошел. Она получила возможность немного передохнуть, но все еще задышалась, запрокинув голову; она продолжала бороться, но была не в состоянии даже на миг взглянуть на меня, сказать мне хоть слово, выкарабкаться из бездны, в которую уже погружилась.

...Видя, что не могу быть ничем полезен, я решил уйти. Конечно, я мог еще остаться на некоторое время — и теперь, когда я думаю об этом, меня терзают горькие сожаления. Но ведь тогда я еще надеялся. Я убеждал себя, что она не может так сразу умереть...

Дойдя до опушки ельника, росшего позади дома, и ни на минуту не переставая думать о взгляде, которым Ивонна указала на окно, я стал внимательно, как часовой, как следопыт, обследовать лесную чащу, через которую Огюстен когда-то впервые пришел в Саблоньер и через которую он бежал из дому прошлой зимой. Увы, все было тихо вокруг. Ни одной подозрительной тени, ни единой дрогнувшей ветки. И только вдали, со стороны аллен, которая вела в Преверанж, слышался слабый звон колокольчика; скоро из-за поворота показался на тропинке маленький мальчик в красной скуфье и школьной блузе, следом за которым шагал священник... И я ушел, глотая слезы.

На другое утро начинался новый учебный год. К семи часам утра в школьном дворе уже появились первые ученики. Я долго не решался спуститься вниз, показаться перед ними. И когда наконец вышел, чтобы отпереть отсыревший класс, который простоял закрытым два месяца, случилось то, чего я так страшно боялся: от груп-

пы игравших на площадке мальчиков отделился самый старший и направился ко мне. Он сказал, что «вчера вечером умерла молодая госпожа из Саблоньера».

В голове у меня помутилось от горя. Мне показалось, что никогда в жизни не хватит у меня мужества начать урок. Пересечь голый школьный двор вдруг оказалось для меня таким непосильным трудом, что ноги у меня подкосились. Все стало тяжким и безрадостным, потому что она умерла. Мир опустел. С каникулами покончено. Покончено с долгими поездками в повозке по незнакомым дорогам, покончено с таинственными праздниками... В мире осталось только горе.

Я сказал детям, что до полудня уроки отменяются. Они разошлись небольшими группками по своим деревням, чтобы сообщить эту новость товарищам. А я надеваю черную шляпу и черный сюртук и, удрученный, иду в Саблоньер.

И вот я перед домом, который мы так искали три года тому назад. Вчера вечером в нем умерла Ивонна де Гале, жена Огюстена Мольна. Посторонний принял бы дом за часовню — такая тишина установилась здесь со вчерашнего дня.

Так вот что готовило нам это погожее утро первого дня учебного года, это вероломное осеннее солнце, которое сочится сквозь ветви елок! Как совладать с подступившим к горлу комком, с наполнившим душу протестом? Мы отыскивали прекрасную девушку. Мы завоевали ее. Она была женой моего товарища, а я — я испытывал к ней глубокое чувство дружбы, чувство, которое не нуждается в признаниях. Я смотрел на нее — и радовался, как ребенок. Быть может, в один прекрасный день я женился бы на другой девушке, и первым человеком, которому я доверил бы свою тайну, была бы она, Ивонна...

На двери, возле звонка, все еще висела вчерашняя записка. Внизу, в прихожей, был приготовлен гроб. В комнате второго этажа меня встретила кормилица; она рассказала мне о последних минутах покойной, открыла передо мной дверь в ее комнату... Вот она. Нет больше ни жара, ни борьбы. Нет ни лихорадочного румянца, ни ожидания. Только тишина, только неподвижное, окруженное ватой лицо, непроницаемое, белое,

только мертвый лоб, а над ним — густые тяжелые пряди.

В углу, спиной ко мне, примостился г-н де Гале; он без ботинок, в одних носках; со страшным упрямством шарит он по разбросанным в беспорядке ящикам, вытащенным из шкафа. Время от времени он вытаскивает то одну, то другую пожелтевшую фотографию дочери, и плечи его трясутся от бесшумных рыданий, как от приступов смеха...

Погребение назначено на полдень. Врач боится быстрого разложения, что случается иногда при закупорке сосудов. Вот почему лицо покойной, как и все тело, обложено ватой, пропитанной фенолом.

На нее надели прелестное платье темно-синего бархата, местами усеянное серебряными звездочками; при этом сильно помялись красивые пышные рукава вышедшего теперь из моды фасона. Когда подошло время принести снизу гроб, обнаружилось, что его не повернуть в узком коридоре. Оставалось одно: обвязать его веревкой и поднять через окно, а потом тем же путем спустить в окно вместе с телом... Но тут г-н де Гале, до сих пор все возившийся со старыми бумагами, среди которых он искал бог весть какие сувениры, вдруг вмешался с неожиданным пылом:

— Я не допущу этого ужаса, — сказал он голосом, в котором слышались слезы и ярость, — лучше я сам, на своих руках отнесу ее вниз...

И он сделал бы это, рискуя потерять на полдороге сознание и упасть вместе со своей ношей!

Тогда я принимаю единственно возможное решение. С помощью доктора и одной из женщин я подкладываю руку под спину покойницы, другую — под ее ноги и поднимаю тело, прижав его к своей груди. Сидя на моей левой руке, привалившись плечом к правой, упираясь головой в мой подбородок, моя ноша страшно давит мне на сердце. Медленно, ступенька за ступенькой, иду я вниз по крутой лестнице; внизу в это время спешно готовят гроб.

Руки мои наливаются невероятной усталостью. Каждая ступенька, каждый шаг с этой тяжестью на груди отнимают у меня силы. Обхватив неподвижное, налитое свинцом тело, опустив голову на голову моей ноши, я тяжело дышу, и ее русые волосы попадают мне

в рот — мертвые волосы, у которых привкус земли. Этот привкус земли и смерти да страшная тяжесть на сердце — вот и все, что остается мне от волшебного приключения и от вас, Ивонна де Гале, женщина, которую так искали и так любили...

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ТЕТРАДЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В доме, полном грустных воспоминаний, сердобольные женщины выхаживают больного ребенка; старый г-н де Гале вскоре тоже слег. С наступлением первых зимних холодов он тихо угас, и я не мог сдержать слез у гроба этого славного старика, чья снисходительность, чьи фантазии, так похожие на фантазии его сына, положили начало всем нашим приключениям. Он умер счастливой смертью — в полном непонимании происходящего и в полном одиночестве... Поскольку у него давно уже не осталось в этих краях ни родственников, ни друзей, он в своем завещании назначил меня единственным наследником — до возвращения Мольна, которому я должен был дать полный отчет, если он вообще когда-нибудь вернется... Теперь я переселился в Саблоньер. В Сен-Бенуа я ходил только на уроки; выходил я из дома рано утром, в полдень обедал в школе, разогревая на печке принесенную из Саблоньера еду, и вечером, сразу же после занятий, возвращался домой. Это позволяло мне всегда быть рядом с ребенком, которого нянчили женщины с фермы. Но главное, это увеличивало мои шансы встретить Огюстена, если в один прекрасный день он вернется в Саблоньер.

К тому же я не терял надежды в конце концов обнаружить в доме, среди вещей или в ящиках шкафов, какую-нибудь бумагу, письмо, записку, которые помогли бы мне понять, что делал Мольн на протяжении долгих лет, за которые он не написал мне ни строчки, и, может быть, добраться таким образом до причин его бегства, набрести на его след.. Я уже обследовал без всяких результатов множество стеновых шкафов и комодов, обнаружил в кладовых кучи древних картонных коробок всех размеров, наполненных связками старых

писем и пожелтевших фотографий семьи де Гале и набитых искусственными цветами, перьями, султанами и прочими старомодными украшениями. От этих коробок исходил смутный запах увядания, какой-то угасший аромат, который внезапно будил во мне печальные воспоминания и на целый день прерывал мои поиски...

Наконец в один из свободных от школы дней я наткнулся на чердаке на продолговатый плоский сундучок свиной кожи, весь изъеденный мышами, в котором я узнал старый сундучок Огюстена. Я упрекнул себя, что не начал поисков с чердака. Я легко сбил ржавый замок. Сундук оказался доверху наполненный тетрадами и книгами из Сент-Агата. Арифметика, литература, тетради с задачами... Скорей из чувства умиления, чем из любопытства, я принялся рыться во всех этих бумагах, перечитывать диктанты, которые я до сих пор помнил наизусть, — столько раз нам приходилось их переписывать! «Акведук» Руссо, «Приключение в Калабрии» Поля-Луи Курье, «Письма Жорд Санд к сыну»...

Здесь лежала также «Тетрадь ежемесечных контрольных работ». Меня это удивило, потому что такие тетради остаются в школе и ученики никогда не берут их домой. Передо мной была тетрадка в зеленой обложке, совсем пожелтевшей по краям. Имя и фамилия ученика — «Огюстен Мольн» — были написаны на обложке великолепным почерком, округлыми буквами. Я раскрыл тетрадь. По дате первых работ — апрель 189... года — я увидел, что Мольн начал тетрадь за несколько дней до того, как навсегда уехал из Сент-Агата. Первые страницы были заполнены с превеликой тщательностью, что было у нас святым правилом, когда мы писали в этих тетрадях. Но после трех исписанных страниц шли чистые листы. Наверное, потому Мольн и увез тетрадку с собой.

Стоя на коленях перед сундуком и размышляя о ребяческих традициях и обычаях, которые занимали такое большое место в нашей школьной жизни, я рассеянно перелистывал незаконченную тетрадь. И тут я увидел, что дальше опять идут исписанные страницы. Оставив четыре листа чистыми, Мольн снова стал что-то писать.

Это был все тот же почерк, но теперь торопливый, нечеткий, почти неразборчивый; листы пестрели абза-

цами неравной длины, между которыми оставались пробелы. Иногда — просто незаконченная фраза. Иногда какая-нибудь дата — и все. С первых же строк я понял, что здесь я найду разгадку тайны, которую так ищущу, смогу узнать о жизни Мольна в Париже, и я спустился в столовую, чтобы не торопясь, на досуге, при дневном свете перелистать этот странный документ. Был ясный и ветреный зимний день. То выглядывало яркое солнце, и на белых занавесках отчетливо вырисовывался узор оконных переплетов, то порывистый ветер хлестал по стеклу струями холодного дождя. Усевшись перед окном, недалеко от камина, я стал читать тетрадь, и она многое мне объяснила. Привожу точь-в-точь эти строки.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### ТАИНА

«Я еще раз прошел под ее окном. За пыльными стеклами по-прежнему белеют опущенные шторы. Если бы Ивонна де Гале даже и отворила окно, мне нечего было бы ей сказать — ведь она замужем... Что мне теперь делать? Как жить?..

Суббота, 13 февраля.— Я встретил на набережной ту самую девушку, которая все рассказала мне в июне, которая, как и я, чего-то ждала тогда у заколоченного дома... Я заговорил с ней. Идя рядом, я искоса взглядывал на нее и видел едва заметные недостатки ее лица: крохотные морщинки в уголке рта, чуть впалую щеку, немного пудры у носа. Вдруг она повернула голову, посмотрела мне прямо в глаза — наверно, она сама знает, что анфас она красивее, чем в профиль.

— Это очень забавно — вы напоминаете мне одного молодого человека, который когда-то ухаживал за мной в Бурже. Он даже был моим женихом...

А потом в ночной темноте, на пустынном мокром тротуаре, отражавшем мерцание газового фонаря, она внезапно шагнула ко мне и попросила пойти с ней и с ее сестрой сегодня в театр. Только тут я замечаю,



что она одета во все черное, точно носит по ком-то траур, что на ней слишком старая шляпа, которая совсем не идет к ее молодому лицу, а в руках у нее зонт на длинной рукоятке, похожей на трость. Я стою совсем близко от нее и, сделав случайное движение рукой, задеваю ногтями шелк ее блузки... Я говорю, что сегодня мне трудно выполнить ее просьбу. Она сердится и хочет сейчас же уйти. И теперь уже я удерживаю ее и прошу пойти в театр. В это время, проходя мимо нас, какой-то рабочий шутит вполголоса:

— Не ходи с ним, малышка, он тебя обидит!

И мы оба страшно смущаемся.

В театре.— Обе девушки — моя подруга, которую зовут Валентина Блондо, и ее сестра — пришли в скромных шарфах.

Валентина села впереди меня. Каждую минуту она беспокойно оборачивается, будто недоумевая, чего я от нее хочу. А я чувствую себя рядом с ней почти счастливым и каждый раз отвечаю ей улыбкой.

Вокруг нас сидело много женщин, у которых были слишком оголены плечи и грудь. Мы подшучивали над ними. Она сперва улыбалась, а потом сказала: «Я не должна над ними смеяться. Я тоже пришла в слишком открытом платье». И закуталась в шарф. Действительно, сквозь черные кружева у низкого выреза ее платья видно было, что, спеша переодеться, она спустила с плеч свою простую закрытую сорочку.

В ней есть что-то жалкое, детское; что-то влечет меня в ее взгляде, какое-то страдальческое и вместе с тем смелое выражение. Когда я нахожусь рядом с ней, с единственным в мире существом, которое смогло рассказать мне о владельцах Поместья, я не перестаю думать о том странном своем приключении... Я хотел было еще раз расспросить ее о маленьком особняке на бульваре. Но она, в свою очередь, стала задавать мне щекотливые вопросы, на которые я не смог ответить. Чувствую, что отныне эта тема стала для нас запретной. И все же я твердо знаю теперь, что опять встречу

с ней. Зачем? Для чего?.. Или мне суждено вечно идти по следам любого человека, в котором послышится мне отзвук — пусть самый смутный и отдаленный — моего недавшего приключения?..

В полночь, оставшись один на пустынной улице, я спрашиваю себя, что означает эта новая странная история. Я иду вдоль домов, похожих на выстроенные в ряд картонные коробки, в которых спит столько народу. Мне вдруг вспоминается решение, которое я принял месяц назад: когда-нибудь после полуночи отправиться туда, на бульвар, обогнуть особняк, открыть садовую калитку, проникнуть по-воровски в дом и попытаться отыскать хоть какой-нибудь след Затерянного Поместья, чтобы еще раз увидеть его, всего лишь увидеть... Но я устал. Я голоден. Я тоже спешил переодеться перед театром, и у меня не хватило времени на ужин... Вздволнованный, встревоженный, я, прежде чем лечь, долго сижу на краю кровати и ощущаю смутные угрызения совести. Почему?

Вот что хочу еще отметить: девушки не пожелали, чтобы я их проводил, не сказали своего адреса. Но я шел за ними следом так долго, как только мог. Теперь я знаю, что они живут на маленькой улочке недалеко от Собора Парижской Богоматери. Но в каком доме?.. Я догадался, что они швеи или модистки.

Тайком от сестры Валентина назначила мне свидание на четверг, в четыре часа, возле того самого театра, в котором мы были.

— Если я не приду завтра, — сказала она, — ждите меня там в пятницу, в тот же час, потом в субботу, — и каждый день, пока я не приду.

Четверг, 18 февраля. — Я вышел из дому, чтобы встретиться с ней. Сильный ветер гонит черные тучи. С минуты на минуту начнется дождь...

Я иду полутемными улицами; на сердце тяжело. Упала капля дождя. Боюсь, что ливень помешает ей прийти. Но ветер принялся завывать с новой силой; на этот раз дождь опять прошел стороной. Там, высоко, в вечернем сером небе, то сером, то ясном, огромная туча

отступила, должно быть, под натиском ветра. А я здесь, внизу, копошусь в земле, как жалкий крот, и чего-то жду.

Возле театра.— Проходит четверть часа; я уверен, что она не придет. Я стою на набережной и вижу, как вдали, по мосту, которым она должна была пройти, тянутся вереницы людей. Я провожаю взглядом всех молодых женщин в черном, которые идут с той стороны, и ощущаю чуть ли не благодарность к тем из них, кто дольше других сохраняет сходство с нею, позволяя мне надеяться...

Целый час ожидания. Я устал. Наступает вечер, страж порядка тащит в соседний участок какого-то проходимца, который голосом удавленника изрыгает на него все ругательства, все оскорбления, какие он только знает. Полицейский бледен, в ярости, но молчит... Шагнув в коридор, он начинает дубасить свою жертву, потом закрывает за собой дверь, чтобы всласть избить беднягу... Мне приходит в голову ужасная мысль, что я отказался от рая и теперь топчусь на краю преисподней.

Измучившись ожиданием, покидаю свой пост и иду к той узкой улочке, между Сеной и Собором Парижской Богородицы, где должен стоять их дом. Одинокó хожу взад и вперед. Время от времени из дверей выходит то служанка, то хозяйка и под мелким дождем идут в лавку, чтобы управиться до ночи со своими покупками... Нет, здесь мне нечего делать, и я уйду... Сеется тихий, светлый дождь, точно задерживая наступление темноты; я возвращаюсь на место свидания. Теперь здесь уже не пустынно, вокруг снуют черная толпа...

Предположения.— Отчаянье.— Усталость.— Я цепляюсь за одну только мысль: завтра. Завтра, в тот же час, на том же месте, я снова буду ждать. И я страстно хочу, чтобы это завтра наступило скорее. С тоской думаю я, что впереди еще сегодняшний вечер, я не знаю, как мне убить завтрашнее утро... Но разве сегодняшний день уже почти не прошел?.. Вернувшись к себе, сажусь у окна и слушаю, как кричат продавцы вечерних газет. Наверно, из своего окна, затерянного где-то в городе, возле Собора Парижской Богородицы, она сейчас тоже слышит их.

Она... Это значит Валентина.

Вечерняя тоска, от которой я надеялся увильнуть, навалилась на меня всей своей странной тяжестью. Время идет, нынешний день движется к концу, и мне так хочется, чтобы этот конец уже наступил; а ведь есть люди, которые доверили этому дню все свои надежды, всю любовь и все свои последние силы. Кто-то сейчас умирает, у кого-то истекает срок платежа, и они мечтают о том, чтобы никогда не наступил завтрашний день. Есть люди, на которых это завтра нацелено, как угрызение совести. А иные устали, и как ни была бы длинна эта ночь, она не даст им желанного отдыха. Я же, растративший свой день впустую, по какому праву смею я призывать завтрашний день?

В пятницу вечером.— Я думал, что смогу дальше написать: «Я так и не встретился с нею больше». И все было бы кончено.

Но сегодня, около четырех часов дня, подходя к углу возле театра, я увидел ее. Тоненькая, серьезная, вся в черном, но с напудренным лицом и в воротничке, который делает ее похожей на провинившегося пьеро. Вид одновременно страдальческий и лукавый.

Она пришла только для того, чтобы сказать мне, что сейчас же уйдет, что мы больше никогда не увидимся...

. . . . .

Но спустилась ночь, а мы все еще медленно ходим рука об руку по песчаным дорожкам Тюильри. Она рассказывает мне о себе, но так туманно, что я плохо понимаю. Говоря о своем женихе, который так и не женился на ней, она называет его: «Мой любовник». Я думаю, она делает это нарочно, чтобы задеть меня, чтобы меня оттолкнуть.

Мне бы так хотелось забыть некоторые ее фразы...

«Вы не должны мне доверять. Я всегда делала одни только глупости».

«Я бродила по дорогам совершенно одна».

«Я довела своего жениха до отчаянья; я бросила его, потому что он слишком восхищался мной; он видел меня только такой, какую я рисовалась в его воображении. А во мне столько недостатков! Мы были бы очень несчастливы».

Я постоянно ловлю ее на том, что она хочет представить себя хуже, чем она есть на самом деле. Я думаю, она пытается сама себя убедить, что была права, когда совершила ту глупость, о которой она говорит, убедить себя, что ей не о чем жалеть и что она не была достойна того счастья, которое открывалось перед нею.

В другой раз:

— Что мне в вас нравится,— сказала она, посмотрев на меня долгим взглядом,— что мне в вас нравится,— это то, что вы почему-то пробуждаете во мне воспоминания...

И еще:

— Я по-прежнему люблю его, гораздо больше, чем вы думаете.

И вдруг добавила резко, грубо, печально:

— Чего вы в конце концов добиваетесь? Уж не любите ли вы меня — и вы тоже? И тоже собираетесь просить моей руки?..

Я что-то пробормотал. Сам не знаю, что я ей ответил. Может быть, я сказал: «Да».

На этом месте дневник обрывается. Дальше шли черновики писем — неразборчивые, бесформенные, все в помарках... Ненадежная помолвка!.. По настоянию Мольна, девушка оставила работу. Он занялся подготовкой к свадьбе. Но снова и снова охватывало его стремление возобновить поиски, еще раз пойти по следу своей потерянной любви; вероятно, он несколько раз исчезал и, запутавшись в трагических противоречиях, пытался в этих письмах оправдаться перед Валентиной.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### ТАЙБА

(Продолжение)

Потом снова начинался дневник.

Тут были записаны воспоминания о поездке вдвоем с ней в деревню — куда именно, не знаю. Но странное дело, с этого времени — возможно, из чувства стыдливо-

сти — Мольн вел свой дневник так отрывисто и небрежно, да и писал к тому же так поспешно и неразборчиво, что, восстанавливая эту часть истории, я вынужден опять вести рассказ от своего лица.

14 июня.— Когда он проснулся утром на постоялом дворе, в его комнате на черной занавеси окна пылали зажженные солнцем красные узоры. Внизу, в трактире, громко разговаривали за утренним кофе батраки; грубыми фразами, но в довольно мирном тоне, ругали они кого-то из своих хозяев. Этот покойный шум Мольн слышал, наверное, еще сквозь сон. Ибо он не сразу дошел до его сознания. Штора в заалевших от солнца виноградных гроздьях, утренние голоса, проникающие в тишину комнаты,— все сливалось в единое впечатление, все говорило, что ты проснулся в деревне и впереди — долгие радостные каникулы.

Он встал, легко постучал в соседнюю дверь и, не получив ответа, бесшумно приоткрыл ее. Он увидел Валентину и понял, откуда пришло к нему это ощущение безмятежного счастья. Она спала — неподвижно и тихо, как спят птицы: даже дыхания не было слышно. Он долго смотрел на ее детское лицо с закрытыми глазами, такое спокойное, что не хотелось будить и тревожить ее.

Но она проснулась и все так же, не шевелясь, открыла глаза и посмотрела на него.

Когда девушка оделась, Мольн снова пришел к ней.  
— Мы заспались,— сказала она.

И сразу стала себя вести как хозяйка в собственном доме. Она принялась за уборку комнат, потом стала чистить костюм Мольна, в котором он приехал сюда накануне; дойдя до брюк, она огорчилась. Обе штанины были покрыты внизу толстой коркой засохшей грязи. Секунду поколебавшись, она, прежде чем взяться за щетку, стала осторожно соскребать ножом верхний слой земли.

— Так всегда делали мальчишки в Сент-Агате, если нужно было счистить грязь,— сказал Мольн.

— А меня научила этому моя мать,— отвечала Валентина.

...Именно о такой подруге и мечтал, должно быть, Большой Мольн, прирожденный охотник и крестья-

нин,— мечтал до своего таинственного приключения в Поместье.

15 июня.— За ужином, на ферме, куда, к своей большой досаде, они были приглашены благодаря своим друзьям, представившим их как мужа и жену, Валентина вела себя робко, как новобрачная.

На обоих концах покрытого белой скатертью стола зажгли свечи в канделябрах, как на скромной деревенской свадьбе. Свет был неяркий, и лица, склоняясь над тарелками, попадали в полумрак.

Справа от Патриса, сына хозяйки, сидела Валентина, потом Мольн, который упорно молчал, хотя за столом почти все время обращались к нему. С той минуты как он, чтобы избежать кривотолков в этой глухой деревушке, решил выдать Валентину за свою жену, его не покидали все те же сожаления, все те же угрызения совести. И, глядя, как Патрис, словно помещик, председательствует за столом, Мольн думал: «А ведь я мог бы сегодня сидеть во главе стола в таком же низком, памятном для меня вале,— сидеть на своей собственной свадьбе».

Рядом с ним Валентина все время робко отказывалась от блюд, которые ей предлагали. Она казалась молодой крестьянкой. Каждый раз, как к ней обращались, она смотрела на своего друга, словно прося его о защите. Патрис долго и безуспешно настаивал, чтобы она осушила свой стакан, пока наконец Мольн не наклонился к ней и не сказал ласково:

— Нужно выпить, Валентина, милая.

Она покорно выпила. И Патрис, улыбаясь, поздравил молодого человека с такой послушной женой.

Но Валентина и Мольн были по-прежнему молчаливы и задумчивы. Прежде всего они устали; после долгой прогулки по грязной дороге у них зябли промокшие ноги на чисто вымытом кафельном полу кухни. Но, главное, время от времени юноша вынужден был говорить:

— Моя жена... Валентина, моя жена...

И всякий раз, глухо произнося это слово перед незнакомыми крестьянами, в этой темной комнате, он не мог отделаться от чувства, что совершает ошибку.

17 июня.— Вторая половина этого последнего дня началась неудачно.

Они отправились на прогулку вместе с Патрисом и его женой. Шагая по неровным косогорам, заросшим вереском, обе пары разделились. Мольн и Валентина присели на траву в небольшой рощице, среди кустов можжевельника.

Было пасмурно, порой ветер приносил несколько капель дождя. Казалось, наступавший вечер таил в себе привкус горечи, привкус такой тоски, которую не может рассеять даже любовь.

Они сидели долго в своем тайнике, скрытые ветвями, почти не разговаривая. Потом небо прояснилось. И обоим показалось, что теперь все будет хорошо.

Они стали говорить о любви. Валентина говорила, говорила...

— Вот что обещал мне мой жених — ведь он был как дитя: он обещал, что у нас сразу же будет свой собственный дом, хижина, затерянная среди полей. Она уже совсем готова,— говорил он.— Мы приедем туда, точно возвращаясь из дальнего путешествия, вечером, с наступлением темноты, сразу же после венчания. И всюду, по дороге и во дворе,— дети, совсем незнакомые нам дети, скрывшись в кустах, будут встречать нас радостными криками: «Да здравствует молодая!..» Какие глупости, не правда ли?

Мольн слушал с удивлением и тревогой. Во всем этом точно слышался отзвук знакомого голоса. А в тоне, в котором девушка рассказывала эту историю, звучало смутное сожаление о прошлом.

Но тут она испугалась, что причинила ему боль. Она повернулась к нему порывистым движением и сказала ласково:

— Я хочу отдать вам все то, что у меня есть, отдать то, что было для меня дороже всего на свете... И вы сожжете это!

Глядя на него пристальным, озабоченным взглядом, она вынула из кармана и протянула ему связку писем — писем своего жениха.

О, Мольн сразу узнал знакомый мелкий почерк. Почему он раньше ни разу не подумал об этом? Это был почерк Франца, почерк бродяги, почерк, который он ви-



дел когда-то, читая проникнутое отчаяньем письмо, оставленное в комнате Поместья...

Они шли теперь по узкой тропе, среди маргариток и трав, освещенных косыми лучами предзакатного солнца. Мольн был так потрясен, что еще не понимал, каким крушением всех надежд должно обернуться для него это открытие. Он читал письма, потому что она попросила его их прочесть. Детские, сентиментальные, напыщенные фразы... Вот одна из них, в последнем письме:

*«...О, вы потеряли сердечко, это непростительно, моя милая Валентина. Что будет с нами? Хотя я и не суеверен...»*

Мольн читал, и глаза его застилали скорбь и гнев, лицо было неподвижно и бледно, только под глазами подергивалась жилка. Испуганная его видом, Валентина заглянула в письмо, чтобы понять причину такой ярости.

— А, это он подарил мне как-то брошку в виде сердца,— объяснила она с живостью,— и взял с меня клятву, что я буду вечно ее хранить. Еще одна из его безумных причуд.

Но Мольн окончательно вышел из себя.

— Безумных! — сказал он, кладя письмо к себе в карман.— Зачем повторять это слово? Почему вы никогда не хотели верить в него? Я его знал, это был самый чудесный юноша на свете!

— Вы его знали? — спросила она в страшном волнении.— Вы знали Франца де Гале?

— Это был мой лучший друг, мой брат и товарищ по приключениям — и вот я отнял у него невесту! О, как много зла вы нам причинили,— продолжал он в ярости,— вы, не желавшая ничему верить. Вы — виноваты во всем. Это вы все погубили, все погубили!..

Она хотела что-то сказать, взять его за руку, но он грубо оттолкнул ее.

— Уходите, оставьте меня.

— Ну что ж, если так,— проговорила она с пылающим лицом и еле сдерживая слезы,— я и в самом деле уйду. Я вернусь домой, в Бурж, вместе с сестрой. И если вы не приедете туда за мной — вы ведь знаете, что

мой отец слишком беден, чтобы меня содержать, — ну что ж, тогда я опять поеду в Париж, опять буду слоняться одна по дорогам, как это уже было со мной однажды, и, раз у меня нет больше работы, стану совсем пропащей...

И она ушла, чтобы собрать свои вещи и поспеть на поезд. А Мольн, даже не посмотрев ей вслед, все шел и шел по дороге куда глаза глядят.

Дневник опять обрывался.

Следовали новые черновики писем, строки, написанные человеком растерявшимся, не знающим, на что решиться. Вернувшись в Ла-Ферте-д'Анжийон, Мольн написал Валентине — по-видимому, только для того, чтобы подтвердить ей свое решение больше не встречаться с нею и чтобы изложить ей причины этого; но, думаю, в действительности он писал потому, что в глубине души надеялся получить ответ. В одном из писем он спрашивал у нее про то, о чем в своем смятении не догадался спросить раньше: знает ли она, где находится загадочное Помесье? В другом письме он умолял ее помириться с Францем де Гале. И обещал, что сам поможет его найти... Все письма, черновики которых я видел, вероятно, так и не были отправлены. Но, должно быть, он все же послал ей два-три других письма, оставшихся без ответа. Это была в его жизни полоса жестокой внутренней борьбы и полного одиночества. Окончательно утратив надежду когда-нибудь разыскать Ивонну де Гале, он, должно быть, почувствовал, как постепенно слабеет его решимость. И вот, судя по ниже-следующим страницам — последним страницам дневника, — в одно прекрасное утро, в начале каникул, взяв взаймы велосипед, он отправился в Бурж, чтобы осмотреть кафедральный собор... Было совсем еще рано; он ехал среди лесов по чудесной ровной дороге и придумывал по пути сотни предлогов, которые позволили бы ему, соблюдая достоинство и не прося о примирении, предстать перед девушкой, которую он сам прогнал.

Четыре последних страницы, которые мне удалось восстановить, рассказывают об этой поездке — об этой последней ошибке.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### ТАЙНА

(Окончание)

25 августа.— На дальней окраине Буржа, в самом конце недавно застроенных предместий с большим трудом отыскал он дом Валентины Блондо. В дверях стояла женщина — мать Валентины — и словно ждала его. У нее было доброе простое лицо, отяжелевшее, морщинистое, но еще сохранившее следы красоты. Она с любопытством смотрела на него, а когда он спросил: «Дом ли барышни Блондо?» — ласково ответила, что пятнадцатого августа обе вернулись в Париж. «Они не велели никому говорить, куда направились,— добавила она,— но если писать на их старый адрес, то письма до них дойдут».

Идя обратно через палисадник и ведя за руль велосипед, он думал: «Она уехала... Все кончилось так, как я хотел... Я сам принудил ее к этому. «Я стану совсем пропащей»,— сказала она. И я сам толкнул ее! Сам погубил невесту Франца!»

И, точно обезумев, стал шептать: «Тем лучше! Тем лучше!» — хотя сознавал, что, напротив, все было «тем хуже» и что сейчас, не доходя до калитки, на глазах этой женщины, он споткнется и упадет на колени.

Он даже не подумал, что пора пообедать. Зайдя в какое-то кафе, он сел писать длинное письмо Валентине — без всякой цели, только для того, чтобы излить рвавшийся из него вопль отчаяния. В письме бесконечно повторялась фраза: «Как вы могли!.. Как вы могли!.. Как вы могли пойти на это!.. Как вы могли так погубить себя!»

Рядом пьянствовала компания офицеров. Один из них шумно рассказывал какую-то сальную историю; слышались обрывки фраз: «Я ей говорю: «Неужели вы меня не знаете? Я каждый вечер играю с вашим мужем!» Остальные смеялись и сплевывали через плечо прямо на пол. Изможденный, в пыли, Мольн рядом с ними выглядел нищим. Ему представилось, как они сажают к себе на колени Валентину.

Долго колесил он на велосипеде вокруг кафедрального собора, твердя про себя: «Ведь в конце концов я приехал сюда, чтобы поглядеть на собор». А собор возвышался, огромный и равнодушный, на пустынной площади, куда сходились все улицы города. Улицы были узкими и грязными, как переулки вокруг деревенской церкви. То здесь, то там виднелась вывеска публичного дома, красный фонарь... В этом квартале, нечистом, порочном, приютившемся, как в средние века, под сводами собора, Мольн почувствовал, как его боль уступает место страху, отвращению крестьянина к городской церкви, где из темных углов глядят изваяния всех пороков, церкви, которая выстроена рядом с дурными местами и потому не может дать успокоения высоким и чистым мукам любви.

Мимо в обнимку прошли две девицы, нагло взглянув на него. Сам себя презирая, но поддавшись игре, то ли наказывая себя за свою любовь, то ли стремясь окончательно ее унижить, он медленно поехал вслед за ними, и одна девица, несчастная, жалкая, с жидкими белокурыми волосами, скрепленными на затылке фальшивым шиньоном, назначила ему свидание на шесть часов в Архиепископском саду, в том самом саду, где Франц в одном из своих писем назначил свидание бедной Валентине.

Мольн не сказал ей «нет», зная, что к этому часу его уже давно не будет в городе. А та, войдя в дом на кривой улочке, долго еще выглядывала в низенькое оконце и делала Мольну какие-то непоютные знаки.

Он поспешил выбраться на дорогу.

Но перед отъездом не смог устоять против горького желания последний раз проехать перед домом Валентины. Он глядел вокруг во все глаза, впрок запасаясь печалью. То был один из крайних домов предместья; именно здесь улица превращалась в дорогу... Перед домом небольшой пустырь образовывал словно бы маленькую площадь. Нигде ни души — ни в окнах, ни во дворе. Только грязная напудренная девица прошла вдоль стены, таща за руки двух оборванных ребятишек.

Вот где протекло детство Валентины, вот где она впервые научилась смотреть на мир своими доверчивыми и чистыми глазами. За этими окнами она работа-

ла, шила. И по этой окраинной улице проходил Франц, чтобы увидеть ее, чтобы ей улыбнуться. Теперь здесь было пусто, совсем пусто... Грустный вечер казался бесконечным. Мольн знал лишь одно: где-то далеко, затерянная среди чужих людей, Валентина вспоминает сейчас эту унылую площадь, куда она больше никогда не вернется... Ему предстоял долгий обратный путь, который должен был стать для Мольна последним прибежищем от душевной тоски, последним вынужденным от нее отвлечением, прежде чем он окончательно погрузится в нее с головой.

Он поехал. Вдоль дороги, в долине, на краю пруда, хорошенькие, окруженные деревьями домики выставляли напоказ остроконечные коньки своих крыш, украшенные резьбой. Наверное, там, на зеленых лужайках, милые девушки говорят между собой о любви. Там живут, наверное, люди с прекрасной душой...

А для Мольна существовала сейчас лишь одна на свете любовь — и эта несчастливая любовь была так жестоко унижена; единственную во всем мире девушку, которую он должен был охранять и защищать, он сам недавно толкнул навстречу гибели.

Несколько торопливых строк дневника рассказали мне, что он решил во что бы то ни стало, пока еще не поздно, разыскать Валентину. Число, проставленное в уголке страницы, навело меня на мысль, что как раз в это долгое путешествие и собирала своего сына г-жа Мольн в тот день, когда я явился в Ла-Ферте-д'Анжийон и нарушил все его планы. Солнечным утром, в конце августа, он сидел в бывшей мэрии и набрасывал свои воспоминания и проекты — в этот миг я распахнул дверь и принес ему великую весть, которой он уже не ждал. И опять давнее приключение властно захватило его, связало по рукам и ногам: он не смел ничего предпринять, ни в чем признаться. Тогда сызнова начались угрызения совести, сожаления и тоска, и он то залушал их, то им поддавался, пока в день свадьбы раздавшийся в ельнике крик бродяги не напомнил ему столь театральным манером о его первой юношеской клятве.

Все в той же тетради для контрольных работ, в спешке, на заре, перед тем как навсегда покинуть —

с ее собственного разрешения! — Ивонну де Гале, которая накануне стала его женой, он нацарапал еще несколько слов:

«Я уезжаю. Я непременно должен напасть на след бродяг, которые пришли вчера в ельник и потом на велосипедах отправились на восток. Я вернусь к Ивонне только в том случае, если смогу привести с собой Франца и Валентину и поселить их в «доме Франца» как мужа и жену.

Эта рукопись, которую я начал как тайный дневник и которая превратилась в мою исповедь, станет, если я не вернусь, собственностью моего друга Франсуа Сэреля».

Должно быть, он второпях сунул тетрадь вместе с другими бумагами в свой старый ученический сундук, запер его на ключ и исчез.

## ЭПИЛОГ

Время шло. Я терял надежду когда-нибудь снова увидеть своего друга. Уныло и грустно, день за днем, проходила моя жизнь в крестьянской школе, в одиноком пустынном доме. Франц не явился в назначенный день на свидание со мной, да к тому же тетя Муанель давно уже не знала, где живет теперь Валентина.

Скоро моей единственной радостью в Саблоньере стала девочка, которую удалось выходить. К концу сентября она была уже крепенькой и хорошенькой девчушкой. Ей должен был исполниться год. Хватаясь за спинки стульев, она смело отпускала их и, не боясь упасть, старалась самостоятельно протопать по полу; в опустелом доме долго гудело глухое эхо, разбуженное этой возней. Когда я брал ее на руки, она никогда не давала себя поцеловать. Вертясь и отбиваясь, она очаровательно дичилась, отталкивала ладошкой мое лицо и заливалась смехом. Казалось, своим весельем, своим детским буйством она сумеет прогнать печаль, нависшую со дня ее рождения над этим домом. Иногда я говорил себе: «Пусть она сейчас меня дичится, все равно это немного и мое дитя». Но и на сей раз судьба распорядилась по-иному.

Как-то воскресным утром, в конце сентября, я встал очень рано, даже раньше крестьянки, которая нянчила

девочку. Я собрался на Шер ловить рыбу вместе с Жасменом Делюшем и двумя парнями из Сен-Бенуа. Мы частенько договаривались с крестьянами из соседних деревень о совместных браконьерских вылазках — ловить ночью на удочку, ловить запрещенными снастями... Летом мы каждый свободный день с рассвета до полудня пропадали на реке. Почти для всех этих людей ловля была средством подработать. А я видел в ней единственное развлечение, напоминавшее мне прежние наши проделки. В конце концов я вошел во вкус этих дальних прогулок, этих долгих часов на берегу реки или в камышах у пруда.

Итак, в то утро я стоял в половине шестого возле дома, под небольшим навесом у стены, которая отделяла заросший саблоньерский сад от огорода фермы. Я разбирал свои сети: в прошлый четверг я бросил их в общую кучу.

Солнце еще не взошло, над землей висели предрасветные сумерки, предвещавшие погожий сентябрьский день, и под навесом, где я торопливо разбирал свои снасти, было темно, почти как ночью.

Я стоял так, целиком поглощенный своим делом, и вдруг услышал скрип калитки и хруст шагов по песку.

«Вот те на! — сказал я себе. — Мои приятели пришли раньше, чем я думал. А я-то еще не готов!..»

Но человек, вошедший во двор, был мне незнаком. Насколько я мог разглядеть, это был высокий бородастый детина, одетый как охотник или рыбак. Вместо того чтобы направиться к навесу, где, как знали мои товарищи, меня всегда можно было застать в этот час, он пошел прямо к дому.

«А, верно, это кто-нибудь из их друзей, которого они тоже пригласили, не предупредив меня, и вот он пришел разузнать, что и как», — подумал я.

Человек легонько, совершенно бесшумно потрогал щеколду на двери. Но, выйдя из дома, я запер дверь на замок. Он проделал то же самое с кухонной дверью, но и она была заперта. Тогда, секунду постояв в нерешительности, он повернулся ко мне, и я увидел в полумраке его встревоженное лицо. Только тут я узнал Большого Мольна.

Я долго стоял, не двигаясь с места, испуганный, растерянный, охваченный внезапной скорбью, которую раз-

будило во мне его возвращение. А он скрылся за углом дома, обошел его кругом и, появившись вновь, тоже остановился в нерешительности.

Я подошел к нему и, не говоря ни слова, обнял его и зарыдал.

Он сразу все понял.

— Значит, она умерла? — проговорил он отрывисто.

И остался стоять, отупевший от боли, неподвижный, страшный. Я взял его за руку и тихо потянул к дому. Уже светало. Чтобы скорее исполнить самое тяжкое, я сразу повел его по лестнице в комнату покойной. Войдя, он упал на колени перед ее кроватью и долго стоял так, спрятав лицо в ладони.

Наконец он поднялся, пошатываясь, с блуждающим взором, точно не понимая, где он. И, снова взяв его за руку, я повел его к дверям в комнату девочки. Она уже проснулась и одна — ее нянька была внизу — спокойно сидела в своей кроватке. Мы увидели, как она обратила к нам удивленное личико.

— Вот твоя дочь, — сказал я.

Он вздрогнул и посмотрел на меня.

Потом схватил ее и поднял на руки. Сначала он даже не мог видеть ее, потому что плакал. Тогда, чтобы успокоить немного свое волнение и унять поток слез, он крепко прижал девочку к себе и, повернув ко мне склоненную голову, сказал:

— Я их привел, тех двоих... Они там, в своем доме.

И в самом деле, в то же утро, когда, задумчивый и почти счастливый, я пошел к дому Франца, который когда-то, пустынным и безлюдным, показала мне Ивонна де Гале, я еще издали увидел на пороге молодую хозяйку в белом воротничке: она подметала крыльцо, вызывая восторженное любопытство у маленьких пастушат, спешивших в своих воскресных костюмах к обеду...

...Девочке наскучило неподвижно сидеть на руках у Мольна, который, отвернувшись, чтобы скрыть слезы, все еще не смотрел на нее, и она довольно сильно шлепнула его ручонкой по мокрому бородавтому лицу.

Тогда отец подкинул свою дочку вверх и, засмеявшись, взглянул на нее. Девочка радостно захлопала в ладоши...



Я отступил назад, чтобы лучше их видеть. Немного расстроенный, но все же восхищенный этой картиной, я понял, что девочка нашла наконец товарища, которого, сама того не ведая, она так ждала... Я чувствовал, что Большой Мольн пришел отнять у меня ту единственную радость, которую он мог мне еще дать. И я уже видел, как, завернув дочку в свой плащ, он шагает в ночь, навстречу новым приключениям.



---

## КОММЕНТАРИИ

### ШАРЛЬ НОДЬЕ (1780—1844)

Шарль Нодье родился в Безансоне в семье адвоката. В год взятия Бастилии ему исполнилось девять лет, а в двенадцать он стал членом безансонского «Общества друзей Конституции» — революционного клуба, близкого к якобинцам. Именно здесь он в иные годы произносит пламенные патриотические речи, выступает с собственными стихотворениями, посвященными революции.

Известно также, что в 1797—1800 годах Нодье был одним из создателей и активных участников тайного общества «филадельфов», в план которого входило пленение императора. Как противник тирании Нодье заявил о себе в сатирической оде, направленной против Наполеона («La Napoléone», 1801), которая была издана анонимно в Лондоне. Имя автора стало известно тогдашнему министру полиции Фуше, и в 1804 г. Нодье арестовали и заключили в тюрьму Сент-Пелажи, откуда его через месяц с небольшим вызволил отец благодаря своим связям в Париже.

Опасаясь нового ареста, он отправляется путешествовать по Швейцарии. Нигде подолгу не задерживаясь, он живет в разных городках этой страны, зарабатывая себе на жизнь службой в местных библиотеках. Работа в библиотеках позволила Нодье тщательно изучить историю Франции и ее литературу, познакомиться с литературой зарубежной. Нодье «открывает» для себя Шекспира и Шиллера, он покорен Гёте. Результатом этих штудий стали «Мысли, выбранные из Шекспира» (1801), роман «Стелла, или Изгнанники» (1802), «Опыты юного барда» (1804), куда вошли едва ли не все обязательные для раннего романтизма темы: подра-

жание шотландцу Дж. Макферсону, перевод в стихах и прозе первой части библейской «Песни Песен», перевод стихотворения Гёте «Фиалка». Данью увлечения Гёте и его «Вертером» стал сборник стихов и прозы «Скорбящие, или Извлечения из записок самоубийцы» (1806).

Природа одарила Нодье не только литературным талантом. В самом начале своего жизненного пути Нодье получает признание на научном поприще естествоиспытателя. Его первым печатным трудом, выпущенным в соавторстве с Ф. М. Ж. Люкзо, стали «Рассуждения о назначении усиков у насекомых и об их органе слуха».

Нодье увлекается и лингвистикой, будучи убежденным сторонником развития современного французского языка (книга «Начала лингвистики», 1834), он страстный библиофил, блестящий знаток литературы и искусства. Он стремится познакомить своих соотечественников с историей Франции и одним из первых начинает борьбу с разрушителями памятников французской культуры.

Хотя Нодье и не стал признанным теоретиком романтизма, именно он явился в двадцатых годах духовным вождем молодых романтиков (Альфреда де Виньи, Виктора Гюго, Альфреда де Ламартина и многих других), для которых библиотека Арсенал (с 1824 по 1844 г. Нодье был хранителем библиотеки) стала местом жарких дискуссий о дальнейших путях развития современной французской литературы.

Нодье по праву можно считать автором нового жанра романтической литературы — фантастической повести-сказки («Смарра», 1821).

В 1812 году, когда писатель с семьей оказался на Балканах в городе Лайбахе (ныне Любляна), он задумывает «Жана Сбогара». Роман появляется в печати лишь в 1818 г., без имени и потому попеременно приписывается г-же Крюденер (1764—1824), писательнице родом из Риги, Бенжамену Констану (1767—1830) и, наконец, Байрону.

Споры вокруг «Жана Сбогара» продолжались и после того, как Нодье публично признался в авторстве, только теперь критики рассуждали о том, кому же подражает молодой писатель, и обвиняли его в плагиате. Несмотря на это, «Жан Сбогар» сделался одним из «модных» романов, принес автору небывалый успех и стал вехой в истории французского романтизма.

С. 21. «Подражание Христу» — духовное сочинение XV в., написанное на латинском языке и приписываемое немецкому монаху Фоме Кемпийскому (1379—1471).

...обитель, находившуюся когда-то под покровительством св. Андрея...— Нодье, опираясь на свои воспоминания о путешествиях в 1812—1813 гг. по территориям, расположенным между Венецией и Триестом, не всегда точен. Например, если бухта Пирано находится действительно в 35 км от Триеста, то обитель св. Андрея — место вымышленное.

С. 22. ...произнее имена Люсиль и Антонию... — Во многих произведениях Нодье фигурируют персонажи двух сестер, прототипами которых стали Люсиль Франк и ее сводная сестра — Дезире Шарв. Люсиль, в которую был влюблен Нодье, умерла от чахотки в 1801 г.; в 1808 г. он женился на Дезире.

С. 24. ...о Яниге, о Диомеде и Антеноре...— Яниги — племя, ванимавшее в древности юго-восточную часть Италии, куда оно, по мнению некоторых ученых, переселилось из Иллирии. Родоначальником этого народа является Яниг (или Яникс). Деомед — в греч. миф. царь Фракии. Его подвигам посвящена V книга «Илиады». Антенор — в греч. миф. один из троянских старейшин, советник Приама. Согласно римской традиции, восходящей к греческим источникам 6—5 в. до н. э., Антенор, покинув землю Трояды, основал колонию в Северной Италии.

То башня могущественной Аквиле... — Древняя Аквилея (181 г. до н. э.) — важнейший торговый и стратегический пункт в Северной Италии; в 452 г. была разрушена Аттилой, предводителем гуннов.

С. 25. ...там искал приюта Данте... — Скорее всего это утверждение является вымыслом, т. к. местожительство Данте после его изгнания из Флоренции неизвестно.

С. 26. Гондола (Гундулич) Иван (1588—1638) — иллирийский поэт, автор героической поэмы «Осман». Нодье услышал о Гондоле в 1812 г. В статьях об иллирийской поэзии, напечатанных в «Иллирийском телеграфе», он называет Гондолу «иллирийским Тассо». Истрия — входила в состав Иллирийских провинций (здесь расположен Триест), в XV—XVIII вв. находилась под властью Венеции, в XVIII в. — под властью Австрии.

...«братьев общего блага». — Намек на события, происходившие во Франции, где в 1796 г. существовало движение «Во имя ра-

венства», одним из руководителей которого был Бабеф Грахх (наст. имя Франсуа Ноэль, 1760—1797; коммунист-утопист). Вероятно и то, что Нодье знал работу Бабефа «Манифест равных». Скандерберг (Георг Кастриота, 1405—1468) — герой освободительной борьбы албанского народа против турецкого ига. В 1443—1467 гг. успешно отражал нашествие турок, а также нападение Венеции.

С. 28. *Фарнедо* — до настоящего времени остается известнейшим местом прогулок в Триесте.

С. 29. *...о смерти Изабеллы и Софронии...*—Намек на будущую судьбу Антонии. Эпизод смерти Изабеллы описан в гл. XXIX «Неистового Роланда» Ариосто (1474—1533); Софронии — в гл. II «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо (1544—1595).

*...он пел о бедствиях...* — Подражая словацкой балладе, Нодье воспроизводит названия древних портов на западе Иллирии: Керсо и Макарки, острова Курцола. О восточной Иллирии упоминается через греческие легенды об аргонавтах и Меее; *Эпидазр* — древнегреческий город в Пелопоннесе; в *Салоне* (Римская колония I в. до н. э.), около современного города Сплит, был построен знаменитый дворец Диоклетиана, римского императора в 284—305 гг.

С. 30. *...нищие морлаки...* — славянское племя, жившее в горах Далмации.

*Оссиан* — легендарный воин и бард кельтов, живший, по преданиям, в III в. н. э. в Ирландии и воспевший подвиги своего отца Финна (Фингала) и его дружинников. Честь «открытия» поэзии Оссиана приписал себе шотландский сельский учитель Джеймс Макферсон (1730—1796). В цикл, изданный им, он включил две поэмы — «Фингал» и «Темора». Данный эпитаф — умелая реконструкция Нодье текста книги I «Фингала».

С. 34. *Де Ланкр Пьер* (ум. 1630) — французский чиновник, возглавлявший следствие по «делу о колдовстве в провинции Лабур». По его приказу было сожжено около 500 человек. В сочинении Пьера де Ланкра о колдовстве «Неверие» (1622) глава VII посвящена «Видениям». Ее и берет Нодье за основу своего эпитафа.

*...африканский ветер...*—Описание природы у Нодье имеет важное значение для развития сюжета. Сирокко, или «африканский ветер», вызывает не только оцепенение природы, но и подавленное состояние у людей; «борà», или сильный северо-восточный ветер, приближает грозу, предвещает появление разбойников, создает настроение тревоги.

С. 41. *Клятва Путешественника* (Молитва путешественника) — вероятнее всего, сочинена самим Нодье для того, чтобы объединить темы путешествия г-жи Альберти и Антонии, паломничество армянского монаха и нападение разбойников.

С. 48. *Льюис Мэтью Грегори* (1775—1818) — английский романист, драматург, автор популярной повести «Монах» (1795), драмы «Венецианский разбойник» (1804).

...веселую *Горицу*... — Город вблизи Триеста.

...каналы *Бренты*... — Река в северной Италии, впадающая в Венецианский залив Адриатического моря.

С. 49. ...горько плакал какой-то юноша в черном... — Об умершей молодой девушке и об оплакивавшем ее юноше автор более ничего не сообщает; этот эпизод — «зловещее предзнаменование» будущей судьбы Антонии.

С. 50. ...черную шелковую горру... — Венецианская черная шапочка из шелковой ткани.

С. 54. ...основан армянский монастырь... — Вероятнее всего, речь идет о монастыре св. Лазаря, построенном в 1740 г.

С. 59. ...только голова его возвышается над красной кашемировой шалью... — Образ отрубленной головы встречается и в других произведениях Нодье (например, в «Смарре»). Это объясняется тем, что в молодости писатель был свидетелем смертной казни.

С. 61. *Мильтон Джон* (1608—1674) — английский политический деятель, поэт; эпиграф взят из «Потерянного рая» (1667), книга IV; перевод с английского языка неточен.

С. 68. *Клопшток Фридрих Готлиб* (1724—1803) — немецкий поэт Просвещения. Нодье, вдохновленный песней II «Месснады» Клопштока, создает свой оригинальный текст для эпиграфа.

С. 73. *Шатобриан Франсуа Рене де*, виконт (1768—1848) — французский писатель, политический деятель. Нодье цитирует отрывок из главы «О зыбкости страстей» (т. 2, ч. 3, гл. 5) «Гения христианства» (1802).

С. 77. *Гёте Иоганн Вольфганг* (1749—1832) — немецкий писатель, мыслитель и естествоиспытатель. Известно страстное увлечение Нодье творчеством Гёте, и в частности сентиментальным романом «Страдания молодого Вертера» (1774). Эпиграф неточен, напоминает «Вертера» только по стилю.

С. 78. ...переодетые сбирь... — Полицейские стражники в Италии.

...на *Джудекке*.— Название одного из многочисленных островов, на которых расположена Венеция.

С. 81. ... к *восставшим сербам*.. — Намек на восстание сербов против османского ига, начавшееся 16 февраля 1804 г. под руководством Карагеоргия (наст. имя и фамилия Георгий Петрович, 1768—1817) и длившееся до 1813 г.

С. 88. *Смит Шарлотта* (1749—1806) — английская писательница, поэтесса.

С. 101. *Гервей Джон* (1696—1743) — английский государственный деятель и писатель.

*Гора Тавр*... — Высокая горная цепь в Малой Азии.

С. 102. *Ликург* (9—8 вв. до н. э.) — легендарный спартанский законодатель, которому греческие авторы приписывают создание институтов спартанского общественного и государственного устройства.

...в *садах Тантала*! — Согласно греч. миф., *Тантал* — герой, сын Зевса и Плуто, любимец богов, царствовал в Южной Фракии (Малая Азия) в городе Сипиле, славился своими неисчислимыми богатствами, в том числе и садами, приносившими прекрасные плоды.

...*пропасть Курция*... — Курций Марк, легендарный римский юноша, пожертвовавший собой для блага родины. Существует предание, согласно которому в 362 г. до н. э. на римском форуме разверзлась пропасть, возвещающая о гибели Рима. Только пожертвовав самым дорогим, Рим мог спастись. Курций в полном вооружении сел на коня и бросился в пропасть, восклицая: «Нет лучшего сокровища в Риме, чем оружие и храбрость!» Пропасть закрылась, и Рим был спасен.

С. 103. *Если бы общественный договор*...— имеется в виду сочинение французского писателя Жан-Жака Руссо (1712—1778) «Об общественном договоре» (1762).

С. 105. ...*лук Нимврода*...— Библейский Нимврод, или Немрут, иноземный царь, вторгшийся в Армению. Решив убить бога и занять его место, Немрут поднялся на крышу построенного им великолепного дворца и поцелился из лука в небо. Бог подставил большую рыбу под стрелу. Увидев кровь, Немрут возликовал, решив, что бог убит. Тогда разгневанный бог ударил молнией, и Немрут с дворцом провалился в разверзшуюся пропасть, из которой образовалось озеро.

С. 106. ...*связать свое имя с дельфийским храмом...*— Храм Феба-Аполлона в Дельфах. Сбогар-Лотарио намекает на поступок Герострата, сжегшего храм Артемиды в Эфесе.

С. 108. ...*Аполлон изгнан...*— Вероятно, речь идет о том, что Аполлон перебил циклопов и в наказание был послан служить пастухом к царю Адмету в Фессалию.

*Афродита* (в римск. миф. Венера) — была ранена Диомедом в сражениях под Троей, т. к. она была на стороне троянцев и, в частности, спасла от гибели Энея (см. V кн. «Иллиады»). *Церера* (в гр. миф. Деметра) — богиня плодородия и земледелия, рисуется скорбящей матерью, потерявшей свою дочь Прозерпину (Персефону), похищенную Аидом. *Геркулес* (в греч. миф. Геракл) — сын Зевса и смертной женщины Алкмены, герой. В многочисленных мифах о Геркулесе повествуется о том, что, переправляясь через реку Эвей, он поручил кентавру Нессу перевезти свою жену Деяниру. Несс пытался посягнуть на нее, и Геркулес застрелил из лука выходящего из воды Несса. Умиравший Несс посоветовал Деянире собрать его кровь, т. к. она поможет ей сохранить любовь мужа. Впоследствии из ревности Деянира пропитала ядовитой кровью Несса хитон Геркулеса, яд стал проникать сквозь кожу Геркулеса и причинять ему невыносимые страдания.

С. 109. *Данте Алигьери* (1265—1321) — итальянский поэт; «Божественная комедия», «Ад», III, 1—3, 9.

С. 116. *Все эти колонны, увенчанные связками копий...* — Описание замка Дуинно выполнено Нодье в духе «готического» романа.

С. 119. *Шекспир Уильям* (1564—1616) — английский драматург и поэт. Эпиграф может быть соотнесен с действием IV, сценой I из трагедии «Макбет» (1606).

*Шиллер Иоганн Фридрих* (1759—1805) — немецкий поэт, драматург, теоретик искусства Просвещения. Эпиграф свободно интерпретирует гл. V «Разбойников» (1780).

С. 127. *Апокалипсис* — Откровение Иоанна Богослова, 6, 8.

*Французские войска только что вступили в Венецианские провинции.* — Войска Наполеона вошли в Мантую, город в северной Италии, в январе 1797 г., но уже в 1799 г. австрийские войска вновь взяли город. Только в декабре 1805 г. в Венецианских провинциях была установлена имперская власть, а процесс над Жаном Сбогаром состоялся в 1807 г.



## ПОЛЬ БУРЖЕ (1852—1935)

Поль Бурже родился в городе Амьене в семье преподавателя математики. Склонность к точным наукам и строгой логике, унаследованные им от отца, оказываются в органической связи с идеями позитивизма, которые носились в воздухе Франции конца XIX века. Духом позитивизма проникнуты критические работы Бурже «Опыты современной психологии» (1883) и «Новые опыты современной психологии» (1885) — своеобразные эссе о творчестве Э. Ренана, И. Тэна, Стендаля, Г. Флобера, Ш. Бодлера, Э. и Ж. Гонкур и др., сразу сделавшие Бурже кумиром молодежи и известным литератором. Его первые романы продолжают основную тенденцию «Опытов»: Бурже стремится к тонкому психологическому анализу мыслей и чувств своих героев (например, «Мучительная загадка», 1885; «Андре Корнелис», 1887; «В сетях лжи», 1887). Можно предположить, что писателем владела мысль нарисовать своего рода картину «моральной анатомии» человечества.

Из 45 томов, оставленных нам Бурже, наиболее громкую известность приобрел роман «Ученик» (1889), в котором писатель, следуя литературной традиции, рассказал «историю молодого человека XIX столетия». В своем предисловии к «Ученику» (не вошедшем в настоящий сборник) Бурже подвергает резкой критике характерный для современной ему философской мысли вульгарный материализм и нигилистический скепсис, призывает молодое поколение различать добро и зло, не руководствоваться в жизни только холодной игрой ума.

С. 133 ...доктрина этого философа была еще более разрушительна, нежели учение Канта.— В силу своей двойственности философия Канта (1724—1804) оказывала как плодотворное влияние (связь философии с современной наукой, стремление сделать логику и теорию познания средствами осознания форм и методов мышления, расширяющего научное знание, и т. д.), так и влияние, направлявшее философию на путь идеалистических и метафизических заблуждений (неверие в познавательную мощь разума, отразившееся на его учении о «вещи в себе»; догма о непреходимой черте, якобы отделяющей опытное познание явлений от непостижимых «вещей в себе»; ограничение знания религиозной верой и мн. другое).

...Адриена Сикста, которого англичане называют французским Спенсером.— А. Сикст — персонаж вымышленный; Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ, один из родоначальников позитивизма. Главные идеи его изложены в десятитомном сочинении «Система синтетической философии» (1862—1896).

С. 135. ...в рассказах Дарвина и Стюарта Милля о самих себе.— Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882) — английский биолог-материалист, основоположник научной теории развития органического мира, автор не только научных трудов, но «Воспоминаний о развитии моего ума и характера (автобиография)». Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ-позитивист, логик и экономист. Философские взгляды, сформировавшиеся под влиянием Беркли, Юма, Бентама и Конта, изложены им в сочинении «Обзор философии сэра В. Гамильтона» (1865). Исходный пункт философской концепции Милля — положение о том, что предметами познания могут быть лишь наши ощущения, что материя — лишь постоянная возможность ощущений, а сознание — постоянная возможность переживаний. Известна его «Автобиография» (1874).

...Декарта... или автора «Этики»... — Декарт Рене (латинизиров. имя Картезий, 1596—1650) — французский ученый и философ, дуалист. В учении о познании стал родоначальником рационализма, который сложился в результате наблюдений над логическим характером математического знания. «Этика» — главное произведение Спинозы Бенедикта (1632—1677), нидерландского философа-материалиста, пантеиста и атеиста, написанное на латинском языке в 1662—1675 гг.

С. 138. Коллеж де Франс — одно из старейших научных и учебных заведений Франции; был основан в Париже в 1530 г.

С. 140. Нормальная школа — во Франции существует ряд учебных заведений, которые готовят учителей начальных классов. Подобные школы были созданы уже в конце XVIII в. В 1912 г. появилась Высшая нормальная школа.

...Карлейля и Милля, Тэна и Ренана... Карлейль Томас (1795—1881) — английский писатель, публицист, историк, философ. В литературно-критических статьях противопоставил буржуазной просветительской идеологии романтическую критику капиталистического прогресса. Многие выступления Карлейля носили революционный характер, однако после поражения революционных движений 1848 г. в Европе Карлейль пережил идейный кризис, и его отказ

от прежних радикальных воззрений углубился. В последние годы поддерживал реакционную политику английского правительства, колониальные завоевания и расистский шовинизм, защищал монархию в России и Пруссии. Тэн Ипполит Адольф (1828—1893) — французский литературовед, философ, эстетик. Тэн явился родоначальником эстетической теории натурализма как литературно-художественного направления и основателем культурно-исторической школы. Методология Тэна исходит из позитивистского эволюционизма О. Конта (1798—1857), одного из основоположников французского позитивизма, и близка «органической теории общества» Г. Спенсера. В духе позитивистской «объективности» и феноменализма Тэн считал задачей критики «нейтральный» анализ вне нравственной позиции и идеологической оценки: «Моя обязанность лишь изложить факты и показать вам происхождение этих фактов» («Философия искусства», 1865—1869). Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский философ, историк религии, семитолог, создатель восьмитомной критической истории раннего христианства («История первых веков христианства», 1863—1883). Философские воззрения его эклектичны. Будучи позитивистом, он считал, что развитие природы и общества детерминировано и следует объективным законам, не содержащим в себе ничего сверхъестественного; наряду с этим он говорил о некоей идеальной цели мирового процесса.

С. 141. ...Трактату «Об уме»... — Имеется в виду книга Гельвеция Клода Адриана (1715—1771), французского философа-материалиста, написанная в 1758 г. и направленная против основ феодального порядка, феодально-религиозной идеологии и католической церкви. По распоряжению властей книга была запрещена и сожжена.

Рибо Теодюль Арман (1839—1916) — французский психолог, философ, основатель французской научной психологии. На основе изучения расстройств памяти, воли, внимания установил ряд закономерностей психической жизни человека, указав на принцип социальной обусловленности психических процессов и качеств человека. Одна из книг его называется «Современная английская психология (Опытная школа)».

Лукреций — Тит Лукреций Кар (ок. 99—95—55 до н. в.) — древнеримский поэт и философ-материалист, считал несостоятельными все религиозные предрассудки и верования.

С. 143. *Литтре Эмиль* (1801—1881) — французский философ-позитивист, филолог и политический деятель.

С. 145. ...о животном происхождении чувственной жизни человека.— Это утверждение согласуется с позитивистским положением отождествления человеческого общества с животным организмом (так называемая «органическая теория общества» Герберта Спенсера, где основным законом общества становится закон выживания наиболее приспособленных).

С. 146. *Шамфор Себастьян Рош Никола де* (1741—1794) — французский моралист; известны его «Максимы и Мысли, Характеристики и Анекдоты» (1795), написанные блестящим языком и подвещающие острой критике современное автору общество.

С. 170. *Ванини Люгилио* (1584—1619) — итальянский философ-пантеист. Казнен в Тулузе по обвинению в ереси и атеизме. Повторял судьбу своего духовного учителя Дж. Бруно, сожженного инквизицией на костре.

С. 172. *Бональд Луи Габриель Амбруаз* (1754—1840) — реакционный французский философ-идеалист. В сочинении «Философские изыскания по поводу первых объектов морального знания» (1818) утверждал, что абсолютная монархия имеет божественное происхождение и является наилучшей формой государства, а руководящая роль в обществе должна принадлежать католической церкви.

*Местр Жозеф де* (1753—1821) — реакционный французский политический деятель и философ; его философские идеи подчинены задаче обоснования реакционных политических и социальных идеалов, направленных против французского Просвещения, материализма; сторонник монархии.

С. 202. *Топфер Рудольф* (1799—1846) — швейцарский писатель, пишущий на французском языке; его «Женевские рассказы» (1841) пользовались успехом во Франции.

*Флориан Жан Пьер Кларис де* (1755—1794) — французский писатель, автор легких комедий («арлекинад»), рыцарских и пасторальных романов («Галатея», 1783).

*Беркен Арно* (1747—1791) — французский поэт, автор известных «Идиллий» (1775) и «Романсов» (1776); впоследствии писал незатейливые по сюжету комедии.

...стояли драмы Шекспира...— Далее перечисляются романы Топфера, Диккенса, Скотта, Жорж Санд.

С. 206. *Францисканская церковь* — ее основным святым был Франциск Ассизский (1182—1226), итальянский религиозный деятель, основатель первого нищенствующего ордена (1207—1209).

С. 207. *...дух янсенизма.*— Религиозно-философское течение в католицизме, начало которому положил голландский богослов XVII в. Янсений. Янсенисты резко выступали против иезуитов. Во Франции центром янсенизма стал Пор-Руаяль.

С. 208. *...церковь кармелиток...* — От названия горы Кармель. Католический нищенствующий орден, основанный во второй половине XII в. в Палестине. Покровитель кармелитов — св. Альбер. Женский орден кармелиток был основан в 1453 г.

С. 209. *...всю сладость евхаристии.*— т. е. причастия.

С. 210. *...церковь капуцинов...*— От ит. «капюшон». Католический монашеский орден, основанный в 1525 г. в Италии как ветвь ордена францисканцев, самостоятелен с 1619 г. Во Франции сыграл особую роль в борьбе против протестантов.

С. 212. *...«Озеро» или «Распятие»... и далее до «Утешений».*— Перечисляются стихотворения Ламартина Альфонса (1790—1869), сборник стихотворений Гюго Виктора (1802—1885) и Сент-Бёва Шарля Огустена (1804—1869), писателей-романтиков.

С. 214. «Испанские и итальянские поэмы» (1830) — произведение поэта-романтика Мюссе Альфреда де (1810—1857); далее пересказывается содержание.

С. 220. *...не избеж я влияния и автора «Жизни Иисуса».*— Автор имеет в виду книгу Ренана «История первых веков христианства», первый том которой назывался «Жизнь Христа» (1863).

*Жуффруа* Теодор Симон (1796—1842) — французский философ-эклектик.

С. 226. *...два тома «Физиологии» Бони...*— Основной труд Бонн Генри Этьена (1830 — ум.), французского врача-психолога, называется «Новые элементы человеческой психологии» (1876). Вероятно, речь идет о более ранней работе — «Всеобщей анатомии и физиологии человека».

С. 227. *Валлес Жюль* (1832—1885) — французский писатель-публицист, журналист, член Парижской коммуны. Самым значительным его произведением является трилогия «Жак Вентра» («Ребенок», 1879; «Бакалавр», 1882; «Инсургент», 1885), написанная в форме автобиографического повествования.

С. 228. *...день одного из моих святых.. Гоббса...*— Гоббс

Томас (1588—1679) — английский философ-материалист. Развил механистическую форму материализма, сблизил философию с естествознанием и математикой, разработал проблемы жизни общества, остро поставленные в эпоху буржуазной революции.

С. 238. *Шопенгауэр* Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист.

*Лотце* Герман (1817—1881) — немецкий философ, врач, естествоиспытатель.

*Фехнер* Густав Теодор (1801—1887) — немецкий физик, психолог, философ и сатирик (как сатирик выступал под именем д-ра Мизеса).

*Гельмгольц* Герман (1821—1894) — немецкий естествоиспытатель.

*Вундт* Вильгельм (1832—1920) — немецкий философ-идеалист, физиолог, фольклорист и психолог.

...вместе с автором «Философских диалогов»... — Речь идет о Э. Ренане и его «Философских диалогах и фрагментах» (1876).

С. 242. *Амьель* Генри Фредерик (1821—1881) — швейцарский писатель и философ. Речь идет о «фрагментах» его «Дневника» (1847—1881).

С. 254. *Бернар* Клод (1813—1878) — французский физиолог и патолог, один из основателей экспериментальной медицины.

*Пастер* Луи (1822—1893) — французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии.

...согласно предписаниям «Эмиля». — Имеется в виду трактат Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).

С. 259. ...скорбную мадонну Мемлинга... — *Мемлинг* Ханс (1440—1494), нидерландский живописец.

С. 260. ...мои чаттертоновские гримасы... — Грелу с иронией говорит о своих страданиях, вспоминая трагическую судьбу английского поэта Чаттертона (1752—1770), покончившего с собой. О судьбе Чаттертона рассказывается в известной драме «Чаттертон» (1835) французского писателя-романтика Виньи Альфреда де (1797—1863).

С. 264. ...братья Гонкуры, Жюль (1830—1870) и Эдмон (1822—1896) — стремились применить научный метод к литературе. Этот «документализм» проявился в тщательном описании среды, в которой живут и действуют герои их произведений.

С. 267. ... *какая-нибудь схолия...* — Т. е. толкование текстов, написанных на древних языках.

С. 268. *Лабииш Эжен Марен (1815—1888)* — французский комедиограф. Известны его пьесы «Соломенная шляпка» (1851), «Копиак» (1864).

С. 269. ...«*Доминик*» *Фромантена...* — Рассказ-исповедь героя, чья жизнь сломлена и опустошена любовью к женщине, ставшей женой другого, — содержание романа французского писателя и художника Фромантена Эжена (1820—1876) «Доминик» (1862). «*Принцесса Клевская*» (1678) — психологический роман Лафайет Мари-Мадлен (1634—1693). В нем раскрыта душевная драма светской молодой женщины, причем источником трагического конфликта является сознание нравственного долга, не позволяющее героине нарушить супружескую верность. «*Валерия*» (1803) — знаменитый автобиографический роман г-жи Крюденер. *Сюлли-Прюдом* (наст. имя Рене Франсуа Арман Прюдом, 1839—1907) — французский поэт, испытал влияние романтиков, особенно Вьнни, и в некоторых отношениях предвосхитил символизм.

С. 272. ...я имею в виду г-на Эспина... — Вероятно, речь идет об Эспине Альфреде Викторе (1844—1922), французском философе, изучавшем человеческое общество как естественный организм и зоолог.

С. 273. ...в «*Мемуарах*» *Казановы...* — *Казанова Джованни Джакомо (1725—1798)* — итальянский писатель и мемуарист. Прожил бурную жизнь, полную авантюры. Его многотомные «Воспоминания» замечательны не только поразительной откровенностью в описании интимной жизни автора, но и пронизательными характеристиками современников, трезвостью исторических оценок. *Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585—1642)* — французский политический деятель, кардинал, писатель, автор нескольких комедий, не представляющих большой художественной ценности, но интересных для истории становления классицизма. *Сен-Симон Луи де Рувруа (1675—1755)* — французский политический деятель, писатель; удалившись от двора, занялся сочинением «Мемуаров» (напечатаны в 1788—1789 гг.; полностью опубликованы в 1829—1831 гг.), которые представляют собой ценнейший материал для изучения быта и нравов эпохи.

С. 314. ...*танагрская статуэтка...* — Т. е. из Танагры, города, находящегося в Греции.

С. 331. ...*неприятность...* — это как бочка *Аделаид* — она без-

*донная...*— Сапожник Карбоне ошибается: речь идет об известном греческом мифе, в котором 50 дочерей Даная по велению отца убили в брачную ночь своих мужей. В наказание они должны были в подземном царстве вечно наполнять водой бездонную бочку. Переносное значение «бочка Дананд» означает бесполезный и бесконечный труд.

С. 361. Паскаль Блез (1623—1662) — французский математик и физик, религиозный философ. Речь идет о книге «О благодати. Краткая биография Иисуса Христа» (1657).

### АЛЕН-ФУРНЬЕ (1886—1914)

Ален-Фурнье (наст. имя Анри Фурнье) прожил короткую жизнь, небогатую внешними событиями. Он родился в городке Жанель-д'Анжийон, относящемся к департаменту Шер, в семье учителя. Детские годы провел в Эпиней-ле-Флербель, местечке, где преподавал его отец. С тринадцати лет Анри Фурнье учится в Париже, в лицее «Вольтер», затем в лицее «Лаканаль», готовится к поступлению в Высшую нормальную школу, куда, правда, поступать ему не удается. После службы в армии Ален-Фурнье работает хроникером в «Пари-журналь», публикует эссе и прозаические миниатюры. Начинающего писателя заметили и оценили Андре Жид и Франсис Жамм, Шарль Пегги и Поль Клодель — известные писатели и современники Алена-Фурнье.

Свою первую и единственную книгу «Большой Мольн» писатель закончил в начале 1913 года. Журнальный вариант романа публиковался в «Нуфель ревью франсез» с июля по ноябрь. Отдельным изданием «Большой Мольн» вышел в октябре того же года.

Жизнь Алена-Фурнье трагически оборвалась в 1914 году на полях сражений первой империалистической войны.

С. 365. *Мы жили на территории школы...* — По традиции квартира учителя находилась в школьном здании.

С. 376. *Вьерзон* — небольшой городок, расположенный в департаменте Шер южной части Парижского бассейна; река Шер протекает там же и является притоком Луары.

*...то место из «Робинзона Крузо»...*— Писатель ошибается. Крузо вспоминает о корзинщике много времени спустя после корабле-



крушения (см. Д. Дефо, «Робинзон Крузо», Л., Academia, 1932, гл. «Плетение корзин»).

С. 400. «*Таинственное поместье*» — глава, важная для понимания принципа познания действительности Алена-Фурнье, у которого осуществление высших нравственных критериев, идеала жизни возможно лишь в стране, где торжествует детство. «Мое кредо в искусстве и литературе, — признавался писатель, — это детство. Я стремлюсь передать его без всякого ребячества, во всей глубине соприкасающейся с тайной».

С. 402. ...*пояс воспитанника сент-агатского коллежа*.— Пряжки поясов у воспитанников разных коллежей отличались друг от друга.

С. 405. ...*на манер могильщика из «Гамлета»*.— Намек на сцену на кладбище из трагедии Шекспира (действие V, явл. 1).

...*в комнате Веллингтона*.— Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852), английский фельдмаршал, был хорошо известен французам, т. к. участвовал в войне против наполеоновской Франции, командуя союзными войсками на Пиренейском п-ве (1808—1813) и англо-голландской армией при Ватерлоо (1815).

С. 406. ...*Арлекина и ..великого Пьеро*...— Арлекин — традиционный персонаж из итальянской комедии дель арте, слуга, участвующий в развитии интриги и часто попадающий в весьма затруднительные ситуации. Пьеро — традиционный персонаж французского народного театра.

С. 410. *Бурж* — город в Центральной Франции, считается главным городом департамента Шер, бывшая столица провинции Берри.

С. 428. ...*читали Руссо и Поля-Луи Курье*...— Влияние идей Жан-Жака Руссо (1712—1778) было действительным и в XIX в. П.-Л. Курье (1773—1825) — писатель-памфлетист, объектом его осмеяния была современная ему общественная система.

С. 438. ...*базилики Лурда*...— Город на юге Франции, у подножия Пиренеев, известный своей базиликой, куда стекались паломники-католики; согласно легенде, одной из жительниц Лурда в 1858 г. явилась Богородица.

С. 445. ...*повязка на голове, как у ополченца семидесятого года*...— Намек на события франко-прусской войны 1870—1871 гг.

С. 448. ...*Монлюсон* — небольшой город в Центральной Франции.

С. 451. ...два зажженных кенкета... — Т. е. лампы.

С. 452. *Тальма Франсуа Жозеф* (1763—1826) — известный французский трагический актер. *Леотар Жюль* (1830—1870) — французский акробат.

С. 458. ...возвращался домой в берлине... — Т. е. в дорожной карете.

С. 468. *Мольн*, как отслужит срок в армии... — В то время служба в армии ограничивалась одним годом.

С. 479. *Алье*... — Департамент, расположенный на севере от Центрального массива.

С. 495. ...президентами *Греви* и *Карно*... — *Греви Жюль* (1807—1891) — президент Франции в 1879—1887 гг., лидер умеренных республиканцев. *Карно Сади* (1837—1894) — французский государственный деятель, в 1887 г. сменил Греви на посту президента.

С. 522. *Но как только закончился последний вечерний урок*... — После основных занятий ученики под присмотром учителя оставались в школе готовить домашнее задание.

С. 538. «*Акведук*» *Руссо*... — Имеется в виду эпизод из «Исповеди»; *Жорж Санд* (наст. имя Аврора Дюдеван, 1804—1876) — французская романистка, здесь речь идет о ее письмах сыну Морису.

С. 543. ...по песчаным дорожкам *Тюильри*. — Дворец в Париже (1564—1670, архитекторы Ф. Делорм, Л. Лево и др.), служил одной из резиденций французских королей. В дни Парижской коммуны большая часть дворца сгорела. Ныне на его месте сад.

*Е. Петраш*





## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л. Г. Андреев. Два лика Свободы</i> . . . . .	3
<i>Ш. НОДЬЕ. Жан Сбогар. Перевод Н. Фарфеля</i> . . . . .	21
<i>П. БУРЖЕ. Ученик. Перевод А. Ладинского</i> . . . . .	133
<i>АЛЕН-ФУРНЬЕ. Большой Мольн. Перевод М. Ваксмахера</i>	365
<i>Комментарии</i> . . . . .	557

**Нодье Шарль. Бурже Поль. Ален-Фурнье**

**Н 76 Жан Сбогар. Ученик. Большой Мольн. Романы:**  
Пер. с фр. / Сост. и вступ. ст. Л. Андреева; Ком-  
мент. Е. Петраш; Ил. М. Петрова.—М.: Правда,  
1990.—576 с., ил.

ISBN 5—253—00018—6

Книгу составили три знаменитых романа, дающих в  
совокупности яркую картину развития романтизма во фран-  
цузской литературе на протяжении столетия — с начала  
прошлого века до начала нынешнего.

**Н**  $\frac{4703000000-2066-90}{080(02)-90}$  2066—90

**84.4 Фр**

Литературно-художественное издание

Нодье Шарль  
ЖАН СБОГАР

Бурже Поль  
УЧЕНИК

Ален-Фурнье  
БОЛЬШОЙ МОЛЬН

Составитель  
Андреев Леонид Григорьевич

Редактор В. Т. Башкирова

Оформление художника А. И. Неровного

Художественный редактор Р. А. Ключков

Технический редактор Т. Б. Слизун

ИБ 2066

---

Сдано в набор 28.06.89. Подписано к печати 07.02.90.  
Формат 84X108<sup>1/32</sup> Бумага типографская № 2.  
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.  
Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,66. Уч.-изд. л. 31,01.  
Тираж 500 000 экз. (5-й завод: 400 001—500 000 экз.).  
Заказ № 1688. Цена 3 р. 90 к.

---

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина  
и ордена Октябрьской Революции типографии  
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»  
125866, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

---

Огпечатано в типографии издательства  
«Восточно-Сибирская правда», 664099,  
г. Иркутск, ул. Советская, 109.

---

